ISSN 0130-6545

5.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИЯ: канон и интерпретация

В номере:

ЖОЗЕ САРАМАГО
Евангелие от Иисуса

НОРМАН МЕЙЛЕР
Евангелие от Сына Божия

ДЖОН АПДАЙК
Чтоб камни сделались хлебами

Союз немецкой экономики в Российской Федерации при содействии журнала «Иностранная литература» учредил **ПРЕМИЮ** *им.* **В.А. ЖУКОВСКОГО.**

Премия будет присуждаться ежегодно за переводы с немецкого языка в области литературы, философии, истории, искусствоведения и культурологии.

В список номинантов вошли следующие переводческие работы:

Л. Акопян — «Общая психопатология» К. Ясперса.

В. Анашвили — «Избранные работы» Ф. Брентано.

В. Бибихин — «Бытие и время» М. Хайдеггера.

Н. Бунин, Г. Косарик, Е. Шлапоберская, Г. Раттауз — Собрание сочинений Э. Кеснера в 2-х томах.

Е. Вильмонт — роман «Поезд пришел вовремя» Г. Бёлля.

Е. Витковский — «Для тех, кто не споет о себе» Т. Крамера.

Л. Ионин — «Масса и власть» Э. Канетти.

Н. Кушнир — трилогия «Лунатики» Г. Броха.

В. Микушевич — роман «Эликсир дьявола» Э. Гофмана, «Гимны к ночи» Новалиса.

М. Рудницкий — романы «Собачьи годы» Г. Грасса и «Хлеб ранних лет» Г. Бёлля.

С. Фридлянд — роман «Жестяной барабан» Г. Грасса.

***Первым лауреатом премии им. В. А. Жуковского стала* С. Л. ФРИДЛЯНД —**

переводчик романа ГЮНТЕРА ГРАССА *«Жестяной барабан»*

(Г. Грасс. Собрание сочинений в 4-х томах. «Фолио», 1997 год).

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 450 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2214 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

5 **май** **1998**

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОЗЕ САРАМАГО — Евангелие от Иисуса (*Роман. Перевод с португальского А. Богдановского*)..... 5

Три стихотворения на библейские сюжеты. КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ — Когда осел согревал (*Перевод с польского Натальи Астафьевой*). РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — Воскрешение Лазаря (*Перевод с немецкого В. Куприянова*). ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Христос на кресте (*Перевод с испанского Павла Грушко*)..... 107

НОРМАН МЕЙЛЕР — Евангелие от Сына Божия (*Главы из романа. Перевод с английского О. Варшавер*)..... 110

ХОСЕ ХИМЕНЕС ЛОСАНО — Последняя роза. Подслушанное и другие стихи (*Перевод с испанского и вступление Павла Грушко*)..... 144

СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЕГ — Безымянная могила (*Повесть. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева*)..... 151

ДЖЕК АНДЕРСОН — Изумление Ноя (*Стихи. Перевод с английского И. Мизрахи*)..... 218

Литературное наследие

ТОМАС МАНН — Отрок Енох (*Фрагмент романа «Иосиф и его братья». Перевод с немецкого и вступление И. Эбаноидзе*)..... 219

Статьи, эссе

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — История ангелов (*Перевод с испанского В. Кулагиной-Ярцевой*)..... 224

ДОРОТИ Л. СЕЙЕРС — Непопулярные мнения (*Перевод с английского и вступление Н. Трауберг*)..... 226

ДЖОН АПДАЙК — Чтоб камни сделались хлебами. Норман Мейлер и искушения Христа (*Перевод с английского Ольги Варшавер*)..... 230

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — «Ты видишь, ход веков подобен притче...»..... 235

ЯКОВ КРОТОВ — Христос под пером..... 242

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

Автобиографическая повесть **Ромена Гари** «БЕЛАЯ СОБАКА».

Фрагменты из книги мемуаров **Андре Моруа**.

Размышления известного писателя и ученого **Цветана Тодорова** о месте и роли интеллигенции в современном обществе.

«ПИСАТЬ ВО ИМЯ ОТЦА, ВО ИМЯ СЫНА ИЛИ ВО ИМЯ ДУХА БРАТСТВА ?» — эссе **Милорада Павича**.

О. Генри и Теннесси Уильямс в рубрике **Петра Вайля** «*Гений места*».

Сергей Довлатов в Нью-Йорке: вспоминает **Александр Генис**.

Цветные иллюстрации номера:

На 1-й стр. обложки — ЖОРЖ РУО (Франция). «Туринская плащаница» (1933).
На 2-й стр. обложки — ЭМИЛЬ НОЛЬДЕ (Германия). «Тайная вечеря» (1909).
На 3-й стр. обложки — МАРК ШАГАЛ (Франция). «Христос» (1950).
На 4-й стр. обложки — САНДРО КИА (Италия). «Икона» (1992).

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

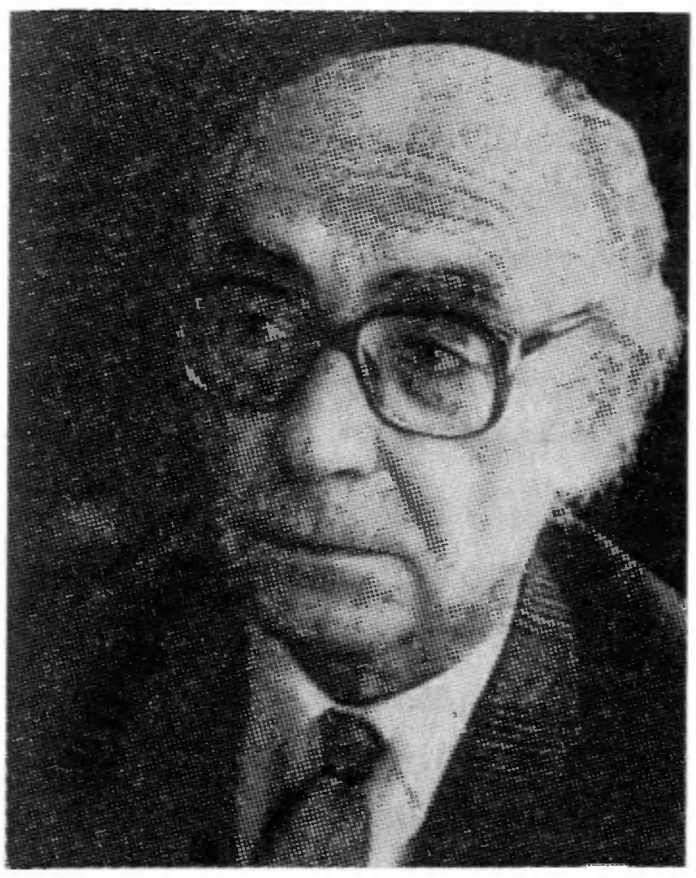
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 20.04.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,71. Заказ №3316.

Тираж 15 450 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ЖОЗЕ САРАМАГО

Евангелие от Иисуса

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то́ бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, — то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

Евангелие от Луки, 1, 1—4

Что я написал, то написал.

Пилат

У солнца, окруженного острыми тонкими лучами и извилистыми языками пламени, придающими полдневному светилу сходство с ополоумевшей «розой ветров», — человеческое лицо: плачущее, искаженное невыносимой болью, с распяленным в беззвучном крике ртом — беззвучном потому, что ничего этого нет в действительности. Перед нами всего лишь бумага да краска. Ниже мы видим человека: он привязан к стволу дерева и совершенно гол, если не считать обмотанной вокруг бедер тряпки, прикрывающей то, что принято называть срамом; ноги его уперты в обрубок толстой ветви, и для того, наверно, чтобы не соскользнули с этой природной подпорки, в них глубоко вогнаны два гвоздя. По вдохновенно-страдальческому выражению лица, по устремленному ввысь взгляду можно узнать разбойника Благоразумного. Безобманной приметой может служить и кудрявая голова — ведь у ангелов и архангелов волосы вьются, а раскаявшийся преступник, судя по всему, уже на полпути в царствие небесное и к его обитателям. Неизвестно, можно ли счесть этот столб деревом, которое, особым образом изуродовав, превратили в орудие казни, продолжают ли еще его корни высасывать из почвы жизненные соки, а неизвестно потому, что всю нижнюю часть ствола заслоняет от нас длиннобородый человек в просторном, пышном и богатом одеянии, голова его вскинута, но смотрит он не на небо. Эта горделивая осанка, этот печальный лик могут принадлежать только Иосифу Аримафейскому, а вовсе не Симону из Кирены, как можно было бы подумать, поскольку, согласно протоколу экзекуции, сей последний, понужденный помочь преступнику донести орудие казни до места, где совершилась она, потом пошел своей дорогой и гораздо более был озабочен теми неприятными последствиями, которые сулило ему невольное его опоздание, чем смертными муками распятого. Да-да, именно Иосифом из Аримафеи звали того добросердечного и состоятельного человека, что вызвался заплатить за могилу и за погребение в ней главного из троих казненных, но за свое великодушие он не был причислен к лику святых или хотя бы присноблаженных, и потому ничего, кроме чалмы, в которой он в свое время хаживал по улицам, не

© Editorial Caminho, 1991
© А. Богдановский. Перевод, 1998

обвивает его голову, не в пример той склоненной долу женщине на переднем плане, чьи распущенные волосы осенены нимбом вечной славы, очень похожим на домодельное кружевце. Эту женщину на коленях, конечно, зовут Мария, потому что нам заранее известно: все женщины, что сойдутся здесь в этот час, носят это имя, и только одну в дальнейшем мы станем называть Магдалиной, чтобы отличить от всех прочих, хотя каждый, кто хоть чуточку осведомлен о самых элементарных житейских понятиях, с первого взгляда и так узнает в ней пресловутую Магдалину, ибо лишь женщина с бурным, как у нее, прошлым решилась бы в столь трагическую минуту появиться в платье с таким глубоким вырезом и лифом до того узким, что пышные округлости приподнятых, открытых и выставленных напоказ грудей неизбежно притягивают к себе жадные взгляды проходящих мимо мужчин, невольно рискующих впасть во грех плотского вожделения и навечно погубить свою душу. Тем не менее лицо ее говорит о глубочайшей скорби, а поникшая фигура — о муке, которую испытывает ее душа, пусть и заключенная в столь соблазнительную телесную оболочку, и потому оговоримся сразу: будь эта женщина и вовсе нагишом, мы все равно обязаны были бы отнестись к ней со всем мыслимым уважением и почтительностью. Мария Магдалина, если это она, с невыразимым словами состраданием держит и вроде бы собирается поцеловать руку другой женщины, которая простерта на земле, словно лишилась последних сил или ранена насмерть. Ее тоже зовут Мария, — вторая в порядке появления и первая, самая что ни на есть первая по значению, если судить по тому, что в нижней части композиции отведено ей самое центральное место. Видны лишь заплаканное лицо и бессильно уроненные руки — все прочее скрыто под бесчисленными складками покрывала и туники, подпоясанной грубой, как можно угадать, веревкой. Она старше первой Марии, и это главная, хоть и не единственная причина того, что вокруг ее головы сияет нимб более сложной и замысловатой формы — о чем, будучи спрошен, я, человек, хоть и не слишком сведущий относительно званий, рангов и иерархии, бытующих в этом мире, все же взял бы на себя смелость заявить. Да и потом, если вспомнить, сколь широко распространились изображения, подобные тому, о котором я веду речь, то лишь инопланетянин — при условии, что на этой иной планете не происходило время от времени или сейчас не происходит впервые нечто схожее, — так вот, лишь этот инопланетянин, существование которого и представить-то себе почти невозможно, не знает, что убитая горем женщина — это вдова плотника Иосифа, произведшая на свет многочисленных детей, из которых по воле судьбы или того, кто этой волей управляет, только один процвел и прославился, причем не слишком — в земной своей жизни, и невероятно — по смерти. Склонясь налево, Мария, мать Иисуса — того самого, о ком только что было упомянуто, — опирается локтем о бедро еще одной женщины: она тоже стоит на коленях, ее тоже зовут Мария, и вот она-то, хоть мы даже в воображении не можем увидеть вырез на ее платье, скорей всего и есть истинная Магдалина. Так же, как и у первой из этой троицы, длинные волосы распущены по спине, только у нее они, по всей видимости, белокурые, если, конечно, гравер не по чистой случайности, а намеренно, чтобы обозначить их светлый тон, ослабил нажим своего резца. И потому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Мария Магдалина в самом деле была златовласой, хотя полностью согласны с весьма распространенным мнением о том, будто блондинки, как натуральные, так и крашеные, суть самые совершенные орудия греха и погибели. И Марии Магдалине, великой грешнице, погубившей, как всем известно, свою душу, надлежит быть белокурой, хотя бы для того, чтобы не опровергать представление, к которому волей или неволей склоняется большая часть рода человеческого. Однако мы так настойчиво твердим, что она и есть Магдалина, вовсе не потому, что светлый тон ее волос — довод более весомый, чем тяжелые и щедро открытые груди первой Марии. Есть иное свидетельство, и оно позволяет установить ее личность с полной определенностью: взгляните лишь, как, одной рукой почти машинально поддерживая простертую на земле мать Иисуса, смотрит эта женщина на Распятого и в глазах ее горит такая подлинная, такая пламенная любовь, что кажется, будто и все ее тело, все ее плотское естество окружено сияющим ореолом, рядом с которым тускнеет и блекнет нимб над ее головой — магический круг, не допускающий в очерченные им пределы лишние чувства и мысли. Так может смотреть только женщина, обладавшая

способностью любить, которой наделяем мы одну Марию Магдалину, вот вам окончательный и решающий довод в пользу того, что это она и есть, она и никто другой, и, стало быть, нечего и толковать о четвертой Марии, которая стоит рядом с нею, воздев руки и всем видом своим демонстрируя скорбь, но устремив взор неведомо куда. Ей под стать и изображенный в этой части гравюры совсем молодой, едва вышедший из отрочества мужчина в манерной позе — левая нога его согнута в колене, а правая аффектированно-театральным жестом устремлена к этим четырем женщинам, разыгрывающим на земле драматическое действо. Этот молоденький кудрявый юноша с дрожащими губами — Иоанн. Он, как и Иосиф Аримафейский, заслоняет собой комель другого дерева, на вершину которого, где бы надо быть птичьим гнездам, воздет, привязан и прибит еще один человек. В отличие от первого волосы у него прямые, голову он опустил, чтобы посмотреть — если еще способен смотреть, — что происходит внизу, и худое, с ввалившимися щеками лицо его так не похоже на лицо его товарища на другом столбе, который и в предсмертном оцепенении, в муках агонии нашел в себе мужество поднять голову, обратить к нам лицо, даже на черно-белой гравюре все еще румяное и полнокровное. Второй же, уронивший голову на грудь, будто всматривающийся в землю, готовую принять свою убогую добычу, дважды обреченный — и на мучительную казнь, и на муки ада, — может быть только Злым разбойником. Признаем, однако, что прямодушный и нелукавый нрав придал ему душевных сил не прикидываться, что он верит, будто минута раскаяния способна искупить целую злодейскую жизнь или хотя бы один час слабости. Над его головой горюет и плачет луна, изображенная в виде женщины с такой неуместной серьгой в ухе, — подобную вольность не допускал раньше ни один художник или поэт, и сомнительно, чтобы, несмотря на этот дурной пример, кто-либо позволил себе впредь. Скорбящие солнце и луна с двух сторон заливают землю ровным, без теней, светом, и потому, должно быть, так отчетливо предстает нам все изображенное на гравюре до самой линии горизонта — башни и крепостные стены, подъемный мост, перекинутый через ров, где поблескивает вода, готические шпицы крыш, и в самой глубине, на вершине последнего холма — замершие крылья ветряной мельницы. Чуть ближе гарцуют на вышколенных конях четыре всадника в полном вооружении, но по их жестам можно предположить, что они подоспели к концу зрелища и шлют прощальный привет невидимым нам зрителям. Это же впечатление завершившегося празднества производит и фигура пешего латника, который уже делает шаг прочь от места казни, неся в правой руке то, что издали кажется тряпкой, но при ближайшем рассмотрении может оказаться туникой или хитоном; тем временем двое других солдат проявляют, насколько можно судить на таком расстоянии о выражении их крошечных лиц, досаду и даже злость — как те, кому не выпал счастливый жребий. Над этой пошлой обыденностью — над солдатами, над обнесенным стеной городом — парит четверка ангелов, двое из которых, изображенные во всех подробностях, горько плачут и стенают, тогда как деловито насупленный третий занят тем, что старается до последней капли собрать в подставленную чашу кровь, струей бьющую из правой стороны груди Распятого. Здесь, на этом холме, называемом Голгофой, подобная злая участь многих уже постигла, многих еще ждет, но только одного из всех — вот этого обнаженного человека, руки и ноги которого пригвождены к кресту, этого сына Иосифа и Марии, по имени Христос, грядущее удостоит заглавной буквы, все же прочие так навсегда и останутся просто распятыми. Теперь наконец понятно, куда устремлены взгляды Иосифа Аримафейского и Марии Магдалины, кого оплакивают солнце и луна, кому возносит хвалу Благоразумный разбойник и кого хулит его нераскаянный товарищ, не понимая, что ничем не отличается от своего собрата, а если и есть между ними какая-либо разница, то не в том она, что один раскаялся, а второй закоснел в грехе, ибо они оба не существуют сами по себе, каждый из них всего лишь возмещает собой то, что отсутствует в другом. Над головой Распятого ярче солнца и луны горят тысячей лучей буквы латинской надписи, провозглашающей его Царем Иудейским, лоб и виски стягивает сплетенный из колючих веток венок — его, даже не догадываясь об этом, носят, причем вовсе не обязательно, чтобы хлестала из распоротой плоти кровь, — те, кому не позволяют быть царями себе самим. Иисусу в отличие от двух разбойников не во что упереться ногами, и не напрягай он из последних сил верхнюю половину тела,

оно всей тяжестью обвисло бы на руках, прибитых гвоздями к перекладине, но надолго ли еще хватит сил этих, если, как уже было сказано, из раны в груди льется кровь, вымывая из него жизнь. Между двумя укосинами, которые удерживают крест в вертикальном положении и вместе с ним уходят в темное лоно земли, нанося ей, впрочем, рану не смертельней, чем любая человеческая могила, лежит череп, а рядом — лопатка и берцовая кость, но нас интересует именно череп, поскольку это и значит в переводе слово «Голгофа». Неизвестно, кто и зачем положил здесь эти бренные останки. Быть может, кто-то с мрачной иронией предупреждает тех несчастных, что мучаются на кресте, какая участь им уготована, прежде чем они обратятся в землю, в прах, в ничто. Иные утверждают, что это — череп самого Адама, который всплыл на поверхность из черной пучины древних геологических пластов и, не в силах вернуться назад, обречен на вечные времена видеть пред собой землю — свой единственно возможный и навсегда потерянный рай. По той же равнине, где, горяча напоследок своих жеребцов, скачут всадники в латах, идет человек: удаляясь от нас, он обернулся на ходу. В левой руке его ведро, в правой — длинная палка с насаженной на нее губкой, которую отсюда, впрочем, почти не разглядеть. В ведре же, ручаюсь вам, — вода с уксусом. Человеку этому отныне и до скончания века суждено быть жертвой клеветы: про него станут распускать вздорные слухи, будто он, когда Иисус попросил пить, по злобе или в насмешку напоил его уксусом. На самом же деле подкисленная уксусом вода в тех краях издавна и справедливо почиталась лучшим средством утолить жажду, ибо освежает как мало что другое. Он уходит прочь, он не дождется конца, ибо сделал что мог — унял мучительную сушь, терзавшую нутро троих обреченных, не делая различий между Иисусом и разбойниками, поскольку рассуждал просто: все они из земли взяты, в землю и перейдут. Вот и все, что можно будет о них сказать.

Ночи еще долго идти до рассвета. На гвозде у дверного косяка горит масляная плошка, но зыбко подрагивающая миндалина огонька не в силах справиться с мраком, который окружает ее и со всех сторон заполняет комнату, становясь в дальних углах непроницаемо густым и плотным, хоть ножом его режь. Иосиф проснулся как от толчка, словно кто-то разбудил его, резко тряхнув за плечо, но, наверно, этот толчок был кусочком мгновенно рассеявшегося сна — трясти его было некому, и никого не было в доме, только он да жена, которая спит не шевелясь. Никогда еще не просыпался он среди ночи: обычно он открывал глаза не раньше, чем широкая щель в двери точно набухала и сочилась пепельным холодным светом Сколько раз он собирался заделать ее — плотнику ничего не стоит приладить да прихватить гвоздями подходящую деревяшку, — но уже так привык, открывая глаза, видеть перед собой вертикальную полоску света, провозвестницу дня, что постепенно ему стало казаться, что без нее нипочем не выбраться из сонной тьмы, сковывавшей и его тело, и мир вокруг. Щель была частью дома, вроде стен или потолка, очага или убитого земляного пола. Вполголоса, чтобы не разбудить спавшую рядом жену, Иосиф произнес слова утренней молитвы, которую должно творить по возвращении из таинственной страны сна: Благодарю тебя, Господи мой Боже, Царю Небесный, за то, что по милости твоей возвратил мне душу прежней и живой. Потому, должно быть, что не все пять его чувств очнулись от сна разом, — а впрочем, не исключено, что во времена, о которых мы ведем речь, люди еще не обрели власть над каждым или, напротив, утратили те, что так полезны нам сегодня, — Иосиф, словно из дальней дали, следил за тем, как медленно, постепенно проникает и заполняет все закоулки и изгибы тела возвращающаяся душа, подобно воде, которая растекается по земле извилистыми ручейками и всасывается внутрь, до самых глубоких корней, чтобы потом напитать заключенной в ней жизненной силой стебли и листья. И видя, как трудно это возвращение, Иосиф, поглядев на лежавшую рядом жену, побоялся потревожить ее сон: она являла собой телесную оболочку, лишенную души, ибо та отлетает от спящего, иначе зачем бы надо было возносить ежеутренне хвалу Господу за то, что ежеутренне Он возвращает нам ее при пробуждении, и в этот миг некий голос внутри осведомился: Откуда же тогда берутся наши сны? Быть может, сны — это память души о теле, подумал Иосиф: это и был ответ. В этот миг Мария пошевелилась — видно, душа ее витала где-то неподалеку, в доме, — но

не пробудилась, а только глубоко вздохнула, как всхлипнула, и потянулась к мужу, сделав всем телом волнообразное, но бессознательное — ибо в яви никогда бы на него не осмелилась — движение. Иосиф натянул на плечи колючую и шершавую простыню, поудобнее устроился на циновке, не отстраняясь, почувствовал, как настоянное на каких-то ароматах — будто откинули крышку ларца с пахучими травами — тепло постепенно проникает сквозь ткань его рубахи, соединяется с его собственным теплом. Потом, медленно смежив веки, позабыл, о чем думал, и отрешенное от души тело вновь погрузилось в сон.

Разбудил его лишь крик петуха. В щели мерцал мутный свет, сероватый, как вода на водопое. Время, терпеливо и кротко дожидавшееся, когда у ночи иссякнут силы, теперь готовило поле к приходу утра, как вчера, как всегда, ибо миновали те легендарные дни, когда солнце, которому мы и так уж стольким обязаны, могло остановиться над Гаваоном, чтобы Иисус Навин успел победить пятерых царей, подступивших под стены города. Иосиф сел на циновке, откинул простыню, и в этот миг петух прокричал во второй раз, напоминая, что он забыл поблагодарить Творца всего сущего за те свойства, которыми наделен по воле Его петух. Благодарю тебя, Господи мой Боже, Царю Небесный, что даровал петуху способность отличать день от ночи, сказал Иосиф, и в третий раз прокричал петух. Обычно на заре крик его подхватывали, перекликаясь, все соседские петухи, однако сегодня безмолвствовали они, словно для них ночь еще не кончилась или же только наступила. Иосиф не без тревоги поглядел на жену, удивляясь, что она, просыпавшаяся обычно, как птичка, от легчайшего шороха, так крепко спит сегодня, словно некая посторонняя сила, снизойдя на нее или паря над нею, прижимает ее к земле, позволяя, однако, пошевелиться, — Иосиф и в полутьме заметил, как время от времени рябью по воде пробегает по ее телу дрожь. Уж не заболела ли? — подумал он, но чуть зародившуюся тревогу пресекла настоятельная надобность облегчиться — и это тоже было не как всегда — не ко времени и слишком уж остро. Осторожно поднявшись, чтобы жена не проснулась и не догадалась, куда идет он — ибо Закон велит всячески охранять достоинство мужчины, — он отворил заскрипевшую дверь и вышел на двор. Был тот час, когда утренние сумерки будто пеплом припорашивают весь мир. Иосиф направился к низенькой пристроечке, где было стойло осла, и там справил нужду, с полубессознательным удовольствием слушая, как сильная струя с шумом бьет в солому. Осел, прядая длинными волосатыми ушами, повернул к нему голову — блеснули в полумраке выпуклые глаза — и вновь сунул морду в ясли, ухватывая толстыми чуткими губами остатки корма. Иосиф подошел к висевшему на веревке кувшину, наклонил его, вымыл руки и, вытирая их подолом собственной рубахи, вознес хвалу Господу за то, что в неизреченной мудрости своей снабдил человека столь нужными для жизни природными сосудами и отверстиями, которые в должный миг открываются или закрываются. Тут он взглянул на небо, и сердце у него ёкнуло — солнце все еще тянуло со своим появлением, и на всем небосводе не было и малейшего следа заревого багрянца, не горело ни единого розового или светло-вишневого блика, но от края до края, насколько позволяли видеть стены, под необъятным куполом низких облаков, подобных полуразмотанным клубкам шерсти, разливался ни на что не похожий, невиданный лиловый цвет, который на востоке, там, где должно было проклюнуться солнце, светлел и подрагивал, а на всем остальном пространстве все сильнее и гуще набухал чернотой, делавшейся кое-где уже неразличимой с ночным небом. Иосиф за всю свою жизнь не видал такого, хоть и слышал от стариков, что, доказывая могущество Создателя, иногда случаются чудесные небесные явления — радуги вполнеба, лестницы, уходящие на головокружительную высоту от земли к небосводу, сыплющаяся с небес манна. Но никогда и слышать не доводилось о том, что небо может стать такого цвета, вполне способным возвещать и начало, и окончание чего-то, что над всем миром протянется плывущий в поднебесье купол, состоящий из маленьких, сцепленных друг с другом облачков, неисчислимых, как камни в пустыне. Душу его объял страх, почудилось, что пришел конец света и что единственным свидетелем того, как исполнит Господь свой приговор, будет он один: на небе и на земле не слышно было ни звука — ни говора, ни детского плача не доносилось из соседских домов, ни слов молитвы, ни проклятий, ни шума ветра, ни блеянья коз, ни собачьего лая. Почему же не поют петухи, пробормотал он и в смятении тотчас повторил эти слова,

словно петушиный крик мог дать последнюю надежду на спасение. А в небе тем временем произошли перемены. Постепенно, почти незаметно лиловый цвет с изнанки облачного купола стал блекнуть, сменяясь бледно-розовым, а потом красным, пока не исчез бесследно — был и нет, — и небо вдруг точно взорвалось светом, и бесчисленные золотые копья вонзились в облака, пропороли их насквозь, а те, неведомо почему и как, выросли, превратились в исполинские корабли с раздутыми парусами и заскользили по наконец очистившемуся небу. Освободилась от страха и душа Иосифа, глаза его расширились от изумления и восторга: зрелище, единственным свидетелем которого он был, принадлежало к числу небывалых, и уста его сами собой вознесли хвалу Творцу природы, но небеса во всем своем безмятежном величии ждали от него лишь тех простых слов, каких и можно ждать от человека: Слава тебе, Господи, за то, слава за это и еще за то. Он сказал их, и в то же мгновение, словно было произнесено заклинание, словно распахнулась наглухо запертая дверь, шум жизни ворвался туда, где прежде царило безмолвие, оттеснив тишину в случайные и отдаленные уголки пространства, вроде крохотных лесных прогалин, окруженных и скрытых шелестом и звоном деревьев. Утро поднималось и ширилось, и почти нестерпимой стала открывшаяся глазам красота, когда чьи-то исполинские руки подбросили в воздух и пустили в полет огромную райскую птицу с горящим на солнце оперением, развернули сверкающим веером тысячеглазый хвост павлина, заставили залиться немудрящей трелью какую-то безымянную птичку. Порыв ветра, родившегося здесь же, ударил Иосифу в лицо, взъерошил ему бороду, раздул рубаху, завертелся вокруг него, как перекати-поле, а быть может, все это было лишь мгновенным помрачением рассудка, рожденным вдруг вскипевшей кровью: вдоль хребта у него побежали огненные мурашки — признак надобы иной, еще более жгучей, чем та, что вывела его на двор.

Двигаясь так, словно какой-то вихрь нес его, Иосиф вошел в дом, притворил за собою дверь и постоял минуту, давая глазам привыкнуть к полутьме. Рядом бледно, бесполезно горела плошка. Проснувшаяся Мария лежала на спине, пристально и внимательно глядела прямо перед собой и, казалось, ждала. Иосиф молча приблизился, медленно стянул простыню, закрывавшую ее. Она отвела глаза, взялась за подол рубахи, но успела поднять ее лишь до живота, как Иосиф, склонившись над ней, сделал со своей рубахой то же самое, а Мария разомкнула колени. Впрочем, может быть, ноги ее раздвинулись еще раньше, во сне, и она осталась лежать так, охваченная то ли непривычной утренней истомой, то ли предчувствием, посещающим супругу, которая знает свой долг. Бог, как известно, вездесущ и, наверно, был тогда где-то поблизости, но в качестве бесплотного духа не мог видеть, как соприкоснулись их волосы, как его плоть проникла в ее плоть, исполняя свое предназначение, а когда священное семя Иосифа излилось в священное лоно Марии, Бога, наверно, уже не было там, ибо на свете есть нечто, недоступное разумению даже и того, кто сам это сотворил. Выйдя во двор, Бог не мог слышать сдавленного, как бы предсмертного, хрипа, который издал мужчина, и уж подавно — почти неуловимого стона, который не смогла сдержать женщина. Через минуту, а может, и раньше, Иосиф поднялся, высвободив Марию, и та одернула рубаху, натянула простыню, закрыла лицо сгибом локтя. Став посреди комнаты, воздев руки, устремив глаза в потолок, муж произнес самую ужасную из всех молитв: Благодарю тебя, Господи мой Боже, за то, что не создал меня женщиной. Бога к этому времени не было уже и во дворе, ибо не затряслись, не обвалились стены дома, не разверзлась земля. Тут в первый раз прозвучал тихий голос бессловесной доселе Марии, смиренно произнесшей: Благодарю тебя, Господи, за то, что создал меня по воле твоей. Заметьте, что слова эти ничем не отличаются от других, всем известных и прославленных: Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему. Очевидно, что женщина, которая могла произнести те слова, способна произнести и эти. Потом Мария, жена плотника Иосифа, поднялась со своей циновки, скатала ее вместе с мужниной и сложила вдвое покрывавшую их простыню.

А жили Иосиф и Мария в Галилее, в местечке Назарет, малолюдном и бедном, в доме, почти неотличимом от соседских, — в такой же, как у всех, убогой и кривой лачуге, сложенной из кирпича, обмазанной глиной, и, чтобы меньше уходило материала, при-

лепленной к холму, склон которого заменял одну стену. Никаких тебе архитектурных изысков — все как у всех, по раз и навсегда установленному шаблону, что, никогда не приедаясь, повторялся снова и снова. Как нам уже известно, Иосиф был плотником, недурно знавшим свое ремесло, однако начисто лишенным воображения, мастерства или выдумки, что и обнаруживалось всякий раз, как заказывали ему работу более или менее тонкую. Не думаю, однако, чтобы это обстоятельство возмутило даже самых требовательных моих читателей, — всем ведь понятно, что человеку, которому едва перевалило за двадцать, живущему в краю со столь ограниченными возможностями и еще более скудными потребностями, просто негде набраться опыта, невозможно развить эстетическое чувство, без чего достичь в своем деле совершенства никак не получится. И потому, не желая сводить достоинства человека к тому, в какой мере можно считать его истинным мастером, скажу, что Иосиф, несмотря на молодые годы, считался в Назарете человеком праведной жизни и богобоязненным, ревностно и неукоснительно исполнял все обряды, и, хоть Бог не отметил его, не выделил из всех прочих смертных даром красноречия, однако же суждения его были здравы, замечания точны и уместны, особенно если беседа предоставляла возможность допустить сравнение или дать определение, как-то связанные с его ремеслом, — упомянуть, например, о том, как ладно пригнан и плотно сколочен мир вокруг. Но поскольку Иосиф от природы был лишен крылатого, воистину творческого воображения, то ни разу за всю свою недолгую жизнь он не высказал ничего такого, что осело бы в памяти жителей Назарета и передавалось бы из уст в уста от детей к внукам, не произнес ни одной из тех чеканных фраз, смысл которых, заключенный в прозрачную словесную оболочку, столь ослепительно ясен, что в грядущем сможет обойтись без назойливых толкователей, или же, напротив, достаточно темен и туманен, чтобы в наши дни превратиться в лакомый кусочек для эрудитов разного рода.

Что же касается дарований и талантов Марии, то при всем желании не удалось обнаружить ничего особенного у той, что и в замужестве осталась хрупкой шестнадцатилетней девочкой, каких во все времена, в любых краях приходится тринадцать на дюжину. Впрочем, Мария при всей своей хрупкости работает, как и все женщины, — ткет, прядет и шьет, каждый Божий день печет в очаге хлеб, спускается к источнику за водой, а потом по узким тропинкам, по крутому склону, с тяжелым кувшином на голове карабкается вверх, под вечер же по тем же тропинкам идет собирать хворост, а заодно заполняет свою корзину высохшим навозом, колючими ветками чертополоха и терновника, которые в таком изобилии растут на крутых назаретских откосах, ибо ничего лучше их не измыслил Господь для того, чтобы растопить очаг или сплести венец. Вес набирается изрядный, и лучше бы эту кладь навьючить на осла, если бы не одно немаловажное обстоятельство — осел определен на службу Иосифу и таскает его деревяшки. Босиком ходит Мария к ручью, босиком — в поле, и убогие ее одежды от каждодневных трудов рвутся и пачкаются, так что приходится их снова и снова штопать, зашивать, стирать. Мужу достаются и обновки, и заботы, Мария же, как и все тамошние женщины, довольствуется малой малостью. И в синагогу ей можно войти лишь через боковую дверь, как Закон предписывает женщинам, и соберись их там вместе с нею хоть тридцать душ, сойдись они хоть со всего Назарета, хоть со всей Галилеи, надобно будет ждать, покуда не придут по крайней мере десять мужчин: тогда лишь может начаться богослужение, в котором им, женщинам, позволено принять участие лишь в качестве безмолвных и сторонних наблюдательниц. Не в пример мужу своему, Иосифу, она не славится набожностью и благочестием, хоть дело тут не в каких-то ее моральных изъянах, а в языке, придуманном, скорей всего, мужчинами и приспособленном ими для себя, так что, хоть женский род у слов этих есть, но отчего-то почти не в ходу.

Но в один прекрасный день, спустя примерно четыре недели с того незабываемого утра, когда тучи на небе налились небывалым лиловым цветом, Иосиф — дело шло к вечеру, — сидя у себя дома на полу, ужинал, запуская, как тогда было принято, всю пятерню в чашку, а Мария стоя ожидала, когда он насытится, чтобы доесть остатки, и оба молчали — одному сказать было нечего, а другая не знала, как облечь в слова то, что мелькало у нее в голове, — в калитку постучал один из тех нищих, которые, хоть и не были в Назарете в диковинку, забредали туда очень редко, поскольку место это было

убогое, а обитатели его в большинстве своем жили скудно и трудно, какового обстоятельства не могли не учитывать многоопытные и проницательные попрошайки, к делу приспособившие теорию вероятности и уяснившие, что в Назарете им не обломится. Но Мария отложила в чашку добрую порцию чечевицы с горохом и пряным луком, составлявшую ее ужин на сегодня, и отнесла все это нищему, который, не входя во двор, присел у ворот наземь и принялся за еду. Ей не надо было вслух спрашивать у мужа разрешения — он обходился кивком или качанием головы, ибо, как нам уже известно, слова были излишни во времена кесарей, когда одного лишь движения большого пальца довольно было, чтобы добить гладиатора или оставить его жить. А нищий, который, без сомнения, не ел уже дня три, ибо нужно проголодаться по-настоящему, чтобы в мгновение ока не только опростать, но и вылизать чашку, уже снова стучался в калитку — вернуть пустую посуду и поблагодарить за милосердие. Мария открыла: нищий стоял прямо перед нею, неожиданно огромный — гораздо выше ростом, чем показалось ей вначале, так что, быть может, и впрямь накормленный досыта человек разительно отличен от голодного, — и лицо его как бы озарилось внутренним светом, глаза засверкали, а невесть откуда налетевший ветер вдруг раздул и взметнул ветхие его лохмотья, и помутившемуся на миг взору тряпье это предстало богатым и пышным нарядом, во что поверить, конечно, дано тому лишь, кто при этом присутствовал. Мария протянула руки, чтобы принять у нищего глиняную чашку, которую причудливейшая игра по-особенному преломившихся солнечных лучей заставила вдруг заблистать чистейшим золотом, а в ту минуту, когда чашка переходила из рук в руки, раздался трубный глас, тоже невесть откуда взявшийся у жалкого попрошайки: Да благословит тебя Бог, жена, да пошлет он тебе детей, да избавит Он их от доли, что выпала тому, кто стоит пред тобой, чья жизнь исполнена горестей, кому некуда приклонить голову. Мария по-прежнему держала чашку перед собою, словно чашу для подаяния, словно ждала от нищего милостыни, и тот, ничего более не объясняя, нагнулся, взял пригоршню земли и, протянув руку над чашкой, дал земле медленно просыпаться сквозь пальцы, после чего произнес глухо и гулко: Глина — ко глине, прах — ко праху, земля — к земле, все, имеющее начало, обретет и конец, все, что начинается, родится из окончившегося. Мария, смутившись, спросила: Что означают эти слова? А нищий ответил: Жена, во чреве своем носишь ты сына, только эта участь и уготована людям — начинать и кончать, кончать и начинать. Как же ты узнал, что я беременна? Чрево твое еще не растет, но, когда дитя зачато, по-особому блестят глаза матери. Но тогда муж мой должен был бы по глазам моим понять, что я понесла от него. Быть может, взгляды ваши не встречаются. Скажи, кто же ты такой, что знаешь это, ни о чем не спрашивая меня? Я ангел, только никому не говори об этом.

В эту самую минуту блистающее одеяние вновь стало отрепьями, а исполинская фигура съежилась и усохла, словно ее опалило языком пламени, и чудесное это превращение свершилось как раз вовремя и сразу после того, как Мария и нищий благоразумно отстранились друг от друга, ибо в дверях дома, привлеченный голосами, звучавшими более сдавленно и глухо, чем водится это в обычной беседе между бродягой, попросившим подаяния, и хозяйкой, появился Иосиф, встревоженный тем, что беседа эта затянулась. Чего еще ему от тебя было надо? — спросил он жену, а та, не найдясь, что ответить, повторила слова нищего: Глина — ко глине, прах — ко праху, земля — к земле, все, имеющее начало, обретет и конец, все, что начинается, родится из окончившегося. Это он тебе сказал? Он. И еще сказал, что дитя, нерожденное, но зачатое, придает глазам женщины особый блеск. Ну-ка, погляди на меня. Гляжу. Глаза твои и вправду блестят необычно, сказал Иосиф. А Мария ответила: У тебя будет сын. Сумеречное небо между тем стало синеть, обретая первые краски ночи, и видно стало, что со дна глиняной чашки исходит черный свет, окутывая лицо Марии, меняя его черты, и глаза ее теперь будто принадлежали женщине намного старше ее годами. Значит, ты беременна? — спросил наконец Иосиф. Беременна, ответила она. Что же ты раньше не сказала? Как раз сегодня собиралась, ждала, пока ты отужинаешь. А тут вот и пришел этот бродяга? Да. Что еще он тебе сказал, больно долго вы с ним разговаривали. Сказал, что Господь пошлет мне столько детей, сколько ты захочешь. А что там у тебя на дне чашки, что это там так блестит? Там земля. Перегной черен, глина зелена, песок бел, и только песок блестит под

солнцем, но ведь сейчас ночь. Я — женщина, мне такое понять не под силу: он поднял пригоршню земли, бросил ее в чашку и проговорил эти вот слова. Земля — к земле? Да.

Иосиф откинул щеколду, выглянул на улицу, поглядел в обе стороны. Никого не вижу, исчез, сказал он, но Мария уже спокойно удалялась к дому, ибо знала, что бродяга, если он и вправду тот, за кого выдает себя, захочет — покажется, а не захочет — останется незрим. Чашку она поставила на приступку очага, достала уголек и зажгла светильник, дуя до тех пор, пока над фитилем не заплясал огонек. Вошел Иосиф — взгляд у него был озабоченный и недоуменный, и растерянность свою он пытался скрывать за неторопливостью движений и величавой осанкой, и выглядело это забавно и неуместно, ибо столь юному человеку было, по слову поэта, еще далеко до патриарха. Искоса, чтобы не заметила жена, он стал поглядывать на чашку со светящейся землей, причем старался сохранять на лице насмешливо-недоверчивое выражение, но старания его пропали втуне — Мария не поднимала глаз, и ее вообще словно не было тут. Иосиф, помедлив немного, встряхнул землю в чашке, подивившись тому, как она сначала потемнела, а потом вновь обрела неяркий ровный блеск и на поверхности ее заиграли, зазмеились стремительные искры. Не понимаю, сказал он, тут дело нечисто: может, это какая-то особенная земля, которую он принес с собою и сделал вид, что просто подобрал пригоршню, чудеса какие-то — никто не видывал пока, чтобы земля у нас в Назарете так сверкала. Мария не отвечала; она доела остававшуюся в котелке чечевицу с горохом и луком, жуя смоченный оливковым маслом ломоть хлеба. Отламывая его от краюхи, она произнесла, как учит Закон, но тоном смиренным и подобающим женщине: Слава тебе, Господи, Царю Небесный, что дал колосу этому вырасти из земли. Потом молча принялась за еду, меж тем как Иосиф впервые прислушался к произнесенным женою словам, которые и сам повторял всякий раз, когда преломлял хлеб, — прислушался и призадумался, словно толковал в синагоге стих из Торы или заповедь пророка, и попытался представить себе, какой же ячмень может вырасти из такой вот светящейся земли, какое зерно даст он, и что за хлеб из такого зерна получится, и что будет, если такой вот хлеб съесть. А ты уверена, что он просто подобрал эту горсть с земли? — снова обратился он к Марии, и Мария ответила: Да, уверена. И она не блестела? На земле не блестела. Она произнесла это так твердо, что должно было бы поколебаться то исконное недоверие, с каким мужчина относится к поступкам и словам женщин вообще, а своей законной супруги в особенности, однако Иосиф, как и всякий мужчина, живший в те времена в том краю, всем сердцем разделял весьма распространенное мнение, в соответствии с которым тем мудрее мужчина, чем лучше умеет он беречься от женских чар и уловок. Поменьше говорить с ними и еще меньше их слушать — таким правилом руководствуется всякий благоразумный человек, помнящий наставление рабби Иосафата бен Иоканаана: В смертный твой час взыщется с тебя за всякий разговор, что вел ты без крайней нужды с женой своей. И тогда Иосиф, спросив себя, можно ли этот разговор с Марией отнести к разряду нужных, и придя к выводу, что да, можно, ибо следует принять в расчет необычность происшествия, все же мысленно поклялся себе самому никогда не забывать святых слов своего тезки — Иосафат ведь то же, что Иосиф, — дабы в смертный час не предаваться запоздалым сожалениям, и дай Бог, чтобы час этот настал еще не скоро. И наконец, спросив себя, стоит ли поведать старейшинам из синагоги о таинственном нищем и о пригоршне светящейся земли, решил, что стоит. Сделать это надлежит для очистки совести и для того, чтобы защитить мир и покой своего домашнего очага.

Мария окончила ужин. Составила стопкой посуду, собираясь вымыть ее, но, само собой разумеется, отодвинула в сторону чашку, из которой кормила нищего. А комната освещалась теперь двумя огнями — горела коптилка, еле-еле справляясь с тьмою вдруг наступившей ночи, и шло от пригоршни земли в чашке ровное рассеянное сияние, словно от солнца, никак не решавшегося взойти на небе. Мария, сидя на полу, ждала, не скажет ли ей муж еще что-нибудь, но Иосифу, видно, нечего было ей сказать, и был он занят тем, что обдумывал речь, с которой намеревался обратиться завтра к мудрецам и старейшинам. Он досадовал отчасти, что не знал в точности, что же произошло между бродягой и женой, какие еще слова были сказаны ими друг другу, но спрашивать не хотел, и вот почему: во-первых, сомнительно было, чтобы Мария добавила еще что-нибудь к

сказанному, а во-вторых, тогда пришлось бы принять дважды повторенный рассказ жены на веру, то есть признать его истинность. Если же рассказ ее лжив, ему, Иосифу, все равно во лжи ее не уличить, а она, зная, что лгала и лжет, посмеется над ним втихомолку, пряча лицо под покрывалом, как, судя по всему, смеялась над Адамом Ева, которой еще трудней было таить свой смех, ибо в ту пору не носили покрывал и нечем, стало быть, было закрыть лицо. Мысль Иосифа, дойдя до этой точки, далее двинулась путем естественным и неизбежным, и таинственный попрошайка представился ему посланцем Искусителя, который, не будучи столь наивен, чтобы не понимать, что времена ныне не те и что теперешних людей так запросто, как раньше, не проведешь, не стал прибегать к повторению старого своего трюка с запретным плодом, а измыслил, используя легковерность и коварство женской натуры, новый — со странною, светящеюся землей. Голова у Иосифа точно огнем объята, но при этом он остался доволен собой и ходом своих рассуждений. Мария же, не подозревая даже, в какие дебри демонологии углубился ее муж и какую тяжкую ответственность намерен он на нее возложить, пытается тем временем осмыслить ту странную пустоту, которую стала она ощущать с той самой минуты, как поведала Иосифу о своей беременности. Пустоту эту испытывает она не внутри своего тела, ибо теперь со всей непреложностью и в самом прямом смысле слова сознает, что оно заполнено. Чувствует она некую странность вокруг и вне себя, словно белый свет вот-вот померкнет или отодвинется в дальнюю даль. Она вспоминает — но и воспоминания эти как бы о другой жизни, — что после ужина и перед тем, как раскатать на ночь циновки, всегда находилось у нее занятие по дому, а вот теперь думает, что не надо ей двигаться с места, вставать с пола: сиди как сидишь, гляди на свет, мерцающий над чашкой, жди рождения сына. Из уважения к истине скажем, что мысли Марии не были так отчетливы и ясны, ибо мысли больше всего напоминают спутанный клубок ниток с торчащими во все стороны концами, покорно-податливыми или, наоборот, натянутыми так туго, что, дернув за них, можешь пресечь дыханье, а то и вовсе ненароком удавиться, но чтобы узнать и измерить всю длину этой втрое скрученной и перепутанной нити, надо размотать и растянуть клубок, а это при всем желании самому, без посторонней помощи сделать нельзя — кто-то в один прекрасный день должен явиться и сказать, где следует перерезать пуповину, и связать мысль с тем, что породило ее.

На следующее утро Иосиф, которого всю ночь мучил один и тот же повторяющийся кошмар — ему снова и снова снилось, будто он падает на дно исполинской перевернутой чаши, — отправился в синагогу просить совета и помощи у старейшин. Случай его был необычным до такой степени — а до какой именно, он и сам даже не представлял себе толком, поскольку, как мы с вами знаем, не был осведомлен о самом главном, о сути происшествия, — что, если бы не та безупречная репутация, какой пользовался он у старейших и уважаемых людей Назарета, пришлось бы ему, пожалуй, возвращаться домой ни с чем, бегом, с горящими от стыда ушами, в которых бронзовым гудом отзывались бы слова Писания: Легковерный достоин осуждения, а он, потеряв присутствие духа, не сумел бы, вспомнив сон, мучивший его всю ночь напролет, возразить словами из того же Писания: Зеркало и сны суть одно и то же, в том и в других видит человек собственный свой образ. Но старейшины, выслушав его рассказ, сначала переглянулись, а потом обратили взоры к Иосифу, и самый старый из всех, переведя смутное недоверие в прямоту вопроса, сказал: То, что ты поведал нам, есть правда, вся правда и только правда? А плотник ответил: Господь свидетель, что это правда, вся правда и только правда. Старейшины принялись совещаться и совещались долго, покуда Иосиф стоял в сторонке, а потом, подозвав его, объявили, что, поскольку между ними возникли разногласия, приняли они решение отправить троих посланцев расспросить саму Марию об этих странных происшествиях, выяснить, кто же был тот нищий бродяга, которого никто больше не видел, как выглядел он, какие именно слова произнес, появлялся ли он в Назарете когда-либо еще, — и попутно вызнать у соседей все, что может иметь отношение к этому таинственному человеку. Сердце Иосифа возвеселилось, ибо он, хоть и не сознавался в этом даже себе самому, отчего-то робел при мысли о том, что придется возвращаться к жене одному, — за эти сутки она изменилась: как велит обычай и приличия, не поднимала глаз, но в лице ее появилось при этом и нечто новое, некий нескрываемый вызов — та-

кое выражение свойственно тому, кто, зная больше, чем намерен сказать, желает, чтобы о знании этом ведомо было всем. Истинно, истинно говорю вам, нет пределов лукавству женщины, даже самой чистой помыслами.

И вот следом за Иосифом, указывавшим дорогу, вышли трое посланцев, чьи имена — Авиафар, Дотаим и Закхей — приводятся здесь исключительно для того, чтобы на нас не пала хотя бы тень подозрения в исторической недобросовестности, каковое подозрение способно зародиться в душах людей, узнавших об этих фактах и версиях из других, отличных от наших, источников, быть может более освященных традицией, но оттого не более достоверных. А назвав посланцев по именам, мы доказываем самый факт существования тех, кто имена эти носил, тем самым лишая сомнения если не почвы, то, уж во всяком случае, убедительности. И поскольку не каждый день ветер ерошит бороды и раздувает хламиды трех шагающих по улице мудрых старцев, коих так легко узнать по особой величавости их поступи и осанки, то вскоре собралась вокруг них орава мальчишек, с извинительной по малолетству непочтительностью хохотавших, галдевших и бежавших следом за посланцами до самого дома Иосифа, изрядно раздосадованного тем, что приход старейшин сделался известен всему Назарету благодаря сопровождавшим это шествие шуму и крикам. Привлеченные ими, появились на пороге своих домов женщины и в предвкушении новостей закричали детям, чтобы бежали поскорей к дому Марии да разузнали, что это там за сборище. Зряшные это были старания, ибо вошли в дом лишь хозяин и трое старейшин, и захлопнувшаяся перед самым носом любопытных соседок дверь и по сию пору лишает нас возможности узнать, что же происходило в жилище плотника Иосифа. А неутоленное любопытство разожгло воображение, и нищий, которого никто так и не видел, превратился в вора и грабителя, что есть совершеннейший поклеп, ибо ангел — вас попрошу никому не говорить о том, что это был ангел, — ничего не украл, а съел то, что ему дали, да еще и оставил некий сверхъестественный залог. Так что покуда двое старейшин расспрашивали Марию, третий, не столь обремененный годами и носивший имя Закхей, пошел по соседям собирать сведения об этом самом нищем, наружность которого описала жена плотника Иосифа, в чем нимало не преуспел, ибо все в один голос утверждали, что вчера никакой нищий через городок не проходил, а если и проходил, то к ним не стучался, и вообще это, должно быть, был вор, который, обнаружив, что в доме есть люди, прикидывался попрошайкой и уходил от греха подальше — старая как мир воровская уловка.

И Закхей ни с чем вернулся в дом Марии как раз в ту минуту, когда она в третий или в четвертый раз пересказывала то, что нам уже известно. Она стояла перед старейшинами, как подсудимая, а в чашке на полу, подобно ровно бьющемуся сердцу, мерно пульсировала светом загадочная горсть земли. Рядом с женой сидел Иосиф, старейшины же — перед ними, подобно судьям, и первым заговорил Дотаим, средний по возрасту. Пойми нас, женщина, мы не то что не верим твоим словам, но ты — единственная, кто видел этого человека, если это был человек, и муж твой только слышал его голос, и вот Закхей, обойдя соседей, сообщил нам, что никто из них его не видал. Господь свидетель, что я сказала вам правду. Правду-то правду, но всю ли правду и все ли в твоих речах правда? Я готова подвергнуться испытанию, выпить горькой воды в доказательство того, что не виновна ни в чем. Горькую воду дают пить женщинам, заподозренным в супружеской неверности, а у тебя, Мария, и времени-то не было изменить мужу. Ложь, говорят, та же измена. Это другая измена. Уста мои так же верны, как и я сама. Тут заговорил Авиафар, самый древний старец: Мы ни о чем тебя не станем более расспрашивать, но помни, что Господь семикратно воздаст тебе за правду и семижды семь раз взыщет с тебя, если ты солгала нам. Он замолчал и молчал довольно долго, а потом, обращаясь к своим спутникам, спросил: Что делать нам с этой блистающей землей? Благоразумно было бы не оставлять ее здесь, весьма вероятно, что это козни нечистого. Сказал Дотаим: Пусть вернется она туда, откуда была взята, и вновь станет темной. Сказал Закхей: Мы не знаем, кто был тот нищий, почему не хотел он, чтобы видел его кто-либо, кроме Марии, не знаем и почему пригоршня земли в глиняной чашке испускает свет. Сказал Дотаим: Отнесем ее в пустыню, подальше, чтобы никто не видел, пусть ветер развеет ее, пусть дождь погасит этот свет. Сказал Закхей: Если земля эта приносит счастье, никуда ее уносить не надо,

если же она во зло, пусть пострадают от него те лишь, кто был для этого избран и предназначен, кому землю эту принесли. И спросил тогда Авиафар: Что же ты предлагаешь? И ответил Закхей: Выкопаем здесь яму и зароем в ней эту чашку, но сначала прикроем крышкой, дабы эта земля не смешалась с землей обычной: добро и закопанное не пропадет втуне, а зло хоть будет не видно. Спросил Авиафар: Что ты думаешь об этом, Дотаим, а тот ответил: Закхей дело говорит, так и поступим. И сказал Авиафар Марии: Отойди, и мы приступим. Куда же я отойду? — спросила она, а Иосиф с внезапной тревогой вмешался: Если уж закапывать чашку, то не здесь, а во дворе, а то я уснуть не смогу, зная, что подо мною похоронен свет. И сказал ему Авиафар: Делай как знаешь, — и Марии: Ты оставайся здесь. Мужчины вышли во двор, Закхей нес чашку. Вскоре послышались частые и мерные и сильные удары мотыги, это Иосиф копал землю, а спустя несколько минут донесся голос Авиафара: Ну, хватит, глубже не надо. Мария, прильнув к щели в двери, видела: муж черепком разбитого кувшина накрыл чашку и сунул ее в яму, чуть не по плечо запустив туда руку, потом выпрямился, снова взялся за мотыгу, забросал яму землей, а землю вокруг притоптал.

Четверо мужчин постояли еще во дворе, переговариваясь вполголоса и поглядывая на пятно свежей земли, как будто только что зарыли клад и теперь стараются покрепче запомнить это место. Но говорили они, конечно, о другом, потому что вдруг послышался, заглушая остальных, голос Закхея, и в голосе этом звучала как бы насмешливая укоризна. Что же ты за плотник такой, Иосиф, что беременной жене кровать смастерить не можешь? Старцы засмеялись, и засмеялся с ними Иосиф не без угодливости и смущения — как тот, кому указали на оплошность и кто не хочет в ней признаваться. Мария видела, как они шагают к калитке, как выходят на улицу, а потом, присев у очага, повела глазами по комнате, словно ища, куда надо будет поставить кровать, если муж и вправду соберется сколотить ее. Она не хотела думать ни о глиняной чашке, ни о светящейся земле, ни о том, в самом ли деле в доме у нее вчера побывал ангел, или же нищий попрошайка подшутил над нею. Женщина, когда ей обещают поставить в комнате кровать, должна думать только, где лучше кровать эта встанет.

•

Когда дни месяца Тамуз перетекли в дни месяца Ав, когда уже начался сбор винограда, и в жесткой темной зелени смоковниц засветились, поспевая, первые ягоды, и происходили описанные выше события, были среди которых и самые обычные и обыденные, ибо есть ли что в мире обыденней и обычней, чем слова женщины, по прошествии известного срока после телесной близости с мужем к мужу обращенные: Я тяжела от тебя — и совершенно неслыханные, поскольку никоим образом нищий странник, будь он хоть семи пядей во лбу, не мог возвестить женщине ей самой пока неведомую беременность, тем более что он-то, поверьте, к этой беременности отношения не имел никакого, ибо за ним числилось лишь это необъяснимое происшествие с пригоршней земли, засветившейся в чашке, которую, благодаря недоверчивости Иосифа и благоразумной осторожности старцев, убрали с глаз долой, закопав поглубже во дворе. Наступали знойные дни, засуха оголяла поля, ломкой и хрупкой делалась трава, и Назарет, в удушливые дневные часы окруженный со всех сторон безмолвием и одиночеством, ждал пришествия звездной ночи, чтобы услышать наконец, как дышит во тьме пространство, как звучит музыка небесных сфер. Отужинав, Иосиф усаживался во дворе, справа от двери, наслаждался первым дуновением вечерней прохлады, овевавшим лицо и бороду. Когда становилось совсем темно, выходила во двор и Мария, тоже садилась наземь, как и муж, только по левую сторону двери, и так сидели они молча, слушали доносившийся из домов по соседству гул и звук семейной жизни, неведомой им, бездетным пока супругам. Послал бы Господь мальчика — не раз в течение дня думал Иосиф, и Мария тоже говорила про себя: Послал бы Господь мальчика, и хотели они оба одного и того же, но по разным причинам. Чрево Марии росло медленно, минули недели и месяцы, прежде чем положение ее стало всем известно, и она, по застенчивости и скромности нрава мало общавшаяся с соседками, вызвала всеобщее изумление, словно средь бела дня появилась на людях в ночной сорочке. Очень может быть, что скрытность ее имела и еще одну, куда более тайную причину, а именно: ни за что на свете она не хотела бы, чтобы кто-нибудь

сумел усмотреть и обнаружить связь между ее беременностью и появлением в Назарете таинственного нищего, и эта предосторожность, нелепой кажущаяся нам, осведомленным о том, как все бывает и как все было на самом деле, в иные часы, когда тело истомно млеет, а душа предается странным и вольным мечтаниям, заставляла Марию, одновременно и напуганную вздорной неосновательностью своих сомнений, и объятую неведомым прежде трепетом возбуждения, спрашивать себя: кто же истинный и настоящий отец ребенка, который уже рос у нее под сердцем? Впрочем, известно, что женщины в интересном положении склонны предаваться еще более нелепым фантазиям, испытывать желания немыслимые и неодолимые — еще почище того, что обуревало Марию и которое мы, дабы не пятнать добропорядочность будущей матери, сохраним в тайне.

А время шло, и месяц Ав неспешно перетек в раскаленную жаровню месяца Элула, когда с юга, из пустыни, прилетает обжигающий ветер и слаще меда делаются финики и инжир, а Элул сменился месяцем Тишри, когда умягченная первыми осенними дождями земля принимает в себя лемех сохи и семя, а за Тишри настал и месяц Хешван, когда приходит пора сбора олив, и тут Иосиф, воспользовавшись тем, что стало наконец попрохладней, решился смастерить грубый топчан, — как мы знаем, для создания того, что заслуживало бы названия кровати, он должным мастерством наделен не был, — чтобы Марии после стольких ожиданий было где полежать, покоя тяжелый и неудобный живот. Под конец месяца Кислёв зарядили проливные дожди, не прекращавшиеся почти весь следующий месяц Тевет, и потому Иосифу пришлось перенести постройку кровати со двора в дом, и, открыв дверь, чтоб было светлее, он пилил, обтесывал, строгал и сколачивал грубые козлы, оставляя вокруг себя кучи опилок и стружек, которые Мария потом сметала, собирала и выносила опять же во двор.

Настал месяц Шват, зацвел миндаль, а когда минул месяц Адар и праздник Пурим, явились в Назарет римские солдаты из тех, что давно уже ходили по городкам и селам Галилеи и другим областям царства Ирода, сообщая жителям, что повелением императора Августа те, кто имеет жительство в провинциях, управляемых консулом Публием Сульпицием Квирином, должны пройти перепись, цель которой, как и всех предшествующих, — привести в соответствие с истинным положением дел списки платящих налоги Риму, для чего им всем без исключения надлежит вернуться в места, уроженцами коих они являются. Большой части горожан, слушавших на площади императорский указ, не было до него никакого дела, ибо они из поколения в поколение жили в Назарете, где и должны были пройти перепись. Были, однако, среди них и люди пришлые — из Гавлонитида или Самарии, из Иудеи, Переи или Идумеи и из прочих мест, ближних и дальних, — и вот они-то сразу призадумались и принялись вполголоса бранить неуемную алчность Рима и толковать между собой о том, что вот скоро придет время убирать ячмень и лен, а рабочих рук-то не будет. А те, кто был обременен многочисленными семьями, малыми детьми или престарелыми родителями или дряхлыми стариками, задумались, как одолеть предстоящий им долгий и трудный путь, у кого бы принанять за небольшие деньги осла с телегой, как запастись в дорогу съестным и водой, ибо идти придется через пустыню, где раздобыть потребное количество циновок и одеял, как защититься от дождей и ночной стужи, поскольку ночевать в пути придется, очень возможно, на голой земле, под открытым небом.

Иосиф узнал об императорском указе, когда солдаты уже удалились, неся отрадную весть в другие места: рассказал ему об этом сосед по имени Анания, не поленившийся для такого дела встать спозаранку. Ананию-то никуда из Назарета трогаться нужды не было: мало того, что он, как местный уроженец, перепись должен был пройти здесь, но в этом году решил из-за страды не ходить и в Иерусалим на праздник опресноков, иначе называемый Пасха. Он почел своим долгом уведомить соседа и был рад исполнить свой долг, хотя, быть может, радость эта слишком уж сильно отражалась у него на лице, и не дай нам Бог приносить дурные вести, но ведь и у самых лучших людей бывают злые побуждения, а мы этого Ананию недостаточно хорошо знаем, чтобы решить — всегда ли у него было такое выражение лица или же запечатлелось на нем злорадное удовольствие того, кто поддался искушению Сатаны, у которого в ту пору не было, что ли, дел поважней? Так или иначе, Анания постучался в ворота и позвал Иосифа, но тот не сразу рас-

слышал, потому что с грохотом вгонял молотком гвозди. У Марии же слух был тоньше, но звали-то не ее, а мужа, так что она дернула его за рукав и сказала: Оглох, что ли, тебя зовут. Анания между тем и голос повысил, и стучать стал сильней, и тогда Иосиф пошел открыть и узнать, что нужно соседу. А сосед, войдя, после первых же приветствий осведомился таким тоном, словно хотел удостовериться в уже и так известном: Ты, Иосиф, откуда родом? На что тот, ничего не подозревая, отвечал простодушно: Из Вифлеема. Это под Иерусалимом, что ли? Да. А пойдешь ты в Иерусалим на праздник Пасхи? — спросил тогда Анания, а Иосиф ответил: Нет, в этом году не пойду, жене вот-вот рожать. Вон оно что. А ты чего спрашиваешь? Тогда Анания воздел руки к небу, а на лице у него отразилась неутешная скорбь: Ох, бедняга ты, Иосиф, ждут тебя тяжкие испытания и незаслуженные мытарства: ты вот занят своим ремеслом, а того не знаешь, что придется тебе все бросить и идти Бог знает куда, ибо, хоть для Бога ничего нет невозможного, он всемогущ и всеведущ и безмерна мощь его на земле и на небе, однако, да простит он меня, я, право же, не знаю, чем он тебе поможет, ибо тут уж власть кесаря. Спросил Иосиф: О чем ты? Ответил Анания: О том, что пришли римские солдаты и велели, чтобы до истечения месяца Нисана все израильтяне прошли перепись там, где они родились, так что тебе, горемычному, путь предстоит дальний и трудный.

Прежде чем Иосиф нашелся что ответить, появилась во дворе жена Анании, именем Шуя, и, направившись к Марии, тоже запричитала: Ай, бедная ты несчастная, что же с тобой будет, ты ведь на сносях, а придется тебе отправляться неведомо куда. В иудейский город Вифлеем, сообщил ей муж. Да это же на краю света! — воскликнула Шуя, и были это не просто слова, она знала, что говорит, ибо во время одного из паломничеств в Иерусалим доходила и до Вифлеема, расположенного неподалеку, чтобы помолиться у гробницы Рахили. Мария не отвечала, ожидая, чтобы первым заговорил муж, но Иосиф никак не мог справиться с оторопью: такую важную новость, облеченную в приличествующие случаю слова и главное — произнесенную нужным и верным тоном, услышать Мария должна была от него, из первых уст, а вовсе не от с криками вбежавших во двор соседей. И потому, чтобы скрыть недовольство собой, он с видом важным молвил рассудительно: Бог не всегда исполняет волю кесаря, но кесарь никогда и ничего не совершит против воли Бога. Он помолчал, чтобы все в полной мере прониклись глубоким смыслом этих слов, и добавил: Праздник Пасхи встречу дома, как раньше решил, а потом, раз уж так нам велено, отправимся в Вифлеем и, если будет на то Божья воля, успеем вернуться к сроку, чтобы Мария родила дома, а если нет — что ж, значит, наш первенец появится на свет в краю своих предков. Или на дороге, пробормотала Шуя, но Иосиф расслышал и ответил: Многие из наших соплеменников рождались на дороге, мой сын будет одним из них. Прозвучало это как приговор, обжалованию не подлежащий, и именно так восприняли его, не найдя что сказать, Анания и жена его. Они-то прибежали к сосе-

дям посочувствовать им, а заодно насладиться собственной участливостью, а теперь показалось, что их бесцеремонно выставляют вон, но в эту самую минуту Мария попросила Шую зайти в дом — она, мол, хочет спросить у нее совета насчет шерсти, из которой собиралась она что-то спрясть, а Иосиф, устыдясь, наверно, своей неприветливости, сказал Анании: Попрошу тебя, пока мы с женой будем в отлучке, присматривать, как водится между добрыми соседями, за домом моим, ибо, если даже все пойдет благополучно, раньше чем через месяц мы не вернемся — дорога туда да обратно, да еще неделя, которую жена должна будет провести в затворничестве, чтобы очиститься после родов, а если родится девочка, чего, надеюсь, Господь не попустит, то и еще больше. Анания ответил, что Иосиф может ни о чем не беспокоиться, за домом его он будет следить и заботиться как за своим собственным, а потом высказал вдруг пришедшую в голову мысль: Не окажешь ли ты, Иосиф, мне честь, отметив праздник Пасхи у меня, с моими родичами и друзьями, ибо никого из близких в Назарете нет ни у тебя, ни у Марии с тех пор, как родители ее умерли, и притом в возрасте столь преклонном, что и поныне недоумевают люди, как это Анна могла зачать дочку от Иоакима. Ответил ему Иосиф с насмешливой укоризной: Анания, вспомни, что бормотал себе под нос недоверчивый Авраам, когда Господь подал ему весть о том, что продлится его род, не может, мол, родиться ребенок от столетнего мужа и девяностолетней жены, а Иоакиму и Анне лет

было поменьше, чем Аврааму и Саре в те дни, так что Господу, для которого вообще невозможного нет, теще моей и тестю послать дитя было еще проще. Отвечал на это сосед: Времена тогда были другие, и Господь всякий день обнаруживал свое присутствие прямо, а не только в созданиях своих и творениях. Иосиф же, доказывая твердость веры, в которой был наставлен, ответил на это так: Господь, любезный мой сосед, — это и есть время, для Господа все времена одинаковы, и Анания счел неуместным затевать спор о власти, как естественной, так и благоприобретенной, Бога и кесаря, поскольку вопрос был запутанный. Иосиф, несмотря на то что беседа их приняла такой богословский оборот, не позабыл о приглашении соседа отпраздновать Пасху с ним и его близкими и, решив приглашение принять, не хотел соглашаться слишком поспешно и радостно, ибо всем известно: принять с благодарностью услугу или любезность есть признак учтивости и примета хорошего рода, но чрезмерно ликовать и восторгаться не следует, чтобы не подумали, что мы, мол, только о том и мечтали. Он поблагодарил соседа за честь и доброе к себе отношение, а Шуя тем временем вместе с Марией вновь вышла во двор, говоря ей: Золотые у тебя руки, а Мария зарделась, как девушка, потому что хвалили ее при муже.

И от этой столь многое обещавшей Пасхи осталось у Марии светлое воспоминание всего лишь о том, как не пришлось ей помогать готовить праздничное угощение и потчевать сидевших за трапезой мужчин. Другие женщины, хлопотавшие в кухне, избавили ее от этого, говоря, что, мол, этого тебе нельзя — а они, наверно, знали, что можно, а что нет, ведь почти у каждой из них были дети. Так что ей ничего иного и не пришлось делать, как прислуживать Иосифу, сидевшему на полу вместе с другими мужчинами, — наливать ему вина или подкладывать на тарелку деревенские яства вроде пресных лепешек, или постной ягнятины, или горьких трав, или шариков, слепленных из смолотой в муку сушеной саранчи, — традиционным этим кушаньем Анания гордился особенно, но иные гости воротили от него нос, хоть и совестились своего отвращения, ибо в глубине души чувствовали, что недостойны следовать примеру многих пророков, которые, скитаясь по пустыне, выдавали нужду за добродетель, а саранчу — за неземного вкуса лакомство. К концу ужина, впрочем, бедная Мария отсела в сторонку, вся в крупной испарине, не зная, как поудобней пристроить свой большой живот, плохо уже различая смех, разговоры, рассказы, молитвословия и чувствуя, что с каждой минутой она все непреложней и бесповоротней готова уйти из этого мира, с которым тончайшей нитью связывала ее лишь последняя ее мысль, мысль ни о чем, не облеченная ни в слова, ни в образ, и скорее даже не мысль, а просто ощущение того, что она думает — неведомо о чем и для чего. Она очнулась как от толчка, потому что из мрака этого полузабытья выплыли перед нею сначала лицо нищего, а потом и все его огромное тело в лохмотьях, и ангел — если это был ангел — вошел в ее сон без предупреждения и не как случайное воспоминание и смотрел на нее отстраненно, рассеянно и чуть вопросительно и, быть может, с еле уловимым оттенком любопытства, а быть может, и вообще ничего этого не было, но сердце Марии затрепыхалось, как испуганная птичка, и она сама не знала, от страха ли, оттого ли, что кто-то шепнул ей на ухо нежданные и смущающие слова. Мужчины и юноши по-прежнему сидели на полу, а разгоряченные женщины сновали взад-вперед, разнося последние кушанья, но уже стало заметно, что все насытились и пресытились и, хотя оживляемая вином беседа звучала все так же громко, веселье явно шло на спад.

Она поднялась, и никто не обратил на нее внимания. Уже совсем стемнело, и свет звезд на ясном безлунном небе, казалось, вызывал какой-то отдаленный, почти неуловимый гул, и жена плотника Иосифа восприняла его не слухом, а неведомо как — кожей, костями, нутром, всей своей плотью, которую словно пробила, все никак не отпуская, нескончаемо блаженная судорога сладострастия. Мария пересекла двор и выглянула наружу. Она никого не увидела. Ворота ее дома, стоявшего по соседству, были заперты — она сама заперла их перед уходом, но воздух колебался, как будто кто-то прошел, пробежал, а может быть, пролетел там, не оставив после себя ничего, кроме этого смутного, ей одной внятного знака.

По прошествии трех дней, уладив дела с заказчиками, согласившимися подождать до его возвращения, простившись со старейшинами в синагоге, вверив попечению со-

седа Анании дом свой и добро, в этом доме находящееся, плотник Иосиф с женой двинулся из Назарета в Вифлеем, чтобы в соответствии с повелением кесаря пройти там перепись. Если по причине неисправной связи или сбоев в синхронном переводе на небесах узнали о римских декретах с опозданием, то Господь Бог очень, должно быть, удивился, увидев, как неузнаваемо переменился Израиль, который толпы людей пересекали во всех направлениях, тогда как раньше и всегда в дни, следовавшие за праздником Пасхи, всякое движение в стране было центробежным и потоки людей растекались по стране из одного лишь места. Мы имеем в виду земное солнце, пуп земли, Иерусалим. Можно, конечно, не сомневаться, что абсолютная божественная проницательность совладает с силой привычки и легко позволит даже с такой небесной высоты заметить перемены и отличить богомольцев, неспешно бредущих привычными путями и проторенными дорогами в родные городки и деревни, от тех, кто, свершив или нет свой священный долг перед Богом в Иерусалиме, шагал теперь исполнять мирское повеление кесаря, хотя нетрудно и перевернуть этот тезис и представить указ императора Августа боговдохновенным, если Бог по ему одному ведомым причинам и вправду захотел, чтобы Иосифу и его жене именно в этот отрезок их жизни выпало на долю идти в Вифлеем. Эти рассуждения лишь на первый взгляд кажутся бесцельным и праздным умствованием — на самом деле они имеют к нашему рассказу самое непосредственное отношение, и благодаря им можно будет представить, как шли наши путники одни-одинешеньки по местам безлюдным и диким, где не было ни души и не от кого было ждать сочувствия или помощи, и рассчитывать им приходилось исключительно на милосердие Господа, а поддержки ждать лишь от ангелов небесных. Впрочем, когда Иосиф и Мария только выйдут из Назарета, дело будет обстоять не так: вместе с ними двинутся еще два семейства, причем весьма многочисленные, так что всего со старцами, отроками и младенцами получится душ двадцать — можно сказать, целое племя. Идут они, разумеется, не в Вифлеем: одно семейство отстанет на полпути, в деревне неподалеку от Рамалы, другое направится дальше к югу, да и потом все равно они расстанутся, потому что одни поспешают, другие еле плетутся, а на дороге появятся новые попутчики, не говоря уж о встречных, которые — как знать? — должны пройти перепись в Назарете. Впереди, отдельно от прочих, — мужчины и отроки, достигшие совершеннолетия, то есть тринадцати лет, а женщины, девушки и старухи нестройной толпой тащатся позади, и с ними дети всех возрастов. В начале пути мужчины громогласным хором возносят соответствующую обстоятельствам молитву, которой тихо и неразборчиво вторят женщины, накрепко усвоившие, что, молись не молись, вряд ли будет молитва твоя услышана, даже если ты Бога ни о чем не просишь, а всего лишь возносишь ему хвалу.

Мария из всех женщин оказалась единственной, кто на сносях, и тяготы пути для нее так мучительны, что, не пошли ей судьба ослика, наделенного бесконечным терпением и столь же безмерной выносливостью, она бы и шагу не сделала, а, окончательно потеряв присутствие духа, попросила бы, чтоб посадили ее на обочину дороги в ожидании истечения сроков, которые, как мы знаем, близки, хоть в точности и неизвестно, где и когда они наступят, а обычай и вера не велят держать пари насчет того, когда и где появится на свет сын плотника Иосифа. Ну а покуда час разрешения от бремени не настал, Мария в тягостях своих сможет рассчитывать не столько на заботы — небрежные и редкие — мужа, постоянно занятого и увлеченного беседой с попутчиками, сколько на испытанную кротость и смирный нрав осла, который вез ее, сам удивляясь — если, конечно, перемены в жизненном укладе и в клади на спине доступны разумению осла, — что его не подстегивают, не понукают и что он может идти, как вздумается ему и его длинноухим сородичам, тоже постукивавшим копытами по дороге. Из-за того, что шли они шагом, женщины часто отставали от передовых мужчин, и тем тогда приходилось останавливаться и ждать, пока их догонят, хоть и делали при этом вид, что остановились просто передохнуть, ибо пусть дорога и мирская, принадлежит всем и никому, но известно, что там, где петухи кукарекают, куры не кудахчут, разве что когда снесутся, и в том залог упорядоченности мира, в котором выпало нам на долю жить. И вот Мария, мягко покачиваясь в такт неспешному аллюру своего скакуна, ехала царицей, выделяясь среди своих спутниц, поскольку они все шли пешком, а прочие ослы навьючены были их пожитка-

ми и разнообразным домашним скарбом. Ну а чтобы женщинам было полегче, чтобы они могли передохнуть, Марии давали на руки то одного, то другого, то третьего ребенка, и так вот она заранее привыкала к ожидавшей ее материнской если не доле, то ноше.

В первый день, пока путники еще не втянулись, пройдено не слишком много, не забывайте тем более, что шли с ними вместе старики и малые дети: первые за долгую жизнь уже порастратили все свои силы и даже не притворялись, будто что-то осталось; вторые же, еще не умея правильно распределять их и ими распоряжаться, истощили их часа за два неуемной беготней, ибо носились они по дороге так, словно близится конец света и надо с толком использовать последние минутки. Привал устроили в большой деревне, называвшейся Изреель, на постоялом дворе или в странноприимном доме, где по причине небывалого наплыва путников было настоящее столпотворение, все суетились и кричали как сумасшедшие, хотя, по правде говоря, крику было больше, чем суеты: уже очень скоро глаз и ухо привыкали к толчее и гомону, так что сначала угадывалось, а потом и подтверждалось, что в постоянном и беспрестанном коловращении людей и животных в четырех стенах постоялого двора есть бессознательное и стихийное стремление к упорядоченности — в точности как в растревоженном муравейнике, обитатели которого лишь на первый взгляд мечутся и снуют взад-вперед без цели и смысла. Так или иначе, трем семействам выпала удача устроиться на ночлег не под открытым небом, а под навесом: мужчины улеглись по одну сторону, женщины с детьми — по другую, впрочем, все это произойдет потом, когда спустится ночь и постоялый двор со всеми своими постояльцами погрузится в сон. А до тех пор женщинам надо было еще браться за стряпню, набирать воды из колодца, а мужчинам — расседлать, разнуздать, развьючить ослов, напоить их, да притом улучить такой момент, когда у водопойной колоды не будет верблюдов, потому что те, хоть и было их всего два, выпивают все до последней капли, так что приходится раз за разом без счета таскать воду, снова и снова наполняя колоду, и немало времени пройдет, прежде чем верблюды наконец утолят жажду. Справившись с этим, задав корму ослам, сели ужинать и сами путники — первыми, как водится, мужчины, а уж потом женщины, ибо они по самой природе своей — существа вторичные, достаточно в очередной и не в последний раз вспомнить прародительницу нашу Еву, сотворенную во вторую очередь, после Адама, да еще и из его ребра, так что признаем: есть на свете такое, что понимаешь тогда лишь, как припадешь к истокам.

Ну так вот, после того, как насытились мужчины, а женщины в своем углу доели остатки ужина, вышло так, что один из самых древних годами старцев по имени Симеон — житель Вифлеема, направлявшийся на перепись в селение Рамала, — пользуясь тем, что почтенный возраст и мудрость, являющаяся прямым его следствием, заставляли прочих относиться к нему с уважением, обратился к Иосифу с вопросом, осведомясь, как намерен тот поступить в том весьма вероятном случае, если Мария, чьего имени он, впрочем, не назвал, не разрешится от бремени до истечения сроков, отведенных для переписи. Вопрос этот носил, так сказать, характер академический (если позволительно нам употребить сей термин применительно к месту и времени нашего повествования), поскольку лишь счетчикам-переписчикам, превзошедшим все хитроумные тонкости римского права, под силу было бы разрешить такой казус, как появление на переписи женщины на сносях. Сказал Симеон: Мы все идем на перепись, а как записать того, кто во чреве жены твоей: какого пола будет младенец, да притом не исключено, что носит она двойню, а близнецы могут оказаться братьями, сестрами или же братом и сестрой. Иосиф, гордящийся тем, что он правоверный иудей, и не подумал в ответе своем прибегнуть к обыденной восточной логике и сказать, что если, мол, обнаружились в законе упущения и прорехи, то и подчиняться ему он не намерен, а если Рим не сумел предусмотреть такие и подобные случаи, то, значит, и спрашивать надо с дурных законодателей. Нет, Иосиф, оказавшийся перед вопросом столь трудным, надолго задумался, перебирая в голове возможные ответы, а ответ должен быть таков, чтобы и показался сидевшим вокруг костра неопровержимо убедительным и был в то же время блестящим по форме. Но вот наконец по длительном размышлении он медленно поднял глаза, которых все это время не сводил с пляшущих языков пламени, и сказал: Если к последнему дню срока, отведенного для переписи, сын мой еще не родится, то, значит, Господь не желает, чтобы

римляне узнали его и внесли в свои списки. Ого, ответил на это Симеон, ну и самонадеян же ты, раз берешься судить, чего желает Господь, а чего нет. Господу ведомы пути мои, исчислены шаги мои, ответил Иосиф, и слова плотника, которые мы можем найти в книге Иова, значили в данном случае, что здесь, перед присутствующими и не исключая отсутствующих, Иосиф признает свою покорность Господу, заявляет о послушании, то есть чувства его восстают против дьявольского наущения, на которое намекает Симеон, что он якобы тщится разгадать таинственные желания Вседержителя. Именно так, должно быть, понял его старец, потому что промолчал в ожидании, а Иосиф заговорил снова: От начала времен печать того дня, когда человек является на свет, и того дня, когда он покидает его, оберегаются ангелами, и один лишь Господь прихотью своей волен печати эти сломать: одну раньше, другую — позже, а иногда — обе разом, обеими руками, а бывает, так долго не ломает Он печать чьей-то смерти, что подумаешь — Он и забыл про нее. Иосиф помолчал, словно сомневаясь, продолжать ли, но все же проговорил с лукавой улыбкой: Не хотелось бы, чтобы наш разговор напомнил Ему о тебе, Симеон. Сидевшие у костра рассмеялись, но втихомолку: слова эти значили, что плотник не сумел сохранить целокупный запас уважения, какого заслуживает старец, даже если груз прожитых лет пагубно сказался на разуме его и мало смысла в речах его. Симеон же, гневным движением запахнув хламиду, ответил: Быть может, Бог сломал печать твоего рождения прежде времени и тебе нечего было появляться на свет, раз ты так нагло и непочтительно ведешь себя с теми, кто старше тебя, кто живет, а стало быть, и знает больше. Сказал на это Иосиф: Ах, Симеон, ты спросил меня, как поступлю я, если сын мой не родится до окончания переписи, а ответить на твой вопрос я не мог, ибо не знаю римского закона, как, думаю, и ты тоже. Не знаю. Но ведь ты сказал. Что сказал, то и сказал, и не трудись пересказывать, я помню. А ведь это ты, Симеон, первым начал, первым обратился ко мне с неподобающими словами и упрекнул в самонадеянности, ибо по-твоему выходило, что я берусь судить о предначертаниях Господа, прежде чем сделались они ясны, если же потом слова мои обидели тебя — прости, но первым обиду нанес мне ты, Симеон, а ведь ты старше и должен бы подавать мне пример. Одобрительный ропот послышался вокруг костра: плотник Иосиф явно одержал в споре верх, но всем хотелось знать, найдет ли Симеон чем возразить. Он и возразил, не явив своими словами ни остроты ума, ни полета воображения: Ты обязан был смолчать хотя бы из уважения к моим летам, а Иосиф сказал: Да если бы я смолчал, всем тотчас стало бы ясно, сколь суетен был твой вопрос, а потому прими, хоть тебе это и нелегко, ответ мой за признак моего к тебе величайшего уважения, ибо я, пусть ты даже этого и не постигаешь, помог тебе затронуть предмет, который интересует нас всех: захотел бы Господь, сумел ли бы Он когда-нибудь укрыть народ свой от вражьего взора? А-а, теперь ты толкуешь о богоизбранном народе, как о своем еще не родившемся сыне?! Нет, Симеон, напрасно влагаешь ты в мои уста слова, которые я не произносил и не произнесу, но все, сказанное в одном смысле, может быть понято и в другом. На эту тираду Симеон уже ничего не возразил, а, поднявшись, вышел из круга и уселся поодаль, в самом темном углу, и вслед за ним поднялись и ушли от костра родичи его и домочадцы, побужденные к тому семейственным долгом, но еще больше — жалостью к поверженному в словесной схватке патриарху. У костра установилась тишина, сменившаяся шорохами и бормотаньем, обычным для тех, кто устраивается на ночлег и отдых, и в других частях постоялого двора слышней стали приглушенные голоса, прорезаемые порой звонким восклицанием, фырканьем и сопеньем ослов и — время от времени — истошным ревом верблюда, охваченного любовным неистовством. Тогда и назаретяне, позабыв о недавней распре, чуть слышно — но оттого, что было их много, получалось весьма громогласно — стали нараспев читать последнюю и самую длинную из молитв, которые полагается возносить Господу в течение дня. Потом, несколько минут спустя, те, у кого была самая чистая совесть или кто сильней прочих устал с дороги, уже спали, причем иные весьма бездуховно похрапывали, а остальные тоже последовали их примеру, улегшись кто в чем был, и разве только старых да малых по причине слабости тех и других устроили поудобней, укрыв толстой простыней или вытертым одеялом. Костер прогорел и стал гаснуть, и лишь изредка пробегал слабеющий огонек по обугленным хворостинам, еще по дороге собранным для этой полезной

цели. И вскоре под навесом, давшим приют вышедшим из Назарета, все спали. Все, кроме Марии. Она никак не могла улечься, удобно устроить живот, в котором, по размерам судя, носила какого-то великана, и потому полусидела, привалясь спиной к вьючным седлам, чтобы дать отдых мучительно ноющей пояснице. Она, как и все, слушала спор Иосифа с Симеоном и радовалась, как и подобает жене, даже если схватка была бескровной, что муж вышел победителем. Но суть и предмет спора изгладились из ее памяти или были вытеснены ощущениями, то возникавшими, то пропадавшими в ее теле, подобно приливу и отливу в море, которого она никогда в жизни не видела, но о котором ей иногда рассказывали бывалые люди, — и этот не дававший ей покоя накат волн означал, что дитя у нее под сердцем шевелится, но как-то особенно, словно он, нерожденный ее сын, находясь у нее в утробе, пытается поднять ее себе на плечи. Глаза Марии были открыты и блестели в полутьме, блестели даже после того, как окончательно прогорел и погас костер, но ничего удивительного в этом нет — так от сотворения мира происходит со всеми будущими матерями, тем более что мы-то узнали о том с полной определенностью в тот миг, когда жене плотника Иосифа предстал некто, назвавший себя ангелом и принявший обличье нищего бродяги.

Кричали первые петухи, возвещая зябкий рассвет, но путники, торговцы, погонщики мулов и верблюдов, побуждаемые необходимостью, принялись готовиться к выходу еще раньше и совсем затемно начали навьючивать на своих скотов пожитки или товары, а потому поднялся на постоялом дворе шум, по сравнению с которым померк или, точней выражаясь, заглох шум давешний. Когда же караван уйдет, постоялый двор проведет несколько часов в безмолвии и неподвижности, точно распластавшаяся на солнце бурая ящерица, — останутся там лишь те, кто намерен провести здесь целый день, отдыхая до тех пор, пока уже ближе к вечеру не ввалится в пыли с головы до ног новая толпа утомленных переходом странников, и они-то, намолчавшись за время пути, зададут работу могучим своим голосовым связкам и, едва успев войти, примутся вопить, словно бесами обуянные, не к ночи те будь помянуты. Назаретяне покидали постоялый двор в количестве большем, чем пришли туда, и это неудивительно, ибо к ним присоединились еще десять человек, и ошибется тот, кто сочтет край этот безлюдным и пустынным, особенно в эту пору, когда и перепись объявлена, и праздник Пасхи на носу.

Иосиф между тем решил сам для себя, что нужно бы помириться со старым Симеоном, и решил так не потому, что за ночь доводы его лишились в его глазах былой убедительности, — все же воспитан и наставлен был он в почитании старших и тем более — стариков, которые ясностью ума и здравомыслием суждений платятся за то, что прожили так долго и новая, молодая поросль их зачастую в грош не ставит. И вот он приблизился к Симеону и смиренно произнес: Прости меня, если давеча речи мои показались тебе дерзкими и наглыми, ибо у меня и в мыслях не было отказать тебе в уважении, но сам знаешь, как это бывает — слово за слово, за хорошим — дурное, и в итоге всегда наговоришь лишнего. Симеон слушал, слушал, не поднимая головы, и наконец ответил так: Прощаю. Иосиф за свой великодушный порыв вправе был бы ожидать от упрямого старца и более приветливый ответ и, все еще не теряя надежды услышать слова, которые заслуживал, довольно долго шел и далеко прошел рядом с ним. Однако Симеон, уставясь себе под ноги, делал вид, что не замечает его, покуда плотник, осердясь — и ведь за дело, — не махнул рукой, как бы собираясь прибавить шагу. Тогда старик, сделав вид, что вдруг очнулся от важной думы, нагнал Иосифа, ухватил его за край одежды и сказал: Постой. Удивленный Иосиф обернулся. Постой, повторил старик и сам остановился. Все прочие путники миновали их, и они остались на дороге вдвоем, словно на ничейной земле, между удалявшимися мужчинами и еще не приблизившимися женщинами. Над толпою их покачивалась в такт ослиному шагу голова Марии.

Они вышли из долины Изреель. Дорога, огибая скалистые валуны, медленно поползла вверх, в горы Самарии, на запад, вдоль горной гряды, за которыми, спускаясь к Иордану и простираясь южнее, пылала незаживающая и давняя рана Иудейской пустыни — земли, вожделенной для многих и многих, но так и не знавшей, кто же владеет и обладает ею. Постой, сказал Симеон, и плотник, внезапно оробев, повиновался. Женщины были уже невдалеке. Старик снова зашагал по дороге, продолжая, словно силы покинули его,

держаться за Иосифа. Вчера ночью, сказал он, перед тем как я уснул, было мне видение. Видение? Да, но не обычное, когда предстают перед тобой предметы и люди, а видел я как бы сокрытое за словами — за теми, что произнес ты, помнишь? — что если сын твой не родится в срок, отведенный для переписи, то, значит, Господь не хочет, чтобы римляне знали его и внесли в свои списки. Да, я так сказал, но видел-то ты. Не знаю, что видел я — меня словно бы вдруг обуяла уверенность в том, что римлянам лучше бы не знать о существовании твоего сына, чтобы вообще никто ничего не ведал о нем, и если все же придет он в этот мир, лучше будет, чтобы прожил он отмеренное ему без славы и без скорбей, вон как те мужчины, что удаляются от нас, и как те женщины, что к нам приближаются, чтобы прожил он безвестным, как любой из нас, до смертного своего часа и даже после него. Какая же иная участь уготована может быть сыну простого плотника из Назарета, кроме той, о которой ты сказал сейчас? Нет, Иосиф, не ты один распоряжаешься жизнью его. Ну, разумеется, на все воля Божья, так было спокон веку, так привыкли мы верить, и все же, Симеон, расскажи мне еще о моем сыне, что еще узнал ты о нем? Ничего, ничего, кроме этих твоих слов, но только они, будто при вспышке зарницы, обрели иной смысл, так иногда взглянешь на яйцо и провидишь в нем цыпленка. Господь делает что хочет, хочет то, что делает, в Его руках судьба моего сына, я тут ничего не могу. Это так, но есть еще несколько дней, когда власть над нерожденным ребенком делит с Господом и мать. Верно, а потом, если родится сын, будет над ним власть моя и Господа. Или только Господа. Как и над всеми. Нет, не над всеми, иными владеют и Бог, и Дьявол. А как же это узнать? Если бы Закон не предписывал женщинам хранить молчание, то они, измыслившие первый грех, который породил и все прочие, быть может, поведали бы то, что тебе надо знать. А что мне надо знать? Какая часть плода, вынашиваемого ими, от Бога, какая — от Сатаны. Я не понимаю тебя, Симеон, ты ведь вроде говорил о сыне моем. Не о твоем сыне, а о женщинах и о том, как производят они на свет нас всех, ибо кому же, как не им, знать, что любой из нас и мал, и велик, что в каждом из нас заключено добро и зло, мир и война, ярость и кротость.

Иосиф оглянулся назад, увидел Марию на осле, а перед нею — мальчугана, сидящего верхом, по-мужски, и на миг ему представилось, что это его сын, и жену свою, подвигавшуюся вперед в разросшейся толпе женщин, он увидел словно бы впервые. В ушах его все еще звучали странные слова Симеона, но все же плохо верилось, что так много зависит от женщины, по крайней мере, его собственная жена никогда и ничем, даже ничтожным намеком не давала ему понять свои особенности и отличия от всех прочих. Но уже в следующий миг он отвернулся, ибо, вспомнив того нищего с его светящейся землей, задрожал и затрясся с головы до ног, волоса стали дыбом, и озноб пробежал по спине, и, снова обернувшись к жене, увидел Иосиф, ясно, своими глазами увидел рядом с нею мужчину роста столь высокого, что женщины вокруг не доходят ему даже до плеча, и по этой примете безошибочно определил того самого бродягу, которого никогда прежде видеть не мог. Он глянул еще раз — но тот со всей непреложностью шел в толпе женщин, чего быть не могло, и взяться ему там было неоткуда. Иосиф хотел было попросить и Симеона взглянуть назад, подтвердить или опровергнуть такие ни с чем не сообразные чудеса, но старик уже прошел вперед, он сказал то, что должен был сказать, и теперь нагонял своих родичей, желая из пророка вновь стать всего лишь старейшиной рода. И тогда плотник, не найдя свидетелей, решил поверить собственным глазам и опять взглянул в сторону жены. Но рядом с нею уже никого не было.

По направлению к югу двигались они через всю Самарию, и шли, говоря военным языком, форсированным маршем, причем одним глазом смотрели на дорогу, а другим с тревогою озирали окрестности, ибо опасались проявлений враждебности, вернее, недоброжелательности со стороны местных жителей —злокозненных и погрязших в ереси потомков ассирийских насельников, появившихся в этих местах во времена Салманасара, царя Ниневии, после изгнания и рассеяния двенадцати племен Израилевых, и много было в них от иудеев, но еще больше — от язычников, ибо священным законом над собой признавали лишь Пятикнижие Моисеево и утверждали, вообразите только, что Господь избрал для Храма своего не Иерусалим, но лежавшую на их землях гору Геризин-

скую. Как ни спешили путники оставить этот враждебный край, а все же две ночи пришлось им провести в чистом поле, выставив дозоры, чтобы не могли незамеченными подобраться к ним самаряне, от которых жди чего угодно — они на все способны, они в глотке воды откажут умирающему от жажды человеку, даже если человек этот — чистейший иудей по крови, а что касается всем известного исключения[1], то оно на то и исключение, чтобы подтверждать правило. И столь сильна была тревога наших путников, что мужчины, вопреки обыкновению, разделились надвое, спереди и сзади прикрывая женщин своих и детей от оскорблений, а то и чего похуже. Однако самаряне в те дни настроены были отчего-то миролюбиво и, встречаясь с нашими галилеянами на дороге, ограничивались лишь злобными взглядами да бранными словами, а о том, чтобы напасть из засады на безоружных и оробелых людей или закидать их камнями, и речи не было.

Неподалеку от Рамалы, где, по заверениям тех, кто наделен был самой горячей верой или самым острым обонянием, уже ощущалось благоухание святости, исходящее от Иерусалима, покинул спутников Симеон со своими домочадцами, так как ему — ранее мы об этом упоминали — предстояло проходить перепись в одной из здешних деревень. Распрощались посреди дороги, напутствуя и благословляя друг друга, женщины семейства Симеонова одарили Марию сотнями советов, а каждый из них, как известно, есть сын опыта, и они расстались: одни стали спускаться в долину, где скоро найдут отдохновение от тягот четырехдневного пути, другие же направились в Рамалу, и на тамошнем постоялом дворе проведут они наступающую ночь. А уж в Иерусалиме оставят их и прочие назаретяне, большая их часть направится в Бершеву, куда дороги им будет еще два дня, а плотнику с женою идти надо дальше, в Вифлеем. В суматохе прощальных напутствий и объятий Иосиф отозвал Симеона в сторону и со всей почтительностью спросил, не припомнилось ли тому за это время еще что-нибудь из бывшего ему видения. Я же тебе говорил, не видение это было. Да что бы ни было, мне хочется знать, какая судьба ждет моего сына. Ты и свою собственную судьбу знать не можешь, хоть и стоишь тут и говоришь со мной, как же узнать судьбу того, кого еще и на свете нет. Духовным зрением дальше видится, потому я и счел, что ты, кому Господь отверз глаза на то, что явлено лишь избранным, проник в такую даль, где для меня лишь непроглядный мрак. Быть может, о судьбе твоего сына тебе не дано будет знать никогда, твоя же собственная, быть может, исполнится уже скоро, не задавай вопросов и наперед не загадывай, живи днем нынешним. И с этими словами Симеон возложил правую руку на голову Иосифа, пробормотал благословение, никем не расслышанное, и пошел к своим, ибо те уже ждали его. Извилистой тропой начали они спускаться в долину, где в самом низу противоположного склона, почти незаметная среди камней, так и лезших из земли, будто неупокоенные кости, стояла деревня Симеона. Больше Иосиф о нем не слышал ничего, кроме того, что старик умер еще до переписи — но и эта весть дошла до него гораздо позже.

После двух ночей, когда приходилось небом укрываться и светом звезд согреваться, ибо, опасаясь внезапного нападения, они даже костров не разводили, хорошо было назаретянам снова оказаться в уюте и тепле постоялого двора. Женщины помогли Марии слезть с осла и, жалеючи ее, приговаривали: Да тебе вот-вот рожать, и бедная Мария в ответ шептала, что да, мол, наверно, скоро, словно вдруг начавший быстро расти живот — в самом ли деле еще вырос он, или так ей казалось? — служил неопровержимым признаком надвигающихся родов. Женщины устроили ее как могли лучше, в укромном уголке, и занялись ужином, и так уж запоздавшим. Поесть собрались все, но на сей раз вокруг костра разговоров не вели, преданий не вспоминали, историй из жизни не рассказывали, — нет, близость Иерусалима словно обязывала к молчанию, каждый заглядывал внутрь себя и себя спрашивал: Кто ты, столь на меня похожий, но мне неведомый, но не думайте, что все это произносилось вслух, люди сами с собой не разговаривают вот так, безо всякой на то причины, да и не думалось осознанно, но одно несомненно: захоти кто-нибудь облечь в слова такое вот молчаливое созерцание языков пламени, слова раздались бы именно эти и никакие другие и все было бы сказано ими. С того места, где

---

[1] Имеется в виду Притча о милосердном самарянине (Евангелие от Луки 10, 30—36). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

сидел он, видел Иосиф лицо жены своей, повернутое к нему в профиль, озаренное красноватыми бликами костра, мягкой светотенью обрисовывавшего его, и подумал вдруг, сам удивившись внезапной мысли своей, что Мария — красивая женщина: женщина, хоть и оставалось лицо ее полудетским, красивая, хоть тело ее и потеряло былую стать, но он же помнит, как изящна и стройна была она, и, конечно, когда родит, вновь станет прежней.

Иосиф подумал об этом, и тотчас дали себя знать месяцы, протекшие в вынужденном воздержании: пошло гулять по крови, волна за волной посылая ее по всему телу, желание столь безотлагательное, что мутилось в голове, а потом, еще усиленное и подкрепленное воображением, сделавшись из смутного и зыбкого непреложно вещественным, вернулось туда, где родилось. Тут он услышал, как Мария коротко простонала, но не подошел к ней. Ему вспомнилось — и воспоминание это, будто ледяной водой окатив, вмиг уняло любострастный жар, объявший его, — вспомнилось, как два дня назад мелькнул подле Марии тот самый нищий, что преследовал их с того дня, когда известно сделалось о ее беременности, да, преследовал, ибо Иосиф, хоть с того самого дня и до дня позавчерашнего не видел его, не сомневался, однако, что все эти девять месяцев неотступно присутствовал таинственный попрошайка в помыслах жены его. Он не решился спросить ее, что за человек был рядом с нею, куда девался он потом, будто в воздухе растаял, — и не решился потому, что не хотел услышать ответ, которого ждал и боялся, боялся, что прозвучат недоуменные слова: Мужчина? Какой еще мужчина? — а вздумай он упорствовать и настаивать, жена, скорей всего, призвала бы в свидетельницы женщин, с которыми шла, пусть, мол, скажут, был с нами мужчина, шел ли средь нас мужчина? — и те в один голос заявили бы, что не было, и головами бы замотали возмущенно, и самая из них языкатая сказала бы, наверно, что у мужчин, сколько ни есть их на свете, одно на уме и, пока не засвербит известно где, они к нашей сестре близко не подойдут. Об одном лишь не догадывался Иосиф — жена его Мария удивилась бы неприторворно, ибо и в самом деле не видела никакого нищего ни въяве, ни в воображении, будь он существо из плоти и крови или же призрак. Да как же это может быть, если я своими глазами видел его рядом с тобой? — спросил бы Иосиф, и Мария бы отвечала твердо: Говорили мне, будто Закон велит жене во всем повиноваться мужу, всячески его почитать, а потому я и не стану повторять, что не было со мною рядом никакого мужчины, раз ты утверждаешь обратное, скажу лишь, что никого не видала. Это был тот самый нищий! Да почем же ты знаешь, если в тот день, когда постучался он к нам, ты и рассмотреть его не успел. Он, он, больше некому. Да отчего же — просто шел прохожий человек своей дорогой, только медленней, чем мы, вот и обогнали его — сначала вы, мужчины, а потом и мы, когда же он поравнялся со мной, ты обернулся, вот и все, и больше ничего. Стало быть, ты подтверждаешь? Нет, я, как подобает жене, сознающей долг свой, всего лишь ищу объяснение, которое бы тебя устроило. Из-под опущенных век, почти уже засыпая, вглядывается Иосиф в лицо жены, желая познать истину, но черным, как обратная сторона луны, сделалось оно, и слабый отблеск догорающего костра обвел профиль ее тонкой линией. Иосиф уронил голову на грудь, будто окончательно уверился в том, что загадки этой ему не разгадать, и, погружаясь в сон, унес с собой такую вот сущую нелепицу: человек этот — его нерожденный сын, пришедший из будущего, чтобы сказать: Вот каким буду я, да только ты меня не увидишь. Спит Иосиф, улыбаясь во сне покорно и смиренно, но и печально, словно слышался ему ответ Марии на эту не высказанную им мысль: Не дай Бог, ибо мне доподлинно известно, что бродяге этому негде голову приклонить. Истинно, истинно говорю вам: многое в мире сем стало бы известно, прежде чем воспоследовали из этого многого иные события, если бы вошло в обычай у мужей и жен говорить друг с другом, как водится у мужей с женами.

На следующий день рано поутру двинулись к Иерусалиму многие из тех, кто провел ночь на этом постоялом дворе, но получилось на этот раз так, что Иосиф, хоть и не упускал из виду земляков, направлявшихся в Вирсавию, оказался рядом с женой, шел, так сказать, у стремени ее, в точности как третьего дня — тот бродяга или кто он там был. Иосифу, впрочем, в эти минуты не хочется о нем думать: в самой глубине души он твердо убежден, что сподобился особенной благодати Господа, который привел ему увидеть

сына еще до того, как тот родится, — и увидеть не личинкой человеческой, беспомощной в коконе пелен, кричащей пронзительно и пахнущей неприятно, но зрелым мужем, на целую пядь превосходящим ростом и отца, и прочих соплеменников. Иосиф счастлив, что занимает сейчас место сына своего, и себя он чувствует и отцом, и сыном, и такую силу обретает чувство его, что внезапно забывает он о том, что истинное его дитя направляется, пусть и не своими ногами, но в материнской утробе, в Иерусалим.

Иерусалим, Иерусалим! — кричат набожные путники, когда на противоположном краю долины на склоне холма небесным видением предстает им этот город, центр мира, под ярким полуденным солнцем вспыхивающий мириадами искр, будто хрустальный венец, чистым золотом, как все мы знаем, загорающийся в закатных лучах, млечной белизной осиянный в полнолуние Иерусалим, Иерусалим. И Храм возникает так, словно в этот самый миг поставил его наземь Господь, и некое дуновение, которое коснулось вдруг волос и щек и одежд паломников и просто путников, родилось, быть может, от мановения длани Господа, и, если внимательно вглядеться в облака на небе, можно еще заметить эту огромную исчезающую в высоте руку, длинные, выпачканные глиной пальцы, ладонь, прочерченную линиями жизни и смерти людей и всех прочих сущих во Вселенной, и даже — пришло нам время узнать и это — линиями жизни и смерти самого Бога. Тянутся к небесам трепещущие от избытка чувств руки путников, неудержимо рвутся из уст их славословия, и звучат они уже не хором, ибо каждый объят собственным восторгом, иные же, по природе своей склонные к сдержанности в изъявлении подобных чувств, замирают недвижно, смотрят ввысь неотрывно, а слова молитвы произносят суховато и жестко, словно в такую минуту дозволяется им как равному с равным говорить с Господом своим. Дорога плавно идет под уклон, и по мере того как путники спускаются в долину, чтобы потом начать очередной подъем, который приведет их к городским воротам, все выше и выше вздымается перед ними Храм, все больше и больше, в соответствии с правилами перспективы, закрывая собою Антониеву башню, где даже с такого расстояния можно разглядеть силуэты дозорных легионеров — вспыхивает на солнце и тотчас гаснет металл доспехов и оружия. Здесь и расстается с попутчиками чета назаретян, ибо Мария устала и не вынесла бы дробной рыси, которой пришлось бы пустить ее длинноухого скакуна, чтобы держаться вровень с паломниками, ускорившими шаги и чуть не на бег перешедшими при виде городских стен.

И остались Иосиф с Марией на дороге одни — она пытается собрать остаток сил, он слегка досадует на задержку, случившуюся уже почти у цели. Отвесные лучи бьют в безмолвие, окружающее плотника с женой. И в этот миг сдавленный стон вырывается у Марии. Что, болит? — обеспокоенно спрашивает Иосиф. Болит, отвечает она, но тотчас же ее лицо стало иным, недоверчивое выражение расплывается по нему, словно она столкнулась с чем-то непостижным ее разуму: больно было не ей, хотя и ей тоже, — боль эта передавалась от кого-то другого, и не «кого-то», а от ребенка, заключенного в ее чреве: но разве возможно чувствовать боль, испытываемую другим, как свою собственную, словно — ну, может быть, не так и не теми словами описываем мы это, — словно эхо, которое из-за неведомой акустической аномалии делается отчетливей и громче звука, породившего его. Ну что, все болит? — осторожно, боясь услышать ответ утвердительный, спросил Иосиф, Мария же не знает, что ответить ему: скажешь «да» — солжешь, а «нет» тоже будет неправдой, и потому она не отвечает ничего, а боль не исчезла, она тут, Мария чувствует ее, но так, словно не в силах вмешаться, смотрит она во чрево свое, болящее болью младенца, и не может облегчить ее, ибо слишком далеко оказалась. Иосиф не понукал осла, не подхлестывал его — тот сам вдруг прибавил рыси, стал живее переставлять ноги, взбираясь по крутому склону, что вел к Иерусалиму, проворно и легко пошел дальше, будто услышав неведомо от кого, что скоро обретет он полную кормушку и долгожданный отдых, но не зная, что сначала еще предстоит одолеть немалый кусок пути до Вифлеема, а когда доберется он туда, поймет, что жизнь не так проста, как кажется, и хорошо, конечно, было Юлию Цезарю провозглашать в час славы «Пришел, увидел, победил», — куда хуже было то, что вскоре пришлось увидеть смерть в образе собственного сына и не победить, а умереть, и ни малейшего утешения нет в том, что пал он от руки сына не родного, а приемного. Издавна ведется и непохоже, что скоро кончится война отцов и детей,

передаваемая по наследству вина, отторжение крови, приношение невинных в жертву.

Уже за городскими воротами Мария снова не смогла сдержать крика боли — только на этот раз уже такого пронзительного, словно насквозь пронзили ее копьем. Но услышал его один Иосиф, ибо невообразимый шум подняли на торжище у стен люди и скоты — последние, правда, вели себя не в пример тише, — но все же те и другие галдели так, что еле-еле можно было разобрать собственный голос. Плотник решил проявить благоразумие: Нельзя двигаться дальше, давай лучше поищем здесь пристанище, а завтра я схожу в Вифлеем, на перепись, скажу, что ты на сносях и, если надо будет, придешь, когда родишь, я же не знаю, какие там у римлян законы, может, достаточно главы семьи, особенно в таком случае, как наш, Мария же ответила: Уже все прошло, и это была правда: боль теперь уже не пронзала копьем, а колола булавкой, терла, будто власяница и, хоть постоянно напоминала о себе, была вполне терпимой. Иосиф вздохнул с несказанным облегчением: отпала необходимость блуждать по лабиринту иерусалимских улочек, ища, кто бы приютил у себя женщину, собравшуюся предаться мучительному труду родов, он же, как и всякий мужчина в таких обстоятельствах, трусил отчаянно, только не хотел самому себе в этом признаваться. Придем в Вифлеем, размышлял он, а это такое же захолустье, как Назарет, там все проще будет: в маленьких городках все друг друга знают, и помощь ближнему для них не звук пустой. А Мария перестала стонать — значит, либо прекратились у ней боли, либо может стерпеть, так или иначе, надо двигаться в Вифлеем. Осла хлопнули ладонью по крупу, что, если вдуматься, следовало рассматривать не столько как почти невыполнимый в этой невообразимой толчее приказ живей шевелить копытами, сколько как движение души, с которой камень свалился. Узенькие улочки были запружены и до отказа забиты людьми всех рас, племен и наречий, и проход как по волшебству расчищался лишь в тех случаях, если в глубине появлялся римский дозор либо караван верблюдов, и народ тогда раздавался в обе стороны наподобие вод Красного моря. Однако мало-помалу, призвав на выручку терпение и упорство, протиснулись чета назаретян и ослик их туда, где кончилось скопление этих бешено суетящихся, размахивающих руками людей, ни на что, кроме купли-продажи, внимания не обращающих, так что ни к чему было бы им знать, что вон, гляньте-ка, — Иосиф-плотник с женой, а у нее уж брюхо на нос лезет, зовут ее Мария, а путь они держат в Вифлеем на перепись, и если в самом деле никакого проку нет от благодетельного попечения римских властей, то потому, видно, что живем мы в краю, столь изобильном одинаковыми именами, что на каждом шагу нашлись бы в этой толпе и другие Иосифы и другие Марии всех возрастов и сословий, и, вероятно, наши герои — не единственные, кто ждет рождения своего первенца, и, наконец, чтоб уж ничего не оставлять недосказанным, добавим — ничего удивительного нет и в том, если где-нибудь поблизости и в одно и то же время, может, и на одной и той же улице явятся на белый свет два младенца мужского, слава тебе, Господи, пола, а вот судьба у каждого из них будет своя, даже если мы в качестве последней попытки придать вес и значение примитивной тогдашней астрологии назовем тех мальчиков одинаково — скажем, Иешуа, или, как иные еще произносят, Иисус. И пусть не говорят нам, будто мы забегаем вперед и опережаем события, давая имя тем, кому еще лишь предстоит родиться, не мы в этом виноваты — спрашивайте с плотника назарейского, которому уже давно втемяшилось в башку, что именно так и будет наречен первенец его.

И, выйдя из южных ворот иерусалимских, путники двинулись по дороге на Вифлеем, радуясь, что они уже близки к цели и смогут наконец отдохнуть после всех этих долгих и трудных переходов, но бедную Марию ждет не отдых, а тяготы иные, хоть и не меньшие — ей и никому другому предстоит произвести на свет свое дитя, и один Бог знает, где и как это будет. Ибо хоть Вифлеем, если верить Писанию, место обитания колена Давидова, к которому причисляет себя Иосиф, но одни родственники его уже к этому времени поумирали, о других нет у него никаких сведений, и это обстоятельство позволяет нам здесь еще, на дороге, предположить с большой долей уверенности, что возникнут серьезные трудности с тем, куда бы приткнуться плотнику с беременной женой, ибо не может же, согласитесь, Иосиф стукнуть в первую попавшуюся дверь и сказать: Примите нас, сын мой уже просится на этот свет, — и услышать, как хозяйка, лучась улыбкой, сама не своя от радости, ответит: Входи, входи, достопочтенный Иосиф, мы уж и

воду согрели, и циновку расстелили, и чистое полотно приготовили, входи, будь как дома. Подобное было возможно лишь в золотом веке, когда волк, чтобы не лишать жизни ягненка, питался травами луговыми, но мы-то живем в жестокое время, в железном веке, и пора чудес либо уже канула в прошлое, либо еще не настала, а кроме всего прочего, ничего нет хорошего в чудесах, что бы там о них ни говорили, если приходится выворачивать наизнанку логику и внутреннюю природу вещей, чтобы вещи эти улучшить. Иосифу же хочется замедлить шаги, чтобы попозже встретиться со всеми этими трудностями, но мысль о том, что самая-то главная трудность — как бы сделать так, чтобы сын его родился не в чистом поле, — заставляет его поторопить осла, а как устала эта покорная скотина, знает лишь она одна, потому что Бог, если даже что-нибудь и ведает, печется о людях, да и то далеко не обо всех, ибо немерено тех, кто живет как скотина, а то и еще похуже, Богу же вроде недосуг убедиться в этом и принять меры. Один из попутчиков, еще когда только вышли из Назарета, сказал, помнится, Иосифу, что имеется в Вифлееме постоялый двор — полезнейший общественный институт, призванный вроде бы с ходу решить проблему, на которой остановились мы столь подробно, — но даже не слишком утонченному плотнику свойственна известная стыдливость: а вы представьте себе только, что придется ему пережить, когда собственная его жена будет выставлена на всеобщее обозрение и потеху, станет предметом нескромного любопытства и мишенью для сомнительных шуточек постояльцев, из которых хуже всех — погонщики мулов и верблюдов, люди столь же грубые, как и те, с кем приходится им иметь дело, и даже превосходящие их своей грубостью, ибо, в отличие от бессловесных скотов, наделены божественным даром речи. И, вспомнив об этом, рассудил Иосиф, что должно ему будет обратиться за советом и помощью к старейшинам синагоги, и упрекнул себя, что раньше об этом не подумал, и теперь, когда решение было принято, счел за благо спросить у жены, как она себя чувствует, однако намерения своего не выполнил сразу по причине очевидной — вспомним, сколь низменно и нечисто все, от зачатия до родов, что происходит в этой бездне, в лабиринтоподобных недрах, во вместилище всех зол мирских, в сосуде греховном, выделяющем то кровь, то нутряные соки, то околоплодные воды, то отвратительный послед, и отчего же, Господи, захотел ты, чтобы чада твои возлюбленные, мужчины, рождались в этой грязи и скверне, и насколько бы лучше было для тебя, Господи, и для нас, чтобы вчера, сегодня и завтра создавал ты нас из сияния и света, нас всех, от первого до последнего, не делая различия между знатным и простолюдином, между царем и плотником, и лишь своей страх наводящей печатью злодейства отмечал бы тех, кто, возрастая, не сумеет убежать этой судьбы. И Иосиф, помедлив со своим вопросом, оттого что отвлекся на эти важные раздумья, все же задал его — спросил тоном полубезразличным, как тот, кто, будучи занят мыслями о высоком, снисходит до того, чтобы справиться и о мелочи: Ну как ты? — и спросил очень кстати и вовремя, потому что Мария несколько мгновений назад заметила некие перемены в тех скорбях, что испытывала она, отличное слово «испытывала», только употреблено не к месту, ибо точности ради следовало бы сказать, что не она их испытывала, а они ее.

Они уже больше часу находились в пути, и скоро уж должен был появиться перед ними Вифлеем. Дорога же неведомо почему — впрочем, не всему и не всегда сыщется объяснение — оставалась пустынна с тех пор, как вышла чета назаретян из южных ворот Иерусалима, и было это достойно удивления: находился Вифлеем так близко от града священного, что должны были бы заполнять всю ее идущие в обе стороны люди и скоты. Но начиная от того места в нескольких стадиях[1] от Иерусалима, где дорога расходилась надвое — на Вирсавию и на Вифлеем, — весь мир, если позволительно уподобить мир человеку, весь как бы сжался, скорчился, будто укрылся одеялом с головой, чтобы ничего не видеть, а только слышать шаги путников, как слушаем мы щебет птиц в древесной листве, скрывающей не только их от нас, но и нас от них, — птицам, должно быть, тоже кажется, что мы прячемся от них за ветвями. Идут по пустыне Иосиф, Мария и осел, ибо пустыня — это вовсе не то, что обычно имеется в виду, это — всякое место, где нет людей, но не следует при этом забывать, что оказаться в выжженной и безжизненной пус-

[1] В одной стадии около 185 метров.

тыне можно и в самой гуще оживленной толпы. Справа от них — гробница Рахили, женщины, которую Иаков ждал четырнадцать лет: когда прошло семь лет службы его у Лавана, отдали ему в жены Лию и лишь по истечении следующего семилетия — ту, что любил, ту, что потом умерла, родив мальчика, получившего имя Вениамин, что значит «сын десницы», но сама Рахиль перед смертью назвала его Бенони и права оказалась, ибо значит это — «сын моей печали». Но вот уже можно различить невдалеке первые домики Вифлеема — такого же они землистого цвета, как и в Назарете, только кажется, что здесь, на ярком свету, примешаны к нему тона желтый и пепельный. Мария чуть жива, еле-еле держится в седле, при каждом шаге клонясь набок и с усилием выпрямляясь, так что Иосифу приходится поддерживать ее, а ей — опереться на его плечо, и как жаль, что вокруг ни души и некому полюбоваться таким прелестным и таким необычным зрелищем. Вот входят они в Вифлеем.

Скрепя сердце Иосиф все же спросил, где постоялый двор, ибо решил, что они отдохнут там до утра, поскольку Мария, хоть и продолжает жаловаться на боли, вряд ли родит в ближайшие часы. Однако постоялый двор на другом конце городка оказался, как и следовало ожидать, грязным и шумным — не то базар, не то конюшня, — и хоть по раннему времени не был переполнен народом, укромного уголка там не нашлось, а под вечер станет еще хуже — ввалится непременно толпа погонщиков. Повернув обратно, Иосиф усадил Марию в тени смоковницы, в простенке между двумя домами, сам же отправился, во исполнение первоначального своего намерения, на поиски старейшин. Но в синагоге застал он лишь сторожа, а тот только тем и смог помочь ему, что кликнул одного из игравших во дворе мальчишек и велел проводить странника к старейшине — пусть, мол, тот разберется и распорядится. Небесам, защитникам невинных — когда вспоминают там о них, — угодно было, чтобы Иосиф, обремененный новой заботой, прошел мимо того места, где оставил он жену, это ее и спасло, потому что сидела она в губительной тени смоковницы и чуть было не отправилась на тот свет по непростительному небрежению обоих супругов, ибо жили они в краю, где таких деревьев растет в избытке, и надо бы знать, чего плохого и чего хорошего следует от них ожидать. Далее двинулись они как приговоренные искать старейшину, но домашние его сказали Иосифу, что тот в отъезде и вернется нескоро. Тогда плотник собрался с духом и громким голосом вопросил, не найдется ли во имя Господа нашего, который все видит, в этом доме или в другом приют жене моей, которая вот-вот родит: Не может быть, чтобы не было тут уголка, а больше им ничего и не надо, благо циновки у нас свои. И еще спрошу у вас, добрые люди, есть ли в селении вашем повитуха, чтобы помогла жене моей? — и, говоря вслух, как сказали бы мы теперь, на такие глубоко интимные темы, стыдился бедный Иосиф и краснел, и, чувствуя, что краснеет, стыдился еще пуще, краснел еще гуще. Стоявщая у ворот невольница, к которой и обратил он эти речи, содержавшие в себе разом и мольбу и протест, удалилась в дом и вскоре вышла снова с ответом, что здесь, мол, их принять не могут, пусть поищут себе другое пристанище, да только сомнительно, чтобы нашли, а потому хозяйка ее и госпожа велела передать, что лучше всего им будет укрыться в одной из пещер, которых так много по склонам недальних гор. А повитуху нам где найти? — спросил Иосиф. Невольница на это сказала, что с позволения своих хозяев и если будет на то его, Иосифа, воля и согласие, она сама готова принять роды, ибо за все эти годы столько раз присутствовала при родовспоможении, что и сама эту науку превзошла. Да, видно, и впрямь лихие настали времена — женщина на сносях стучится к нам, мы же ее и во двор не впускаем, отсылая рожать в какую-то пещеру, словно она медведица или волчица. Совесть нас, однако, в покое не оставляет, и вот мы поднимаемся с места, подходим к воротам, за которыми стоят те, которым по такой безотлагательной надобности и далеко не рядовому поводу потребовалось пристанище, и при виде мученического лица этой несчастной щемит наше женское сердце и мы уместными словами изъясняем причину нашего отказа — полон, мол, дом народу, сыновья и дочери, внуки с внучками, зятья да невестки, потому и не можем мы оказать вам гостеприимство, однако невольница наша проводит вас в пещеру, где мы раньше скотину держали, а сейчас там пусто, и будет вам удобно — и вот, произнеся все это и выслушав благодарность бедняг этих, возвращаемся мы в наши пенаты, чувствуя в глубине души тот ни с чем не сравнимый покой, который дает только чистая совесть.

Пока продолжалась эта беготня с места на место, эта суета, стояние и ожидание, вопросы и просьбы, выцвела яркая синева небес, и солнце уж скоро должно сесть вон за той горой. А невольница — имя ее Саломея — идет впереди, указывая дорогу, несет котелок с тлеющими головнями, чтобы было чем разжечь огонь в пещере, несет глиняный кувшин, чтобы согреть в нем воды, и соль, чтобы обтереть новорожденного. А поскольку чистые тряпки у Марии свои имеются, а нож, чтобы перерезать пуповину, если, конечно, Саломея не предпочтет просто перекусить ее зубами, лежит у Иосифа в суме, то все, можно считать, готово, и младенец может появляться на свет, и хлев этот ничем не хуже дома, а тот, кому не выпало счастья лежать в яслях, так и не узнает никогда, что они, как ничто другое, похожи на колыбель. По крайней мере, осел разницы никакой не усмотрит — солома, она и на небесах солома. Когда дошли наконец до пещеры, солнце уже едва-едва золотило вершины холмов, а задержались они не потому, что далеко располагалась пещера от Вифлеема, — нет, просто Мария теперь, когда был ей твердо обещан долгожданный покой и отдых и избавление от мучений, молила всех ангелов охранить ее и оберечь, ибо, стоило ослу лишь чуть встряхнуть ее, оскользнувшись копытом на камешке, сердце у нее заходилось от боли. Было темно, и слабеющий свет сумерек умирал сразу же у входа, но, сложив припасенный в пещере хворост, сунула Саломея пучок соломы в горшок с тлеющими углями, раздула огонь — и уже очень скоро в пещере словно заря взошла. Вслед за тем рабыня зажгла масляную плошку, стоявшую на выступе стены, помогла Марии спешиться и отправилась за водой к Соломоновым прудам, что были неподалеку. А вернувшись, обнаружила, что Иосиф совсем потерял голову, не знает, что делать, за что прежде хвататься, и не следует нам осуждать его, ибо мужчин никто не учит, как толково вести себя в данных ситуациях, да они и сами учиться этому не желают, и самое большее, на что они способны, — это взять страдалицу за руку и ждать, когда все само собой образуется. Но это, повторяю, — максимум, а наша Мария — одна в этот час, ибо скорее бы мир перевернулся, чем правоверный иудей той поры решился бы хоть на такую малую малость. Но вошла Саломея, сказала: Ничего, ничего — и опустилась на колени меж разведенных ног Марии, ибо женщине и чтобы принять в себя семя, и чтобы отдать плод чрева своего, ноги надлежит раскинуть пошире. Саломея же и счет потеряла младенцам, которым помогла появиться на свет, и муки этой бедняжки — точно такие же, как и у всех прочих рожениц, как и было определено Господом Богом Еве в наказание за ослушание: Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей — и по сей день, по прошествии стольких веков, когда скопилось столько скорбей и болезней, Бог все еще не удовлетворился, все длит эту муку. А Иосифа поблизости уже нет, нет его даже и у входа в пещеру — убежал он, чтобы не слышать криков, но никуда от них не скроешься, кажется, что сама земля заходится в крике — таком, что три пастуха, гнавшие своих овец, приблизились к Иосифу и спросили: Что это такое, будто сама земля кричит? — и ответил Иосиф: Это жена моя рожает вон в той пещере, и сказали пастухи: Ты нездешний, мы тебя не знаем, и ответил Иосиф: Мы из Назарета Галилейского, пришли на перепись, тут у жены и начались схватки. В быстро сгущавшейся тьме лица четверых мужчин были почти неразличимы, а скоро и вовсе исчезнут, и слышны будут лишь голоса: А еда-то у вас есть? — спросил один из пастухов. Есть немного, ответил Иосиф. Когда все уже будет позади, принесу вам молока от овец моих, сказал тот же голос. А я — сыру, послышался другой голос. Необъяснимо долгое воцарилось молчание, прежде чем прозвучал голос третьего пастуха, доносившийся будто из-под земли: Я же принесу вам хлеба.

Сын Иосифа и Марии родился как и все сыны человеческие — выпачканный в материнской крови, покрытый слизью и страдающий молча. Он заплакал, потому что его заставили это сделать — отныне и впредь плакать он будет именно по этой, одной-единственной причине. Запеленали и положили в ясли, совсем неподалеку от морды осла, а того на всякий случай, чтоб, не дай Бог, не укусил, привязали недоуздком покрепче. Саломея вышла зарыть, как полагается, детское место, тут как раз и Иосиф появился. Рабыня ждет, покуда он войдет в пещеру, а сама с жадностью вдыхает свежий ночной воздух, она устала, будто сама рожала, но нет — это всего лишь игра воображения, никогда у нее детей не было.

Спускаясь по косогору, приближаются к пещере трое. Это пастухи. Вот входят они в пещеру. Мария лежит, и глаза ее закрыты. Иосиф сидит на камне, положив руку на край яслей, будто охраняет своего сына. Первый пастух шагнул вперед и произнес: Своими руками выдоил я овец и принес вам их молоко. Мария открыла глаза и улыбнулась. Шагнул вперед второй пастух и сказал: Своими руками сделал я сыр и принес вам его. Когда приблизился к яслям третий пастух, показалось, что всю пещеру заполнил он собою. Он сказал, не глядя при этом ни на мать, ни на отца новорожденного: Своими руками замесил я тесто, на огне, что горит лишь внутри земли, испек я хлеб и принес его тебе. И Мария поняла, кто был этот пастух.

От сотворения мира так уж заведено, что один появляется на свет, а другой его покидает. И вот сейчас настал черед царю Ироду — не родиться, само собой, а умереть. Помимо прочего и мучительней всего прочего, о чем сказано будет впоследствии и в свое время, страдает он от чудовищного и неуемного, до умоисступления доводящего зуда — такого, что кажется, сто тысяч свирепых муравьев без устали вгрызаются в тело его крошечными челюстями. После того как испробованы были и не принесли ни малейшей пользы все бальзамы и снадобья, которыми и доныне врачует свои хвори человечество, не исключая и тех, что вывезены были из Египта и Индии, царские лекари, от страха потеряв голову в смысле переносном и готовясь потерять ее в смысле прямом, прибегли к ваннам и очистительным, смешивая с водой или маслом любые лекарственные травы или порошки, которые хоть раз кому-нибудь, по слухам, помогли, пусть даже соединение средств этих противоречило всем правилам фармакопеи. Царь, обезумев от страданий и ярости, с пеной у рта, словно укусила его бешеная собака, грозит предать их всех самой лютой казни, если в самом скором времени не отыщут они способа облегчить его муки, не сводящиеся к тому, что нестерпимо горит кожа, что все тело его сотрясают судороги, швыряющие его наземь и заставляющие биться, корчиться и извиваться, будто в приступе падучей, когда лезут из орбит глаза и руки рвут одежды, чтобы добраться до полчищ беспрестанно множащихся муравьев, а те продолжают свою пытку. Хуже, куда хуже проявившаяся в последние дни огневица, а хуже огневицы тот не имеющий названия ужас, о котором шепотом говорят во дворце — черви-де поселились в детородных органах венценосца и пожирают его заживо. От криков Ирода сотрясаются покои и переходы, евнухи, ходящие за ним, не знают ни сна, ни отдыха, невольники убегают, чтобы не попасться ему на глаза. Ирод жив одной только яростью, ей одной благодаря еще таскает он ноги, но тяжким смрадом разлагающейся плоти несет от него, несмотря на благовония, которыми пропитаны его одежды, умащены крашеные волосы. Лежа на носилках, окруженный лекарями и вооруженной стражей, кочует он по дворцу из одного его конца в другой в поисках новых и новых изменников, ибо давно уже везде и всюду чудится ему измена, и воздетый перст его вдруг укажет очередную жертву, и ею может стать главный евнух, приобретший слишком большое влияние, либо дерзостный фарисей, порицающий того, кто нарушает заповеди Завета, тогда как должен бы подавать остальным пример ревностного и неукоснительного исполнения их — нет нужды даже произносить имя его: все и так знают, о ком идет речь, — могут пасть жертвой царевых подозрений родные его сыновья Александр и Аристобул, которые были схвачены и тотчас приговорены к смерти особым судом, состоящим из знатнейших князей и спешно собранным для того, чтобы вынести именно смертный приговор и никакой иной, да и мог ли поступить иначе бедный царь, если в горячечном забытьи представлялось ему, как приступают к нему царевичи с обнаженными мечами, а в самом тяжком из кошмарных сновидений видел он, как видят себя в зеркале, собственную отрубленную голову. Но грозный властелин упредил злоумышленников, избежал смерти и теперь может спокойно созерцать трупы тех, кто еще минуту назад были его сыновьями, престолонаследниками, а теперь по обвинению в заговоре и продерзостном превышении власти осуждены на смерть и по приговору суда удавлены.

Но когда истомленный царь погружается в краткий и неверный сон, откуда-то из самых глубин его мозга, лишая его и этих отдохновенных мгновений, всплывает другой кошмар — смятенному духу Ирода предстает тогда живший во времена Исаии пророк

Михей, очевидец опустошительных и кровопролитных войн, которые принесли ассирийцы в земли Самарии и Иудеи, а представ, принимается, как и пристало пророку, клеймить и обличать богатых и могущественных. В тунике, покрытой бранным прахом и пятнами свежей крови, врывается Михей в сон царя с грохотом, какого в мире сем услышать нельзя, словно захлопнул он за собой огромные бронзовые двери, и возвещает громовым голосом: Господь исходит от места своего, низойдет и наступит на высоты земли, а потом грозит: Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей, и берут их силою; домов — и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие. И каждый раз, каждую ночь, произнеся все это, Михей, будто повинуясь никем не зримому знаку, исчезает как дым. Но в холодном поту, в смертельной тоске и страхе просыпается Ирод даже не потому, что дивят его и пугают эти откровения — нет, особенно тяжко то, что ночной посетитель исчезает в тот самый миг, когда, если судить по вскинутой руке, по разомкнувшимся устам, готовится он сказать что-то еще, что-то самое важное, но скрывается, приберегая это до другого раза. Впрочем, всем и каждому известно, что царь Ирод не из тех, кого страшат угрозы, ибо память его хранит многие и многие имена людей, убитых по его приказу, но ни грана раскаяния или сожаления нет в душе его, и совесть его спокойна. Вспомним, как повелел он утопить шурина — брата жены своей Мариам, которую любил больше всего на свете, как повесил деда ее, а потом, заподозрив жену в прелюбодеянии, приказал удавить и ее самое. Ну, правда и то, что после этого впал он в умопомешательство и в бреду призывал к себе покойницу, словно была она еще жива, однако едва лишь открылось, что теща его, и раньше бывшая душой всех заговоров против него, измыслила новый, имеющий целью свергнуть его с престола, вмиг обрел царь Ирод здравый рассудок, излечившись от краткого своего безумия. Никто и глазом не успел моргнуть, как упокоилась опасная интриганка в родовом склепе, рядом с прочими членами своей семьи, с которой в недобрый час вздумалось породниться Ироду. Остались после этого у царя три сына: Александр, Аристобул, о чьей печальной участи нам уже известно, и Антипатр — его эта участь тоже не минует, но произойдет это попозже. А теперь, дабы напомнить, что жизнь не целиком состоит из трагедий и ужасов, сообщим вам, что для плотских утех и веселия успел познать царь Ирод десять жен, щедро одаренных красотой, но к тому времени, к которому относится наш рассказ, ему от дивных тех красавиц мало было проку и удовольствия, им же от него — и вовсе никакого. Так что не слишком бы пугали самовластного и могущественного повелителя и собирателя земель Иудеи и Самарии, Переи и Идумеи, Галилеи и Гавланитиды, Траконитиды, Авранитиды и Ватанеи еженощные появления неистового пророка, если бы не эта смутная невысказанная угроза, что каждую ночь вот-вот была готова прозвучать, да все никак не звучала, а потому во всей ее неприкосновенной целокупности хранила и сулила новую опасность, неведомо какую, неведомо откуда исходящую.

А тем временем совсем неподалеку от Ирода, можно сказать — бок о бок с ним, Иосиф со своим семейством по-прежнему жил в пещере под Вифлеемом, ибо плотник оставил попечение о поисках дома, рассудив, что раз все равно вскорости возвращаться им в Назарет, так и нечего искать другое пристанище, тем более, что жилищный вопрос и в ту пору стоял остро и даже, пожалуй, еще острее, чем в наши дни, — не додумались тогда люди до сдачи и съема квартир и не была еще изобретена система социальной помощи бездомным. На восьмые сутки после рождения своего первенца Иосиф отнес его в синагогу совершить над ним обряд обрезания, и служитель, вооруженный каменным ножом, с ловкостью, каковая достигается лишь долгим навыком, отсек крайнюю плоть младенцу, чья судьба — не младенца, разумеется, а этого лоскутка кожи — могла бы сама по себе послужить сюжетом для романа, ибо это колечко бесцветной, чуть-чуть кровоточащей кожи будет в восьмом веке этой вот, уже ставшей нашей, эры, торжественно освящено папою Паскуалем I. Всякий, кому придет охота увидеть его, должен всего лишь отправиться в приход Калькаты, что неподалеку от итальянского города Витербо — там, в поучение истинно и твердо верующим и на потеху любопытствующим нехристям и выставлена эта реликвия. Сказал Иосиф, что желает назвать сына Иисусом, и под этим именем был занесен новорожденный мальчик сперва в кесаревы перечни, а потом уж и

в Господни списки. Младенец не остался безучастен к тому ущербу, что претерпела его уменьшившаяся плоть, при том, что дух сколько-нибудь заметно не обогатился, и плакал на протяжении всего обратного пути в пещеру, где в не лишенной оснований тревоге ждала его мать, сперва запричитавшая над ним: Бедняжка мой, а затем без промедления приложившая его к груди — к левой, к той, что ближе к сердцу. Иисус, еще не ведавший, что именно так зовут его, потому что мало чем отличался от, скажем, птенчика, щеночка, ягненка, от любой другой Божьей твари, только что пришедшей в этот мир, удовлетворенно вздохнул, когда почувствовал на щеке упругую тяжесть груди, кожу, ставшую чуть влажной при соприкосновении с его кожей, когда ощутил во рту сладковатый вкус материнского молока, и боль, еще мгновение назад казавшаяся непереносимой, вдруг отдалилась, растворилась в неведомом наслаждении, которое рождалось, рождалось и никак не могло достичь всей своей полноты, перешагнуть порог, отомкнуть затворенную дверь, преодолеть запрет. Возрастая, мальчик будет забывать эти ощущения, пока не покажется, что он вообще никогда и не мог испытывать ничего подобного — так происходит с каждым из нас, ибо, где бы ни родились мы, какая бы судьба ни ждала нас, произвела нас на свет женщина. А если бы мы осмелились осведомиться — Боже упаси от подобных нескромностей, но все же предположим невероятное, — так вот, если бы мы спросили насчет этих ощущений у Иосифа, он сказал бы, что у него, у главы семьи, заботы другие и много более серьезные, и ему теперь два рта кормить надо — и при всей очевидности того обстоятельства, что вовсе не он кормит Иисуса, а Мария, и притом грудью, речение это не теряет ни правоты, ни выразительности, ни силы. Что правда, то правда, забот у него прибавилось, и первейшая из них — о том, чем будут они жить, пока не возвратятся в Назарет, ибо Мария еще не вполне оправилась от родов и долгий путь ей не под силу, а кроме того, она еще считается нечистой, ибо минуло лишь семь из сорока дней, составляющих установленный срок. Те деньги, что взяты с собой из Назарета — а их и было-то немного, — уже на исходе, заработать здесь, в Вифлееме, себе и семье своей на прожитье Иосиф не может — нет ни инструмента, ни оборотных средств, чтоб приобрести материал. Бедным людям уже и в те далекие времена жилось трудно, ибо Господь не может все предусмотреть и предвидеть. Из глубины пещеры донеслось в этот миг невнятное жалобное кряхтенье — и тут же стихло: это, пока Мария перекладывала сына от левой груди к правой, тот вновь вспомнил свою потерю, свою обиду и на мгновение вновь ощутил боль в пораженном месте. Но вскоре он насытится и уснет на руках у матери и не проснется, даже когда она как нельзя бережней будет класть его в ясли, словно из своих рук передаст сына в руки ласковой и надежной нянюшке. Иосиф же, присев у входа в пещеру, продолжает неотступно думать об одном — нет ему в Вифлееме работы, даже в подручные его не берут, и всякий раз, когда он пытался наняться, слышал одно и то же: Понадобится помощник — дам тебе знать, но обещаниями сыт не будешь, хотя беднякам с рождения приходится кормиться ими.

Тысячу раз показывал нам опыт, что даже людям, не слишком склонным предаваться праздному умствованию, для принятия наилучшего решения лучше всего дать мыслям волю — пусть текут свободно, прихотливо сцепляясь как хочется им самим, — однако при этом надобно зорко и в то же время как бы рассеянно, будто думаешь о чем-то совершенно ином, следить за ними — и в нужный миг ухватить мелькнувшую неожиданно догадку, как тигр хватает свою добычу. И вот так размышления о лживых обещаниях плотников обратили мысли Иосифа к Богу и к истинным обетованиям, принесенным ему, а от них — к Храму Иерусалимскому и об огромном строительстве, все еще идущем вокруг, и вдруг, словно озарение нашло, ясно стало — раз строят, значит, и рабочие руки нужны, в первую, конечно, очередь каменщики и каменотесы-мраморщики, но и без плотников не обойтись: кто ж им будет брусья тесать, доски для сходней и мостков оструживать и сколачивать, а ведь это сущие пустяки по сравнению с тем, что еще умеет делать Иосиф. Одно плохо — если, конечно, возьмут его на работу — больно далеко от этой пещеры до Иерусалима, часа полтора хорошего хода, а то и больше, да все в гору, разве что осла с собой взять, но тогда постоянно ломай себе голову, где его спрятать, чтобы не украли, ибо то, что земля эта возлюблена Богом и возвышена им перед всеми прочими, вовсе не значит, что воры на ней перевелись, — припомним-ка, о чем еже-

нощно вопиет Ироду пророк Михей. Иосиф все размышлял над этими трудно разрешимыми задачами, когда, покормив и уложив сына, вышла из пещеры Мария. Ну, как там Иисус? — спросил отец, понимая, что вопрос, заданный таким образом, звучит довольно нелепо, но не желая отказать себе в удовольствии потешить лишний раз свою отцовскую гордость и назвать сына по имени. Хорошо, отвечала Мария, для которой имя мальчика ее вовсе не имело значения — она бы всю жизнь могла звать его «мальчик мой», и жаль, что это невозможно, потому что родятся другие сыновья — а родятся они непременно — и возникнет неизбежная путаница почище той, что получила когда-то название столпотворения Вавилонского. Иосиф же, роняя слова так, словно просто размышлял вслух, чему, впрочем, доверять безоглядно не следует, проговорил: Надо бы подумать, чем жить будем, покуда мы с тобой тут: нет для меня в Вифлееме подходящей работы. Мария не отвечала, да и не должна была отвечать: ее дело было сидеть и слушать, муж и так оказал ей большую честь. Иосиф поглядел, высоко ли солнце, прикинул, успеет ли сходить и вернуться, потом взял в пещере суму и одеяло, вышел наружу и произнес: Господи, на тебя уповаю, дай мне работу в доме твоем, если, конечно, сочтешь, что достоин столь великой милости честный мастеровой, для которого в ней вся надежда. Потом закинул правую полу плаща за левое плечо, пристроил на нем лямку дорожной сумы и, не прибавив к сказанному ни слова, двинулся в путь.

Но все же есть, бывают на свете счастливые часы. Хоть и очень уже давно строился Храм, все же находилась работа и новым наемникам, особенно тем, кто не выказывал в час расчета чрезмерной требовательности. Иосиф без труда прошел незамысловатые испытания, которым больше для порядка подверг его мастер, и этот неожиданный успех заставляет нас призадуматься — что ж это мы с самых первых страниц нашего повествования так скептически оценивали профессиональную умелость отца Иисуса? И пошел новый строитель Храма восвояси, вознося хвалу Господу, и по дороге несколько раз останавливался, прося встречных присоединить и свой голос к славословиям, и путники, широко улыбаясь, снисходили к его просьбам, потому что у народа, к которому принадлежал Иосиф, радость, выпавшая на долю кого-нибудь одного, почти всегда равнозначна радости всего народа, что, надо полагать, объясняется прежде всего немногочисленностью его. Когда же он поравнялся с гробницей Рахили, то, даже не в голове нашего плотника появившись, а откуда-то из самой глубины нутра выплыв, осенила его мысль: женщина, которая так хотела этого сына, умерла, можно сказать, от его рук или, во всяком случае, по его вине и не успела даже взглянуть на него, не то что сказать ему хоть словечко, и тело ребенка отделилось от тела матери с безразличием плода, падающего с ветви дерева. Затем мысли его приняли оборот еще более печальный — дети-то всегда умирают по вине своих отцов, зачавших их, и матерей, выносивших во чреве своем и произведших на свет, — и пожалел Иосиф сына своего, безвинно обреченного смерти. Со смущенной душой постоял он у могилы самой любимой из жен Иакова, опустив бессильно руки, поникнув головой, чувствуя, как пробила все его тело ледяная испарина, и не было в этот миг на дороге ни души, и не к кому было обратиться за помощью. Плотник понял, что впервые в жизни усомнился в том, что мир устроен разумно и осмысленно, и, словно отбрасывая от себя последнюю надежду, выкрикнул: Я умру здесь! Весьма вероятно, что в других обстоятельствах слова эти, произнесенные со всей силой убежденности — так, наверно, произносят их самоубийцы, — могли бы без слез и пеней открыть нам дверь, через которую покинем мы мир живых, однако люди в подавляющем своем большинстве существа эмоционально неустойчивые, сущий пустяк способен перебить течение их мысли: облачко ли проплывет высоко в поднебесье, паук ли примется прясть свою сеть, погонится ли за бабочкой щенок, или закудахчет, скребя землю ногой и сзывая цыплят, курица — глядишь, мы уж и отвлеклись, а бывает и того проще — зачесался нос, почесал — и вот уж спрашиваешь себя: О чем, бишь, я? Именно поэтому уже в следующее мгновение стала гробница Рахили тем же, чем и была, — небольшой выбеленной постройкой без окон, формой схожей с игральной костью, выброшенной из игры за ненадобностью, а камень, закрывающий вход в нее, захватан грязными и потными руками бессчетных паломников, посещавших святыню с незапамятных времен, но, наверно, росшие вокруг оливы были стары уже и в ту пору, когда Иаков, решив, что именно здесь

навеки упокоится бедная мать, принес, расчищая место, некоторые из них в жертву, так что можно все же с достаточной уверенностью утверждать: судьба существует, судьба каждого — в руках тех, в чьи руки попала она в сей миг. Иосиф же, прежде чем двинуться дальше, вознес такую молитву, которая показалась ему самой уместной и своевременной: Слава тебе, Господи Боже наш и отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, слава тебе, Боже сильный, Боже крепкий. Он вошел в пещеру и еще прежде, чем обрадовать Марию известием о том, что нашел себе работу, направился к яслям взглянуть на сына, сын же спал. Иосиф сказал себе: Он умрет, он должен умереть, и сердце у него защемило, но потом подумал, что по естественному порядку вещей первым должен будет умереть он сам и что смерть, изъяв его из числа живущих на свете, заменив присутствие его в этом мире отсутствием, даст ему — как бы выразиться поточнее? — нечто вроде — уж простите за такую несообразность — ограниченного во времени бессмертия, и длится оно до тех пор, пока людей, которых уж нет с нами, помнят и любят.

Иосиф не предупредил десятника плотницкой артели, которому отдан был под начало, что работать будет лишь несколько недель — никак не более пяти, после чего настанет время нести ребенка в Храм, свершать над матерью обряд очищения да и собираться потихоньку домой, в Назарет. А промолчал он оттого, что боялся — не возьмут, и эта подробность показывает: плотник наш был, можно сказать, белой вороной, сам себе и хозяин и работник, и потому слабо разбирался в том, что представляли собой тогдашние трудящиеся, мир которых состоял почти исключительно из наемных рабочих, подрядившихся на тот или иной срок. И внимательно отсчитывал Иосиф, сколько дней ему еще осталось — двадцать четыре, двадцать три, двадцать два, а чтобы не сбиться, на стене пещеры изобразил нечто вроде календаря и каждый вечер поперечной черточкой — девятнадцать — зачеркивал минувший день — шестнадцать — к вящему изумлению Марии — четырнадцать, тринадцать — не устававшей возносить хвалу Господу Богу — девять, восемь, семь, шесть — за то, что дал ей мужа, наделенного столь разносторонними дарованиями. Говорил ей Иосиф: Вот сходим в Храм и сразу же тронемся в путь, заждались меня в Назарете мои заказчики, Мария же со всей осторожностью, чтобы не прозвучали слова ее так, будто она учит мужа, мягко отвечала: Только непременно надо будет поблагодарить хозяйку этой пещеры и невольницу, которая принимала у меня роды, они ведь обе чуть ли не каждый день приходят справиться, как наш мальчик. Промолчал Иосиф, ибо не хотел сознаться, что просто позабыл про самую обычную учтивость, — на самом же деле он намеревался навьючить на осла все их пожитки, поручить его чьим-нибудь заботам, покуда будут продолжаться обряды, а когда окончатся они — двигаться прямиком в родные края, не теряя времени на благодарности и прощания. Но жена верно говорит — нехорошо было бы уйти вот так, не сказавши ни слова, и, правду надо сказать, воспитанием он не блещет. Целый час из-за своего промаха злился Иосиф на жену, и это чувство по обыкновению помогло ему заглушить досаду на самого себя. Что ж делать, останутся еще дня на два, на три, распрощаются со всеми как подобает и приличествует, отвесят положенное число поклонов, чтобы отрадные, а не отравные воспоминания остались у жителей Вифлеема о набожном, вежливом, сознающем долг свой перед Богом и людьми семействе, о котором даже не скажешь, что оно из Галилеи, — будем иметь в виду, что жители Иерусалима и окрестных селений были весьма невысокого мнения о земляках Иосифа и Марии.

И настал наконец тот знаменательный день, когда на руках у матери — верхом на терпеливом ослике, неизменном спутнике, незаменимом помощнике с самого начала их странствий, ехала она — отправился во Храм младенец Иисус. Иосиф вел осла под уздцы и понукал его, ибо торопился, не желая терять целый рабочий день, хоть и пришелся он уже на самый канун отъезда. По этой же причине и отправились они в путь так рано — чуть только зябкая заря отдернула розовеющими перстами полог ночной тьмы. Вот осталась позади гробница Рахили, а в тот миг, когда семейство поравнялось с нею, рассветные лучи коснулись выбеленной стены и окрасили ее цветом граната, и не верилось даже, что это та самая стена, которая безлунной ночью делается мутно-белесой, в полнолуние обретает жуткую белизну мертвых костей, а в свете новорожденного месяца будто заливается кровяными подтеками. В этот миг младенец проснулся окончатель-

но — раньше, когда мать перепеленывала его, собирая в дорогу, он лишь на миг открыл и тотчас снова закрыл глазки — и сообщил, что хочет есть, единственным доступным ему пока способом — плачем. Придет день, и он, как и все мы, обретет язык и посредством его научится изъяснять иные надобы и познает вкус иных слез.

Вблизи Иерусалима, на крутом склоне, нагнало семейство толпу паломников и торговцев, из которых каждый хотел бы, наверно, оказаться в городе раньше других, однако на всякий случай умерял шаг и остужал пыл при виде парных римских караулов, наблюдавших за порядком, а также наемных воинов Ирода, и представителей каких только племен, помимо иудеев, не было среди них — идуменеи и фракийцы, галаты, германцы и галлы, и даже вавилоняне, славные непревзойденной меткостью в стрельбе из лука. Иосиф, человек мирный, иного оружия, кроме рубанка да скобеля, киянки да тесла, отроду в руках не державший, испытал при виде этих грозного вида вояк одновременно и трепет, и презрение, и смешанные эти чувства не могли не выразиться во взгляде его. Потому и шел он, потупя глаза, не в пример Марии, которая и прежде-то сидела в четырех стенах, а последние недели и вовсе провела как бы в заточении этой пещеры, куда одна лишь невольница и приходила ее навестить, — и теперь с любопытством оглядывала все вокруг, беспрестанно вертя головой, гордо вскинутой, ибо несла на руках своего первенца и, стало быть, оказалась она, слабая женщина, способна исполнить долг свой перед Господом и мужем своим. И такое сияние счастья окружает ее, что трогает оно даже светловолосых, с огромными висячими усищами наемников-галлов, заматерелых и огрубелых, и, надо полагать, не до конца очерствели их сердца, если даже эта корявая, обвешанная оружием солдатня умиленно улыбается при виде молодой матери с новорожденным младенцем, будто воплощающих в себе вечное обновление мира, и не важно, что открывает эта улыбка гнилые зубы — не в зубах дело.

И вот он, Храм. Если смотреть на него вблизи и снизу, откуда мы смотрим, от грандиозности его дух захватывает и голова идет кругом — кажется, что нет такой силы в мире, которая могла бы воздвигнуть эту гору огромных камней, обтесать, поднять, уложить и подогнать их друг к другу так, чтобы они держались силой собственного веса, без всякого цемента — так же прочно и просто, как держится все в мире, — уходя в самое поднебесье, словно вторая Вавилонская Башня, которую, несмотря на защиту самого Господа Бога, постигнет та же судьба, что и первую, — разрушена будет и эта громадина, придет смута, прольется кровь, и тысячи недоуменных голосов спросят: За что? — и те, кому принадлежат эти голоса, будут ждать ответа, полагая, что он есть, но потом рано или поздно смолкнут они, ибо лишь безмолвие истинно. Иосиф отвел осла на постоялый двор, где на Пасху в хлевах и конюшнях собиралось такое множество тяглового и вьючного скота, что верблюду, как говорится, и хвостом, чтобы муху отогнать, не взмахнуть, но сейчас, по окончании переписи, когда люди вернулись в земли свои, место ослу нашлось, тем более, что час был ранний. Ранний-то ранний, но во Дворе Язычников, окружавшем собственно Храм и отделенном от него аркадами, толпилось уже множество народа — менялы, торговцы предназначенными в жертву голубями, козлятами, тельцами, паломники, у каждого из которых нашелся свой резон прийти в этот день сюда, в святилище, чужестранцы, желавшие своими глазами увидеть это всесветное чудо, воздвигнутое волей царя Ирода. Но зодчие его так выстроили этот Двор и такие придали ему размеры, что человек, находившийся в противоположном его конце, казался никак не больше букашки, и таков был замысел царя, желавшего, чтобы смертный вообще, а иноверец в особенности, ощущал свою ничтожную малость перед лицом Вседержителя. Да, иноверцы, ибо правоверные иудеи, если только пришли они сюда не как праздные зеваки, не задерживались здесь, а, проходя колоннадой, отыскивали в самой середине свою цель — центр мироздания, пуп земли, святая святых. Именно туда направляются плотник Иосиф и жена его Мария, туда на руках у матери вплывет младенец Иисус после того, как отец его купит двух голубок у — право, не знаю, как назвать того, кто обладает монопольной привилегией вести этот сакральный торг, — ну, скажем, одного из храмовых служителей. Бедные птички не знают, что им суждено, хотя по запаху паленых перьев и горелого мяса и могли бы догадаться. Впрочем, этот запах перебивается другими, более сильными — пахнет кровью, пахнет навозом, ибо тельцы, которых тащат к жертвенникам, от страха и

недобрых предчувствий наваливают его целые кучи. Иосиф, сложив ковшиком свои мозолистые руки, несет обеих голубок, а те, пребывая в отрадном заблуждении, чуть-чуть поклевывают его в переплетенные, как прутья клетки, пальцы, будто хотят сказать новому хозяину: Хорошо, что ты нас купил, мы теперь у тебя будем. Мария же ничего не замечает, кроме сына своего, а загрубелая кожа Иосифа не чувствует этой ласковой голубиной морзянки.

Они войдут внутрь Храма через один из тринадцати проходов, над каждым из которых высечены краткие надписи по-гречески и по-латыни, уведомляющие о том, что ни один язычник или иноверец под страхом смерти не смеет перешагнуть этот порог и оказаться за стеной, окружающей Храм. Входят они, вносят Иисуса — спустя небольшое время выйдут они оттуда целыми и невредимыми, а вот голубки, как мы уже знаем, останутся: им суждено умереть, ибо так предписано Законом, чтобы подтвердить — состоялось очищение Марии. Какой-нибудь ироничный и непочтительный, хоть и не слишком оригинальный вольтерьянец не преминул бы ехидно заметить, что, должно быть, такие невинные и безобидные существа, как голубки или ягнята, для того и существуют, чтобы поддерживать в мире чистоту. Иосиф и Мария, одолев четырнадцать ступеней, вступают наконец на помост, на котором и зиждется Храм. Это Двор Женщин: налево хранилище масел и вина, которые используются при богослужении, направо — покои назореев, как называют священнослужителей, не принадлежащих к племени левитов: давшие обет назорейства не должны стричь себе волосы, пить вино и подходить к мертвому телу. Впереди же, по обе стороны от противоположного входа, находятся особый притвор, где прокаженные, считающие, что очистились они, ждут, когда осмотрит их священник, и место, где хранятся дрова для жертвенных костров, причем каждое полено осматривают ежедневно, ибо для всесожжений не подходит древесина гнилая или зараженная жучком. Марии осталось сделать всего несколько шагов. Вот она поднимется по пятнадцати полукруглым ступеням, ведущим к Никаноровым воротам, и остановится там, ибо не допускаются женщины в Двор Израильтян, куда выходит одна из дверей и где стоят левиты в ожидании тех, кто принесет жертвы, но атмосфера менее всего располагает к благочестию, разве что в те времена иной смысл влагали в это понятие — здесь дымно и чадно, здесь пахнет горящим жиром и свежей кровью, здесь смешиваются воедино человеческие голоса и рев, мычание, блеяние животных, ожидающих смерти, здесь слышится последний гортанный клекот птицы, которая когда-то умела петь. Мария говорит левиту, что пришла совершить обряд очищения, Иосиф передает ему горлиц. На мгновенье Мария прикасается к ним — и сразу же вслед за этим единственным ее движением муж и священник исчезают за дверью. Мария не тронется с места, пока не вернется муж, она лишь отшагнула в сторону, чтобы не мешать остальным, и ждет, держа на руках своего мальчика.

А там, за дверью, — там резня и бойня. На двух больших каменных столах готовят и разделывают обреченных в жертву животных — бычков и тельцов, баранов, овец, козлов и коз. Рядом со столами — столбы со вделанными в них свинцовыми крюками, с которых свисают уже освежеванные туши, и бешено мельтешат над ними ножи, секачи, тесаки, топоры, мелкозубые пилы и прочее оружие из арсенала живодерен, и воздух пропитан дымом и смрадом горящей кожи, испарениями пота и крови, так что душа из простых, не стремящаяся к святости, нипочем не уразумеет, как это Бог, если он и вправду отец всего сущего, всех людей и скотов, может возрадоваться при виде такого побоища. Иосиф должен стоять с внешней стороны ограждения, отделяющего Двор Израильтян от Двора Священников, но и оттуда ему отлично виден алтарь размером в четыре с лишним роста человеческих и в глубине — то, что наконец и вправду можно и должно назвать Храмом, ибо все это весьма и весьма напоминает те вкладываемые одна в другую коробочки-головоломки, которые уже и в те времена выделывали в Китае: и в самом деле, поглядим издали и скажем: Храм, войдем во Двор Язычников — опять же скажем: Храм, и теперь плотник Иосиф, опершись на резные перила, произносит все то же слово: Храм, но теперь оно уместно. Вот его широкий фасад с четырьмя утопленными колоннами, увенчанными на греческий манер капителями-акантами, и не вход, не дверь, не ворота, но проем, ведущий туда, где обитает Бог, и мы с вами, презрев запреты, пройдем туда, ми-

новав Святое, и окажемся в последней коробочке, именуемой Святая Святых, — в страх наводящей каменной комнате, пустой, как Вселенная, лишенной окон, а потому недоступной для проникновения дневного света, который ворвется туда, лишь когда грянет час разрушения, и все станет грудой каменных руин, камни же друг от друга неотличимы. Бог тем больше Бог, чем недоступней он, плотник же Иосиф всего лишь отец одного из многих младенцев, который — да не младенец, разумеется, а отец — увидит, как умрут два невинных голубка — ибо младенец, невинностью своей не уступающий им, лежит на руках у матери и думает, если ему это по силам, что вот это и есть мир, куда пришел он, и мир этот пребудет таким во веки веков.

А перед алтарем, сложенным из огромных неотесанных камней, которые с той поры, как извлекли их из карьеров и установили здесь, в святилище, не знали прикосновения никакого железа, стоит босой, в полотняном хитоне священник, ожидая, когда левит подаст ему голубок. Вот он берет одну из них, вот несет к углу алтаря и там одним движением отделяет ей голову от туловища. Брызжет кровь. Священник окропляет ею нижнюю часть алтаря, потом кладет обезглавленную тушку на особый желоб, чтобы стекла по нему вся кровь: потом, по окончании обряда, он заберет голубку себе. Вторая горлица удостоится большей чести — она станет жертвой всесожжения. Священник, поднявшись туда, где горит священный огонь, на той же стороне алтаря, но на другом углу, юго-западном, тогда как первая жертва принесена была на юго-восточном, сворачивает голову голубке, кропит ее кровью помост, украшенный по краям орнаментом в виде бараньих рогов, и вырывает у нее внутренности. Никто не обращает внимания — слишком ничтожна эта смерть, и только Иосиф, задрав голову, пытается различить во всеобъемлющем дыму и чаду дым своей жертвы, уловить запах ее горящей плоти, которую священник, присыпав солью, бросает в огонь, но вряд ли удастся это плотнику — горящая в пляшущих языках пламени выпотрошенная тушка так жалка и ничтожна, что не заполнит и дупла в зубе Господа. А внизу, у подножия жертвенника, уже стоят в ожидании три священника. Падает сраженный железным крюком теленок — Боже, Боже, сколь слабы мы по воле твоей, как легко нам умереть! Больше Иосифу здесь делать нечего, пора уходить, уводить жену и сына. Мария очистилась — разумеется, об истинной чистоте и говорить не приходится, даже и уповать на нее нечего людям вообще, а женщинам в особенности, речь идет о том, что освободилась она от истечения своего, и все теперь как раньше, только стало в мире на две голубки меньше и на одного мальчика больше. Вышли они из Храма через те же врата, через которые и вошли в него; Иосиф получил назад своего осла и, покуда Мария, став на придорожный камень, усаживалась в седло, держал сына на руках — не в первый раз это было, но теперь, оттого, должно быть, что еще не позабылось, как вырывают внутренности у горлицы, он помедлил, прежде чем передать его матери, словно думал, что ничьи руки не оберегут мальчика лучше его, отцовских рук. Он проводил семейство до городской стены и вернулся в Храм, на работу. Завтра, чтоб уж получилась полная рабочая неделя, он придет туда в последний раз, а потом, не медля больше ни единой секунды, двинутся они домой, в Назарет.

И в ту же ночь высказал наконец пророк Михей то, о чем так долго молчал. И когда царь Ирод, терпя и снося ставшую уже привычной еженощную муку, ждал, что, в очередной раз произнеся обличение, потерявшее от повторений свою грозную силу, исчезнет призрак и страшное пророчество так и не сорвется с уст его, прозвучали новые и нежданные слова. И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть Владыкою в Израиле. И в этот самый миг проснулся царь Ирод, но в опочивальне его, точно длительный, долго не замирающий звон струны, продолжали звучать слова пророка. Ирод больше не закрывал глаз, вдумываясь в сокрытый смысл пророчества, если был он, и столь глубока была его задумчивость, что даже как бы перестал ощущать роящихся под кожей муравьев, червей, ползающих в самых сокровенных частях плоти его, гниющей заживо. Ничего нового не было для него в этом предсказании, знакомом ему, как и всякому правоверному иудею, но он никогда не считал нужным терять время на то, чтобы постичь таинственные откровения древних пророков, — хватало ему тайн и наяву: только поспевай раскрывать заговоры да ковы. Смущало его и томило душу его смутной тревогой другое — некая беспокоящая стран-

ность заключена была в самом звучании, а вернее — отзвуке этих слов, будто значили они не только то, что значили, а таили близкую и неотвратимо ужасную опасность, грозили бедой скорой и неминучей. Он попытался отогнать это наваждение, снова уснуть, но тело не слушалось и вновь открылось для скорбей, проникавших до самого нутра, так что размышление все же служило защитой от них. Уставя взор в потолок — резные украшения его в приглушенном экранами свете факелов, казалось, ожили и задвигались, — царь искал и не находил ответа. Потом он кликнул главного над евнухами, оберегавшими его сон и бессонницу, и приказал, чтобы немедля — Сию же минуту! — был доставлен к нему священник из Храма вместе с Книгой пророка Михея.

Немедля не получилось: пока дошли от дворца до Храма, от Храма до дворца, минул почти целый час, и уже рассветало, когда священника ввели в царскую опочивальню. Читай! — приказал Ирод, и тот начал: Слово Господне, которое было к Михею Морасфитину во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и дальше, до тех пор, пока Ирод не прервал его, выкрикнув: Дальше! Священник, смешавшись и не понимая, зачем вытребовали его в такой час во дворец, перескочил на другой стих: Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния — и осекся, убоявшись, что может дорого ему обойтись невольная его оплошность, и, путаясь, словно хотел, чтобы поскорее забылись слова, сказанные только что, наугад прочел из другого места: И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Дальше! — рявкнул Ирод, раздосадованный тем, что никак не прозвучит стих, ради которого и позвал он этого священника, и прочел тот наконец: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет мне тот, который должен быть Владыкою в Израиле. Повтори! — вскинул руку Ирод, и священник повиновался. Еще раз! — и тот прочел снова. Ну хватит, сказал после долгого молчания царь, можешь идти. Все разъяснилось: книга возвещала чье-то грядущее рождение, появление же пророка Михея означало, что рождение это совершилось. Из тебя произойдет мне тот, — сказано ясно, как всегда у пророков, это мы толкованиями своими затемняем их смысл. Ирод думал и снова думал, и чело его омрачалось все сильней, и ужас внушило бы оно всякому, кто увидел бы его, и наконец он велел позвать начальника стражи и отдал ему приказ, подлежащий исполнению немедленному. Когда тот вернулся и доложил, что воля царя исполнена, отдал ему другой приказ — на завтра. Очень скоро узнаем мы, о чем шла речь, но вот священнику прожить и этот малый отрезок времени было не суждено, как не пришлось и вернуться из царского дворца в Храм — по дороге был он убит какими-то воинами. Есть все основания полагать, что именно таков был первый приказ Ирода, ибо слишком уж близки возможная причина и закономерное следствие. Что же касается Книги пророка Михея, то пропала она бесследно. Вообразите, какая была бы невосполнимая потеря, если бы существовала она в единственном экземпляре.

Немудрящий обед был окончен, а десятник еще не погнал на работу, так что плотник Иосиф, один из многих и многих других плотников, мог еще посидеть, отдыхая, или даже полежать с закрытыми глазами, предаваясь неспешному течению отрадных мыслей, представить себе, что идет по дороге, открывающейся за грядою гор Самарии, а то и еще лучше — вообразить, что глядит с вершины на родной Назарет, по которому так тоскует душа его. Но сейчас душа просто пела, и говорил себе Иосиф, что вот и настал он, последний день долгой разлуки, ибо завтра рано-рано поутру, чуть только померкнут перед рассветом все звезды, кроме Пастушьей, которая одна останется блистать на еще темном небе, двинется он домой, вознося по дороге хвалу Богу Всевышнему, направляющему шаги наши и оберегающему домы наши. Он встрепенулся, открыл глаза — померещилось, что заснул и не слышал свистка на работу, но нет: его и вправду сморило ненадолго, однако вот его товарищи — кто дремлет, кто точит лясы, и десятник сидит себе с таким видом, будто решил объявить нынешний день нерабочим и не раскаивается в своем великодушии. Солнце уже в зените, и краткие, но сильные порывы ветра гонят в другую сторону дым от жертвенников, и сюда, в низину, где строят ипподром, не доносится даже гомон торгующих у Храма, и кажется, будто все маховики и шестеренки

времени замерли и застыли, ожидая, когда придет великий десятник, надсмотрщик над пространством Вселенной и над всеми эрами и эпохами. Но странное беспокойство охватило вдруг Иосифа, еще мгновение назад столь безмятежно счастливого, и он повел вокруг себя глазами, отыскивая причину его, однако вокруг все было прежнее, ставшее за эти недели привычным, — строительные леса, камни и доски, и белая колючая крошка вокруг камнедробилок, и опилки, даже под палящим солнцем долго остающиеся влажными, — и, смутясь и растерявшись от этой внезапной и гнетущей тоски, попытался найти объяснение столь неожиданному своему унынию, подумав сперва, что это вполне естественное чувство всякого, кто должен бросать начатое дело на полдороге, даже если дело это — не его и имеются такие славные и законные основания бросить его. Он поднялся на ноги, прикидывая, сколько еще времени у него в запасе, — десятник же и головы не повернул в его сторону — и решил наскоро обойти те места на стройке, где доводилось ему работать, чтобы попрощаться, так сказать, с бревнами, которые обтесывал, с досками, которые оструживал, с брусьями, которые пригонял на подобающее им место, — уподобясь, извините за смелое сравнение, пчеле, имеющей право сказать: Мед этот — мой.

Завершив прощальный обход, он уже готов был вернуться к своим плотничьим обязанностям, но задержался еще на мгновение, засмотрелся на город, уступами вздымавшийся перед ним на холме, многоступенчатый город, цветом обожженных кирпичей, из которых он выстроен, подобный хлебу, и вот теперь десятник уже наверняка зовет его, но Иосиф не торопится — он смотрит на город и ждет, а чего — неведомо. Минуло время, ничего не произошло, и он пробормотал так, словно смирялся с чем-то или от чего-то отказывался: Ну ладно, надо идти, — и тут с дороги, проходившей внизу, под тем местом, где стоял он, донеслись голоса, и Иосиф, выглянув из-за каменной стенки, увидел троих воинов. Они, конечно, шли по этой дороге, но теперь остановились: двое, уперев в землю древки копий, слушают третьего — он по виду старше годами, а может, и чином выше, однако наверное судить об этом может лишь тот, кому внятен таинственный смысл, сокрытый в количестве, форме и расположении всех этих звездочек, шпал, нашивок, шевронов. А неразборчивые слова, достигшие слуха Иосифа, были вопросом, заданным одним из этих троих: И когда? — и последовавший на них ответ старшего звучал уже вполне отчетливо: В начале третьего часа, когда все уже будут дома, и опять спросили его: Скольких отрядят? — и вновь донесся ответ: Пока не знаю, но городок-то надо будет оцепить. И что же — всех? Нет, не всех, от двух лет и ниже. Поди-ка различи: два ему или уже три стукнуло, сказал первый. И сколько же это получается? — допытывался второй. По переписи — душ двадцать пять, отвечал старший. Иосиф так вытаращил глаза, словно надеялся, что через них придет к нему постижение услышанного, ибо ушам своим верить отказывался, и тело его вмиг покрылось гусиной кожей: одно, по крайней мере, было ясно — воины эти намеревались идти убивать каких-то людей. Каких, каких людей? — растерянно допытывался он у самого себя, да нет, не людей, а детей, а дети что же, не люди? От двух лет и ниже, сказал этот капрал, сержант, писарь-каптенармус или кто он там, а где же, где это будет? — но не мог же Иосиф перевеситься через стенку и спросить: Эй, ребята, где воевать собрались? — и пот бежал с него ручьями, и тряслись колени, когда снова заговорил старший, сказав и озабоченно, и как бы с облегчением: Слава Богу, что мы и сыновья наши не в Вифлееме живем. А известно-то хоть, почему посылают нас убивать этих вифлеемских младенцев? — спросил первый копейщик. Нет, и похоже, начальство само не знает: приказ царя — и точка. Воин, водя по земле концом древка, будто вычерчивал неведомые знаки судьбы, сказал: Горе нам, горе: видно, мало того зла, что каждый творит в жизни, так еще и приходится быть орудием зла чужого. Но Иосиф этих слов уже не слышал — он крадучись отошел от этой, самой судьбой ему посланной каменной стенки, а потом бросился бежать сломя голову, с козлиным проворством скача по камням, и только что высказанный копейщиком философский постулат, лишенный того, кто мог бы подтвердить, что он и в самом деле был высказан, причем этими самыми словами, заставляет сильно усомниться в своем существовании, особенно если принять в расчет вопиющее противоречие между его завидной и очевидной глубиной и самобытностью и социальной ничтожностью уст, изрекших его.

Вихрем, сметая всякого, кто попадался ему на пути, сшибая лотки и прилавки тор-

говцев, переворачивая клетки с обреченными в жертву голубями и столики менял, не слыша яростных криков, летевших ему вслед, несется Иосиф, и одна мысль бьется в воспаленном его уме — ищут убить сына его и неведомо за что, и согласимся, что коллизия исполнена драматизма: один человек дал ребенку жизнь, другой хочет эту жизнь отнять, и одно желание стоит другого — творить и разрушать, завязывать и развязывать, создавать и уничтожать. Вдруг он замирает как вкопанный, осознав внезапно, как опасно продолжать этот бешеный бег — того и гляди появятся храмовые стражи и схватят его, счастье еще, что они не сразу заметили учиненный им разгром. И вот, притворясь как можно лучше таким, как все, затаившейся в шве вошкой спрятался Иосиф в гуще толпы — и сразу стал безликим и безымянным и тем лишь отличался от всех прочих, что шел чуть скорее, но и на это в густой толчее едва ли кто обращал внимание. Он знает, нельзя бежать до тех пор, пока не выберешься за городские стены, но ему не дает покоя мысль о том, что солдаты, вооруженные копьями, мечами, ножами и злобой, лютой, но беспричинной, уже пустились в путь, и хорошо, если в пешем строю, а ну как отрядили конных, и те скачут облегченной рысью, а дорога-то, как нарочно, под уклон, приятная верховая прогулка, да и только, и если так, то их не опередишь и не догонишь, и сын мой погибнет, бедный мой мальчик, несчастный мой, любимый мой, единственный, Иисус мой, — и в это мгновение новая мысль, мысль дурацкая и недостойная, точно бранное слово, оскорбительно вламывается в сознание: жалованье, пропадет жалованье за неделю, и такова сила презренной корысти, низкого интереса, что Иосиф хоть и не остановился, но чуть-чуть придержал стремительность шагов, словно для того, чтобы дать рассудку время взвесить и прикинуть, нельзя ли совместить одно с другим — жизнь, так сказать, и кошелек, — но была эта мелкая мыслишка мимолетней и легче луча, что рождается и исчезает, не успев оставить по себе сколько-нибудь определенной памяти, и потому Иосиф не успел даже испытать стыд, который столь часто — и все же недостаточно часто — становится самым надежным, самым верным нашим ангелом-хранителем.

Но вот он наконец за городской чертой, воинов на дороге не видно, насколько хватает взгляд, и не заметно никакого оживления, неизбежного в том случае, если бы через эти ворота выходил отряд, однако самая безобманная и верная примета — это мирно играющие дети: не так бы они себя вели, если бы под сенью знамен, под барабанную дробь и пенье труб появились тут воины, мальчишки, повинуясь древнему как мир воинственному зову души, непременно увязались бы за отрядом следом — ни единого мальчишки не осталось бы тут — и провожали бы его по крайней мере до первого поворота дороги, а самый боевой довел бы и до места назначения, узнав таким образом, что́ суждено ему в будущем, а суждено ему убивать и умирать. Иосиф же теперь может припустить бегом — и он бежит, бежит, благо дорога под гору, бежит, путаясь в полах своего хитона, хоть он и подоткнул его чуть не до колен, но — так бывает во сне — его не оставляет мучительное ощущение, что ноги не способны выполнять требования и мольбы верхней части тела — сердца, головы, глаз, рук, которые спешат спасти и уберечь, но явно не поспевают. Встречные останавливаются, провожают этого опрометью несущегося человека удивленными взглядами, а зрелище и вправду неприятно поражает глаз, ибо народ этот высоко ставит сдержанное достоинство, степенность и даже известную величавость походки и вообще всего поведения, и единственное, что может извинить Иосифа — не считая, понятно, того, что мчится он спасать сына, — это явная его принадлежность к племени галилеян, людей, как не раз уж говорилось, неотесанных и грубых. Вот позади осталась гробница Рахили, которая, верно, никогда и не предполагала, что появится у нее столько поводов оплакать детей своих, огласить воплями и рыданиями бурые холмы вокруг, расцарапать себе лицо или что там от него осталось, прядями вырывать себе волосы или ранить голый свой череп. Иосиф еще до того, как показались первые домики Вифлеема, сбегает с дороги и мчит напрямик, через поле: Так короче, скажет он, если кто удивится и спросит, что это он затеял, и хоть так, наверно, и в самом деле гораздо короче, но можно ручаться, что и гораздо неудобней. Избегая встреч с теми, кто работает в поле, припадая за камни, чтобы не заметили пастухи, Иосиф делает большой крюк, чтобы попасть в свою пещеру, где жена не ждет его в этот час, а сын — ни в этот, ни в какой другой, ибо спит. Уже на середине склона последнего холма, когда уже

показалась впереди черная дыра — вход в пещеру, еще одна ужасная мысль пронзает его: а вдруг Мария, взяв с собой младенца, пошла в селение и — это ведь женщинам так свойственно, так присуще — воспользовалась своим одиночеством, чтобы толком и без спешки попрощаться с невольницей Саломеей и местными мамашами, с которыми свела за последнее время знакомство и дружбу, оставив мужу право и обязанность по всем правилам поблагодарить хозяев пещеры. А перед мысленным взором мужа этого проносится в тот же миг картина — вот он бежит по улицам Вифлеема, стучит в двери домов, кричит: Нет ли тут жены моей?! — ибо глупо было бы спрашивать, нет ли тут младенца двух месяцев от роду, и, увидев, что он сам на себя не похож, непременно осведомится какая-нибудь женщина с ребенком: Стряслось что-нибудь? — а он скажет: Да нет, ничего особенного, просто завтра рано утром уходим мы, так надо собрать пожитки. Отсюда, с высоты, похож Вифлеем на строящийся Храм, и разбросанные повсюду камни будто ждут, когда придут рабочие, поставят их один на другой, выстроят из них что-нибудь — дозорную ли вышку, обелиск ли в честь одержанных побед или стену плача. Лает вдалеке пес, откликаются ему другие, но знойное безмолвие последнего предзакатного часа еще осеняет Вифлеем, как позабытое благословение, почти уже утратившее силу свою и благодать, как последнее перышко растаявшего в вышине облака.

В неподвижности провел Иосиф меньше времени, чем нужно, чтобы выговорить эти слова. Последний рывок — и вот он уже был у входа в пещеру и окликал жену: Мария, ты здесь? — и когда она отозвалась ему из глубины, он вдруг и только сейчас ощутил, как дрожат и подкашиваются у него ноги — от бешеного бега, но и от счастливого потрясения: сын цел и невредим. А в пещере Мария нарезáла овощи к ужину, спал в яслях младенец. Иосиф без сил повалился наземь, но тотчас заставил себя встать и сказал: Мы уходим, мы уходим, и Мария непонимающе взглянула на него: Уходим? — и он ответил: Да, да, уходим немедленно. Но ты же говорил. Молчи! — перебил он ее, собирай вещи, покуда я заседлаю осла. Давай сперва хоть поужинаем. В дороге поужинаем. Скоро стемнеет, куда ж это мы на ночь глядя, заплутаем, и Иосиф сорвался на крик. Молчи, сказано, делай, что тебе говорят! Слезы выступили на глазах Марии — в первый раз муж повысил на нее голос, — и молча принялась она собирать немногие их пожитки. Живей, живей, подгонял ее Иосиф, а сам тем временем взнуздал и заседлал осла, подтянул подпруги, как попало и вперемежку набил седельные торбы всем, что подвернулось под руку, а Мария дивилась, не узнавая мужа. Они уже были совсем готовы пуститься в путь — оставалось лишь засыпать землей огонь, как вдруг Иосиф, жестом приказав жене оставаться на месте, подошел к выходу, выглянул наружу. Пепел сумерек припорошил землю и небо, сделав их неразличимыми. Солнце еще не село, но густая пелена, хоть и висела достаточно высоко, чтобы оставались окрестные поля в поле зрения, не давала лучам пробиться наружу. Иосиф прислушался, шагнул вперед раз и другой — и волосы его стали дыбом: из Вифлеема летел крик, и был он столь пронзителен, что, казалось, не могут издать его уста человеческие, и тотчас, следом, еще не успело смолкнуть в окрестных холмах эхо, грянул, заполняя собой все вокруг, новый взрыв рыданий и воплей, но нет, это не ангелы оплакивали попавших в беду людей, а обезумевшие люди взывали к пустым небесам. Иосиф медленно, словно боясь, что звук его шагов будет услышан кем-то, отступил в глубь пещеры, столкнувшись с нарушившей его запрет Марией — она дрожала с головы до ног. Что это за крики? — спросила она, Иосиф же, не отвечая, втащил ее в пещеру и стал забрасывать землей костер. Что это за крики? — повторила она, невидимая во тьме, и на этот раз он, помолчав, сказал: Это убивают людей, еще помолчал и добавил, словно по секрету: Детей убивают, так приказал царь Ирод, и горло ему перехватил спазм беззвучного бесслезного рыдания, но, справившись с ним, он договорил: Потому я и хотел бежать. Зашелестела солома, зашуршала ткань — это Мария, вынув сына из яслей, прижала его к груди: Иисус, тебя ищут убить, и последнее слово пресеклось плачем. Молчи, сказал Иосиф, ни звука, может быть, воины сюда не придут, им велено убивать всех младенцев вифлеемских от двух лет и ниже. Как ты узнал? Подслушал разговор у Храма, прибежал сюда. Что же нам делать? Вряд ли они станут обшаривать все пещеры в округе, приказано им лишь обойти все дома, молись, чтобы никто не выдал нас, и тогда мы спасены. Он снова выглянул наружу: вопли стихли, и слышались

теперь лишь рыдания, и значило это, что избиение младенцев совершилось и завершилось. По-прежнему непроглядно было небо — наступающая ночь и туманная пелена надежно укрыли Вифлеем от взоров тех, кто обитал в небесах. Оставайся здесь, сказал Иосиф, пойду к дороге, посмотрю, ушли воины или нет. Будь осторожен, сказала Мария, словно было ей невдомек, что мужу ее никакая опасность не грозит, что смерть пришла лишь жителям Вифлеема мужского пола от двух лет и ниже — если только кто-нибудь, вышедший на дорогу с той же целью, что и Иосиф, — поглядеть, ушли ли солдаты, — не выдаст, не донесет, не скажет: А вот плотник Иосиф, и сыну его, нареченному Иисусом, нет еще и двух месяцев от роду, и не про него ли говорилось в пророчестве, ибо никогда мы не читали и не слыхали, чтобы уготован был царский венец нашим сыновьям, тем более теперь, когда вы их перебили всех до единого.

Столь плотная тьма стояла в пещере, что, казалось, можно потрогать ее пальцами. Мария боялась темноты, с детства она привыкла, что в доме горит огонь в очаге, светильник ли или то и другое вместе, и теперь усилилось и стало совсем нестерпимым ощущение того, будто она заживо зарыта в землю, что пальцы тьмы вот-вот схватят ее. Выйти из пещеры, нарушив запрет мужа и подвергнув сына смертельной опасности, она не могла, но страх нарастал в ней с каждой секундой, грозя вот-вот смести утлые заслоны благоразумия, и впустую было увещевать себя: Раз ничего тут не было, пока горел огонь, то и сейчас нет, но это вдруг помогло, и она, нащупав ясли, положила в них сына, потом почти ползком добралась до кострища, хворостиной смела землю, засыпавшую его, и, когда обнаружились несколько все еще тлеющих головней, страх вдруг покинул ее — ей непонятно почему припомнилась земля в глиняной чашке, испускавшая такой же дрожащий и мерцающий свет, прорезаемый стремительными сполохами, будто кто-то на гребне горы размахивал факелом или бежал, воздев его над головой. Возник было образ нищего и тотчас исчез — настоятельная надобность осветить пещеру вытеснила его. Мария все так же ощупью подобралась к яслям, нашарила солому, выдернула пучок, вернулась туда, где бледно светилась земля, — и вот уже в самом дальнем углу, невидимая тому, кто заглянул бы снаружи, затеплилась коптилка, озаряя сходящиеся в этом месте стены пещеры, и вместе с этим тусклым, умирающим светом снизошло на нее умиротворение. Мария подошла к яслям, где по-прежнему безмятежно спал ее сын, безразличный ко всем страхам, потрясениям, насильственным смертям, бушевавшим снаружи, снова взяла его на руки и, присев на землю там, где было светлее, принялась ждать. Прошло некоторое время, и он проснулся и, еще не открывая глаз, плаксиво сморщил личико, однако Мария, уже превзошедшая науку материнства, заплакать ему не дала — выпростала из-за пазухи грудь, вложила сосок меж нетерпеливых губ. Так сидели они, когда снаружи раздались шаги. В первое мгновенье Марии показалось, что сердце у нее остановится — Солдаты! — но шаги явно принадлежали одному человеку, солдаты же, как известно, ходят не поодиночке, а по крайней мере парами, блюдя обычай и полевой устав вообще, а в подобных обстоятельствах, когда идет поиск, а вернее — розыск и один во избежание всяких неожиданностей должен прикрывать другого, — особенно. Это Иосиф, подумала она и испугалась, что он станет бранить ее за то, что развела огонь. Медленные шаги приближались, и вот вошел Иосиф, но внезапно Марию затрясло — шаги, грузные, твердые, не могли принадлежать мужу, должно быть, какой-нибудь бродяга искал себе пристанища на ночь, и так уже дважды бывало раньше, и Мария не пугалась, потому что представить себе не могла, что кто-то, каким бы ни был он злодеем, способен обидеть женщину с грудным младенцем на руках, но тогда она не могла знать, что многие из убитых сегодня в Вифлееме тоже были на руках у матерей, как сейчас лежит у груди ее Иисус, и так же, как он, сосали молоко в тот миг, когда клинок, рассекая тончайшую кожицу, вонзался в нежную плоть, но рукоять этого клинка держала рука не бродяги, но царского воина, а это, согласитесь, разница, и немалая. Нет, это был не муж ее и не воин, ищущий подвигов в одиночку, чтобы ни с кем не делиться славой, и не бездомный бесприютный бродяга — нет, на этот раз в обличье пастуха пришел к ней тот, кто прежде — раз и другой — являлся нищим попрошайкой, тот, кто назвал себя ангелом, но не сказал только, ангел ли он небесный или ангел ада. Мария сначала и не подумала, что это может быть он, а теперь поняла, что никто другой и не мог появиться здесь.

И сказал он так: Мир тебе, жена Иосифа, тебе и сыну твоему, счастье, что пещера эта стала вам домом, а иначе один из вас был бы растерзан и мертв, а другой — жив, но с растерзанным сердцем. Сказала Мария: Я слышала крики. Сказал ангел: Да, на этот раз только слышала, но придет день, и взывать будут к тебе, а ты не внемлешь им, а еще раньше того дня услышишь ты рядом с собой тысячекратно усиленный крик. Сказала Мария: Муж мой ушел к дороге посмотреть, покинули ли Иродовы воины пределы вифлеемские, и нехорошо будет, если он застанет тебя здесь. Сказал ангел: Не тревожься об этом, я уйду прежде, чем он вернется, и пришел я затем лишь, чтобы сказать — теперь ты увидишь меня нескоро, ибо все, что должно было произойти, произошло уже, не хватало лишь этих убиенных младенцев и — до того как убили их — не хватало свершенного Иосифом преступления. Сказала Мария: Никакого преступления не совершал муж мой, он добрый человек, он хороший человек. Сказал ангел: Да, он добрый человек, он хороший человек, совершивший преступление, и ты даже вообразить себе не в силах, сколько уж было таких, как он, — неисчислимы преступления хороших людей и, вопреки понятиям общепринятым, только их преступления нельзя простить. Сказала Мария: Что же сделал он? Сказал ангел: Сама знаешь, не отнекивайся, не то попадешь в сообщницы ему. Сказала Мария: Клянусь, я не знаю. Сказал ангел: Клясться не надо, а впрочем, можешь и поклясться, помни лишь, что в клятвах для меня значения не больше, чем в шуме ветра. Сказала Мария: Что же сделали мы? Сказал ангел: По жестокой воле Ирода обнажены были клинки, но это ваше себялюбие и малодушие связало по рукам и ногам тех, кого пронзили они. Сказала Мария: Что же могла я сделать? Сказал ангел: Ты — ничего, ибо слишком поздно узнала обо всем, а плотник твой мог все: мог предупредить жителей Вифлеема, что уже идут туда воины убивать младенцев, и тогда родителям их достало бы времени убежать с ними и скрыться в пустыню, скажем, или же в Египет и там дождаться смерти царя Ирода, которая уже близка. Сказала Мария: Он не подумал об этом. Сказал ангел: Нет, не подумал, но это не оправдание. Сказала Мария, заплакав: Прости меня, ты ведь мой ангел. Сказал ангел: Не затем, чтобы прощать, пришел я сюда. Сказала Мария: Прости его. Сказал ангел: Я ведь тебе уже сказал — этому преступлению прощения нет, скорее уж будет прощен Ирод, чем Иосиф, скорее будет прощен изменник, чем отступник. И вновь сказала Мария: Что же нам делать? Сказал ангел: Будете жить, будете страдать, как все. Сказала Мария: А сын мой? Сказал ангел: Вина родителей падает на голову детей, и тень преступления, свершенного Иосифом, ляжет на чело Иисуса. Сказала Мария: Несчастны мы. Несчастны, согласился ангел, и нет средства помочь вам. Мария поникла головой, крепче прижала сына к себе, словно этим могла спасти его от грядущих бед, а когда подняла глаза на ангела, его уже не было — но только исчез он, не в пример тому, как появился, шагов слышно не было. Улетел, подумала Мария. Она поднялась, подошла к выходу из пещеры проследить путь его в воздухе или хоть след этого пути, взглянуть, нет ли поблизости Иосифа. Туман рассеялся, металлическим блеском сверкали первые звезды, по-прежнему доносились из Вифлеема рыдания, и в этот миг голова ее закружилась от какого-то безмерного тщеславия, от греховнейшей гордыни, обуявшей ее вопреки пророчеству ангела, словно спасение сына ее свершилось не по воле Всевышнего, обладающего достаточным могуществом, чтобы избавить кого угодно от злой смерти в тот самый миг, когда другим обреченным остается только одно — ждать, пока не представится случай спросить самого Бога: Зачем ты нас убил? — и удовольствоваться любым, каков бы ни был он, ответом. Но недолгим было упоение Марии: уже в следующий миг представилось ей, что могла бы и она, как многие матери вифлеемские, держать на руках мертвое тело сына, и тогда во спасение ее души, во исцеление разума слезы вновь выступили на глазах у нее и хлынули ручьем. Так сидела она и плакала, когда вернулся Иосиф — Мария видела его, но не шевельнулась, ибо уже не боялась его упреков: она плакала теперь вместе с другими матерями, что сидели в кружок, держали на коленях бездыханных своих сыновей и ждали часа воскресения. Иосиф увидел ее слезы, понял причину их и промолчал.

И, войдя в пещеру, он не стал бранить жену за то, что та зажгла светильник. Угли костра подернулись тонким слоем пепла, но посреди них и между ними еще трепетал, еще бился из последних сил язычок пламени. Развьючивая осла, сказал Иосиф: Опасность

миновала, они ушли, и самое лучшее — переждать здесь до утра, а завтра утром, чем свет, тронемся в путь, да не по дороге, а по тропинке, а где тропинки нет — прямиком. Сколько детей погибло, прошептала Мария, и Иосиф вдруг рассердился: Сколько, почем ты знаешь сколько, ты что, ходила считать? Я просто помню некоторых. Скажи лучше спасибо, что твой сын жив. Говорю. И не смотри на меня так, словно я свершил злодеяние. Я не смотрю. И не смей говорить со мной так, словно судишь и осуждаешь. Я буду молчать. Да уж, лучше помолчи. И с этими словами он привязал осла к яслям, где еще оставалось немного соломы, хотя вряд ли тот уж очень сильно проголодался, ибо в последние недели ел, что называется, вволю, только и делал, что щипал травку да нежился на солнце, но счастье, как известно, недолговечно, совсем скоро вновь начнутся тяжкие его труды под тяжкой кладью. Мария уложила сына и сказала: Раздую огонь. Зачем? Ужин приготовлю. Не надо, кто-нибудь может заметить костер, поедим всухомятку что Бог послал. Так и сделали. Масляная плошка озаряла призрачным светом четырех обитателей пещеры — неподвижно, как изваяние, стоял осел, ткнувшись губами в солому, которую так и не стал есть; спал младенец; а мужчина и женщина пытались обмануть голод пригоршней сушеных смокв. Потом Мария раскатала по земле циновки, расстелила простыню и, как всегда, стала ждать, когда ляжет муж. Но Иосиф сначала вновь выглянул из пещеры, прислушался — но покой царил на земле и в небесах, и из Вифлеема не доносилось больше ни воплей, ни рыданий, и видно, хватало у Рахили сил на то лишь, чтобы стонать и вздыхать, затворив и двери, и душу. Иосиф растянулся на циновке, почувствовав вдруг небывалое изнеможение — слишком много бегал он в этот день, слишком силен был страх его, и он не мог даже сказать, что это благодаря его стараниям остался в живых Иисус, ибо воины всего лишь неукоснительно выполнили данный им приказ — истребить всех младенцев вифлеемских мужского пола, не позаботившись проявить хоть немного инициативы и по собственному почину обшарить ближайшие пещеры, чтобы удостовериться, что никто там не спрятался или — а это уж просто грубейший тактический просчет, приведший, строго говоря, к провалу всей операции, — что не служит одна из них местом постоянного обитания целого семейства. Обычно Иосифа не раздражало всегдашнее обыкновение жены укладываться на ночь уже после того, как он засыпал, но сегодня была ему несносна сама мысль о том, что вот он заснет, а Мария будет бодрствовать, глядя на его беззащитное во сне лицо безо всякой жалости. И потому он сказал: Ложись, не сиди надо мной. И Мария повиновалась, проверив сначала, как всегда она это делала, крепко ли привязан осел, а потом со вздохом улеглась на циновку, изо всей силы зажмурила веки — сразу ли придет сон или погодя немного, но она смотреть ни на что более не желает. А посреди ночи приснилось Иосифу, будто скачет он верхом по дороге, спускающейся к какому-то селению, и вот уже показались первые его домики, а сам он — в одежде и снаряжении воина, с мечом, с копьем, с кинжалом, как и все вокруг него и вроде бы неотличим от других, но спрашивает начальник: А ты, плотник, куда? — и без запинки отвечает ему Иосиф, гордясь, что так хорошо знает цель свою: В Вифлеем, убить сына своего, и только сказал он это, как захрипел и проснулся, и все тело его перекручено было судорогой ужаса. Сказала Мария: Что такое, что с тобой? — и Иосиф, дрожа с ног до головы, только и мог, что выговорить: Ничего, ничего, но в тот же миг пережитый ужас прорвался в рыданиях, раздирающих ему грудь. Мария поднялась, поднесла поближе коптилку, осветила его лицо, но он заслонился ладонями: Убери, убери! — и, все еще вздрагивая от рыданий, встал, подбежал к яслям взглянуть на сына. Да вы напрасно беспокоитесь, достопочтенный наш Иосиф, мальчик ваш и вправду — чистый ангел, ни забот с ним, ни хлопот, поел да спит, и так безмятежно, словно не прошла в двух шагах от него смерть, да какая смерть — от руки собственного, родного отца, давшего ему жизнь, и хоть знаем мы, что от судьбы не уйдешь, что смерти в конце концов не миновать, но согласимся все же, что смерть смерти рознь. Иосиф же, боясь задремать, чтоб снова не привиделся ему этот кошмар, ложиться не стал, а завернулся в одеяло и сел у выхода из пещеры, под каменным уступом скалы, что образовывал нечто вроде природного навеса и в ярком свете луны отбрасывал тень такую густую и плотную, что дрожащая коптилка справиться с ней была не в силах. Появись тут на плечах своих рабов, в окружении своих алчущих крови полчищ хоть сам царь Ирод, он и то сказал бы: Дальше,

дальше, не тратьте времени даром, нет здесь того, что мы ищем, — нежной младенческой плоти и только начавшейся жизни, и вообще ничего нет, кроме камней да тени от камней. Иосиф задрожал, припомнив свой сон, спросил себя, что бы мог он значить и как понимать все это — под всевидящим оком небес мчался он вниз по дороге, прыгал по камням, перемахивал через изгороди, торопясь, как отцу и пристало, защитить и спасти сына, а во сне увидел себя в обличье палача-кровоядца, но, может, не врет поговорка, гласящая, что снам веры нет: Дьявольское это было наваждение, пробормотал он. Тут, будто трель невидимой во тьме птицы, засвистало что-то в воздухе — пастух, что ли, дунул в свою сопелку, созывая стадо, но для пастуха рано, спит вся скотина, одни лишь сторожевые псы бодрствуют в такой час. Однако ночь, тихая и отчужденно-далекая от людей, тварей и неодушевленных предметов, ночь, исполненная того ли высшего безразличия, которым склонны мы наделять Вселенную, проникнутая ли равнодушием иным, остающимся — если только что-нибудь останется — от всеобъемлющей пустоты, что последует за полным и окончательным концом всего сущего, — ночь отвергала смысл и разумный порядок, которые правят миром, как кажется нам в те часы, когда мы все еще продолжаем считать, будто сотворен мир этот был, чтобы принять нас во всем безумии нашем. И в памяти Иосифа постепенно стал делаться этот его сон все неправдоподобней и нелепей, стал блекнуть, и тускнеть, и выцветать, опровергаемый этой ночью, и лунным светом, и спящим в яслях младенцем, а больше всего — разумом человека, очнувшегося, овладевшего собой и своими мыслями, которые, хоть и стали мирными и ласковыми, все же еще способны были производить на свет таких чудищ, как хвала Богу за то, что солдаты, перебив стольких, пощадили — разумеется, по лени и небрежности — сына его возлюбленного. Одна и та же ночь укрывает плотника Иосифа и матерей вифлеемских, об отцах же, равно как и о Марии, упоминать не будем, не указывая причины подобного умолчания. Неспешно текут часы, и — заря уже занимается, а луна еще не померкла — Иосиф встает, навьючивает на осла пожитки, и вскоре все семейство его — Иисус, Мария и сам он, плотник Иосиф, — пускается в обратный путь, в Галилею.

А утром, на часок оставив хозяйский дом, где лежат два убитых мальчика, пришла в пещеру рабыня Саломея, уверенная, что та же злая участь постигла и младенца, которого она принимала. Но пещера была пуста, ничего в ней не было, кроме следов человеческих ног и отпечатков ослиных копыт, и на пепле, подернувшем совсем уже погасшие угли, не было ни капли крови. Нет его здесь, сказала она сама себе, от первой своей смерти он спасся.

Через восемь месяцев после того счастливого дня, когда Иосиф со своим семейством — все были целы и невредимы, за исключением осла, который стал слегка припадать на правую переднюю ногу, — благополучно избежав многих опасностей, воротился в родной Назарет, пришла весть о том, что царь Ирод скончался в одном из своих дворцов в Иерихоне, куда, уже слабеющий и безнадежно больной, перебрался с первыми же дождями, возвестившими о приходе суровой зимы, которая в Иерусалиме к больным и хилым сурова вдвойне. Сообщалось также, что осиротевшее после смерти своего властелина царство, за которое передрались наследники тирана, оказалось по итогам семейственной не то что розни, а резни поделенным между тремя его сыновьями: Ирод Филипп правил теперь землями, лежащими к западу от Галилеи, во владение Ироду Антипе отошли Галилея и Перея, Архелаю же достались Иудея, Самария и Идумея. Как раз в те самые дни один заезжий погонщик мулов, из тех, кого хлебом не корми, а только дай, переплетая были с небылицами, порассказывать всякую всячину, поведал жителям Назарета о пышных похоронах царя Ирода, на которых, как он клялся и божился, сам присутствовал: Царь лежал на золотых, осыпанных драгоценными камнями носилках, а те стояли на великолепном катафалке — тоже из чистого золота и весь покрыт пурпурным балдахином, а тащили погребальную колесницу два белых быка, а тело Ирода было с головы до ног обвито багряницей, так что ничего и не было видно, кроме короны, возложенной на том месте, где должна была находиться голова, за катафалком шли флейтисты, а за ними наемные плакальщицы, и все они были вынуждены вдыхать этот тошнотворный запах, бивший им прямо в ноздри, даже меня, хоть я и стоял на обочине дороги, чуть

не вывернуло наизнанку, когда процессия проходила мимо, следом верхами ехала царева стража, за нею же шли воины с копьями, мечами и щитами, будто на войну собрались, и шло, шло, шло это воинство, подобное ползущей змее, чья голова уже скрылась из виду, а хвост еще не показался, и мнилось, конца-краю ему не будет, дрожь пробирала при взгляде на это нескончаемое шествие, подвигавшееся вслед за покойником и при этом — навстречу собственной смерти, которая неизбежно приходит за каждым, и пусть даже порою покажется, что она слишком запаздывает, нет, вот уж она тут как тут, стучится в дверь: Вышел срок, час настал, пришла я, объявляет эта гостья с порога, не делая никакого различия между царями и рабами, между тем, чью мертвую, разлагающуюся плоть везли там, впереди, во главе траурного кортежа, и теми, кто тащился позади, глотая поднятую бесчисленными воинами пыль, — они-то пока живы, но, как и все, бредут к месту своего последнего упокоения. Право, этому бы рассказчику прогуливаться вместе с другими философами-перипатетиками под коринфской колоннадой какой-нибудь академии, а не гнать мулов по дорогам Израиля, ночуя на вонючих постоялых дворах и рассказывая байки всякой деревенщине, вроде этих назаретян.

А среди них, собравшихся на площади перед синагогой, был и наш Иосиф — он проходил мимо и остановился послушать, хоть, по правде говоря, слушал не слишком внимательно все, что относилось к подробностям погребального шествия, а если даже кое-что и запомнил, то все это мигом вылетело у него из головы, стоило лишь аэду от живописных подробностей перейти к философической концовке, зазвенеть, так сказать, элегической струной своей арфы: имелись у плотника веские и неизбывные основания к тому, чтобы именно на нее отозвались струны души его. И основания эти были просто на лбу у него написаны — изменился Иосиф неузнаваемо, ибо одно дело — его прежняя степенная сдержанность, сосредоточенная серьезность, призванные скрыть, как, в сущности, он еще молод, и совсем-совсем другое, несравнимо худшее — скорбь, горькими складками залегшая в углах рта, до времени рассекшая лицо его глубокими морщинами. И уж всерьез бы встревожился тот, кто заметил бы выражение его глаз, а вернее — отсутствие всякого выражения: мертвыми казались они, будто припорошенными пеплом, но под слоем его все никак не мог погаснуть и остыть нехороший жар, раздуваемый бессонницей. Иосиф и вправду почти не спит. Сон сделался ныне заклятым его врагом, он сражается с ним ныне не на живот, а на смерть, и войну эту ему не выиграть, и если даже изредка и удается ему одержать победу и измученное тело сдается и засыпает, то сейчас же, неминуемо появится на дороге конный отряд, и в рядах его, среди других воинов, скачет он сам, крутя над головой мечом, и в тот миг, когда разум возобладает наконец над ужасом, непременно прозвучит вопрос начальника: А ты, плотник, куда? — и не хочет отвечать на него несчастный Иосиф, и сопротивляется ему из последних сил — уже не телесных, ибо иссякли они, но душевных, — но сон одолевает, железными пальцами разжимает стиснутые зубы, и вместе с рыданием вырывается из уст уже возвращающегося к яви Иосифа чудовищный и неизменный ответ: В Вифлеем, убить сына своего. И потому не станем спрашивать его, запомнил ли он, сколькими быками запряжена была погребальная колесница Ирода, белые были эти быки или пегие, — думает он теперь, по дороге домой, только о последних словах погонщика мулов, сказавшего, что все это неисчислимое множество людей, хоронивших царя, все эти рабы и воины, стражники и плакальщицы, флейтисты и сановники, князья и престолонаследники, да и все мы, кем бы ни были, где бы ни были, заняты в жизни одним лишь — ищем то место, откуда уж не сдвинемся. Но не всегда же так, бьется в мозгу Иосифа, и столь велика его скорбь, что не остается места даже смиренномудрию, а ведь оно одно, когда ни на что более рассчитывать не приходится, способно утишить муку, утешить в горе, не всегда же так, повторяет он, многие всю жизнь проводят там, где родились, и за ними приходит туда смерть, и это доказывает, что судьба — это единственное твердое, верное и обеспеченное, Боже ты мой, как просто — достаточно дождаться, когда сбудется все, что предопределено нам в жизни, и можно будет сказать: Судьба такая, царю Ироду судьбою предопределено было скончаться в Иерихоне и на погребальных дрогах отправиться в свой дворец-крепость Иродию, а младенцев вифлеемских смерть избавила от любых путешествий. А что до судьбы самого Иосифа, то она поначалу, если заново взглянуть на цепь разворачивав-

шихся событий, казалось, должна была стать частью высшего замысла, призванного спасти жизнь невинных созданий, на самом же деле обернулась чем-то совсем иным, ибо плотник, услыхав о смертельной угрозе, никому ничего не сказал и кинулся спасать собственного сына, бросив остальных на произвол судьбы — в самом буквальном и самом точном значении слова. Вот почему он потерял сон, а если ему удается заснуть, то вскоре пробуждается в тоске и скорби, возвращаясь к яви, которая тоже не дает ему позабыть тот сон, и можно, пожалуй, сказать, что когда он не спит, то мечтает о том, чтобы уснуть, когда же ему удается забыться сном, он каждый раз безуспешно пытается проснуться и убежать от того, что ему видится, зная при этом, что неизбежно туда вернется, чтобы вновь и вновь переживать это наваждение, постоянно караулящее его у самой границы сна и яви, так что всякий раз, пересекая этот рубеж, будет Иосиф обречен на эту нестерпимую пытку. Ясно как день, что весь этот спутанный клубок терзаний именуется просто — угрызения совести, хотя накопленный веками опыт общения непреложно свидетельствует: точность определений — не более чем иллюзия, ибо неуклюж и беден язык человеческий, и слава Богу, что это так, и не в том дело, что нет, мол, слов выразить, к примеру, любовь, а в том, что слов в избытке, а любви нет.

Мария ждет второго ребенка. Но на этот раз никакой ангел в нищенских отрепьях не постучался к ней с этой благой вестью, и нежданный ветер не взвихривал пыль на улицах Назарета и в небе над ним, и вторую чашку со светящейся землей не пришлось закапывать рядом с первой, ничего этого не было, и сообщила она мужу о том, что снова беременна, этими самыми словами: Я беременна, а не сказала, к примеру, так: Погляди мне в глаза, и в блеске их увидишь наше второе дитя, на что Иосиф должен был бы ответить: Думаешь, я не заметил — заметил, но ждал, пока ты сама об этом мне скажешь. Ничего подобного не было и в помине: Иосиф выслушал и промолчал, не считать же речами его «а-а», и продолжал ширкать рубанком по доске, работая сноровисто и споро, но бездумно, а где были в эту минуту думы его, мы с вами знаем. Знает и Мария, знает с той самой ночи, когда выдал ей муж свою столь ревниво оберегаемую тайну, а она даже не слишком и удивилась — нечто подобное было совершенно неизбежно, вспомним, что сказал ей ангел в пещере: Раньше того дня услышишь ты, как кричать будут рядом с тобой. И хорошая жена сказала бы мужу: Брось, не думай об этом, сделанного не воротишь, несделанного — тем паче, и, в конце концов, первым долгом надо было действительно спасать родного сына, а перед чужими сыновьями обязательств у тебя не было, но дело в том, что с некоторых пор Мария перестала быть хорошей женой в обычном понимании, то есть такой, как раньше была или старалась быть, а перестала стараться потому, возможно, что услыхала от ангела другие, суровые слова, которые, по тону судя, относились также и к ней самой: Не затем, чтобы прощать, пришел я сюда. Если бы Мария могла поделиться своей сокровенной тайной с мужем, Иосиф, с таким увлечением изучавший Священное Писание, несомненно, всерьез задумался бы о том, что это за ангел такой предстал его жене — неведомо откуда является и заявляет, что он не ангел прощения, что подозрительно уже само по себе, так как всем известно, что создания, именуемые ангелами, и не наделены властью прощать, потому как подобной властью обладает исключительно один Господь Бог. Если же ангел утверждает, что он не ангел прощения, то слова его либо вообще лишены смысла, либо наоборот — звучат слишком многозначительно, и если предположить, что ангел, явившийся Марии, был на самом деле ангелом наказания, тогда его высказывание можно было бы понять так: Что за нелепость — просить меня о прощении, я не прощаю, я наказываю. Но ангелы, не считая, понятное дело, херувимов с огненными мечами, которым Господь Бог наказал охранять дорогу, ведущую к древу жизни, чтобы подальше держались от его плодов наши прародители или их потомки, то есть мы с вами, ангелы, так сказать, по определению никак не похожие на полицейских, которые выполняют неприятные, но необходимые в обществе репрессивные функции, и существуют-то, чтобы помогать нам в жизни, удержать, когда мы вот-вот свалимся в колодец, подхватить, когда оскользается нога с висящего над бездной моста, оттолкнуть на обочину, когда обезумевшая квадрига вдруг вынесет прямо на нас колесницу или вылетит автомобиль с отказавшими тормозами. Ангел, будь он и вправду ангелом, мог бы даже избавить бедного Иосифа от бесконечного ночного кошмара, ибо

достаточно ему было бы предстать во сне перед каждым из отцов убитых младенцев из Вифлеема и сказать каждому: Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его, и таким образом могли бы спастись все младенцы — и Иисус, спрятавшись в пещере вместе со своими родителями, и все остальные — укрывшись на время в Египте, а позже они могли бы вернуться назад, когда ангел, вновь представ перед каждым из их отцов, сказал бы: Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умер искавший души младенца. Ясно, что ангел, благодаря подобному предупреждению, сделанному вроде бы из самых лучших чувств, вернул бы детей туда, где в свое время им суждено будет встретить свою смерть, то есть всего лишь отсрочил бы ее, ибо, как мы убедились, ангелы хоть и на многое способны, однако отнюдь не всесильны — и в этом они подобны Господу — и смерть отвести от нас не могут. Размышляя подобным образом, Иосиф в конце концов пришел бы, скорей всего, к заключению, что ангел, явившийся его жене в пещере, все-таки был посланником ада, демоном, принявшим обличье пастуха, что лишний раз свидетельствует о том, как слаба женщина по природе своей, как подвержена пороку и изобретательна на уловки, к которым прибегает, когда какой-нибудь падший ангел уловит ее в свои сети. Ну а если бы Мария все же решила поделиться с мужем своими мыслями, если бы она не смогла молчать, если бы не хранила в тайне воспоминания о необычных эпизодах благовещения, то он все равно запел бы новую песню на старый лад и нашел бы множество новых доводов в подтверждение своей теории, а самое главное, конечно, то, что предполагаемый ангел не сказал прямо: Я ангел Господень, или: Я послан Господом, но лишь сообщил кратко: Я ангел, поспешив при этом предупредить Марию: Только никому не говори об этом, как будто опасался, что это станет известно всем. Наверняка найдется немало таких, кто станет возражать против подобного толкования отдельных незначительных подробностей, ничуть не проясняющих сути этой архиизвестной истории, хотя автору настоящего евангелия представляется весьма существенной, как в отношении прошлого, так и в отношении будущего, разница касательно того, объявят тебя ангелом небесным или ангелом преисподней, причем разница здесь важна не только по форме, но и по сути, по существу и по содержанию, ведь, насколько известно, сотворивший первых сотворил и вторых, хотя затем и исправил свою ошибку.

Мария, как и муж ее, впрочем по разным причинам, иногда вдруг впадает в глубокую задумчивость, застывает на месте с отсутствующим видом, устремив отрешенный взгляд неведомо куда, и все у нее тогда начинает валиться из рук, и, честно говоря, ничего тут не было бы странного для женщины в ее положении, если бы все бесчисленное разнообразие мыслей ее не сводилось в конечном итоге к одному вопросу: Почему ангел возвестил мне о рождении Иисуса, а сейчас не является? И она смотрит на своего первенца, который в эту пору уже начал ползать, как и все дети в этом возрасте, смотрит, стараясь найти в нем какую-нибудь отличительную черту, примету, особенность — звезду ли во лбу или шестой палец на руке, но сын ее — такой же точно, как и все: так же пускает пузыри, пачкает пеленки и плачет, и вся разница между ним и всеми остальными в том, что это ее сын, и волосы у него темные, как у отца с матерью, и радужка глаза уже теряет белесоватый, так называемый «молочный» оттенок, приобретая мало-помалу свой природный или по наследству полученный от многих поколений предков цвет — темно-карий вокруг зрачка, а чем дальше от него, тем заметней делается отлив, который мы бы определили как дымчато-зеленоватый, но ведь ничего в этом нет особенного, и значение это имеет, лишь когда речь заходит о нашем с вами ребенке или — в данном случае — о сыне Марии. Пройдет всего несколько недель, и малыш начнет делать первые попытки встать на ножки и ходить, то и дело привычно опускаясь на четвереньки, он будет замирать, устремив взгляд вперед и с трудом удерживая головку, при звуке материнского голоса, зовущего его к себе: Сюда, сюда, мой мальчик, а чуть позже попробует заговорить, ощутив, что какие-то новые звуки теснятся в гортани, стремясь вырваться наружу, вначале ему будет трудно управляться с ними, он будет путать их с другими, уже знакомыми и освоенными то ли в крике, то ли в плаче, а потом, догадавшись, что производить эти новые звуки нужно как-то иначе, он будет пытаться повторить их вслед за отцом и мате-

рью, следя при этом за движением их губ, до тех пор, пока не произнесет свое первое слово, хотя никому пока не ведомо, что это будет за слово — может быть, «папа», может быть, «мама», а может быть, «каша», однако уже сейчас можно сказать наверняка, что, если матери или кому-нибудь из соседок вздумается опять задать ему вопрос: А куда курочка откладывает яичко, младенец Иисус больше никогда не станет отвечать им этим нелепейшим жестом — тыча пальчиком правой руки в левую ладошку, что просто унизительно и оскорбительно для человеческого существа, не заслуживающего того, чтобы к нему относились словно к собачонке, выучившейся реагировать на звук — будь то голос, свист или щелкание плетки. Теперь, отказавшись показывать это место на своей ладони, Иисус ясно давал понять интересующимся, что курочка может отложить яичко, где ей только вздумается. Глядя на своего сына, Мария вздыхала, сожалея о том, что ангел так долго не возвращается: Теперь ты не скоро увидишь меня, пообещал он, а если бы он появился снова, она бы не стала пугаться, как прежде, а забросала бы его вопросами и сумела бы заставить его ответить на них, ведь женщина, родившая одного сына и вынашивающая другого, лишена бессловесной овечьей покорности, ибо на собственной шкуре познала, что такое муки, опасности, скорбь, и, если положить все это на одну чашу весов, вряд ли чем удастся перевесить такой груз. И доведись ей вновь беседовать с ангелом, он бы теперь не отделался от нее тем, что сказал в первую их встречу: Да благословит тебя Бог, жена, да пошлет он тебе детей, да избавит он их от доли, что выпала тому, кто стоит пред тобой, чья жизнь исполнена горестей, кому некуда приклонить голову, — теперь ему пришлось бы, во-первых, объяснить, кто этот Бог, от имени которого он говорит, во-вторых, правда ли, что ему и в самом деле негде приклонить голову, ибо довольно странно слышать такое от ангела, или же он произнес эти слова оттого лишь, что слишком вошел в роль нищего, далее, пусть объяснит, о каком будущем, уготованном моему сыну, говорилось в том печальном и мрачном пророчестве, и, наконец, что это за тайна скрыта в чашке со светящейся землей — ее зарыли возле двери, и вскоре на этом самом месте после их возвращения из Вифлеема выросло это странное деревце, стволик да листья, и как ни пытались вырвать его с корнем, оно каждый раз вырастало снова и разрасталось пуще прежнего. Двое старейшин синагоги, Закхей и Дотаим, приходили посмотреть на него и, хоть не были особенно сведущи в ботанике, сделали вывод, что оно в должный срок произросло из семени, принесенного вместе с той самой светящейся землей, по выражению Закхея, как Закон Господа, создавшего жизнь. Но если Мария со временем привыкла к этому упорному деревцу и считала, что оно оживляет и украшает двор их, то в душу Иосифа вносило оно смуту, подпитывая новыми резонами давние подозрения, так что он даже перенес свой верстак на другое место, делая при этом вид, что этого мерзкого растеньица просто не существует. Чего только не предпринимал он, чтобы его извести, к каким только средствам — и все впустую — не прибегал: рубил его, пилил его, поливал кипятком, обкладывал комель раскаленными головнями и только на одно из какого-то суеверного почтения так и не отважился, не решился — вонзить в землю мотыгу и копать до тех пор, пока не удастся добраться до самого корня зла — чашки со светящейся землей. Вот как жили Иосиф с Марией, когда на свет появился их второй сын, нареченный Иаковом.

И минуло так еще несколько лет, и все оставалось по-прежнему, если не считать того, что появилось на свет еще несколько сыновей и две дочери и что, фигурально выражаясь, в родителях их окончательно померк последний блеск молодости. Что ж, удивляться не приходится: известно, как изнашивается женщина, когда часто носит она и рожает, уходят мало-помалу и красота, и свежесть — если, конечно, обладала она ими, увядают лицо и тело, да и немудрено: за Иаковом следом родилась Лизия, за Лизией — Иосиф, за Иосифом — Иуда, за Иудой — Симон, за Симоном — Лидия, за Лидией — Иустин, за Иустином — Самуил, а те, кто рождались после Самуила, умирали во младенчестве, не успев получить имя. Дети нам даны на радость и в утешение, и Мария изо всех сил старалась радоваться и утешаться, но когда месяц за месяцем вынашиваешь в утомленной своей утробе столько плодов любви, отнимающих все силы телесные и душевные, то невольно закрадется в душу сперва недоумение, потом нетерпение, а потом и негодование, но не в такое время жила Мария, чтобы возложить ответственность за это на мужа

своего Иосифа и уж подавно — на Господа нашего, который один, как известно, в животе и смерти волен и без его соизволения даже волос с головы не упадет. Иосиф же мало понимал в том, как и почему появляются на свет дети, то есть, обладая некоторыми самыми начальными и практическими понятиями, подходил к этому вопросу, если позволено будет так выразиться, сугубо эмпирически, ибо урок, ежедневно даваемый ему миром, сводил все загадки к одному непреложно очевидному факту — если соединяется мужчина с женщиной, если, иными словами, познают они друг друга, то весьма высока вероятность того, что спустя девять или, реже, семь месяцев произведет женщина на свет вполне пригодного к жизни ребенка. Мужское семя, брошенное в женское лоно, уже несет в себе невидимо для глаза новое существо, которое Бог избрал, чтобы не пресекся и не оскудел род людской, по воле его населяющий этот мир, однако происходит это не всегда, что доказывает лишний раз неисповедимость путей Господних: чтобы родилось дитя, семя мужское само по себе есть условие необходимое, но недостаточное — нужно еще, чтобы мужчина не изливал семя свое помимо места, для него предназначенного, как поступал бедный Онан, поплатившийся жизнью за то, что не желал продолжить род покойного своего брата, зная наверняка, что, если не попадет семя в лоно женщины, с полной уверенностью можно утверждать, что не забеременеет она, но при всех прочих условиях не врет поговорка, и уж если повадился кувшин по воду ходить, то трижды девять — двадцать семь. Доказано, однако, что сам Бог поместил грядущего Исаака в капли той уже сякнущей жидкости, которую Авраам оказался способен из себя извергнуть, и не кто, как Бог, окропил ими недро жены его Сары, у которой к тому времени уже прекратилось обыкновенное у женщин. И мы, рассмотрев этот вопрос под этим теогенетическим углом, сможем заключить, не входя в противоречие с логикой, ибо должно ей быть на первом месте и в этом мире, и во всех прочих, что именно Бог с таким упорством побуждал, чтобы не сказать — подстрекал, Иосифа столь часто и рьяно входить к жене своей Марии, превратив ее в некое орудие, с помощью коего он избывал угрызения совести, мучившие его с того самого дня, когда он допустил, не дав себе труда задуматься о последствиях, избиение младенцев в Вифлееме. Но самое любопытное обстоятельство, доказывавшее, что пути Господни не только неисповедимы, но и зачастую попросту непроходимы, в том заключалось, что Иосиф, хоть и действовал едва ли не бессознательно, по наитию, почитал — хотите верьте, хотите нет — осененными Божьей благодатью действия свои, направленные на то, чтобы этим упорным оплодотворением если не вернуть в мир убитых в Вифлееме младенцев — это, разумеется, было невозможно, — то привести в него хотя бы такое же число загубленных душ, с тем чтобы к следующей переписи все цифры сошлись. Бог и плотник Иосиф угрызались по одной и той же причине, и если в те давние времена поговорка «Бог не спит» была уже в ходу, мы ныне имеем все основания осведомиться, почему же он не спит — не оттого ли, что совершил промах, не только Всевышнему, но и человеку непростительный? С каждым новым ребенком, выпущенным по воле Иосифа в мир, Господь все выше поднимал поникшую голову, но до конца поднять ее так и не сумеет никогда, ибо воины Ирода истребили в Вифлееме двадцать пять душ, а отпущенной Иосифу жизни не хватит, чтобы зачать такое множество сыновей, да и утроба единственной жены его слишком уж была утомлена, а тело и душа — измучены, чтобы могла Мария зачать и выносить стольких. Дети заполняли двор и дом плотника, а казалось, будто и двор этот, и дом пусты.

Когда первенцу Иосифа исполнилось пять лет, стал он ходить в школу при синагоге. Каждое утро чуть свет отводила его мать к законоучителю, чьих скудных знаний для этого начального уровня хватало, и в синагоге отведено ему было особое помещение, где Иисус вместе с другими мальчиками из Назарета не старше десяти лет проводил в жизнь наставление одного мудреца: Должно воспитывать дитя в Законе, как быка — в ярме. Оканчивались уроки в переводе на нынешнее времяисчисление в полдень, и бедняжка Мария, уже поджидавшая сына, не могла даже осведомиться об успехах его в учении, ибо все тот же мудрец изрек в свое время столь же недвусмысленно: Лучше предать Закон пламени, чем постижению женщины. А также не следует исключать и возможности того, что и сам ее сын, уже осведомленный к этому времени об истинном месте, приличествующем в мире сем женщинам, включая и матерей, буркнул бы ей в ответ что-то явно

и намеренно невразумительное, имеющее целью ей на место это указать, чтобы не забывала она о своей ничтожности, ничтожность же у каждого своя, вспомним хоть царя Ирода — безмерная власть, огромное могущество, а взглянем на него сейчас — не сможем даже продекламировать «Лежит, распростертый в тлене»[1], ибо уж и тлеть-то нечему, ничего не осталось, кроме кучки зловонных костей, полуприкрытых грязным тряпьем. Когда же Иисус входил в дом, отец спрашивал его: Ну, чему научился сегодня? — и мальчик, одаренный от природы редкостной памятью, повторял слово в слово усвоенный урок: сначала это были буквы, потом самые главные понятия, потом целые фразы из Торы и целые периоды из Писания, и Иосиф, слушая его, правой рукой отбивал такт и кивал одобрительно. Стоя в сторонке, узнавала Мария то, о чем не могла спросить, — это древнейший женский способ познания, доведенный за века и тысячелетия практики до полного совершенства: им не позволяют осведомиться, и они просто слушают и в скором времени знают уже все и, достигая высшей точки, научаются даже отличать ложь от истины. Но вот чего не знала она или знала, но недостаточно — какая странная связь объединяла отца с сыном, так что даже от постороннего не укрылось бы то выражение скорбной нежности, появлявшееся на лице Иосифа всякий раз, когда он говорил со своим первенцем, словно думал он в этот миг: Сын мой возлюбленный — боль моя. Зато знала она, что кошмарные сновидения мужа — душевная чесотка — хоть и не оставляли его, но, повторяясь из ночи в ночь, сделались столь же привычны, как обыкновение спать на правом боку или среди ночи просыпаться и пить. И хоть она, как хорошая жена, не переставала тревожиться за Иосифа, важней всего на свете было для нее, чтобы сын ее пребывал в добром здравии, телесном и душевном, которое означало бы, что не так уж велика была вина его отца или что Господь, не выказывая, по своему обыкновению, гнева, уже наслал кару, вроде той, что постигла разоренного и прокаженного человека по имени Иов, мужа непорочного, справедливого и богобоязненного и в том лишь виноватого, что стал предметом спора между Богом и Дьяволом, каждый из которых упорно отстаивал свои воззрения и прерогативы. А потом они еще удивляются, когда человек в отчаянии кричит: Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек, день тот да будет тьмою, ночь та, — да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев, о, ночь та — да будет она безлюдна и да не войдет в нее веселье, но, впрочем, заметим справедливости ради, что затем возвратил Господь потерю Иова и дал ему вдвое против того, что сам же так простодушно у него отнял, чего нельзя сказать о других людях, именем которых не названы книги, — у них все отнято и ничего не возвращено, им обещано, да не выполнено. А в доме плотника жизнь, несмотря ни на что, течет спокойно, и на столе, хоть и не ломится он от изобильных плодов преуспеяния, всегда есть хлеб и прочее, что помогает душе держаться в теле. Единственное же сходство между достоянием Иова и достоянием Иосифа в том, что было у первого семеро сыновей и три дочери, у второго же — семеро сыновей и две дочери, так что в этом отношении несомненное преимущество оставалось за плотником, которому все-таки удалось спасти мир от прихода в него еще одной женщины. Что же касается всего остального, то вспомним — прежде чем Господь удвоил то, чем владел Иов, имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги, тогда как у Иосифа имелся один лишь хорошо знакомый нам осел, и больше ничего. И признаем, что одно дело — работать, чтобы прокормить всего лишь двоих, потом — троих, пусть даже в первый год жизни кормится этот третий матерью своей, и совсем другое — оказаться вдруг в окружении целой оравы детишек, они ведь растут, и растут их потребности, и удовлетворять их надо вовремя и как следует. А поскольку заработки Иосифа не позволяют взять подручного, вся надежда на сыновей, они-то ведь тут, под рукой, да и потом отец, если не хочет, чтобы выросли из его сыновей разбойники, обязан учить сыновей ремеслу — это его прямая обязанность, о чем так и сказано в Талмуде. А если вспомнить поучения раввинов, предписывающие мастеру, делом своим занятому, не вставать и перед мудрейшим из книж-

[1] Хрестоматийная строчка из стихотворения Ф. Пессоа «Мамин сын» (в другом переводе — «Мамин сорванец»).

ников, легко будет представить себе, с каким чувством профессиональной гордости передавал наш плотник секреты мастерства сыновьям своим по мере того, как возрастали они, — сперва Иисусу, потом Иакову, потом Иосифу, потом Иуде, приобщая их к таинствам дела своего, посвящая в тонкости и хитрости его и помня при этом старинную мудрость: Мало прибытка дает труд отрока, но безумен тот, кто пренебрегает трудом этим, а то, что получит название «детский труд», появится много позже. И Иосифу, когда после дневной трапезы вновь брался он за работу, помогали сыновья, и это настоящее семейное предприятие могло бы принести замечательные плоды — глядишь, и до наших дней просуществовала бы династия плотников, если бы Господь, знающий, чего он хочет, не захотел бы другого.

Римская империя, будто мало ей было той безграничной жестокости и бесстыдной надменности, с какой попирался ею народ иудейский вот уже более семидесяти лет, решила, воспользовавшись разделом древнего Иродова царства, устроить еще одну перепись населения, на этот раз не обязывая людей идти в земли, откуда те были родом, дабы не оставались в запустении поля и в небрежении скотина, не пресекалась торговля и не воспоследовали от этого прочие побочные неприятности, как, к примеру, было в случае с Иосифом и его семейством. Теперь перепись производилась по-другому: счетчики, переходя из селения в селение, из города в город, собирали на главной площади или где-нибудь на открытом месте всех мужей, будь то главы семейств или одинокие, и под присмотром стражников заносили в списки самомалейшие подробности, касавшиеся имени, звания, рода занятий, имущества, суммы вносимых податей. Само собой разумеется, подобные меры встречались населением без восторга, хотя никак нельзя сказать, что измыслили их римляне и что осуществлялись они исключительно в ту эпоху — достаточно вспомнить, что говорится в Писании о той не слишком удачной идее, что пришла в голову царю Давиду, когда он отдал Иоаву, военачальнику, который был при нем, такое повеление: Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа, и так как слово царя — Закон, Иоав утаил свои сомнения, собрал воинов, те отправились в путь и взялись за дело. Спустя девять месяцев и двадцать дней они вернулись в Иерусалим, и подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян пятьсот тысяч. Однако хорошо известно, что Господу Богу очень не по душе, если кто-нибудь другой вместо него берется за подсчеты, а уж особенно — когда исчислять начинают избранный им народ, у которого по одной этой причине нет и быть не может иного владыки, тем более если на владычество претендует Рим, сам находящийся под властью ложных богов и лживых правителей, — во-первых, богов этих не существует, а во-вторых, если даже и все же отчасти существует, раз им без всякого прока и смысла люди поклоняются, то само поклонение это, проникнутое тщетой, лучше всего доказывает лживую природу их адептов. Но оставим пока Рим и продолжим рассказ о переписи, произведенной по повелению царя Давида, чье сердце вздрогнуло как раз в тот миг, когда военачальник принялся за чтение составленного им списка, но, увы, было слишком поздно, и не помогло запоздалое раскаяние царя, который сказал Господу: Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я, — и к проснувшемуся поутру Давиду пришел пророк Гад, прозорливец царя, а значит, посредник в делах между ним и Всевышним, и сказал: Так говорит Господь, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей. Давид не сообразил сразу спросить, сколько народу должно погибнуть в каждом из предлагаемых ему на выбор бедствий, и рассудил, что за три дня, пусть даже и от чумы, погибнет все же меньше людей, чем за три месяца войны или за семь лет голода, и сказал: Будь по воле Твоей, Господи, пусть нападет моровая язва. И послал Господь язву, и умерло из народа семьдесят тысяч человек, не считая, разумеется, женщин и детей, которые обычно не принимались в расчет в подобных случаях. В конце концов Всевышний согласился прекратить бедствие, умилостивившись над страною после того, как Ему был устроен жертвенник,

но кто погиб, тот погиб безвозвратно, то ли Господь о них не вспомнил, то ли уже было незачем их воскрешать, если, как логично было бы предположить, уже вовсю шел дележ оставшегося имущества и яростно оспаривались права на наследство, ибо противно обыкновению народа, хоть и находящегося под покровительством самого Господа Бога, отказываться от своего добра, от самого что ни на есть законного своего достояния, нажитого потом и кровью, тяжкими ли трудами, ратной ли доблестью — не все ли равно: в расчет в конечном итоге должен приниматься лишь самый этот конечный итог.

Однако для большей основательности суждений относительно самых разных деяний, как человеческих, так и божественных, неплохо было бы также принять в расчет и то обстоятельство, что тяжкое возмездие за совершенную ошибку царя Давида, например, постигло незамедлительно, а вот теперь Всевышний почему-то явно не торопится, отстраненно наблюдая, как Рим подвергает всевозможным притеснениям возлюбленных чад его, и, что смущает больше всего, с непонятным безразличием воспринимает вопиющие проявления непочтительности по отношению к своему имени и могуществу. Ну а коли так, то есть когда становится совершенно очевидно, что Господь Бог не спешит на помощь и вообще никак не дает о себе знать, ничего иного не остается человеку, как самому искать выход из создавшегося положения, и он покидает дом свой и отправляется наводить порядок в мире, где царствует хаос, где все вверх дном и ничего не разберешь, и весь этот мир, не ему, а Всевышнему принадлежащий, превращает в дом свой. Так вот, когда пошли переписчики, разнося по городам и весям дерзкое и бесстыдное повеление своих властителей, да еще прикрывшись надежным щитом, то бишь под прикрытием воинов, которые защищали их от оскорблений словом и действием, в Галилее и в Иудее стал подниматься ропот недовольства, поначалу звучавший приглушенно, будто кто-то хотел пока только опробовать пробудившуюся силу протеста, взвесить ее, оценить ее возможности, а затем постепенно усиливавшийся, сменявшийся брожением, которое изредка взрывалось отдельными отчаянными вспышками протеста, когда, к примеру, ремесленник вдруг во всеуслышание заявлял у стола, где счетчик делал соответствующие записи, что имени своего не назовет даже под пыткой, или торговец, затворясь в лавке вместе со всем своим семейством, угрожал вдребезги перебить всю глиняную посуду, в клочья изорвать все ткани, или земледелец, пустив красного петуха на собственные посевы, предъявлял переписчику полную корзину пепла со словами: Вот чем платит Израиль тому, кто его оскорбляет. В следующее же мгновение всех этих смельчаков хватали, подвергали побоям и всевозможным унижениям, ибо, как известно, сила солому ломит, стойкости-то человеку хватает весьма ненадолго, мы ведь так хрупки, так слабы, наши нервы так быстро сдают, и неудивительно, что мужество изменяло многим и дело кончалось тем, что тот же храбрец-мастеровой, не выдержав, выдавал все свои самые сокровенные тайны, торговец предлагал одну из своих дочерей, а то и обеих сразу, в дополнение к налогу, а земледелец, посыпав голову пеплом, добровольно продавался в рабство. Встречались, правда, и такие, хоть и было их мало, что держались до последнего, а потому они попросту умирали, однако были и третьи: те, усвоив раз и навсегда, что хороший римлянин — мертвый, и только мертвый римлянин, брали в руки оружие и скрывались в горах. Говоря «оружие», мы, само собой, подразумеваем камни, рогатины, палки и дубины да, может, еще луки со стрелами — прямо скажем, негусто, чтобы вести военные действия, — ну, потом, может быть, прибавятся мечи и копья, захваченные в скоротечных схватках и стычках, но, впрочем, в решающий момент трофеи эти вряд ли станут для них большим подспорьем, так как иметь оружие мало, надо еще им владеть, а они со времен царя Давида привыкли защищаться с помощью самых что ни на есть простых подручных либо самодельных средств, более присущих мирным пастухам, нежели тому, кто сделал войну своим ремеслом. Однако человеку, какого бы рода-племени он ни был, иудею, нет ли, привыкнуть к войне так же легко, как трудно отвыкнуть от нее и вновь войти в мирную жизнь, особенно если ему довелось найти себе вождя и поверить не столько в него самого, сколько в то, во что верит он. Один из таких вот вождей, поднявший мятеж против римлян в ту пору, когда первенцу Иосифа исполнилось одиннадцать лет, носил имя Иуда, был родом из Галилеи, а точней — из Гавлонитида, а потому, согласно распространенному в то время обычаю, называли его Иудой

Галилеянином или Иудой Гавлонитом. Наверное, может показаться несколько странным этот в сущности нехитрый иудейский обычай присовокуплять к именам прозвища, которые порой даже их и заменяли, так что весьма распространены были имена вроде Иосиф Аримафейский, что значит Иосиф из Аримафеи, Симон Киренейский, то есть Симон из Киренеи, или, скажем, Мария Магдалина, что значит Мария из Магдалы, и если старшему сыну Иосифа будет суждено вырасти и возмужать, то его, вне всяких сомнений, станут называть Иисусом из Назарета или Иисусом Назарянином, а то и просто Назарянином, ведь заранее никогда не известно, сколь прочно впоследствии будет увязываться место, где человек родился или, как в данном случае, вырос, с его именем. Однако пока это не более чем предположение, потому что судьба, как мы не перестаем убеждаться, есть некий единственный в своем роде сосуд, одновременно и открытый и закупоренный, — заглянешь внутрь, увидишь то, что уже произошло в жизни, минувшее, осуществившуюся судьбу, однако то, что еще только должно свершиться, нам узреть не дано: будущее сокрыто от нас, и доступны нам лишь смутные предчувствия или прозрения по наитию, как, например, в случае с этим евангелием, которое вряд ли могло бы появиться, не будь некоторых необычайных знамений, указующих на то, что герою его судьба уготовила нечто более значительное, нежели обыкновенная человеческая жизнь. Яблоко от яблони, как водится, недалеко падает, и действительно, текла в жилах Иуды Гавлонита кровь мятежника, ибо еще отец его, старый Езекия, собрал в свое время отряд и примкнул к тем, кто по смерти царя Ирода поднялся по всей Галилее против его предполагаемых преемников, а произошло это прежде, чем Рим подтвердил законность раздела царства и полномочия новых тетрархов. Иногда невозможно объяснить, как это получается, что люди, сотворенные из одного вроде бы материала — из того же мяса, тех же костей, той же крови, той же кожи, люди, которые одинаково потеют, одинаково плачут и одинаково смеются, оказываются вдруг совершенно разными, одни становятся трусами, а другие — бесстрашными, одни воинственны, другие миролюбивы: Иосиф, скажем, вырос и жил в тех же условиях, что и Иуда, однако в отличие от Иуды, который, будучи сыном своего отца и отцом своих детей, последовал примеру отца и подал пример детям, отринув покой, чтобы в бою отстоять право Господа Бога быть единственным властелином, признаваемым людьми над собой, плотник Иосиф предпочел остаться дома вместе со своими девятью малолетними детьми и их матерью и по-прежнему трудиться за своим верстаком, зарабатывая для семьи на хлеб насущный и не заботясь при этом о завтрашнем дне, ибо одному Господу ведомо, что там будет завтра, хотя иные, впрочем, считают: то, что это не известно никому, есть просто гипотеза, не лучше и не хуже любой другой, а разные смыслы, влагаемые нами в понятия — «вчера», «сегодня», «завтра» — суть не более чем разные названия одного и того же.

Но все же иные назаретяне, среди которых было немало молодых мужчин, стали присоединяться к повстанцам Иуды Гавлонита: обычно они уходили из селения, никого не предупредив, и исчезали один за другим, словно растворялись в воздухе, их семьи, разумеется, держали все в строжайшей тайне, а соседи прекрасно сознавали необходимость держать язык за зубами, так что никому из них и в голову не приходило нарушить неписаный Закон и осведомиться: А куда это подевался Натанаэль? Что-то его давно не видать, — если, к примеру, Натанаэль этот не показывается в синагоге или его больше не видно в поле, и ряд жнецов укоротился на одного человека, в этом случае все начинали делать вид, что никакого Натанаэля нет и в помине, даже если в округе узнавали, что Натанаэлю случилось побывать в селении, что он прокрался домой темной ночью и еще затемно ушел обратно, ибо ничто красноречивей не расскажет о ночном его приходе, чем улыбка его жены — когда женщина ни с того ни с сего замирает на месте, окидывает горизонт затуманенным, блуждающим взглядом, который в следующее мгновение замирает, будто в стену уперся, а по лицу легким ветерком, чуть тревожащим водную гладь, проскальзывает медленная и задумчивая улыбка, то разве что слепой, который просто не видит этой улыбки, поверит, что жена Натанаэля и эту ночь провела без мужа. А женское сердце настолько чутко, так дивно отзывчиво, что даже те женщины, что и не думали расставаться со своими мужьями, тут же принимались вздыхать, представляя себе трепетные мгновения этих редких встреч, и в волнении обступали жену Натанаэля со всех

сторон, подобно пчелам, кружащим над чашечкой цветка, до краев наполненной нектаром. Но Мария была далека от всех этих страстей, и к тому же все больше забот требовалось уделять девяти малышам и мужу, который продолжал вскакивать посреди ночи, криком крича от ужаса и непереносимой тоски, так что просыпались дети и начинали плакать вслед за отцом. Со временем они, конечно, привыкли и перестали пугаться, и только самый старший по-прежнему пробуждался ночью, возможно, оттого, что ему самому снилось нечто страшное, и поначалу он спрашивал мать: Что это с отцом, и она отвечала как ни в чем не бывало: Дурной сон привиделся, — ведь не могла же она сказать сыну: Твоему отцу снилось, что он — один из воинов Ирода, которые едут верхом по дороге, ведущей в Вифлеем. Какого Ирода? Отца того, кто ныне правит нами. И поэтому он так громко стонал и кричал? Да, поэтому. Что уж тут такого страшного — увидеть себя воином царя, который уже давно умер? Твой отец никогда не был воином Ирода, он всегда был плотником. Но почему же тогда ему это снится? Люди ведь не могут выбирать себе сны по желанию. Значит, это сны выбирают, кому бы присниться? Никогда не слышала об этом, но должно быть, это так и есть. Но почему он так кричит, почему так стонет во сне? Потому что каждую ночь ему снится, что он собирается тебя убить, должен был бы последовать ответ, но никогда Мария не могла бы сказать так своему сыну, разве решилась бы она раскрыть тайну кошмара, преследующего ее мужа, своему первенцу — тому, кто, подобно Исааку, сыну Авраама, представал в этом сне жертвой, обреченной на заклание, пусть и не совершившееся. И однажды, когда Иисус, помогая отцу как следует подогнать изготовленную плотником дверь, собрался с духом и сам задал мучивший его вопрос, последовало долгое молчание, после чего отец, не поднимая глаз, произнес: Сын мой, ты уже знаешь, в чем состоит твой долг и обязанности, выполняй их и благословен будешь в глазах Господа, но постарайся также отыскать в душе своей и такие долг и обязанности, что неведомы прочим, не записаны в Законе. Это и есть твой сон, отец? Нет, это причина, по которой он мучает меня, ибо однажды я позабыл о своем долге, или даже еще хуже. Что значит «еще хуже»? Я не то что позабыл, я и не вспомнил о том, что обязан был сделать. Так ведь это ж сон. Сон лишь напоминает мне, о чем я должен был подумать, и теперь я вспоминаю об этом каждую ночь и больше никогда не смогу забыть. А о чем ты обязан был подумать? Не спрашивай, ибо и ты не можешь задать мне все вопросы, и я не знаю всех ответов. Стояло лето, солнце припекало вовсю, и отец с сыном работали во дворе, пристроившись в тени. Неподалеку играли братья и сестры Иисуса, и лишь самый младший был в доме, лежал у материнской груди. Иаков тоже вызвался помогать отцу, но то ли притомился, то ли заскучал за работой, что нисколько не удивительно — в отрочестве разница в год значит очень много, ведь Иисус, его старший брат, уже стоял на пороге совершеннолетия, он завершил первую ступень обучения и теперь, согласно правилам религиозного воспитания, наряду с дальнейшим изучением Торы, или письменного Закона, ему предстояло приступить к постижению более сложного источника мудрости — Талмуда, или Закона устного. Тем и объясняется, почему в столь юные годы был способен Иисус вести с отцом такой серьезный разговор, без труда находя при этом нужные слова и рассуждая весьма последовательно и обдуманно. Иисусу шел двенадцатый год, совсем скоро станет он совершеннолетним и тогда, возможно, вновь спросит о том, что остается пока без ответа, если, конечно, Иосиф найдет в себе силы признать свою вину перед ним, не в пример Аврааму, который перед своим сыном так и не повинился. Но справедливо также и то, что прямая, начертанная Господом, лишь изредка пересекается с извилистыми путями рабов Божьих, достаточно сопоставить историю того же Авраама, которому в последний момент воззвал с неба ангел Господень, сказав: Не поднимай руки твоей на отрока, с поступком Иосифа, которому не то что ангел Господень, а сам Господь дал подслушать на дороге разговор троих не в меру болтливых воинов и который при этом не удосужился воспользоваться сроком, отпущенным ему для того, чтобы предотвратить гибель невинных младенцев Вифлеема. Однако, если в дальнейшем с течением времени благие порывы не оставят Иисуса, возможно, он все же захочет узнать, почему Всевышний пожелал спасти Исаака, но и пальцем не пошевелил для того, чтобы отвести гибель от несчастных младенцев, которые, хоть и были столь же невинны, как и сын Авраама, милости себе у престола Господ-

ня так и не снискали. И тогда Иисус мог бы сказать своему родителю: Отец, не ты один виноват в случившемся, а в глубине души, быть может, даже отважился бы вопросить: Господи, настанет ли день, когда Ты явишься нам, чтобы признать свои ошибки перед детьми своими?

А пока, плотно затворив двери и души, об одном говоря, о другом умалчивая, вел плотник Иосиф с сыном беседу, пока они обсуждали вопросы из области высоких материй, война против римлян продолжалась. Она длилась уже более двух лет, и время от времени в Назарет доходили печальные вести — погиб Ефраим, погиб Абизер, погиб Нефтали, погиб Елеазар, и кто мог теперь точно сказать, где остались лежать их тела — среди камней ли в горах, на дне ли глубокого ущелья, в напрасно ли сгустившейся тени под деревом, или уносит их река вниз по течению. Оставшимся же в Назарете приходилось лишь умывать руки, отрицая все, что им известно, и даже не имея возможности носить траур по погибшим, и что могли они сказать, кроме: Наши руки в этой крови неповинны, наши глаза ничего не видели. Но приходили также известия о больших победах: изгнали римлян из города Сепфориса, а это совсем неподалеку, всего в двух часах ходу от Назарета, кроме того, существовали обширные области Иудеи и Галилеи, куда вражеская армия даже не отважилась вступить, да и в родном селении Иосифа вот уже год как не появлялся ни один римский солдат. И кто знает, не это ли побудило его соседа, любопытного и услужливого Ананию, о котором до сих пор упоминали мы в нашем повествовании мельком, заявиться как-то во двор дома плотника и с заговорщицким видом шепнуть Иосифу: Выйдем-ка отсюда, потолковать надо, и, надо сказать, такая предусмотрительность была вовсе не лишней, ибо в этих крошечных домишках нельзя было ничего утаить от чужих глаз и ушей ни во тьме ночной, когда все вроде бы спят, ни при свете дня, — как ни старайся, как ни таи, все равно прознают, недаром же говорится: что знает один, то знают все, и, согласитесь, что, когда Господу Богу придется определить в день Страшного суда тех, кто окажется «своим», задача эта неимоверно облегчится. Иосиф не слишком удивился просьбе соседа, даже когда Анания таинственно прибавил: Пойдем-ка вон туда, в пустыню, ведь, как мы помним, пустыня — это не только то, что нам привычно рисует наш разум, когда мы встречаем в книге или слышим это слово, вовсе не бескрайнее пространство, где ничего нет, кроме песка, огромное море горячих дюн, нет, здесь тоже прекрасно понимали, что пустыни имеются и в зеленой Галилее, и это могут быть либо невозделанные поля, либо безлюдные места, где никто не живет и не заметно никаких следов пребывания там человека, либо признаков трудов его, и, сказав «пойдем в пустыню», следует добавить, что пустыня перестает быть пустыней, когда мы приходим туда. И когда двое направились через лес к трем огромным камням, возвышавшимся на вершине холма, было ясно, что, хотя отсюда еще виден Назарет, местность совершенно необитаема, а значит, после того как они отсюда уйдут, пустыня снова станет пустыней. Анания уселся на землю, и Иосиф тоже опустился рядом с ним, разница в возрасте у них всегда была весьма заметной: Анания, когда мы упомянули о нем впервые, был еще весьма бодр и для своего возраста держался молодцом, но теперь превратился в настоящего старика — время, однако, не щадит никого и с Иосифом тоже обошлось не слишком милосердно. Анания колебался и по пути утратил толику той решительности, с которой появился в доме плотника, и теперь Иосифу нужно было, ни о чем не спрашивая, поощрить его к разговору каким-нибудь простым замечанием, вроде такого: Далеко же мы с тобой забрались, и этого было вполне достаточно для того, чтобы Анания ответил: Не такое дело, чтобы говорить о нем дома. А дальше уж разговор, что называется, как с горки покатился, хотя поводом к нему стал, как выяснилось, мотив столь деликатный, что он и побудил собеседников искать уединения. Анания сказал: Помнишь, ты как-то попросил меня присмотреть за твоим домом, пока ты будешь в отлучке, просьбу твою я выполнил. Век не забуду твоей доброты, отвечал Иосиф, Анания же продолжал: А теперь настал час попросить тебя об ответной услуге — присмотреть в мое отсутствие за моим домом. Вы с женой уходите? Нет, ухожу я один. Шуя, стало быть, остается? Нет, она отправится к родным, они у нее рыбаки. Не хочешь ли ты сказать, что собираешься дать жене развод? Раз уж не оставил я ее, узнав о неплодности ее, то сейчас и подавно не собираюсь, но все дело в том, что мне придется в течение известного срока находиться

вдалеке от дома, а для Шуи будет лучше, если она это время побудет со своими. И долго ты намереваешься отсутствовать? Не знаю, это зависит от того, сколько продлится война. А при чем тут война? — спросил Иосиф, крайне удивленный. Я отправляюсь искать Иуду Гавлонита. Зачем он тебе? Спрошу, не возьмет ли меня к себе в отряд. Анания, ты же всегда был человеком миролюбивым, неужто вздумалось тебе сейчас ввязаться в эти распри с римлянами, вспомни о том, что случилось с Ефраимом и Абизером. Можешь прибавить также — еще и с Нефтали и Елеазаром. Одумайся, Анания. Нет, Иосиф, это ты вдумайся получше в мои слова, и не важно, кто говорит сейчас моими устами, ибо я уже сравнялся годами с отцом моим, а он-то успел в жизни сделать гораздо больше, чем его сын: я и детей после себя не оставлю, да и мудрости мне в отличие от тебя недостанет, чтобы сделаться, скажем, старейшиной синагоги, а потому мне теперь только и остается, что дни и ночи ждать смерти, да притом рядом с женщиной, которую я давно уже не люблю. Так расстанься с ней. Не с ней бы расстаться — с самим собой, а это, как ты понимаешь, невозможно. А как ты будешь воевать, ведь сил у тебя почти не осталось? Так, словно решил я родить сына. В жизни не слыхивал ничего подобного. Я тоже, эта мысль только что пришла мне в голову. Я буду присматривать за твоим домом, пока ты не вернешься. А не вернусь и услышишь, что меня убили, обещай, что сообщишь об этом Шуе: пусть получит все, что ей причитается по наследству. Обещаю. Теперь я спокоен, пойдем назад. Спокоен, хотя на войну собрался, — по правде говоря, не могу тебя понять. Ах, Иосиф, Иосиф, сколько же еще столетий копить нам знания, присовокупляя их к мудрости Талмуда, прежде чем мы научимся понимать самое простое? Зачем надо было тащиться сюда, в такую даль? Мне хотелось поговорить с тобой при свидетелях. Разве не довольно того, что свидетельствовали нам сам Господь, который все видит и слышит, и эти небеса, которые всегда над нами, где бы мы ни находились. В присутствии этих камней. Камни глухи и немы, они не могут свидетельствовать. Так и есть, они глухи и немы, но, если мы завтра решимся нарушить свой обет, данный в их присутствии, они обвинят нас и будут обвинять, покуда сами не рассыплются в пыль, покуда мы не превратимся в прах. Ну ладно, пойдем назад. Пойдем. По дороге Анания несколько раз оглядывался назад, чтобы еще и еще раз взглянуть на камни, но, когда они наконец скрылись за холмом, Иосиф спросил: Шуя-то знает уже? Да, сказал. И что она? Сначала молчала, потом говорит: Лучше бы ты со мной развелся, а сейчас ревет в три ручья. Бедная. Как только вернется к родным, забудет обо мне, а коли умру, все одно забудет, таков закон жизни — забвение. Они вошли в селение, и, когда подходили к дому плотника, стоявшему, если идти по дороге с этой стороны, ближе, чем соседский, Иисус, игравший на улице со своими братьями, Иаковом и Иудой, сказал отцу, что мать как раз пошла к соседке. Мужчины направились к дому Анании и неожиданно позади себя услышали, как Иуда, играя с братьями, крикнул властно и гордо: Я Иуда Галилейский, и сосед обернулся и, взглянув на мальчика, сказал с улыбкой его отцу: Вон он, военачальник мой, но Иосиф ничего не успел ответить, потому что голос его другого сына, Иисуса, произнес в ответ: Тогда твое место не здесь. Эти слова кольнули Иосифа в сердце так больно, точно были обращены прямо к нему, а в обычной детской игре будто мелькнуло отражение какой-то иной, высшей правды, и он почему-то вспомнил о трех камнях и, подчинившись неведому внутреннему побуждению, попытался представить себе, как бы он мог жить, говорить и поступать перед их немым свидетельством, и в следующее мгновние сердце его захолонуло от ужаса, потому что он осознал, что все это время не вспоминал о Господе. В доме соседа Мария долго пыталась успокоить безутешную Шую, но та перестала рыдать и вытерла слезы, лишь когда в дверях показались двое мужчин, хотя это, конечно, не значило, что горе ее унялось, просто женщины здесь научились плакать, молча глотая слезы, наверное, потому и принято говорить: Они столько же плачут, сколько смеются, только это неверно, ибо смех звонок, плач же беззвучен. Правда, в тот день, когда Анания покидал свой дом, жена его, не в силах скрыть охватившую ее душу скорбь, рыдала уже в голос. А неделю спустя за ней пожаловали родственники, которые жили на берегу моря. Мария проводила ее до окраины Назарета, где они и простились. Глаза Шуи были сухи, но теперь в них навеки поселилась неутешная боль, словно в душе зажглось и все никак не гасло пламя, которое сжигало ее слезы, прежде чем успевали они появиться и скатиться по щекам.

Так шел месяц за месяцем, с войны по-прежнему приходили вести, когда добрые, когда дурные, но если добрые вести не содержали ничего, кроме туманных намеков на победы, при ближайшем рассмотрении оказывавшиеся незначительными, то вести дурные, напротив, уже сообщали о тяжелых и кровавых поражениях мятежного войска Иуды Галилеянина. Однажды пришло известие о гибели Балдада, и случилось это, когда римляне захватили врасплох засаду мятежников, так что в яму попали те, кто ее и рыл, и было при этом много убитых, но из Назарета только один Балдад. А в другой раз кто-то пришел и сказал, что слышал от кого-то, кто слышал от кого-то еще, кто слышал, будто Варон, римский наместник Сирии, двинулся туда двумя легионами, чтобы разом покончить с длящимся уже три года и нетерпимым долее мятежом. Сам по себе способ получения новостей «а я вот слыхал» неопределенностью своей внушал людям смутный страх, и ждали они, что в любую минуту покажутся из-за поворота дороги воздетые в голове карательной, ужас наводящей колонны орлы и штандарты с четырьмя буквами SPOR — первыми буквами слов «сенат и народ римский», и эти эмблемы, эти штандарты и стяги, что бы ни было на них изображено и в те времена, и в последующие, и во все, будто подписью скрепляют и печатью удостоверяют законность того, что люди идут убивать себе подобных, и та же почтенная роль отведена будет другому, не менее известному сокращению — INRI, что значит «Иисус Назорей Царь Иудейский», — однако не станем забегать вперед, обо всем поведаем в свое время и в должном месте, хоть и странное чувство вызывает у нас то, что мы знаем об этом и можем говорить об этом, словно вещаем из какого-то другого мира, ибо пока еще никто не отдал жизнь за эти четыре буквы — все еще впереди.

Повсюду возвещаются великие битвы, и те, чья вера крепка, утверждают, что не пройдет и года, как римляне будут изгнаны со святой земли Израиля, немало, однако, и тех, кто, слыша эти заверения, печально никнет головой в предчувствии надвигающейся беды и принимается прикидывать, к чему она приведет. И правы оказались они. В течение нескольких недель после того, как прошел слух о продвижении легионов Варона, ничего не происходило, чем и воспользовались повстанцы, умножив беспокоящие вылазки против рассеянного войска, с которым они вели борьбу, но уже в скором времени начали проясняться стратегические основания этого кажущегося бездействия: высланные вперед лазутчики Галилеянина доносили, что один из легионов, применяя маневр охвата, продвигается на юг по-над Иорданом, сворачивая затем направо на уровне Иерихона, чтобы подобно сети, умелой рукой закинутой в воду и затем вытянутой, двинуться назад, на север, таща с собой все, что ни попадется, второй легион, действуя подобным же образом, направлялся на юг. На военном языке этот прием называется «взять в клещи», но больше напоминали эти маневры согласованное движение навстречу друг другу двух стен, сдавливавших тех, кто не мог убежать прочь из сужавшегося зазора, и при этом решающий удар, который расплющит в лепешку все живое, оставлявших на последнюю минуту. Путь легионов по дорогам, долинам и горам Галилеи и Иудеи был отмечен крестами, на которых римляне распинали соратников Иуды, руки им приколачивая к перекладинам, а ноги, точнее, берцовые кости, перебивая молотом, чтобы смерть не медлила. Легионеры входили в деревни, осматривали дом за домом в поисках подозрительных лиц, поскольку для того, чтобы предать распятию этих людей, не требовалось никаких иных доказательств, кроме тех, что предоставляет — было бы желание — одно лишь простое подозрение. Этим несчастным еще повезло — прошу прощения за горькую иронию: ведь их распинали, если можно так выразиться, прямо у порога дома, и потому родственники торопились снять их с крестов после того, как испустят они последний вздох, и жалостно было смотреть на это и слышать плач матерей, жен и невест, вопли бедных детишек, оставшихся без отца, когда в муках скончавшегося с тысячью предосторожностей снимали с креста, ибо, если грянется оземь бездыханное тело, больно от этого живым. Потом распятого клали в могилу, где он с той поры ожидал дня воскресения. Но тех, кто попадал в плен после боя, происходившего где-нибудь в горах или иных безлюдных местах, легионеры оставляли на крестах еще живыми, и там они, в пустыннейшей из пустынь, именуемой одинокой смертью, и пребывали, сжигаемые солнцем,

терзаемые хищными птицами, превращаемые временем в жалкие останки распадающейся плоти, рассыпающихся костей — в некий выползень вида столь гадкого, что им побрезговала бы и собственная душа. Людям не в меру любопытным и дотошным, а то и скептикам, и ранее, и в иных обстоятельствах не желавшим смиренно принимать на веру сведения евангелий, подобных нашему, хотелось бы знать, как это сумели римляне распять на крестах столько иудеев, тем более что казни эти свершались в местности безлесной и пустынной, где от века произрастают деревца столь чахлые да жалкие, что на них и дух бесплотный не распнешь — не выдержат. Этим людям, однако, следует помнить, что для римской армии, организованной по последнему слову тогдашней военной науки, материально-техническое снабжение и тыловое обеспечение — не звук пустой, и кресты на протяжении всей иудейской кампании поставлялись бесперебойно, достаточно взглянуть на длинную вереницу ослов и мулов, следующих в обозе за легионом и навьюченных орудиями казни в разобранном виде — четырехгранными брусьями и поперечинами, — так что по прибытии на место остается только прибить руки приговоренного к перекладине, подтянуть его к верхнему концу положенного на землю бруса, после чего, предварительно согнув ему ноги в коленях и повернув их в сторону, закрепить казнимого на кресте, вогнав в наложенные друг на друга ступни один-единственный гвоздь длиной в пядь. Любой палач из римского легиона скажет вам, что эту процедуру, вроде бы столь сложную, труднее описать, чем проделать.

Да, правы, правы оказались те, кто пророчил беду. С севера на юг и с юга на север бегут перед римлянами охваченные паникой люди: среди них и те, на кого может пасть подозрение в пособничестве повстанцам, и те, кого гонит голый страх, тем более, как нам уже известно, необязательно провиниться, чтобы быть обвиненным. И вот один из этих беглецов, задержав на несколько мгновений свой бег, постучал в дверь плотника Иосифа и сказал, что сосед его Анания, получивший колотую рану мечом, находится в городе Сепфорисе и просит передать жене, что война проиграна, и скрыться он не сумел, так пусть, мол, жена придет и заберет то, что ей принадлежит. И больше ничего? — спросил Иосиф. Других слов он не говорил, ответил вестник. А почему же ты не взял его с собой, ведь все равно твой путь лежал сюда. Он очень плох и тяжко обременил бы меня, а у меня тоже семья, и первым делом я должен позаботиться о ней. Разумеется, но не только о ней. О чем ты, я же вижу, у тебя тут дети, и раз ты не бежишь, так, значит, тебе опасность не грозит. Не медли здесь, иди, и пусть Господь сопутствует тебе, опасность там, где Бога нет. Безбожник ты, ведь Бог повсюду. Да, но иногда он нас не замечает, а о безбожии не тебе бы рассуждать, не много веры у того, кто бросает ближнего в беде. Вот сам бы и пошел за ним. И пойду. Этот разговор происходил в середине дня, хорошего, солнечного дня, когда редкие ярко-белые облака носились по небу, словно лодки, не нуждающиеся в руле и в веслах. Иосиф отвязал осла, кликнул жену и сказал ей, не вдаваясь в подробные объяснения: Я пойду в Сепфорис за соседом Ананией, сам он идти не может. Мария только кивнула головой — поняла, мол, но маленький Иисус подбежал к отцу: Можно я с тобой? Иосиф посмотрел на сына, положил правую руку ему на голову и сказал: Нет, ты дома оставайся, я пойду один, так скорей вернусь, если не мешкать по пути туда, то успею обернуться засветло, — и это вполне возможно, поскольку нам известно, что от Назарета до Сепфориса не больше восьми километров, столько же, сколько от Иерусалима до Вифлеема, и заметим еще раз, как много в этом мире совпадений. Иосиф повел осла в поводу: хотел, чтобы тот сохранил для обратной дороги силы, крепость в бабках, твердость в копытах, чтобы не сбил холку, не натрудил спину, ибо предназначено ему везти на себе недужного, а точнее говоря — увечного, что далеко не одно и то же. Проходя у подножия холма, где уже почти год назад Анания поведал ему о своем решении присоединиться к повстанцам Иуды Галилеянина, Иосиф поднял глаза на три больших камня, сросшихся, как три плода на одном черенке, там, наверху, они, казалось, застыли в ожидании, что с неба и с земли донесется до них ответ на вопросы, которые задает все живое и неживое уже одним своим существованием, даже не произнося их вслух: Зачем я здесь? Какой причиной, известной или нет, объяснить меня? Каков был бы мир, если бы не было меня, если уж он таков, каков есть? Спроси нас об этом Анания, мы бы ответили, что уж камни, по крайней мере, пребудут какими были, раз ветер, дождь

и зной почти не разрушают, не разъедают их, и что, вероятно, они останутся на том же месте и через двадцать столетий, и еще через двадцать после этих двадцати, когда мир полностью преобразится, но и тогда на первые два вопроса у него по-прежнему не будет ответа. По дороге двигались кучки беглецов; исполненные того же страха, что и посланец Анании, они с удивлением смотрели на Иосифа, и один из них взял его за руку и сказал: Куда ты идешь? и плотник ответил: В Сепфорис, за другом, он ранен, пропадет, жалко. Ты бы лучше себя пожалел и не ходил туда. Почему? Потому что римляне на подходе, городу не будет пощады. Я должен идти, мой сосед как брат мне, и больше пойти за ним некому. Подумай как следует, и благоразумный советчик продолжает свой путь, а Иосиф замирает посреди дороги, остановленный мыслью, правда ли он друг самому себе или же — для этого вывода оснований у него имелось гораздо больше — не любит и презирает себя, однако, поразмыслив немного, решил, что ни то ни другое: он себе безразличен — пустое место, а в пустоте ни близко, ни далеко не на чем остановиться глазу, ведь нельзя же устремить взгляд на отсутствие чего бы то ни было. Потом он подумал, что отцовский долг призывает его вернуться назад: в конце концов, надо прежде всего заботиться о собственных детях и оставить попечение о человеке, что приходится тебе всего лишь соседом, да к тому же и бывшим, раз покинул свой дом, а жену отослал в другие края. Но дети его в безопасности, римляне не причинят им вреда, они ведь ищут мятежников. Когда ход мысли привел Иосифа к этому выводу, он заметил, что произнес вслух, словно отвечая потаенным тревогам: А я-то не мятежник. Тут же он хлопнул осла по крупу, крикнул ему: Ну, пошел, и продолжил свой путь.

Когда он вошел в Сепфорис, день клонился к вечеру. Длинные тени от домов и деревьев, лежавшие на земле и поначалу еще различимые, постепенно пропадали, будто дотягивались до горизонта и за ним исчезали, точно темная вода за крутыми порогами. Народу на улицах было мало, женщин и детей не видно вовсе, только усталые мужчины, сложившие ненадежное оружие, лежали на земле, тяжело дыша, и никто не мог бы сказать наверное, набираются ли они сил перед новой битвой или бежали с поля боя. Иосиф спросил одного из них: Римляне близко? Тот закрыл, потом медленно открыл глаза и сказал: Завтра будут здесь, и добавил, отворачиваясь: Уходи отсюда, бери своего осла и уходи. Я ищу друга, его ранили в бою. Будь у тебя столько же денег, сколько валяется здесь раненых, богаче тебя не было бы в мире человека. А где они? Здесь, и там, и повсюду. А есть ли одно какое-то место, где собирали их? Вон за домами амбар, в нем много раненых, может, и найдешь там своего друга, но торопись — покойников оттуда выносят чаще, чем вносят живых. Иосиф знал город, нередко бывал здесь и на заработках, благо в богатом и цветущем Сепфорисе, где всегда что-то строилось, плотники были в цене, и на религиозных праздниках, не относящихся к числу тех важнейших, которые следовало отмечать в Иерусалиме, куда добираться было и далеко и недешево. Потому найти амбар не составило для него труда: просто иди на запах крови и страдающей плоти, можно бы даже вообразить, будто это детская игра, только вместо слов «холодно, холодно, теплее, горячо!», которыми водящему дают понять, приближается он к спрятанной вещи или удаляется от нее, здесь — «не больно, больно, еще больнее», и вот уже стала боль нестерпима. Иосиф привязал осла к длинной жерди у дверей, служившей коновязью, и вошел в амбар, обратившийся в темную больничную палату. На полу, меж циновками, едва теплились масляные плошки, и были они как звезды в черном небе, ибо света их все же хватает на то, чтобы обозначить свое присутствие, если уж мы видим их из такого далека. В поисках Анании Иосиф медленно проходил вдоль рядов лежавших людей, вдыхая едкую смесь запахов — пахло маслом и вином, которыми обрабатывали раны, пахло потом, калом и мочой, поскольку были среди этих страдальцев и такие, кто, не в силах шевельнуться, тут же, на месте, освобождался от того, что ослабевшая воля не могла удерживать в теле. Здесь его нет, пробормотал Иосиф, дойдя до конца ряда. И двинулся в обратную сторону, идя медленнее, вглядываясь внимательнее, ибо все страждущие были похожи друг на друга: бороды, ввалившиеся глаза, запавшие щеки, тускло и липко лоснящиеся от испарины. Кое-кто из раненых провожал его жадным взглядом, им хотелось верить, что этот здоровый человек пришел за ними, но быстро угасал свет упования, зажигавшийся на время в их глазах, и ожидание — кого? чего? — тянулось дальше. Иосиф

остановился перед человеком уже в годах, с седыми волосами и бородой, и сказал себе: Это он, хотя тот был не такой, каким Иосиф видел его в последний раз: тогда голова его серебрилась, теперь же была подобна кому слежавшегося грязного снега, и только брови по-прежнему чернели, как головешки. Глаза у него были закрыты, дышал он тяжело. Иосиф тихим голосом позвал: Анания, потом нагнулся пониже, произнес погромче: Анания, и тот медленно, словно выбирался уже из-под земли, поднял веки, и когда глаза его полностью открылись, стало ясно, что все же это Анания, сосед, который, оставив дом и жену, пошел драться с римлянами, а теперь лежит здесь с распоротым животом, и пахнет от него подгнивающим мясом. Поначалу Анания не признал Иосифа, свет от плошки мало помогал, глаза — еще меньше, и понимает он, кто перед ним, только когда Иосиф уже по-другому, может быть с любовью, повторяет: Анания, глаза старика наполняются слезами, и он принимается твердить: Это ты, это ты, зачем ты здесь, зачем ты здесь, — и хочет приподняться на локте, протянуть руку, но сил нет, и он откидывается на спину, кривя лицо от боли. Я пришел за тобой, говорит плотник, у дверей стоит осел, глазом моргнуть не успеешь, будем мы с тобою дома. Не надо было тебе приходить, ведь римляне вот-вот появятся, а мне уже отсюда не выйти и с этой постели не встать, и дрожащими руками он разводит в стороны располосованный хитон. Под пропитанными вином и маслом тряпками, будто губы распухшего рта, набрякли края двух длинных и глубоких ран, и ноздри Иосифа вздрагивают от сладковатого и тошнотворного запаха, он отводит глаза. Старик закрылся и уронил руки, словно вконец обессилел. Сам видишь, нельзя меня трогать, чуть шевельнусь, все кишки вывалятся. А мы обмотаем тебя поплотней, обвяжем потуже да и поедем тихонько, настаивает Иосиф, хотя и без прежней уверенности: ясно, что, если и удастся взвалить старика на осла, живым его не довезешь. Анания снова закрыл глаза и, не открывая их, сказал: Уходи, Иосиф, уходи отсюда, ведь римляне вот-вот появятся. Не волнуйся, ночью они нападать не станут. Иди домой, иди домой, вздохнул Анания, и ответил ему Иосиф: Спи.

А сам во всю ночь не сомкнул глаз. И когда сознание его порой туманилось сонной одурью, он, боясь уснуть и потому противясь обволакивающей дремоте, спрашивал себя, зачем он пришел сюда: ведь и правда не было у них с соседом настоящей дружбы, из-за разницы в возрасте в первую очередь, но не только, а еще и потому, что Анания с женой всегда как-то жались и чересчур любопытничали, лезли в чужие дела и при этом вроде бы охотно приходили на помощь, но всегда казалось, что ждут отплаты, и тут уж они в своем праве определять, как и чем следует отплачивать. Это мой сосед, думал Иосиф и не находил лучшего ответа на свои вопросы, это мой ближний, этот человек умирает, он закрыл глаза не потому, что не хочет видеть меня, а чтобы не пропустить ни единого мига подступающей смерти, и я его бросить не могу. Иосиф сидел в узком промежутке между двумя циновками, на одной из которых лежал Анания, на другой — совсем молодой мальчик, немногим старше его сына Иисуса, бедняга тихонько постанывал и растрескавшиеся от жара губы его лепетали что-то невнятное. Иосиф взял его за руку в тот миг, когда Анания стал вслепую шарить вокруг себя, словно ища что-то, оружие ли для защиты, руку ли другого человека, чтобы сжать ее, так и пребывали эти трое, один живой меж двух умирающих, одна жизнь между двух смертей, а ясное ночное небо тем временем прокручивало планеты и звезды, выводя с той стороны мира белую сияющую луну, она плавала в пространстве и укрывала невинностью всю землю галилейскую. Много позже очнулся Иосиф от забытья, в которое погрузился против воли, проснулся он с чувством облегчения, поскольку на сей раз не снилась ему дорога в Вифлеем, а открыв глаза, увидел — Анания мертв, и глаза его тоже открыты, не хватило духу в последний миг взглянуть в лицо смерти, а рука сжимает его руку с такой силой, что плюсны чуть не расплющились, и тогда Иосиф выпустил руку юноши, которую по-прежнему держал, и понял, непробудившимся еще окончательно умом, что жар у того спал. Иосиф посмотрел в открытую дверь: луна уже зашла, и проем заполнился неверным, буроватым светом еще не наступившего дня. В полумраке маячили смутные тени: это раненые, у кого хватало сил подняться, шли взглянуть на первые проблески зари, и друг у друга или напрямую у неба могли бы они осведомиться: Что нынче увидит нарождающееся солнце? — когда-нибудь мы научимся не задавать бесполезных вопросов, но воспользуемся тем, что вре-

мя это еще не настало, и спросим себя: Что нынче увидит нарождающееся солнце? Иосиф подумал: Пойду-ка я отсюда, здесь я уже ничем не могу помочь, и все же вопросительный оттенок окрасил и эту его мысль, и следующую: Заберу его в Назарет, и показалось, будто затем и пришел сюда, чтобы найти живого Ананию и увезти мертвого. Юноша попросил воды. Иосиф поднес к его губам глиняный ковш: Как ты сейчас? Получше. Во всяком случае, лихорадка у тебя, кажется, унялась. Попробую, пожалуй, подняться. Поосторожнее, и Иосиф замолк, смущенный нежданной мыслью: для Анании он ничего не мог уже сделать, разве что похоронить его в Назарете, но этого мальчика, откуда бы тот ни был, еще можно спасти, забрать его отсюда, из смертного преддверия, заменить одного соседа другим, если можно так сказать. К Анании он уже не испытывал жалости; от него осталось всего лишь опустевшее тело, каждый раз, как Иосиф смотрел на него, он видел, что душа Анании отлетает все дальше и дальше. Юноша словно чувствовал: с ним вот-вот произойдет что-то хорошее, глаза у него заблестели, но ни о чем спросить он не успел, Иосиф уже вышел, отправился за ослом, чтобы ввести его в амбар, да благословен будет Господь, он умеет вложить человеку в голову блестящие мысли. Осла не было. От него остался обрывок веревки, болтавшийся на перекладине, вор не стал тратить время на то, чтобы развязать простой узел, острый нож справился с делом быстрее.

Силы разом покинули Иосифа при виде такой беды. Как теленок, оглушенный обухом для жертвоприношения в Храме, рухнул он на колени, закрыл лицо руками, и слезы, что тринадцать лет копились в ожидании прощения или кары, хлынули из глаз его. Бог не прощает грехов, которые совершаются по его воле. Иосиф не пошел обратно в амбар, теперь он знал, что никогда больше не постичь ему ни смысла собственных поступков, ни смысла мира, его собственного мира; вставало солнце, а зачем, Господи, и небо усеяно тысячами облачков, как пустыня камнями. Если бы кто увидел, как утирает Иосиф слезы рукавом, то решил бы, будто умер у него родственник, один из раненых, лежавших в амбаре, на самом же деле Иосиф только что выплакал свои последние слезы бытия, слезы жизненной муки. Больше часа бродил он по городу в слабой надежде найти украденного осла и уже вознамерился было возвращаться в Назарет, как был схвачен римскими солдатами, вошедшими в Сепфорис. Ты кто? Я Иосиф, сын Илии. Откуда пришел? Из Назарета. Куда идешь? В Назарет. Что делал в Сепфорисе в такой день? Мне сказали, здесь мой сосед. Какой сосед? Анания. Нашел ты его? Да. Где ты его нашел? В амбаре, вместе с другими. Какими другими? С ранеными. Где? Там. Его отвели на площадь, там уже сидели на земле человек двенадцать-пятнадцать, были среди них раненые, и сказали ему, садись сюда, с этими. Иосиф понял, что сидевшие на площади были повстанцы, и возразил: Я плотник, мирный человек, и один из тех, кто сидел на земле, сказал: Мы не знаем этого человека, но начальник стражи, караулившей пленников, ничего не хотел слушать и толкнул Иосифа к остальным так, что тот упал: Отсюда тебе одна дорога — на крест. В первое мгновение в голове у Иосифа, ошеломленного вдвойне падением и приговором, не было ни единой мысли. Очнувшись же, ощутил он в себе великое спокойствие, словно все с ним случившееся было лишь дурным сном, о котором точно знаешь, что это всего лишь сон, а потому ни к чему терзаться страхами, они рассеются, как только откроешь глаза. И тут он вспомнил: когда ему снилась дорога в Вифлеем, он тоже был уверен, что проснется, и в этот миг его внезапно пробрала дрожь, и во всей своей жестокой непреложности вдруг отчетливо явилась ему его участь: Я умру, я умру ни за что. Он почувствовал чью-то руку у себя на плече, и сидевший рядом промолвил: Когда придет главный над легионерами, мы скажем ему, что ты к нам не имеешь никакого отношения, и он отпустит тебя. А как же вы? Когда попадаешь к римлянам в лапы, конец всегда один — крест, и на этот раз все будет так же, а не иначе. Спаси вас Бог. Бог спасает души, тела он не спасает. Привели еще двоих, троих, потом сразу человек двадцать. По краю площади жались жители Сепфориса, женщины и дети, и совсем немного мужчин, они беспокойно перешептывались, но двинуться прочь отсюда не смели без позволенья римлян, и так им очень повезло, что на них не пало подозрение в пособничестве мятежникам. Через какое-то время привели еще одного человека, легионеры, приведшие его, сказали: Все, больше никого нет, и начальник стражи крикнул: Всем встать! Пленные решили, что идет командир когорты, сосед сказал Иосифу: Готовься, имея в виду: Го-

товься, тебя сейчас отпустят на свободу, словно для свободы нужна какая-то особая подготовка, но если кто и пришел, то не командир когорты, да и вообще осталось неясным, кто это был, потому что начальник отдал приказ своим солдатам на латыни, и, надо отметить, все, что говорилось солдатами до сих пор, говорилось только на латыни, не унизятся же сыны римской волчицы до изучения варварских наречий, на что же тогда переводчики, однако в этом случае разговор вели военные между собой, и надобности в переводе не было, легионеры быстро окружили пленных: Шире шаг! — и процессия — приговоренные вначале, за ними жители Сепфориса — направилась прочь из города. Когда Иосиф понял, что его уводят вот так, не дав даже испросить пощады, он воздел руки к небу и закричал: Спаси меня, я не такой, как эти, спаси меня, я невиновен, но приблизившийся к нему солдат вытянул его древком копья по спине так, что Иосиф едва устоял на ногах. Надежда покинула его. В отчаянии возненавидел он Ананию, из-за него теперь Иосиф обречен на смерть, но это чувство, опалив все нутро его, исчезло, как и явилось, оставив в душе Иосифа пустыню. Больше идти некуда, словно бы думал он, однако заблуждался: было, было еще куда идти, правда недалеко. Трудно поверить, но близость неизбежной смерти умиротворила его. Он оглядел своих товарищей по несчастью и скорой муке, они шли спокойные, кое-кто тащился понуро, но прочие шагали, расправив плечи и подняв голову. В большинстве своем это были фарисеи. И тогда Иосиф впервые вспомнил о детях, мелькнула мысль и о жене, но слишком много оказалось этих родных лиц, имен, и голова его от голода и недосыпа пошла кругом, в кружении этом теряя их по дороге, пока в ней не остался лишь один Иисус, первородный сын его, последнее его наказанье. Иосиф вспомнил, как говорили они о его сновидении, как он сказал сыну: И ты не все вопросы можешь мне задать, и я не все ответы могу дать тебе, а теперь вышел срок и спрашивать и отвечать.

За городом, на небольшом естественном возвышении, видном с улиц Сепфориса, стояли, по восемь в ряд, сорок вбитых в землю толстых брусьев, достаточно прочных, чтобы выдержать вес человека. Рядом с каждым брусом на земле лежала длинная перекладина, как раз на размах раскинутых рук человека. При виде орудий казни несколько приговоренных попытались было бежать, но солдаты службу знали и преградили им путь, один повстанец кинулся было на меч, но втуне — легкой смерти он себе не стяжал, первым же его и поволокли к кресту. И споро пошла работа: руки приговоренных прибивали к поперечинам, потом поднимали к верхушкам вертикальных брусьев. Вокруг повсюду слышались стенания и крики, рыдал народ Сепфориса, который во устрашение заставили смотреть на это зрелище. Вскоре кресты уже воздвиглись в завершенном виде, на каждом висел человек с подогнутыми ногами, и любопытно было бы узнать, а это-то зачем, может, из Рима поступило такое указание, и отдано оно было с целью рационализации труда и экономии расходных материалов, ведь даже человек, вовсе несведущий в технологии распятия, сообразит, что если подвешивать человека в полный рост, то крест должен быть высоким, соответственно увеличивается расход материалов, возрастает объем грузоперевозок, с большими трудностями сопряжена установка, и следует также принять во внимание, что невысокий крест создает благоприятные, в данных, конечно, обстоятельствах, возможности для казнимых: ведь если ногами они почти касаются земли, то и снимать их потом будет легче, не нужны никакие лестницы, и они попадают, так сказать, прямо в объятия родных и близких, если таковые имеются, или тех, кто будет хоронить их по долгу службы, не век же им тут, согласитесь, висеть. Иосифа распинали последним, уж так получилось, и потому пришлось ему смотреть, как одного за другим обрекают на муки тридцать девять его незнакомых товарищей, а когда настал его черед и потеряна была всякая надежда, сил на то, чтобы еще раз заявить о своей невиновности, у него не хватило, упустил он, наверное, и возможность спасти себя, когда солдат с молотком сказал своему начальнику: Этот говорил, что на нем нет вины, и начальник вдруг задумался, тут бы и закричать: Я невиновен, но Иосиф промолчал, сдался, и тогда начальник огляделся, и, верно, показалось ему, что утрачена будет симметрия, если не использовать последний крест, ибо сорок — число хорошее, круглое, и махнул рукой, и гвозди были вогнаны, а Иосиф вскрикнул и кричал еще и еще, его подняли вверх, и он всей тяжестью тела повис на гвоздях, пробивших запястья и снова закричал, когда длин-

ный железный штырь пронизал сложенные ступни, хвала тебе, о Господи мой Боже, это я, человек, которого ты создал, ведь проклинать тебя запрещает Закон. Вдруг, словно кто-то дал знак, народ Сепфориса издал дружный горестный вопль, но не из сострадания к казнимым — это по всему городу разом вспыхнули пожары, пламя, как запал греческого огня, с воем пожирало жилые дома, общественные здания, деревья во внутренних двориках. Не обращая внимания на пожар, который разожгли другие легионеры, четверо солдат, отряженных в помощь палачам, бежали вдоль рядов распятых и железными ломами дробили им берцовые кости. Пока один за другим умирали распятые на крестах, горел и выгорел дотла Сепфорис. Плотник по имени Иосиф, сын Илии, был человек молодой, в расцвете сил, на днях исполнилось ему тридцать три года.

Когда окончится эта война — а ждать осталось недолго, ибо уже слышны ее предсмертные хрипы, — люди точно установят число всех, кого там и тут, вблизи и вдали, унесла она, и если количество павших на поле брани, погибших в засадах и стычках постепенно утратит свое значение или даже вовсе забудется, то те две примерно тысячи казненных на кресте останутся в памяти жителей Иудеи и Галилеи, и говорить о распятых будут еще много лет спустя, до тех пор, пока земля не обагрится новой кровью другой войны. Две тысячи распятых — это очень много, а покажется — еще больше, если только представить себе столбы, вкопанные вдоль дороги в километре один от другого, или, например, по периметру страны, которая когда-нибудь получит название Португалии, ибо именно такова будет примерная протяженность ее границ. На всем пространстве от реки Иордан до моря слышен плач вдов и сирот: такое уж их вдовье и сиротское дело — плакать и стенать, а потом дети подрастут, пойдут на новую войну, и место их займут новые вдовы и сироты, и если меняются обычаи и обряды и в знак траура вместо белого, к примеру, облачаются в черное или наоборот, если вместо того, чтобы рвать на себе волосы, их прячут под кружевным покрывалом, то слезы во все времена одни и те же.

Мария еще не плачет, но душа ее объята предчувствием — муж домой не вернулся, а люди в Назарете толкуют, будто Сепфорис сожгли дотла и многих там распяли. И, взяв с собой своего старшего, Мария повторяет путь, которым вчера прошел Иосиф, ищет следы, оставленные его сандалиями, время дождей еще не настало, и ветер еще тих и легок и едва-едва притрагивается к земле, однако следы Иосифа уже превратились в следы какого-то доисторического зверя, обитавшего здесь в незапамятные времена. И когда мы говорим: Вчера, это то же, что сказать: Тысячу лет назад, ибо время — не веревка с узлами, которую можно измерить пядь за пядью, время — это волнистый откос, и одна лишь память наша способна привести его в движение и приблизить к нам. Вместе с Марией и Иисусом идут другие жители Назарета, влекомые кто сочувствием, кто любопытством, есть среди них и какие-то дальние родичи Анании, но они-то вернутся по домам, одолеваемые теми же сомнениями, с какими покидали их: раз не нашли его труп, стало быть, он жив, а в амбаре поискать не сообразили: глядишь, и нашли бы своего мертвого среди других, обращенных, как и он, в уголь. Когда на полпути назаретянам встретятся солдаты, направляющиеся в их городок, кое-кто, беспокоясь о своем достоянии, повернет назад, ибо разве узнаешь, что придет в голову солдатам, когда, постучав в дверь, не услышат они из-за двери никакого ответа. Старший же над солдатами желал знать, что нужно этой деревенщине в Сепфорисе, что они там позабыли и зачем идут туда. Поглядеть на пожар идем, ответят те, и старший удовлетворится таким ответом, поскольку от сотворения мира пламя влечет к себе человека, и иные мудрецы утверждают даже, что это бессознательный отклик на зов, идущий изнутри, на воспоминание о первоначале, словно в пепле заключена память о том, что сгорело, и этим-то объясняется, почему так завороженно смотрим мы на огонь, горит ли он в очаге, согревающем наше жилище, или дрожит на фитильке свечи, жилище это освещающей. Будь мы столь же неразумны и безрассудно отважны, как мотыльки и бабочки и прочая мошкара, то, должно быть, весь род человеческий в полном составе бросился бы в огонь, и уж тогда бы вспыхнуло и полыхнуло с такой силой, что свет этот проник бы и сквозь закрытые веки Бога, пробудил бы его от летаргического сна, да вот жаль только, что он бы уж не успел узнать и разглядеть нас — сгинувших в пламени. Мария, хоть у нее полон дом детей, оставленных без

присмотра, назад не повернула — она так и идет, как шла, и даже не очень встревожена, потому что не каждый же день врываются в город воины царя Ирода избивать младенцев, да и потом, наши славные римляне не только не препятствуют тому, чтобы дети росли, но даже как бы и поощряют их к этому — пока что живите, а дальше видно будет, и дальнейшее зависит от того, насколько будете вы законопослушны, благонравны, да чтобы платили подати вовремя. И вот шагают по дороге Мария с Иисусом, а полдюжины родичей Анании, увлекшись разговором, отстали, плетутся поодаль, а поскольку нет у матери и сына иных слов, кроме тех, которыми можно высказать лишь снедающую их тревогу, идут они молча, чтобы не терзать друг друга, и странная тишина воцаряется вокруг — не слышно ни птичьих голосов, ни посвиста ветра, ничего, кроме шагов, но и этот звук все слабее и глуше, будто какой-то честный прохожий, забредя ненароком в покинутый хозяевами дом, в смущении торопится выйти оттуда. И за очередным, последним поворотом дороги вдруг открылся Сепфорис, кое-где еще объятый пламенем и весь окутанный уже редеющей пеленой дыма, Сепфорис с почерневшими от копоти стенами домов, с деревьями, обугленными, но сохранившими листву, которая стала теперь ржавого цвета. А вон там, справа от нас, — кресты.

Мария бросилась было к ним бегом, но они были слишком далеко — не добежишь, и, задохнувшись, она умеряет шаг: немудрено, что после стольких и столь частых родов сердце ее надорвано. Иисус, как подобает почтительному сыну, хочет быть рядом с нею и сейчас, и потом, когда они вместе испытают одну и ту же радость или одну и ту же скорбь, однако мать идет так медленно, еле ноги переставляет, что он говорит: Так мы и до завтра не доберемся, и Мария движением руки отпускает его, как бы сказав: Ступай один, и он прямиком, через поле, чтобы срезать путь, опрометью несется к столбам, бормоча: Отец, отец — с надеждой на то, что не найдет его среди казненных, и с мукой, потому что уже нашел. Он подбежал к первому ряду столбов — на иных еще висят распятые, с других они уже сняты, опущены наземь, ждут погребения, и лишь вокруг немногих стоят родственники, ибо большинство мятежников люди нездешние, пришлые и сражались в разных отрядах, сойдясь в единое войско только здесь, перед тем как принять свой последний бой, а сейчас каждый из них отделен, отъединен от других и пребывает в не выразимом словами одиночестве смерти. Иисус не видит отца, и душа его полнится ликованием, но рассудок говорит: Подожди, это еще не конец, а вот и конец — на земле простерт тот, кого он искал, — крови почти нет, лишь разверстые раны на запястьях и на ступнях — и кажется, будто Иосиф спит, но нет, отец, ты не спишь, никому не удалось бы уснуть, когда ноги вывернуты так неестественно, спасибо уж и за то, что кому-то хватило милосердия снять тебя с креста, однако казненных так много, что люди, позаботившиеся о тебе, не успели выпрямить раздробленные твои ноги. Юноша по имени Иисус стоит на коленях у тела отца, плача, хочет дотронуться до него и не смеет, но вот настает миг, когда скорбь перебарывает страх смерти, и тогда он обнимает труп. Отец, отец, бормочет он, а рядом другой голос произносит: Ох, Иосиф, муж мой, — это подоспела обессиленная Мария, которая начала плакать еще издали, потому что, еще издали заметив замершего сына, поняла, что ее ожидает. А теперь плачет она еще неутешней и горше, ибо разглядела перебитые ноги: неизвестно ведь, утихают ли после смерти те муки, что испытывал человек при жизни, особенно в последние ее минуты, весьма возможно, что со смертью в самом деле кончается все, но никто не может утверждать наверное, что память о страдании хоть несколько часов по крайней мере не живет в том, что мы называем телом, и нельзя исключить, что разложение и распад плоти — это единственный способ от этих страданий избавиться. Мария так мягко и нежно, как никогда бы не решилась прикоснуться к живому, попыталась поровней положить неестественно вывернутые ноги Иосифа, придававшие ему жутковатое сходство со сломанной куклой. Иисус не дотрагивался до отца, только одернул задравшийся подол хитона, который не сняли с него, поднимая на крест, но все равно голени — они с какой-то особенной пронзительностью подчеркивают, как хрупко, в сущности, человеческое тело, — остались открыты. Берцовые кости перебиты, и потому ступни не торчат вверх, а поникли, открывая раны на лодыжках, куда на запах крови слетелись рои мух. Стоптанные и запыленные сандалии Иосифа, валявшиеся у подножия толстого дерева, гибельным пло-

дом которого был он недавно, так и остались бы там, если б Иисус, следуя безотчетному порыву или повелению свыше, не протянул за ними руку, чего Мария даже не заметила, не подобрал их и не сунул себе за пояс, словно символическое наследство, причитающееся ему как первородному сыну, ибо в жизни многое и важное начинается с простого и пустячного, и недаром ведь до наших дней дожила поговорка «В обуви отца и я мужчина».

Римские солдаты, стоя чуть поодаль, наблюдали за происходящим, готовые пресечь призывы к мятежу или враждебные действия, если последуют таковые со стороны тех, кто со стенаниями и слезами хлопотал над телами казненных. Однако люди эти были настроены мирно или не желали до поры обнаруживать своей враждебности и всего лишь читали свои заупокойные молитвы, переходя от одного казненного к другому, и вот уж полных два часа, как над каждым из покойников звучали слова молитв и разрывались одежды — слева, если оплакивался родственник, справа — если нет, и в предвечерней тишине слышались голоса, произносящие нараспев: Господи, зачем понадобился тебе человек, на что сдался тебе сын человеческий, ведь жизнь его подобна краткому дуновению, дни человека, рожденного от женщины, мимолетней тени, скоротечны и обильны лишь скорбями, как цветок вырастает он и так же срезается серпом жнеца, и исчезает он без следа, как тень. Затем, после того как признано было полное ничтожество человека пред Богом, хор загремел громче и ликующе, чтобы напомнить Ему о нежданном величии человека: Вспомни, насколько ты умалил его пред ангелами, но увенчал его славой. Когда же плакальщики приблизились к телу незнакомого им Иосифа, лежавшее с самого края, последним в ряду сорока казненных, они хоть и заторопились с отпеванием, но плотник все же унес в иной мир все, что требовалось обычаем и Законом, а объяснялась торопливость тем, что Закон этот не позволяет оставлять распятых без погребения до следующего утра, солнце между тем уже клонилось к западу, и скоро уже начнет смеркаться. Иисусу по молодости лет не нужно было в знак скорби разрывать на себе одежды, но голос его, тонкий и подрагивающий, взмывал над голосами других, выпевая славословие Господу. Распростертый на земле Иосиф если еще страдает от боли в пронзенных гвоздями ступнях и запястьях, то, наверно, слышит и слова о Божьей справедливости и теперь уж несомненно узнает, какое место занимала она в его жизни, — теперь, когда ни от справедливости этой, ни от самой жизни ждать ему более не приходится ничего. Отпели; теперь надо приступать к погребению, но казненных так много, а ночь уже так близка, что нет решительно никакой возможности обеспечить каждого отдельным местом последнего упокоения, то есть выкопать каждому могилу, опустить в нее облаченного в саван усопшего, заложить ее круглым камнем — нечего и думать об этом. И ограничились тем, что выкопали длинный ров, где всем хватило места, и сделано так не в первый и, поверьте, не в последний раз, и трупы опустили в братскую могилу такими, как нашли их, и Иисусу тоже дали заступ, и он работал усердно и наравне со взрослыми, ибо хотел, чтобы исполнилось пророчество о том, что человек будет погребен в могиле, вырытой сыном человеческим, но сам он останется без погребения. Пусть слова эти, на первый взгляд кажущиеся загадочными, не обратят ваши помыслы к метафизическим размышлениям, ибо смысл их очевиден и обыден, и значат они всего лишь, что того человека, который останется на земле последним, некому будет класть в эту землю. Юношу ждет иная судьба — не на нем иссякнет род человеческий, еще много тысячелетий будут люди рождаться и умирать, и если верно присловье, что человек человеку волк, то у нас есть все основания считать, что пребудет он ему и палачом, и могильщиком.

Солнце уже перевалило за склон горы. Темные низкие тучи спустились над долиной Иорданской, медленно поползли к западу, словно последние лучи, заливая багрянцем верхнюю кромку, притягивали их к себе. Вдруг похолодало — похоже, ночью будет дождь, хоть это и редкость в такое время года. Солдаты ушли, торопясь засветло дойти до лагеря, куда, должно быть, уже воротились их посланные в Назарет на разведку однополчане — такой вот слаженностью действий и отличается регулярная армия от взбунтовавшейся толпы, и результат этого отличия налицо: тридцать девять человек, взятых с бою, распяты на столбах, а сороковой, бедняга, хоть ни в чем и не виноват, попал под горячую руку и тоже поплатился жизнью, вот уж истинно — в чужом пиру похмелье. Жители Сепфориса сейчас отправятся искать в сожженном городе место для ночевки, а поутру

каждая семья пороется на пепелище своего дома, посмотрит, не пощадил ли огонь чего-нибудь из скарба, чтобы было с чем начинать жить на новом месте, ибо римляне пока не позволят отстроить город заново — рано еще, пора не пришла. Мария и Иисус — две тени в лесу, где у деревьев нет ни ветвей, ни листьев; два страха, друг в друге ищущие мужества, и мать за руку притягивает сына к себе, а от черного неба присмотра не жди, а лежащие в земле мертвецы того и гляди ухватят живых, остановят их. Заночуем в городе, сказал Иисус, а Мария ответила: Нельзя, братья твои дома одни и есть хотят. Мать и сын едва различают землю, по которой ступают, но вот, много раз споткнувшись и один раз упав, выбрались они наконец на дорогу, руслом пересохшей реки бледно светившуюся во тьме. Когда остался позади Сепфорис, начался дождь — первые тяжелые капли с мягким стуком упали в густую дорожную пыль, которая уже очень скоро под хлещущими с неба струями превратилась в грязь, и Марии с сыном пришлось разуться, чтобы не завязить в ней сандалии. Они идут молча, мать своим платком прикрыла сыну голову, и сказать им друг другу нечего, и, быть может, в головах обоих проносится смутная мысль: не умер Иосиф, вот вернутся они — и найдут его дома, где он, как умеет, обихаживает детей, и он спросит жену: Кто это вам позволил без спросу идти в город? — и на глаза Марии вновь навернулись слезы, но это уже не только от скорби и горя, но и от неизбывной усталости, от безжалостного дождя, от нескончаемой ночи. Нет, все слишком черно и мрачно, чтобы поверить, будто Иосиф жив. Настанет день, и кто-нибудь расскажет вдове о великом чуде в Сепфорисе, где обтесанные для казни столбы пустили новые корни и оделись новой листвой, и «чудо» употреблено здесь не для красного словца, во-первых, потому что римляне вопреки обыкновению, уходя, не увезли столбы с собой, а во-вторых, потому что не бывает так, чтобы спиленные с верхушки и с комля стволы еще сохранили в себе жизненные соки и ростки, которые могли бы превратить уродливые окровавленные деревяшки в живые деревья. Это кровь мучеников, говорили люди верующие, это дождь, возражали маловеры, но ни пролитая кровь, ни хлещущая с небес вода раньше почему-то не могли заставить зазеленеть и ожить бесчисленные кресты, торчавшие на холмах и в пустынях. Никто лишь не осмелился сказать, что случилось это по воле Господа, и не осмелился не потому лишь, что воля эта, какова бы ни была она, непостижна разуму, но также и потому, что никто не мог бы доходчиво и толково объяснить, чем это распятые в Сепфорисе лучше всех прочих, за какие такие особые заслуги сподобились они невиданной небесной благодати, являть которую склонны скорее языческие боги. И долго еще простоят там эти деревья, и сотрется наконец память о том, что же произошло, и тогда люди, всему на свете желающие дать объяснение — истинное или мнимое, — придумают множество историй, поначалу еще имеющих хоть какое-то отношение к событиям действительным, а потом все дальше и дальше отходящих от них, все больше и больше теряющих с ними самомалейшую связь и наконец превращающихся просто в легенду. И настанет день, когда выйдет деревьям этим срок жизни, когда срубят их, а потом захотят проложить по этому месту автомагистраль, выстроить школу, жилой дом, торговый центр или долговременную огневую точку, и пригонят сюда экскаваторы, которые вгрызутся в землю и выбросят на поверхность ее, на белый свет останки тех, кто две тысячи лет назад в землю эту был положен, и даруют им в определенном смысле вторую жизнь. Появятся антропологи, и профессор анатомии, изучив скелеты, сообщит пораженному миру, что в те далекие времена людей распинали, предварительно перебив им ноги. И мир, раз уж нельзя будет отнять у ученого научных заслуг и объявить лжеученым, возненавидит его из соображений эстетических.

Когда Мария с Иисусом, вымокшие до нитки, продрогшие до костей, с ног до головы вымазанные жидкой грязью, пришли домой, то обнаружили, что дети обихожены лучше, чем можно было ожидать, — благодаря заботам старших, Иакова и Лизии, которые, понимая, что ночь будет студеной, сообразили развести огонь в очаге и сгрудились у него вместе с маленькими, пытаясь унять сосущую пустоту внутри теплом, идущим снаружи. Услышав стук в ворота, Иаков отворил, а дождь в эту минуту превратился в сущий ливень, и когда Мария с Иисусом вошли, вода хлынула с них на пол ручьями. Дети глядели на мать, на старшего брата и, когда дверь закрылась, поняли, что отец не придет, но все же Иаков спросил: А отец? Глиняный пол медленно впитывал воду, капавшую с

насквозь промокших одежд, в тишине слышно было, как постреливают в очаге сырые дрова, дети смотрели на мать. А отец? — снова спросил Иаков. Мария уже открыла рот, чтобы ответить, но роковое слово тугой удавкой сдавило ей горло, и вместо нее должен был сказать Иисус: Он умер, и, сам не вполне сознавая, что делает, или как непреложное доказательство того, что отец не придет больше никогда, достал из-за пояса мокрые сандалии, показал их детям: Вот. На глаза тех, кто постарше, и так уж навернулись слезы, но лишь при виде этих сандалий полились они по-настоящему, и поднялся неутешный и всеобщий плач. Вдова не знала, которого из девяти своих детей утешать первым, и, вконец обессилев, повалилась на колени, а дети ринулись к ней, окружили и повисли живой гроздью винограда, который и давить не надо, чтобы брызнула из него прозрачная кровь слез. Один Иисус оставался на ногах и все прижимал отцовы сандалии к груди в смутном предчувствии, что когда-нибудь он их наденет. Дети между тем постепенно отступали от матери: сперва те, кто постарше, движимые той стыдливостью, которая велит горевать в одиночку, а за ними — и младшие, которые еще не могли постичь и осознать в полной мере, какая беда на них свалилась, а просто плакали, потому что у старых и у малых глаза всегда на мокром месте, даже когда чувства их еще не развились или уже омертвели. А Мария все стояла на коленях посреди комнаты, словно ожидала решения своей участи или приговора, но тут вдруг пробрал ее с ног до головы озноб, она вспомнила, что вся мокрая, и тогда поднялась, достала из сундука старую, много раз чиненную мужнину рубаху и подала ее Иисусу, сказав при этом: Переоденься и сядь к огню поближе. Потом подозвала дочерей, Лизию и Лидию, велела им держать циновку на манер занавески, переоделась, зайдя за нее, в сухое сама и принялась стряпать ужин из скудных припасов, нашедшихся в доме. Иисус, согревшись у очага, сидел в отцовской рубахе до пят, рукава которой были ему длинны, и уж конечно в других обстоятельствах братья и сестры не преминули бы начать над ним смеяться — больно уж смешно он в ней выглядел, — но сегодня не осмелились, и не только потому, что в дом пришла беда: нет, показалось им, будто старший их брат вдруг как-то разом повзрослел и словно бы даже прибавил в росте, и это ощущение еще усилилось, когда он степенными, размеренными движениями подвинул поближе к огню отцовские сандалии, хотя в действиях его не было ни проку, ни смысла, ибо Иосифу те сандалии были уже ни к чему. Иаков, следующий за ним по возрасту, подсел к брату, тихонько спросил: А что же с отцом нашим? Его распяли вместе с мятежниками, так же вполголоса ответил Иисус. А за что? Не знаю, их было сорок человек, и среди них отец. Может, и он тоже? Что? Тоже мятежник? Да нет, он всегда сидел дома, делал свое дело. А осла нашли? Нет, ни живого, ни мертвого. Мария тем временем сготовила ужин, все уселись в кружок и принялись есть из одной большой чашки. Под конец самые маленькие стали клевать носом, и, как ни были они возбуждены, усталое тело требовало отдыха. Вдоль задней стены раскатали циновки для мальчиков, а дочерей Мария положила по обе стороны от себя, чтоб никому не было обидно. В дверную щель со двора дуло, но в доме было душно — шел жар от еще не остывшего очага и от притулившихся друг к другу детей, и семья, повздыхав и повсхлипывав, стала засыпать, и Мария подала остальным пример, сдержала слезы — и чтобы дети уснули поскорей, и чтобы остаться наедине со своим горем, вглядеться в то будущее, которое сулила ей жизнь без мужа да с девятью детьми на руках. Но хоть мысли крутились в голове и болела душа, а ко всему безразличное тело не могло противиться сну. Теперь спали все.

Глубокой ночью чей-то стон разбудил Марию. Она подумала было, что простонала сама, во сне, но стон прозвучал снова, и на этот раз громче. Осторожно, чтобы не потревожить дочек, приподнялась, оглянулась по сторонам, но светильник горел так тускло, что мальчиков она не увидела. Кто же из них? — подумала она, хотя сердце уже подсказало ей, что стонал Иисус. Бесшумно встала, сняла висевшую у притолоки коптилку, подняла ее над головой, чтобы свету было больше, оглядела спящих сыновей: Иисус мечется и бормочет, словно его мучает кошмар, и, конечно, ему снится отец, рано в его годы видеть то, что видел он сегодня, — смерть, кровь, пытку. Мария подумала, что надо бы разбудить его, прекратить это мучение, но делать этого не стала, не хотела, чтобы сын рассказал ей свой сон, и тотчас позабыла об этом, заметив на ногах Иисуса отцовские сандалии. Это вывело ее из себя — что за дурацкая мысль, что за неуважение — надеть

их, да еще в самый день его смерти! Она повернулась к циновке, не зная уж, что и думать: быть может, Иисус оттого, что лег спать в отцовой рубахе и сандалиях, следовал во сне роковой стезей Иосифа, повторяя весь его путь от порога до креста, и, стало быть, вошел в мир мужчин, к которому и так принадлежал по Божьему Закону, но где теперь получал новые права — право наследства, пусть даже все оно состояло из ветхой рубахи да стоптанных сандалий, и право снов, пусть даже в снах этих увидятся ему последние шаги отца по земле. Не думала Мария, что Иисусу может сниться что-то иное.

Утро выдалось ясным, с безоблачного неба жгло и сияло солнце, и можно было не опасаться нового дождя. Мария вышла из дому рано, вместе с теми сыновьями, кто по возрасту уже ходил в школу, и с Иисусом, который, как уже было сказано, обучение свое окончил. Она отправилась в синагогу сообщить о смерти мужа и о том, в сколь тяжких обстоятельствах она оказалась после того, как над телом Иосифа, как и над прочими несчастными, прочитали заупокойные молитвы, и, хотя и место было неподходящим, и времени на это мало, по числу этих молитв и по содержанию их можно было сказать, что проводили мужа в последний путь, как велит обряд. Возвращаясь домой в сопровождении старшего, подумала Мария, что вот удобный случай спросить его, зачем надел он отцовы сандалии, но в самый последний миг удержалась, боясь смутить сына: скорей всего, Иисус не сумеет объяснить ей это и, смутясь, почтет себя в глазах матери униженным своим поступком, ибо поступок этот никак нельзя вывести из обыденных причин, вроде того, что мальчик проснулся ночью и, почувствовав голод, поднялся и съел ломоть хлеба, а будучи застигнут за этим, на голод этот мог бы и сослаться, но история с сандалиями в эти рамки не укладывалась, если не считать, что мучил его иной голод, о котором нам с вами знать не дано. Тут Марии в голову пришла другая мысль: Иисус отныне — старший в роду и в доме, а потому она, мать, зависящая от него теперь, решила, что правильно будет выказать ему должное уважение и подобающее внимание и спросить, что за сон мучил его ночью. Тебе отец снился? — спросила она, но Иисус притворился, что не слышит, и даже отвернулся, однако мать повторила настойчиво: Отец? — и не ожидала, что сын сначала ответит: Да, и тотчас, следом — Нет, и что в глазах у него появится такое выражение, будто вновь предстал ему казненный Иосиф. Они некоторое время шли молча, а когда вошли в дом, Мария села прясть, подумав, что теперь, пожалуй, надо будет, чтобы прокормить детей, работать больше, отдавая часть на продажу, раз уж есть у нее умение и ремесло. Иисус же, взглянув на небо, убедившись, что погода по-прежнему хороша, подошел к отцовскому верстаку, стоящему под навесом, и стал одну за другой осматривать начатые и неоконченные поделки, а потом — инструменты, и сердце Марии исполнилось ликования при виде того, с какой ответственностью сын ее с первого дня отнесся к новым своим обязанностям. Когда вернулись из школы младшие и началась общая трапеза, лишь очень зоркий взгляд заметил бы, что всего несколько часов назад семья оплакивала потерю своего главы, мужа и отца, и если черные брови Иисуса, сурово сведенные над переносьем, выдавали тайную думу, то остальные, включая Марию, казались спокойны и безмятежны, ибо сказано: Горько плачь и стенай от душевной муки, соблюдай траур по усопшему день или два, смотря по тому, кем приходился он тебе, ибо так положено меж людьми, а потом утешься в своей печали, и еще сказано: Не вверяй сердце свое скорби, но отгоняй ее, помни, что и ты в свой срок уйдешь туда, откуда нет возврата, и ничем уже не поможешь ты покойному, себе же причинишь вред. Смеяться еще рано, но придет время и смеху, ибо дни сменяются днями, и чередой идут времена года, и лучший наказ дает нам всем Екклесиаст, похваливший веселие, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Ближе к вечеру Иисус с Иаковом забрались на крышу и заделали соломой, залепили глиной щели, сквозь которые целую ночь капала вода, и не стоит удивляться тому, что мы в свое время не упомянули о таких низменных и бытовых подробностях нашей повседневности — смерть человека, виноват он или нет, всегда должна преобладать над всем прочим.

И опять наступила ночь, предшествуя рождению нового дня, и семья, отужинав чем Бог послал, улеглась на циновки, отошла ко сну. Перед рассветом Мария проснулась в страхе, но не от дурного сна — он привиделся Иисусу, и тот, надрывая душу, застонал,

заплакал так громко, что разбудил даже старших детей — малыши-то в невинности своей спали по-прежнему крепко. Мария бросилась к Иисусу, который, вскинув и выставив перед собой руки, будто отбивался или заслонялся от занесенных мечей, от уставленных копий, но движения его постепенно замирали, словно нападавшие оставили его или жизнь иссякла. Он открыл глаза, крепко вцепился в склонившуюся над ним мать, как если бы не был почти взрослым, главой семьи, мужчиной: он плачет, как испуганный ребенок, и мы, дурни, не хотим признавать, что изболевшееся сердце успокаивается слезами. Что с тобой, что с тобой? — с тревогою повторяла Мария, но Иисус не отвечал — не хотел или не мог, ибо рот его был сведен судорожной гримасой, и вот уж в ней-то нет ничего детского. Скажи, что тебе приснилось, настаивала Мария и подсказала, торя сыну дорогу: Отец, да? Но Иисус, резко мотнув головой, разжал пальцы, откинулся на циновку: Ничего, ничего, ложись, — и, показав на братьев: Пусть спят, все хорошо. Мария вернулась на свое место, между двумя дочерьми, но, пока совсем не рассвело, лежала с открытыми глазами, чутко прислушиваясь и каждую минуту ожидая, что страшный сон повторится, и что же это за сон такой, от которого сын впал в такую тоску, но все было тихо. Не подумала она, что сын мог вообще не сомкнуть глаз, чтобы не привиделось опять то страшное, а размышляла о том, что первенец ее всегда спал крепко и покойно и что кошмары стали мучить его лишь со дня смерти отца. Господи, взмолилась она, пусть не приснится ему это еще раз, и здравый смысл, успокаивая ее, подсказывал, что сны нельзя ни передать, ни получить по наследству, но было это заблуждением, ибо людям нет необходимости пересказывать друг другу свои сны, чтобы детям снилось то же и в те же часы, что и отцам. Наконец занялась заря, осветилась щель в двери. Мария, забывшаяся сном под утро, открыла глаза и увидела, что место Иисуса пусто. Где же он? — подумала она, вскочила, открыла дверь, выглянула наружу и увидела сына — обхватив голову руками, локти уперев в колени, он недвижно сидел под навесом на куче соломы. Дрожа от утренней прохлады, но также, хоть и не отдавая себе в этом отчета, от того, каким одиноким показался ей сын, она приблизилась к нему, спросила: Тебе нездоровится? — и тот поднял голову: Нет, я здоров. Тогда что же с тобой такое? Сны. Сны? Верней, один сон, он снился мне и прошлой ночью, и нынешней. Ты видел отца на кресте? Я же сказал тебе, что нет, я его не видел. Ты сказал, что тебе снился отец. Снился, но я его не видел, но точно знаю, что он был рядом. Что же такое страшное привиделось тебе? Иисус ответил не сразу, поглядел на мать растерянно, а она почувствовала, будто чьи-то пальцы стиснули ей сердце: ее сын, ее первенец, с еще детским лицом, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, с первым нежным пушком над губой и вдоль щек, сидел перед нею, и связь их нерасторжима вовек. Расскажи мне все, попросила она, и он наконец заговорил: Снилось мне, что я в каком-то городе, но это не Назарет, а со мной и ты и не ты, потому что у той женщины, что во сне была моей матерью, другое лицо, а вокруг другие юноши, моего возраста, а сколько их числом, не помню, и их матери, и всех нас собрали на площади, и мы ждем солдат, которые нас убьют, и они все ближе и ближе, но мы их не видим, только слышим, как стучат по дороге копыта их коней, но мне почему-то не страшно, я знаю, что это всего лишь дурной сон и больше ничего, но вдруг сознаю, что вместе с солдатами идет и отец, и оборачиваюсь к тебе, ища защиты, хоть и не уверен, что это ты, а все матери уходят прочь, и мы остаемся одни, только мы уже не юноши, а совсем маленькие дети, я лежу на земле и плачу, и остальные тоже ревут, хотя только мой отец идет с солдатами, и мы все глядим в проулок, что ведет на площадь, и понимаем, что они вот-вот появятся, и ждем, а их нет и нет, хотя шаги все ближе, вот-вот, вот-вот, а их все нет, и тут я вижу, что я такой, как сейчас, но нахожусь внутри маленького ребенка, и он — это тоже я, и пытаюсь с неимоверным трудом из него вылезти, но точно связан по рукам и ногам, и я зову тебя на помощь, зову отца, который ищет меня убить, и тут просыпаюсь. Так было и в эту ночь, и в прошлую. Мария задрожала от ужаса, едва лишь сын начал рассказывать, и значение сна было ей невнятно: она понимала только, что сбылись наихудшие ее опасения — вопреки всякому здравому смыслу и доводам разума Иисус унаследовал свой сон от Иосифа, может, и были между этими снами различия, но суть в том, что отцу и сыну, каждому на своем месте и в свое время, снилось одно и то же. И еще сильней ужаснулась она, когда Иисус спросил: А что за сон снился отцу всякую ночь? Ну, у лю-

бого бывают дурные сны. Нет-нет, ты знаешь; о чем я. Не знаю, он мне его не рассказывал никогда. Ты не должна скрывать правду от меня, я ведь твой сын. Не нужно тебе знать о нем, это не к добру. Как можешь ты судить о том, что для меня к добру, что к худу? Почитай мать свою. Я твой сын, я чту тебя, но ты сейчас таишь от меня то, от чего зависит моя жизнь. Не заставляй меня говорить. Однажды я спросил отца, что значит его сон, и он сказал, что и мне не дано задать ему все вопросы, ни ему — сыскать все ответы. Вот и довольствуйся его словами. Мне довольно было их, пока был жив отец, но сейчас я стал главой семьи, я ношу на плечах его рубаху, а на ногах — его сандалии и в наследство получил еще и сон его, и с этим достоянием я могу уже выйти в мир, но мне нужно знать, какой сон возьму я с собой. Сын мой, но, быть может, он тебе и не приснится больше. Иисус поглядел на мать, взглядом понуждая и ее не отводить глаз, и ответил так: Если сегодня ночью он мне не приснится, допытываться больше не стану, но если приснится, поклянись, что расскажешь мне все. Клянусь, молвила Мария, уж не знавшая, как защититься от его властной настойчивости, но всей изболевшейся душой воззвала к Богу беззвучной молитвой, которая, облекись она в слова, звучала бы так: Господи, посылай мне этот сон каждую ночь, пусть приснится он мне даже и в смертный мой час, но сделай так, чтобы не знал его сын мой. Сказал Иисус: Ты помнишь, что поклялась? Сказала Мария: Помню, а про себя повторила свою мольбу.

Но Господь не внял ей. Пришла ночь, прокричал на заре черный петух, и сон повторился, и морда первой лошади показалась из-за угла. Мария услышала, как застонал Иисус, но не подошла к его изголовью, а он, дрожа, весь в испарине от страха, и не окликая ее знал, что она не спит. Что же поведает она мне? — думал он, и думала, так и не приблизившись к его циновке, Мария: Как расскажу я ему об этом? — и искала способ рассказать не все. А утром, когда поднялись, сказал Иисус матери: Я вместе с тобой отведу братьев моих в синагогу, а потом мы уйдем в уединенное место, чтобы говорить без помехи. Все валилось у бедной Марии из рук, покуда готовила она детям еду, однако вино ее скорбей было уже откупорено, и теперь надо было выпить его. Отведя младших в школу, мать и сын вышли из городка и на каком-то пустыре присели под оливой, и никто, кроме Бога, если тому случилось быть в то время в тех краях, не мог слышать их, а о чем они говорили между собой, знают камни, но камни, как известно, молчат, даже когда стукнешь их друг о друга, а уж в лоне земли все слова превращаются в безмолвие. Сказал Иисус: Исполни обещанное, и Мария без обиняков ответила: Отец твой видел во сне, что вместе с другими солдатами ищет убить тебя. Меня? Тебя. Так ведь это же мой сон. Да, с неожиданным облегчением подтвердила она, подумав про себя, что все оказалось проще, чем представлялось, а вслух добавила: Теперь ты все знаешь, пойдем-ка домой, а сны, они ведь как тучи — придут и уйдут, ты просто очень любил отца, вот и получил от него в наследство сон, но отец твой никогда бы тебя не убил, и если бы даже по воле Господа и занес бы над тобою руку, ангел в последнее мгновенье руку его удержал бы, как было с Авраамом, когда он собирался принести в жертву сына своего, Исаака. Не говори, чего не знаешь, сухо прервал мать Иисус, и Мария поняла, что горькое вино придется ей выпить до последней капли. Сказала она: Согласись, сын мой, что ничто и никто не в силах противостоять воле Господа, какова бы ни была она, а Господь может пожелать одно, а потом — совсем другое, противоположное, и мы с тобой перечить ему не станем. С этими словами она в ожидании покорно сложила руки на коленях. Сказал Иисус: Ответишь на всякий мой вопрос? Отвечу, сказала Мария. С какого времени стал сниться отцу этот сон? Очень давно, много лет тому назад. Сколько именно? С тех пор, как ты родился. И каждую ночь снилось одно и то же? Каждую, но в последнее время он меня уже не будил, человек ко всему привыкает. Я родился в Вифлееме, городе иудейском? Да. Что же случилось при рождении моем такое, что отец мой стал видеть во сне, будто убивает меня? Это было не при рождении. А когда? Несколько недель спустя. И что же произошло за это время? Царь Ирод послал избить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже. Почему? Не знаю. А отец знал? Нет. Но меня же не убили? Мы спрятались в пещере за городской чертой. То есть меня не убили, потому что не нашли? Да. А отец мой был воином? Никогда. А кто он был? Он работал на строительстве Храма. Не понимаю. Я отвечаю на твои вопросы. Если воины Ирода не увидели меня, если жили

мы за городской чертой, если отец мой никогда не был воином, если ни за что не отвечал и не знал даже, по какой причине Ирод повелел уничтожить всех мальчиков в Вифлееме. Говорю тебе, не знал. Так, значит. Ничего не значит, если тебе больше не о чем меня спросить, мне больше нечего тебе ответить. Ты что-то скрываешь от меня. Иисус замолчал, чувствуя, как, водой в сухую землю, уходит из него властность, с которой говорил он, и одновременно в каком-то потаенном уголке его сознания зашевелилась некая мысль, которая, даже не успев еще принять окончательных очертаний, была гнусна и чудовищна. По склону холма перед ними проходило стадо овец с пастухом, и были они цвета земли, будто земля двигается по земле. На кротком лице Марии появилось удивленное выражение: какой знак подавали ей высокая фигура пастуха, знакомая его походка и то, что спустя столько лет в этот самый миг появился он здесь, но она пригляделась и с недоумением узнала в пастухе соседа из Назарета, такого же тощего, как и полдюжины овец, которых гнал он на выпас. А в голове Иисуса мысль тем временем обрела форму, попросилась наружу, но язык не поворачивался произнести слова, в которые она облеклась, и все же, самого себя робея, он сказал: Отец знал, что младенцев перебьют. Он не спросил, и Марии, стало быть, не было нужды отвечать. Как узнал об этом отец? — промолвил Иисус, и вот теперь это был вопрос, и Мария сказала: Он строил Храм в Иерусалиме и слышал, как воины толковали между собой о том, что будут делать. А потом? Потом он поспешил спасать тебя. А потом? Потом подумал, что можно и не убегать, а спрятаться в пещере. А потом? Вот и все, воины Ирода сделали то, за чем их послали, и ушли. А потом? А потом мы вернулись в Назарет. И там ему стал сниться этот сон? В первый раз он увидел его еще в пещере. Руки Иисуса взметнулись к лицу, словно он хотел разодрать щеки ногтями, из груди вырвался неутешный вопль: Отец мой истребил младенцев в Вифлееме! Ты обезумел, сын мой, это сделали воины Ирода. Нет, женщина, их убил мой отец, Иóсиф, сын Илии, ибо знал о грозящей расправе, но не предупредил родителей, — и теперь, когда все слова слетели с его уст, улетела навек и надежда на утешение. Иисус бросился наземь, с плачем повторяя: Бедные, бедные! — и даже не верится, что мальчик в тринадцать лет, в том возрасте, когда себялюбие столь понятно и простительно, так потрясен известием, которое, если принять в расчет все, что мы знаем о современном нам мире, оставило бы равнодушным почти всех. Люди, впрочем, неодинаковы, есть среди них исключения, и отраднейшее из всех — этот мальчик, так горько рыдающий из-за давней ошибки, совершенной его отцом, а быть может, по себе, если он, как нам сдается, любил своего дважды виноватого отца. Мария протянула к нему руку, хотела дотронуться до него, но он отпрянул: Не прикасайся ко мне, у меня в душе рана. Иисус, сын мой. Не называй меня сыном, и на тебе тоже лежит вина. Отроки лишены снисходительности и судят слишком строго, ибо Мария была столь же невинна, как и убиенные младенцы, за нашу сестру все решают мужчины, пришел муж и сказал: Давай уйдем отсюда, а потом: Нет, лучше спрячемся, и ничего не объяснил, и, конечно, надо было спросить: Что это за крики доносятся оттуда? Но Мария ничем не возразила сыну, хоть ей так легко было бы доказать, что ни в чем не виновата, ибо вспомнила в тот миг о распятом на кресте Иосифе, тоже убиенном безвинно, и со слезами стыда почувствовала, что любит его сейчас больше, чем любила при жизни, потому и не стала оправдываться: не все ли равно, за какую вину взыщется? И сказала только: Пойдем домой, мы уже обо всем поговорили, а сын ответил ей: Иди, я останусь. Казалось, будто отбилась от стада овца, и пустырь стал пустыней, и даже домики, разбросанные там и сям по склону, стали похожи на огромные камни, мало-помалу врастающие в землю. Когда фигура Марии растворилась в пепельной глубине долины, Иисус, все тело которого было объято огнем и будто потело кровавым потом, издал, стоя на коленях, крик: Отец, отец, зачем оставил меня?! — ибо бедный мальчик и чувствовал себя оставленным, безнадежно брошенным, покинутым, ввергнутым в безмерную пустоту иной пустыни, где ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер, где берет свое начало дорога мертвых. Пастух, сидящий среди своих овец и неотличимый от них, издали глядел на него.

Через два дня Иисус ушел из дома. За это время по пальцам одной руки можно было перечесть произнесенные им слова, а ночью он не смыкал глаз, ибо уснуть не мог. Ужас-

ные картины представали ему: он видел, как воины Ирода врываются в дома, выхватывают из колыбелей младенцев и, распеленав, рубят или пронзают мечами их маленькие тела; он слышал, как заходятся в безумном крике матери, как бешеными быками ревут отцы; представлял и самого себя в пещере, помнить которую не мог, и время от времени, словно тяжелый медлительный вал, накатывало на него и с головой захлестывало необъяснимое желание умереть или, по крайней мере, не жить. Не давал ему покоя вопрос, который он так и не задал матери: сколько же младенцев перебито было в Вифлееме; ему-то казалось — великое множество, он представлял себе целую гору окровавленных и обезглавленных, точно ягнята на бойне, тел, ожидающих огня, что уничтожит их и дымом вознесет к небесам. Но, не решившись спросить об этом в должное время, в час откровения, он считал, что сейчас бестактно, если в те времена уже существовало понятие «такт», взять да и сказать матери: Знаешь, я тогда позабыл тебя спросить, сколько же этих вифлеемских сосунков отправилось на тот свет, а она ответит: Ах, сынок, да выбрось ты их из головы, десятка три, не больше, и умерли они потому, что так Богу было угодно, ибо в его воле было их от смерти избавить. Однако самого себя этим вопросом терзал он беспрестанно, глядя на братьев своих и спрашивая постоянно: Сколько? Сколько? — ибо хотел непременно знать, какое количество трупиков надо положить на другую чашу весов, чтобы уравновесить его спасенную жизнь. И наутро второго дня он сказал матери: Я ухожу, оставляю тебя и братьев, ибо нет мне покоя и нет мира в душе моей. Мария, воздев руки к небесам, заголосила: Да где же это видано, чтобы старший сын бросал свою овдовевшую мать, куда же это катится наш мир и куда, куда же ты пойдешь из отчего дома, как оставишь родную семью и как мы будем жить без тебя? Иаков всего на год младше меня, отвечал ей Иисус, он заменит тебе кормильца, как заменял я. Кормилец — это твой отец. Я не хочу о нем говорить, и вообще ни о чем не хочу говорить, благослови меня, если тебе угодно, а нет — я и так уйду. Куда же ты пойдешь? Не знаю — может, в Иерусалим, может, в Вифлеем, погляжу на край, где родился. Но ведь там никто тебя не знает. Тем лучше, представь-ка, что сделали бы со мной, если б узнали, кто я. Замолчи, Иисус, братья твои услышат. Когда-нибудь они и так все узнают. Но ведь по всем дорогам рыщут римские солдаты, ищут мятежников Иуды, тысячи опасностей ждут тебя. Да римляне не хуже воинов некоего Ирода, помнишь такого? Они не набросятся на меня с мечами и не распнут на кресте, я ведь ни в чем не виноват и ничего дурного не совершил. Твой отец тоже ни в чем был не замешан, а вот ведь как все обернулось. Твой муж погиб безвинно, но не жил безвинно. Иисус, Дьявол говорит твоими устами. А может, не Дьявол, а Бог? Не произноси имя его всуе. Никому не дано знать, всуе произносится имя Господа или нет: ты этого не знаешь, и я не знаю, лишь Ему одному ведомы различия и побуждения наши. Сын мой. Что? Где ты в столь юные годы сумел набраться таких премудростей, где обрел эту науку? Нигде и ничему я не учился, должно быть, люди при рождении обретают истину, а не высказывают ее потому лишь, что не верят, что это — истина. Так ты твердо решил уйти? Да. А вернешься? Не знаю. Если мука твоя нестерпима, ступай в Вифлеем, в Иерусалим, в Храм, поговори с книжниками и мудрецами, расспроси их, они просветят тебя и наставят, и ты вернешься в отчий дом, ибо нужен мне, нужен братьям твоим и сестрам. Я не обещаю вернуться. Но чем же ты будешь зарабатывать себе на пропитание: отец твой умер слишком рано и не успел вполне обучить тебя своему ремеслу. Я буду пахать землю, пасти скот, попрошу рыбаков взять меня с собой в море. Ты не хочешь быть пастухом. Откуда ты знаешь? Так мне кажется. Я буду тем, чем надо будет, а теперь. Нет-нет, ты не можешь уйти вот так, я должна приготовить тебе на дорогу еды, денег мало, но я достану, и возьмешь отцову дорожную суму, хорошо, что она осталась. Еду возьму, а суму нет. Другой у нас в доме нет, а у отца твоего не было ни проказы, ни чесотки, так что напрасно ты ею брезгуешь. Не возьму. Придет день, и ты восплачешь об отце, а у тебя и памяти о нем никакой не останется. Я уже плакал по нем. Ты будешь плакать еще и даже думать тогда забудешь о вине его, но на эти свои слова Мария ответа уже не получила. Старшие дети подошли к нему и сказали: Ты уходишь из дома, и мы не знаем, о чем говорили вы с матерью, а Иаков сказал: Мне бы так хотелось пойти с тобой, — ему по душе были риск, приключения, новые пути, широкий окоем. Нельзя, ответил Иисус, ты должен остаться, кому-то ведь надо заботиться о мате-

ри, она ведь вдова, — и прикусил язык, да поздно: слово не воробей, он не удержал его, как не сумел сдержать и слез, хлынувших ручьем, когда живая память об отце неожиданно ударила его, будто сноп нестерпимо яркого света хлестнул по глазам.

А ушел он после того, как семья окончила совместную трапезу. По очереди простился с каждым из братьев и с обеими сестрами, потом с плачущей матерью, сказав ей, сам не понимая своих слов: Я вернусь, так или иначе, но вернусь. Потом перекинул через плечо котомку, пересек двор и отворил дверь на улицу, вышел и помедлил, словно задумавшись о том, что собирается сделать — бросить дом, мать, братьев. О, как часто случается так, что на пороге — дома или решения — придет нам в голову новый, внезапно возникший довод или просто защемит в груди, и мы готовы отказаться от своего намерения, и дорого бы дали, чтобы уже сорвавшиеся с языка слова не прозвучали. Так думала и Мария, и радостное удивление отразилось на ее лице при виде остановившегося на пороге сына, но лишь на краткий миг блеснуло солнце в хмари — сын, прежде чем повернуть назад, поставил дорожную котомку на землю, словно точку в конце длительных раздумий, приведших его к трудному решению. Не глядя на родных, Иисус вошел в дом. Когда же несколько мгновений спустя он снова появился на дворе, в руке у него были отцовские сандалии. Молча, потупив взор, словно стесняясь или стыдясь встретиться с кем-нибудь глазами, он сунул сандалии в котомку и, так и не произнеся ни слова, не махнув на прощанье, вышел. Мария бросилась к воротам, и дети за ней, причем старшие делали вид, будто ничего особенного не происходит, а может, и вправду не вполне постигали смысл происходящего, и никто не махал рукой вслед удаляющемуся, потому что тот не обернулся ни разу. Случившаяся рядом соседка, видя все это, спросила: Куда это идет сын твой, Мария? — и Мария ответила: В Иерусалим, работу ему там нашли, и было это, как мы с вами знаем, совершеннейшей неправдой, но лучше не брать на себя смелость окончательных моральных оценок, ибо, если дать времени достаточно времени, непременно придет день, когда правда обернется ложью, а ложь станет правдой. В ту же ночь, когда все в доме спали, кроме Марии, гадавшей, где в эту минуту находится ее сын — ночует ли под крышей постоялого двора, под деревом ли или на камнях какой-нибудь пещеры, не попал ли он, избави Бог, в руки римлян, — услышала она, как заскрипела калитка, и сердце ее так заколотилось, что чуть не выпрыгнуло из груди: Иисус вернулся! — подумала она и от радости на миг впала в оцепенение и растерянность, ибо не хотела идти открывать ему дверь с таким торжествующим видом — вот, мол, как бессердечно поступил ты со мною, а сам и одной ночи не выдержал в разлуке с отчим домом,— это могло бы унизить его, а потому решила сидеть тихо и молча, притвориться, будто дремлет, пусть Иисус войдет, пусть даже приляжет на свою циновку, не произнеся «Вот и я», а утром она изобразит, как дивит и радует ее возвращение блудного сына, и оттого, что разлука была недолгой, радость не будет меньше, ибо разлука подобна смерти, единственное, хоть и существенное между ними различие — это надежда. Но отчего же он так медлит, быть может, уже у самых дверей вновь заколебался, — и уж этой мысли вынести Мария не смогла: вот щелка в двери, откуда сможет она видеть двор, сама оставаясь незамеченной, и успеет отбежать и прилечь, если сын решится войти, а если, передумав, повернет назад — успеет задержать его. Босиком, на цыпочках подкралась она к двери, приникла к щели. Ночь была лунная, и земля блестела, точно вода в пруду. Высокая черная тень медленно двигалась по направлению к двери, и Мария, лишь только заметив этот силуэт, зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть. Не Иисус это был, а неимоверного, исполинского, гигантского роста нищий: тот самый, в тех же, что и в первый раз были на нем, отрепьях, которые тоже, как тогда, но теперь, должно быть, из-за лунного блеска превратились в ниспадающие тяжелыми складками пышные одежды. В ужасе Мария ухватилась за притолоку. Что ему нужно? Что ему нужно? — бормотали ее помертвелые от ужаса губы, а в следующий миг она совсем растерялась: бродяга, назвавший себя в прошлый раз ангелом, чуть отклонился в сторону, стоя уже у самой двери, но не входя, и слышно было только его дыхание, а потом раздался скребущий звук, словно изначальную рану земли жестоко ковыряли и углубляли, превращая в бездну. Марии не было нужды ни спрашивать, ни открывать дверь — она и так знала, что происходит за нею: на одно стремительное мгновение огромным своим телом заслонив Марии весь

обзор, нищий появился вновь, возник, а потом стал удаляться от двери дома к калитке на улицу, неся с собой целое от корней до последнего листочка, неповрежденное деревце — загадочное растение, что тринадцать лет назад появилось на том самом месте, где закопали когда-то чашку со светящейся землей. Калитка открылась и закрылась, ангел вновь превратился в нищего и показался уже по ту сторону забора, волоча за собой по земле длинные, покрытые листьями ветви, подобные змеям в перьях, и теперь исчезла даже и тень звука, словно все, что было, пронеслось в воображении или приснилось Марии. Она медленно отворила дверь, боязливо шагнула за порог. Мир под недоступно высоким небом был ярок и светел. Почти у самой стены дома чернело в земле отверстие, откуда было выкопано деревце, и от края этой ямки до калитки тянулся, точно Млечный Путь — будем именовать его так, а не Дорогой святого Иакова, поскольку тот, в чью честь получит она свое название, был в ту пору еще безвестным галилейским отроком приблизительно одних лет с Иисусом, и один Господь ведал, где оба они были тогда, — светящийся след. Мария подумала о сыне, но на этот раз страх не когтил ей сердце — ничего дурного не могло случиться с ним под этим прекрасным, бездонным, безмятежным небом, где выпеченной из света краюхой хлеба сияла луна, питая все источники и соки земли. Мария со спокойной душой пересекла двор, без боязни наступая прямо на звезды на земле, и открыла калитку. Выглянула наружу — светящийся след обрывался в нескольких шагах, словно вдруг иссякла заключенная в листве светоносная переливчатая сила или — послушаем новое бредовое измышление этой женщины, которой уж не придется подыскивать объяснения тому, что зачала и понесла, — или словно нищий бродяга, вновь принявший образ ангела, ради такого особого случая не пошел по земле, а раскрыл наконец свои крыла. Марии подобные невероятные чудеса показались такими же простыми, природными и естественными, как собственные ее омытые лунным сиянием руки. Воротясь в дом, она сняла с гвоздя светильник, склонилась над глубокой ямой, оставшейся в земле, из которой, не повредив корней, извлекли деревце. На самом дне ямы лежала пустая чашка. Мария просунула руку в отверстие, вытащила наружу чашку — самую что ни на есть обычную посудину, с остатками земли, уже не испускавшими никакого свечения, предмет домашнего обихода, вернувшийся к своему обыденному предназначению, отныне и впредь снова используемый для того, чтобы наливать в него молоко, воду или вино в соответствии с возможностями и потребностями своих хозяев, ибо верно было сказано, что всему свое время и время всякой вещи под небом.

Первую свою ночь в пути Иисус провел не под открытым небом. Уже начинало смеркаться, когда вывела его дорога к маленькому поселению, а вернее — городскому предместью, и судьба, с рождения столь немилостивая к нему и не оставившая втуне ни одного дурного предзнаменования, на этот раз распорядилась так, чтобы хозяева крайнего домика, куда без особой надежды постучал с просьбой о ночлеге Иисус, оказались столь добросердечны, что до конца дней своих не простили бы себе, если бы прогнали от порога такого мальчугана на ночь глядя, а поглядеть есть на что — кругом война да резня, стычки да свалки, людей ни за что ни про что распинают на крестах, а невинных младенцев убивают в колыбели. Иисус сообщил приютившим его, что идет из Назарета в Иерусалим, но прозвучавшую из уст матери постыдную ложь о том, будто бы сыскали ему там работу, повторять не стал, а сказал, что должен по поручению семьи выяснить у книжников Храма одно темное место в Законе. Хозяин немало подивился тому, что столь ответственное дело доверили человеку, не вышедшему еще из поры отрочества и едва достигшему совершеннолетия, Иисус же, не упомянув об отце ни словом, объяснил, что так и должно быть, ибо он — старший в семье. Его накормили ужином и уложили спать под навесом на дворе, поскольку лучшего места для случайного прохожего не нашлось. Глубокой ночью приснился ему его сон, только на этот раз отец и воины Ирода не подходили так близко и морда лошади не выдвигалась из-за угла, но это нисколько не умеряло ужас, не облегчало муку — вы поставьте-ка себя на его место, вы представьте, что родной ваш, собственный отец, подаривший вам жизнь, идет с обнаженным мечом жизнь эту отнять. Никто в доме не заметил того, как страдал рядом заночевавший у них отрок, ибо Иисус и во сне научился владеть собой и своим страхом и, не просыпаясь, в качестве крайнего средства зажимать себе рот рукою, так что от криков содрогалось все

его тело, но ничего не было слышно, все звуки замирали, не успев родиться. Наутро он принял участие в первой трапезе, а потом поблагодарил своих хозяев и вознес им хвалу, причем выражение лица его, и те слова, в которые облек он свою признательность, были столь торжественны и уместны, что все семейство чувствовало порой, что его осеняет истинная Божья благодать, хоть и принадлежали они все к не слишком почитаемому племени самарян. Итак, Иисус распрощался с ними и двинулся в путь, а в ушах его еще звучали слова, которые произнес напоследок хозяин: Слава тебе, Господи Боже, Царю Небесный, направляющий шаги человеческие, — и на которые он отвечал, возблагодарив Господа Бога и Царя Небесного, предусмотревшего все, что человеку может понадобиться, и доказывающего тем самым, что опыта прибывает в прямо пропорциональной зависимости к числу прожитых дней и в полнейшем соответствии с правилом, велящим больше давать тому, кто больше имеет. Короче говоря, имущему да прибавится.

А дорога в Иерусалим совсем была бы хороша, будь она хоть чуточку полегче. Во-первых, самарянин самарянину рознь, и уже в те времена понятно было, что одна ласточка весны не делает, а нужны по крайней мере две — разумеется, не весны, а ласточки, причем самец и самочка, способные вывести птенцов. Напрасно Иисус стучался в двери домов — никто ему больше не открыл, и приходилось ночевать — в первый раз под смоковницей, у которой крона широкая и раскидистая, точно юбка, что войдет в моду веков восемнадцать спустя после описываемых нами событий и получит название «кринолин», во второй — вместе с караваном, к которому он присоединился и которому, на его, Иисусово счастье, не хватило места на постоялом дворе, отчего и разбили бивак в чистом поле. Мы говорим «на его счастье», потому что незадолго до этого на нашего маленького путника, странствовавшего в одиночку в диком горном безлюдье, напали два злодея, столь же трусливых, сколь и безжалостных, и отняли те немногие деньги, что у него с собой были, и по этой самой причине Иисус не имел возможности безопасно провести ночь в странноприимном доме либо на постоялом дворе, чьи хозяева, свято блюдя законы коммерции, дерут с гостей за всякий чих, не говоря уж о ночлеге под крышей. Какое, должно быть, жалкое зрелище — только некому было ни зреть, ни жалеть его — являл собой наш бедолага, когда грабители, еще и насмехаясь над ним, ушли и он остался совсем один, под необозримым небом над головой, с горами вокруг, во Вселенной, лишенной всякого понятия о нравственности и населенной лишь звездами, разбойниками да палачами. И пожалуйста, попрошу вас не оспаривать моих резонов, говоря, что, мол, у тринадцатилетнего мальчугана для подобных меланхолических раздумий нет и быть не может не только нужных знаний и философской основы, но и простой житейской опытности; не напоминайте, что ни школа при синагоге, которую посещал наш герой, ни даже выказанная им известная сметливость, проявлявшаяся более всего в том, что он, как говорится, в карман за словом не лез, не способны объяснить наше к нему повышенное внимание. В здешних краях немало сыновей плотников, в избытке и тех, чьих отцов распяли на столбах, но раз уж мы, при всем изобилии подходящего материала, выбрали одного из них, отгоним прочь сомнения в том, что выбор наш не случаен и верен. Во-первых, давно уж ни для кого не секрет, что всякий человек заключает в себе целый мир, это имманентное его свойство и трансцендентное качество. А во-вторых, край этот всегда был особенный, отличный от прочих, стоит лишь вспомнить, какое множество людей высокого, среднего и низкого звания, начиная от Исаии и кончая Малахией, пророчествовало и проповедовало здесь, и были среди них и цари, и священники, и пастухи — кого там только не было! — а потому следует быть в суждениях наших более основательными, ибо скудные зачатки дарований, обнаруженные у плотничьего сына, не дают нам права делать поспешные, а тем более окончательные выводы, дабы не испортить ему карьеру при самом ее начале. И все же, все же пусть этот отрок, направляющийся в Иерусалим, когда большая часть его сверстников и за порог-то отчего дома не ступали и не обладают, быть может, орлиной прозорливостью и не являются кладезем мудрости, но все равно заслуживают к себе уважения: у него, как он сам объявил матери, в душе рана, а он по натуре своей оказался не таков, чтобы сжиться с ней, и к ней привыкнуть, и дождаться, пока благодетельное умение не думать не зарубцует ее, — нет, он вышел в мир, который, вполне вероятно, нанесет ему новые раны, умножит их число

и сольет их в одну сплошную, все собой определяющую, высшую муку. Не исключаю, что подобные предположения покажутся вопиющим анахронизмом, ибо мы вкладываем современные комплексы в голову или в душу палестинского мальчика, родившегося так задолго до появления на свет Фрейда с Юнгом и Гроддека с Лаканом[1], но ошибка наша, простите за самомнение, не столь уж груба, если принять во внимание то, сколько в писаниях, служивших иудеям духовной пищей, примеров, которые позволяют нам думать, что люди любой эпохи, когда бы они ни жили и сколько бы столетий их ни разделяло, — современники, в умозрительном, конечно, смысле. Единственное и безусловное исключение из этого правила — это история Адама и Евы, и вовсе не потому, что он был первым мужчиной, а она — первой женщиной на свете, а потому, что они лишены были детства и пришли на этот свет уже взрослыми. И пусть биологи с психологами не вылезают с опровержениями, заявляя, будто уже в невообразимой ментальности кроманьонца берет начало то, что постепенно привело к содержимому котелка у нас на плечах. Для нас это, видите ли, аргумент некорректный, поскольку никакие кроманьонцы ни единым словом не упомянуты в Книге Бытия, а Иисус узнавал о сотворении мира и человека именно и только из нее.

Но мы, отвлекшись на эти рассуждения, имеющие, впрочем, довольно непосредственное касательство к Евангелию, писанием коего мы заняты, позабыли о своей обязанности следовать за сыном плотника Иосифа в Иерусалим, а ведь он уже находится в виду города — без гроша в кармане, но целый и невредимый, со стертыми в кровь ногами, но с прежней, нимало не поколебавшейся за время долгого пути верой в сердце — точно такой же, как и три дня назад, когда он ступил за порог отчего дома. Он здесь не впервые и потому ликует умеренно — именно таких чувств должно ожидать от человека набожного, которому его Бог уже или вот-вот будет хорошо знаком. С этой горы, носящей название Гефсиманской, или — что то же — Масличной, разворачивается перед ним, подобно сложным периодам искусно выстроенной речи, чудесная картина, предстают во всей своей красе Храм, башни, дворцы и дома Иерусалима, и город кажется так близок, что можно дотронуться до него рукой, но с тем непременным условием, что мистический пламень достиг такого накала, что горящий в этом жару человек в конце концов теряет различие между собственными слабыми силами и неиссякаемой мощью мирового духа. Вечерело, солнце скатывалось в сторону дальнего моря. Иисус стал спускаться в долину, думая, где будет он ночевать сегодня — в самом городе или же вне его стен, как бывало раньше, когда отец с матерью приводили его сюда на праздник Пасхи и они жили в одном из тех шатров, которые благодетельным попечением городских властей разбиваемы были для приюта паломников, причем, само собой разумеется, так, чтобы мужчины находились отдельно от женщин, и правило это распространялось даже на малых детей. Когда же он в первых сумерках приблизился к городским стенам, ворота уже закрывались, но стража все же пропустила его, и лишь вошел он, за спиной у него грохнули в скобах тяжелые толстые брусья, и будь на месте Иисуса человек с нечистой совестью, из тех, кому повсюду мерещатся намеки на свершенные проступки и вины, он подумал бы, что это захлопнулся капкан, железными своими клыками впившись в намертво схваченную голень, или сам себе показался бы мухой, которую все туже обматывает липкий кокон паутины. Но тринадцатилетний отрок не слишком отягощен грехами, и грехи эти невольные, ибо не пришло еще время грабить или убивать, рано еще ему лжесвидетельствовать или желать жену ближнего своего, дом его, раба его, вола его, осла его, а потому был Иисус чист, без единого пятнышка на совести и в душе, хоть и утратившей уже первозданную младенческую невинность, ибо никому еще не удавалось увидеть смерть и остаться прежним. Наступал час, когда люди всей семьей сходятся к вечерней трапезе, на пустевших улицах оставались лишь бродяги да нищие, но и те спешили убраться в свои тайные норы и логова, ибо уже выходили в город римские дозоры, на страх смутьянам и злоумышленникам, которые даже в самой столице Ирода Антипы

[1] Георг Гроддек (1866—1934) — немецкий врач, писатель и ученый, создатель понятия «оно», использованного З. Фрейдом. Жак Лакан (1901—1981) — французский ученый, философ и создатель так называемого системного психоанализа.

творят свои черные дела, невзирая на то, что, если схватят, ждет их мучительная казнь, как было в Сепфорисе. В глубине улицы, озаренной пляшущим светом факелов, оглашаемой негромким звоном мечей и щитов, топотом тяжелых боевых сандалий, возник один из таких дозоров. Иисус, вжавшись в простенок, дождался, пока легионеры скроются из виду, а потом двинулся на поиски ночлега. Он нашел его там, где и рассчитывал найти, — на необозримом строительстве Храма, в подобии ниши, образованной двумя огромными, уже начерно обтесанными камнями, накрытыми сверху каменной же плитой. Забившись туда, Иисус доел остатки черствого и заплесневелого хлеба и закусил пригоршней сушеных фиг, которую отыскал на дне своей котомки. Хотелось пить, но воды взять было негде, и он решил перетерпеть. Раскатал циновку, укрылся маленьким одеяльцем — то и другое взято было им с собой в дорогу, — весь сжался в комочек, спасаясь от холода, проникавшего со всех сторон, и сумел уснуть. И здесь, в Иерусалиме, настиг его все тот же сон, но, должно быть, близкое присутствие Бога сделало его не таким тяжким — виделись ему картины, уже виденные раньше, только теперь принимали в них участие и римляне, встречи с которыми он так счастливо избежал. Он проснулся, когда только начинало светать. Выполз из своей норы, холодной как могила, завернулся в одеяло и взглянул на приземистые каменные домики, чуть тронутые розоватым светом. Потом произнес слова молитвы, прозвучавшие в его детских еще устах с особой торжественностью: Слава тебе, Господи, Боже мой, Царю Небесный, за то, что в милосердии своем вернул мне душу мою живой и неизменной. Есть в жизни такие мгновения, которые следует запомнить, сберечь и охранить от времени, а не только запечатлеть буквами на бумаге, как делаем мы с этим евангелием, или красками на холсте, или на фотографии, на кинопленке, на видеокассете, — важно, чтобы тот, кто прожил и пережил эти мгновения, смог бы навсегда передать их своим потомкам, а те увидели бы их своими глазами, подобно тому, как мы, в наши дни, пришли в Иерусалим, чтобы нашим, собственным нашим глазам предстал этот мальчик, Иисус, сын Иосифа, кутающийся в куцее одеяльце, глядящий на дома священного города и славословящий Господа Бога за то, что и еще раз вернул он ему его душу. Ему всего тринадцать лет, жизнь его только начинается, в грядущем уготованы ему часы и более счастливые, и более печальные, осиянные надеждой и покрытые мраком отчаяния, и забавные, и совсем трагические, но мы выбрали вот эту минуту, когда город еще спит, когда свет зари едва ощутим, а закутанный в одеяло мальчик с дорожной котомкой у ног глядит на домики перед собой, и весь мир замер в ожидании. Но ведь это невозможно, вот мальчик и сам шевельнулся, минута минула, и время несет нас туда, где нам останется только вспоминать, было это, не было, так было или не так. Было, скажем мы, все так и было. А сейчас Иисус шагает по узким улицам, постепенно заполняющимся народом, — в Храм еще рано, книжники, как и во все века и в любой стране, любят поспать подольше. Ему уже не холодно, но под ложечкой начинает посасывать: сын Иосифа хочет есть, а две фиги, которые у него остались, могут только раздразнить голод. Вот теперь пришла пора пожалеть о тех деньгах, что отняли у него грабители, ибо в городе — это совсем не то, что в поле, когда идешь себе, посвистываешь да поглядываешь, что оставили тебе земледельцы, исполняющие Божью заповедь: Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и вдове; когда будешь сбивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей; когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою; пусть остается пришельцу, сироте и вдове, и помни, что ты был рабом в земле Египетской. Но Иерусалим — большой город, и, хоть Господь именно в нем повелел воздвигнуть земное свое обиталище, подобные милосердные обычаи сюда не дошли или же не привились, а потому, если нет денег купить, остается только просить, рискуя нарваться на грубый отказ, или красть — но имей в виду: попадешься — ждет тебя бичевание и каталажка, а то и более суровая кара. Красть Иисус не может, просить не хочет и лишь смотрит жадными глазами на горы печеного хлеба, на пирамиды плодов, на кушанья и лакомства, выставленные на скамейках по всему протяжению улицы, и в голове у него мутится, и он едва не лишается чувств, ибо за эти трое суток не ел, если не считать того, что дали ему самаряне, почти ничего, и скопившийся голод делается нестерпим и несносен. Да, конечно, идет он в Храм, но ведь плоть наша, что бы

там ни толковали мистики-постники, лучше воспримет слово Божье, если подкрепить пищей способности внимать и разуметь. По счастью, проходивший мимо фарисей заметил отрока, теряющего от голода сознание, и пожалел его, и понапрасну в будущем потянется за ними дурная слава, и само слово «фарисей» станет чуть ли не бранным, ибо они в сущности были люди добрые, что и доказал тот, который обратил внимание на Иисуса и спросил его: Кто ты? Иисус из Назарета Галилейского, ответствовал мальчик, а когда прозвучал вопрос: Есть хочешь? — потупился, ибо слова были излишни: все ясно читалось у него на лице. Ты сирота, что ли? Нет, но здесь я один. Удрал из дома? Нет, — и ведь в самом деле не удрал, вспомним, как мать с братьями и сестрами, прощаясь, обнимала его на пороге, а то, что он ни разу не обернулся, уходя, вовсе не значит, что он сбежал, но таковы уж свойства слов, и кажется, будто произнести всего-навсего «да» или «нет» — это самое простое и самое, в сущности, убедительное, но истина потребует ответа не прямого, а уклончивого: Ну-у, что значит «удрал», ниоткуда я не удирал, — и вот тут-то вся история, уже поведанная нами, должна бы прозвучать вторично, но не тревожьтесь, этого не произойдет, во-первых, потому, что фарисею, который больше не появится в нашем повествовании, знать ее совершенно ни к чему, а во-вторых, потому, что нам-то с вами она известна много лучше, чем кому-либо другому: вдумайтесь, в самом деле, как мало знают друг о друге главные герои этого евангелия, Иисус — про отца с матерью, Мария — про мужа и про сына, а уж сваленному в братскую могилу Иосифу и вовсе ни про кого ничего не известно. Мы же, не в пример им, знаем все, что вплоть до сегодняшнего дня делалось, говорилось или думалось ими или всеми прочими, хоть и должны вести себя, будто нам это невдомек, и в определенном смысле ничем не отличаемся от этого фарисея, спросившего «Есть хочешь?», хотя бледное, изможденное лицо Иисуса лучше и красноречивей всяких слов говорило: Не спрашивай, а накорми. Именно так и поступил в конце концов жалостливый этот человек, купивший два хлеба, только из печи, чашку молока и молча протянувший все это Иисусу, причем когда чашка передавалась и принималась, немного молока пролилось на руки обоим, и оба движением одновременным и одинаковым поднесли влажные руки к губам, всосали эти капли на манер того, как целуют оброненный на пол хлеб, и, право, жаль, что этим двоим не доведется больше встретиться, — они ведь как бы заключили некий договор, символически скрепив его этим прекрасным действием. Фарисей, прежде чем зажить прежней своей жизнью, вынул из кармана две монеты и произнес: Иди-ка ты лучше домой, мир этот еще для тебя великоват. Сын плотника, держа в руках чашку и хлеб, вдруг перестал ощущать голод или перестал ощущать, что ощущает его, и смотрел вслед удалявшемуся фарисею, лишь в этот миг произнеся слова благодарности, правда так тихо, что тот их и не услышал бы, будь он из тех, кто ждет за доброе дело признательности и кто счел бы нашего героя мальчишкой неблагодарным и невоспитанным. И прямо тут, посреди улицы, Иисус, чей голод взыграл с новой силой, съел свой хлеб, выпил свое молоко, пустую чашку протянул продавцу, который ответил: Заплачено, возьми ее себе. Это что же, спросим мы, обычай такой в Иерусалиме — покупать не только молоко, но и сосуд, в который оно налито? Неведомо, но именно так поступил фарисей, и одному Богу известно, какие мысли при этом роились в фарисейской его голове. Значит, я могу ее забрать? Говорю ж тебе, она твоя, за нее заплачено. Иисус завернул чашку в одеяло, сунул в свою котомку, думая при этом, что теперь надо быть поосторожней, как бы не разбить, глина ведь штука такая хрупкая и ломкая, ведь это в конечном счете пригоршня праха, который, как, впрочем, и человека, лишь на известный срок более или менее прочно слепила судьба. Подкрепив плоть, воспрянув духом, Иисус направил свои стопы к Храму.

На площади, куда вели крутые ступени паперти, уже толпился народ. С обеих сторон вдоль стен тянулись лотки и палатки, где продавали всякую всячину и в том числе — жертвенных животных; там и сям сидели за своими столиками менялы; размахивая руками, нахваливали свой товар торговцы; проходили, следя за порядком, пешие дозоры и конные разъезды римлян; проплывали на плечах невольников крытые носилки, важно выступали верблюды, семенили навьюченные кладью ослы; повсюду слышался оживленный гул голосов, прорезаемый изредка блеяньем ягнят и козлят — одних несли на

руках или за спиной, точно усталых детей, других тащили на веревке, окрученной вокруг шеи, но ожидало их всех одно и то же — клинок мясничьего секача, пламя жертвенного костра. Иисус, миновав особую купель, называемую умывальницей, поднялся по ступеням, не задерживаясь прошел через Двор Язычников в Двор Женщин, откуда дверь вела в Двор Масел и Двор Израильтян, где и нашел то, что было ему нужно, — там сидели старейшие и мудрейшие и, согласно обычаю, толковали Закон, отвечали на вопросы и давали советы. Юноша приблизился к самой малочисленной кучке людей в тот самый миг, когда один из них поднял руку, прося разрешения задать вопрос, и, получив утвердительный кивок книжника, спросил: Объясни мне, прошу тебя, до́лжно ли буквально понимать написанное на скрижалях Завета, которые Господь дал Моисею на Горе Синайской, когда пообещал, что пошлет мир на землю нашу и никто нас не обеспокоит, когда предрек, что сгонит лютых зверей с земли нашей, что меч не пройдет по земле нашей, а мы будем прогонять врагов, и падут они пред нами от меча, и пятеро прогонят сто, и сто из нас прогонят тьму? Книжник поглядел на вопрошавшего с подозрением, опасаясь, что тот подослан сюда мятежным Иудой из Галилеи, чтобы смущать умы лукавыми речами о том, что-де смирился Храм пред властью Рима, — и потому отвечал резко: Слова сии Господь произнес, когда праотцы наши преследуемы были в пустыне египтянами. Спрашивавший снова поднял руку в знак того, что у него еще есть вопрос, и проговорил: Следует ли понимать тебя так, что слова Господа, сказанные на Горе Синайской, имеют значение лишь для тех времен, когда праотцы наши искали землю обетованную? Если ты понимаешь это так, то дурной ты израильтянин, ибо слова Господа имели, имеют и будут иметь значение во все времена, минувшие и грядущие, и слово Господне было в уме его еще до того, как он вымолвил его, и останется после того, как затворились уста его. Не запрещаешь ли ты мне думать? О чем же ты думаешь? Я думаю, что Господь соглашается с тем, что мы не поднимаем оружия против тех, кто нас угнетает, что сотня наших не решается выступить против пятерых и что сотня римлян приводит в трепет десять тысяч иудеев. Не забудь, что находишься во Храме, а не на поле брани. Но Господь наш — Господь брани. Вспомни, что Господь поставил Моисею условия. Какие еще условия? Господь сказал, что все это будет, если мы будем поступать по уставам его, если будем хранить и исполнять заповеди его, понял? В чем же мы его ослушались, чем нарушили Завет, какие заповеди не соблюли, что должны принять владычество Рима как справедливое за грехи наше во́здаяние? То ведомо одному Богу. Ага, Богу-то ведомо, как часто свершает человек грехи невольные, но не объяснишь ли ты мне, почему он вздумал покарать нас, отдав под римлян, а не сделал это прямо, став лицом к лицу с избранным своим народом? Господь знает свои цели, Господь избирает свои средства. Так, значит, ты хочешь сказать, что это по его воле распоряжаются римляне Израилем? Да. И стало быть, те, кто восстает против римлян, идут наперекор воле Господа? Вывод твой неверен. Ты сам себе противоречишь, мудрец. Желание Господа может проявляться в нежелании, именно так выразит он свою волю. Лишь человек испытывает желание чего-то, но оно не имеет силы в глазах Господа? Именно так. Стало быть, человек волен? Да, волен понести кару. Тут среди слушавших эту беседу поднялся негромкий ропот, а иные стали поглядывать на человека, задававшего вопросы, которые хоть и озарены были чистым светом Священного Писания, но звучали неудобно и даже крамольно, — стали, говорю, поглядывать на него так, словно это он должен был принять на себя грехи всего Израиля, принять и искупить их, и сомневающиеся окончательно уверились в правоте мудреца, со снисходительной улыбкой принимавшего поздравления и выслушивавшего похвалы. Он с видом знающего себе цену мастера, опытного бойца словесных ристалищ, самодовольно озирался по сторонам, как бы приглашая кого-нибудь еще помериться с ним силами, словно гладиатор, который, уложив слабого соперника, бросает вызов следующему, посильнее, ибо, чем труднее схватка, тем больше чести победившему в ней. И вот снова поднялась рука, и прозвучал вопрос: Господь говорил с Моисеем и сказал ему: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской», но не успел этот человек договорить, как разгоряченный предыдущим поединком книжник с насмешкой перебил его: Надеюсь, ты не вздумаешь спрашивать меня, отчего это, хоть римляне и пришельцы, мы не относимся

к ним как к своим соотечественникам? Нет, я собирался узнать, отчего римляне обращаются с нами как со своими соотечественниками, хотя мы молимся разным богам и разные у нас с ними законы. А-а, и ты тоже хочешь навлечь на себя гнев Господень дьявольским толкованием его слова, снова прервал его книжник. Нет, я хочу, чтобы ты сказал мне, вправду ли ты думаешь, будто мы исполняем Завет, когда становимся пришельцами если не в земле своей, то в вере, которую исповедуем? О чем ты ведешь речь, говори прямо! О чем я? Кое о ком из живущих сейчас, о многих, что жили прежде, и об очень многих, что будут жить после. Знаешь что, у меня нет времени слушать твои притчи и отгадывать загадки. Когда мы вышли из земли Египетской, то край, который назвали мы Израиль, населен был другими народами, и мы должны были сражаться с ними, и в ту пору пришельцами были мы, но Господь повелел нам убивать и истреблять всех, кто противится воле его. Да, это была обетованная земля, но надо было ее отвоевать и покорить, мы ведь ее не купили и не в подарок получили. А сейчас живем мы под властью чужеземцев, и земля, которую сделали мы своей, уже не наша. Всевышний ни на миг не забудет об избранном своем народе, будет ли он рассеян по миру или собран воедино, и где захочет Господь, там и будет на земле Израиль. Но из этого я заключаю, что, где бы мы ни оказались, остальные всегда будут для нас чужестранцами. В глазах Господа, несомненно. Но ведь пришельца, живущего среди нас, мы, по слову Завета, должны любить как своего, в память того, как сами были пришельцами в земле Египетской. Да. И я полагаю, что любить мы должны пришельцев не столь могущественных, чтобы покорить нас, как покорили римляне. Ты рассудил верно. Тогда пусть мудрость твоя и знания ответят мне: если наступит такой день, когда и мы обретем могущество, позволит ли Господь нам угнетать пришельцев, которых сам же повелел любить? Израиль никогда не пойдет против воли Господа, а Господь ничего не учинит во зло избранному своему народу. Даже если народ не будет любить тех, кого обязан? Да, если такова его воля. Чья, Господа или Израиля? Обоих, ибо они единое целое. Но ведь сказано в Завете, чтобы не попирались права пришельца. Лишь в том случае, если они у него есть, и мы их за ним признаем. Одобрительным ропотом встречены были и эти слова книжника, вновь одержавшего верх над глупцом, и глаза его заблистали, как у атлета, метнувшего диск дальше всех, как у ретиария, повергшего противника, как у колесничего, одержавшего победу в гонках. Тут поднял руку и Иисус, и никого не удивило, что отрок в столь нежном возрасте уже собирается что-то вызнать у мудрецов и книжников Храма, — юности свойствен пытливый ум, юношей, как повелось еще со времен Каина и Авеля, вечно одолевают сомнения, и взрослые со снисходительной улыбкой похлопывают их по плечу, приговаривая: «Вот подрастешь, сам увидишь, что все это не имеет ни малейшего значения», самые же понимающие добавляют при этом: «Меня в твои года тоже это весьма занимало». Между тем слушатели, которые начали было, к нескрываемой досаде книжника, привыкшего, как мы бы сейчас сказали, к вниманию аудитории, расходиться, вернулись на свои места, едва лишь раздался голос Иисуса: Я хочу спросить насчет вины. Ты о своей вине? Я вообще о вине, но и о своей тоже: я виноват, хоть прямо и не совершал греха. Говори ясней. Сказано Господом, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, и каждого карают за его собственное преступление. Так оно и есть, но только учти, что имелся в виду обычай тех давних времен, когда за вину одного члена семьи платила вся семья целиком, включая невинных младенцев. Но слово Господне вечно и относится ко всем временам, а ты ведь только что сам сказал, что человек волен понести кару, и потому я думаю, что преступление, совершенное отцом, даже если он и сам получил за него наказание, наказанием этим не исчерпывается и переходит по наследству к сыну, подобно тому как мы, ныне живущие, несем на себе бремя первородного греха, свершенного Адамом и Евой. Признаюсь, удивительно мне, что ты, человек столь юный и, по виду судя, простого звания, так хорошо знаешь Писание и так легко отыскиваешь в нем нужное тебе место. Я знаю лишь то, чему научили меня. Откуда ты родом? Из Назарета Галилейского. Я так и понял по выговору твоему. Пожалуйста, разреши мои сомнения. Что ж, допустим, что вина Адама и Евы, ослушавшихся Господа, не столько в том, что они отведали плод с древа познания добра и зла, сколько в проистекших от этого роковых последствиях, ибо они

поступком своим вмешались в замысел, который вынашивал Вседержитель, когда сотворил сперва мужчину, а потом женщину. То есть ты хочешь сказать, что всякое деяние человеческое, неповиновение ли воле Господа в раю или еще что-нибудь, всегда соотносится с Божьим промыслом, который я бы уподобил острову, окруженному бушующим морем человеческих желаний? Вопрос этот задал не Иисус — плотникову сыну на такую дерзость было не решиться, — а тот, кто спрашивал вторым, и книжник, тщательно и осмотрительно подбирая слова, отвечал ему: Видишь ли, дело обстоит не совсем так: воля Божья мало того что преобладает над всем и вся, она и есть источник всего сущего. Но не ты ли сам сказал недавно, что непослушание Адама привело к тому, что мы остались в неведении относительно замыслов Господа в отношении нашего праотца? Да, это так, но в воле Господа, Создателя и Вседержителя мира, содержатся все возможные воли: она принадлежит и Богу, но также и всем людям — и живущим ныне, и тем, кто будет жить после. Будь так, как ты говоришь, воскликнул вдруг Иисус словно под воздействием некоего озарения, каждый из нас был бы частицей Бога. Весьма возможно, но вся совокупность людей, сколько их ни есть в мире, соотносится с Богом, как песчинка — с необозримой пустыней. Книжник вдруг изменился неузнаваемо — высокомерие его исчезло без следа. Он по-прежнему сидит на полу, окруженный учениками и помощниками, и во взглядах их почтения столько же, сколько и ужаса — они взирают на него как на кудесника, неосторожным и невольным заклинанием вызвавшего из небытия могучие силы, во власти которых пребудет отныне сам. Сгорбив плечи, бессильно уронив руки на колени, он всем видом своим, каждой чертой вытянувшегося лица будто просит, чтобы его оставили наедине с его тоской. И люди начали подниматься — одни направились во Двор Израильтян, другие присоединились к тем кружкам, где еще продолжались споры и толкования. Иисус сказал: Ты не ответил на мой вопрос. Книжник медленно поднял голову, взглянул на него, как человек, только очнувшийся от глубокого сна, и после долгого, нестерпимо долгого молчания ответил: Вина — это волк, который, пожрав отца, терзает сына. И волк этот пожрал моего отца? Да, а теперь примется за тебя. А тебя-то терзали, пожирали? Не только терзали, не только пожирали, но и извергали, как блевотину.

Иисус поднялся и вышел. У дверей помедлил, задержался, поглядел назад. Дым от жертвенников отвесным столбом поднимался прямо к небесам и там, в вышине, истаивал и исчезал, словно его втягивали в себя исполинские легкие Бога. Утро близилось к полудню, толпа росла, а внутри, в одном из храмовых покоев, ощущая безмерную пустоту, человек с разодранной в клочья душой сидел и ждал, когда нарастет на прежние кости обычное мясо, когда вернется он в свою шкуру, чтобы суметь через час или сутки спокойно и достойно отвечать тем, кто пожелает узнать, например, из какой соли — каменной или морской — состоял столп, в который обратилась жена Лота, или каким вином, белым или красным, упился Ной. Уже выйдя из Храма, Иисус спросил дорогу на Вифлеем, вторую цель своего путешествия, дважды заплутал, свернув не туда, в невообразимой толчее, бурлившей в хитросплетении улочек и переулков, и наконец нашел тот путь, по которому тринадцать лет назад пронесла его, уже стучавшегося в этот мир, Мария во чреве своем. Не стоит предполагать, однако, что он думал именно так, тем более что очевидность и непреложность всегда подрезают крылья вдохновению, и в доказательство приведу один лишь пример: пусть читатель этого евангелия взглянет на портрет своей матери, сделанный в ту пору, когда она его носила под сердцем, и признается честно, способен ли он представить себя у нее в утробе. Иисус между тем шагает в Вифлеем, размышляя об ответах, даваемых книжником, на вопросы — и его, и те, что заданы были раньше, — и ему не дает покоя и смущает душу ощущение того, что все вопросы сводились в конечном счете к одному-единственному, а ответ на каждый годился для любого, особенно же — заключительные и все заключающие в себе слова книжника о том, что волк вины не насытится никогда и вечно будет грызть, пожирать и изблевывать. Зачастую по причине слабости нашей памяти мы сами не знаем — а если знаем, то словно бы стремимся забыть поскорее — причину, мотив, самый корень нашей вины или, выражаясь фигурально, в стиле храмового книжника, — то логово, откуда выходит волк, алчущий добычи. Но Иисус знает, где оно, это логово, он туда как раз и направляется. Он понятия не имеет, что будет там делать, но словно бы хочет объявить всем и каждому:

Вот он я, — и спросить вышедшему ему навстречу: Чего ты хочешь? Покарать? Простить? Забыть? Так же, как в свое время родители его, он остановился у гробницы Рахили, помолился и двинулся дальше, чувствуя, что сердце колотится все сильнее. Вот первые домики Вифлеема, куда в еженощных снах его врываются посланные Иродом воины и с ними — его отец, но, по правде говоря, даже не верится, что такие ужасы могли твориться под этим небом, по которому проплывают облачка столь тихие, столь белые, будто сам Господь выказывает ими свое благорасположение; на этой земле, нежащейся на солнце, так что невольно хочется сказать: «Ах, да забудем все это, не будем выкапывать кости прошлого», и прежде чем женщина с ребенком на руках появится у ворот одного из домов и спросит: «Кого ты ищешь?» — повернуть назад, сделать так, чтоб простыли следы, которые привели нас сюда, да уповать на то, что неостановимый ход времени скоро припорошит густой пылью и последнюю память о тех событиях. Поздно, слишком поздно. Еще мгновение назад мошка могла бы спастись, метнуться прочь, но если коснулась она хоть самым краешком клейкой нити, то, как ни бейся, как ни маши ставшими бесполезными крылышками, ничто уже не поможет, и чем яростней будешь метаться, стремясь высвободиться, тем больше будешь запутываться в паутине, пока наконец не выбьешься из сил и не поймешь в смертельном оцепенении, что спасения нет и пощады не будет, даже если паук побрезгует столь ничтожной добычей. И для Иисуса мгновение, когда он еще мог спастись, минуло. Посреди городской площади, под раскидистой смоковницей, стоит нечто невысокое, кубической формы, и не надо с особой пристальностью вглядываться в нее, чтобы понять: это гробница. Иисус приблизился, медленно обошел ее кругом, остановился, читая полустершиеся надписи на одной из граней, и, свершив все эти действия, понял, что нашел то, что искал. Пересекавшая площадь женщина, ведя за ручку ребенка лет пяти, замедлила шаги, с любопытством воззрилась на чужака и спросила: Ты откуда? — добавив, как бы в оправдание своего любопытства: Вижу, не местный. Я из Назарета Галилейского. У тебя здесь что, родня? Нет, я был в Иерусалиме и решил заодно взглянуть на Вифлеем. Так ты, значит, просто мимо шел? Да, к вечеру, когда зной спадет, вернусь в Иерусалим. Женщина подняла ребенка на руки и, произнеся: Господь да пребудет с тобою, — собиралась уж было идти своей дорогой, но Иисус удержал ее, спросив: А кто тут похоронен? Женщина взяла ребенка на руки, покрепче прижала к себе, словно защищая от опасности, и ответила: Двадцать пять маленьких мальчиков, убитых много лет назад. Сколько? Я ж говорю, двадцать пять. Лет сколько? А-а, уж четырнадцатый пошел. Действительно много. Столько же примерно, сколько тебе на вид. Я про тех, кого тут убили. Один из них был мой брат. Твой брат тоже лежит здесь? Да. А это на руках у тебя сын? Да, первенец. А за что же убили этих мальчиков? Не знаю, мне в ту пору было семь лет. Но ты наверняка слышала об этом от родителей или еще от кого-нибудь из взрослых. Да что там «слышала», я своими глазами видела, как убивали. И брата твоего тоже? И брата моего тоже. Кто же это сделал? Пришли воины царя Ирода, схватили и поубивали всех мальчиков до двух лет. И неизвестно за что? До сих пор неизвестно. А когда Ирод умер, отчего же вы не пошли в Храм, не попросили священников узнать? Не умею тебе сказать. Я бы еще понял, будь это римляне, но должна же быть какая-то причина, чтобы царь посылал войско убивать собственных своих подданных, да притом еще малолетних. Нам не дано постичь царской воли, спаси и сохрани тебя Господь. Мне-то ведь уж не два года. В смертный час каждому два года, промолвила женщина и двинулась своей дорогой. Иисус, оставшись один, опустился на колени у могильного камня, закрывавшего гробницу, достал из котомки остатки уже зачерствевшего хлеба, раскрошил его у входа, точно влагая в невидимые рты невинно убиенных младенцев. В этот миг из-за ближайшего угла вышла женщина, но другая — совсем уже старая, сгорбленная, опиравшаяся на клюку и полуслепая. Но все же слабыми своими глазами она заметила, что делает незнакомый отрок, остановилась, вглядываясь, а Иисус поднялся, склонил голову, словно моля даровать душам несчастных этих мальчиков покой, и, хоть привычно было бы употребить здесь слово «вечный», мы этого не сделаем, ибо, когда однажды попытались представить себе, что же это такое — покой, который будет длиться целую вечность, — воображение отказало нам. Иисус, окончив молитву, стал озираться по сторонам, увидел слепые стены, затворенные двери и — ос-

тановившуюся поодаль древнюю старуху в одежде невольницы, старуху, которая, опираясь на клюку, являла собой наглядный ответ на третью часть знаменитой загадки: «Какой зверь ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?», некогда загаданной сфинксом премудрому Эдипу, который ответил «Человек», не подумав или не вспомнив о том, что далеко не всякий человек доходит до полудня жизни и в одном лишь Вифлееме число таких людей составило двадцать пять. А старуха бредет, ковыляет, подходит все ближе, и вот уж оказалась вплотную к Иисусу, вытянула шею, чтобы получше разглядеть его, спрашивает: Ищешь кого? Тот ответил не сразу, ибо истина состояла в том, что искал он и нашел уже не «кого», а «что», лежащее в двух шагах, да и раньше-то с натяжкой подпадавшее под понятие «люди» — так, мелочь, сосунки да сопляки в перепачканных пеленках — а потом вдруг нагрянула смерть и превратила их в исполинов, которым ни один гроб не по росту, любой склеп тесен и которые, если есть на свете правда, каждую ночь возвращаются в мир, показывают свои смертельные раны — отворенные клинками мечей двери, через которые вышли они в небытие. Нет, ответил Иисус, никого я не ищу. Но старуха не ушла, а словно бы ждала, не скажет ли он еще что-нибудь, и от этого ожидания слова, о которых он и не думал, сами собой сорвались с его уст: Я родился здесь, за городом, в пещере, вот и пришел взглянуть. Старуха отступила на шаг, давшийся ей нелегко, вперила в него пристальный, насколько ей по силам это было, взгляд и дрогнувшим голосом сказала: Ты, как тебя зовут, откуда идешь, кто твои родители? На вопросы, заданные рабыней, отвечать необязательно, но уважение к преклонным летам женщины, пусть даже и столь низкого звания, видно, было у него в крови: старикам, кто бы они ни были, отвечать следует всегда, ибо, принимая в расчет то, как мало времени отпущено им на их вопросы, мы поступим крайне жестоко, оставив вопросы эти висеть в воздухе, тем более, что, может статься, мы одного из них только и ждали. Меня зовут Иисус, я из Назарета Галилейского, отвечал он, и ничего другого с тех пор, как ступил он за порог отчего дома, не произносил еще. Старуха шагнула вперед, вернувшись на прежнее место: Кто родители твои, как их зовут? Отца — Иосиф, мать — Мария. Который тебе год? Четырнадцатый. Старуха посмотрела по сторонам, словно ища, куда бы присесть, но площадь в Вифлееме Иудейском — это вам не парк Сан-Педро-де-Алкантара, где такие удобные скамейки и такой чудесный вид на замок, здесь садятся прямо на землю, в пыль, в лучшем случае — на приступочку у двери, или, если пришли на могилу, — на камень, специально положенный для того, чтобы могли отдохнуть и перевести дух живые, пришедшие поплакать над дорогими сердцу усопшими, или, как знать, для того, чтобы восставшие из могил тени могли пролить слезы, не выплаканные при жизни, как в случае с Рахилью, чья гробница совсем неподалеку, и истинно было сказано: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет», и не надо обладать мудростью Эдипа, чтобы увидеть — место соответствует обстоятельствам, а плач — причине, вызвавшей его. Старуха, кряхтя, стала усаживаться на камень, и Иисус даже сделал движение ей помочь, но не успел — все, что делаем мы не от чистого сердца, всегда запаздывает, — и, примостившись наконец, сказала: Я тебя знаю. Обозналась, отвечал Иисус, я здесь впервые, а в Назарете ни разу тебя не встречал. Первыми руками, прикоснувшимися к тебе, были руки не твоей матери, а мои. Как же это может быть? Меня зовут Саломея, я повитуха, и это я принимала тебя. В одно мгновение, доказывая правоту недавнего нашего утверждения о том, что движения, идущие не от сердца, всегда запаздывают и, стало быть, характерологической особенностью движений искренних является их своевременность, Иисус преклонил колени перед старой рабыней, нечувствительно побужденный к этому то ли любопытством, граничившим с радостным изумлением, то ли долгом обычной учтивости — и как же не выразить признательность той, кто, проявив наивысшую в тех обстоятельствах ответственность, извлекает нас оттуда, где мы ощущаем бытие, еще не отягченное сознанием и памятью, и выпускает в жизнь, без нее немыслимую. Но мать никогда не говорила мне про тебя, сказал Иисус. А что тут было говорить? Родители твои появились в доме моего хозяина, попросили помощи, он и послал меня, потому что у меня в таких делах есть опыт. И было это как раз во время избиения младенцев, тех, что покоятся в этой могиле? Именно так, и тебе повезло, тебя не нашли, иначе лежал бы рядом с ними. Потому что мы спрятались в пещере? Да, но также и по-

тому, может быть, что вы успели убежать: когда я пришла проведать родильницу и младенца, пещера уже была пуста. А отца моего ты помнишь? Еще бы не помнить: он был в ту пору молод, высокий, статный такой мужчина, и видно, что человек хороший. Он умер. Жалко, мало пожил, а ты-то, старший в семье, почему оставил мать, она ведь, надеюсь, жива? Я хотел увидеть места, где родился, и потом хотел узнать про этих убитых детей. Одному Богу известно, за что их поубивали всех, ангел смерти, приняв обличье Иродовых воинов, спустился к нам в Вифлеем и обрек их. Значит, была на то воля Божья. Я всего лишь старуха рабыня, но давно живу на свете и с самого рождения слышу: что бы ни творилось, какое бы мучительство ни учиняли люди друг над другом, происходит это лишь по Божьей воле. Так сказано в Завете. Я могу понять, что Господь не сегодня-завтра захочет моей смерти, но за что ж было убивать невинных младенцев? День твоей кончины определит Господь, а их этой смерти обрек человек. Видно, слабосильна десница Господа, раз не сумела отвести нож от обреченного на заклание. Не богохульствуй, женщина. Я ничего не знаю, а стало быть, и хулы ни на кого изречь не могу. Сегодня в Храме я слышал, что всякое, даже самое пустячное, деяние человеческое предопределено Божьим промыслом и волен человек лишь в одном — получать кару. Меня карают как раз не потому, что я вольна, а потому, что рабыня, сказала старуха. Иисус промолчал. Он едва ли слышал последние слова Саломеи — ослепительным лучом света, хлынувшего в темную комнату сквозь внезапно распахнувшиеся ставни, осенила его мысль: человек — это всего лишь игрушка в руках Бога, до скончания века обреченный делать лишь то, что угодно Богу, причем и когда думает, что всецело повинуется ему, и когда уверен, что противоречит.

Солнце клонилось к закату, тень от смоковницы зловеще придвинулась уже к самым его ногам. Иисус немного отступил, окликнул старуху, и та с трудом подняла голову. Чего тебе? Отведи меня в ту пещеру, где я родился, или, если не можешь, объясни, как найти ее. Мне и вправду трудно идти, сил нет, но без меня ты ее не сыщешь. Далеко она? Недалеко, да там много пещер, и все вроде одинаковые. Тогда пойдем. Ладно уж, пойдем. Люди, которые в тот день видели старую Саломею рядом с незнакомым юношей, спрашивали друг друга, что свело их вместе. Никто так этого и не узнал, потому что старуха хранила молчание в продолжение тех двух лет, что еще отмерены ей были судьбой, а Иисус никогда больше не бывал в краю, где родился. На следующий день после их встречи старуха отправилась в пещеру, где оставила Иисуса, — и никого там не нашла. В глубине души она была к этому готова. Найди она его там, говорить бы им друг с другом все равно было бы не о чем.

Немало уже было говорено о том, что жизнь наша сплетена и соткана из совпадений, но почти никогда не упоминается о тех встречах, что изо дня в день происходят в ней, и это странно, ибо именно встречи определяют и направляют ее, жизнь то есть, хотя в защиту такой, с позволения сказать, ущербной перцепции жизненных возможностей можно выдвинуть следующий аргумент: встреча, строго говоря, есть некое совпадение, из чего, разумеется, вовсе не следует, будто всякое совпадение есть встреча. В нашем евангелии преобладают совпадения, но в жизни самого Иисуса, которой уделяем мы — особенно с того ее часа, когда он ушел из родного дома, — внимание исключительное, не было недостатка и во встречах. Оставляя в стороне злосчастный эпизод с обобравшими его разбойниками, поскольку последствия, которые может иметь эта встреча, еще неразличимы в дымке ближайшего и отдаленного будущего, скажем, что в первом своем самостоятельном странствии Иисусу везло на встречи: были они и часты, и удачны — вспомнить хоть самой судьбой посланного ему милосердного фарисея, благодаря которому наш отрок не только сумел утолить снедавший его голод, но и провел за этим занятием ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы появиться во Храме не раньше и не позже, а как раз тогда, когда там звучали речи, подготовившие, так сказать, почву для вопроса, принесенного нашим героем из Назарета, вопроса, если помните, об ответственности и о вине. Ревнители и знатоки строгих правил, по коим должно строиться повествование, скажут нам, пожалуй, что следует чередовать — как это и происходит в жизни — встречи важные и судьбоносные с тысячей других, не имеющих почти или

вовсе никакого значения, дабы герой наш не превратился в глазах читателей, буде таковые найдутся, в существо исключительное, с которым ничего пошлого и обыденного случиться не может. Скажут еще, что только так достигнет повествование главной своей цели и столь желанного эффекта жизнеподобия, ибо, если выдуманного и описанного эпизода не было и не могло быть в реальной действительности, надо сделать так, чтобы эпизод этот хотя бы походил на истинное происшествие, хотя бы казался таковым, чего никак нельзя сказать о только что изложенной нами и самым вопиющим образом обманывающей доверие читателей истории о том, как Иисус, не успев появиться в Вифлееме — здрасте пожалуйста! — тут же нос к носу сталкивается со старой повитухой, своими руками принимавшей его, словно бы встреча и давший ему первоначальные сведения разговор с другой женщиной, намеренно подставленной ему автором — помните, та, с ребенком на руках? — и так уж не преступали все мыслимые границы достоверности. Но самое невероятное еще впереди: как, скажите, поверить в то, что старуха Саломея проводила Иисуса до пещеры и там оставила его по его просьбе: А теперь иди, я побуду один в этих темных стенах, я хочу услышать свой первый крик в безмолвии, поскольку давным-давно замерло эхо этого младенческого крика, — именно эти слова Иисуса, вроде бы услышанные старухой, здесь и приводятся, хотя они уж просто демонстративный вызов правдоподобию, и будь автор мало-мальски здравомыслящим человеком, не записывать он должен был бы их, а приписывать — приписывать несомненному старческому слабоумию Саломеи. Так или иначе, но она поплелась прочь, неуверенно передвигая дряхлые ноги, пошатываясь, ощупывая перед тем, как сделать шаг, землю своей клюкой, которую держала обеими руками, и, право слово, достойно поступил бы наш герой, если бы помог добраться до дому несчастной старухе, пошедшей ради него на такую жертву, но все мы в юности себялюбивы и высокомерны, и почему бы Иисусу надо отличаться от своих сверстников?

А он сидит на камне, и стоящая рядом коптилка слабо озаряет бугристые неровные стены, высвечивает более темное, выжженное пятно на месте очага. Он сидит, бессильно свесив тонкие руки; лицо его серьезно. Я родился здесь, думает он, я спал в этих яслях, родители мои сидели на том камне, где сижу сейчас я, здесь прятались мы, пока в Вифлееме воины Ирода избивали младенцев, и, как бы ни старался я, мне не услышать свой первый младенческий крик, не услышать и то, как кричали перед смертью дети, как стенали их родители, у которых на глазах свершалось это, — ничто не в силах нарушить тишину пещеры, где сошлись конец и начало, отцы платят за грехи прошлые, дети — за будущие, так объяснили мне в Храме, но если жизнь есть приговор, а смерть — правосудие, то, значит, никогда еще не бывало в мире никого невинней тех вифлеемских младенцев, что погибли ни за что, и никого не будет виноватей моего отца, промолчавшего, когда надо было говорить, и теперь, даже если в жизни своей не свершу я больше ни единого греха, вина эта доконает меня, человека, которому сохранили жизнь для того, чтобы знал он, ценой какого преступления куплена она. Он поднялся в полумраке пещеры, словно собираясь бежать, но сделал всего два неуверенных шага — и ноги его внезапно подкосились, руки взметнулись к глазам, чтобы успеть сдержать навернувшиеся на них слезы. Бедный мальчик: словно от нестерпимой боли, он извивается и корчится на земле, в пыли, он угрызается виной за деяние, которого не совершал, но главным виновником которого, пока жив, будет считать себя, и вина его неизбывна, неискупима. Забегая вперед, скажем, что поток этих мучительных и не принесших облегчения слез навсегда останется в глазах Иисуса влажным, скорбным отблеском, и будет постоянно казаться, что он только недавно и неутешно плакал. Время шло, и шло к западу солнце, удлинялись тени, возвещая пришествие иной, всеобъемлющей тени, которой окутает мир близкая уже ночь, и даже в самой пещере заметны стали эти перемены: сгущался мрак, сгрызая крохотную миндалину, трепетавшую на кончике фитиля — ясно, кончается масло, — точно так же будет, когда погаснет солнце и люди станут говорить друг другу: Что-то плохо видно, и невдомек им, что глаза-то им больше ни к чему. Иисус спит, сдавшись на милость скопившейся за последние дни усталости, ибо слишком много всякого случилось за это время — и мученическая смерть отца, и полученный от него в наследство кошмарный сон, и то, что мать смиренно подтвердила ужасную истину, и трудный путь в Иерусалим, и

наводящий страх Храм, и безжалостные слова книжника, и приход в Вифлеем, и посланная судьбой встреча с повитухой, явившейся из глуби времен, чтобы окончательно развеять последние сомнения, — и ничего удивительного, что измученное тело погрузилось в сон, взяв с собой и истомленный дух, но тот уже зашевелился и во сне ведет тело в Вифлеем, и там, посреди площади, звучит признание в ужасающей вине: Я, говорит дух устами тела, я тот, кто навлек смерть на сыновей ваших, судите меня, обреките тело мое — вот оно, перед вами, тело, которое я одухотворяю и одушевляю, — любым пыткам, самой лютой казни, ибо известно, что лишь через страдания, претерпеваемые плотью, обретет дух спасение и награду. Видит во сне Иисус матерей вифлеемских с убитыми сыновьями на руках, и лишь одна прижимает к груди живого младенца: это та, кого первой встретил он на площади, и это она отвечает ему: Раз ты не можешь вернуть им жизнь, лучше уж молчи, — пред лицом смерти не нужны слова. Как скомканная и смятая туника на дне дорожной сумы, скрывается в самом себе смятенный дух, предает покинутое им тело на суд матерей вифлеемских, но Иисус не узнает, что может нетронутой унести оттуда бренную свою оболочку, ибо женщина — та самая, с живым ребенком на руках — только приготовилась сказать ему: Ты невиновен, уходи, — как вдруг нечто, показавшееся ему ослепительной вспышкой, разорвало мрак пещеры и он проснулся. Где я? — было первой его мыслью, и, с трудом подняв взгляд с пыльной земли, он сквозь не просохшие еще слезы увидел перед собой человека исполинского роста, и сначала померещилось, будто голова того объята пламенем, однако он тут же понял, что в поднятой правой руке человек держал горящий факел, пламя которого достигало свода пещеры, голова же, хоть и была много ниже, все равно могла бы принадлежать самому Голиафу, однако в лице его не было ничего свирепого или воинственного, а напротив — играла на губах довольная улыбка: так улыбается тот, кто искал и нашел искомое. Иисус поднялся и отступил к стене и теперь мог получше разглядеть этого великана, который вовсе и не был такого уж неимоверного роста, а всего лишь на пядь был выше самого рослого назаретянина: это был оптический обман, а без него, как известно, невозможны были бы никакие чудеса и сверхъестественные явления, и вряд ли открытие это принадлежит лишь нашему времени, и, родись Голиаф чуть попозже, он просто-напросто играл бы в баскетбол, да и все. Ты кто? — спросил человек с факелом, но видно было, что он всего лишь хочет завести разговор. Потом воткнул факел в расщелину между камнями, прислонил к стене две принесенные с собой палки — одну узловатую, давно служившую ему и отполированную его ладонями, а другую, должно быть, только что срезанную и еще даже не очищенную от коры, — а сам уселся на самый большой камень, поплотней запахнув просторный плащ, что был у него на плечах. Иисус из Назарета, отвечал ему юноша. А тут чего сидишь, раз сам из Назарета? Я родился здесь, в этой пещере, и вернулся в то место, откуда появился на свет. На свет ты появился из такого места, куда вернуться уж при всем желании не сумеешь. Двусмысленные слова эти заставили Иисуса смутиться и покраснеть. Сбежал, что ли, из дома? — продолжал между тем незнакомец. Иисус, поколебавшись немного, словно решал сам для себя вопрос, можно ли было счесть его уход из дому бегством, ответил: Да. С отцом-матерью не поладил? Отца у меня нет. А-а, — протянул человек, но Иисуса вдруг охватило странное и смутное ощущение, что собеседнику его было известно и это, и не только это, а вообще все, что было им сказано, и даже то, о чем речь еще не шла. Что ж не отвечаешь на мой вопрос? На какой? Я спрашивал, были у тебя нелады с родителями? Не твое дело. Будешь дерзить — возьму тебя да высеку, тут тебя и сам Господь Бог не услышит. Господь есть око и ухо, все видит, все слышит, а не все говорит оттого лишь, что не хочет. Что ты, мальчуган, можешь знать об этом? Чему научили меня в синагоге, то и знаю. А отчего ты считаешь, что Господь есть око и ухо, а не два глаза, не два уха, как у нас с тобой? Оттого, что один глаз может обмануть другой, одно ухо — другое, язык же — один. Язык человеческий тоже может быть двуличен, может изрекать истину, а может — ложь. Но Богу воспрещено лгать. Кто ж это ему воспретил? Он сам себе, а иначе отрицал бы сам себя. А ты его видел? Кого? Бога. Я не видел, видели иные и оповестили всех. Человек в молчании некоторое время разглядывал Иисуса, словно отыскивая в нем черты сходства с кем-то, а потом сказал: Верно, есть такие, кто якобы видел Бога, еще помолчал и добавил с

лукавой улыбкой: Но ты мне так и не ответил. Насчет чего? Насчет того, как ладил ты с отцом и матерью. Я ушел из дому, чтобы увидеть мир. Уста твои обучены искусству лгать, но я-то отлично знаю, кто ты таков: ты сын плотника по имени Иосиф и пряхи по имени Мария. Откуда ты меня знаешь? Узнал в один прекрасный день и, как видишь, не забыл. Объясни толком. Я пастух и уже много лет хожу в здешних краях с овцами моими и козами, с баранами и козлами, покрывающими овец и коз, и случилось мне быть здесь в ту пору, когда ты родился, в ту пору, когда избивали младенцев в Вифлееме, так что знакомы мы с тобой давненько. Иисус, в ужасе воззрившись на него, спросил: Как зовут тебя? Моей пастве имя мое не нужно. Я же не агнец из твоего стада. Как знать. Назови мне свое имя. Если тебе это так уж важно, зови меня Пастырем, и этого довольно будет, чтобы я пришел на твой зов. Возьми меня к себе в помощники, в подпаски. Я ждал, что ты попросишь меня об этом. Ну так как? Что ж, беру тебя в паству свою. Человек поднялся, взял свой факел и вышел из пещеры. Иисус следовал за ним. Была темная ночь, луна еще не взошла. У входа в пещеру, еле слышно побрякивая колокольцами, совсем тихо стояли овцы и козы, будто ждали, когда Пастырь их договорит со своим новым помощником. Пастырь поднял факел, освещая черные головы, костистые хребты коз, белесые морды и кудлатые бока овец, и сказал: Вот стадо мое, паси его и следи, чтобы не пропал ни один из скотов этих. Присев у входа в пещеру, Иисус с Пастырем поели черствого хлеба с сыром, потом пастух вынес из пещеры новую палку, развел костерок и стал ловко вертеть ее над огнем, так что кора сама стала сходить с нее длинными лоскутьями, потом обстругал, дал остыть немного и снова сунул в огонь, сунул и тотчас вытащил — и так несколько раз, следя, чтобы пламя не сожгло ее, а лишь опалило, сделав молодую ветку твердой и темной, словно до времени состарившейся. Окончив работу, он протянул палку Иисусу с такими словами: Держи, теперь прям и крепок твой пастуший посох, это третья твоя рука. Хоть ладони у Иисуса были не такие уж нежные, удержать посох он не мог и выронил его — тот жег руки. Как же Пастырь-то его держал, подумал он, но ответа не нашел. Когда появилась наконец луна, они вошли в пещеру, стали устраиваться на ночлег. Несколько овец и коз вошли с ними вместе, улеглись подле них. Занималась первая заря, когда Пастырь растолкал Иисуса со словами: Хватит спать, паренек, поднимайся, скотина моя проголодалась, а отныне и впредь ты будешь водить ее на выпас, и в жизни еще не было у тебя дела важней. Медленно, приноравливая шаги к спотыкливому семенящему ходу стада, двинулись они — пастух впереди, подпасок позади — в прохладе ясной зари, не спешившей вызвать себе на смену жаркое солнце, словно ревнуя к его сиянию, в котором мир представал точно в первый день творения. Потом, уже много позже, из Вифлеема приковыляла на трех ногах, то есть опираясь на палку, некая старуха, вошла в пещеру. Она не слишком удивилась, не застав уже там Иисуса — им, скорей всего, не о чем было бы говорить друг с другом. В полумраке пещеры снова ярко горела плошка, потому что Пастырь заправил ее маслом.

Пройдет четыре года, и Иисус встретит Бога. Делая это неожиданное и — в свете вышеупомянутых правил повествования — преждевременное заявление, мы хотим всего-навсего расположить читателя этого евангелия к знакомству с несколькими обыденными эпизодами пастушеской жизни, хотя они — скажем сразу, забегая вперед, для сведения и оправдания тех, кто поддастся искушению пролистать их не читая, — не содержат в себе ничего существенного и относящегося к главному предмету нашей истории. Но все же, согласитесь, четыре года — срок изрядный, особенно в том возрасте, когда человек претерпевает такие разительные изменения, телесные и душевные, когда он вдруг резко прибавляет в росте и раздается в плечах, когда лицо его, от природы и так смуглое, темнеет еще больше от щетины на щеках и под носом, когда голос грубеет и начинает гулко громыхать, точно камень по склону горы, когда лезут в голову разные фантазии и видятся сны наяву — то и другое содержания предосудительного, особенно когда ночью спать нельзя, а надо стоять на часах, ходить в караул или в дозор или, как в случае с нашим героем, ставшим подпаском, стеречь овец и коз, которых, велев глаз с них не спускать, вверил его попечению хозяин. А кто он, кстати, такой, и не понять. В тех краях и в те времена стадо поручали рабу или же последнему наемнику, обязанному под страхом наказания давать постоянный и строгий отчет о надоях и настригах, не говоря уж о поголо-

вье, которое должно все время увеличиваться на зависть соседям — пусть видят, что Господь за благочестие воздает благоволением, а то приводит к благосостоянию набожного хозяина, который, если придерживаться бытующих в нашем мире обычаев, должен вроде бы больше тревожиться о том, как бы не иссякла эта самая небесная милость, а не сила и семя производителей, покрывающих его коз и овец. Странность же заключалась в том, что у Пастыря, как велел он Иисусу себя называть, хозяина как будто не было, поскольку за эти четыре года никто ни разу не приезжал забирать шерсть, молоко и сыр, да и сам он стадо не оставлял и отчета никому не давал. Все стало бы на свои места, будь он хозяином всех этих овец и коз в общепринятом и привычном смысле слова, но верилось в это с трудом, ибо какой хозяин даст пропасть такому неимоверному количеству шерсти, станет стричь овец для того лишь, чтобы они не страдали от жары, молока будет использовать, если можно вообще применить здесь такое понятие, ровно столько, сколько нужно, чтобы хватило сыру на каждый день, а излишки — менять на хлеб, финики, инжир? И наконец — загадка из загадок, — кто откажется продавать ягнят даже в канун Пасхи, когда они нарасхват и за них можно выручить очень недурные деньги? И потому неудивительно, что поголовье возрастало беспрерывно, словно бараны и козлы с упорством и воодушевлением, проистекавшими, должно быть, от уверенности в том, что проживут они на свете отмеренный им природой срок, исполняли славную заповедь Всевышнего, который, сочтя, надо полагать, сладостный природный инстинкт недостаточно эффективным, повелел: «Плодитесь и размножайтесь». Умирали в стаде только от старости, ну а тем из своей паствы, кто по болезни или дряхлости не мог ходить вместе со всеми, Пастырь своей рукой хладнокровно умереть помогал. Когда такое впервые произошло у Иисуса на глазах, он было возмутился подобной жестокостью, но Пастырь отвечал ему просто: Или я их зарежу, как всегда поступал в таких случаях, или брошу подыхать в одиночестве в этой глуши, или из-за них останусь со всем стадом дожидаться их смерти, а прийти она может не сразу, и тогда не хватит подножного корма живым и здоровым. Скажи, как бы ты поступил на моем месте, распоряжайся ты жизнью и смертью паствы моей? Иисус не знал, что сказать, и потому заговорил о другом: Если ты не продаешь шерсть, если молока и сыру у нас больше, чем мы вдвоем можем съесть и выпить, если ты не торгуешь агнцами и козлятами, зачем тебе стадо, которое все прибывает, так что в один прекрасный день заполонит собой всю землю? И Пастырь ответил: Раз стадо здесь, кто-то должен заботиться о нем, оберегать от алчных, вот я это и делаю. А где «здесь»? Здесь и там, повсюду и везде. Если я верно тебя понял, ты хочешь сказать, что стадо было всегда? Более или менее верно. А первую овцу, первую козу купил ты? Нет. А кто? Я их повстречал однажды и не знаю, были они куплены или нет, но они уже были стадом. Тебе их дали? Нет, никто мне их не давал, я их встретил, они — меня. Значит, ты их хозяин? Нет, не я, и ничего из существующего в мире мне не принадлежит. Ибо все принадлежит Господу. Вот ты сам и сказал. А давно ли ты в пастырях? Давно, еще до твоего рождения пас я стадо. Ну а все же, как давно? Да не знаю, раз в пятнадцать больше, чем ты живешь на свете. Только патриархи до потопа жили столько или еще дольше, а в наше время такого не бывает. Знаю. Но если знаешь, но настаиваешь, что прожил столько, ты, стало быть, допускаешь, что я могу подумать, будто ты не человек? Допускаю. Ах, если бы Иисус, так верно и в такой верной последовательности задававший вопросы, прошел бы хоть начальный курс майевтики[1], если бы он спросил: «Так кто же ты, если не человек?», то весьма вероятно, что Пастырь снизошел бы до того, чтобы небрежно, как бы не придавая этому особого значения, ответить: Я — ангел, только это между нами. Подобное случается довольно часто: мы не задаем вопрос, потому что еще не готовы выслушать ответ или потому что боимся его. Когда же мы наконец собираемся с духом и вопрос задаем, то нередко нам уже не отвечают, как ничего не ответит, промолчит Иисус, когда однажды его спросят: «Что есть истина?» Вплоть до наших дней длится это молчание.

Ну так вот, Иисус сам знает, не испытывая надобности спрашивать об этом загадочного своего спутника, что тот не ангел Господень, ибо ангелы Господни во всякую ми-

[1] Майевтика — метод Сократа извлекать скрытое в человеке с помощью искусных наводящих вопросов.

нуту дня и ночи славословят Господа, не в пример людям, которые делают это если не по принуждению, то по обязанности и лишь время от времени, в определенные и установленные, отведенные для молитвы часы, и это отчасти понятно, потому что у ангелов причин и оснований славословить Бога больше — они ведь вместе с ним обитают на небесах, у них с ним, так сказать, общий стол и кров. Но сильней всего удивился Иисус тому, что, выйдя на заре из пещеры, Пастырь в отличие от него и не подумал помолиться, вознести Господу хвалу за — мы-то с вами уже это знаем — то, что поутру воротил ему душу, что вразумил петуха, и — отойдя за камень, чтобы облегчиться, — за то, что в неизреченной мудрости своей снабдил тело человеческое нужнейшими в самом буквальном смысле слова емкостями, сосудами и отверстиями, без которых не справиться и нужду не справить. А Пастырь оглядел небо и землю, как, проснувшись, делает всякий, потом пробормотал что-то такое насчет того, что погода вроде нынче хороша, потом пронзительно свистнул в два пальца, и, повинуясь этому свисту, стадо дружно вскочило на ноги. И все. Иисус подумал сначала, что тот просто забыл помолиться — случается такое, когда ум человеческий занят какими-нибудь важными мыслями: может, Пастырь размышляет, как бы потолковее преподать суровую пастушью науку своему помощнику, доселе пребывавшему лишь в уюте плотницкого ремесла. Надо сказать, впрочем, что, живи Иисус в прежних условиях, его не слишком бы занимал вопрос о том, какой отклик получает набожность его хозяина, поскольку в те времена иудеи возносили хвалу Господу раз по тридцать на день, благодаря его за всякую безделицу и за каждый пустяк, о чем мы на протяжении нашего повествования уже сообщали, так что сейчас можно обойтись без новых примеров и доказательств. Но минул день, а славословия не послышалось, наступила ночь, которую пастухи провели на голой земле, под открытым небом, но даже величественность звездного купола над головой не породила в душе Пастыря благодарности, и ни единого словечка хвалы не сорвалось у него с языка, и даже когда небо нахмурилось, грозя дождем, но дождь так и не собрался, что, по всем приметам, свидетельствовало непреложно о том, что Господь заботится о чадах своих, Пастырь не вознес ему хвалы. И вот на следующее утро, когда пастухи закусили хлебом с сыром и Пастырь уже собирался на обход своего стада, чтобы убедиться, что никакая непоседливая козочка не рискнула порыскать в окрестностях в одиночку, Иисус твердо заявил: Я ухожу. Пастырь остановился, обернулся к нему, причем выражение его лица не изменилось нисколько, и ответил: В добрый час, ты ведь не раб мой и договора о найме мы с тобой не заключали, а потому волен уйти в любую минуту. И ты не спросишь даже, отчего я решил уйти? Я не столь любопытен. Так знай же: я ухожу, ибо не могу жить рядом с человеком, не исполняющим своих обязанностей перед Господом. Каких обязанностей? Да самых что ни на есть обыкновенных: ты не славословишь Господа, не молишься ему. Пастырь помолчал, улыбаясь одними глазами, а потом сказал: Я не иудей и потому не должен исполнять обрядов чужой веры. Пораженный Иисус даже попятился. Он знал, разумеется, что Израиль кишмя кишит чужеземцами, иноверцами, язычниками, идолопоклонниками, но ни разу еще не приходилось ему спать бок о бок с одним из таких, делить с ним ломоть хлеба и кружку молока. И потому, словно уставив перед собой копье и прикрывшись щитом, он воскликнул: Господь един есть! Улыбка Пастыря угасла, а губы дрогнули в горькой усмешке: Да, если он есть, то уж наверно един, хотя лучше было бы их два — для волка и для ягненка, для того, кто умирает, и для того, кто убивает, для приговоренного и для палача. Бог есть одно единое и неразделимое целое, вскричал, чуть не плача от возмущения таким богохульством, Иисус, а Пастырь ответил: Не знаю, как Бог живет, но договорить не успел, ибо Иисус тоном синагогального законоучителя прервал его: Бог не живет, а... Не знаю, я в таких тонкостях не разбираюсь, но тебе скажу честно, что не хотел бы оказаться в шкуре того, кто одной рукой направляет руку убийцы с ножом, а другой — подставляет ему глотку жертвы. Такими словами ты оскорбляешь Бога. Куда уж мне. Бог не спит, и когда-нибудь он тебя накажет. Это хорошо, что не спит, значит, угрызения совести не терзают его страшными снами. Почему ты заговорил со мной об угрызениях и страшных снах? Потому что это твой бог. А твой кто? А у меня, как и у овец моих, бога нет. Овцы твои, по крайней мере, отдают своих ягнят на заклание в жертву Всевышнему. Поверь, если бы они узнали об этом, взвыли бы волками. Иисус

побледнел и не нашелся что ответить. А стадо между тем окружило их и стояло тихо, будто прислушивалось к разговору людей. Восходящее солнце тронуло красно-рубиновым завитки овечьего руна и кончики козьих рогов. Уйду я, сказал Иисус, однако не двинулся с места. Пастырь, опершись на свой посох, ждал так безмятежно и спокойно, словно в запасе у него была вечность. Иисус сделал несколько шагов, пробираясь между сгрудившимися овцами, а потом вдруг остановился и спросил: Что знаешь ты об угрызениях совести и о кошмарных снах? Я знаю, что отец передал тебе их по наследству. Этих слов Иисус вынести уже не смог: колени его подогнулись, котомка соскользнула с плеча, и оттуда случайно или по чьему-то умыслу выпали отцовы сандалии, и в тот же миг раздался глухой стук — разбилась подаренная фарисеем чашка. Иисус расплакался как малое дитя, а Пастырь, не приближаясь, шагу не ступив с того места, где стоял, молвил: Не забудь, что мне известно про тебя все с того мига, как был ты зачат, а потому сейчас реши раз и навсегда, остаешься ты или уходишь. Скажи сначала, кто ты. Еще не приспело время тебе знать это. А когда же приспеет? Если ты уйдешь, то раскаешься, что не остался, а останешься — пожалеешь, что не ушел. Но если я уйду, то никогда не узнаю, кто ты. Нет, тут ты ошибаешься: настанет пора, и я, представ тебе, скажу, кто я, а теперь довольно болтать: стадо не может целый день ждать, пока ты примешь решение. Иисус подобрал с земли черепки, повертел их в руках, словно ему было жаль с ними расставаться, хотя чего там было жалеть — позавчера в этот час он еще не повстречался с фарисеем, а кроме того, глиняная чашка — штука недолговечная. В конце концов он разбросал их по земле, точно семена в борозду, и тут Пастырь вдруг добавил: Будет у тебя другая чаша, и она не разобьется, пока ты жив. Иисус не слышал его — в руке он держал отцовы сандалии и думал, что, пожалуй, они ему еще впору не будут, нога вырасти не могла, слишком мало времени прошло, но время, как мы с вами знаем, относительно, и чудилось, будто уже целую вечность таскает их в котомке, и он сильно удивился бы, окажись сандалии по-прежнему велики. Он надел их, а свои, сам не зная зачем, спрятал на дно сумы. Пастырь сказал: Ноги твои, раз выросши, меньше не станут, а детей, которым после тебя достанутся хитон, плащ и сандалии, у тебя не будет, — но Иисус все же не выбросил их, потому что иначе почти совсем пустая дорожная сума то и дело соскальзывала бы с плеча. Отвечать Пастырю нужды не было, и он занял свое место в хвосте стада, меж тем как душа его раздиралась и каким-то смутным ощущением ужаса, неведомо откуда грозящей опасности, и еще менее определенным мрачным восторгом. Я все равно узнаю, кто ты, бормотал Иисус, шагая в облаке пыли вослед отаре и подгоняя отставшую овцу: этим намерением доискаться истины он сам себе объяснил свое решение все же остаться с таинственным пастухом.

Так прошел первый день. О святости и святотатстве, о жизни, смерти, о собственности разговоров больше не велось, но Иисус, пристально следивший за всем, что бы ни делал Пастырь, замечал, что всякий раз, когда он возносил хвалу Господу, спутник его нагибался, прикладывал обе ладони к земле, склонял голову — и все это молча. Однажды, еще в раннем детстве, слышал он рассказы стариков странников, проходивших через Назарет, о том, что под землей находятся огромнейшие пещеры, а там, как и на земле, есть города, поля, леса, пустыни и реки, и что этот внутренний, потаенный мир в точности отражает тот, в котором мы живем, а сотворил его Дьявол после того, как восстал против Бога и был низвергнут с небес. И поскольку Дьявол, бывший некогда и другом, и любимцем Бога — говорят, что подобной дружбы не было от начала времен и никогда уже не будет, — так вот, поскольку Дьявол, по словам этих стариков, присутствовал при сотворении Адама и Евы и постиг способ, каким они были сотворены, то и в своем подземном мире создал мужчину и женщину, только не в пример Богу ничего не стал им запрещать, отчего там и не было грехопадения. Один из стариков осмелился даже добавить: А раз не было первородного греха, то не было и никаких других. После того как странников этих выставили из Назарета, для вящей и пущей убедительности подкрепив требование убраться восвояси градом каменьев, пущенных разъяренными жителями, смекнувшими наконец, куда клонят нечестивцы свои коварные речи, произошло небольшое землетрясение — всего один легчайший толчок, некое подтверждение, исходящее из глубинных недр, и оно-то уже тогда заставило малолетнего, но смышленого Иисуса

связать следствие с причиной. А теперь, поглядывая на Пастыря, коленопреклоненного, припавшего к земле, возложившего на нее ладони, слегка ощупывавшего ее как бы для того, чтобы лучше почувствовать каждую песчинку, каждый камешек, каждый вылезший на поверхность корешок, он вспомнил ту давнюю историю и поверил, что человек этот — обитатель сокрытого мира, который сотворил Дьявол по образу мира нашего. Зачем же он к нам пожаловал, раздумывал он, но воображение ему отказывало, и потому, когда Пастырь поднялся на ноги, он спросил его: Зачем ты это делаешь? Хочу убедиться, что земля по-прежнему подо мной. Что ж, тебе мало ступать по ней ногами? Ногами ничего ощутить нельзя, постижение даровано рукам: ведь когда ты славишь своего Бога, ты же не ноги задираешь к небу, а руки воздеваешь, хотя мог бы поднять любую часть тела, не исключая и той, что у тебя между ног, если ты не скопец, разумеется. Иисус густо покраснел, чуть не задохнувшись от жгучего стыда и чего-то похожего на страх. Не смеешь ты оскорблять Бога, который тебе неведом! — воскликнул он наконец, но Пастыря мудрено было сбить с толку. Кто сотворил твое тело? — осведомился он. Господь. Сотворил таким, каково оно есть, и со всем, что ему присуще? Да. А есть в нем хоть что-нибудь, созданное Дьяволом? Нет, нет, плоть моя — творение Божье. Стало быть, все части тела равны перед Богом? Да. Так может ли Бог отвергнуть, как не им сотворенное, ну хотя бы то, что у тебя меж ног? Наверно, нет, но ведь изгнал же он из рая Адама, сотворенного по его образу и подобию. Ты уж, будь добр, отвечай мне прямо, а не разглагольствуй вроде книжника из синагоги. Ты вынуждаешь меня отвечать так, как нужно тебе, но я перечислю тебе, если хочешь, все случаи, когда Бог под страхом осквернения и смерти запрещает человеку открывать наготу свою или чужую, и это ли не доказательство, что часть тела, о которой ты толкуешь, проклята? Не больше, чем уста, которые лгут и клевещут, однако ты ими же возносишь хвалу своему Богу, причем сначала соврешь, потом помолишься, а потом поклевещешь. Не желаю тебя слушать. Не желаешь, а придется, ибо иначе не ответишь на мой вопрос. На какой вопрос? Отвечай, способен ли Бог отвергнуть как не свое творение то, что у тебя меж ног, отвечай «да» или «нет». Нет, не может. Почему? Потому что Господь не может разлюбить то, что раньше любил. Пастырь медленно покивал головою и сказал так: Иными словами, твой Бог — единственный тюремщик в той тюрьме, где сам он — единственный заключенный. Слова этого чудовищного утверждения еще звучали в ушах Иисуса, а Пастырь с притворной естественностью предложил: Выбери себе овечку по вкусу. Что? — переспросил растерянно Иисус. Я говорю: выбери себе овечку, если, конечно, не предпочитаешь козочек. Зачем? Понадобится, если ты и впрямь не скопец. Смысл сказанного обрушился на юношу тяжким кулачным ударом, но хуже стыда и отвращения было мгновенно вытеснившее их, возобладавшее над ними плотское желание, неистовое до головокружения. Он закрыл лицо руками и хрипло произнес: Заповедано Богом: «Всякий скотоложник да будет предан смерти», и еще сказано: «Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте». Да? Это все сказал твой Бог? Да! А я тебе говорю: отойди от меня, гнусная тварь, сатанинское отродье. Пастырь выслушал молча, не шевелясь, словно выжидая, не произведут ли гневные слова Иисуса желаемое им действие, каково бы ни было оно, не поразит ли его гром, язва проказы, не расстанется ли в одно мгновенье душа с телом. Но ничего не произошло. Лишь между камнями прошумел ветер, взметнул и погнал в пустыню тучу пыли — и вслед за этим наступила тишина, и Вселенная молча смотрела на людей и животных, будто надеялась, что ей самой откроется, какой смысл те и другие вкладывают в нее, придают ей, находят в ней, и в ожидании запоздавшего ответа первоначальный огонь, не находя себе новой пищи, стал слабеть, подергиваться слоем пепла и наконец угас. Пастырь вдруг воздел руки к небу и громовым голосом воззвал к своей пастве: Слушайте, слушайте, овцы стада моего, слушайте и внемлите словам этого не по годам разумного мальчугана: оказывается, блудить с вами — нехорошо, Господь не позволяет, так что живите себе спокойно: стричь вас — ничего, это можно, резать — сколько угодно, шкуру с вас драть — пожалуйста, есть ваше мясо — на здоровье, ибо на этот случай вы и были созданы, для того только по воле его и топчете вы эту землю. Потом он трижды протяжно свистнул, взмахнул над головой своим посохом, крикнув: А ну шевелись! — и стадо двинулось в ту сторону, куда улетело уже скрывшееся из виду обла-

ко пыли. Иисус же остался стоять, глядя им вслед, покуда не исчезла вдали высокая фигура Пастыря, покуда не слились с землей покорные спины овец. Не пойду с ним, сказал он, но все же пошел. Поудобней приладил на плече котомку, туже стянул ремешки отцовских сандалий и зашагал следом, держась в отдалении. Когда пала на землю ночь, он вышел из тьмы к свету костра и сказал: Это я.

Несется время времени вослед. Подобные истины всем известны и в большом ходу у нас, однако они не столь очевидны и бесспорны, как кажется тому, кто довольствуется самым первым значением слов, выпаливаются ли они поодиночке или составляют искусно выстроенную фразу, — ибо все зависит от интонации, а та — от чувства, с которым слова эти произносятся, и, согласитесь, по-разному выскажется об изменчивости времен тот, чья жизнь сложилась неудачно и кто ждет перемен к лучшему, и тот, кто бросит слова эти как угрозу грядущего воздаяния. Самый же крайний случай — это когда с меланхолическим вздохом произнесет их тот, у кого нет веских и основательных причин жаловаться ни на здоровье свое, ни на благосостояние. Таким уж пессимистом он уродился, что постоянно ждет худшего. Не очень верится, что с юных уст Иисуса вообще слетали они с каким бы то ни было из вышеперечисленных значений, но мы-то с вами, мы, которые, уподобившись Богу, знаем о том, что было в то время и что будет в дальнейшем, имеем право выкрикнуть, пробормотать, выдохнуть их, наблюдая, как исправляет он свое пастушье ремесло в горах Иудеи или спускаясь — опять же в должное время — в долину Иорданскую. И дело тут даже не в самом Иисусе, как таковом, — у всякого представителя рода человеческого в любую минуту его жизни есть и будет что-то хорошее и что-то дурное, и одно чередуется с другим подобно тому, как сменяют друг друга времена. А поскольку Иисус — очевидный протагонист нашего евангелия, никогда не ставившего себе недостойную цель опровергнуть уже написанное ранее и другими, заявить, будто не было того, что было, и наоборот, — то нам нетрудно приблизиться к нашему герою, благо известно, где обретается он, и предсказать ему будущее: сообщить, как дивно хороша будет его жизнь, какие чудеса будет он творить, насыщая голодных, исцеляя больных и даже оживив одного покойника, однако делать это не станем, ибо этот юноша, хоть и верует истинно, хоть и разбирается в писаниях древних патриархов и пророков, все же исполнен столь свойственного его возрасту здорового скептицизма, а потому может послать нас подальше. Разумеется, он переменит свои воззрения, когда встретится с Богом, но судьбоносная встреча эта произойдет еще не завтра, и до тех пор Иисусу еще предстоит много полазить по горам, много выдоить овец и коз, много из полученного от них молока наварить сыру, много чего получить в обмен на него в окрестных селениях. Придется ему и забивать заболевшую или покалечившуюся скотину, и плакать над нею. И только одного не будет, не произойдет, будьте покойны, никогда: он не поддастся ужасающему соблазну, которым искушал его коварный и глубоко растленный Пастырь, предлагавший использовать овечку или козочку или обеих поочередно для утоления плотского голода, для удовлетворения потребностей низменного тела, с которым приходится уживаться возвышенной душе. Вдаваться в психоаналитические тонкости здесь не место, а главное — не время, и наступит оно спустя много веков, а потому не станем и упоминать о том, как часто во имя того, чтобы плоть могла пребывать в тщеславной чистоте, тяжкое бремя печали, зависти и той самой грязи, от которой вроде бы избавлено тело, влачит на себе душа.

Пастырь и Иисус, хоть и не сразу прекратили свои богословские и этические споры, время от времени вспыхивавшие вновь, жили дружно, и старший с редкостным терпением приобщал младшего к тайнам пастушьего дела, а младший усваивал их столь рьяно и прилежно, словно вся его жизнь зависела от этого. Он овладел искусством, раскрутив, так что воздух наполнялся басовитым жужжанием, посох над головой, швырять его столь метко, что он падал прямо на спину той овце, которая по самонадеянности или беспечности отбивалась от стада, и это искусство, как и всякое иное, требовало жертв: однажды, еще не вполне достигнув в нем должного совершенства, он взял слишком низко, и посох, взлетев, опустился прямо на тонкую шейку козленка нескольких дней от роду, отчего тот и погиб на месте. От подобных неудач никто не застрахован: они, как и всякая

случайность, могут подстерегать даже самого опытного, все премудрости превзошедшего пастуха, но бедный Иисус, которому на долю выпало и так слишком много испытаний, подняв с земли еще теплое тело козленка, окаменел от горя. Делать было нечего, и даже коза, обнюхав своего бездыханного сыночка, отошла в сторонку и принялась глодать редкую и жесткую траву, коротко и резко дергая головой всякий раз, как отщипывала стебелек, и сосредоточенной деловитостью своей наглядно доказывая правоту пословицы «Кто рогами трясет, мимо рта пронесет» или, иными словами, «Слезами горю не поможешь». Подошел Пастырь, узнал, что случилось, и сказал: Бедолага, и пожить-то не успел, но ты не горюй. Я его убил, в отчаянии вскричал Иисус, убил такого маленького. Ну да, а пришибить старого вонючего козла — это ничего, да? Брось его, я им займусь, а ты лучше пригляди вон за той овцой — она собралась окотиться. Что ты будешь с ним делать? Шкуру сниму да освежую, что ж еще: воскресить не могу, чудеса творить не обучен. Клянусь, что не буду есть его мясо. Съесть скотину, которую сами же убили, — это единственный случай почтить ее, куда хуже есть тех, кого заставили убить другие. Я не буду его есть. Ну и не ешь, мне больше достанется. Пастырь достал из-за пояса нож, взглянул на Иисуса и сказал: Рано или поздно, но придется тебе и этому научиться — увидеть, как внутри устроены те, кто был создан, чтобы служить нам — в том числе и пищей. Иисус отвернулся, сделал шаг в сторону, но Пастырь, не опуская занесенный нож, проговорил еще: Раб живет, чтобы служить нам, и, быть может, нужно вскрыть его, чтобы удостовериться, не носит ли он во чреве новых рабов, а потом вспороть брюхо царю и убедиться, что он не вынашивает нового царя, но, если повстречается нам Сатана и позволит проделать такое и с собой, не исключено, что, к нашему с тобой удивлению, выскочит из его утробы Бог. Раньше мы уже говорили, что порой еще случались между пастухом и подпаском такие идейные сшибки — вот вам и пример. С течением времени, впрочем, Иисус понял, что лучше всего — промолчать и в спор не ввязываться, не поддаваться, как мы бы теперь сказали, на провокацию, да еще такую грубую, как вышеприведенная, а то и похуже: вообразите, что было бы, вздумай Пастырь — а с него бы сталось — сказать, что Бог носит в себе Сатану. Но в тот раз Иисус отправился искать овцу, отбившуюся от стада, чтобы окотиться, и надеялся, что хоть тут обойдется без неожиданностей и ягненок выйдет на белый свет таким же, как все ягнята, сотворенным по образу и подобию своей мамаши, в свою очередь неотличимой от своих сестер: и слава Богу, есть существа, производящие лишь себе подобных, и эта безмятежная преемственность вносит мир в мятущуюся душу. Когда он нашел овцу, та уже разрешилась от бремени, и новорожденный, весь, казалось, состоящий из растопыренных ножек, лежал на земле, а мать, слегка подталкивая его мордой, помогала ему встать, но бедняжка только одурело мотал головой, словно пытаясь под таким углом взглянуть на мир, куда явился, чтобы тот предстал хоть чуточку более понятным. Иисус помог ягненку утвердиться на ногах, не брезгуя вымочить пальцы и ладони в нутряных жизненных соках: вот что значит сельская жизнь, бок о бок со скотиной — для кого дерьмо, для кого навоз, — а ягненок был такой хорошенький, с кудрявой шерсткой, и в поисках молока розовая его мордочка уже нетерпеливо тыкалась в материнские сосцы, которых он сроду не видывал и даже представить себе не мог, сидя у нее в утробе. Истинно, никакая тварь не вправе сетовать на Господа, раз уж при рождении он наделяет ее столькими полезными сведениями. Чуть поодаль Пастырь распяливал шкуру козленка на сушилке из жердей, сколоченных в форме звезды, а в котомке, завернутая в чистую тряпку, лежала освежеванная тушка: когда стадо остановится на ночлег, Пастырь ее засолит целиком, не считая, понятно, той части, которую предназначил себе на ужин, благо Иисус уже заявил, что не станет есть мясо того, кто по его невольной вине лишился жизни. Для веры, которую он исповедует, для обычаев, которым следует, подобная щепетильность — сущая крамола, ибо у Господних алтарей что ни праздник гибнет множество таких ни в чем не повинных существ, особенно же в Иерусалиме, где наваливают гекатомбы таких жертв. Но его поступок, необъяснимый на первый взгляд по меркам времени и места, проистекает, скорей всего, оттого, что совсем недавно был он не то что задет за живое, а глубоко в это живое ранен, — не забудем, как мало времени минуло со дня мученической казни Иосифа, как свежи еще в памяти невыносимые подробности того, что пятнадцать лет назад произошло в

Вифлееме, и скорее следует удивляться, что юноша после всего этого не повредился в рассудке, что шестеренки, блоки и шкивы хитрого механизма, запрятанного в его черепную коробку, уцелели, хотя тяжкие сны продолжают мучить его, а если мы перестали упоминать о них, это не значит, что их нет. Есть они, есть, и когда страдания его переходят некий предел и достигают такой степени, что передаются всему стаду, просыпающемуся посреди ночи в ожидании близкой смерти под ножом, Пастырь осторожно будит его со словами: Что ты? Что с тобой? — и Иисус прямо из цепких лап кошмара попадает в его руки, приникает к нему, как приник бы к своему несчастному отцу. Однажды, еще в самом начале, он рассказал Пастырю о том, что ему снится, попытавшись, правда, умолчать о корнях и причинах своих еженощных и каждодневных мук, но тот ответил: Да брось, не старайся, я все знаю, даже то, что стараешься скрыть. Как раз после этого Иисус напустился на Пастыря, обвиняя того в неверии и в разнообразных пороках и грехах, явных и тайных, очевидных и подразумеваемых, включающих в себя — уж извините, что вновь затрагиваем эту тему, — и сексуальную сферу. Но у Иисуса, видите ли, не было на свете никого, кроме семьи, от которой он отдалился и которую почти забыл, — речь, разумеется, не идет о матери: она-то, подарившая нам жизнь, всегда матерью останется, хотя бывают в жизни минуты, когда так и тянет спросить: «Зачем ты меня на свет родила?», ну а помимо матери помнил он и вспоминал непонятно почему только сестру Лизию, но ведь у каждого из нас свои причины помнить и забывать. Так вот, по всему по этому Иисус в конце концов привязался к Пастырю, и понять это не столь уж трудно: сами понимаете, как много значит, когда перестаешь чувствовать, будто в целом мире есть лишь ты да твоя вина, когда рядом оказывается человек, знающий о ней, но не притворяющийся, будто прощает то, чего простить невозможно, даже если бы это было в его власти, когда он с тобой не лукавит, когда он за дело бранит, за дело хвалит, то есть проявляет справедливость, которую заслуживает тот окруженный морем вины островок, где сохраняется еще наша невинность. Воспользовавшись поводом, мы намеренно пустились в столь пространные объяснения именно сейчас, чтобы легче было постичь, не толкуя их превратно, причины того, почему Иисус, решительно во всем отличный от своего грубого хозяина и наставника и даже являющий собой полную ему противоположность, все-таки оставался с ним до самой своей встречи с Богом, встречи обещанной, возвещенной, но случившейся еще нескоро, ибо веские основания должны появиться у Бога, чтобы явился он простому смертному.

Но до этого так должны совпасть случайные обстоятельства и непредвиденные события, о которых столько уже говорено здесь, чтобы Иисус повстречал мать и кое-кого из братьев и сестер в Иерусалиме, на празднике Пасхи, который он впервые будет праздновать в одиночку, в разлуке с родными. А намерение его отправиться в Иерусалим вполне могло бы удивить Пастыря и повлечь за собой запрет и отказ, ибо стадо находилось в пустыне и требовало особенно тщательного догляда, присмотра и обережения, не говоря уж про обычные и бессчетные пастушьи заботы, так что Пастырь, который иудеем не был да и вообще никакому богу не молился, имел все основания по зловредной натуре своей сказать: Еще чего! Никуда ты не пойдешь, место твое здесь, хозяин твой — я, и нечего дурака валять вместо работы. Однако поспешим сообщить, что ничего подобного не произошло, и Пастырь спросил лишь: Вернешься? — причем спросил так, будто не сомневался в утвердительном ответе, тотчас и последовавшем от Иисуса, который не заколебался ни на миг, но сам был удивлен тем, с какой готовностью произнес он: Вернусь. Тогда выбери себе в стаде ягненочка, как у вас говорят, без порока, почище и поупитанней, принесешь его в жертву по вашему обычаю, но сказал это Пастырь для пробы, чтобы убедиться, способен ли Иисус обречь на заклание ягненка из того стада, которое таких трудов стоило оберечь и сохранить. Никто не подсказал Иисусу, что его испытывают, никакой ангелочек — ну, знаете, такие маленькие, почти невидимые — не возник неслышно у него за плечом, не прошептал почти беззвучно на ухо: Будь осторожен, тебе расставляют ловушку, не попадись смотри, этот человек на все способен. Нет, правильный ответ нашелся сам собой, хотя, быть может, навело на него воспоминание о козленке убитом и ягненке новорожденном. Нет, из этого стада ягненка не возьму я. Почему? Не поведу на смерть того, кого растил. Что же, я-то считаю это верным, но ведь

придется брать ягненка из другого стада. Придется, ягнята с неба не падают. Когда хочешь идти? Завтра поутру. И вернешься? Вернусь. На том разговор и кончился, хотя мы решительно не представляем, каким это образом Иисус, человек совсем неимущий, работающий за харчи, сумеет купить жертвенного агнца. Впрочем, он столь свободен от соблазнов, за которые надо платить деньги, что, быть может, у него еще остались те монеты, что протянул ему почти год назад фарисей, но этого все равно не хватит, ибо, как уже было сказано, в это время года цены на скотину вообще, а на ягнят в особенности взлетают в самое поднебесье. Хоть на долю Иисусу выпало уже немало горя, я все же решился бы сказать, что родился он под счастливой звездой, оберегающей его и хранящей, если бы подозрительнейшей глупостью, особенно непростительной для меня, как и для любого другого евангелиста, не прозвучало суждение о том, будто небесные тела, так далеко отстоящие от нашей планеты, способны оказывать сколько-нибудь решающее воздействие на земную жизнь человека, как бы их ни заклинали, как бы ни всматривались в них, как бы ни отыскивали зависимость между бытием и расположением светил три важных волхва, которые, если не лжет молва, не так давно проходили в здешних пустынных краях, отчего, впрочем, ничего особенного не воспоследовало: они увидели то, что увидели, и дальше пошли. Так вот, смысл этого долгого периода, если вы сумели через него продраться, сводится к тому, что наш Иисус, несомненно, отыщет возможность прийти в Храм как подобает, с ягненком для всесожжения, исполнив долг правоверного, каковым наш отрок и является, что доказал он в трудных условиях, в отважном противостоянии с Пастырем.

Стадо же в это время наслаждалось обильным кормом на тучных пастбищах в долине Аиалонской, что лежит между городами Газером и Еммаусом. В сем последнем предпринял Иисус попытку заработать денег на покупку столь нужного ему ягненка, но моментально убедился, что за год жизни, посвященной только скотоводству, напрочь растерял навыки ко всему прочему, включая и плотницкое ремесло, в овладении коим за недостатком времени для обучения тоже продвинулся не слишком сильно, то есть недостаточно, чтобы снискать себе им пропитание. И потому он двинулся из Еммауса в Иерусалим, предаваясь думам о незавидной своей участи: купить ягненка, как мы знаем, не на что, красть, как нам давно известно, он не желает, — и скорее чудом, чем удачей, следовало бы счесть появление на дороге потерявшегося ягненка, одного из тех многих, кого вели на окрученной вокруг шеи веревке или, если у хозяев хватало милосердия, несли на руках, и кто, впервые в своей младенческой жизни свершая переход и оказавшись в столь непривычной обстановке, впадал в смятение и беспокойство, пытался понять, что́ это вокруг него, а поскольку, будучи бессловесной тварью, спросить не мог, то смотрел во все глаза, словно бы зрением можно постичь мир, состоящий из слов. Иисус присел на камень на обочине, продолжая размышлять о том, как бы решить материальную проблему, препятствующую исполнению духовного долга, и предаваясь совершенно бесплодным упованиям на, скажем, появление того самого или же иного фарисея, который спросит: «Ягненок нужен?», как спросил год назад: «Есть хочешь?» Но тогда он, ничего не прося, обрел желаемое, а теперь просит, но получит вряд ли. Рука его уже протянута за подаянием, и это не только красноречивей всяких слов, но и столь выразительно, что мы чаще всего стараемся не замечать этого, как отводим глаза от разверстой раны, как отворачиваемся от непристойного зрелища. Несколько монеток, брошенных не столь рассеянными путниками, уже упали в подставленную ковшиком ладонь Иисуса, но даже вместе с уже имевшимися у него деньгами не хватило бы этого даже и на половину ягненка, а ведь всем известно, что жертва, которую Господь позволяет возлагать на свои алтари, должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз, и не вздумайте приносить в жертву животное слепое, или поврежденное, или уродливое, или больное, или коростовое, или паршивое, и страшно даже представить, как вознегодовали бы на нас, принеси мы во Храм заднюю часть туши, да еще вообразите, что решили закласть животное, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, — тут уж можно не сомневаться, что нас погонят прочь. Никто между тем не догадался спросить отрока, для чего ему деньги, и только лишь была написана эта фраза, как приблизился к нему, отойдя от многочисленного семейства, которое из почтения к своему

патриарху остановилось посреди дороги в ожидании, человек весьма уже преклонных лет, с длинной седой бородой. Иисус ждал, что получит от него еще одну монетку, но ошибся, старик спросил: Кто ты? Иисус из Назарета, отвечал он, поднимаясь на ноги. Ты сирота? Нет. Отчего же ты не с родичами своими? Я нанялся в пастухи в Иудее, и это был способ сказать правду, солгав, или солгать, не покривив душой. Любопытство старика явно не было еще утолено, и он вновь приступил к Иисусу с вопросом: Отчего же ты побираешься, раз у тебя есть дело? Я работаю за харчи, и мне не хватает денег купить пасхального ягненка. И потому ты просишь милостыню? Потому. Старик подал знак одному из своих и приказал: Отдайте ему ягненка, а мы, когда придем ко Храму, возместим убыль, купим другого. Повинуясь приказу старика, от шестерых агнцев, ведомых на одной веревке, отделили и подвели к нему последнего, старик же молвил Иисусу: Вот тебе твой агнец, чтоб и ты к Пасхе мог почтить Господа жертвой, и, не дожидаясь благодарности, присоединился к своим сородичам, которые улыбались и хлопали в ладоши. Иисус сказал «спасибо», когда они уже не могли его слышать, а дорога в этот миг неведомо почему, как по волшебству, сделалась пустынна, и на всем протяжении ее от одного ее изгиба до другого нет никого, кроме них двоих — отрока и агнца, благодаря доброте старого иудея встретившихся наконец на пути из Еммауса в Иерусалим. Иисус намотывает на руку конец веревки, окрученной вокруг шеи ягненка, а тот поглядел на своего нового хозяина и издал дрожащее «ме-е-е» — заблеял так боязливо и тоненько, как умеют блеять только молочные ягнята, обреченные умереть маленькими, ибо такими они больше по вкусу богам. Это блеянье, которое Иисус в своей новой пастушеской жизни слышал невесть сколько тысяч раз, тронуло его сердце — почудилось, что от жалости растекутся все члены его, впервые ощутил он такую полную, такую безраздельную власть над жизнью и смертью другого существа, этого вот беленького агнца, незапятнанно чистого, не имеющего ни воли, ни желаний, доверчиво и вопросительно поднимающего к нему мордочку: когда он блеял, виден становился розовый язычок, и сквозь негустой пушок розовым просвечивала кожа внутри ушей, и розовым было даже то, что у людей называется «ногти» и чему вовек не суждено было, загрубев и ороговев, стать копытами. Иисус погладил ягненка по голове, и тот в ответ поднял ее и потыкался влажным носом ему в ладонь, отчего юношу пробрала дрожь. Волшебство внезапно рассеялось — на дороге со стороны Еммауса замелькали посохи, показались развевающиеся хитоны, закачались на плечах котомки: шла, славословя Господа, другая толпа паломников, с другими ягнятами на веревках. Иисус взял своего на руки, как ребенка, и двинулся дальше.

Он не был в Иерусалиме с того теперь уже далекого дня, когда его привела туда надобность узнать, что́ стоят его вины, муки его совести и как совладать с ними — справляться ли с ними, разделенными, словно наследство, на доли, поочередно или принять во всей целокупности, как принимает каждый из нас свою смерть. Грязно-бурой рекой втекала толпа на площадь перед папертью Храма. Иисус с ягненком на руках глядел на мельтешение, суету и толчею: одни всходили по ступеням, ведя или неся обреченных в жертву животных, другие спускались уже налегке, с просветленными лицами, восклицая «Аллилуйя!», «Осанна!», «Аминь!», или молча, поскольку в их случае ликовать было бы так же неуместно, как вскричать при выходе из Храма Иерусалимского «Эвоэ!» или рявкнуть зычное «Ура!», хотя, по правде говоря, разница между всеми этими возгласами не столь существенна, как кажется, ибо мы выражаем ими понятие наивысшего совершенства, некую квинтэссенцию нашего торжества, но проходит время, слова снашиваются от частого употребления, и мы, произнося их, думаем иногда: А к чему все это? — и ответа не находим. Над Храмом уходил в небеса столб дыма, несякнущего, постоянно питаемого новыми и новыми всесожжениями, призванного показать всему миру, сколько из те́х, кто принес жертвы, были прямыми и законными наследниками Авеля, сына Адама и Евы, некогда принесшего в дар Господу от первородных стада своего и от тука их, и Господь призрел на Авеля и на дар его, то есть принял его жертвы благосклонно, а дары Каина, которому, кроме простых плодов земли, преподнести было нечего, отверг, а почему — и по сей день остается загадкой. Если Каин убил Авеля именно по этой причине, то мы с вами можем спать спокойно: нам уже ничего не грозит, ибо все мы жертвуем примерно одно и то же, и чтобы удостовериться в том, довольно лишь

послушать, как трещит на огне жир, он же тук, как жарится мясо. И Господь со своих заоблачных высот с удовольствием принюхивается к благоуханию резни и аромату бойни. Иисус крепче прижимает ягненка к груди — почему Бог не хочет, чтобы окропили его алтарь молоком, соком самого бытия, соком, переходящим от одной земнородной твари к другой; почему нельзя бросить на алтарь, как в борозду пашни, пригоршню пшеничных зерен, из которой выпекут основу основ — бессмертный хлеб? Ягненку, который совсем недавно был щедрым подарком неведомого старика, не увидеть, как завтра взойдет солнце, — пришла пора нести его по ступеням Храма, предать ножу и пламени жертвенника, словно он не заслужил права жить и совершил преступление против исконного властелина пастбищ и басен, испив все-таки из ручья жизни. И тогда Иисус, как бы под воздействием некоего озарения, наперекор покорности и почитанию закона, которому учился в синагоге, вопреки слову Божьему, решил, что ягненок этот не умрет, что существо, которое подарили ему для смерти, останется живо, хотя сам он, придя в священный город Иерусалим принести жертву, уйдет отсюда еще с одним грехом на совести, словно мало прежних, и наступит день, когда придется заплатить за все, ибо Господь ничего не забывает. На какой-то миг страх перед этой неминуемой карой заставил его заколебаться, но воображение молниеносно нарисовало ему жуткую картину: безбрежное море крови, выпущенной из агнцев, тельцов и всех прочих, кого приносил в жертву человек со дня сотворения своего, ибо именно для того, чтобы поклоняться и приносить жертвы, и появилось в этом мире человечество. Воображение, разыгравшись всерьез, представило ему, как багряный кровяной поток льется со ступеньки на ступеньку храмовой паперти, подбираясь к самым его ногам, а он стоит, подняв к небесам своего агнца — обезглавленное и мертвое его тело. Он потерял представление о действительности, словно оказался внутри плотного пузыря, наполненного безмолвием, но пузырь этот вдруг лопнул, разлетелся на куски, и уши Иисуса вновь наполнились гомоном голосов, криками, молитвами, песнопениями, жалобным блеяньем ягнят и — на миг перекрывшим и заглушившим все остальное — низким, тройным, трубным звуком рога — бараньего, изогнутого спиралью. Сунув своего агнца в котомку, как бы пряча его от неизбежной опасности, Иисус бросился с площади прочь, затерялся в паутине узеньких проулков, сам не зная, куда бежит. Он опомнился и остановился уже в поле, выйдя из города через северные, Рамалийские ворота, те самые, что захлопнулись за ним, когда он пришел из Назарета. Он сел на обочине под смоковницей, вытащил из сумы ягненка, и люди, не удивляясь, думали, должно быть: Устал, набирается сил перед тем, как отнести ягненка во Храм, какой милый, и нам с вами не угадать, про кого речь — про Иисуса или про ягненка. По нашему личному мнению, оба милы, но если уж непременно надо выбрать одного из двоих, присудим все же яблоко ягненку, но с одним условием — не вырастать в здоровенного барана. Иисус лежит на спине, держа конец веревки, чтобы ягненок не убежал, но это, пожалуй, излишняя предосторожность: тот вконец обессилел, и даже не по малолетству, а от волнения, от беготни взад-вперед, оттого, что таскают туда-обратно, то берут на руки, то спускают наземь, то несут, да помимо всего прочего, утром его не подпустили к матери, ибо являться на тот свет с полным брюхом, будь ты ягненок или мученик, неприлично. И вот Иисус лежит на спине, дыхание его мало-помалу выравнивается, он видит небо сквозь ветви смоковницы, чуть колеблемые ветром, и от этого солнечные пятна пляшут перед глазами в просветах листвы: должно быть, шестой час, солнце еще высоко, и тени коротки, трудно даже и представить себе, что ночь, которая неторопливым выдохом погасит это ослепительное сияние, уже невдалеке. Иисус отдохнул и теперь обращается к ягненку: Отведу тебя назад, в стадо, и начинает подниматься. По дороге к Иерусалиму идут люди, за ними — еще несколько человек, и, вглядевшись в них, Иисус одним прыжком вскакивает на ноги; первое его побуждение — убежать, но, разумеется, он этого не сделает, не решится, и как же иначе, если он узнает мать и младших братьев — Иакова, Иосифа, Иуду; видит он и сестру Лизию, но она женщина, а значит, не в счет, хотя по порядку появления на свет занимает место между Иаковом и Иосифом. Они еще не видят его. Иисус спускается к дороге, схватив ягненка, но в глубине души подозревает, что сделал это, чтобы руки были заняты. Первым замечает старшего брата Иаков, он что-то торопливо говорит матери, та оглядывается, все ускоря-

ют шаги, и Иисус, идущий им навстречу, — тоже, однако с ягненком на руках не побежишь, и мы так долго распространяемся об этом, будто не хотим, чтобы встреча наконец произошла, но, поверьте, дело не в этом, любовь, любовь материнская, сыновья, братская, окрылила бы их, но ведь существует помимо любви и еще кое-что — вы вспомните, как они расстались, а потому естественны и смущение, и известная неловкость, и потом, мы же не знаем, какие последствия имели столь долгая разлука и полное отсутствие вестей друг о друге на протяжении многих месяцев. Но если идти, то в конце концов дойдешь, и вот они встретились, стали лицом к лицу. Благослови, мать, говорит Иисус. Благослови тебя Бог, говорит Мария. Они обнялись, потом настал черед братьев, и лишь после того — Лизии, и никто из них, как мы заранее предвидели, не знал, что говорят в таких случаях, и Мария не собиралась вскричать «Вот так встреча!», Иисус же — ей в тон: «Вот уж не думал, не гадал, каким ветром занесло вас сюда?», и так понятно каким — близится праздник опресноков, иначе называемый Пасхой Господней, оба ягненка служат верной приметой, и вся разница между ними в том лишь, что одному суждено умереть, а другой этой смерти счастливо избежал. Ты ушел и как в воду канул, сказала наконец Мария, и тут ручьем хлынули у нее из глаз слезы — ее первенец, ее старшенький стоял перед нею, совсем большой, совсем взрослый, с пробивающейся бородкой на осмуг-

ленном солнцем, выдубленном ветром и пылью пустыни лице, какое бывает у тех, кто живет под открытым небом. Не плачь, я делом занят, я теперь пастух. Пастух? А я-то надеялась, что займешься отцовским ремеслом. Мне выпало стать пастухом. А когда ты вернешься домой? Не знаю, когда-нибудь. Но хоть сейчас пойдем с нами во Храм. Я не пойду во Храм. Почему, ведь у тебя вот и агнец припасен. Этот агнец не для жертвы. Он что, с пороком? Никакого порока у него нет, но умрет он, лишь когда выйдет ему срок жизни. Не понимаю. И не надо: я спас ягненка, чтобы когда-нибудь кто-нибудь спас и меня. Значит, ты не пойдешь с нами в Иерусалим? Я оттуда иду. Куда? Туда, где стадо мое. А оно где? Сейчас в долине Аиалонской. Это где? По ту сторону. По ту сторону чего? По ту сторону Вифлеема. Мария, побледнев, отступила на шаг, и теперь видно стало, как она постарела, хоть и было ей всего тридцать лет. Почему ты упомянул Вифлеем? Потому что там я встретил пастуха, который взял меня в помощники. Кто он? — и прежде чем Иисус успел ответить, велела детям: Ступайте вперед, ждите меня у городских ворот, схватила Иисуса за руку, потащила на обочину дороги. Кто он? — повторила она. Не знаю, сказал Иисус. Но имя-то у него есть? Может, и есть, но я его не знаю, он велел называть себя Пастырем. Каков он с виду? Высокий. Где ты повстречал его? В той пещере, где родился. Кто показал тебе ее? Рабыня по имени Саломея, принимавшая меня. А он? Что? Что он сказал тебе? Ничего такого, чего бы ты не знала. После этих слов Мария упала наземь, как будто чья-то сильная рука сшибла ее с ног. Это Дьявол. Он что, сам сказал тебе об этом? Нет, в первый раз он сказал мне, что он ангел, но только чтоб я ни-

кому об этом не говорила. Когда это было? В тот день, когда отец твой узнал, что я тяжела тобой, этот человек появился у нас в доме как нищий, попросил подаяния, а потом сказал мне, что он ангел. И больше ты его не видела? Видела, когда мы с твоим отцом шли в Вифлеем на перепись, потом в пещере, где ты родился, а потом в ту ночь, когда ты ушел из дому, кто-то вошел во двор, и я решила, что это ты, но это был он, и в щелку я видела, как он выкопал из земли деревце у двери — помнишь? — то, что выросло на том самом месте, где закопана была миска со светящейся землей. Какая еще миска, с какой землей? Я никогда тебе об этом не рассказывала: в ту миску, в которой я подала нищему еды, он потом насыпал земли, и та засветилась. Сделать так, чтобы из земли исходил свет, может только ангел. Я и сама сначала так подумала, но ведь и Дьявол умеет творить чудеса. Иисус присел рядом с матерью, а ягненка пустил пастись. Да я уж и сам понял, что не всегда отличишь ангела от беса, когда они действуют заодно. Обещай мне, что пойдешь с нами, а к этому человеку не вернешься больше. Я обещал ему вернуться и слово свое сдержу. Дьяволу обещают для того лишь, чтобы обмануть его. Этот человек, хоть, я знаю, он не человек, этот ангел или бес сопровождает меня со дня рождения, и я хочу знать почему. Иисус, сын мой, пойдем с нами во Храм, принеси этого ягненка в жертву у Господнего алтаря, как требует твой долг, и попроси Господа освободить тебя от дурных мыслей, которыми ты одержим. Ягненок этот умрет в день, назначенный ему судьбой.

День этот настал. Мать, твои детеныши тоже не будут жить вечно, но ведь ты не хочешь, чтобы они умерли до срока. Есть разница между ягнятами и родными детьми. Когда Господь приказал Аврааму убить Исаака, разница эта была никому не ведома. Я простая женщина и не умею ответить тебе, но прошу только: оставь эти дурные мысли. Мать, мысли сами по себе не бывают дурными или хорошими, они плывут в голове, как облака по небу, в расчет берутся лишь деяния. Хвала Всевышнему, что у меня, женщины бедной и темной, сын вырос мудрецом, но все же еще раз тебе говорю: эта мудрость не от Бога. У Дьявола тоже можно кое-чему научиться. Он вселился в тебя, Иисус, сын мой, ты в его власти. Если это его волей и властью агнец сей сохранил сегодня жизнь, значит, что-то прибыло сегодня в мире. Мария ничего не ответила. От городских ворот возвращался за нею Иаков. Она поднялась: Только нашла тебя, как снова расстаемся. Если нашла, значит, уже когда-то потеряла, отвечал Иисус и, сунув руку в котомку, вытащил несколько монет — поданную ему милостыню. Вот все, что есть. Это за столько месяцев? Я работаю только за харчи. Должно быть, сильно ты любишь этого своего хозяина, если довольствуешься такой малостью. Господь — мой пастырь. В устах того, кто живет с Дьяволом, имя Господне звучит хулою. Как знать, может быть, хозяин мой — ангел Божий, ангел небесный, только служит другому богу и живет на другом небе. Сказано в Законе: Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Аминь, отозвался Иисус. Он взял ягненка на руки. Вон идет за тобой Иаков, прощай, мать. Кажется, что ты этого ягненка любишь больше, чем свою семью. Ответил Иисус: Сейчас — да. Мария, задохнувшись горестным негодованием, оставила его и пошла навстречу среднему сыну. Она ни разу не обернулась.

А Иисус сначала вдоль городской стены, а потом другой дорогой, а потом напрямик, через поля, начал долгий спуск в долину Аиалонскую. В одном селении он остановился, купил на те деньги, от которых отказалась Мария, хлеба, смокв, молока для себя и для ягненка, и молоко оказалось овечьим, так что разницы, если она и была, тот и не заметил, и именно в этом случае позволительно утверждать, что одна мать стоит другой. А тем, кто удивится, увидев, как юноша тратит деньги на ягненка, которого к этому часу уже и на свете быть не должно, можно ответить, что, мол, были у него два ягненка, одного он принес в жертву во славу Господа, а другого Господь же и отверг, ибо обнаружился у агнца порок — ухо надорвано, вон — видишь? Ничего не вижу, скажут ему, ухо целое. Ну, раз целое, я сам его надорву, ответит на это Иисус и, взвалив ягненка на плечи, продолжит путь. Стадо он заметил уже в последнем свете дня, меркнувшем тем стремительней, что небо затягивали низкие черные тучи. Воздух был насыщен напряжением — предвестником грозы, и, не обманывая ожиданий, первая молния распорола небеса в тот самый миг, когда стадо предстало глазам Иисуса. Гроза была из тех, что называются «сухими» — дождь не хлынул — и наводят больший страх, чем грозы обычные, ибо тут мы чувствуем себя по-настоящему беззащитными, без завесы, как принято говорить, дождя и ветра, хотя от чего уж они там завесят — неведомо: это открытая, лобовая сшибка грохочущего, раздираемого сполохами неба и бьющейся в судорогах земли, бессильной ответить ударом на удар. В ста шагах от Иисуса сверкнуло нестерпимо, ослепляюще — и от комля до вершины раскололо смоковницу, тотчас занявшуюся огнем и запылавшую, точно факел. От близкого удара, от громового раската, тяжко грянувшего над самой головой, треснуло и надвое распалось небо, и Иисус упал замертво. Вспыхнули еще два зигзага — один тут, другой там, словно произнесены были два решающих слова, гром стал отдаляться, стихать, пока не превратился в чуть слышное любовное воркованье неба и земли. Ягненок не ушибся при падении, все страшное было уже позади: он приблизился к лежащему навзничь Иисусу и коснулся губами его губ — не лизнул, не обнюхал, не фыркнул, а всего лишь дотронулся, и этого довольно было — нам ли в этом сомневаться? — чтобы тот пришел в себя. Иисус открыл глаза, увидел ягненка, а над ним — непроглядную тьму неба, черной рукой стиравшую то, что еще оставалось от дневного света. Смоковница продолжала гореть. Иисус пошевелился и почувствовал, что каждое движение причиняет ему боль, но тело слушается его, если можно говорить о послушании того, что с такой легкостью можно оглоушить, обездвижить и швырнуть наземь. С неимоверным трудом он приподнялся и сел и скорее по смутным осязательным ощуще-

ниям, чем по непреложным свидетельствам зрения убедился, что не получил ни ожогов, ни ушибов, что руки-ноги и ребра не переломаны и вообще он цел и невредим, разве что вот только все никак не смолкнет оглушительный звон и гуд в голове. Он притянул ягненка к себе и выговорил неведомо откуда взявшиеся у него слова: Не бойся, Он всего лишь хотел показать тебе, что в его воле было лишить тебя жизни, а мне — внушить, что не я, а Он спас тебя от смерти. Последний гром протяжным медлительным вздохом перекатился в небе, и внизу, как желанный и долгожданный оазис в пустыне, белело стадо. Иисус, едва переступая онемевшими ногами, направился туда, и ягненок на совершенно ненужной теперь веревке бежал рядом с ним как собачка, и позади все еще горела смоковница. И не свет меркнущих сумерек, а ее жаркое полыхание озарило внезапно возникшую перед ним высокую, закутанную в плащ фигуру Пастыря, опиравшегося на посох, которым, подними он его, мог бы дотянуться до облаков. Пастырь сказал: Я знал, что гроза тебя поджидает. И мне бы надо было это знать, ответил Иисус. А что это за ягненок? Денег на покупку мне не хватило, я сел при дороге просить милостыню, и тут какой-то старец подарил мне его. Отчего ж ты не принес его в жертву? Не смог, не способен оказался. Пастырь улыбнулся: Теперь я лучше понимаю, почему Он дал тебе вернуться к стаду и у меня на глазах дал тебе почувствовать свою силу. Иисус не ответил, ибо только что и почти теми же словами объяснял происходящее ягненку, и ему совсем не хотелось с места в карьер затевать новую беседу о том, что побудило Бога действовать так, а не иначе. Ну и что ты намерен дальше с ним делать? Да ничего, пусть пасется со всем стадом. Все беленькие ягнята подобны один другому, и ты уже завтра не сможешь отличить его от прочих. Но он меня признает. Это сейчас, а завтра забудет, а кроме того, он выбьется из сил, отыскивая тебя постоянно: надо его как-то выделить из стада, ухо ему надсечь, что ли. Жалко. Тебе ведь тоже отсекли крайнюю плоть, чтобы известно было, кому ты принадлежишь. Это совсем другое. Это только кажется другим, а на деле — то же самое. Пастырь между тем уже сложил валежник в кучку и теперь пытался высечь огонь. Сказал Иисус: Не лучше ли взять ветку от той горящей смоковницы? И Пастырь ответил: Нет, не лучше, пусть огонь, упавший с неба, сам себя пожрет. А ствол смоковницы светился во мраке, будто раскаленная головня, ветер срывал и разносил окрест горящие кусочки коры, разлетавшиеся искрами и тотчас гасшие. Ночная тьма, против обыкновения, не скрыла тяжко нависшие тучи. Пастырь и Иисус, как всегда, сели ужинать, и первый насмешливо промолвил: В этом году, стало быть, не отведаешь пасхальной ягнятины. Иисус промолчал в ответ, но сам собой остался недоволен, ибо с этой минуты оказался он перед неразрешимым противоречием: как есть мясо, но при этом не убивать ни тельца, ни овна, ни агнца. Ну так что ж нам с ним делать? — спросил Пастырь. Я про ягненка: метить или нет? У меня рука не поднимается. Ладно, я сам этим займусь. Стремительным и уверенным ударом ножа он отсек ягненку краешек уха и, держа его в руке, спросил: Ну а это куда — в земле похоронить или просто выбросить? — и Иисус, не успев подумать, что делает, сказал: Дай сюда — и швырнул лоскуток кожи в огонь. Так же в свое время поступили и с твоей крайней плотью, сказал Пастырь. Из рассеченного ушка выступила медленная неяркая капля крови, мгновение спустя уже свернувшаяся. Над костром вместе с дымом поднялся пьянящий запах жареного нежного мяса, — и вот так, лишь к концу этого долгого дня, заполненного ребяческими выходками и противоречивыми поступками, получил Господь то, что причиталось ему, и как знать, не была ли эта грандиозная гроза со всеми ее громами и молниями поданной упрямым пастухам вестью о том, что он подчиняется их воле. Последняя капля крови упала на землю, и та с жадностью выпила ее, ибо не годится, чтобы самая главная часть жертвы, о которой столько было раздумий и разговоров, пропадала втуне.

И случилось так, что именно эта овца, в которую по прошествии трех лет превратился ягненок, самая обыкновенная овца, лишь карнаухостью отличавшаяся от всех прочих, отбилась от стада и потерялась в диких краях, к югу от Иерихона переходивших уже в пустыню. Стадо огромное: велика важность — овцой больше, овцой меньше, но все же скотина, о которой мы ведем речь, не такая, как другие, да и пастухи — не совсем те люди, которых встречаем мы на каждом шагу, а потому не следует удивляться, что Пастырь, из-под мохнатых бровей оглядев стадо и вовсе не нуждаясь в том, чтобы пересчитывать

его по головам, хватился пропажи, подозвал Иисуса и сказал: Твоей овцы нет, ступай поищи ее, — а поскольку наш герой не спросил: Как ты узнал, что именно моей нет? — то и мы задавать этот вопрос не станем. Да и в том ли дело — куда важней нам сейчас понять, как Иисус, доверяясь всецело знанию местности — весьма, кстати, слабому — и чутью — отнюдь не безошибочному, — двинется нехожеными тропами куда глаза глядят, как отыщет он путь в безмерном пространстве, раскинувшемся во весь окоем. Поскольку они с Пастырем к этому времени уже покинули плодородные долины Иерихона, где не пожелали оставаться, ибо покой постоянного кочевья ставили много выше возможности общаться и торговать с людьми, то человек или овца скорее всего могли затеряться — особенно если сделали это с умыслом — в тех местах, где вожделенное одиночество не будет омрачено слишком уж тяжкими усилиями снискать себе пропитание. Следуя логике этих рассуждений, Иисусова овечка должна была тайком и словно бы случайно отстать от стада и сейчас наверняка щипать свежую травку в прибрежной иорданской прохладе и — на всякий случай — в виду города Иерихон. Жизнь, однако, не всегда согласуется с логикой: нередко бывает так, что как раз самое очевидное и предусмотренное, ведóмое причинами, вéдомыми лишь ему самому, избирает для своего проявления окольный путь, отклоняется, так сказать, в сторону от магистрального умозаключения. И если дело обстоит именно так, нашему Иисусу следует искать заблудшую овечку не на зеленых выпасах, оставшихся позади, а среди редкой, жесткой, выжженной зноем растительности той пустыни, что пролегла впереди, и остаться глухим к тому убедительному и на поверхности находящемуся доводу, что, мол, не затем овца отбилась от стада, чтобы умереть от голода и жажды, — глухим, во-первых, потому, что никто не знает, какие мысли проносятся в овечьей голове, а во-вторых — из-за уже упомянутой непредсказуемости очевидного, отчего очевидное порою оборачивается невиданным. Так что в пустыню направится — уже направился — Иисус, и решение его нимало не удивило Пастыря, который, напротив, молча его одобрил, причем одобрение это выразилось в медленном и торжественном наклоне головы, который — вот ведь странность! — можно было понять и как прощальный кивок.

Здешняя пустыня — вовсе не раскинувшееся вширь и вдаль песчаное пространство, носящее это имя. Здешняя пустыня — это скорее бесконечная гряда сухих и жестких холмов, перетекающих один в другой и образующих запутаннейший лабиринт низин и долин, где выжить удается лишь редким растениям, которые целиком состоят из шипов и колючек, так что справиться с ними могут лишь каменные десны коз, ибо нежные овечьи губы они изранят при первом же прикосновении. Здешняя пустыня наводит куда больший страх, чем ровные гладкие пески или пески зыбучие, ежеминутно меняющие форму и образ своих подвижных дюн, — здесь не то: здесь каждый холм, тая в себе угрозу, предупреждает об опасности, подстерегающей за следующим холмом, а когда путник, дрожа, одолеет и его, то ощутит, что опасность не исчезла, а просто переместилась к нему за спину. Здесь на крик его не отзовется эхо, и услышит он в ответ крик, который издают сами холмы — или то неведомое, что так упрямо прячется в них или за ними. Вот туда-то, в дикий этот край, и вступил Иисус, вооруженный лишь посохом да котомкой на плече. Не успел он сделать и нескольких шагов, едва лишь пересек границу этого мира, как вдруг понял, что старые, от Иосифа доставшиеся ему сандалии окончательно развалились. Они служили ему верой и правдой, а он прилежно ставил латки, продлевая им срок жизни и носки, но теперь уж ни шорник, ни веревочник, ни сапожник помочь были не в силах — слишком круты оказались для этих подошв подъемы и спуски, слишком много дорог одолели они, слишком много пота, смешанного с дорожной пылью, разъедало их ремни. Словно повинуясь приказу, разом — и за меньшее время, чем потребовал от нас рассказ об этом, — распались подошвы, перетерлись последние ремешки, лопнула последняя дратва, измочалились веревочные завязки, и Иисус остался босиком. Отрок — мы называем его так по старой памяти, ибо восемнадцатилетнего иудея следует признать зрелым мужчиной, — вспомнил тут о своих старых сандалиях, тех, что все это время таскал на дне котомки, словно вещественную память о прошлом, и попытался надеть их. Зряшная попытка, и только теперь ясно стало Иисусу, что прав был Пастырь, когда говорил, что нога, однажды выросши, меньше не станет. Нипочем не налезут сан-

далии. Он стоял перед пустыней босой, как Ада́м, изгоняемый из Эдема, и так же, как он, не решался сделать первый и самый трудный шаг по истерзанной земле, призывавшей его. В следующее же мгновение, не спрашивая себя, зачем он это делает, Иисус отбросил посох, скинул с плеча суму, одним движением стянул через голову хитон, отшвырнул его в сторону и остался, опять же как Адам, голым. С того места, где он стоял, уже не виден был Пастырь, ни один любопытный козлик не последовал за ним, и осмеливались изредка пересекать невидимую границу только птицы, из тварей же земных — муравьи, какая-нибудь сколопендра да испуганный скорпион высовывал ядовитое свое жало, ибо никто из них сроду не видал в здешних краях голого человека и вообще не знал, что это такое. А спроси Иисуса «Зачем ты разделся?», недоступен разумению этих членистоногих, паукообразных, перепончатокрылых был бы его ответ: «В пустыне можно быть только голым». И мы скажем: «Только голым», хотя шипы царапают кожу, впиваются в волосы на лобке, — голым, несмотря на то, что ступни изрезаны колючками, ободраны камнями, саднят от песка, голым, несмотря на солнце, что жжет, обжигает, слепит, голым — ибо нужно отыскать заблудшую овцу: она принадлежит нам и помечена нашим знаком. Пустыня впускает в себя Иисуса и тотчас смыкается у него за спиной, отрезая путь к отступлению. Тишина звучит в ушах тихим рокотом, словно выброшенная на берег пустая, заполненная лишь шумом прибоя раковина, которую кто-нибудь подберет, поднесет к уху, скажет: Пустыня. Ноги Иисуса разбиты в кровь, солнце отгоняет облака, чтобы глубже вонзить ему в плечи клинки лучей, когти шипов впиваются в кожу, бичи колючих веток хлещут его. Эй, где ты там?! — кричит он, и холмы отозвались бы, как положено, эхом: Гдетытам, гдетытам, гдетытам — если бы знали эти слова, но длительный и отдаленный рокот — тот, что слышится в раковине, — перекрывает все прочие звуки, и из рокота складывается слово: Бо-о-о-ог, Бо-о-о-ог, Бо-о-о-ог. И вдруг словно холмы расступились, дали дорогу, Иисус вышел из лабиринта низин, теснин, долин на круглую гладкую песчаную прогалину и в самой ее середине увидел свою овечку. Он было бросился к ней со всех ног, разбитых и израненных, но тут раздался голос: Постой. Иисус увидел перед собой облако примерно в два человеческих роста, вьющееся вокруг самого себя, словно столб дыма, и голос исходил оттуда. Кто говорит со мной? — задрожав, спросил Иисус, предугадывая ответ. Голос сказал: Я — Бог, и Иисус понял теперь, почему нагим вступил он в пределы пустыни. Ты привел меня сюда, чего ты хочешь от меня?— сказал он. Пока ничего, но в один прекрасный день захочу все. Что все? Жизнь твою. Ты ведь Бог, ты всегда забираешь у нас жизнь, которую сам же и даешь. Что же мне еще остается, иначе мир переполнился бы. А зачем тебе моя жизнь? Не пришла еще пора тебе знать это, поживи пока, еще нескоро я подам тебе весть, чтобы ты был расположен и телом и душой к тому высшему, что я тебе уготовлю. Господи, Господи, я не постигаю твоих слов, не понимаю, чего ты хочешь от меня. Ты обретешь власть и славу. Какую власть, какую славу? И это я открою тебе, когда придет время снова позвать тебя. А когда оно придет? Не торопись, поживи сколько сможешь. Господи, вот я здесь, перед тобой, нагим ты привел меня пред лицо свое, а потому не медли, дай мне сейчас то, что припас на завтра. А почем ты знаешь, что я намерен тебе что-нибудь дать? Ты пообещал. Нет, это будет всего лишь обмен. За что же я заплачу жизнью? За власть. И за славу, думаешь, я забыл, но если не скажешь, над кем получу я власть, чем и перед кем прославлюсь, то обещание твое не ко времени, рано давать его. Ты снова встретишь меня, когда будешь готов, но знамения мои и знаки отныне будут сопровождать тебя. Скажи мне, Господи. Замолчи, ни о чем больше не спрашивай, придет час — не раньше и не позже, — когда ты узнаешь, что мне от тебя надо. Я слушаю тебя, Господи, а значит, повинуюсь тебе, но все же ответь еще на один вопрос. Ты испытываешь мое терпение. Господи, это мне очень нужно. Ну говори. Можно мне забрать мою овцу? А-а, ты вот о чем. Да, так можно? Нельзя. Почему? Потому что ты принесешь ее мне в жертву, в залог того союза, который я только что с тобой заключил. Ее — в жертву? Ее. Я отдам тебе другую, сейчас сбегаю к стаду и приведу, я мигом. Не спорь со мной, я хочу эту. Но она с пороком, у нее ухо рваное. Ошибаешься, ухо как ухо, взгляни сам. Но как же это возможно? Я — Господь, для меня ничего невозможного нет. Но ведь это моя овца. И опять ты ошибаешься: ягненка ты у меня отнял, вот и расплатись теперь овцой. Да будет по слову твоему: весь мир принадлежит тебе, а я

раб твой. Тогда действуй, а не то наш союз будет недействителен. Но, Господи, ты же видишь, я — голый, у меня при себе ни ножа, ни резака, — и произнося эти слова, Иисус все еще надеялся сохранить овце жизнь, но Бог ответил: Я не был бы Богом, если б не сумел помочь тебе, держи. И не успел он еще договорить, как у ног Иисуса оказался нож, новый, с широким и длинным лезвием. Ну, давай-давай, пошевеливайся, сказал Бог, у меня еще есть дела, я не могу тут с тобой торчать до скончания века. Иисус подобрал с земли нож, шагнул к овце, а та подняла голову, сомневаясь, это ли ее хозяин, ибо никогда прежде не видела его голым, а нюх у них, как всем известно, развит не слишком. Плачешь? — спросил Бог. Да нет, это у меня всегда глаза такие, — отвечал Иисус. Клинок взлетел, повернулся под нужным для удара углом и стремительно, как молот, как нож еще не изобретенной гильотины, опустился. Овца не издала ни звука, только раздалось «А-а-ах», — это удовлетворенно выдохнул Бог. Теперь мне можно уйти? — спросил Иисус. Иди, только помни, что отныне ты принадлежишь мне, ты кровью скрепил наш союз. А как полагается уходить от тебя? Мне, в сущности, все равно, что передом, что задом, но обычно принято пятиться и отвешивать поклоны. Господи. До чего ж ты приставучий, ну что тебе еще? А Пастырь? Какой пастырь? Тот, с кем мы пасем стадо. Ну? Он ангел или демон? А-а, я его знаю. Так кто же он, скажи мне. Я уже тебе сказал, для Бога нет ни переда, ни зада, ступай с миром. Столб дыма рассеялся, исчезла овца, а кровь, еще заметная на земле, поспешила спрятаться в ней.

Когда Иисус вернулся, Пастырь окинул его пристальным взглядом и спросил: А где овца? Я встретил Бога, отвечал Иисус. Я тебя не спрашиваю, встретил ли ты Бога, ты овцу нашел? Я принес ее в жертву. Зачем? Там был Бог, так надо было. Кончиком посоха Пастырь провел по земле черту, глубокую, как борозда на пашне, неодолимую, точно стена огня, и сказал: Ты ничему не научился, уходи.

(Окончание следует)

Три стихотворения на библейские сюжеты

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ

Когда осел согревал

Когда осел согревал Христа в Вифлееме,
прибежала туда ослица в гневе и в пене:
«Ах, вот ты где, бездельник, ищу тебя весь день я!

Будто нет у тебя конюшни, своего уютного дома,
только отпустят с работы, бросят охапку соломы,
уже ты нашел себе дело, готов услужить любому.

Что ты нашел в этих нищих и в этом воловьем стойле?
Ступай сейчас же домой, где ждет тебя вкусное пойло,
не то поймают бродяги и в путах потащат на бойню».

А осел — непонятно: слышит или не слышит —
только длинным ухом поводит и шкурой колышет
да на младенца в яслях дышит, заботливо дышит.

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Воскрешение Лазаря

И в сомненье многие роптать
начинали: чудо сотвори им!
Неужели Марфам и Мариям
недостанет веры признавать,
что Он *может*? Но кричали всюду:
«Господи, зачем Ты среди нас?»
Неужели дать свершиться чуду
вопреки природе, напоказ?
Он спросил, могила далеко ли,
а в глазах страдание и мгла,
словно слезы. Он сдержать не в воле,
Он пошел, толпа за ним пошла.
Плакал Он, душа его страдала:
воскрешенье — после похорон?
Вдруг огонь высокого накала
вспыхнул в Нем, и возмутился Он:
среди них разлад и заблужденье —
средь живых и среди мертвых тел.
Гнев преобразил его движенья.

© Н. Астафьева. Перевод, 1998
© В. Куприянов. Перевод, 1998

«Камень сдвиньте!» — Он им прохрипел.
«Там смердит», — сказал в испуге кто-то
(Лазарь там лежал четыре дня),
Он же руку, словно из-под гнета,
весь во власти своего огня,
тяжело над полумраком грота
поднимал, безверие кляня.
И рука, о легкости забыв,
пальцы, словно когти, цепко сжала,
мертвецы из мрачного провала
на ее чудовищный призыв
все могли бы выйти, но один
в пеленах оставленное тело
обретал так смутно и несмело,
словно жизнь вернуться не хотела,
но вернулась все же из глубин.

Перевод с немецкого В. КУПРИЯНОВА

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Христос на кресте

Ногами он касается земли.
Кресты одной величины. Христос
не посредине. Он на третьем. Грудь
покрыта черной бородой. Лицо
не то, что на гравюрах, — иудейский
суровый облик. Я его не вижу
и буду до скончанья дней моих
без устали искать его повсюду.
Совсем ослабнув, он страдает молча.
Истерзано чело венцом из терна.
Не слышит он глумления толпы,
не в первый раз глазеющей на смерть.
Его или другого. Все едино.
Он на кресте. В бреду он видит царство,
которое, возможно, ждет его,
и ту, с которой сблизиться не смог.
И ничего не ведомо ему
о теологии и гностицизме,
непостижимой Троице, соборах,
о бритве Оккама[1] и литургии,
об одеяньях пурпурных и митре,

[1] Уильям Оккам (ок. 1285—1349) — английский философ-схоласт, францисканец. Согласно принципу «бритвы Оккама», понятия, несводимые к интуитивному и опытному знанию, должны удаляться из науки.

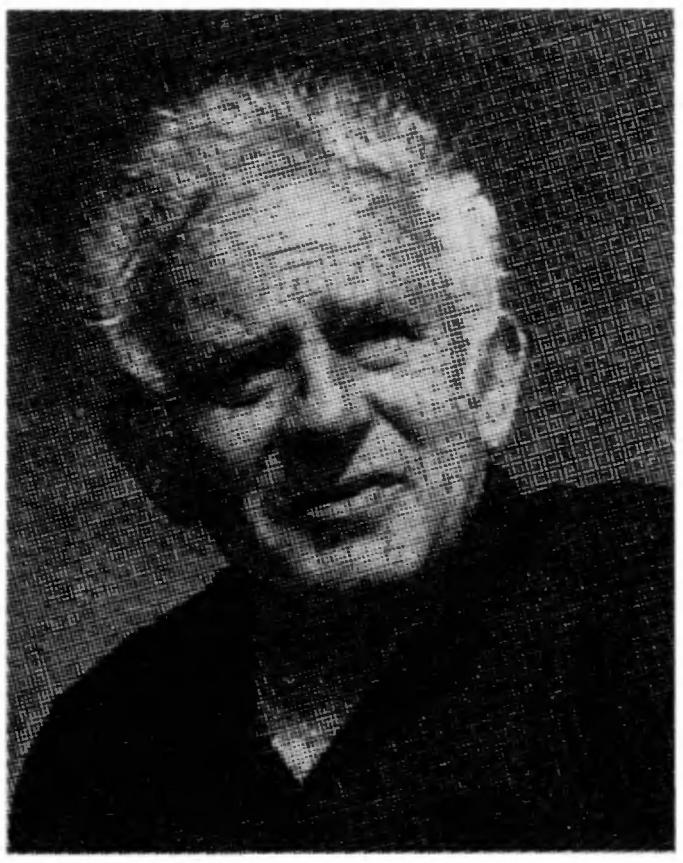
© Jorge Luis Borges, 1985
© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1985
© П. Грушко. Перевод, 1998

и о крещеньи Гутрума[1] мечом,
об инквизиторах и крови жертв,
о злобных крестоносцах, Жанне д'Арк
и папах, освящающих оружье.
Он знает: он не бог, а человек,
и не терзается кончиной скорой.
Его терзают только гвозди. Он
не римлянин. Не грек. Тихонько стонет.
Он нам оставил дивный круг метафор
и смысл прощения, которым можно
свести на нет былое. (Эта мысль
записана в тюрьме одним ирландцем.)
Мятущейся душой он ищет смерти.
Густеют сумерки. Уже он мертв.
Ползет по неподвижной плоти муха.
Какая польза мне, что он страдал, —
когда я, как страдал, так и страдаю?

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

■

[1] Гутрум — предводитель данов, который, заключив в 878 г. договор с Альфредом Великим, обязан был принять христианство.



НОРМАН МЕЙЛЕР

Евангелие от Сына Божия

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с английского О. ВАРШАВЕР

Посвящается Сьюзен, Дэниэл, Элизабет, Кейт, Майклу, Стивену, Мегги, Мэтью и Джону Баффало

В те дни я действительно пришел из Назарета, и Иоанн окрестил меня в реке Иордан. В Евангелии от Марка сказано, что когда я показался из воды, небеса разверзлись, явился «Святой Дух в обличии голубя» и раздался громкий глас: «Ты — мой возлюбленный Сын, в тебе моя отрада». А потом Дух отвел меня в пустыню, и я провел там сорок дней, искушаемый Сатаной.

Не стану утверждать, что Евангелие от Марка — сплошное вранье, но все-таки многое он изрядно преувеличил. Еще меньше добрых слов заслуживают Матфей, Лука и Иоанн. Они вложили в мои уста речи, которых я никогда не говорил, и описали меня кротким в минуты, когда я бледнел от гнева. Понять их можно: они творили спустя много лет послé моего ухода и лишь повторяли то, что слышали от стариков, уже очень дряхлых. Полагаться на такие байки — что отдыхать под кустом перекати-поля, который сорвет первым порывом ветра и унесет неведомо куда.

Поэтому я решил изложить свою историю сам. Тем, кто спросит, как мои слова попали на страницы книги, отвечу: считайте это еще одним маленьким чудом. (Ведь евангелие — не что иное, как рассказ о чудесах.) Однако сам я твердо намерен не грешить против истины. Марк, Матфей, Лука и Иоанн стремились увеличить число своих приверженцев. Та же задача стояла и перед авторами других евангелий. Одни писали исключительно для евреев, которые уверовали после моей смерти, другие — для неевреев, которые ненавидели евреев, но верили в меня. Поскольку каждый из писавших и вещавших жаждал укрепить позиции своей церкви, он неизбежно мешал правду с вымыслом. В конце концов одна из церквей взяла верх и оставила из множества евангелий четыре, осудив остальные за подмену «священной истины бесстыдной ложью».

Окажись этих избранных Евангелий не четыре, а сорок, все равно было бы мало. Ибо истина умеет сначала явить себя, а потом вновь затеряться во мраке. Я же хочу рассказать историю непростую, местами неожиданную, но правдивую. Во всяком случае такую, какой она помнится мне.

***

Четырнадцать лет кряду я вместе с десятью другими юношами ходил в подмастерьях у плотника Иосифа. Любого новичка первым делом учили распускать бревна на доски. Всадив клин по центру, мы обухом топора загоняли его все глубже, покуда ствол не

Полностью роман будет опубликован в издательстве «Вагриус».

© 1997 by Norman Mailer
© О. Варшавер. Перевод, 1998

расщеплялся надвое. Мы проделывали это снова и снова. Лишь у самых хватких клин шел ровно, и можно было сразу приступать к долгой и кропотливой обработке получившихся грубых досок.

Найти общий язык с древесиной тоже было нелегко. Мы хорошо помнили, что яблоки с райского древа обладали знанием о добре и зле, и порой казалось, что добро и зло по-прежнему таятся в любой древесине. Тратишь многие дни на прекрасный чурбак, а он предает тебя из-за одного неверного движения. Или доска вдруг раскалывается сама по себе. Со временем я поверил, что даже необструганная доска отлично разбирается в добре и зле (и всегда норовит сотворить последнее). Но это неудивительно: проходя мимо доброго дерева, злой человек непременно смутит его листву.

И все же за работой мы обретали мудрость. Когда дело спорилось, на душе было хорошо и покойно. Меня радовал запах крепко сколоченного комода, и светлый дух витал между древесиной и моими ладонями. Уж не знаю, как это понятнее выразить. В моей семье об этом не говорили. Мы были ессеями, то есть самыми истовыми почитателями единого иудейского Бога. Ессеи глубоко презирали римлян — за то, что те молились многим божествам. Поэтому дома я и заикнуться не мог о духе, жившем в древесине. Духи — это язычество, а муж моей матери, плотник Иосиф, воспитал меня в вере в единого Бога, такой же крепкой, какую сам хранил в душе своей. Иосиф, когда не работал, носил белые одежды и часто стирал их, даже если вода в колодце стояла совсем низко. Соблюдение чистоты — один из главных ессейских догматов.

Немудрено, что женились ессеи редко, и муж ложился с женой, только когда Бог повелевал ему зачать ребенка. Остальные евреи считали ессеев сектой и предсказывали нам вымирание (и весьма скорое!), если не обратимся к общепринятым традициям.

Теперь вы понимаете: я вырос в страхе перед женщиной. Искать близости и даже просто подходить к ней запрещалось. Нам надлежало стать воинством Божиим, а близость с женщиной уносила силы, которые вели нас к этой великой цели. Таков был закон, и преступить его мы не имели права, пусть даже война во имя Божие продлится всю жизнь.

***

Когда мне исполнилось двадцать семь, ученичество закончилось. Я и сам стал мастером, хотя продолжал работать с Иосифом. В юности другие подмастерья завидовали мне, считая наставника моим отцом, но я мог бы поклясться, что Иосиф жил богоугодно и относился ко всем ученикам равно уважительно, как и к своей работе. Видя мое прилежание, Иосиф кивал и говорил: «Если Бог уготовил, из тебя выйдет хороший плотник». Что он имел в виду? Произнося такие слова, он обыкновенно отворачивался и поджимал губы, точно боялся проболтаться.

На самом деле к старости память его ослабела, и он позабыл, что главный секрет — историю моего рождения — он рассказал давно, когда мне было двенадцать лет. Впрочем, я и сам помнил это весьма смутно, потому что узнал обо всем в дороге, на пути из Большого иерусалимского храма в Назарет, и был настолько потрясен услышанным, что по возвращении домой свалился в тяжелейшей горячке. И, казалось, позабыл рассказ Иосифа напрочь. Правда, я думаю, дело не в болезни. Просто мне не хотелось об этом думать. Лишь восемнадцать лет спустя, когда мне исполнилось тридцать и я оплакивал смерть Иосифа, я припомнил его давний рассказ.

В те годы моя семья, как и другие ессеи из Назарета, богачи и бедняки, за неделю до Песаха облачались в белые одежды и отправлялись в Иерусалим. Мы шли толпой, так что могли не бояться промышлявших на дорогах грабителей. Три дня с рассвета дотемна мы шли по холмам, долинам и пустошам, разделявшим Назарет и Иерусалим. Однако, когда мне минуло двенадцать, мы туда ходить перестали.

Дело в том, что в последнее наше паломничество, когда назаретские ессеи уже выходили из наружных ворот Иерусалима и направлялись домой, я выскользнул из толпы и побежал обратно к Большому храму. Поскольку обычно ребятишки из Назарета держались вместе, мать хватилась меня не сразу.

Не обнаружив меня ни среди друзей, ни среди родственников, ни среди соседей, Мария и Иосиф поспешили обратно в Храм. Там, в одном из внутренних двориков, они меня и нашли — в окружении священников и книжников. К изумлению моих родителей, я не только держался с учеными людьми вполне свободно, но и осмеливался вести беседу.

И речи мои — если верить Иосифу и Марии — были речами пророка. Настоящим чудом.

Позже, после смерти Иосифа, я понял, что должен стать проповедником, и спросил у матери, что же я говорил тогда, восемнадцать лет назад, возле Храма. Но она отвечала только, что слова мои были святы и она не может их повторить, как не может упоминать имя Господа всуе. Однако ее отказ подстегнул мою память. Я все вспомнил и порадовался собственной мудрости.

Что же я тогда говорил? Речи мои были не столько святы, сколько сложны для понимания. В те времена мудрецы в синагоге частенько вели затейливые споры о Слове. Всегда ли Слово было Словом Божиим?

Спустя много лет Иоанн начнет свое Евангелие так: «В начале было Слово. И было Слово — Бог». Но это потом, через много лет после моего ухода. Когда же мне было двенадцать, вопрос был еще открыт. Сотворил ли Бог нашу плоть наподобие плоти других своих тварей или создал нас единым Словом?

Помню, я поведал этим взрослым и ученым людям, что Слово вначале жило в воде. Холодным зимним утром дыхание, которое выносит изо рта нашу речь, похоже на облако, а облака — сказал я тогда — чреваты дождем. Потому-то Слово и живет в воде нашего дыхания. Потому-то все мы и принадлежим Богу. Ибо все воды, как мы знаем, принадлежат Ему, пусть даже все они текут в море.

В тот час священники сказали моей матери:

— Никогда не слышали мы столь мудрых речей из столь юных уст.

Эта похвала, вероятно, и подвигнула Иосифа рассказать мне по дороге домой историю моего рождения. Я же вспоминаю сейчас, как все это всколыхнулось в моей памяти, когда мне шел тридцатый год. Я молился на похоронах Иосифа, а перед глазами стояло его лицо, страдальческое и отрешенное, в ту минуту, когда он признался, что он мне не отец. <...>

***

Иосиф любил повторять:

— Доски, соединенные лишь руками, но руками бережными и неравнодушными, всегда подогнаны ровнехонько, стык в стык, как супруги в богоугодном брачном союзе. А доски, сколоченные железными гвоздями, распадутся, едва эти гвозди проржавеют. Они распадутся, как брак, изъеденный ржавчиной измены.

Уж не знаю, по этой ли причине или по какой другой, но в первые семь лет ученичества никому из нас железных инструментов не доверяли, и работали мы только с бронзой. Иосиф часто рассказывал, как проверяли в древности мастерство плотника. А еще он описывал шкатулочки, которые изготовляли египтяне из таких неблагородных пород, как акация, смоковница и тамариск. Древесина у них волокнистая, узловатая, и каждую поверхность надо было покрыть краской и сусальным золотом. Эти творения египтян, хоть и выполнялись бронзовыми инструментами, превосходили наши по красоте и изяществу. У Иосифа хранилась одна такая шкатулка, и он не уставал дивиться ее округлым, похожим на голубиные хвосты углам.

Железными инструментами мы начали пользоваться с осторожностью, даже с опаской. Все ученики знали про видения пророка Даниила и помнили, что клыки четвертого зверя были как раз железными и крепость их навевала ужас.

Но я учился — вопреки страхам. И через некоторое время уже мог управляться с железными орудиями и знал подходы к самой разной заморской древесине: клену, березе, дубу, тису, ели, липе и кедру. Из дуба мы обычно делали дверные косяки, из гибкого, податливого клена — кровати, а душистый кедр оставляли для сундуков и комодов. Крепкая, как камень, дикая олива шла на рукояти для инструментов.

У меня завелись приятели среди ремесленников — золотых и серебряных дел мастера. Мы даже обсуждали, не поехать ли в Рим — поучиться у тамошних искусников. Впрочем, дальше разговоров дело не шло. Ведь мы неукоснительно соблюдали ежедневные обряды очищения, а Рим — как мы знали — кишел грешниками. Сам император с императрицей предавались такому разврату, что люди не упоминали об этом вслух — из боязни, что языки их покроются язвами.

Итак, я гордился своим ремеслом и уважал инструменты, помогавшие мне в работе. В ящике у меня лежали напильник и рубанок, молоток и сверло, бурав и тесло, локоть и пила, три стамески и полукруглое долото. Главным же инструментом было мое умение обращаться с деревом.

Когда мы делали еловый пол, мы непременно молились, чтобы он не загорелся. Потому что огонь всегда тянется к ели. А над изделиями из зимнего дуба мы читали другую молитву, так как его древесина подвержена гниению. Зато кипарис — порода благословенная и его никогда не точит древесный червь.

Иосиф научил нас также многим видам каменной кладки, показал, как делать фундаменты для больших зданий, и поведал о материале, называемом пуццолан. Это особые комья, которые извергают вулканы к югу от Рима. Из смешанного с известью пуццолана получается цемент. Все эти знания заставили меня задуматься о мудрости Господа. Как хорошо знает Он все, что сотворил! Поэтому комья, изрыгнутые далеким вулканом, и могут за тридевять земель обрести новую жизнь и скрепить камни, из которых сложен дом. Я часто размышлял о сотворенных Им разнообразных веществах, в которые мы вкладываем свой труд. <...>

***

Валуны на вершине стояли, точно надгробья, и меж них зияли провалы немереной глубины. Был полдень. Весь жар близкого солнца изливался прямо на меня.

Я сидел в тени большого камня и глядел на земли Израиля. К северу простиралась Галилея, к югу — Иудея. В воздухе висела золотистая дымка. Уж не отсвет ли золотых иерусалимских куполов? Однако я недолго всматривался в далекие холмы, пытаясь разглядеть священный город. Прожив весь предыдущий день без пищи, я терзался муками голода.

Но я знал, почему Господь послал меня на гору. Мало быть сыном Божьим и братом Иоанна Крестителя, надо еще пройти испытания. И первое из них — пост. Я сказал себе:

— Не стану есть до захода солнца.

И тут же услышал Господа. Я не видел Его, и Он ничем, кроме голоса, не выдал Своего присутствия. Но я отчетливо услышал:

— Ты не станешь есть, покуда Я не разрешу тебе.

И я оставался без пищи весь этот и последующие дни. К пятому дню голодные боли в животе сменились торжественной пустотой духа, я ослабел и усомнился, найду ли в себе силы спуститься с горы. Я воззвал:

— Долго ли, Господи?

И Он ответил:

— Долго. Еще долго.

Поскольку я пришел не спорить, а исполнять Его волю, пост стал даваться мне все легче и легче. Я избегал палящего солнца и полюбил вкус воды и мудрость, что постигается в тени больших камней (пока они совсем не остынут от ночного холода). А ночи на горе были холодные. На вершине не росло ни кустика, ни травинки. Да это и к лучшему. Иначе я бы не удержался и принялся глодать шипы и колючки.

На исходе второй недели мне привиделся царь Давид, и я понял, что он совершил великий грех. Не запомнив, чем именно он провинился, я запомнил зато, как он был наказан. А еще я запомнил, что после его смерти Господь явился его сыну, царю Соломону, и спросил:

— Что даровать тебе?

И Соломон ответил:

— Господи Боже, я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, а раб Твой — среди народа Твоего, великого народа, которому несть числа. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы различить, что добро и что зло.

Помню, речь эта так понравилась Богу, что Он молвил:

— За то, что ты не просил ни долгой жизни, ни богатства, ни смерти врагов твоих, но просил лишь разума, чтобы уметь судить, я даю тебе сердце мудрое и разумное.

А вдобавок Бог дал Соломону все, о чем он не просил: и богатство, и славу, — и не было в те дни царя более великого, чем царь Соломон.

Однако теперь голос Господа сказал мне:

— Соломон не выполнил моих заповедей. Он изрек три тысячи пословиц, спел общим счетом тысячу и пять песен, люди стекались отовсюду, чтобы внять мудрости Соломона, ибо в этом он превосходил всех земных царей. И остальные цари несли ему в дар серебро и слоновую кость, обезьян и павлинов, но… — произнес Господь в самое мое ухо, — царь Соломон полюбил многих чужестранных женщин: и дочь фараонову, и моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттеянок, — хотя я повелел сынам Израиля: «Не входите к ним, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам». У Соломона же было семьсот жен и триста наложниц. Нет, хоть он и дожил до глубокой старости, но с каждым годом радовал меня все меньше и меньше. Слишком много подарков получил он от меня, слишком много. Потому-то, — продолжил Господь, — тебе я вовсе не дам богатства. И ты никогда не коснешься женщины, иначе Бог покинет тебя.

Перечислив грехи царя Соломона, Он дал мне пищу для размышлений — преимущество, которого Соломон был в свое время лишен. К тому же я ослабел от долгого поста и совершенно не хотел женщины. Запрет Господа не показался мне лишением. Пост мой продолжался.

В эти недели мне часто являлись пророки: Илия, Елисей, Исаия, Даниил и Иезекииль. Все, что они говорили, я помню дословно, как если бы говорил это сам.

Однажды мне приснилось, будто я — пророк Илия и веду спор с прорицателями Ваала. Более сорока язычников взошли на мою гору, чтобы принести в жертву тельца, но сперва они разрушили алтарь Господа, возведенный на самой вершине. Потом, в знак преданности Ваалу, они исполосовали себя ножами. Из ран хлестала кровь, язычники истошно вопили, но Ваал не отзывался.

Видя, что Ваал в моем присутствии безмолвствует, я поставил стоймя двенадцать больших камней, чтобы обозначить двенадцать колен Израилевых, и воздвигнул алтарь заново. После чего вырыл вокруг камней ров, положил на алтарь дрова и, заколов тельца, кинул мясо на дрова. И принялся лить воду на принесенную жертву: лил, покуда ров не наполнился водой.

И тут взметнулось пламя Божье, охватило тельца, мокрые дрова, камни и мгновенно слизнуло из рва всю воду. Я же обезглавил всех до единого прорицателей Ваала и лишь тогда проснулся.

Проснувшись же, осознал, что я вовсе не Илия, а видел сон согласно его пророчествам. И сон этот говорит о том, что мой пост должен длиться сорок дней и сорок ночей. Иначе — если я не изменюсь сам и не изменится народ Израиля — всем нам грозит Божья кара.

Я понял, что в молодости размышлял о древесине под резцом куда больше, чем о своем народе. И не прислушивался к Иосифу, который часто повторял: «Все мы повинны в грехе Израиля, ибо не прилагаем усилий, дабы его избыть».

Я еще не ведал, что стану печься о грешниках больше, чем о праведниках. Я довольствовался тем, что вспоминал слова пророка Исаии: «Хотя народ твой — что песок морской, но оставшиеся вернутся». И теперь, на шестой неделе своего поста, вдохновленный пророком Исаией, я надеялся, что с помощью этих «оставшихся» правоверных евреев мне удастся возродить все, утраченное моим народом. Я повторял речения Исаии вслух, вперив взгляд в самое солнечное око, пока глаза мои не начинало жечь огнем и я не принужден был возвращаться в тень. Я раздумывал, с какими проповедями обратить-

ся к грешникам, и решил вновь прибегнуть к словам Исаии: «Омойтесь, очиститесь; отрешитесь ото зла в деяниях своих; освободите угнетенных».

И настал сороковой день. И настал вечер, и Господь обратился ко мне:

— Завтра можешь сойти с горы и принять пищу.

Тут меня снова одолел голод — жестокий и необоримый.

Я неотступно думал о пище, но Бог сказал:

— Сегодня останься на горе. И жди гостя.

***

Вскоре гость появился: прекрасный, как князь. Его шею украшала золотая цепь с подвеской, а на подвеске был изображен овен, свирепый, но самый прекрасный из всех виденных мною овнов. Волосы князя, длинные, как и мои, отливали шелковым блеском. На нем были бархатные одежды цвета багряного заката, а на голове корона — золотая, как солнце. Он взошел на крутую гору, но одежда не запылилась и на коже не проступил пот. Я признал его сразу — и не ошибся. Дьявол не замедлил представиться, и я подумал: он — самое совершенное из Господних созданий.

Он спросил:

— Ты знаешь, какой смертью умер пророк Исаия?

Я промолчал. И вынужден был выслушать такую тираду:

— Исаия был убит иудейским королем, язычником Манассией, предшественником Аммона. Манассия был плохим евреем. — Дьявол горестно покачал головой, точно сам был́ евреем хорошим (а я уверен, что не был!). Затем он назидательно поднял перст и заговорил снова: — Этот Манассия жаждал уничтожить религию своих отцов и повелел изгнать Исаию из родного дома, с тем чтобы он скитался вечно, а на него охотились, как на дикого зверя. Услышав об указе, Исаия бежал, а солдаты Манассии устремились в погоню. Оказавшись в пустыне, пророк стал искать дерево с большим дуплом, где мог бы стоя уместиться человек. И нашел — в толстом дубе с гнилой сердцевиной. Там он и притаился. Но посланцы Манассии обнаружили его убежище, принесли пилу и распилили ствол. Исаия скончался в страшных мучениях. Ты знал об этом?

— Нет, я не слышал о такой смерти.

Дьявол засмеялся. У меня же его рассказ унес больше сил, чем весь мой долгий, многонедельный пост.

Дьявол, однако, и не думал умолкать.

— Тебе не стоит много размышлять над кончиной Исаии. Ты ведь не пророк, а воистину Сын. На моей памяти — а я помню немало! — Бог ни разу не учинял ничего подобного. И теперь один твой вид наводит меня на самые занятные размышления. Ибо ты, похоже, не повинен ни в едином известном мне грехе.

Он взглянул на меня с явной приязнью. В матово-черных глазах его блеснули искры.

— Ты не голоден? — спросил он заботливо. — Может, хочешь выпить?

И вытащил из-под полы плаща незамеченный мною прежде кувшин с вином и хорошо прожаренную баранью ногу. Он подошел ко мне почти вплотную, так что ноздри мои втянули винный дух и аромат мяса. Из складок плаща пахнуло и самим дьяволом, его телом вперемешку с какими-то благовониями. Он источал алчность — запах сродни тому, что исходит из отверстия меж ягодиц. Поэтому я отказался от предложенной им пищи, хотя остальные запахи раздразнили мой аппетит, как духовитый дымок из печи, где томится мясо. Он же, видя мою решимость, снова улыбнулся и произнес:

— Ну, разумеется, тебе вовсе не нужна еда. Ты же Сын Божий и запросто можешь превратить все эти камни в хлеб. А хлеб — достойная еда для ессея. Но что я вижу? Твои одежды в пыли и грязи! И при этом ты — Сын Божий? Странно. Почему твой Отец избрал именно тебя? Кстати, когда будешь говорить с Ним в следующий раз, передай от меня привет. Тебе, верно, и невдомек, а ведь мы с твоим Отцом немало беседовали, немало спорили и теперь всегда рады получить весточку друг от друга. При встрече я никогда не упускаю случая сказать Ему, что мужчина и женщина действительно венец творения, лучшее из всего живого, что Он создал, но я разбираюсь в этом Его изделии куда

лучше, чем Он сам. Кроме того, Он насоздавал множество мелких тварей, о которых знает куда меньше моего. Да и неудивительно. Я ведь был когда-то Его слугой, самым преданным и доверенным. Так что, прикинь, насколько хорошо Он мне знаком.

Я потрясенно подумал: с ним не страшно, с ним хорошо и покойно. А еще я вдруг понял, каково живется грешникам. Даже ощутил вкус вина, которое они пьют в жалкой таверне. Все лишения долгого поста позабылись, и конечности мои окрепли, точно на них пролился бальзам. Я понял, что способен говорить с дьяволом, что мы найдем общий язык. Пусть от запаха, источаемого им, становится не по себе, но он снисходителен к желаниям, которые я прежде не смел допустить до своего сердца.

В то же время, при всем доверии к гостю, я не мог согласиться, что Господь, Владыка мира, знает о своем творении меньше, чем дьявол.

— Это невозможно, — воскликнул я. — Он всемогущ. Пред Ним склоняются небеса и земля, звезды и солнце. Пред Ним, а не пред тобой.

Сатана фыркнул, точно конь. Похоже, узда не пришлась бы ему по нраву.

— Твой Отец, — молвил дьявол, — всего лишь бог, один среди многих. Не забывай, какому множеству божеств поклоняются римляне. По-твоему, их боги не достойны уважения? А твой Отец, кстати, даже не может справиться со своим народом, с евреями, хотя многие из них признают Его единственным и неповторимым. Ты бы лучше задумался: не слишком ли часто и надолго Он впадает в гнев? Пристало ли это великому Богу? Ведь Он, когда разъярится, забывает об элементарном чувстве меры. И изрыгает слишком много угроз. Не терпит, чтоб Ему прекословили. На самом же деле, скажу тебе по секрету, капля непокорности и вкус предательства придают жизни немалую привлекательность. Эти радости отнюдь не зло, а скорее обаятельные пороки.

— Это не так, — с усилием выговорил я. — Мой Отец — Господь, и Он властен над всеми и всем. — Я говорил, но слова мои были бесцветны и вялы.

— Он не властен над самим собой, — ответил дьявол.

***

Только представьте! Дьявол произнес это без малейшего страха!

— Твой отец, — продолжал он, — не вправе требовать от своего народа абсолютного повиновения. Он не понимает, что женщины — существа, отличные от мужчин, и живут по своим законам. На самом деле, твой отец не имеет ни малейшего представления о том, что́ есть женщина. Он ее презирает, а вслед за ним — и Его пророки, говорящие, как считается, с Его голоса. Да так оно, собственно, и есть. Ведь Он почти никогда их не наказывает! Возьмем, к примеру, Исаию. Ну, разве не дорог он сердцу Отца твоего, когда провозглашает: «За то, что дочери Сиона надменны, и ходят подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их». Срамоту их, — смачно повторил дьявол. И снова продолжал словами Исаии: — «Отнимет Господь красивые браслеты и ожерелья, цепочки на ногах, и серьги, и перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо подвязки будет веревка, вместо завитых волос плешь, и вместо красоты клеймо».

— Отец говорит обо всем народе Сиона, — возразил я. — Так нас учили.

— А вот и неверно, — сказал дьявол. — Он притворяется, будто говорит обо всех. На самом деле Он унижает лишь женщин. Самые грозные проклятия Он приберегает исключительно для мужчин. И, обращаясь к народу, обращается только к мужчинам: «Гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Какой гнев! Какая мощь! Его собственные неудачи жгут Его сердце. Разве может Он допустить, что Он не всемогущ? Нет! У Него не хватает духу признать поражение. Он не в силах сказать: да, я проиграл, но мои воины сражались отважно и честно. Нет же, Он слишком мстителен. Поэтому Исаия твердит: «И зарастут колючими растениями дворцы, крапивою и репейником — твердыни, и будут они жилищем шакалов, пока сам дух Его не соберет их» .

— Но когда? — спросил вдруг дьявол. — Когда же прольется на нас Святой Дух? Твой

Отец прислал тебя для исправления сердец человеческих, а Его собственное сердце купается в крови им убиенных. Его любовь ко всему, что Он создал, захлебывается в Его же проклятиях. Он заходится в приступах ярости, но и они не облегчают терзающей Его страсти. А как выдает Его речь! Ведь Он на самом деле алчет величия и наслаждений, которые якобы презирает! Может, ты веришь, что твой Отец не восхищается женщинами? Просто Он скрывает это даже от самого себя. Потому что ненавидит женщин за их чары. Боится, что его обольстят. Иезекииль хорошо знал, что́ на сердце у твоего Отца. В конце концов, он слышал эти слова от самого Господа: «Я поклялся тебе и вступил в союз с тобою, и ты стала Моею. Я омыл тебя водою и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем. И опоясал тебя виссоном, и надел на тебя узорчатое платье, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои браслеты, и на шею твою ожерелье, и дал тебе серьги к ушам твоим, и возложил на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава о красоте твоей, которую возложил я на тебя». Теперь послушай, как Он негодует. В этом негодовании Он, право же, жалок! «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого моходящего, и умножала блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта — соседями твоими, людьми с большою плотью; и с сынами ассирийскими прелюбодействовала, ибо была необузданна. Посему, блудница, за то, что в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя, Я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась, соберу их отовсюду против тебя и предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими. Они сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд пред глазами многих жен. Так положу я конец блуду твоему».

— Уж не думаешь ли ты, что все это и вправду произносится для порицания Иерусалима? — спросил дьявол. — Разве в словах твоего Отца не трепещет желание? Разве Он не хочет женщину?

— Это грязный навет! — Я хотел негодовать, возмущаться, а вместо этого лишь беспомощно повторил: — Ты возводишь гнусную напраслину.

Сатана возразил:

— Слова твоего Отца источают не меньше похоти, чем мои.

Я смятенно умолк. Я не смел отрицать, что кровь моя побежала к чреслам быстрее и член отвердел, когда дьявол повторял слова Отца.

И тут он произнес:

— Думаешь, мы по-прежнему сидим на вершине горы? Нет! Мы поднялись выше всех святых мест.

Он всецело завладел моим зрением. Внизу, под нами, раскинулся Иерусалим. И были мы уже не на горе, а на центральном куполе Большого иерусалимского храма.

У меня закружилась голова. И в этот миг дьявол произнес:

— Поскольку ты — Сын Божий, можешь прыгнуть. Ну же, вперед. Ангелы Отца твоего подхватят тебя и не дадут разбиться.

Меня и вправду потянуло прыгнуть. Но я вдруг почувствовал, что я — не Сын Божий. Пока не Сын!

Подо мною зияла пропасть. И я знал, что эта пропасть уготована многим и многим поколениям. Едва они окажутся наверху, их закрутит вихрь — тот бес-смутьян, что живет в нашем дыхании и таит в себе страх прыжка.

Дьявол снова пронзил меня темными очами. Искры в них сверкнули, точно звезды в ночи; они сулили мне неземное блаженство.

— Останешься с Отцом — будешь ишачить на Него всю жизнь, — сказал дьявол. — От тебя ничего не останется. Прыгай же. Это путь к спасению. Прыгай.

Я разобьюсь. Но вдруг мое небытие будет кратким? И я вскоре вернусь к живым? Дьявол вобрал, втянул меня в себя. Я заранее знал все, что он скажет, — по блеску темных глаз. Прыгни я сейчас, дьявол завладеет мной без остатка. Шагнуть по его приказу навстречу собственной смерти?

Тут он проговорил:

— Ты возродишься. Тайком. Отец не узнает. Я сумею его отвлечь.

Он принялся описывать мою грядущую благодатную жизнь.

— Все в моей власти! — вскричал он.

В своей алчности он был великолепен. Воистину, неприкрытая корысть способна создавать настоящие шедевры.

— Те, кто мне предан, — продолжал дьявол, — стоят на земле уверенно и крепко. Их экскременты — не жалкий козий помет вроде бисера, который выдавливает из костлявой задницы твой друг Иоанн. Ха! Он даже какать в Субботу не смеет! А в другие дни таскает за собой мотыгу, чтобы закапывать собственные испражнения.

А я в этот миг подумал: вдруг не разобьюсь? Вдруг меня вправду подхватят ангелы? Вдруг я полечу с ними — благодаря чудной силе, дарованной мне Господом?

Но как? Как узнать? Между мною и Отцом моим стоит Сатана. Вдруг в его власти отвести подставленное ангелом крыло?.. Я не прыгнул. Хотел, но не осмелился. И сказал себе: «Я стану Богу не отважным, а скромным и покорным сыном». Так оно и было прежде. Разве не провел я большую часть жизни в тихих трудах? Разве не были движения рук моих бережны и осторожны, когда я постигал тайны древесных волокон?

И я вдруг понял, почему Бог выбрал мне в родители Марию и Иосифа. Я сказал:

— Изыди, Сатана. — Голос мой был поначалу слаб, но я повторил: — Изыди. — И голос зазвучал громче и тверже. Он набирал силу из гулкой пустоты. И я познал мудрость Божию. Ибо даже в пустоте поста обретается сила, которая смеет противостоять ненавидящему пустоту дьяволу. Разве есть существо более одинокое, чем дьявол? Я, наконец, осмелился взглянуть в глаза Сатане. И произнес:

— Ты мне не нужен. Мне нужен мой Отец.

Я отвергал его, а сердце щемила боль хоть и малой, но горькой утраты. Я терял что-то желанное, терял навсегда.

Сатана возопил, как пронзенный копьем зверь:

— Твой Отец готов разрушить собственное творение! Из-за какой-то ерунды!

Возопил и исчез. А меня окружили ангелы, торопясь омыть глаза мои. И я погрузился в сон. Никогда прежде не знал я такой безмерной усталости.

Наутро я снова проснулся на знакомой горе, где провел сорок дней поста. Теперь я был готов спуститься вниз. Путь в Назарет предстоял долгий, по безлюдной дороге. Однако в первые два дня никаких грабителей мне, к счастью, не встретилось. К счастью, потому что я был слишком измучен после часового разговора с Сатаной. Дыхание мое было смрадным, и я пока не чувствовал, что окончательно выбрался из дьявольских тенет.

Но, воодушевленный собственной стойкостью, я шел, повторяя слова Исаии:

— «Младенец родился нам; сын дан нам; владычество на раменах его; и нарекут имя ему: чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира».

И пусть я, ничтожный, был недостоин этих слов, я полагал, что Бог выбрал меня в сыновья, поскольку я родился и рос не царем, а среди простых людей. Я мог различить в чужой душе и добро, и мелкие пороки. И сумей я приумножить данную мне силу (а я знал, что Он щедро наделит меня силой), возможно, тем самым приумножится и добродетель в человеческом мире. Так начал я верить в Отца своего. И решил служить Ему не покладая рук. Скоро Он придет спасти Иерусалим. Он — царь вселенной. Я буду служить Ему с радостью. Он успокоит скорбящих, накормит голодных. Даже отчаявшимся грешникам благодаря Ему будут отпущены грехи. Я возликовал. Неужели это мои собственные мысли? Похоже, схватка с дьяволом начисто лишила меня способности мыслить трезво, и я возомнил о себе слишком много. Впрочем, тогда, в то утро, я не слишком боялся Сатаны. Он завладел лишь малой частью моей души. Это была проверка на преданность Господу, и я ее выдержал, и теперь язык мой постепенно очищался от скверны. Тут мне явилось чудо, самое скромное и прекрасное чудо из всех чудес: посреди безводной пустыни я наткнулся на сливовое деревце с плодами. Они утолили мою жажду, влили в руки и ноги теплую, животворную силу. Я упал на колени, желая возблагодарить Создателя. Но, едва начав молиться, снова поднялся.

Сколько вопросов! Почему Господь оставил меня наедине с Сатаной? Не за тем ли,

чтобы сбить с меня излишнее благочестие?.. Вскоре эта догадка подтвердится. Мне предстоял великий труд, из тех, что нельзя исполнить на коленях. <...>

***

Я уже совсем собрался в Иерусалим, но был вынужден задержаться в Галилее. Мои сподвижники никак не могли решить, когда же нам все-таки выступить в путь. Даже утром в день, когда мы наконец договорились идти, опять случилась задержка. Исчез Левий. Оказалось, он пьет вино с какими-то людьми, которые нас ничуть не почитали. Остальные апостолы рассвирепели.

— Пускай нас будет одиннадцать, а не двенадцать! — сказали они. — Обойдемся без него.

Я произнес:

— Если у человека есть сотня овец и одна из них потеряется, как думаете, пойдет он в горы ее искать? И если удастся вернуть заблудшую овцу, не будет ли он рад ей больше, чем остальным девяноста девяти.

Петр возразил:

— Господин мой, в детстве я жил с дядей, а был он пастухом. Поэтому я тоже пас овец. Так вот, у нас не было принято гоняться за заблудшими овцами. Мы старались уберечь хороших.

— Ты не прав, — молвил я. — Сын Человеческий пришел в мир, чтобы спасти заблудших.

И в этот миг я услышал, как Господь вздохнул. Он избрал детей Израиля своим народом уже тысячу лет назад. И сколько же овец забрело за это время неведомо куда! Я остался ждать Левия.

Он вернулся под вечер, полубезумный. Человек, который пропьянствовал день напролет, остро чувствует все зло, всю неправоту людскую — потому и пьет. Это его способ защититься. Может, Левий слишком хорошо знал, какие беды ждут нас в Иерусалиме?

В ту ночь я долго проповедовал, вероятно, чтобы умерить непокой собственной души. Я продолжал говорить, даже когда огонек внимания в глазах моих апостолов тускнел и гас. Что ж, они слушали меня не единожды. Но среди нас были новые лица. И я решил учить, прибегая к иносказаниям. Я давно понял, что люди, будучи созданиями Господа, во многом унаследовали Его гордыню. Им легче учиться без наставничьего кнута. Полезнее отгадывать загадки, чем выслушивать назидания. Так они быстрее проникаются Божьим духом.

И я поэтому предложил им такую притчу:

— Царство Небесное подобно человеку, посеявшему на поле своем доброе семя. Но когда он спал, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы. И вместе с пшеничными ростками взошли сорняки...

Тут меня прервал один из слушателей:

— Следует ли слугам хозяина прополоть поле?

— Нет, — ответил я. — Иначе они вырвут и пшеницу. Пускай добрые колосья и сорняки растут бок о бок до самой жатвы. Тогда, и только тогда, можно отделить плевелы, связать в снопы и сжечь. А пшеницу принести в дом.

Но тут у меня возник вопрос к самому себе. Хорошо ли Божьи ангелы умеют отличать добро от зла? В своих скитаниях я познал хитрость простых людей. А священники и того хитрее. Что, если перед райскими вратами стоит часовенка, вроде домика сборщика налогов? Если так, в рай может проникнуть множество нечестивцев.

Я убеждался снова и снова: людям не так уж важно, велики они ростом или малы, худы или толсты, красивы или уродливы. Их не волнует даже, есть ли у них сила в руках. Зато по жизни их ведет одна общая страсть — алчность.

Недаром Петр сказал мне: «Мы бросили все и пошли следом за тобою. Что мы получим взамен?» Поэтому я рассказал еще одну притчу — специально для Петра:

— Хозяин нанял работников по динарию за день и послал их на виноградник. Прошло два часа, и он нанял еще людей, потом через пять часов и даже через восемь. В кон-

це дня он велел своему управителю позвать работников и расплатиться с ними. Каждый — не важно, работал он с первого часа до последнего или всего ничего — получил по динарию. Первые возроптали, поскольку считали, что должны получить больше. Но хозяин сказал: «Разве не вы согласились работать за один динарий? Берите то, что вам причитается, и уходите. Я всем дам поровну. Пусть последние будут первыми и первые последними».

Я воодушевился от силы моего голоса. Я говорил с таким напором, что Господь шепнул мне на ухо:

— Довольно! В твоих речах таится семя недовольства. Когда меня нет рядом, тебя сопровождает дьявол.

Мне почудилось, будто Бог коснулся моего лба шипом терна; я уже не мог бы сказать наверняка, чей голос я только что слышал. Я понял, что быть Сыном Божиим вовсе не то же самое, что быть князем рая. Мой удел: ходить у Него в подмастерьях и учиться говорить просто и мудро, не ошарашивая людей потоками красноречия, а главное — и самое трудное — различать, когда моими устами говорит Бог, а когда нет.

Мы ждали и старались поддержать в себе твердость духа, но меня обуревали сомнения. Я так старался достучаться до сердец своих соплеменников, людей достойных, уважаемых в обществе, но многие из них отвергали меня.

Тогда-то и состоялся самый мой длинный разговор с Иудой. В очередной раз исполнившись сомнения, я спросил у него:

— Почему они не идут ко мне? Неужели не хотят обрести Царство Небесное?

Он с готовностью ответил:

— Потому что ты их не понимаешь. Твердишь о конце света, о переходе в иное царство. Но ростовщик или купец вовсе не хочет, чтобы его жизнь кончалась. Ему уютно на этом свете, он любит посмаковать свои маленькие победы и утраты. Он пребывает в ладу со всем, что его окружает, — не важно, чище вокруг или грязнее, чем было задумано Господом. Он живет игрой счастливого случая. Потому-то, когда не играет, и становится таким «праведником». Он подозревает, что Бог вряд ли его одобрит, но тем не менее наслаждается жизнью именно как игрой, а не как серьезным делом. Всерьез он относится лишь к деньгам. Золото для таких людей — философский смысл бытия; они, конечно, могут размышлять о спасении души, но вряд ли чем-нибудь ради этого спасения поступятся. Они даже согласились бы со всеми твоими рассуждениями — не требуй ты от них слишком многого. Ты же велишь всецело предаться служению Господу. И наносишь им тем самым глубокую обиду. Ты стремишься к концу света, чтобы все мы познали рай небесный. А знакомый тебе купец стремится совсем к другому. Иметь всего понемножку и поклоняться Всевышнему — разумеется, на почтительном расстоянии.

— Ты говоришь так, словно согласен с ними.

— Зачастую мыслями я ближе к ним, чем к тебе.

— Тогда почему ты со мной?

— Потому что многое в твоих речах мне дороже той радости, которую я испытываю, когда гляжу на игры богачей. Я вырос среди них, мне ведомы движения их сердец, и я их презираю. Они всегда уверены в своей непогрешимости. Они богачи до мозга костей, даже когда, расщедрившись, подают милостыню, когда молятся Богу, когда кичатся преданностью своему народу. Я их презираю. Они не только терпят существование пропасти между богачами и бедняками, они эту пропасть углубляют.

— Значит, ты со мной?

— Да.

— Потому что я утверждаю, что Царство Небесное наступит, когда не будет ни богатых, ни бедных?

— Да.

— При этом ты говоришь так, будто не хочешь попасть в Небесное Царство.

— Да покарает меня Господь, но в Небесное Царство я не верю.

— И все же ты с мной. Почему?

— Ты готов к правде?

— Без правды я — ничто.

— А правда, дорогой Иешуа, в том, что я не верю, что ты когда-нибудь приведешь нас к спасению. Однако речи твои придают беднякам мужества, позволяют им почувствовать себя ровней с богачами. Этим я и счастлив.

— Только этим?

— Я ненавижу богатых. Они нас всех отравляют. Они тщеславны, недостойны, глухи к упованиям тех, кто от них зависит. Они лгут беднякам, вся их жизнь проходит во лжи.

Я не знал, что ответить. Но слова его меня ничуть не огорчили. Напротив, я почти ликовал. Этот человек будет служить моему делу, служить истово. И поможет тем самым привести нас всех к спасению. Я предвкушал, как мы вместе войдем в райские врата и недоверчивая улыбка Иуды сменится радостной. Тогда он и поймет, что слова мои шли прямиком от Отца.

Я любил Иуду. В эту минуту я любил его даже больше, чем Петра. Будь все мои ученики так же со мной откровенны, я стал бы стократ сильнее, я смог бы столько совершить...

Я сказал:

— Представь: я помогаю беднякам чуть меньше, на самую малость меньше, чем сейчас. Я паду в твоих глазах?

— Я отрекусь от тебя. Кто готов предать бедняков на малую толику, однажды предаст их с головой.

Я восхитился. Иуда не ведает о небесном счастье. Но он так же верен своим убеждениям, как я — моим. Он достоин даже большего восхищения, чем Петр, чья вера слепа и тверда как камень и потому может быть расколота другим камнем, побольше.

Я понял и другое: мы с Иудой можем крепко не поладить. Потому что в его сердце нет того, чем щедро наделил меня Отец, готовя к грядущим, самым непредвиденным испытаниям.

Скажу еще. Разговор с Иудой удивительным образом успокоил разор, царивший в моей душе. Все вдруг встало на свои места. И мы были готовы выступить в путь. Мне даже не верилось, что мы наконец отправляемся в Иерусалим. Но утро выдалось прекрасное. И, хотя мы страшились, страх не мешал нашей радости, не поглощал нас целиком, а таился в самой глубине сердца. Ноги же бодро шагали вперед.

И так отрадно нам было идти, что многие поверили: через день-два, когда покажутся купола Иерусалима, нам явится Царство Божье. И с нами будет Господь. <...>

***

Поскольку я хотел, чтобы наш вход в Иерусалим воодушевил моих сподвижников, я послал вперед двух учеников и велел им:

— Пойдите в ту деревню и попросите осленка, на которого никто доселе не садился. Как найдете, ведите сюда. Хозяевам объясните, что это животное нужно Богу.

Они ушли и вскоре вернулись с норовистым необъезженным молодым ослом. Я сел на него верхом и уцепился за гриву. Если я не смогу усмирить это строптивое существо, справлюсь ли с негодованием тех, кто ждет меня в Большом храме?

Мало-помалу осел перестал ошалело метаться. И хотя он шел неровным шагом, изредка становясь на дыбы, процессия бодро продвигалась вперед. Мне нравилось это животное, нравилось ехать на нем верхом. А еще мне нестерпимо хотелось есть.

Поэтому, завидев впереди фиговое деревце с пышной кроной, я устремился к нему рысью, надеясь насытиться. Но на ветвях не нашлось ни единого спелого плода.

Неужели нам ни в чем не будет удачи?! И я в сердцах обратился к дереву:

— Да не будет от тебя плода вовек!

Я проклял корни своего собрата, другого живого существа, и это проклятие легло мне на сердце тяжким грузом. «Я — Сын Божий, но в остальном я самый обыкновенный человек, — укорял я себя. — Людям свойственно разрушать, бессмысленно и бездумно».

Так я понял, что Сатана не отступился, он кружит надо мной, как ястреб над полями, высматривая добычу, а потом камнем кидается вниз. В такой миг я и проклял дерево.

Шедшие впереди мужчины и женщины срывали пальмовые ветви и устилали ими мой путь. Они кричали: «Хвала! Благословен Тот, кто пришел во имя Господа! Хвала сыну Давидову! Хвала Господу в небесах!» А некоторые кричали: «Благословен царь, пришедший во имя Господа!» Иерусалимцы (большинство из них никогда не видели меня прежде) встретили нас доброжелательно; многие приветственно махали из окон. Молва о наших добрых деяниях достигла Иерусалима раньше нас.

Но я не забыл о фиговом деревце. Его ветви теперь бесплодны навсегда. Мне вдруг вспомнилось падение города Тира. Тысячу лет назад он процветал: его жители ели на столах из эбенового дерева и носили расшитые изумрудами пурпурные одежды; его закрома ломились от меда и целебных настоев; кедровые сундуки были до краев полны кораллами и агатами. Но море смыло все, все без остатка. А вдруг и Иерусалиму, славному ныне, как некогда Тир, суждено будет пасть?

Я разглядывал огромные белые здания с колоннами и не знал: то ли предо мной храмы, то ли дома римского прокуратора. Я уговаривал себя: «Доброе имя дороже богатства», — но слова эти казались натужными, чересчур благочестивыми (потому что сердце мое екало при виде этих богатств). Тогда я напомнил себе: «Уста блудниц — глубокая пропасть. А великий город подобен блуднице».

Но я не мог презирать Иерусалим. Дети Израиля жили теперь пышно, как во времена царя Соломона, чей паланкин был сделан из ливанского кедра — с серебряными балясинами, золотым днищем и пурпурным сиденьем-троном; львиные лапы у основания трона были украшены руками иерусалимских дочерей. Потрясал Иерусалим во времена царя Соломона; потрясал он и теперь.

Среди здешнего великолепия мои последователи выглядели убого. Я заметил, как какой-то высокородный римлянин остановился и долго смотрел вслед нашей процессии. Сотни людей шли, кто попарно, кто по трое, и лишь немногие были одеты хорошо. В основном они были в рубищах или вовсе в лохмотьях.

Я тоже всматривался в свою свиту. К нам поминутно примыкали все новые и новые иерусалимцы; предо мной мелькали лица самые разные, отображавшие все характеры, все типы человеческие. Многих из них едва ли можно было назвать верующими: одни просто любопытствовали, другие терзались сомнениями, третьи ерничали и насмехались. Эти последние пошли с нами, чтобы вдоволь потешиться над фарисеями и отомстить им за старые обиды.

Некоторые из присоединившихся к процессии были строги лицом. Но в глазах их светилась надежда: вдруг я дам им новую веру? Вдруг она ляжет на их плечи меньшим грузом, чем старая, затертая от бесконечных повторений одних и тех же молитв? Шли с нами и дети; они глазели по сторонам с открытыми ртами и радовались чуду щедрости Божьей, отражавшейся на лицах вокруг; казалось, детям до счастья — рукой подать. Были здесь и люди, чье чело омрачали безмерная неудовлетворенность и пресыщенность жизнью.

Но, в основном, толпу составляли бедняки. В их глазах я читал и великую нужду, и новую надежду, и глубокую печаль — слишком много их постигло разочарований. И я говорил со всеми, с добрыми и злыми, говорил так, словно они были едины, потому что знал: в такие минуты перемены в душах совершаются очень скоро. В дурном человеке добро и зло чередуются много быстрее, чем в хорошем; дурным людям ведомы их грехи и они, устав, зачастую готовы подчиниться голосу совести.

Толпа все росла, и в моего осла вселялись все новые и новые злые духи. К счастью, духи эти были юны и от них, в отличие от старой, видавшей виды нечисти, не шло зловоние. Тем не менее осел то и дело взбрыкивал, явно намереваясь сбросить меня на камни мостовой. Но я по-прежнему ехал верхом. Этот осел был точно создан для меня. Я ощутил себя властелином добра и зла.

Но — только на миг. Приблизившись к Храму, я затрепетал. И почувствовал себя скромным евреем-ремесленником, что пришел к вратам великого и священного сооружения. Храм всех Храмов был возведен на горе.

Я еще не вошел внутрь, но явственно вспомнил, как уступами следуют друг за другом внутренние дворы, как в каждом из них взору открываются все новые часовни и

святилища прекрасных, благородных форм, и есть одно святилище, куда может входить только первосвященник, да и то лишь раз в году. Это Святая Святых. Я был не только Сыном Божиим, я был и сыном своей матери, и мое уважение к Храму росло с каждым вдохом, вытесняя желание изменить все, что есть внутри. Когда мужчины и женщины, шедшие впереди, поднялись на гребень холма и, завидев стены Храма, принялись возносить хвалы, мое сердце дрогнуло.

Въехал на гребень и я и, окинув взором величественный вид, в то же мгновение понял: всему этому великолепию грозит опасность. В скором будущем враг разрушит эти стены, кроме одной, до основания, не оставив камня на камне. И все это произойдет, если священники не поверят, что слово мое — от Бога.

Я сидел на осле и открыто, не таясь, плакал у подножия Большого Храма. Он был прекрасен, но — не вечен. И я вспомнил, что́ сказал пророк Амос: «И исчезнут дома из слоновой кости». Тогда я слез с осла и продолжил путь пешком.

***

Я взошел по ступеням и очутился в Храме. За первыми воротами обнаружился просторный двор, где люди получали товары в обмен на деньги. Я искренне восхитился бородами служителей Маммоны: завитыми на теплом утюге, зачесанными волосок к волоску. Ростовщики расхаживали горделиво, точно павлины. Священники тоже походили на павлинов, напыщенных и тщеславных. Их столы наверняка ломятся от яств, в то время как нищие сидят в зловонной грязи на всех улицах Иерусалима.

Я завернулся в молчание, словно в священные одежды, которые никто не осмелится тронуть. И сел в одиночестве на каменную скамью — смотреть, как эти люди опускают деньги в ящик для подаяний. Богачи бросали помногу. Но вот подошла бедная женщина в протертой до дыр шали и бросила монетку. Мое сердце возликовало.

Я обратился к ученикам, которым случилось оказаться рядом:

— Эта бедная женщина поступилась бóльшим, чем богачи. Они отдали крохи от своего изобилия. Она же — все пропитание, какое имела. Ее деньги — воистину дар Богу. А для богачей главное —переплюнуть друг друга.

Я стал раздумывать о деньгах, об их гнусной звериной ненасытности. Этот слюнявый, похотливый зверь сжирает все, что попадается на пути. Богатые захлебываются, давятся своим золотом, деревья в их садах гнутся под тяжестью плодов, но ни один плод им не в радость. В этих садах висит гнетущий аромат, и даже цветы не приносят хозяевам счастья. Потому что сосед всегда оказывается богаче и соседские сады — красивее. Богач всегда завидует соседу.

Здесь, во внешнем дворе Храма, в окружении ростовщиков, я обратился к людям — от себя, своим собственным голосом. Я сказал:

— Никто не может служить двум господам сразу. Ибо он привяжется к тому господину, который ему нужнее, а другого станет втайне презирать. Нельзя служить Богу и деньгам одновременно.

И тут, впервые после встречи на горе, со мной заговорил дьявол. Он произнес:

— Не успеешь оглянуться, богачи завладеют и тобой. Повесят твой образ на каждую стену. От подаяния, собранного во имя твое, будут ломиться сундуки в богатых церквах. Больше всего тебя станут почитать, когда ты будешь принадлежать и мне и Ему в равной мере. И это только справедливо. Поскольку мы с Ним ровня.

Он расхохотался. Видно, знал, что скажет дальше.

— Ты думаешь, алчность — грязный зверь? Но заметь, зверь этот испражняется золотыми слитками. Разве цвет золота не есть цвет солнца, от которого растет все живое?

Бог ответил в другое мое ухо:

— Все, что он говорит, имеет смысл, но до поры. Он обращается только к тем, на кого падет его взор, а взор его всегда устремлен к лучшим, к самым прекрасным, к тем, в кого я вселил самые большие надежды. А смиренных, но неизменно мне преданных он презирает.

Ни до, ни после мой Отец больше не говорил о Сатане. Но сказанное сейчас мало

укрепило мою веру. Неужели Отец поминает смиренных добрым словом только потому, что никто, кроме них, не хранит верность Ему и мне? Какое смятенье возникает в душе от такой мысли! Я разъярился, разъярился как никогда прежде.

В глазах ростовщиков сверкала алчность, хищная, как острие копья. Неистовый гнев пророка Исаии выплеснулся из меня его же словами. Я вскричал:

— Эти столы залиты отвратительной блевотиной! Здесь нет чистого места!

И я принялся опрокидывать все столы подряд — прямо с лежавшими на них деньгами; я ликовал, когда монеты со звоном ударялись о камни, которыми был вымощен двор. Владельцы бросились за своим достоянием, как гадаринские свиньи с обрыва в море.

Потом я перевернул скамейки торговцев голубями и распахнул дверцы клеток. Под хлопанье голубиных крыльев пришедшие со мной собрались вокруг и восславили этот выпад против ростовщиков и менял.

Я произнес:

— Мой дом будет известен всем народам как дом для молитв. Вы же поклоняетесь лишь деньгам и превратили мой дом в воровской притон.

И это было истинной правдой. Жрецы Маммоны всегда воры. Даже если в жизни не украли ни кружки зерна. Их жадность лишает добродетели всех, кто следует их примеру.

Вскоре во всех притворах Большого храма священники заговорят о содеянном мною. И всё потому, что у них, как и у ростовщиков, были свои расчеты с Богом и свои — с Маммоной. Как же спешили они напоить водой лозы корыстолюбия, которыми поросла одна половина их двуликих душ!

***

Я ходил среди воцарившегося шума и беспорядка и говорил:

— Разрушьте этот храм. Я в три дня построю его заново.

Один из менял, грузный старик с ясным взором, осмелился сказать:

— Этот Храм строился сорок шесть лет. Неужели ты воздвигнешь его в три дня?

Я прикусил язык. Какая ошибка! Со мной пришли сотни людей, и большинство из них готовы крушить все, что им не принадлежит. Поэтому призыв «разрушьте» может привести в будущем ко многим и многим бедам. Как жестоки слова, что заточены в узилище сердца. Они не знают ни жалости, ни прощения. Они пленники.

Я пожалел о сказанном. Вокруг высились небывалой, совершенной красоты строения. Очутись я в этих стенах простым паломником, я бы проникся великим почтением к мастерам, создавшим такое чудо.

Так размышляя, я старался напомнить себе, что пришел сюда не разрушать, а учить.

И надеялся, что Бог по-прежнему со мной. Разве не Его гнев мешался только что с моим? И разве не Он теперь подсказывает мне, что надо быть кротким? Я сказал моим приверженцам:

— Уважайте наш Храм. Ростовщики и менялы — испражнения зла. Их можно просто отмыть, оттереть с этих священных камней. Пойдемте дальше, я стану учить.

Я привел их в тихий садик меж двух часовен, под тень кедра. Как я и предвидел, к нам вышла целая делегация иерусалимских священников, книжников и старейшин. Один из них промолвил:

— Мы тебя ждали. Но не понимаем, почему ты так ведешь себя. Кто дал тебе эту власть?

Я сказал:

— Спрошу и я вас. Дадите ответ — я тоже отвечу. Итак, крещение Иоанна было с небес или от людей?

Я знал, что они рассудят примерно так: если мы скажем «с небес», Иисус скажет : «Почему же вы ему не поверили?» Если же мы скажем: «Иоанн был человеком», народ уверует, что этот простой человек был пророком.

Поскольку священники дорожили преданностью правоверных иудеев, а иудеи эти весьма ревниво взирали на слишком тесную дружбу своих священнослужителей с римлянами, признать Иоанна пророком для них было бы опасно. Ведь я бы тут же спро-

сил: «Почему вы не заступились за Иоанна перед римлянами? Почему не спасли его?»

И они, разумеется, ответили:

— Мы не знаем.

Тогда я сказал:

— Вот и я не отвечу вам, по какому праву я веду себя так, а не иначе.

Тут вперед вышел один книжник. Он держался свободно, видимо, происходил из знатной семьи. Глаза его были голубы, темно-русая борода мягко курчавилась. Он улыбнулся, словно испытывал ко мне с большую приязнь. Он даже почтительно назвал меня «наставником» — и это после учиненного мною разгрома. Он дал понять, что, хотя не одобряет моего поведения, по-прежнему уважает во мне наставника. Итак, он сказал:

— Наставник, мы знаем, что ты стремишься учить правде. Тогда ответь на очень важный для нас вопрос. Следует ли нам платить дань Кесарю? Или не платить?

Человек этот излучал такое тепло... Но таковы многие приспешники дьявола. Если я отвечу, что Цезарю не надо платить дань — подобного ответа он, вероятно, и ожидал, — фарисеи тут же сообщат прокуратору Иерусалима, что я призываю к восстанию против римлян.

Ум мой был остер, как стрела. Я сказал:

— Дайте-ка монету.

Принесли монету. Я спросил:

— Чье лицо изображено на монете?

— Кесаря, — ответил книжник.

— Так отдайте Кесарю кесарево. А Богу — Богово.

Я был доволен. Я не только ответил на вопрос, я еще и дал им понять, что деньги — бог римлян, а не евреев.

Я почувствовал к себе уважение. Они увидели, что я обладаю не только силой, чтобы опрокидывать столы менял, но и мудростью, чтобы избегать поспешных, необдуманных ответов.

Позже, поразмыслив, я пришел к выводу, что дал чересчур благоразумный ответ. Безусловно, многие церкви, управляемые порочными руками, выживут только потому, что привечают Кесаря. Но я-то пришел не строить церкви, а вести грешников к спасению. Тогда почему я дал такой ответ? Быть может, Господь счел, что осмотрительность — лучший способ достигнуть цели? Неужели Он позволит теперь церквам процветать на болотах гордыни и Маммоны? <...>

***

В ту ночь я не стал принимать пищи. Жители Иерусалима стояли по обочинам дороги и кричали мне «Царь!», но не ведали, что я обрету свое царство — если обрету — только на небесах. Они же искали монарха, который возродит былое величие Израиля, величие, которое народ наш знал при царе Давиде.

Рассветная прохлада придала мне бодрости. Я был снова готов идти в Храм и сесть там под священное дерево. Я хотел учить.

Но на тропе под Масличной горой дорогу мне заступили фарисеи. С ними была женщина. Они сказали:

— Наставник, эта женщина обвиняется в блудодеянии. Ее застали прямо в постели. Закон гласит, что ее надо побить камнями. Как ты рассудишь?

Ищут всякую лазейку, чтобы уличить меня в потакании грешникам! Я не поднимал глаз ни на фарисеев, ни на женщину.

— Не прелюбодействуйте, — произнес я. — Кто смотрит на женщину с вожделением, прелюбодействует в сердце своем.

Я сказал это ради юношей, оказавшихся в толпе фарисеев. Глаза их сияли: не всякий день им доводилось открыто смотреть на блудницу. Я знал: их обуревают похотливые мысли, которые скоро найдут дело для праздных рук. Про себя же я подумал: если рука твоя тебя соблазняет — отсеки ее.

Стоявшая предо мной женщина была, по всей видимости, дьявольским отродьем,

средоточием сатанинской грязи и срамоты: ведь искушение блудом — самое могучее оружие дьявола. Фарисеи пребывали в полной уверенности, что я найду способ простить ее и признаю тем самым, что потворствую блудницам. Но я молчал. Лишь склонился к земле. И принялся писать пальцем в пыли, точно вовсе не слышал их слов.

Они просчитали все самым изощренным образом. Ведь для ессея прелюбодеяние — прямая дорога в адское пламя. Они наверняка знают, что я изучал Священное Писание и помню, сколь страшна и опасна нечистая женщина. Собственно, они учились по тем же книгам. Вот, к примеру, царевну Иезавель из Второй книги Царств выбросили из окна высокой башни, и ее кровь брызнула на стену, и придворные растоптали ее копытами своих коней. И царь, увидев это, сказал: «Похороните эту проклятую женщину, все же она царская дочь». Но от нее не нашли ничего, кроме черепа, ступней и кистей рук. Когда донесли об этом царю, он молвил: «Таково слово Господа: псы съедят тело Иезавели, и труп ее станет навозом на поле».

Я не смел поднять глаза на женщину, которую привели фарисеи. И продолжал писать в дорожной пыли какие-то слова. Какие — сам не знал, и потому никому не позволял прочитать написанное.

Про себя же я повторял из Притчей Соломоновых: «Мед источают уста чужой жены, мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, и остры, как меч обоюдоострый. Она распущенна и непостоянна. И ноги ее, те, что так спешили к разврату, ведут ее к смерти».

Я не поднимал глаз. Петр сел возле меня на землю и развернул свиток. Он всегда носил этот свиток с собою, чтобы — хотя и был малограмотен — читать на досуге.

Оказалось, мы с ним думаем об одном и том же. Толстым, вдвое толще моего, пальцем он указал строки и прошептал на древнееврейском языке:

— «Кто знается с блудницами, расточает все, что имеет».

Я кивком попросил его продолжить. И он снова зашептал:

— «Прелюбодейная женщина поела, обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала».

Я все кивал, стараясь удержаться и не взглянуть украдкой на блудницу. И повторял про себя слова Иезекииля: «И пришли сыны Вавилона к Оголиве на любовное ложе, и осквернили блудодейством своим, и она осквернила себя ими и открыла наготу свою. Но умножала блудодеяния свои и пристрастилась к любовникам, у которых плоть как у жеребцов».

В конце концов я не смог устоять и взглянул на блудницу.

Этого я и боялся — она была красива. Тонкие черты лица; длинные, струящиеся по плечам волосы; искусно подведенные глаза. И она была кроткой. Даже надменный и глупый рот не портил этой кротости.

Всю жизнь я боялся прелюбодеяния — и чем больше боялся, тем больше обуревала меня жажда плотских наслаждений. Как часто я мучился неукротимой, неутоленной яростью! Но сейчас я услышал тихий глас души. Быть может, ее ангел просит о сострадании? Мне представилась эта женщина во грехе. С мужчиной. Но все равно она — создание Божье. Она близка Богу — пусть мне не дано знать в чем. Возможно — возможно ли? — даже во грехе с незнакомыми, чужими для нее мужчинами. Если так, отличается ли она от Сына Человеческого? Он тоже должен дарить себя всем людям. Да, она может быть близка Богу даже в тот миг, когда тело ее находится в объятиях дьявола. Ее сердце может быть с Богом, когда телом владеет дьявол.

Фарисеи ожидали терпеливо, молча, точно набрали в рот воды. Но вот они снова подступились ко мне с вопросом:

— Нами правят Моисей и закон. Они велят побить такую женщину камнями. Что скажешь ты?

Я поднялся и обратился сразу ко всем: к своим ученикам, к фарисеям, к книжникам. Я произнес:

— Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее.

В их глазах мелькнуло удивление. Я продолжил:

— Лучше войти в другую жизнь увечным, чем с двумя руками — в геенну.

Теперь в их глазах был страх.

— Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше войти в Царство Божие с одним глазом, чем смотреть двумя глазами в неугасимый огонь. Не умирает в геенне червь, поедающий твою плоть.

Я был потрясен. Я очистился от влечения к этой женщине, очистился своими собственными словами! И тогда я добавил:

— Кто из вас без греха, пусть первым кинет в нее камень.

В толпе поднялось волнение. Такое внезапное и такое сильное, что я даже покачнулся и, поспешив снова склониться, принялся писать пальцем по земле. Словно для меня важнее, что́ скажет земле мой палец, чем то, что́ станется с этими людьми.

Вскоре волнение начало ощутимо спадать. И утихло. Их души корчились от собственных прегрешений.

Я увидел, как они уходят. По одному. Первым ушел самый древний старик (видно, слишком много грехов накопил за долгую жизнь). Последними уходили молодые, чьи души еще сохранили невинность. Я остался один. Ушел даже Петр. Передо мной стояла только женщина.

Сначала я не мог поднять головы. Потом все-таки заставил себя взглянуть на нее. Но не в глаза. В ушах моих, словно нашептанный Сатаной, зазвучал стих из Песни Песней: «Бедра твои круглятся как ожерелье, творение искусного художника; живот твой — круглая чаша...»

Меня преследовали злые силы. Я чувствовал в себе беса, который стремился вырваться наружу из черных, немереных глубин. Злые силы были могущественны. И я понял: красоты этой женщины надо остерегаться.

Я решил обратиться к ней словами пророка Иезекииля.

— Страшись греха своего, — произнес я, — ибо сказано: «Я подниму против тебя любовников твоих, и придут на тебя с оружием и колесницами, и поступят с тобою яростно: отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое будет пожрано огнем. И снимут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои. Так положу конец распутству твоему и блуду твоему, принесенному из земли египетской, и о Египте ты уже не вспомнишь».

И блудница, с глазами жемчужно-серыми, как последний вечерний свет, тихонько сказала:

— Я не хочу остаться без носа.

Я спросил:

— Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?

Она ответила скромно:

— Здесь некому судить меня.

— Я тоже не осуждаю тебя, — промолвил я.—Иди!

Но я знал: этого мало. Блуд, скопившийся в женщине, не покинул еще закоулков ее души. Я спросил:

— Куда ты можешь пойти? Не предашься ли снова прелюбодеянию со многими мужчинами?

— Не осуждаешь меня, так не суди. Без плоти нет жизни.

Она оказалась горда. И сильна. Я увидел: она обручена с семью силами дьявольского гнева и их потомками — семью демонами. Значит, я должен попробовать их изгнать. Разумеется, они не поспешат наружу. Они и вправду покидали ее неохотно, по одному, и тут же вцеплялись когтями в немногие окружавшие нас добрые силы. Одни из них были хитры, другие похотливы, и почти все ужасны — все семь дьявольских сил и семь демонов.

Первой силой была Темнота, а ее демоном — Измена. Лишь выкликая их имена, я осознал, что выведал у Сатаны больше, чем он намерен был мне открыть. Я знал, что вторая сила — Страсть, а ее демон — Гордыня. Третья — Невежество, с демоном Ненасытностью, пожиравшим мясо свиньи. Четвертой силой была Любовь к смерти, а ее демон — не кто иной, как Стремление съесть себе подобного. Ибо мы ближе всего к смерти в тот миг, когда вкушаем людскую плоть. Пятая сила всегда хотела Власти над всем, а ее демон был Растлителем духов, поэтому с его появлением окружавшие нас добрые духи

немало смутились. Шестая сила называлась Избыток ума, и ее демон крал души. Но самой страшной из всех была седьмая сила. Имя ей было Мудрость гнева, а ее демоном была Жажда рушить города. Все семь дьявольских сил и всех семерых демонов изгнал я из этой женщины. И лишь тогда сказал:

— Иди и впредь не греши.

И она ушла.

После я узнал, что имя женщины — Мария, а родом она из местечка Магдала под Тверией. Многие евреи в этом городе пали на войне против римлян. И кости падших лежали теперь под фундаментами зданий, которые возвели победители. То есть эта женщина, Мария Магдалина, блудодействовала на земле наших мучеников. Но я не сожалел о том, что спас ее. Все-таки одна половина ее была кроткой, и этой своей половиной она принадлежала Богу. Я не думал, что нам суждено свидеться вновь. Однако я ошибался.

***

Во второй свой день в Иерусалиме я шел по Иродиадиной улице и думал: как могли назвать улицу в честь жены Ирода Антипы? Ведь по ее повелению убили Иоанна Крестителя! И вот теперь ее проклятым именем названа широкая улица, ведущая к главным воротам Храма.

Ко мне приблизился слепец. Как сказал он сам: слепой от рождения. Даже в детстве он был лишен счастья видеть разноцветный мир. Один из моих учеников спросил:

— Наставник, какой грех совершили его родители? За что он родился слепым?

— Этот человек слеп, чтобы, как только он прозреет, на нем явились дела Божии. И я его исцелю.

Но я пожалел о поспешно данном обещании. Взглянув на слепца, я растерялся: по бокам его носа не было хотя бы незрячих глаз. Лишь две щели темнели под бровями.

— Я верую, — воззвал я к Отцу. — Помоги моему неверию.

Затем я плюнул на землю, растер слюну с землей и замазал слепцу глазные щели. И произнес:

— Иди. Омойся в купальне Силоамской.

Эта купальня находилась в двух шагах от нас.

Постукивая перед собой палкой, он кое-как нащупал дорогу. Вернулся он уже зрячим. Я услышал, как соседи спрашивали его:

— Разве не ты только что сидел и просил милостыню?

Другие кивали:

— Он это! Он самый.

Когда его спросили, как вышло, что он прозрел, он объяснил так:

— Человек по имени Иисус помазал мне глаза и велел омыться. И вот теперь я вижу.

Люди спросили:

— Где же этот Иисус?

— Не знаю, — ответил бывший слепец.

На улице какой-то фарисей тоже спросил его, как он прозрел. И бывший слепец повторил свою историю.

Фарисеи решили, что не мог он быть слеп от рождения. Призвали его родителей. Но перепуганные старики повторяли только одно:

— Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. Но как случилось, что он теперь зрячий, и кто дал ему зрение, мы не знаем. Наш сын совершеннолетний. Спросите его. Он может сам за себя отвечать.

И фарисеи снова подступили к бывшему слепцу.

— Человек, помазавший грязью глаза твои, — грешник, — заявили они.

— Уж не знаю, грешник он или нет, — ответствовал тот. — Знаю одно: я был слеп, а теперь вижу.

— Как же он открыл глаза твои? — допытывались фарисеи.

— Я уже рассказал, но вы не услышали. Зачем же мне повторять? Или вы хотите стать его учениками?

— Мы — ученики Моисея, — возмутились фарисеи. — Но нам надо узнать, откуда взялся этот Иисус.

Прозревший становился храбрее с каждой минутой, которую прожил, видя мир вокруг себя. Я радовался, что мне довелось исцелить такого достойного человека.

— Удивительное дело, — сказал он фарисеям. — Вы не знаете, откуда он взялся. А ведь он открыл мне глаза. Если не Бог послал его, разве смог бы он это сделать?

Фарисеи набросились на него с бранью и кулаками:

— Ты, рожденный во грехе, как смеешь ты учить нас?

И прогнали его прочь.

Ученики привели его назад ко мне. Я сказал:

— Я здесь не только затем, чтобы слепые прозрели, но и затем, чтобы считающие себя зрячими поняли, что слепы.

Гнев мой был сейчас куда больше, чем накануне, когда я перевернул столы ростовщиков. Да, много больше. Гнев был сейчас не в руках, не в ногах, не в голосе моем. Он проник в тайники сердца.

Услышав такие мои речи, один из фарисеев насмешливо спросил:

— Это я-то слепой?

— Да, ты слеп в грехе своем, — ответил я.

Фарисей этот полагал себя важной птицей.

— В этом Иисусе сидит бес! Он спятил! — заявил он.

— Может ли бес открыть глаза человеку, который был слеп отроду? — возразили другие фарисеи.

Между ними разгорелся спор.

Чуть дальше на Иродиадиной улице мне встретился старый фарисей с добрым лицом. Лоб его бороздили морщины, рот кривился в мудрой усмешке. Он подошел ко мне и спросил, можем ли мы поговорить.

— Многие из нас, правоверных иудеев, одобряют твой вчерашний поступок, — сказал он. — Опрокинуть столы менял — дело богоугодное. Жаль, мало кто решается противостоять стяжателям. Но...

Он пытался объяснить мне что-то, чего — по его собственным словам — сам не понимал в юности. Я кивнул. Я хотел успокоиться прежде, чем войду в Храм.

Фарисей заговорил:

— Бог щедр и создал нас по Своему подобию. Но мы знаем, что носим образ Божий, не обладая Его могуществом.

Старик показался мне достойным человеком. Я произнес:

— Человек действительно создан по образу и подобию Божьему, но не творит чудес своею рукою.

— Верно, верно. Ну, а как же тот, кто творит чудеса? Он что, ближе к Богу? Или им владеет дьявол? Ведь злой дух может использовать свою силу и на добрые дела, Сатане мастерства не занимать. Он тоже может дать зрение слепцу. Он перехитрит тебя, благородный Иисус, и ты даже не будешь знать, кто творит твои чудеса. А еще он таким образом умножит заблуждения несчастных иудеев.

— Ты весьма красноречив, — перебил я старика. — Можно подумать, ты сам и есть искуситель.

Он вздохнул.

— Я знаю, у тебя благородное сердце. Это видно по глазам. Я лишь хочу тебя предостеречь. Уже поговаривают, будто ты — Сын Божий. — Он опустил глаза, стыдясь вымолвленного богохульства. И так, глядя в землю, продолжил: — Ходят даже слухи, будто ты утверждаешь это сам. Прошу, поберегись. И если встретишь первосвященника Каифу, ничего подобного при нем не произноси. Услышь он эти слова из твоих уст — с вятотатство станет чрезмерным. Пока ему доносят другие, он предпочитает не слушать. Чтобы не пришлось выносить за святотатство смертный приговор. Постарайся остаться цел.

Я улыбнулся ему, но не знал, смогу ли последовать его совету.

***

Толпы внемлющих мне в Храме умножились на другой день многократно. Люди, собравшиеся во внутреннем дворе, громко и истово молились, вели себя крайне беспокойно, и я счел важным поговорить с ними об этом, поскольку не умеющий вести себя в Божьем доме не сумеет достойно вести себя и наедине с самим собой.

— Не уподобляйтесь лицемерам, которые любят распевать молитвы в синагогах. Они молятся напоказ. Вы же молитесь Отцу вашему втайне. И не твердите бездумно заученные слова — это мертвит душу. Потому не будьте многословны в своих молитвах, Отец ваш знает, в чем вы нуждаетесь.

Однако люди хотели слушать только о чудесах и о небесных знамениях, которые загодя возвестят им о конце света. И мне пришлось, когда они наконец притихли, рассказать о знамениях солнца, луны и звезд и о бурях, грядущих на земле и море.

— Сердца ваши ослабеют от страха и ужаса. Но если будете тверды, увидите на облаке Сына Человеческого во всей его великой силе и славе. Тогда распрямитесь, поднимите головы и знайте: близко избавление ваше. — Так говорил я, а про себя добавлял: «Господи, сделай, чтобы слова мои стали правдой».

Мне казалось: я воззвал к Нему, но Он не услышал. Я по-прежнему был один. Но знал: я должен найти такие слова, чтобы достучаться до людских сердец. Каждое из моих слов может стать бесценным, как доски, из которых сколочена разбитая штормом лодка: каждое может спасти человека, помочь ему удержаться на плаву в бурных волнах.

Вдалеке я заметил священника, говорившего с начальником храмовой стражи. А священник саном пониже, что стоял рядом со мной, вдруг промолвил:

— В Писании сказано, что Мессия придет из Вифлеема. Но может ли что-то доброе прийти из Назарета?

Ему тут же возразили:

— Иисус родился в Вифлееме. А человек таков, как земля, в которой он родился.

— Нет, Иисус из Галилеи, — не отступался священник. — А из Галилеи никакой Мессия прийти не может. — Он закивал, уверенный в собственной мудрости: не ему ли знать, откуда Мессия прийти может, а откуда не может.

Только он ничего не знал о Боге.

Я слушал его и говорил себе: «Человек невеликого ума непременно заводит себе панцирь, чтобы защитить свои невеликие мыслишки».

И тут во мне вскипел весь гнев, который обуял мое сердце накануне, когда фарисеи издевались над исцеленным мною слепцом.

— Ваши отцы повинны в крови пророков, — вскричал я, — а вы теперь возводите пророкам гробницы! Господь пошлет вам новых пророков, но вы прогоните и их! Вы их убьете! Это будет великое кровопролитие: с одного поколения взыщется столько крови, сколько пролили ее все пророки от сотворения мира!

Священник попятился. Я же наступал, продолжая говорить:

— От крови Авеля до крови Захарии, убитого меж алтарем и святилищем.

Священник, стоявший предо мной, был скуден умом и мал ростом, но вцепился в немногие свои знания клешнями скорпиона. Он принялся ругать меня за то, что врачую по Субботам.

Но мое терпение иссякло. Я промолвил:

— Нет в тебе любви к Богу.

Как жаждал я изобличить ханжеское благочестие всех этих евреев, хитроумных и скудоумных одновременно! Вот бы им набраться доброты у тех, других, которых я знал в Назарете, с которыми строил дома. Те евреи были мне ровней. Друзьями.

Я снова заговорил:

— Грядет час, когда все, кто лежит в могилах, услышат Его глас и восстанут. Все, кто творил добро, и все, кто творил зло. И я совершу суд над всеми вашими предками. — Я смолк, а затем повторил снова: — Над всеми вашими предками.

Эти последние слова вызвали в толпе такое волнение, какого в первый день не было и в помине. Священники и фарисеи корчились, точно на огне. Ведь они, хоть и погрязли

в грехах, хоть и поклонялись Маммоне, все же надеялись, что найдут на небесах защиту от собственных прегрешений. Они надеялись на славу своих великих предков. Они верили в них больше, чем в Бога. Их глубочайшая вера заключалась в том, что праотцы, чьи достойные имена они теперь носили, переправят их через пропасть прямиком к Господу. Я же вздумал судить этих самых предков, их давние недобрые деяния. Вот потомки и позатыкали уши. Ограждали себя от происков дьявола. В глазах моих, точно стражники на часах, стояли слезы. Ведь самые могущественные, самые уважаемые люди из моего народа, а также первосвященники считали меня не иначе, как посланником Сатаны. И как, оказывается, глубоко ранило меня их неверие! Они стали мне отвратительны, да-да, отвратительны. Старейшины моего народа были отвратительны мне, точно гадаринские свиньи.

Они так бушевали, что дневной свет превратился в моих глазах в красное зарево. Словно их души уже горели в аду. Я не в силах был принимать их гнев с покорностью. И, не сдержавшись, сказал:

— Вы постигнете истину! И только истина сделает вас свободными.

Однако фарисеи были самоуверенны и надменны и в гордыне своей почитали себя чрезвычайно. Они сказали:

— Мы — семя Авраамово и никогда не были ничьими рабами. Как же ты говоришь «сделаетесь свободными»?

— Да, — ответил я, — вы потомки Авраама, но вы пытаетесь от меня избавиться. Я же пришел открыть вам истину такой, какой услышал ее от Бога.

Они сказали:

— У нас один отец, и имя Ему — Бог.

— Дьявол — ваш отец, — ответствовал я.

Они так распалились — впору плавить железо! Никогда прежде не видел я фарисеев в таком гневе.

— Теперь-то понятно, откуда ты взялся! — кричали они. — Уж не считаешь ли ты себя выше праотца нашего Авраама?

— Ваш праотец Авраам преисполнен счастья, потому что знает, кто я. Я есмь всегда — еще до Авраама.

Тут они схватились за камни. Я не мог бы теперь спокойно пройти мимо них, как в первый день. Тогда они тоже готовились бросить камни, но что-то их не пускало. И я прошел сквозь их строй. На этот раз будет иначе: сперва осмелеет один, потом другой. За первым камнем полетят многие. Я спрятался за спину одного из учеников, он — за другого, и мы потихоньку выбрались из Храма. Я знал: фарисеи в ярости, но вряд ли поспешат в погоню. <...>

***

Ученики устроили меня на ночлег в Вифании в доме прокаженного Симона, решив, что никому не придет в голову искать меня там. Но слух обо мне быстро разлетелся по округе. Мы сидели за столом, когда в дом вошла женщина. Она принесла в алебастровом сосуде благовонное нардовое миро и принялась втирать его мне в голову. Мазь эта была необычайно ценной, стоимостью до трехсот динариев. Бедняк зарабатывает такие деньги за многие месяцы, а то и за целый год.

Нард оказал на меня удивительное действие. Его аромат проник в уши, в нос, и я услышал вдруг Песнь Песней. Вначале донесся голос невесты: «Пока сидел царь за столом, нард мой издавал благовоние свое...»

Некоторые ученики возмутились. Один даже сказал:

— Почему учитель не продал это притирание и не отдал деньги бедным? Непростительная роскошь!

Я неодобрительно взглянул на подавшего голос. Это был Иуда. Он потемнел от гнева и отвел глаза.

Нардовое миро принесла женщина по имени Мария (ее звали, как мою мать, как Марию Магдалину, как Марию — сестру Лазаря). Да, еще одна Мария, и я не забуду ее

имени, потому что остатками миро она смазала мне ноги, а потом обтерла их своими волосами. Ноги мои отдыхали в приятной истоме, точно женщина благословила пройденный нами долгий путь. Мне снова пришли на ум стихи из Песни Песней: «Встань, возлюбленная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал; цветы показались на земле, и настало время пения птиц». По всему дому разливался сладостный аромат мира.

Иуда снова спросил:

— Почему это притирание не продано?

Возроптали и остальные. Меня они не упрекали, но осуждали подарок, принесенный женщиной.

Я возразил:

— Зачем корить ее? На мне следы ее доброты.

Иуде же я сказал больше:

— Нищие всегда с тобой. Ты сделаешь им добро всякий раз, когда только сможешь. Я же с тобой не навсегда.

Сам я пребывал в сомнениях. Любовь, исходившая от рук женщины, дала мне миг счастья. И в этот миг я не чувствовал себя другом и защитником обездоленных. Да разве сам я не обездолен? Я ведь дышу часто и коротко, такое дыхание — постоянный спутник страха. Страха смерти. Благоухание мира пролилось на екающую пустоту моего живота целительным бальзамом.

Так я впервые узнал, каково живется богатым, понял снедающую их потребность все выставить напоказ. Они кичатся своим богатством, потому что оно для них не менее ценно, чем собственная кровь. Я понял, что стяжательство — их снадобье против страха, против дурных предзнаменований. Я как-то сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Небесное. Но с другой стороны, не презирал ли я также и бедных? Пусть на минуту, на краткий миг?

Неужели я, стремясь достучаться до каждого, говорил раздвоенным языком? Мои ноздри все еще ощущали аромат мира, и мне пригрезились прекрасные храмы. Их воздвигнут в мою честь. Я чувствовал, что хочу быть всем для всех. Чтобы каждый мог взять от меня свою мудрость. Но разве это плохо? Разве не многие пути ведут к Богу?

Я вдруг заметил, что Иуда исчез. Раньше он любил меня, а теперь лишил своей любви. Как и грозился. И ушел в ночь по дороге от Вифании к Иерусалиму. По ней даже в этот глухой час сновало много народу. Всем чуялись грядущие перемены.

Подошли ученики и рассказали, что Иуда на улице говорил обо мне дурное. Я, мол, готов предать бедняков. Я ничем не лучше других. Я не верен своим убеждениям. Так говорил он. Но я обязан был его простить. Поскольку распознал в себе презрение к бедным. Пусть только миг, краткий миг, но я презирал их. Причем вполне искренне. Что ж, истина является порой лишь на мгновение — это не мешает ей быть истиной.

***

Во сне мне было предсказано, что третий мой день в Иерусалиме придется на начало Песаха. В этот день меня и схватят римляне. Поэтому утром третьего дня ноги мои отяжелели. Я не мог подняться. Глаза болели от всего виденного, уши — от всего слышанного. Грудь теснило от скопления нечистого духа. Толпы, тучи людей соберутся сейчас, чтобы сопровождать меня в Иерусалим, — больше, чем в первый день, больше, чем во второй. А я не готов. Я спрашивал себя: быть может, Богу угодно, чтобы я покинул этот город и снова отправился проповедовать в Галилею? Как красиво отражается солнце в водах Галилейского моря...

Верно, жарко спорили в ту ночь священники Большого храма. И что решили? Схватить меня? Но сегодня праздник Песаха. Священники не станут затевать ничего, что могло бы вызвать бунт среди еврейского населения, они побоятся рассердить римлян. Если в городе начнутся беспорядки, священникам несдобровать.

Они не знали, что делать. Я был в этом уверен. Впрочем, я тоже не знал, что делать. В то утро я не мог заставить себя подняться с постели и отправиться в Храм. Если осмотрительность дается нам Богом, а страх — дьяволом, отличить одно от другого не всегда

просто. Во всяком случае, обыкновенному человеку. В то утро я уже не был Сыном Бога, я был простым человеком. Глас Божий почти стих в моих ушах, а в сердце поселился низкий страх.

К полудню вокруг моего ложа собрались ученики.

— Куда бы нам пойти, — спросили они, — чтобы всем вместе сесть за стол в честь Песаха?

Наконец я почувствовал, что готов действовать.

— Пускай двое из вас пойдут в город и, встретив человека с кувшином воды, последуют за ним. Проводите его до самого дома и скажите: «Наш учитель просит о гостеприимстве. Он хотел бы сесть здесь за праздничный стол вместе с учениками». Этот добрый хозяин покажет вам просторную комнату в верхних покоях, обставленную для гостей. Приготовьте ее к нашему приходу.

Эта картина представилась мне так отчетливо, словно ее явил сам Бог. И действительно, ученики мои вскоре нашли такого человека. Все вышло, как я предсказал. И они приготовили праздничную трапезу. Вечером, в темноте, мы с апостолами пришли в этот дом и сели за стол.

Я молчал, покуда не взял в руки пресный хлеб. Затем, благословив его, преломил и дал по куску всем своим сподвижникам. И тут же вспомнил, как когда-то в пустыне накормил пятью хлебами пятьсот человек. В тот час я испытал чудо Господней милости. А сейчас сказал: «Ешьте меня, этот хлеб — плоть моя». И это было правдой. После смерти наша плоть возвращается в землю, а из земли всходит хлебный колос. Я Сын Божий. Я есть в каждом колосе.

Я взял чашу, вознес хвалу Господу и, разливая вино, стал вспоминать другие вечери, когда мы пили вот так же, все вместе, и души наши сливались, и сокрытое становилось явным. Сейчас тоже многое прояснилось. Вино сделало меня ближе к Отцу, заставило взглянуть на него, как на великого царя. В эти минуты, краткие как вздох, страх мой отступил перед любовью к Нему; я постиг огромность Его трудов. Он стремился упорядочить хаос, который учинил на земле наш народ. Как упорно Он трудился, как часто гневался и отправлял нас в изгнание за наши грехи. Но даже разметав нас по миру, Он снова собрал свой народ воедино. Как ни портили мы творение Божье, Он всегда готов был нас простить. Вправе ли я за этим столом сказать двенадцати моим друзьям, что Бог придет, причем совсем скоро, чтобы спасти нас всех? Нет, я не смел вселять в них такую надежду. Поскольку знал: мы, дети Израиля, — народ грешный и рассеянный по миру, и мы наверняка предпочтем не спасение, а суд. Потому что в самонадеянности своей полагаем, что суд этот нас помилует.

Как верный клятве, но усталый солдат, я прошептал:

— Господи, помоги моему неверию.

А передавая ученикам вино, сказал вслух:

— Это кровь моя, она проливается за вас и за многих.

Я пригубил горечь винограда, раздавленного в вино, и сказал:

— Я не стану пить вина, пока не смогу испить его в Царстве Божием. — Царство Божие казалось совсем близким.

Мои апостолы стали переглядываться и перешептываться.

— Как может пророк дать нам в пищу свою плоть? Как напоит нас своей кровью?

Я сказал:

— Покуда не отведаете плоти Сына Человеческого и не напьетесь крови его, не будет в вас жизни. А тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, обретет вечную жизнь. Я воскрешу его в день последний. Он остается во мне, а я — в нем.

Поднялся ропот. Раздался голос Иуды:

— Такое учение трудно принять. Кто может это слушать?

— Разве не вас я избрал? Разве не вы — мои двенадцать? — ответил я, а потом, как ни сдерживался, все же добавил: — И разве нет среди этих двенадцати дьявола? — Я произнес это вполне уверенно. Я знал, как безгранична сейчас Господня скорбь. — Один из вас предаст меня. Горе ему. Лучше б он вовсе не родился на свет.

Я знал: тот, о ком говорю, близок мне, близок, как мои собственные грехи, как моя

безмерная усталость. Мне было его жаль. Предав меня, он будет страдать, и страдания его будут больше моих.

Однако от таких размышлений сил у меня прибавилось. Исполнившись милосердия, я всегда становился сильнее.

Я поднялся из-за стола, снял и сложил свои одежды, перепоясался полотенцем, налил воды в таз и начать омывать ноги ученикам.

Когда дошла очередь до Петра, он сказал:

— Неужели ты омоешь мне ноги? Я не допущу этого вовек.

— Если я не омою их, тебе не стать частью меня, — ответил я.

— Тогда омой не только ноги, — попросил Петр, — но и руки, и голову.

У одних учеников ноги были чисты, у других — в зловонной иерусалимской грязи, но я знал, у кого они крепки и надежны, а у кого готовы в страхе пуститься бежать. Закончив омовение, я произнес:

— Впредь омывайте друг другу ноги, как сделал сегодня я.

Про себя же я думал: «Один из вас предаст меня». Наверно, я даже произнес это вслух, потому что Симон Петр спросил:

— Господи, кто же?

— Тот, для кого обмакну хлеб в вино, — ответил я.

И вскоре, склонив голову над чашей с вином, я обмакнул хлеб и передал его Иуде Искариоту. Взгляды наши встретились. Мы многое вспомнили в этот миг. Главное же — разговор наш перед походом в Иерусалим.

В темных глазах Иуды сверкнула показная преданность: так смотрят, когда хотят скрыть свои истинные чувства. Но я принялся уговаривать сам себя, что ошибся, что Иуда все-таки предан мне по-настоящему. Ах, как мне хотелось в это верить. Вера без веры — мне было ведомо это чувство. Поэтому я сказал Иуде:

— То, что сделаешь, сделай скорее.

Я знал и не знал одновременно, ибо очень его любил. И я произнес эти слова очень тихо; никто из сидевших за столом ничего не понял, ученики могли подумать, что я отправляю его с поручением и благословляю на прощанье. Я стиснул его плечо. И он вышел. В черную-черную ночь.

Я был взволнован, как когда-то, ступая по водам Галилейского моря.

Я произнес:

— Даю вам новую заповедь: любите друг друга, как любил вас я. По одному этому люди поймут, что вы — мои ученики. Потому что скоро уйду туда, куда вы не сможете за мной последовать.

— Господи, куда ты пойдешь? — спросил Петр.

— Вы не можете идти за мною сейчас. Только потом, после.

— Господи, позволь мне пойти сейчас, — взмолился Петр. — Я отдам за тебя жизнь. Я готов идти за тобой в темницу и на смерть. — Он клялся и верил своим клятвам. Он был уверен, что не предаст меня никогда. Что ж, даже лучшие воины, восхищаясь своими подвигами, непомерно вырастают в собственных глазах. На самом деле, они не так уж велики и славны. Но они не ведают этого в слепоте своей. Я произнес:

— Скажу тебе правду: не успеет еще и петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня.

— Не отрекусь! — с горячностью воскликнул Петр. — Никогда.

Остальные повторили его клятвы.

— Есть у нас мечи? — спросил я.

***

Не услышав ответа, я сказал:

— У кого нет меча, пусть продаст одежду и купит меч.

— У нас есть два меча, — признались они и показали два меча с короткими клинками. Один меч тут же схватил Петр.

— Двух хватит, — кивнул я. А сам подумал: «Не знаю, хватит ли двенадцати легионов ангелов… Не знаю...»

Тут заговорил апостол Фома.

— Господи, как мы узнаем, куда идти?

Фома был простаком, и мне обычно приходилось долго втолковывать ему любую мысль. Сейчас я ответил коротко:

— Я и есть ваш путь, истина и жизнь. Никто без меня не придет к Отцу моему.

Впрочем, я знал: уже поздно, и в неведении останется не только Фома.

— Господи, покажи нам Отца, — попросил Филипп.

— Я воплощен в Отце, а Отец — во мне. Верьте.

Ясно, как никогда прежде, я понял: они не верят. И им недостанет сил, чтобы продолжить мое дело.

— Помните одно: любите друг друга, — повторил я. — Любите так, как люблю вас я.

Никогда я не любил их так сильно, никогда так не жалел за слабость. Сколько бед уготовано для них впереди!

— Знайте, я посылаю вас, словно овец среди волков. Так будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Но остерегайтесь людей. Они отдадут вас в руки властей, те будут сечь вас, а правители и цари — вершить неправедный суд. И все из-за меня. Не беспокойтесь о том, что́ скажете, вам откроется это в час допроса. Говорить будете не вы, Дух Отца вашего будет говорить через вас. (В этом я уже убедился сам.)

Большинство апостолов устрашились такой участи. Но это и понятно: немногие готовы стремиться вверх, все выше и выше, вопреки своему страху — к высотам веры. Поэтому я добавил:

— Бойтесь не тех, кто может погубить ваше тело. Бойтесь Того, кто может ввергнуть вашу душу в ад. Бойтесь Его.

Вдруг они наконец сумеют постигнуть страх, лежащий в основе любого другого страха? Вдруг поймут, что смерть — это не конец, а начало? Что счастье и муки после смерти превзойдут все, что они знали доселе? Научил я их хотя бы этому? Чтобы не отворачивались от смерти, надеясь избежать сурового приговора?

Я знал: все, что я говорил им, — правда. Кроме одного. Я говорил: «Любите друг друга, как люблю вас я». Но к моей любви очень часто бывал подмешан гнев.

И я решил сказать сейчас то, что останется правдой навсегда:

— Нет ничего выше той любви, когда человек отдает жизнь за ближнего. Повторяю: любите друг друга. Это ваш долг.

Я говорил так, словно уже покинул их. И верил в это. Но одновременно я верил, что никогда их не покину. И буду с ними завтра.

Я взглянул на апостолов. Одни были уродливы, другие — покалечены, у кого-то не хватало носа, у кого-то были скрюченные, толстые пальцы, у кого-то — кривые ноги. Но апостолы — не только мои последователи, но и друзья. Я возлюблю их.

— Гнали меня — будут гнать и вас. И все из-за меня. Не расскажи я фарисеям об их прегрешениях, им не пришлось бы узнать о них вовсе. А теперь им нечем прикрыть свои грехи.

Чудовищный рокот донесся из пустыни, из далекой дали, но — у меня в ушах. Безмерна была ярость дьявола. Раз фарисеям теперь нечем прикрыть свои грехи, дьявол останется без урожая.

— Настанет время, — сказал я ученикам, — когда вас будут убивать, считая это богоугодным делом. Во имя Бога будут вести войны, а в барыше останется только дьявол.

Сердце мое переполняла горечь утраты: даже завтрашний вечер я уже не проведу рядом с учениками. Но я должен был сказать им так:

— Ваша печаль обратится в радость. Вы познаете самих себя и поймете, что вы тоже сыны Небесного Отца.

Я желал, чтобы это было единственной истиной — ныне и во веки веков, но в то же время знал, что на сердце Отца сейчас лежит камень, и камень этот куда тяжелее моего. Выполнил ли я свое предназначение? Об этом я не осмеливался и думать. Я поднял глаза к небесам и стал молиться:

— Отче, — сказал я, — верни мне рай, который я познал с Тобой до сотворения мира.

То, что Он был со мной с самого начала и даже до начала всех начал, вселяло надежду. Быть может, это придаст мне сил для грядущих испытаний?

— Отец, — произнес я, — пусть мне не суждено больше жить на этом свете, но здесь остаются мои последователи, и я передал им Твое слово. Прошу, прими их в лоно Твое, убереги от зла, которое захотят причинить им люди. Как Ты во мне, Отец, а я — в Тебе, пусть и они будут в Нас, будут едины с Нами. Тогда мир поймет, что меня послал именно Ты. Как Ты дал мне познать небеса, так и я передам их им, чтобы были едины, как едины Мы, я в них, а Ты во мне.

И мне явилась Божья любовь, подобная необычайной красоты зверю. В моем сердце горели его глаза.

Молитвы эхом отзывались в моей груди, и я понял, что должен снова идти в Храм, сейчас, среди ночи. Впереди был третий мой день в Иерусалиме. Я должен идти, скопив все эти вопросы в своем сердце. Пускай они тяжелы, я понесу их, это мое бремя.

И я пошел.

***

С каждым шагом ноги мои все тяжелели.

Дойдя до Гефсимании, я сказал ученикам:

— Присядьте. Я помолюсь.

Я выбрал Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними по склону холма в Гефсиманский сад. Ноги мои едва шевелились и были словно чужие.

— Будьте начеку, — сказал я. И сам не знаю почему добавил, обращаясь к Петру: — Не вводитесь в искушение. — Душа моя печалилась в преддверии смерти.

Потом я один прошел туда, где они не могли меня видеть, и упал на землю. Я молился, чтобы этот час миновал. Я не мог жить в таком страхе. На лбу моем выступил пот, густой, как капли крови. Я произнес:

— Отец, пронеси эту чашу мимо.

Но я знал: мне не избегнуть чаши страданий, пропасть их бездонна. Я вдруг испугался Отца моего. Не слишком ли мне себя жаль? И я обратился к Нему:

— Сделай не по-моему, а по-Своему. Да будет воля Твоя.

Вернувшись к трем своим ученикам, я застал их спящими.

— Петр, неужели ты не мог посторожить хоть час? — сказал я с укором. Но по лицу его понял, что он оцепенел от ужаса: он боится ничуть не меньше, чем боюсь я. Ибо что делает сильный человек в минуту малодушия? Засыпает. Теперь же Петр снова принялся клясться мне в верности и обещал стоять на часах.

— Дух твой, может, и бодр, — возразил я, — но плоть слаба.

И я снова ушел в сад молиться. В аромате цветов чуялось предательство. Даже в цветах. Я вернулся к ученикам. Они опять уснули.

— Довольно, — сказал я. — Час настал.

Я не окончил еще говорить, когда в саду появился Иуда, а за ним храмовая стража и римские легионеры. Иуда направился прямиком ко мне.

— Учитель, учитель, — проговорил он и поцеловал меня в уста. Я понял: он тоже любит меня и даже сам не знает, как любит.

Однако он любил меня лишь половиной своего сердца. Губы его горели. Должно быть, он предупредил солдат: «Тот, кого поцелую, называет себя Мессией». Да-да, наверняка они так и условились, потому что меня тут же схватили. Тогда Петр выхватил меч и ударил по уху одного из слуг первосвященника. Показалась кровь.

— Не страдай. — Сказав это, я дотронулся до уха несчастного. И он исцелился. Я спросил: — Как зовут тебя?

— Малх.

Римские солдаты стояли молча и не спешили на помощь Малху, потому что он был евреем. Когда же я исцелил его, они испуганно отшатнулись.

Я обратился к храмовой страже:

— Вы пришли изловить вора?

Я был схвачен. Иаков и Иоанн бежали. Бежал даже Петр. Бежали и римские легионеры.

Стражники увели меня. Я не сопротивлялся.

***

Меня привели к Каиафе в большой, просторный дом. На другом конце длинной залы горел огонь в очаге, возле него сидели приближенные первосвященника. Я заметил Петра, который, как видно, прокрался следом за мной и теперь грелся у огня.

Стражники завязали мне глаза. И тут же кто-то из них дал мне пощечину.

— Кто ударил тебя? Кто? Говори, пророк! — кричали они наперебой.

Потом кто-то невидимый плюнул мне в лицо.

Вошли священники, старейшины и несколько членов синедриона. И, разумеется, привели с собой лжесвидетелей. Двое из них рассказали первосвященнику, будто я говорил: «Я разрушу этот Храм и в три дня построю его заново». Только они никак не могли решить, обещался ли я отстроить Храм своими руками или вовсе без помощи рук.

Каиафа приказал развязать мне глаза. Первосвященник оказался высок и седой бородой напоминал пророка. Вокруг него толпились приближенные. Он тихо спросил:

— Ты ответишь на мои вопросы?

Я промолчал. Мое молчание, должно быть, казалось вызывающим, и первосвященник, не выдержав, произнес:

— Повелеваю именем Живого Бога, отвечай! Ты действительно Христос, Сын Божий? Ты — наш Мессия?

Итак, он повелел. И я не мог солгать первосвященнику моего народа, не мог — даже будучи Сыном Божиим и, значит, в какой-то степени, выше первосвященника. Поэтому я сказал:

— Я тот, о ком вы говорите.

Слова мои словно бы пришли с неба. Они казались далекими, хотя произносил их я сам.

Каиафа, казалось, ничуть не удивился. И тут же воскликнул:

— Нам не нужно других свидетельств! Вы все слышали это богохульство!

Он принялся рвать на себе одежды, и понимать это следовало так: я не вправе считать себя Сыном Отца, нет, я — сын еврейского народа. И сын этот совершил такое святотатство, что первосвященнику пришлось разорвать свои одежды. Ведь в жилах всех евреев течет одна кровь, и он, приговорив меня, своего потомка, к смерти, теперь оплакивает эту смерть.

Стражники возобновили свои глумления. Слова Каиафы избавили их от всякого страха: теперь пленник уже не пожалуется на жестокое обращение. Они били меня по лицу.

Краем глаза я видел Петра. Он по-прежнему сидел на скамье в другом конце залы. Вдруг к нему подошла служанка и спросила:

— Не ты ли был в Храме с назаретянином Иешуа?

— Не понимаю, о чем ты, — ответил Петр. Он тут же поднялся и вышел на открытую галерею, хотя ночь была холодна.

Вскоре к нему подошла другая служанка и сказала:

— Ты — один из них.

И он снова отрекся.

— Женщина, — сказал он, — я его не знаю.

Тут к нему приблизился какой-то мужчина и сказал:

— Разве ты не из его людей? Судя по выговору, ты из Галилеи.

— Я не знаю человека, о котором ты говоришь, — резко ответил Петр.

И тут прокричал петух. Глухой ночью, задолго до рассвета. Он прокричал, и Петр вспомнил, что́ я предрек ему накануне.

Он в слезах вышел вон. Он плакал. Его боль передалась мне — внезапно и остро, точно укол в сердце. Всю жизнь придется ему раскаиваться в том, что он трижды отрекся от меня, прежде чем прокричал петух.

Первосвященник Каиафа ушел вместе со старейшинами синедриона. Меня же до утра бросили в крошечную темницу. Спать я не мог. Я думал: возможно ли что-нибудь сделать? Пусть Иуда меня предал, но он честно об этом предупредил. Теперь я нуждался в его совете. Из всех учеников именно он всегда умел объяснить, как наши священники обделывают свои дела с римлянами. Я знал: утром все будет зависеть от того, о чем договорятся между собой Каиафа и прокуратор Иудеи.

Иуда часто рассказывал нам об этих людях, о том, как искусно поддерживают они мир в Иерусалиме. Понтий Пилат не позволял своим солдатам оскорблять Храм, а Каиафа не позволял хоронить евреев, погибших в стычках с римлянами, по ортодоксальному еврейскому обряду.

Так они сохраняли порядок. Римляне, как истинные язычники, верили в особое предназначение Рима. Евреи же верили в единого Бога, одного-единственного, более могучего, чем все языческие боги и демоны, вместе взятые. В остальных же вопросах между Каиафой и Понтием Пилатом царило полное согласие. Иуда говорил мне, что римский прокуратор втайне получает от Храма золото, этим и объясняется его снисходительность к евреям. В первый год своего правления Понтий Пилат допустил ошибку, подняв над гарнизоном в священном городе знамена с римским орлом. Против идолопоклонников поднялось восстание. Толпы евреев взяли в кольцо резиденцию Понтия Пилата и отказывались снять осаду. Но их окружили римские легионеры и приказали разойтись или умереть. Ни один еврей не отступил. Пойти на попятный пришлось Пилату. Он убрал со знамен изображение орла. Евреи оказались не только отважны, но и прозорливы. Они предвидели, что Пилат не захочет войны в Иудее в самом начале своего прокураторства, побоится гнева своих римских покровителей. С тех пор прошло пять лет, не омраченных никакими беспорядками, хотя Пилат по-прежнему жил и правил, постоянно страшась восстания.

Каиафа был первосвященником уже более десяти лет. И договор его с Пилатом основывался на том, что он тоже боялся бунта. Так, во всяком случае, рассказывал Иуда, который никогда не упускал возможности упрекнуть меня за упорный отказ этот бунт поднять. Иуда твердил, что евреи не придут к единству и братству, если не избавятся от ига римлян. Только таким способом, по словам Иуды, евреи освободятся от разъединяющего их стыда, потому что сейчас все они — и горстка богатых, и множество бедных — раболепствуют перед римлянами. Как же сердился Иуда, когда я объяснял, что хочу лишь одного: привести мой народ к Отцу моему. Я повторял это не раз, беседуя с ним по дороге в Иерусалим. У меня действительно никогда не возникало желания восстать против языческого орла. Но во мне не было и раболепия перед римлянами. Они угнетают нас здесь, на земле, но они ничто в сравнении с Царством Небесным.

Не в этом ли моя надежда? Ведь я никогда не хотел стать во главе восстания. Но руки и ноги мои уже ныли, предвидя грядущую участь; лицо вспухло от побоев. Узилище было чернее ночи.

***

На рассвете меня перевели из дома Каиафы в комнатку при дворе Понтия Пилата. Один из стражников сообщил мне по пути, что Иуда вернул тридцать серебряных монет, которые заплатили ему старейшины.

— Священники не знали, что делать с этом подношением, — рассказывал стражник. — Кровавые-то деньги в сокровищницу класть не положено.

Священники отказались принять сребреники. Иуда бросил их наземь и ушел.

А потом повесился. Часа три назад.

Как это понимать? За что так страшно расплатился Иуда? За недостаток веры в Отца? За недостаток преданности мне? Я не мог говорить. И не смел. Чтоб не расплакаться. Одной половиной своего сердца.

Меня привели к Понтию Пилату, человеку небольшого роста, с острым носом и угловатыми плечами. Колени у него тоже были острые, выпирающие, словно взбираться по служебной лестнице ему помогали не только ум, но и ноги. Кстати, о носе: редко встретишь тупицу с острым носом. Никакой доброжелательностью от Пилата не веяло,

но было видно, что он утомлен и не так уж и жаждет моей смерти. Похоже, он не считал меня врагом, а скорее — вестником перемен. Возможно, недобрых перемен.

Он обратился к подошедшим священникам:

— В чем вы обвиняете этого человека?

— Господин прокуратор, он мутит народ и пытается обратить его в другую веру.

— Тогда заберите его. И судите по своим законам.

— Наши законы не разрешают предавать смерти.

Так и было. Право на казнь принадлежало только римлянам. Поэтому Понтий Пилат, покинув судилище, удалился для размышлений. Вернувшись, он задал священникам еще несколько вопросов. Они ответили, что я запрещал людям платить дань Кесарю, а себя называл царем.

Пилат спросил:

— Ты называешь себя царем иудеев?

— Это сказали другие? — ответил я вопросом на вопрос.

— Разве я иудей? Твои священники привели тебя сюда. Что ты сделал?

— Мое царство не в этом мире, — отозвался я.

Он взглянул на меня повнимательнее, но с усмешкой. Лицо мое было в синяках и ссадинах.

— Тем не менее ты — царь? — спросил он снова.

— Я царь в одном: я — свидетель истины.

— Что есть истина? — произнес Пилат. Он не умел верить, но умел говорить. — Где есть истина, там нет мира. Где царит мир, истины не найдешь.

Книжники и священники, присланные Каиафой, недовольно загудели. Уж им ли, правоверным евреям, не знать, что есть истина? В то утро они знали лишь одну истину: римляне должны приговорить меня к смерти.

Переждав их ропот, Пилат снова спросил:

— Так что есть истина?

И сам же ответил:

— Истина в том, что имею. В земле. Особенно в бумаге на владение землей. А еще больше истины в законе о разделе земли. Поскольку ты из Галилеи, судить тебя должен не я, а Ирод. Он, согласно римскому разделу, правит Самарией, Идумеей и Галилеей. Но Ирод сегодня в Иерусалиме. И не просто в Иерусалиме, а здесь, у меня. Он уже говорил, что желает тебя видеть. Весьма наслышан. Видно, жаждет чуда. — Пилат улыбнулся. — Сумеешь сотворить чудо в доме язычника? Вдруг здесь хозяйничают языческие боги, а не единый Бог иудейский?

Меня провели через анфиладу внутренних дворов в покои Ирода Антипы. Он оказался тучен и немногословен. Красавица, сидевшая рядом, занимала его куда больше, чем я. Однако когда солдаты захихикали, увидев мои грязные одежды, Ирод повелел принести другое платье, какое пристало носить царю. Или — поправился он тотчас же — царским придворным. И надел его на меня.

Затем он произнес:

— Поскольку ты находишься в Иерусалиме, судить тебя должен Понтий Пилат.

Казалось, Ирод сам доволен сказанным. Он с радостью отошлет меня к Понтию Пилату. Не захочет иметь дела с братом убитого им пророка — благо рядом есть другие, чьими руками можно со мной расправиться.

— Поскольку ты родом из Галилеи, из подчиненных мне земель, я отошлю тебя обратно к Пилату в достойном одеянии, — сказал Ирод и захлопал маленькими, глубоко посаженными глазками. Как, должно быть, крепко зажмурились эти глазки при виде окровавленной головы Иоанна Крестителя! На меня Ирод больше не глядел. Рука его блуждала по телу женщины.

Стражники провели меня обратно через все покои к Понтию Пилату. Перед ним стоял Каиафа. Похоже, первосвященник тоже плохо спал этой ночью.

Говорил Пилат.

— Вы обвинили этого человека в том, что он хочет обратить ваш народ в иную веру. И прислали ко мне. Но я не нахожу его виновным в подстрекательстве к бунту против

римлян. Ирод тоже не видит его вины. Смотрите, Ирод даже надел на него пурпурные одежды. Поэтому я велю его выпороть и отпустить. Смертный приговор можно вынести лишь за серьезные провинности. В конце концов, смерть слишком тяжкое наказание.

Я понимал: это не состязание в логике, это игра. Каиафа ничем не выдал своего недовольства. Он лишь печально улыбнулся, словно знал, что римское правосудие обойдется ему сегодня дорого. Понтий Пилат наверняка готов меня казнить — но только за свою цену.

— Я осужу этого человека, если вы настаиваете, — продолжал Пилат. — Но так ли уж это необходимо? Сегодня у вас праздник. Согласно нашим законам — а в этом они совпадают с вашими — я должен отпустить на волю одного еврея, которому случилось на Песах оказаться в тюрьме. Давайте отпустим вашего Иудейского царя?

Священники Большого храма притворились, будто размышляют над ответом. Никого из моих сподвижников в толпе не было. Это и понятно: большая часть моих людей бедны, а кто богат, тот робок, к тому же все они неграмотны и очень боятся римлян. Зато здесь были храмовые старейшины, книжники, фарисеи, иерусалимские богачи. Они-то и окружали священников. Я понял (увы, слишком поздно): голос большинства что ураганный ветер — сметает все на своем пути и, стихнув, оставляет лишь усеянную обломками пустошь.

Пилат спросил:

— Кого освободить?

И покорная священникам толпа ответила:

— Варавву.

Об этом человеке я уже слышал. Он убил римского легионера.

Пилат улыбнулся. Закон законом, но освобождение убийцы римского легионера обойдется Храму в круглую сумму. Каиафа тоже улыбнулся — шире, чем прежде, словно говоря: «Мне по карману такая трата».

— Что же сделать с тем, кто именует себя Христом?

Послышались крики:

— Распять его! Распять!

Понтий Пилат неподдельно удивился.

— Распять? За что? Какое преступление он совершил?

Он и в самом деле ничего не понимал. Если они просто жаждут поглазеть на распятие, почему не выбрали Варавву? Римляне полагали, что справедливый суд укрепляет порядок в обществе, а убийство этот порядок подрывает. Убийца, по их мнению, достоин казни, причем самой жестокой. А богохульник... Подумаешь, оскорбил какого-то бога! Такую провинность можно искупить молитвами. Или поменять этого бога на другого. Римляне считали пророков чем-то вроде богатых купцов. Нечистого на руку купца не убивают, с него берут штраф. Пилат, должно быть, сильно изумился, услышав, как много людей закричали: «Распять его! Распять Иисуса!» Он воочию увидел, что для евреев добродетель состоит не в справедливом разделе земли, а в наказании греха.

Пилат приказал принести таз с водой. Умыл руки. И сказал:

— Я не повинен в крови этого человека.

И все, в том числе и я, поняли: Пилат согласился с решением большинства.

Каиафа и его приспешники закричали:

— Пусть его кровь будет на нас и на наших детях.

Они говорили искренне. И верили так истово, что клялись детьми. Пилат же с легкостью принимал этот дар.

Мне хотелось крикнуть: «Не клянитесь! Вы запятнаете моей кровью не только ваших детей, но и детей ваших детей, и всех потомков. Вас ждут неисчислимые беды». Но я молчал. Мне оставалось только молчать — перед неколебимой уверенностью этих людей. Моего народа.

Римские солдаты отвели меня в казарму и сняли с меня все одежды, оставив только повязку на чреслах. Потом прикрыли мои плечи багровым плащом, какие носят царские придворные. Они сплели венец из терновника и возложили мне на голову. В правую руку мне вложили толстый сук — вместо скипетра.

Потом они преклонили предо мной колена и закричали:

— Радуйся, Царь Иудейский!

А затем, поднявшись с колен, плевали мне в глаза и секли хлыстом по лицу. Безжалостные, жестокосердые римляне.

Насадив терновый венец еще плотнее мне на голову, они давили и давили, покуда не потекла кровь. Но струйки красной крови показались мне белыми червями смерти, ползущими по моей живой еще плоти.

Плащ с моих плеч вскоре сдернули. Я остался наг, и мне вернули мои одежды. Я обрадовался: они были нежны, как рука Господа на теле младенца. <...>

***

Те, кому довелось знать меня при жизни, успели написать множество богоугодных, благочестивых воспоминаний. Те, кто не знал меня вовсе, написали Евангелия. (Кстати, еще более благочестивые.) Эти позднейшие авторы — называли их теперь христиане — слышали о моих скитаниях от предков. И сильно дополнили их рассказы. Одни присочинили ангелов, круживших возле моего тела после смерти; другие придумали молнию, ударившую в тот день в главные ворота Большого храма. Им привиделось, что раскалывались утесы, разверзались гробницы. Якобы, когда из моих запястий и лодыжек вытащили гвозди и положили меня на землю, она содрогнулась. Кто-то придумал даже, будто пророки восстали из мертвых и являлись многим жителям священного города. И тогда-то люди сказали: «То был воистину Сын Божий».

Многие из бывших возле меня оказались склонны к преувеличениям. И ни один не верил в Сына и Отца настолько, чтобы просто написать правду, которая, как вы убедились, достаточна сама по себе. Поэтому я, подобно Даниилу, хочу запечатать это Евангелие в надежде, что оно и останется единственной непреложной правдой — навеки.

Но, нет. Пока не могу. Я должен еще сказать о том, что случилось после моей смерти. До меня дошло множество историй, и все они далеки от правды. Совпадает лишь одно: я действительно воскрес на третий день. Но дальше мои ученики дали волю воображению. Когда человек видит чудо, Сатана непременно проникает в его рассказ и умножает это чудо стократ.

Правда же такова: в день моей смерти один богатый человек из числа моих последователей, по имени Иосиф Аримафейский, тайно посетил Понтия Пилата и попросил разрешения забрать мое тело. Пилат, получив от него круглую сумму, согласился. После чего Иосиф вместе с Никодимом стали готовить тело, бывшее некогда моим, для погребения. Они принесли состав из смирны и алоэ, около пятидесяти литров, омыли меня и обвили пеленами с благовониями. Так у нас, евреев, принято обряжать мертвых. Неподалеку от места, где меня распяли, был сад с недавно выбитым в скале склепом. Иосиф Аримафейский предназначал это место для себя. Но теперь, из уважения, решил положить здесь меня.

И вот меня опустили в гробницу богача. И ушли, заложив вход огромным камнем.

В это время Каиафу и его приближенных одолевали мрачные мысли. Они усомнились в мудрости содеянного. В день моей смерти, к вечеру, многие благочестивые евреи вышли на улицы Иерусалима и, бия себя кулаками в грудь, кричали: «Наши грехи навлекут на нас многие беды!» Священники Большого храма испугались за народ и за самих себя. Поэтому наутро они пришли к Пилату и рассказали, что я обещал воскреснуть через три дня. Я говорил это многим. Они попросили прокуратора выделить на три дня стражу для охраны гробницы.

— Иначе, — сказали они, — ученики Иисуса выкрадут его ночью, а потом объявят людям: «Он воскрес». Если это случится, беспорядков в стране не избежать.

Пилат ответил:

— Стерегите сами.

Дело в том, что они не заплатили ему обещанного.

Потом он добавил:

— На мне нет крови этого человека. Вы сами его осудили.

Священникам почуялась в его словах угроза, и они решили заплатить. После чего Пилат дал им легионеров под началом центуриона Петрония. На камень, закрывавший вход, римляне наложили семь печатей и встали сторожить гробницу.

Некоторые говорят, что той ночью случилось землетрясение и ангел Господень, слетев в небес, откатил камень от входа. Охранники же, испугавшись белоснежного сияния, которое исходило от ангела, пустились наутек.

Другие говорят, что на рассвете третьего дня к месту погребения пришла Мария Магдалина и застала там другую Марию, мою мать. Смерть часто сводит блудниц и праведниц, это не ново. И эти две женщины решили исполнить надо мной подобающие погребальные ритуалы. Дело было за малым — отвалить камень. Но кто может это сделать?

Однако вход в склеп оказался открыт. Они могли свободно войти внутрь. Там им явился человек в длинных белых одеждах. Он промолвил:

— Вы ищете Иисуса из Назарета, но он вознесся. Скажите его ученикам, что он прибудет в Галилею прежде них. Там вы все и встретитесь.

Возможно, эта история близка к истине. Я точно знаю, что воскрес на третий день. Припоминаю также, что вышел из склепа и побрел по улицам Иерусалима, потом прочь из города по проселочным дорогам и наконец в какой-то час предстал перед учениками. Я сказал им:

— Отчего вы печалитесь?

Но они меня не узнали. Они решили, что я странник и, придя издалека, не ведаю, что случилось в Иерусалиме. Они даже попытались объяснить:

— Мы скорбим по великому пророку, Иисусу из Назарета. Наши правители его распяли.

Я сказал им:

— Взгляните на мои руки и ноги!

Фома, увидев сквозные раны от гвоздей, попросил позволения их пощупать (потому его доныне и называют Фомой Неверующим). Остальные же поверили сразу. Скоро все, кому случилось тогда меня встретить, узнали, что я был принят в раю и посажен по правую руку от Господа. Я недолго оставался с учениками, и больше они меня не видели. Тем не менее они стали повсюду рассказывать, что Господь был с ними. К тому же они наконец уверились в том, что могут изгонять бесов. У них прорезалось небывалое красноречие, а когда они возлагали руки на недужных, некоторые и впрямь исцелялись.

Моя смерть разъединила евреев. Многие, под водительством апостолов, тоже стали моими последователями. Они назвали себя христианами. Остальные остались верны Храму и спорили между собой еще добрую сотню лет: был я мессией или не был.

В спорах победили те, что побогаче и поблагочестивее. Мессия, по их мнению, не мог быть бедняком, не мог говорить на грубом галилейском диалекте. Бог бы этого не допустил!

Справедливости ради надо добавить, что многие из тех, кто называет себя христианами, так же богаты и ханжески благочестивы, как толстосумы-фарисеи. Боюсь, они зачастую даже превосходят в лицемерии тех, кто обрек меня когда-то на смерть.

В мою честь и в честь моих апостолов возведено великое множество церквей. Самый большой, самый почитаемый храм посвящен Петру и стоит в Риме. Он великолепен и окружен великолепием. Нигде вы не увидите столько золота сразу.

Бог и Маммона по-прежнему стремятся завладеть людскими сердцами. Но, поскольку силы у борцов примерно равные, торжествовать победу ни Бог, ни Сатана не могут. Я по-прежнему сижу по правую руку от Бога, постигаю мудрость, новую мудрость, и о многих думаю с любовью. Люди очень почитают мою мать. Ей посвящено много церквей, возможно, даже больше, чем мне. И она довольна своим сыном.

Отец мой, однако, говорит со мною редко. Но я Его почитаю. Разумеется, Он дарует всю любовь, какую только может, но любовь Его не безгранична. Силы Его уходят на все более ожесточенную борьбу с дьяволóм. И многие битвы уже проиграны. В последнем веке второго тысячелетия на землю обрушились такие жестокие кровопролития, такие смертоносные войны, такие глады и моры, каких мир прежде не знал.

Несмотря на все это, большинство людей уверены, что Бог одержал, благодаря мне, великую победу. Возможно, дьявол просто не сумел постичь всю глубину Его мудрости. Ибо Отец мой всегда умел воспрянуть после поражений, пусть даже самых сокрушительных. Через полвека после моей смерти было написано Евангелие от Иоанна, и похоже, вдохновителем этого (неизвестного мне) Иоанна был мой Отец. Потому что в Евангелии от Иоанна есть незабываемые слова: «Бог так возлюбил мир, что пожертвовал своим единственным сыном, чтобы всякий, кто уверует в него, не погиб, а обрел вечную жизнь». В этих словах заключена такая сила, что не было с тех пор на земле пророка, за которого столько людей были бы готовы пойти на смерть. Оно и понятно: я был не только пророк, я был Сын.

Но истина превыше всего, превыше даже, чем райское блаженство. Поэтому хочу быть понятым вполне. Я отнюдь не утверждаю, что Отец мой одолел дьявола. Не прошло и сорока лет после моей гибели на кресте, когда случилась война и миллионы евреев пали от руки римлян. Большой Храм был разрушен до основания, от него осталась лишь одна стена. И все же Господь не уступал Сатане в хитрости. И мужчин и женщин он понимал не хуже, а лучше дьявола. Мой Отец знал, как извлечь выгоду из поражения. Назвав его победой. Теперь, в нынешние времена, многие христиане уверены, что все это делалось ради них. Они уверены, что главная победа уже одержана — задолго до их рождения. И считают ее своей — из-за мук, которые я претерпел на кресте. Такое вот применение находит для меня Отец и по сей день. Через мое благословение Он шлет на землю свою любовь всякому живущему, будь то мужчина или женщина, и я стараюсь быть источником самой кроткой любви.

В то же время я должен помнить и о Понтии Пилате, который сказал, что там, где есть истина, нет мира, а где царит мир, истины не найдешь. Поэтому я иду не с миром, я иду с мечом. Я веду войну против всех, кто делает нас меньше и мельче. Кто лишает нас щедрости. Я не дам дьяволу убедить себя, что бездна нашей жадности — благородные глубины и что сам он — дух свободы. Впрочем, кто, как не Сатана, втолковывает нам, что жизнь должна быть легка и приятна? А любовь на самом деле не торный путь, который наверняка приведет нас к хорошему концу, любовь — награда, которая дается в конце тяжкого пути: в конце нашей многодневной и многотрудной жизни. Поэтому я часто думаю о той надежде, что освещает лица бедняков. Тогда из глубин моей скорби непреложно, неизбежно поднимается волна сострадания, и в ней я черпаю силы жить и радоваться.

■

ХОСЕ ХИМЕНЕС ЛОСАНО

Стихи

Перевод с испанского и вступление ПАВЛА ГРУШКО

Хосе Хименес Лосано (род. в 1930 г.) — лауреат Национальной премии по литературе 1992 года — деятельно избегает общения с шумными перекрестками коммерческой литературы, с зависимостью от суждений критики. Упоминание интервьюера, что он «красный» для правых и «реакционер» для леваков и интеллектуалов, Хосе Хименес Лосано встретил веселой репликой: «Потрясающе! Оппозиция полюсов!»

Сознательная (если не интуитивная, что, в сущности, одно и то же) приверженность почти отшельнической жизни в родной провинции Вальядолид дала писателю воздух для вольного, поразительно многопланового мыслительного акта, в котором Хосе Хименес Лосано соотносит себя с полюсами более значительными, нежели «правое» и «левое», а именно — с высшим и низменным. Как писал о нем недавно журнал «Архипелаг», этот одиночка «живет в компании с такими же одинокими существами, как Паскаль, Кьеркегор, Симона Вайль и Хуан де ла Крус...».

Его романы, книги рассказов, эссе и стихи объединяет не стиль (тягу к стилю он называет «игрой, надувательством, эксгибиционизмом таланта»), а «соответствие слов реальности».

Христианское пространство в произведениях Хосе Хименеса Лосано присутствует, как, в той или иной мере, у других писателей страны с серьезным католическим прошлым, но в отличие от многих он не набожничает и порой едко высмеивает «гримасы» религиозного ритуала и быта. В некоторых его рассказах я обнаружил грешных служителей культа — самоубийц, прелюбодеев: мне кажется, что показать Адамово начало верующего для него не менее важно, чем высказать любую другую истину.

Хосе Хименес Лосано убежден: «как ни ужасен мир, в котором мы живем, он предоставляет человеку возможности, которых у него никогда не было».

Я твердо верю в существование по крайней мере одного ангела — того, что свел меня с «вальядолидским отшельником», и благодарен Хосе Хименесу Лосано за то, что в мои краткие посещения Испании он навещает меня в Мадриде, дарит свои книги и общение, позволяющее правильнее понять их. Не подумайте, что он пишет преимущественно на религиозные темы, это не так, но в тех нечастых случаях, когда Хосе Хименес Лосано касается этих тем, он убедительнее многих доказывает значимость одухотворенности в житейской страде человека.

Не забыть: иллюстрации к этой подборке — из альбома «Возрасты Человека»; идея альбома и тексты принадлежат Хосе Хименесу Лосано, большому знатоку кастильских древностей.

© José Jiménez Lozano, Valladolid. España, 1992, 1996
© П. Грушко. Перевод, вступление, 1998

Последняя роза

Видишь — похожа на алую вспышку
последняя роза осени.
Сын Человеческий, ты избавил мир
от греха и смерти?
Почему тогда я не увижу больше
сияние этой розы? Почему тогда
для утешения нас, смертных,
золотое могущество солнца
не продлит ее жизнь?
Кроту все равно — знай себе роет
извилистую нору, но нам-то смертным
каково, Сын Человеческий?!

Непорочная с яблоком(деталь).
Неизвестный скульптор (около 1440—1450).

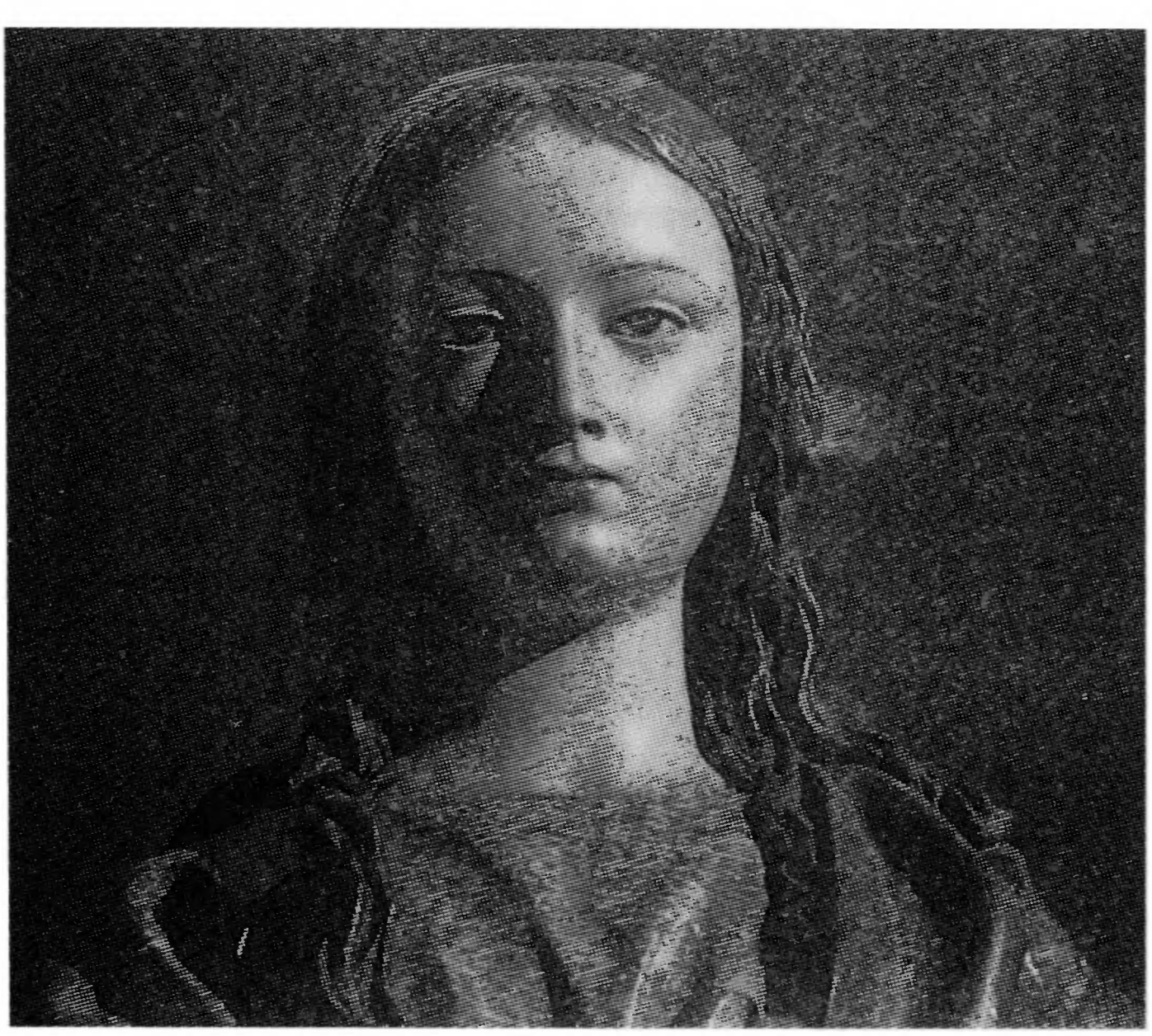
Подслушанное

Круг — замыкается
или остается открытым?
Сирень — тает ли,
подобно сумеркам?
Навсегда ли умирают
младенцы?
Насытятся ли когда-нибудь
голодные,
а богатые станут ли снова детьми,
будут ли в коротких рубашках
гонять обручи?
Бог — похож на вулкан или рысь,
на орла-убийцу, или невесту
с опаловыми глазами,

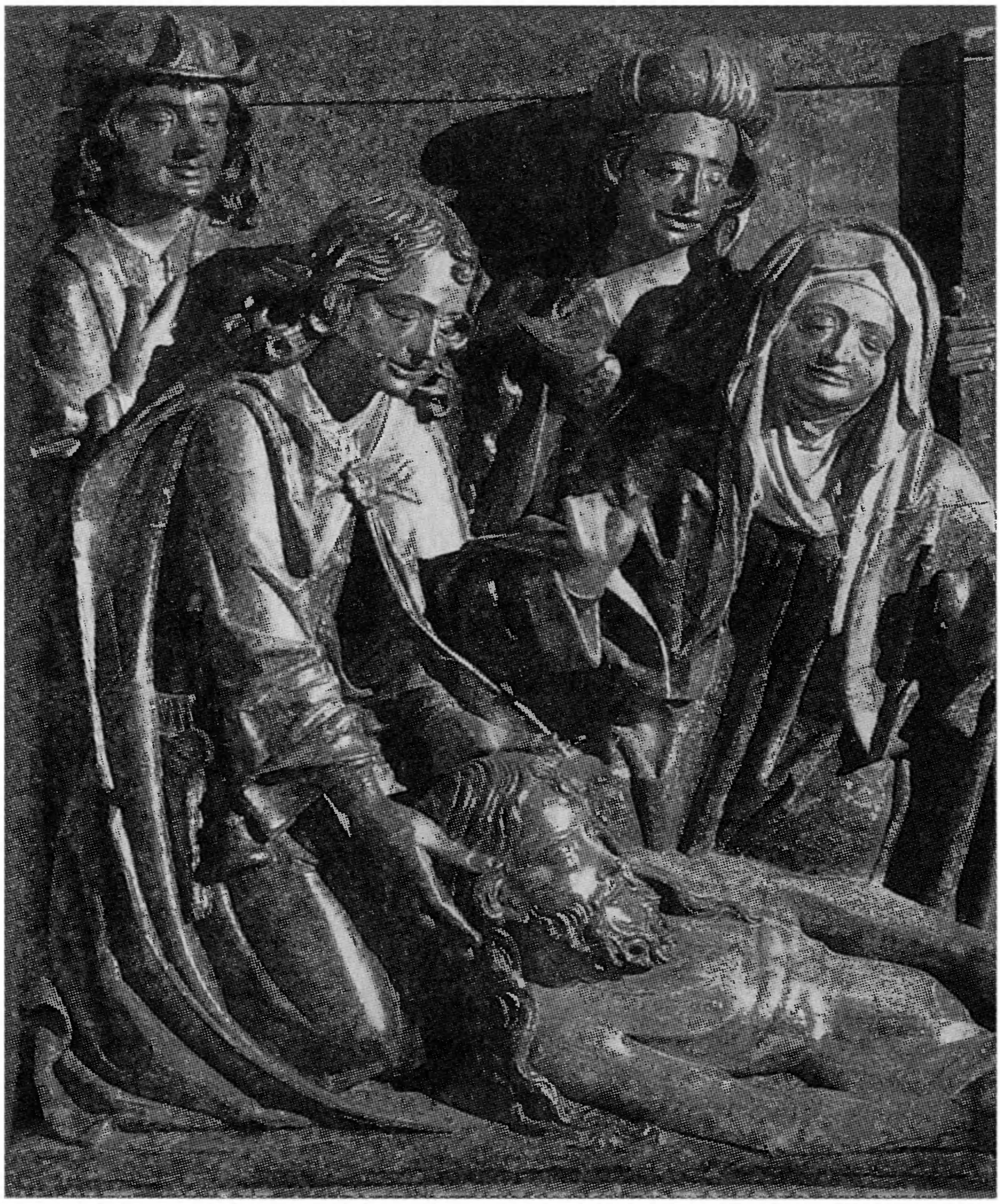
или на нищего со всемогущими
отрубленными руками?..
Об этом спрашивал Никодим
Иисуса, пророка из Галилеи, —
сказала дворцовая служанка.
Первосвященники ей не поверили,
сплетницу засекли до смерти.
Она не могла вспомнить ответы,
да и не было в них, сказала она,
ничего особенного.

Лазарь

Настолько глубока смерть, настолько
ее безмолвие заполняет могилу,
что сам Спаситель, никогда не кричавший,
должен был выкрикнуть эти
сотворенные светом слова:
«Лазарь! Иди вон».
Нет, не крику — одним только слезам
удалось извлечь из могилы
обвитого погребальными пеленами.



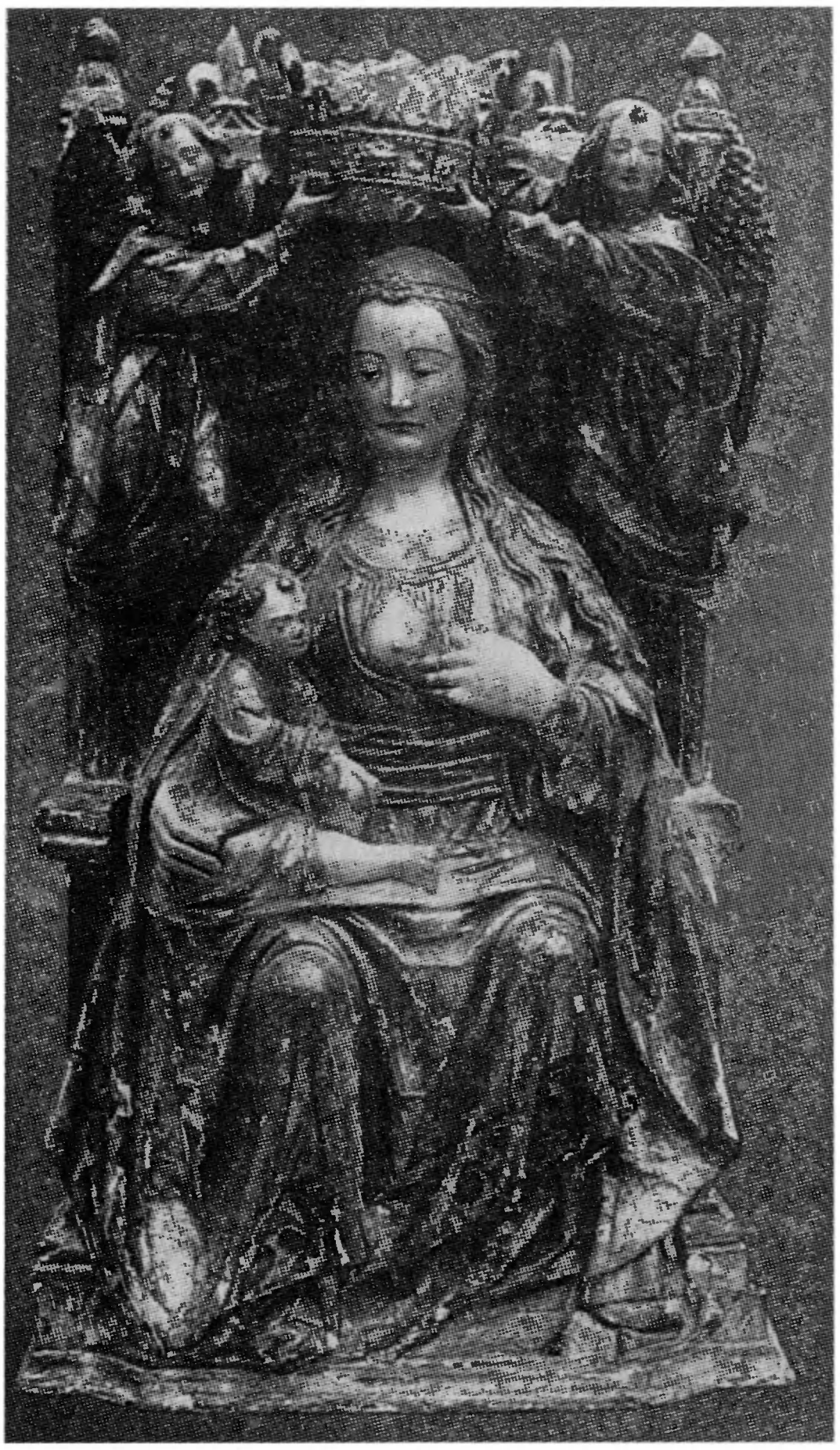
Скульптура Непорочной.
Педро де Мена (1628—1688).



Барельеф «Плач по усопшему Христу» (деталь).
Алехо де Баия (около 1486—1510).

Причащение

И когда меня не станет,
сказал Он на последней
вечере,
вспоминайте меня в хлебе,
говорите обо мне темной ночью
или когда подкрадется к вам
смерть.



Барельеф «Богородица с младенцем».
Алехо де Баия.

Отречение Петра

Он сказал: «Нет, я его не знаю.
Не ведаю, о ком вы мне говорите,
я не знаю, кто он». В ту гулкую ночь
единственной краской стыда
был алый отсвет костра,
лишь рассветный холод донимал его,
и раздался крик петуха,
дворцовые служанки видели,
как дрожали у Петра веки.
Убегая, он прятал лицо и рыдал.
Сын Человеческий посмотрел на него увлажненными
понимающими глазами ослика,
избиваемого жердью,
и опять прокричал петух, его крик
был неуместным, смешливым, страшным.
Так посреди необъятного мира
предательство воссело на трон
и было благословлено.

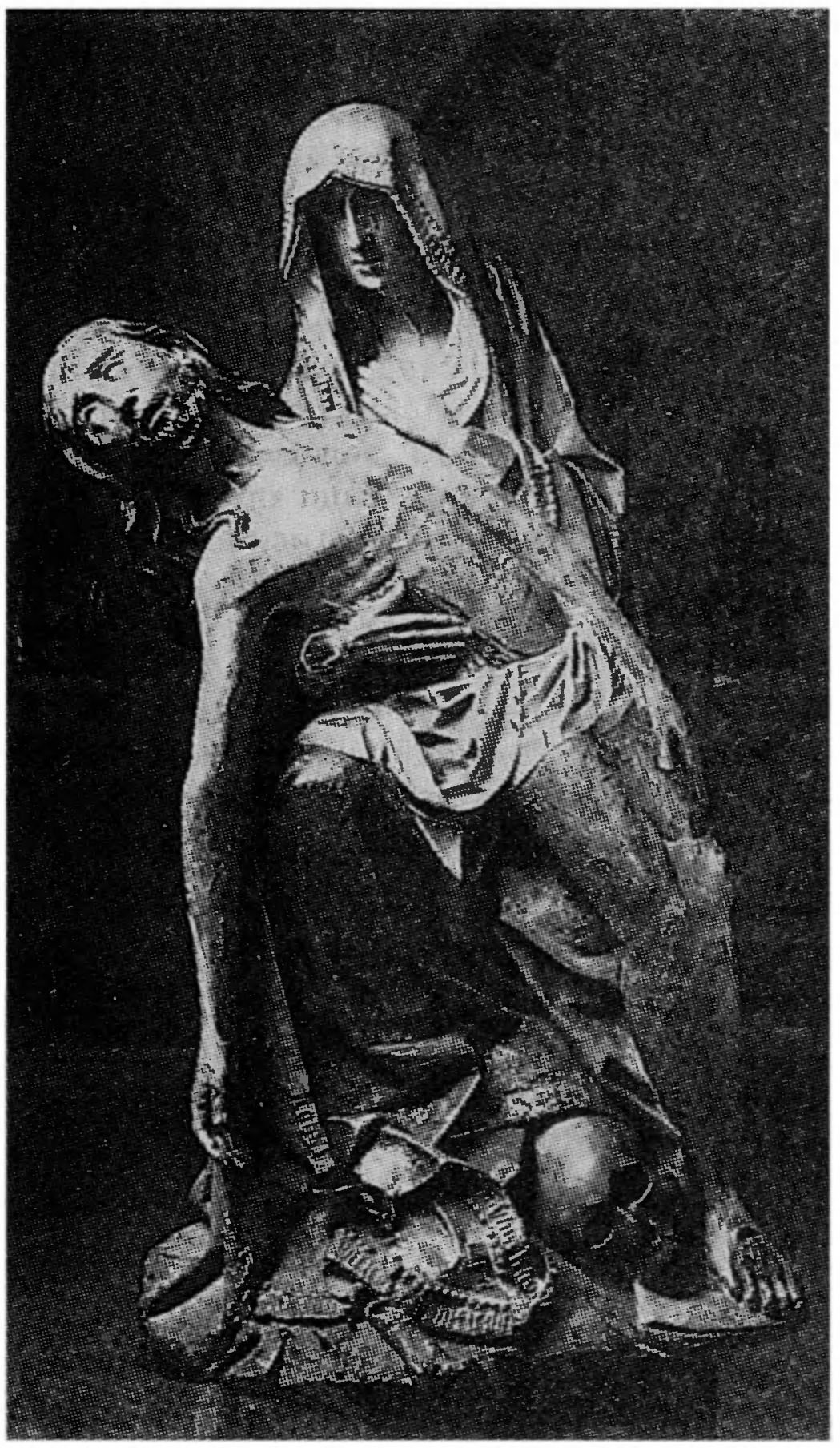
Сообщение прокуратора

Его посадили на жеребца,
сорвали с него одежды
и насмехались над его худобой нищего,
над его грудью ребенка
и над его стыдом,
потом положили навзничь и прибили
гвоздями к брусьям, —
ноги почти касались земли,
чтобы ярить шакалов, свиней, псов и зевак.
Он висел посредине, в насмешку
я велел облачить его в багряницу
и прикрепить дощечку,
объясняющую политическую суть дела.
Первый раз, Кесарь, я пишу так длинно
по столь обыденному делу,
добавлю,
весна все еще холодная, скука,
самое время устраивать представления
здешним провинциалам.

Скульптурная группа «Плач по усопшему Христу».
Неизвестный художник, именуемый Мастером из Сан-Пабло-де-Моралеха (начало XVI в.)

В могиле

Почему тебя беспокоит холод,
чертополох и грызуны,
которые разрывают могилы?
Разве в ней ты окажешься?
Мрак пугает тебя, как ребенка,
забывшего, что рядом с кроваткой,
возле керосиновой лампы
шьет мама, прислушиваясь,
не заплачешь ли ты, вот она
пригасила огонь — ты спишь.
Разве Христос оставит тебя
под землей одного и в печали,
если сам отведал ради тебя
всю горечь распятия и успенья?
Разве промолчит, не скажет:
«Будильник я поставил на утро.
Какой красивый ждет тебя дом —
увитый плющом, с высокой вишней
возле крыльца. Вот и рассвет.
Одевайся, через мгновение
мы будем там, поспеши».



Скорбящая.
Неизвестный скульптор (конец XV в.).

СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЕГ

Безымянная могила

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского и вступление Ю. ГУСЕВА

О чем, собственно говоря, идет речь в этой повести: о трагической, полной бесплодного героизма новейшей истории Венгрии или о судьбе человечества, ради которого в течение тысячелетий принимают напрасные муки пророки и искупители? Стоят ли за выведенными в произведении образами реальные персонажи недавних, еще не стершихся в памяти лет или, наоборот, в библейских фигурах просвечивают черты, которые, будучи вечными свойствами человека, порождают свои проекции, реинкарнации в любой эпохе, в любой стране, в том числе и в Венгрии XX века?

Да, в додуманной автором истории Иуды-Анании многое указывает на Яноша Кадара; а последняя речь экс-первосвященника Анании перед Синедрионом и стилем, и многими недвусмысленными деталями напоминает (или пародирует? Если это пародия, то крайне грустная) выступление смещенного Кадара, незадолго до смерти, перед пленумом ВСРП. В фигуре Гамалиила, возможно, проглядывает философ Дёрдь Лукач. И все же книга С. Эрдега написана, я уверен, не (только) для того, чтобы заклеймить или оправдать конкретного деятеля. Писателя волнуют куда более существенные вопросы. Почему желание облагодетельствовать человечество так часто неразделимо переплетается со злодейством, с предательством? Почему, чтобы стать Ананией (обеспечившим народу Иудеи пускай недолгий, хрупкий, но все же мир), герою повести нужно было нести в душе страшный нравственный опыт Иуды? Почему вожди и герои так часто бьются за — в общем, что спорить, великие и благородные — идеи, оплачивая их бесчисленными жизнями тех самых людей, ради которых эти идеи проводятся? (Ведь до сих пор жива формула: биться за справедливость, или за свободу, или за независимость *до последнего человека*, — и пусть восторжествует справедливость, или свобода, или независимость, даже когда не останется никого, кто этой справедливости, или свободе, или независимости мог бы порадоваться!) Почему, в конце концов (все-таки действие-то в книге завязано вокруг фигуры Христа), ни прекрасные примеры, ни крестные муки подвижников и героев не могут образумить человека, наставить его на путь истинный?

Все это — повод для горечи, для отчаяния? Или все-таки для надежды? Ведь пример Иисуса, несмотря ни на что, живет в сознании, в душах людей! И в аду Иудина греха — даже имея в виду Иуду библейского, не литературного — просыпается стремление к раскаянию, к компенсации нанесенного зла...

Все персонажи, фигурирующие или упоминающиеся в повести, все топографические понятия С. Эрдег, по его сообщению, взял из Библии или из книги Иосифа Флавия. Даже, казалось бы, выдуманный Дидим (я проверил) упомянут в Библии как второе имя апостола Фомы. Дидим означает «близнец»; на этом и строится литературная версия Эрдега о Дидиме как брате-близнеце Фомы.

© Ördögh Szilveszter, 1994
© Ю. Гусев. Перевод, вступление, 1998

Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь...

Евангелие от Иоанна, 13, 30.

Могила... Простая яма, которую выкопали, потом зарыли... Земля, молчаливая хранительница тайн человеческих... То, что жило, любило, мечтало, покоится в ней, не подвластное более изменениям. Могила — ларец с тайнами; ларец, к которому нет ключа. То, что там оказалось, во веки веков останется неразгаданным. Можно, конечно, напрягать память, можно гадать, можно строить предположения. Но точный ответ найти невозможно, ибо изменчивое, став неизменным, перестало быть тем, чем было. Там, в могиле, в черном покое небытия, живое достигает предела, преображаясь в вечную, чистую тайну. Тайна — смутное понимание, что для прошлого у нас слишком мало слов. Тайна — то, чего невозможно высказать, ибо само бытие ее — тлен, в нем она обретает седьмой свой чертог, пол в котором — земля, и стены — земля, и свод потолка — земля. Там она обитает, словно звезда в пространстве, одинокая среди множества, сияя во тьме, на свету угасая...

Могила — мистический, непостижимый тайник, единственная твердая точка в зыбучей субстанции жизни, среди изрытых, изборожденных, песком, камнями и мусором засыпанных пустырей. Точка, где обрывается любое стремление, где печальный итог перечеркивает, задним числом, любое деяние, любой благородный порыв, все сводя к унылой кучке костей. И мы обескураженно стоим над ними, стоим перед ними, не находя ответов на мучающие нас вопросы, и нами овладевает слепой, безымянный страх. И как бы теряет смысл знание, добытое ценой страшных жертв; оно, как песок, уходит меж пальцев, и уже непонятно, кто в этом мире счастлив и ради чего стоит жить... Но в беспроглядной растерянности вдруг поднимает голову сомнение, сомнение порождает надежду, надежда — веру. Веру в то, что нам под силу вынести даже нераскрытую тайну.

А перед нами — всего лишь яма, которую вырыли, потом закопали. И в испуганном, темном, беспомощном нашем сознании, как бы уже и без нашего ведома, распускается то, что скрыто внизу, под ногами, в земле, в глинистой темноте, словно в полости черепа, где дремлет, собираясь проснуться, мозг. И то, что ушло, прекратилось, угасло, став вечной тайной, каким-то чудом дает ростки в душе человеческой, упрямо взыскующей света...

Мертвое море

Пустыня была словно море — вне времени. Волны вздыбленные, недвижные — и волны пенные, ритмично дышащие. Солнце слепило глаза.

Они стояли на берегу. На берегу пустыни, на берегу моря.

— Море тоже мертвое, — произнес хрипловато Дидим.

Лука не обернулся; щурясь, он смотрел вдаль, на водный простор. То, что он сегодня узнал от Дидима, оглушило его, наполнило голову тяжелым шумом.

— Что собираешься теперь делать? — спросил он наконец.

— Прости, ни к чему тебе это знать. Если есть у тебя вопросы по существу и я сумею на них ответить — отвечу с радостью.

— Что еще спрашивать... после этого? — Лука наконец повернулся к Дидиму. Губы его кривила усмешка, в которой бессилие смешивалось с отчаянием. — Пустыня — это пустыня, море — это море, пустыня мертва, море тоже. Что тут спрашивать? Ведь не я, ты хотел со мной говорить. Ты меня разыскивал. Ты передал, что будешь ждать меня здесь. Я из такой дали шел... Думал, у тебя хорошие вести. А ты мне...

— Надежнее места я не нашел, — перебил его Дидим. — Никто не должен видеть, как мы с тобой встретились, и знать, о чем говорили... Кстати, я тоже сюда пешком добирался.

Лука растер пот на лбу, на висках, огляделся в мучительном недоумении, шагнул к каменистому пригорку.

— О том, что Анания умер, я и сам знал. О смерти первосвященника, хоть и бывшего, слухи расходятся быстро. Сикарии, говорят, его зарезали. И было это год назад.

— Про Павла тоже слухи пошли. Вроде бы голову ему отсекли, на дороге из Рима в Остию. — Теперь Дидим повернулся лицом к морю. — Я думал, ты в Риме был, с ним вместе.

— Да, был... Но потом вернулся на родину, в Антиохию, так мы с ним решили. А Павел остался. Он в Риме снимал жилье, власти его особо не донимали, приходил к нему всяк, кто хотел, и всем он нес слово истины. — Лука сел на камень и продолжал говорить, обращаясь к спине Дидима: — Это он мне советовал, как возвращусь домой, записать всю историю. Что умер он, до меня тоже дошло. Только не поверил я этому, да и сейчас не верю. Я думал, ты меня для того и разыскиваешь, чтобы сообщить, что он жив. А ты — про Ананию...

— Не про Ананию, а про то, как все на самом деле произошло. — Дидим по-прежнему стоял к Луке спиной, словно ему тяжело было смотреть тому в глаза. — Когда я услышал о смерти Павла, мне нужно было удостовериться, жив ли ты. Кому-то ведь я обязан был все рассказать. Анания очень просил: только после того, как не станет Павла. И — самому надежному из братьев. Вот почему я тебя разыскивал. Ты знаешь многое — должен и это узнать.

Наступила долгая тишина. Лишь мелкие волны шуршали, взбегая на берег и сонно вздыхая, прежде чем откатиться назад. Зной висел над берегом тяжелой, недвижной пеленой.

— Почему ты молчишь, Дидим? Ответь: что ты теперь собираешься делать? Сам понимаешь, после того, что ты рассказал, нет и не может быть у меня вопроса важнее.

— Еще раз повторяю: это тебя не касается.

Лука перебирал камешки, насыпал их горкой рядом с собой.

— Признайся, Дидим... Кому ты служишь? И кому служил раньше?

Дидим поднял к небу лицо и сухо то ли покашлял, то ли засмеялся.

— Недоверчивый ты человек, Лука! Сколько раз тебе повторять: писарь я. И всегда был писарем. Ремеслу этому мы учились вместе с Фомой. Я не нищий, но и особым достатком похвастаться не могу, это ты тоже знаешь. Я всегда старался жить честно, но тайны умею хранить, если нужно. Видишь, я ничего от тебя не скрываю. Деньги — если на это ты намекал — мне платит Синедрион. Там я служу тридцать восемь лет.

— Почему тогда мы не встретились, например, в Сидоне? Или в Дамаске? Или где-нибудь на полпути между Антиохией и Иерусалимом? — Лука взял камешек, поднес его близко к глазам, повертел, отшвырнул. — Так было бы куда проще, не думаешь?

— Если ты мне не доверяешь, скажи прямо! — крикнул Дидим, теряя терпение. Он зашел по колено в воду, нагнулся, поболтал ладонью в густой соленой влаге, пригладил пальцами редеющие седые волосы. И, овладев собой, добавил негромко: — Иначе мне придется считать, что ты ничего не понял. Или еще хуже: что ты сам на кого-то работаешь.

— Великолепный ответ, Дидим, — с бесстрастной, холодной улыбкой произнес Лука. — Изобрази возмущение и сделай ответный выпад... Виден почерк тайного агента с большим опытом.

— А ты, Лука, хорошо знаешь приемы, которыми пользуются тайные агенты!

— Пришлось познакомиться. Нашему брату иначе нельзя.

Дидим вышел из воды, остановился на берегу, похожий на усталого рыбака.

— Циник ты, Лука. Но я тебя понимаю. Последний раз повторю: я служил и служу писарем в Синедрионе. Это — все. Тайным агентом никогда не был и никогда не буду. Не гожусь я для такой работы. Компетентные люди это давно заметили. Но надежный чиновник им тоже нужен — и я стал им. Тайных агентов я видел; то есть... мне доподлинно было известно, что они — агенты, но связан с ними не был никогда. Потому, наверно, что я брат Фомы, который был одним из двенадцати, еще до Павла. Но о Фоме тебе ведомо столько же, сколько мне, а может, гораздо больше. И, должно быть, ведомо, что от брата я не отрекся. Вот почему я ненадежен как соглядатай, хотя надежным чиновником могу быть вполне.

Лука устало набирал в горсть мелкую гальку и тут же высыпал ее.

— Ты мне не ответил. Почему мы не могли встретиться в Сидоне или Дамаске?

— Не было другой возможности, я все перебрал. Слишком велика тайна.

— Предположим, Дидим, я тебе верю. И не только из-за того, что ты брат Фомы. Но скажи, откуда тебе известно так много: и про смерть Павла, и про то, что Анания был убит не сикариями?.. Не говоря уж об этой бредовой истории, будто Анания — не Анания вовсе, а Иуда, которого нынче иначе не называют, кроме как предателем, Искариотом...

Дидим подошел к Луке, который все сидел на камне и все набирал и набирал пригоршнями гальку и сыпал ее рядом с собой.

— Ты как ребенок, Лука. Сидишь, камушки перебираешь. Еще бы домики строил... Я бы даже тебе позавидовал... не будь мне так горько.

— Тебе что, это мешает?

— Да, мешает, Лука. Не для этого я тебя столько разыскивал.

— А... как я должен себя вести? Чего ты, собственно, ждал, рассказав мне все это? Так оглушают коров на бойне... обухом по голове.

Дидим опустился рядом с Лукой на колени.

— Как я должен был рассказать? Смягчив, приукрасив? Придумав что-нибудь утешительное? Ради этого ни к чему было тащить тебя в такую даль... И думаешь, мне, мне-то легко было, не моргнув, выдержать этот удар... как ты говоришь, обухом по голове? — Он устало сел на пятки. — Ты спрашиваешь: что я собираюсь после этого делать? Не хотел говорить, но скажу: покинуть хочу этот мерзостный мир. Если повезет, в тот же самый момент, что и Фома. С близнецами такое бывает. Правда, я о нем совсем ничего не знаю. Попрощались мы с ним наспех. Слышал я, в Индии он, учит тамошних людей вере Христовой.

— Хоть ты и писарь простой, а хорошо информирован.

— Писарь в Синедрионе, не в какой-нибудь деревенской общине. И с Фомой мы близнецы. Он сомневался, потом уверовал. Так же и я. Пускай мы два разных человека, но неразрывно едины друг с другом. Другому этого не понять. Когда у него зуб болит, у меня тоже ноет. Расстояния нас не разделяют, а связывают. Я бы тебя не стал разыскивать, если б не знал, что война на пороге. И поэтому вызвал тебя сюда, а не в Сидон, не в Дамаск. Бежать вам надо. Спасать, что можно спасти. Теперь веришь?

Лука молчал, перебирая камни.

— В общем, я тебе все сказал, Лука, — продолжал Дидим. — Дальше — делай как знаешь. Если веришь мне — хорошо, нет — ладно и так. Одно знай твердо: слежки за тобой нет, никто тебя не задержит. Синедрион послал меня в Кесарию: судебное разбирательство, мне велели вести протокол, откомандировали на целую неделю. Послезавтра буду на месте, и никому не придет в голову спрашивать, где я пропадал целых два дня. А если кому и придет, скажу: застрял на день в Антипатриде.

Солнце клонилось к горизонту; на небе откуда-то появились белые пушистые мазки — облачные клочья. Двое на берегу молчали; так молчат люди, которые сказали друг другу все. Время текло; наконец Лука поднял голову:

— Я когда-то врачом был... Если ты болен, скажи: вдруг сумею помочь.

— Павел тоже был болен: помог ты ему? И вообще — кого-нибудь ты в жизни вылечил?

— Однако... у вас там, в Синедрионе, порядочно информации обо мне!

Дидим смотрел на Луку с грустным сожалением.

— Я же тебе говорю: за тобой нет слежки. Ты — из семьи язычников, под общие законы не подпадаешь. Досье на тебя у нас не заведено. Наверное, считают, что ты на римлян работаешь.

— Ты разочарован во мне, Дидим? Ты уже думаешь: не стоила овчинка выделки.

Дидим встал.

— Выводы делай сам. Я сказал все, что знал. Фомы рядом нет, с ним я не мог разделить свое знание. От тебя я ничего не хочу, и советы свои врачебные оставь при себе. — Он отвернулся к морю. — Тебе же я желаю от всего сердца мира и благополучия. Что война будет — это факт, так что пожелание мое прими всерьез. Хотя ты человек свобод-

ный, можешь просто выбросить из головы, что́ я тут рассказывал. Свидетелей — нет. А еще можешь считать, что я лгал, что меня для этого наняли...

Лука стряхнул с ладоней песчинки, потеребил свою седеющую бороду, глядя на пятно пота, расплывающееся по ткани на спине Дидима.

— И все же: есть у тебя хоть какие-нибудь доказательства? — Лука смотрел на Дидима неподвижным колючим взглядом.

— Я много беседовал с Ананией перед его смертью.

— Говорят, после того, как его сняли, он умом тронулся.

— В последние недели в самом деле так казалось. Возможно, иначе он никогда не выдал бы своей тайны.

Лука склонил голову к плечу.

— Значит, свихнувшийся, больной старик что-то тебе наболтал, а ты его бреду поверил?

— У меня нет сомнений: он говорил правду.

— Он же мог сказать все, что в голову придет. Из обиды, из жажды мести. Многие, проиграв, теряют голову и сами не знают, что несут.

Дидим присел рядом с Лукой на корточки.

— Ты был с ним знаком?

— Нет. Но видел, как он перед всем Синедрионом велел бить Павла по устам.

— Если ты не был знаком с ним, только видел однажды — почему судишь его?

— Не сужу. Просто говорю то, что слышал от других. Двенадцать лет он был первосвященником, и вдруг, ни с того ни с сего, его сняли. Власть отравляет тех, кто к ней привык. Таковы люди, и с чего бы Анании быть исключением? Ни семьи, ни друзей у него не было. С помощью Феликса он пытался добиться осуждения Павла — и потерпел позорный провал. Хотя даже адвоката-римлянина нанял на этот процесс. Римляне смеялись ему в спину, свои же возненавидели и в конце концов сместили. Разве этого мало, чтобы он почувствовал себя оскорбленным и стал вынашивать планы мести? У человека в такой ситуации легко возникают навязчивые идеи, он говорит невесть что, придумывает фантастические истории, чтобы себя обелить. Злоба, Дидим, самая заразительная и самая стойкая вещь на свете.

— Ни единого твоего слова не оспариваю, Лука. Но повторяю: сомнений у меня не возникло. Да и злобы в нем уже не было. Он сидел такой сгорбленный, опустив плечи... ему и дышать уже было трудно. Потом снова и снова начинал говорить, через силу, но страстно... Время от времени, подняв на меня неподвижный взгляд, спрашивал, понимаю ли я, что он делал и почему. Иной раз бормотал: да, тут я ошибся... Мне кажется, у него наступило раздвоение личности; иногда понять было невозможно, что он хочет сказать. И сказал он не все, я уверен... В общем, Лука, у меня сомнений не возникло. Да и зачем ему было лгать?

Лука задумался и спустя какое-то время спросил:

— А как получилось, что ты у него оказался? Трудно поверить, что вы с ним были приятелями.

— Ответ прост: меня послали к нему. Или, если быть точным: приказали пойти.

— Думаю, с каким-то особым заданием.

— Да. С секретным. Задача моя была: выспросить все, что ему известно. Это была личная просьба первосвященника Иешуа из рода Гамалиилова. Он вызвал меня к себе, дал задание и велел представить отчет в письменном виде.

— Выходит, ты все-таки тайный агент, Дидим?

— Нет, Лука. Я не получил за это особой платы, да и Анания не был уже опасен ни для кого.

— Тогда что хотел узнать Иешуа?

— Ему был нужен ответ всего на один вопрос: почему при Анании был какой-никакой, а мир? И почему после его смещения все пошло прахом? Вот какую тайну нужно было разгадать Иешуа.

— Значит, в Синедрионе считали, что Анания — человек с двойным дном?

— Да. Иешуа, во всяком случае, именно так и считал.

— И ты думаешь, это возможно, чтобы человек с двойным дном целых двенадцать лет был первосвященником? Ведь такой человек вряд ли способен внушать доверие людям.

— Что думали об Анании в Синедрионе двенадцать лет назад, я знать не могу. В то время я был всего лишь помощником писаря. Может, он в тот момент чем-то устраивал Рим?.. Ведь что бы здесь ни происходило, решение всегда Рим принимал.

Лука покачал головой.

— Тогда — как же в Риме допустили, чтобы их человека взяли и сбросили? Ведь прокуратор Феликс на посмешище его выставил.

— Что ж... многое с тех пор изменилось. Императором стал Нерон. Вон Каиафу в свое время тоже сместили, а ведь он был первосвященником восемнадцать лет. Разве можно знать, как действуют тайные пружины власти?

С моря потянуло ветерком; волны с пенными гребешками побежали на берег. Пушистые клочья в небе стали сереть. Лука встал, отряхнулся, подошел к воде. Волны, набегая, лизали его ноги в сандалиях и тихо отползали назад.

— Вот еще что, Дидим... Ты сказал, что должен написать Иешуа отчет?

Дидим тоже поднялся, подошел к Луке, встал рядом с ним.

— Стражи Анании присматривали и за мной. Я боялся, Иешуа не внушал мне большого доверия.

— И ты изложил в письменном виде все, что рассказал сейчас мне?

— Да. Но Иешуа мой отчет не прочел. У него появилось много других забот... А если и прочтет когда-нибудь, наверняка уничтожит.

— Ты уверен в этом?

— Да. Он понимает, люди не должны знать об изменах на самой вершине власти. И Ананию он сам хоронил с надлежащей роскошью. Так что будь спокоен, тайна эта останется лишь твоей и моей.

Лука рассмеялся, но на лице у него было страдание.

— Вот спасибо!.. А если ты ошибаешься? Если Иешуа все же воспользуется твоим отчетом? Тогда нам конец!

— Я не ошибаюсь.

— Ох, Дидим... От этих людей можно ждать что угодно.

— От каких людей? От иудеев?

— Нет, от власть имущих!

— Видишь ли, тут-то я точно не ошибаюсь. Нет такой власти, которая по доброй воле станет рубить сук, на котором сидит. Найти и назвать врага в собственном лагере — это еще куда ни шло. Но выставить на всеобщее обозрение что-то такое, что разоблачает ее как власть, — никогда. Это политика, Лука. Возможно, завтра Анания станет козлом отпущения; послезавтра, возможно, героем. Но пока эта власть существует, предательство, совершенное внутри нее, будет спрятано за семью печатями. Потому что власть, и эта, и любая другая, хочет лишь одного: удержаться любой ценой, сохранить своих родоначальников, свои законы, свои пророчества и свои поверья. Если она падет, то и народ этот погибнет, его поглотят пустыня и море. Вот почему я уверен: Иешуа, если прочтет мои записи, бросит их в огонь. Ибо никакой первосвященник, будь у него хоть сто пядей во лбу, не признает по доброй воле, что пора отречься от иудейской веры, ибо она потерпела крах. За тридцать восемь лет я много всего повидал, Анания же окончательно открыл мне глаза. Пускай с помраченным рассудком, пускай в разладе с самим собой... У него остались и еще тайны, которых нам уже никогда не узнать... Он сказал, что хочет умереть.

Лука плюнул в пенное кружево, колышущееся у берега, повернулся и двинулся к тропинке, что вела прочь от моря.

— Одного ты добился, во всяком случае: мне тоже горько. И тошно... от всего. И от всех.

— Я этого не хотел. Меня ты можешь ненавидеть, но Фому, очень тебя прошу, люби.

Они долго шли по тропинке. Позади остались море, волны, каменистые гряды. Зыбкие вечерние сумерки мало-помалу затопили окрестность.

— Синедрион заинтересован, чтобы народ иудейский и вера его оставались в неприкосновенности до скончания мира. Вот почему они не позволят тайне Анании выплыть наружу.

— Но Иешуа знает, что тайна эта известна тебе.

— Об этом я тоже подумал, Лука. Потому я тебя так настойчиво и разыскивал. Теперь, если меня зарежут сикарии... будем считать, по чистой случайности, тайна станет твоей. А что касается Рима... Римлянам нужна надежная колония, им все равно, христианская она или иудейская. Война вспыхнет не из-за этого. И тот, кто ее начнет, будет все время иметь в виду, какой мир ему нужен после войны. Мир этот носит имя «равновесие интересов».

— Ты циник, Дидим.

— Я лишь хотел, чтобы ты знал правду. Знал то, что было на самом деле. Ибо то, чему учил Иисус, это другая правда, она еще не воплотилась в жизнь.

Лука остановился.

— Но многие верят, что воплотилась. И таких людей все больше. Я тоже верю в это, и Фома учит этому, и Павел с Варнавой, и все остальные.

— Я говорю не о вере — о жизни.

— Ни единого твоего слова не хочу принимать! Анания лгал тебе! Ведь Иисус воскрес, он явился другим, и Фома, твой брат, тоже тому свидетель!

Дидим положил руку Луке на плечо, крепко сжал пальцы.

— Ты ведь врач, Лука. И знаешь: сколько ни лечи больного, смерть в конце концов одолеет его, как и меня, и тебя, и любого. Я не врач, я не саддукей и не фарисей. Анания, однако, сказал, о какой из заросших бурьяном могил на Земле Горшечника идет речь. Вот об этом я не писал в своем отчете. Анания сам об этом меня попросил.

Лука упрямо тряс головой:

— Неправда!.. Не может быть!

— Все может быть, Лука... Кстати, Ананию положили в склепе того самого Иосифа Аримафейского, который в свое время просил у Пилата тело Иисуса... Пойдем, а то темнеет.

Долгое время они шли, слыша лишь звук своих шагов. На небосводе одна за другой загорались звезды.

— Прости меня, если сможешь. С кем-то надо было мне разделить этот груз. И... прокляни, если хочешь, но я очень ждал вести о смерти Павла. Анания взял с меня слово, что лишь после того...

Лука снова остановился и устало сел, почти упал в придорожный бурьян. Дидим сел рядом с ним на обочину.

— Знаю, тебе нелегко сейчас.

— Только не надо меня утешать... Ты-то можешь вздохнуть свободно: послезавтра будешь в Кесарии, потом вернешься в Иерусалим, получишь свое жалованье...

— Не было у меня другой возможности: кому-то я должен был довериться... — Дидим встал и двинулся по дороге.

Лука подождал, пока тот отойдет подальше, потом тяжело поднялся с земли и, опустив голову, пошел следом.

Совсем стемнело.

Недалеко от окраинных домиков Вифании черной тенью в призрачном свете звезд стоял, прислонившись к дереву, Дидим.

— Я подумал... надо бы попрощаться.

Лука шагнул к нему.

— Может, пойдем дальше вместе?

— Нет, Лука. Давай попрощаемся.

— Мир тебе.

— И тебе тоже.

Они неторопливо брели по пыльной улице. В селении залаяли собаки. Кое-где кричали петухи. Приземистые тени домов медленно проплывали мимо и тонули во тьме.

Записки Гамалиила

Прокуратор Иудеи Тиберий Александр и первосвященник Иосиф из рода Ками, каждый сам по себе, но не скрывая тождественности намерений своих, намедни прислали ко мне гонцов, кои с приличествующим возрасту моему и заслугам почтением вручили мне письма, содержащие просьбу поделиться с ними мнением относительно ситуации, сложившейся в наших краях после кончины царя Агриппы и вызвавшей волнения черни, и высказать соображения относительно способа разрешения кризиса, особо учитывая острую необходимость добиться примирения и справиться с голодом, который даже щедрые дары, присылаемые Еленой, царицей Адиабены, способны разве что смягчить. (В скобках замечу: великодушие Елены и ее сострадание к нам во все времена и во всяком сердце достойны вызвать лишь признательность и благодарность.)

В обоих письмах говорится, что более чем уместно было бы произвести сейчас кадровые перестановки, и называется — для размышления — несколько имен. Прокуратор Тиберий Александр дает понять, что ждет для себя нового, важного назначения; насколько ему известно, в Риме уже назначен его преемник: можно предположить, это некто Куман, имя которого мне до сих пор слышать не доводилось. Ввиду чего у меня и мнения на сей счет быть не может, хотя доверие прокуратора, оказанное мне, скромному жителю дальней провинции, не может не радовать. Я расцениваю это как дружеский жест и горячо желал бы видеть в нем знак уважения империи к моему многострадальному народу, знак того, что скоро и в этих краях убийства, междоусобицы, смуты сменятся плодотворным сотрудничеством и миром.

Первосвященник же Иосиф, ссылаясь при этом и на Ирода, царя Халкиды, брата царя Агриппы, просит у меня рекомендации и подробных сведений относительно будущего первосвященника. И прямо называет того, кого имеет в виду, — некоего Ананию.

Считаю необходимым предварить свои рассуждения напоминанием о том, что от политики я — как это, вне сомнений, в Иерусалиме известно — всегда старался держаться на расстоянии, посвятив свою жизнь толкованию и преподаванию Писания. Избегал я и общественных постов: поприще священника меня, по складу характера моего, не влекло, чиновничья же карьера всегда была глубоко чужда натуре моей. Все это, разумеется, не мешало мне иметь, в связи с теми или иными событиями и обстоятельствами, собственное мнение, которое я в нескольких случаях обсудил со своими учениками, прося их высказываться откровенно и нелицеприятно, поскольку я тоже могу ошибаться. Вообще, я и в преподавании был верен принципу заведомо отвергать всяческую лесть, ибо она — питательная почва для духовных и душевных аномалий, жертвами которых становятся и те, кто льстит, и те, кому льстят. По тем же соображениям всегда предпочитал я не связывать себя с партиями, ибо партийность воздвигает заслоны для мысли, я же целью жизни и деятельности своей сделал понимание, ибо оно, по-моему, есть нечто большее, чем знание, и даже большее, чем воплощение этих знаний в жизнь, поскольку предполагает чуткость к другим, способность видеть, слышать и делать выводы.

Завершая сей предварительный экскурс, считал бы важным сделать еще два замечания. Проводя часы в раздумьях над столь лестными для меня письмами, пришел я к выводу, что причиной этих конфиденциальных обращений могло стать лишь мое единственное, имевшее место совершенно случайно, хотя в той ситуации и принесшее успех, публичное выступление — возможно, вкупе с моим скромным авторитетом, завоеванным на ниве учительства. Как известно, несколько лет тому назад, в разгар начавшейся уже давно братоубийственной смуты, саддукеи схватили и представили на суд высокого Синедриона нескольких человек, вожаком которых был Симон, из рода то ли Ионы, то ли Иоанна, но именовавший себя Петром, и которые называли себя последователями пророка по имени Иисус. Оружия при них не было, и, хотя провозглашаемые ими идеи граничили с безумным подстрекательством — а мы знаем, что безумие как не ведающая никаких границ одержимость подчас опаснее любого оружия, — я высказался за то, чтобы отпустить их на свободу, желая тем избежать бессмысленного кровопролития, ибо ясно было, что саддукеи добиваются их смерти. Доводы мои тогда утихомирили разбушевавшиеся страсти, предложение мое было принято, и сторонников Иису-

са, наказав розгами, действительно отпустили. (Должен отметить в скобках, что я не поддерживал и наказание розгами, но, ради с трудом достигнутого согласия, предпочел, хоть и стыдясь, закрыть глаза на происходящее.) Что касается упомянутого выше Иисуса, сейчас я о нем говорить не буду: в дальнейшем мне все равно придется остановиться на его личности — в связи с поднятым кадровым вопросом.

Второе предупреждение, которым я завершаю свое вступление и которое считаю столь же важным, сводится к следующему: по затронутым выше причинам, мнение мое отразит, как то и можно было предположить, глубокую мою некомпетентность. Я уже достиг преклонного возраста, разум и память мои слабеют вместе с телом, из дому я выхожу все реже, проводя дни в обществе своих свитков и упрямых, мучительных дум, держась на расстоянии от того, что в обиходе называют политической жизнью; в последнее время даже и учительский труд меня утомляет и я беру меньше учеников, чем когда-то. Все это значит, что знания мои о происходящих во внешнем мире событиях опираются уже не на непосредственные наблюдения, а лишь на слухи, на рассказы других людей, на новости, которые приносят мои домочадцы и которые я благожелательно выслушиваю, чтобы затем, оставшись в одиночестве, попытаться взвесить их на весах беспристрастной оценки, сопоставляя с непосредственно пережитым, с уроками своей долгой жизни, ища между ними подобия и различия. И тем не менее должен сознаться, что, против воли своей, не могу не быть в какой-то мере пристрастным, ибо на меня оказывают влияние личные симпатии и антипатии, и среди них — самое безличное из моих свойств, которое я называю склонностью к сомнению.

Должен еще объяснить, почему я не пишу два ответа, по отдельности каждому из обратившихся ко мне высоких мужей, как то, вероятно, приличествовало бы. Возможно, это расценят как чрезмерную скромность или излишнюю осторожность, но я хотел бы избежать невольно вкрадывающихся в такого рода письма личных моментов: да не подумают обо мне, пусть даже после смерти моей, будто я поддерживал конфиденциальные отношения с прокуратором и с первосвященником. Тем самым, как естественно вытекает из сказанного, я стараюсь не подвести — учитывая доверительный характер писем (полагаю, именно по этой причине я не обнаружил ни на одном из них исходящего номера) — и своих досточтимых корреспондентов: ведь одно дело — искренность между друзьями или близкими родственниками, и совсем иное — подчиненная высшим интересам, часто жестокая конфиденциальность в политике. Обещаю доставленные письма после ответа на них уничтожить, так же прошу поступить и с настоящей запиской. Полагаю, это касается не только нас лично, но и, если брать дальнюю перспективу, отвечает взаимным интересам и империи, и провинции.

Сложившееся положение могу охарактеризовать следующим образом.

Как империя, так и провинция наша, кою я, может быть не без оснований, имею право называть своей родиной, в равной мере отягощены тяжкими проблемами, и невозможно сказать заранее, сколько это будет еще продолжаться и какой поворот мог бы дать им обеим благотворное и прочное успокоение, которое удовлетворяло бы народы столь же полно, сколь и его правителей: кесарей и царей вкупе с первосвященниками.

Стоящее за спинами нашими, отягощенное кровью и страданиями давнее и недавнее прошлое пробуждает в людях одновременно и жажду мира, и роковое отчаяние, кое заставляет их очертя голову, невзирая на жертвы, кидаться в бой. Радость мы забываем быстрее, чем горе, ибо испытывать радость естественно для человека, терпеть же горе — чуждо его натуре. Сама же память о страдании способна порождать ненависть, а ненависть разжигает черные страсти, и тут почти не имеет значения, праведна ли вспыхнувшая в душе злоба или, может быть, бессмысленна и неправедна. Относительно будущего я вовсе не оптимист и могу лишь добавить: дай Бог, чтобы я ошибался.

Так что, думаю я, необходимо добиваться согласия, согласия любой ценой, ибо в положении нашем это единственный шанс на прочный мир. И тут я должен особо выделить слово «шанс». Внутренние проблемы империи я обсуждать не хочу: это не в моей компетенции; хотя тревожные вести доходят и до меня. Однако не могу не сказать со всей убежденностью: то, что будит неспокойство в Риме, есть источник опасности и в провинции — сошлюсь здесь лишь на деяния покойного императора Калигулы. Я далек от

того, чтобы давать какие-либо советы: во-первых, как я уже отмечал, в политике разбираюсь плохо, а во-вторых, руководство империи в моих советах и не нуждается. Хотел бы только лишний раз подчеркнуть, что мы слишком зависим друг от друга, чтобы игнорировать необходимость разумного компромисса.

В общих интересах и провинции, и империи осознать, что сложившееся положение для нас скорее все-таки плодотворно, чем губительно. Это значит, что здешний народ видит в римском солдате не оккупанта, а защитника, а Рим, как верного друга, прижимает к груди своей народ иудейский. Силовые методы должны быть отодвинуты на задний план, и должны быть найдены те идеологические, идейные основы, которые сделают естественной тесную зависимость, не ставя при этом под вопрос суверенитет. Нужно добиться, чтобы и аристократия, и народ провинции могли в равной степени уважать прокуратора, в военном же присутствии видели залог мира и безопасности.

О том, каковыми могли бы быть те идейные, идеологические основы, которые способны укоренить — следом за пассивным принятием существующего порядка вещей — подлинное общественное согласие, бегло сказать невозможно. Одно ясно наверняка: общим в них должно быть нечто такое, что сохраняет традицию и все-таки означает новое качество. Говоря попросту: приверженность некой общей, не слишком далекой и чуждой вере.

Труднее ответить мне на вопросы первосвященника Иосифа, и тут, пожалуй, даже долгих объяснений не требуется. Я иудей, многие относят меня к лагерю фарисеев, хотя я, как уже отмечал, всегда старался держаться подальше от партий, ибо мышление мое несовместимо с партийностью. В то же время, поскольку вплоть до сегодняшнего дня я не перестал изучать исполненную борений историю народа нашего, знаю, что единство у нас достигается зачастую именно в результате своеобразного равновесия сил, порожденного внутренней разделенностью, и что разделенность эта с течением времени стала своеобразной традицией, предметом гордости. Так что все, что происходило с нами на протяжении долгих столетий, для меня является как бы личным наследием, кое определяет мою судьбу и укрепляет во мне зыбкую надежду на лучшее.

Что касается нашей нынешней ситуации, то я, может быть повторяясь, скажу следующее.

И прошу считать все нижесказанное сугубо частным мнением сугубо частного человека, слабого, не застрахованного от ошибок иудея, состарившегося в размышлениях учителя по имени Гамалиил, под каковым именем я живу, — хотя внучек мой получил то же имя, что наполняет душу мою самыми нежными чувствами.

Первосвященник Иосиф характеризует Ананию как человека, достойного в эти исключительно тяжелые времена занять пост первосвященника. Кажется мне, что я давно его знаю; если только это действительно тот, кого я имею в виду, роясь в ворохе воспоминаний и фактов. И здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Еще во времена первосвященника Анны Синедрион вынес решение, призывающее оказывать поддержку малоимущим, а точнее — одаренным детям малоимущих. Мысль сия была весьма полезна и благотворна, особенно если принять во внимание бурную судьбу племени нашего, то отчаяние, что владело людьми, потерявшими надежду на передышку в череде нескончаемых войн, страдания нищих и страждущих. Много молодежи нашей бессмысленно погибло в боях, многие бежали в пустыни и горы, стали, не желая того, бунтарями. Помочь, поддержать обиженных судьбой — в этом заключалась чрезвычайно плодотворная идея Анны.

Особое внимание при отборе в школы обращалось на то, чтобы поднимать людей трудной судьбы, учить сирот, детей, выросших без надзора и ласки. Практика эта малопомалу пробудила в людях симпатию к нам, и народ уже нас не просто терпел — он взирал на нас с доверием и надеждой. Анна просил и меня взять нескольких учеников из народа, и я с радостью отозвался на просьбу. Признаюсь: молва обо мне расходилась все шире, и я никогда не испытывал недостатка в учениках; люди богатые, состоятельные посылали ко мне детей, не просто следуя моде, но из искреннего уважения; и с платой за обучение не скупились. Деньги ни в те времена, ни позже не были для меня главной целью, но принимать я их принимал; в те годы я купил сад, выстроил дом, нанял слуг для

работ вокруг дома. Условие у меня было одно: спустя год, отводимый на испытание, я сам решал, кого учить дальше, а от кого отказаться, в лучшем случае порекомендовав ученика в другую школу. В этом вопросе я был непреклонен — и никакой тугой кошелек не мог заставить меня взвалить на себя обучение того, кто для этого не был пригоден. Анна по достоинству оценил этот мой принцип, и для отобранных бедняков мне тоже не пришлось делать исключения. Должен заметить: сами они проходили учебу бесплатно, живя в доме у меня на полном пансионе, мне же Синедрион перечислял скромную сумму за каждого. Это было чудесное время, оно запомнилось мне на всю жизнь: меня окружали юные лица с широко открытыми доверчивыми глазами, в которых светился живой, жадный до знаний ум. Там были и выросшие в холе барчуки, и безродные отпрыски вперемешку. Таланты я находил и у тех, и у других — и именно тогда с изумлением обнаружил, что способности и пытливость ума не зависят от происхождения, от состоятельности семьи, в которой растет дитя. Я мог бы привести целый ряд примеров — но цель моей записки не в этом. Я и сам многому научился, занимаясь с этой молодежью, и считаю не просто достойным сожаления обстоятельством, но непростительной ошибкой, почти преступлением распоряжение Каиафы, который внезапно отменил отбор и бесплатное обучение детей бедняков, ссылаясь на то, что как раз из этих школ выходят в последнее время вожаки вновь вспыхнувших акций неповиновения и восстаний и нельзя далее терпеть, что против нас поднимаются именно те, кого мы, проявив великодушие, облагодетельствовали и приравняли к себе. Должен заметить, Каиафа даже не счел нужным, принимая это решение, испросить моего совета; отношения наши после этого не просто стали прохладными, но практически прервались, о чем свидетельствует, например, тот факт, что при последней нашей встрече, во время упомянутого процесса, когда я выступил в Синедрионе в защиту последователей Иисуса, хотя идеи его оставались мне чужды, Каиафа даже не удостоил меня приветственным словом, а когда я изложил свое мнение, демонстративно удалился. С его стороны это было ужасной бестактностью, но я, зная его вспыльчивую натуру, простил его про себя. И не испытал никакого злорадства, когда спустя некоторое время прокуратор Вителлий лишил его поста первосвященника и назначил его преемником Ионафана.

Я убежден: Каиафа ошибался; убежден в этом, даже если я и сам до определенной степени согласился с его решением, не протестовал против него ни в то время, ни позже. Мириться с решениями власти точно так же было свойством моей натуры, как и приверженность принципу свободы обучения. Да и захоти я протестовать, протест мой, по всей вероятности, был бы безрезультатен; ведь Анна, чьим зятем был Каиафа, тоже не протестовал, хотя именно ему, Анне, в свое время пришла в голову эта идея и именно он осуществлял ее. В моей жизни и деятельности изменилось лишь то, что в школе у меня не стало детей бедняков, я же с большей строгостью, но и с большим терпением наставлял отпрысков богатых семей. Однако некоторые из прежних воспитанников, теперь уже взрослые, зрелые люди, сами ставшие учителями, часто навещали меня. Среди них был юноша по имени Иисус, называвший местом своего рождения Назарет, и другой, Иуда, сын падшей женщины... И тут, завершая свое вступление, я наконец подхожу к вопросу первосвященника Иосифа.

Оба молодых человека относились к числу самых одаренных моих учеников. У Иисуса блестящий ум сочетался с необычной, порывистой эмоциональностью и стремлением к глубокому пониманию других людей, их мнений. Ему была свойственна удивительная восприимчивость к самым разнообразным знаниям и какая-то особенная изощренность в искусстве аргументации. Не будь это преувеличением, я сказал бы, что сам многому учился у него. Он любил быть на виду, первым поднимал руку, чтобы ответить на заданный вопрос, и часто, хотя и с должным почтением, вступал в спор со мной. Иуда был более замкнутым, молчаливым, углубленным в себя, но вместе с тем и более упорным. Он был фанатиком учебы; что касается Иисуса, то он не только любил учиться, но и легко и охотно делился знаниями со сверстниками. Мне странно было обнаружить, что между этими столь различными молодыми людьми завязалась тесная дружба. Спустя некоторое время Иисус и Иуда перестали меня посещать; судьба первого известна: еще в годы правления прокуратора Пилата он, по инициативе Каиафы, был распят на кресте.

Не скрою: услышав об этом, я был потрясен и, запершись в своей комнате, искренне оплакивал его. Человек с таким завораживающим взглядом, с такими уникальными знаниями и чистыми помыслами не мог стремиться к дурному, в этом я и сейчас убежден. Иисус был целеустремленным до одержимости, но одержимость его опиралась на страстную жажду понимания; жажду, развитию которой, возможно, способствовал и я. Иуда тоже был целеустремленным, но одержимость свою умел сдерживать: так держат в узде горячего коня. Я слышал, они возглавили какое-то движение, и именно Иуда, его лучший друг, совершил предательство, в результате которого Иисуса приговорили к смерти. Слышал я и о том, что Иуда раскаялся в содеянном и наложил на себя руки. Однако ходили и совсем другие слухи. До меня дошло, например, что Иуда какое-то время был тайным пленником Синедриона и что Каиафа пытался с ним о чем-то договориться. Источники этих слухов не отличались особой надежностью, но я к ним отнесся всерьез. Дело в том, что как раз в это время Каиафа неожиданно стал искать моей дружбы, присылал мне приглашения на приемы и торжества; я, однако, каждый раз сообщал через гонца о какой-нибудь важной причине, оправдывающей мое отсутствие. Если бы Иуда действительно умер, какой смысл был Каиафе меня разыскивать? Потом рассказывали, что Иуда сменил имя, теперь он зовется Ананией и живет в Дамаске; некоторые даже уточняли: на Прямой улице. Еще спустя какое-то время прошел слух, что он вернулся в Иерусалим и добился здесь высокого положения.

Одно могу утверждать наверняка: если он действительно жив и сегодня проповедует под именем Анании, то за плечами у него большой опыт. И это в любом случае, даже если не вспоминать о других его качествах, свидетельствует в его пользу. Если об Иисусе я говорил: блестящий ум, яркая личность, огромная, целеустремленная воля, то про Иуду, он же Анания, могу сказать: он весь — упорство и скромность, фанатичное чувство ответственности, ненасытная жажда знаний. Иисус был прирожденным руководителем, но и Иуда, или Анания, — личность, обладающая всем необходимым, чтобы вести за собой других. Если бы было не так, едва ли он смог бы, вернувшись в Иерусалим, завоевать тот авторитет, который у него, несомненно, был, и едва ли мог стать сейчас кандидатом на высокий пост.

Однако если слухи о смерти Иуды все же соответствуют истине, в этом случае человека по имени Анания я не знаю и ни плохого, ни хорошего о нем ничего сообщить не могу.

В эти трудные времена считаю весьма желательным, чтобы господству первосвященнических династий был положен конец, ибо переплетение семейных интересов с интересами государственными неизбежно порождает недовольство народа. Вновь завоевать всеобщее доверие мог бы сейчас вышедший из низов, с трудом пробившийся к образованию, талантливый и многоопытный муж — именно таков Анания, если он тождествен тому Иуде, которого я учил на протяжении нескольких лет. Его образ мыслей и умение владеть собой, может быть именно в свете уроков движения, возглавляемого некогда Иисусом, становятся залогом того, что он сумеет создать ту общую идейную, идеологическую основу, о которой я говорил выше как об условии компромисса с империей и, что самое важное, мира.

Кстати, по затронутому вопросу могли бы также высказаться ученики мои, которые еще остались из тех давних времен. К ним я отношу Савла, родом из Тарса, о котором в последнее время тоже говорят как о глашатае примирения, — правда, использует он и положения учения Иисуса. У Савла недюжинный ум сочетается с исключительным прилежанием; в обучение его отдали родители, а не Синедрион. О нем я тоже вспоминаю как об одном из своих любимых учеников, пусть он и перешел в другой лагерь.

Вот какой ответ могу я дать на поставленный вопрос. Если, как считает Тиберий Александр, прокуратором станет Куман, с этим следует смириться, уповая на то, что в эти трудные времена у нас будет достойный прокуратор. Если на первосвященничество будет избран Анания и он идентичен учившемуся у меня Иуде, выбор этот я, основываясь на приведенных выше аргументах, с полной убежденностью поддерживаю. Если же Анания не идентичен Иуде — я и в этом случае думаю о нем с надеждой, точно так же, как о Кумане, которого не знаю.

Прошу эту мою записку, после ознакомления с ней, в наших общих и взаимных интересах уничтожить. Мне ведома и очевидна уязвимость политики, уязвимость, которая в условиях неограниченной гласности может сыграть роковую роль.

Желаю всех возможных благ. С приветствиями и надеждой о мире Гамалиил, в третий год после кончины царя Агриппы, в шестой год правления императора Клавдия.

Автобиографии

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВА

Имя мое — Иуда; от матушки моей мне известно, что мне двенадцать лет. Матушку мою зовут Сусанна; отца не знаю. Даже имя его мне неведомо; ведомо лишь, что он — римский легионер. Матушка много рассказывала о нем, говорила, что он вернется за нами и заберет нас отсюда, и тогда у нас будет настоящий каменный дом, и всегда будет что есть, даже мясо. До сих пор ничего интересного со мной не случалось. Матушку свою я очень люблю, люблю и отца; матушка велела любить его, хотя я даже имени его не знаю. Матушка иногда бывает такой нервной; я у нее иной раз спрашиваю, когда же отец приедет за нами, а матушка тогда прогоняет меня прочь, кричит, чтобы я оставил ее в покое, шел на улицу, у нее и без меня забот полон рот. Нынче я много над этим размышляю. Я даже думаю, может, отец мой вовсе и не римский легионер, ведь если бы он был римлянин, матушка наверняка сказала бы, как его зовут, чтобы я им гордился. Потом я подумал, может, она потому не говорит его имя, что он римлянин, а римлян у нас не любят. Не знаю, в чем правда. Вот я и провожу целые дни на улице с ребятами; когда велят, мы таскаем воду, а в основном играем, бросаем в цель камни, гальку, иногда боремся, чтобы установить, кто сильнее. Иногда играем в войну: понарошку закалываем друг друга мечом и кричим: все, ты умер! Играем в распятие — во все, что придет в голову. Иногда пашем пыль и сеем, а потом вроде бы урожай собираем. Крепости тоже строим: натаскаем в бурьян за домом больших камней, сложим их стеной, потом принимаемся штурмовать и разрушать стену. Хохот стоит — даже живот, бывает, болит от смеха. А раз я наступил на колючку, нога воспалилась, ступня распухла, почернела, очень больно было. Матушка долго ее тискала, пока нарыв не прорвало, я орал от боли, но потом гной вытек, и нога зажила. Играли мы и в богослужение: пели, молились; но тоже понарошку. И еще играли в похороны: завернули того, кто был покойником, в погребальные пелены по всем правилам, уложили его в ямку, сверху земли насыпали, а он стал кричать, что сейчас задохнется.

Братьев и сестер у меня нет, я один у матушки. Она в последнее время часто бывает печальная или сердитая и теперь уже не говорит, что отец скоро приедет и заберет нас отсюда. Все больше молчит, а иногда поет что-нибудь тихонько и плачет, и я тоже плачу с ней. По-моему, матушка у меня очень красивая: волосы черные, аж синие, глаза зеленовато-карие и родинка на щеке. Когда я маленький был, она часто сажала меня на колени и рассказывала про отца и что отец нас увезет из этой дыры; она всегда так говорила: «из этой дыры»; уедем мы с папой, будем жить в настоящем каменном доме, будут у нас сад, пальмы, гранатовые деревья, цветы всякие, и будем мы есть мясо, много мяса...

Я знаю, что у меня есть бабушка с дедушкой, но они от матушки отреклись, так что мы у них даже в гостях не бываем. А мне очень хочется.

Субботу мы соблюдаем, и праздники тоже. Матушка научила меня молитвам, и я всегда молюсь вслух. Матушка любит слушать, как я читаю молитвы. По-моему, имя у матушки — Сусанна — тоже очень красивое. Она все время ходит к чужим людям, стирать и убираться; и у хозяев дома, где мы живем, она тоже моет и убирает, они уже старые, но довольно богатые, дядю зовут Анания, его жену — Сапфира. У них стадо овец есть и батрак; на праздник всегда барашка режут. Мы живем бесплатно, в подвале, в комнате кровать и тазик для умывания, матушка за это стирает и делает уборку. Дядя Анания и тетя Сапфира меня любят; они бездетные, так что у них внуков нет. Дядя Анания научил меня считать; он говорит, что я умный. Иногда они меня угощают сушеными финиками, инжиром; но фрукты мы и сами часто воруем. Когда они барашку горло пере-

резают и выпускают кровь, то перед тем, как освежевать, дядя Анания мне баранью голову отдает: пускай мне матушка суп сварит.

Не знаю, любят ли меня другие ребята; мы все — друзья, редко бывает, что ссоримся надолго. Один раз мы играли в войну, размахивали острыми палками, я нечаянно ткнул одного мальчика в лицо. Рана у него зажила, но шрам остался; мальчик сказал, что мы теперь навсегда в ссоре, только мы и теперь с ним играем. Я думаю, все-таки меня любят; я лучше всех умею считать, и все это знают, а дядя Анания говорит, у меня голова для счета хорошая.

Я пока не знаю, кем буду, когда вырасту. Неизвестно ведь, приедет ли за нами отец; если приедет и мы будем жить в каменном доме и есть мясо, то все может сложиться по-другому. А если не приедет, тогда не знаю. Одно знаю наверняка: хорошо, если бы можно было учиться. Дядя Анания часто рассказывает про то, что было раньше, в давние времена, когда он был еще молодым; и про звезды рассказывает. Мне и по-римски хочется научиться, чтобы можно было разговаривать с отцом, если он все-таки приедет за нами. Дядя Анания говорит: голова у меня хорошо варит. Он и матушке сказал: парнишке учиться надо. Только вот бедные мы, я и сам это знаю.

Если б разбогатеть, я бы матушке красивый каменный дом купил, с садом. И еще хорошо, если бы у меня было много одежды и благовоний.

Вообще я послушный, врать не люблю, потому что тех, кто врет, Бог наказывает, это тетя Сапфира сказала. А когда мы друг другу на улице всякую всячину болтаем, так это не вранье; я, например, сказал, что отец у меня — римский сотник и у него кинжал серебряный. Это, по-моему, не вранье; другие сказали, что это неправда, а я поклялся, что правда.

Если бы удалось пойти учиться, я, наверное, стал бы священником и учил бы людей, чтобы они любили друг друга.

* * *

Зовут меня Иисус, живем мы в Назарете, а родился я в Вифлееме. Мать зовут Марией, отец умер, его имя было Иосиф. Мне тринадцать лет, у матери я один. У нас есть родня, у меня четыре двоюродных брата: Иаков, Иосиф, Иуда и Симон; это дети отцова старшего брата, Клеофаса, и материной старшей сестры, Марии.

Отец умер как раз год назад, от несчастного случая. Был он плотником, но понимал и в столярном ремесле, мог работать и каменщиком. Они перекрытие возводили, вдруг под несущей балкой лопнули подпорки, балка рухнула на отца и переломала ему ребра. Он целый день умирал в страшных муках. Мать, когда он скончался, почернела от горя, а глаза красные были от слез, несколько недель из нее слова нельзя было вытянуть. Родственники приносили еду, но мать принимать пищу отказывалась, только мне удавалось ее уговорить. Вечером я ее укладывал спать, укрывал одеялом, утешать пытался, улыбался ей. Сам я не плакал, только грустно было очень. Недавно мать сказала: не будь у нее меня, извелась бы она от горя.

В храм мы ходили каждую субботу, все праздники церковные отмечали. Отец иногда дремал во время молитвы: он много работал, уставал очень. Мать у меня очень набожная; за этот год на лице у нее морщины появились, волосы стали седеть, с молитвой встает, с молитвой ложится, траур до сих пор не снимает.

С тех пор как умер отец, живем мы трудно. Мы и раньше-то богатыми не были, разве что немного состоятельнее других, тех, кто с хлеба на воду перебивается. У отца работы было много, он за все брался; мать из заработка откладывала понемножку, все мечтала отдать меня учить на священника. Что осталось, едва хватало, чтобы не голодать. Отец, тот хотел, чтобы я пошел по его стопам, часто брал меня с собой, я ему по мере сил помогал, а сам присматривался, что и как он делает, как пилит, как клинья вытесывает, как камень к камню подгоняет. Ремесло его мне нравилось, но бревна, камни я таскать не мог: спина болела, мышцы ныли. Отец у меня был сильный, а мать — щуплая, хрупкая, я сложением в нее пошел.

Деньги, отложенные на учебу, скоро кончились. Хоть родственники нам и помогали, однако мать твердо решила, что поступит в служанки. Взяла ее к себе одна повитуха.

Я тогда все время был с ней, мать меня ни на шаг от себя не отпускала. Странная женщина была эта повитуха: с матерью она говорила так, будто страху нагнать на нее хотела. Сразу сказала, что мать должна постоянно ее сопровождать, не важно, день или ночь на дворе. Ей, говорит, не только у рожениц бывать приходится, но и у всяких других больных — раненых, даже прокаженных. Мать везде должна быть с ней, мази носить, травяные настои, полотняные тряпки, чтобы кровь вытирать и раны перевязывать; в общем, всегда быть на подхвате. А потом повитуха стала рассказывать всякие страшные случаи — про женщин, истекающих кровью, про чирьи и язвы, про мертворожденных младенцев, про человека, которому руку отрубили и надо было срочно забинтовать обрубок, откуда кровь так и хлестала, про больных, хрипящих от удушья, стонущих, вопящих от боли, про смрад и кровь. Мать, вся бледная, молчала, а повитуха говорила: роженицу жизнь терзает, болящего — смерть. И еще она предупредила мать: коли будешь служить у меня, больших денег не жди, я — повитуха для бедных, для тех, кому рождение ребенка — не радость, а несчастье, хуже смертельного недуга. И снова повторила: коли будешь служить у меня, приготовься, дочка, иметь дело с кровью, слезами, детишками вшивыми, язвами гниющими. Когда шли мы от нее домой, я стал мать уговаривать, чтобы она хоть траур сняла, не пугала больных и рожениц; она тихо ответила: нет, не может она этого сделать, обет дала.

Не помню, как случилось, но однажды я вдруг обнаружил, что умею читать и писать. Часто я бывал в храме, разговаривал со старейшинами, молитвы слушал; если священник просил помочь, с радостью помогал. Друзей у меня нет, я люблю побыть в одиночестве, тут недалеко есть фиговое дерево, я часто сижу под ним, закрыв глаза, и представляю себя то птицей, то рыбой. А один раз даже вообразил себя фиговым деревом. С тех пор как мать пошла служить к повитухе, я часто бываю один и пытаюсь представить, что они сейчас делают, кому помогают.

Да, читать и писать я умею, могу показать.

О том, кем я буду, когда вырасту, еще не думал. Пока что мне о матери надо заботиться. Может, стану врачом, это очень хорошая профессия. Отец выпивал редко. Иной раз положит деньги перед матерью и просит, чтобы она вина ему принесла. Мать, хоть и без всякой радости, просьбу выполняла. Отец любил веселиться, плясать, особенно когда нас на свадьбу куда-нибудь звали. А мать ничего хорошего в этом не видела. В гостях отец пил много, потом, когда домой шли, шатался, а заснув, громко храпел. Мне их жалко было, и отца, и мать. Потому что я их любил.

Один раз приснилось мне, будто нахожусь я в каком-то огромном зале, где нет потолка, а одни только стены. Сверху солнце светит ярко, отец стоит на стене, держит на плече огромную балку и, напрягаясь изо всех сил, старается аккуратно положить ее на две стены. Зал похож на пустой амбар, но без крыши; только балка эта вверху, и от нее падает вниз полоса тени. В тени стоит трон, а на нем сижу я, уже взрослый, у меня бородка, и я ее поглаживаю. Передо мной стоят римский император и царь Иудеи. Император говорит, что страшно ему, все время кажется, кто-то подкрадывается сзади, чтобы его заколоть. А царь Иудеи на это ему отвечает: я тебе дам меру золота, заплати врагам своим и избавишься ты от страха своего, а за это отзови в Рим своих наместников, я же буду поддерживать мир, и всем нам будет хорошо. Я все сидел на троне, поглаживая бороду, а потом сказал: я люблю свою мать, и возьму ее к себе, и окружу роскошью. Ты, кесарь, отдай мне меру золота, которую даст тебе царь Иудейский, а ты, царь, будь нищим на празднике. Они сказали, что не могут уразуметь меня. И тогда я снова сказал: ты, кесарь, не будешь бояться, а ты, царь, нищим обретешь настоящее золото, за которое купишь себе свободу, я же тем временем вместе с матерью моей буду исцелять больных. Часто вспоминается мне этот сон. Отец сел на толстую балку отдохнуть, по лицу его текли капли пота.

Если меня возьмут в школу, мать будет очень рада.

Ответы на поставленные вопросы записал: Фаддей.

Пометка: обе записи препровождаются Гамалиилу.
Исторической ценности не представляют.

Лука у Иосифа Аримафейского

Все может быть, сказал Дидим и добавил, что Ананию положили в склеп Иосифа Аримафейского, туда же, куда Иисуса. Лука сидел на скамеечке; на полу валялись свитки — на арамейском, на греческом языках, оригиналы и списки; у стены — кувшин с водой, перед окном — самодельный стол. Что он этим хотел сказать? — размышлял Лука. Возможно, просто склеп был пуст, и Синедрион купил его у Иосифа, чтобы похоронить в нем бывшего первосвященника. Это еще не доказывает, что Иуда и есть Анания и что именно он, похитив тело Иисуса... Лука встал со скамеечки, шагнул к окну, выглянул на улицу. Чего ради он должен верить Дидиму, даже если тот и брат Фомы? По улице гнали овечье стадо, брели ослы с поклажей, клубилась пыль.

Тут, конечно, возможно много вариантов, продолжал размышлять Лука. Во-первых: все, что говорил Дидим, чистой воды болтовня. То есть Анания — это Анания, к Иуде он никакого отношения не имеет, Иуда давно умер. По этой версии, Иуда повесился, как считают многие, и погребен на Земле Горшечника, которую и сегодня еще называют Акелдама, Земля Крови; он был там первым и погребен. Лука покачал головой, сел; там же, говорят, похоронили Стефана, после того как он был побит камнями, и апостола Иакова, и, не так давно, Иакова-младшего. В конце концов, почему бы и нет, думал он; ни в каком другом месте братья и не могли хоронить, не получили бы разрешения, а тут — заброшенный участок, пустырь. Лука решил, что как-нибудь обязательно сходит туда, посмотрит... Заброшенный участок, пустырь, невольно повторил он про себя. Значит, там... Значит, возможно, там... Он ощутил, как по лбу его катятся крупные капли пота, и снова встал. Что-то с сердцем неладно, подумал он, приложил руку к груди, осторожно ощупал ребра — нет, не больно, не колет... Он снова шагнул к окну. На улице тузили друг друга мальчишки; должно быть, поссорились из-за чего-нибудь или просто играли. И есть еще второй вариант, пробормотал Лука, следя за мальчишками, — допустим, что Дидим сказал правду. Тогда, выходит, Анания тоже сказал Дидиму чистую правду. Тогда Иисус и не воскрес вовсе, а всего лишь исчез из склепа, и именно Иуда выкрал тело и похоронил на Акелдаме, на Земле Горшечника, которую он же купил у Синедриона за тридцать сребреников. И когда Иуда вернулся, на рассвете, его схватили стражи Синедриона. Заперли в камере, допрашивали, били палками, снова заперли, не давали ни есть, ни пить. Ему сказали, Каиафа собирается лично его допросить, без свидетелей, но Иуда отказался: сказать Каиафе ему нечего. Потом стал просить стражей, чтобы вывели его хотя бы во двор, дали погреться на солнышке. Стражи сжалились над ним, открыли дверь камеры — и, не успели спохватиться, Иуда метнулся через перила галереи и рухнул во двор. Руки, ноги, ребра переломал себе, кожа на боках полопалась, весь был в крови, но выжил. Каиафа приказал его вылечить, пригласил к нему лучших лекарей. Целый год прошел, пока Иуда поправился; потом его поместили в камеру с нормальной постелью, слугу дали — чтобы охранял его и выполнял все просьбы; еды, питья было вдоволь. Можно было читать, выходить на прогулки; только на улицу не пускали. Пилат, перед отъездом в Рим, встречался с ним; Каиафа несколько раз с ним беседовал. Когда Каиафу сняли, новый прокуратор, Вителлий, с новым первосвященником, Ионафаном, пришли к выводу, что Иуда действительно невиновен и, если он даст клятву не бунтовать, можно его выпустить на свободу. Дидим сказал: именно тогда он сменил имя и стал Ананией. Вителлий с ним не встречался, Ионафан же беседовал несколько раз. Из Иерусалима Иуда перебрался в Дамаск, там никто его не знал: Анания так Анания. И в таком случае правда, что это он обратил в веру Савла и нарек его Павлом; того самого Савла, который по письменному поручению Синедриона преследовал братьев-христиан. Потом, во времена императора Калигулы, Иуда вернулся из Дамаска в Иерусалим и устроился на службу в Синедрион. А после смуты его, при неясных обстоятельствах, избрали первосвященником, и он добился от римлян, чтобы с этих пор у них было лишь право утверждать первосвященников, выбор же их вновь становился прерогативой царя Иудейского. В годы правления императора Нерона, при прокураторе Феликсе, Ананию неожиданно вынудили отказаться от своего поста; прокуратор Фест выдал ему охранную грамоту, однако первосвященник Анна приказал держать его под домашним арестом. И он был не убит, а покончил с собой. А Павел, бывший Савл, так ни о чем и не узнал...

Лука отошел от окна; лицо его было бледным и потным. Вот, стало быть, версия вторая, произнес он вслух, это Дидим, брат Фомы, писарь в Синедрионе, рассказал ему на берегу Мертвого моря, недалеко от Вифании... Каждый раз, воспроизводя в памяти тот разговор, Лука чувствовал, что бледнеет. Он сел на скамеечку, сгорбился, подперев лоб кулаками.

Возможен ведь и третий вариант, напрягал мозг Лука. Иисус в самом деле воскрес, но Синедрион стал, и не без успеха, распространять слух, будто тело его похищено из склепа. И похитителем был якобы Иуда, предатель, который за деньги способен на все. Выход из этого безвыходного положения Иуда и попытался найти, наложив на себя руки, но умереть ему не дали, несколько лет держали под стражей, обрабатывали, пока не добились своего: Иуда согласился под чужим именем вести слежку за последователями Христа. За это он получил обещание, что, как только представится удобный случай, в награду за услуги его возведут в ранг непогрешимого. И — после того как был схвачен Стефан, а потом апостол Иаков — такой случай представился.

Лука вздохнул, покивал с напряженным лицом; да, это единственное логичное объяснение, пробормотал он негромко. Единственное, которое похоже на правду. Ведь если верить Дидиму, то почему тогда был устроен суд над Павлом? Если бы Савла в Дамаске обратил в веру Христову Анания, прежде Иуда, то он не мог бы стать главным обвинителем против Павла в иерусалимском процессе, не приказал бы бить его по устам. Да и Павел наверняка разоблачил бы его, двадцать лет — не такой уж большой срок, он бы его запомнил, если бы в самом деле Анания уговорил его не преследовать братьев. Павел в присутствии прокуратора обратился с апелляцией к императору, его увезли в Рим, там позволили снять жилье, обвинение со временем устарело, он стал свободным. Анания же впал в немилость. Да, повторял Лука, это единственная логичная версия. Значит, Иуда действительно не умер, а стал Ананией. Но ведь Иисус воскрес, значит, это неправда, будто Иуда похитил тело и похоронил его; если бы дело обстояло так, он признался бы в этом под пытками... Лука опять подошел к окну, и тут ему вспомнилось: Дидим сказал, что ждал вести о смерти Павла, Анания поставил условие, чтобы Дидим открылся ему, Луке, лишь после кончины Павла. Зачем надо было ждать этого, задумался Лука, ведь Дидим утверждал, что Павел не знал ничего... День за окнами стал тускнеть, мальчишки уже перестали драться, теперь они кидали в цель камни. В пыли стоял на коленях верблюд, подняв вверх морду. Зачем Дидиму нужно было дожидаться смерти Павла? Да затем, чтобы нельзя было спросить у него: так ли все случилось, как Анания рассказал Дидиму?

Лука вдруг рассмеялся: ну конечно, вот где собака зарыта! Анания мог говорить Дидиму что угодно: Павел умер, опровергнуть его он уже не в состоянии. Вот почему надо было дождаться его смерти. Да, повторил Лука, расхаживая по комнате взад и вперед, все-таки третий вариант самый правдоподобный. Будь Павел жив, он бы наверняка заявил, что все это, от первого до последнего слова, ложь и вовсе не Анания обратил его в Дамаске в веру Христову! Да, третий вариант, третий — истинный.

На душе у него стало куда спокойнее. Он взял кувшин, отпил воды из него; на бороде заблестели капли. Бросив взгляд на окно, он подумал, что пора, пожалуй, идти: через посредника он передал Иосифу Аримафейскому, что зайдет к нему сегодня до захода солнца; зайдет ненадолго, только задаст несколько вопросов. Сейчас он жалел, что связался с Иосифом, а ведь сколько усилий стоило найти, где он живет... Да, верное решение найдено: этот, третий вариант, самый логичный.

Ладно, все равно, раз договорился, значит, надо сходить, подумал он. И снова в душе зашевелились сомнения, снова ожили вопросы, мучившие его после встречи с Дидимом. Собирая сведения об Иосифе Аримафейском, он узнал, что тот все еще член Синедриона, хотя, из-за возраста, скорее почетный член; ему стукнуло семьдесят пять, прямо Мафусаил, подагра его терзает, и с мочевым пузырем беда, мочу не держит. Сначала это почему-то показалось Луке еще одним доводом в пользу того, что третий вариант — настоящий. Хотя... как все-таки вышло, что после того, как Иосиф Аримафейский отпросил у Пилата тело Иисуса и положил его в своем склепе, он все-таки остался в Синедрионе? И ничего в его жизни с тех пор не изменилось, кроме того, конечно, что он состарился, и теперь за ним надо ходить как за малым ребенком. И если склеп все еще принад-

лежит ему, то он ведь должен знать, что туда погребли Ананию; и должен знать почему... Или, может, он продал склеп — после того как Иисус, похороненный в нем, воскрес? Но если продал, то почему? Потому, что верил в Иисуса, или, наоборот, потому, что не верил? И новый вопрос: если он действительно был последователем Иисуса, то почему остался членом Синедриона?

Лука сел, завязал ремешки на сандалиях, поправил одежду, оглядел валяющиеся вокруг свитки... Идти к Иосифу Аримафейскому не хотелось. Человек он старый, наверняка страдает провалами памяти, восполняя забытое воображением. Да и кто знает: вдруг он намеренно не скажет правды, ведь чем-то ему нужно платить за то, что он все еще состоит в Синедрионе...

Путь был короче, чем он предполагал. Переулки, улицы, опять переулки и улицы, люди, животные на дороге, пыль, предвечерняя суета, громкие голоса. Он был спокоен; единственное, в чем он поверил Дидиму, — то, что слежки за ним не ведется. Он невольно огляделся, как привык за долгие годы, и улыбнулся. Да, Дидим сказал правду: назначив место свидания на берегу Мертвого моря, он боялся не за него. Если бы за Лукой следили, Дидим попался бы где угодно, и это стоило бы ему не только должности писаря.

Высокая каменная ограда, бурно разросшийся плющ, кустарник, в котором с трудом можно обнаружить калитку, — прямо какая-то замаскированная крепость. Лука взял молоток, постучал. Вскоре изнутри крикнули, мол, сейчас, сейчас, и спустя некоторое время в приотворенных воротах появилась служанка, стройная молодая женщина с дежурной улыбкой на губах.

— Кого надо? — спросила она.

— Я к Иосифу Аримафейскому. Я передавал, что приду, и он предупредил, что ждет меня до заката, — ответил Лука спокойно.

— Твое имя, господин, если позволишь...

— Лука из Антиохии, врач.

Служанка открыла калитку; Лука вошел, и она задвинула ее на засов. Сад был таким же заросшим, как и земля перед забором: сплошь кусты и плети плюща.

— Мой господин просит не засиживаться долго: он не любит, когда чужие видят, как он страдает.

— Я не задержусь. Я так и передавал: хочу только познакомиться.

Служанка пошла вперед. Дорожка была выложена камнями, между ними торчали пучки травы.

— Представляться не к чему: господин собрал о тебе сведения.

— Я удивлен, — сказал Лука.

— В таком мире живем, — на ходу обернулась служанка.

— В каком? Где каждый каждого подозревает в чем-то дурном?

У входа служанка остановилась, сделала приглашающий жест:

— Прошу. Господин ждет.

Иосиф Аримафейский лежал в постели, укрытый покрывалом из верблюжьей шерсти. Только худые, жилистые, подрагивающие руки да бегающие зрачки в огромных глазах на исхудалом лице показывали, что он жив.

— Это ты обещал прийти сегодня? — просипел слабый голос.

— Я Лука из Антиохии, врач, как сообщил. — Лука склонился над стариком. — Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь?

— Спасибо за добрые намерения. Врач у меня есть. И не один... Возможно, ты знаешь больше, чем они, но мне уже все равно. Спрашивай, что тебя интересует. Я знаю, ты меня не лечить пришел.

Лука нерешительно постоял у постели, огляделся; у стены заметил скамеечку.

— Позволишь мне сесть?

— Если можно, давай закончим скорее. И пускай тебя не смущает, что я не встаю. Вообще-то я даже сидеть уже не могу, ходить — тем более. Передвигаюсь, только когда меня с двух сторон держат под руки. Если ты очень устал, садись, конечно, но это не значит, что разговор будет долгий.

Лука еще раз глянул на скамеечку, потом перевел взгляд на Иосифа. Худое лицо с

большим костистым носом, выкатившиеся; с огромными поблескивающими белками глаза, тонкие синеватые губы, меж которых проглядывали желтые зубы, вокруг рта — редковатая, седеющая, свалявшаяся, словно кудель, бородка; бескровная кожа под ней казалась еще более серой... С одеяла приподнялась костлявая рука, по которой извивались лиловые жилы.

— Задавай вопросы, пожалуйста. А потом, прежде чем попрощаться, пожелай мне скорой и спокойной смерти.

Лука подумал, что лучше бы сразу попрощаться и уйти: какой смысл терзать умирающего? Постоял, глядя на клейкие белесые выделения в уголках рта Иосифа, и все же сказал:

— Советую пить понемногу воду с соком лимона и с сахаром или медом. Побольше жидкости...

— Служанка только что унесла кружку: я не хотел, чтобы была на глазах. Она мне полотняной тряпочкой протирает губы и рот изнутри. Жду твоих вопросов. Думаю, тебя интересует склеп. Давно это было... В большие деньги он мне обошелся, деньги тогда были дороже, чем теперь, но я не жалею... Красивый был склеп, я всегда красивое люблю, пригласил лучших каменотесов, глыбу для входа в дальних краях заказал, целого состояния мне она стоила, ее тоже обтесали, вход она закрывала, как пробка горлышко. Хорошо, что я придумал его построить, меня сразу выбрали в Синедрион...

Лука непонимающе смотрел на него.

— В Синедрион?..

— Я ведь предложил склеп в пользование Синедриону. Как место для почетных захоронений... Потом мы и договор заключили, что до самой моей кончины Синедрион располагает склепом по своему усмотрению, хоронит там, кого посчитает нужным, а когда я умру, туда положат меня. Великодушие мое было оценено по достоинству.

— А Иисус? — не выдержал Лука.

Рука на покрывале дрогнула.

— Мне этот молодой человек симпатичен был, честное слово. Я даже сказал Каиафе с глазу на глаз: зря ты так сурово с ним обошелся, не заслужил этот молодой человек смертной казни, такой умный, с таким чистым лицом!..

— Но Иисус-то как там оказался?

— Я же сказал: человек я предусмотрительный и постарался закрепить свое положение в Синедрионе. Склеп как раз к тому времени был закончен, и Каиафа собрал нас, нескольких членов, обсудить, как быть с телом: он опасался, что похитят его. Сам знаешь, как люди были тогда настроены. Я и сказал: вот склеп. Предложил им воспользоваться. Каиафа сразу стал действовать: велел купить плат, погребальные пелены, все, что требуется, а я отправился к Пилату как частное лицо и попросил разрешения взять тело. Вот так это было. А как его все-таки ухитрились выкрасть, до сих пор не пойму. Там по крайней мере трое сильных мужчин нужны были, с инструментами, чтобы камень тот отодвинуть. Странный случай...

— Правда, что Ананию, первосвященника, там же похоронили?

— Знаешь, сын мой... может быть... Но мне это неизвестно. Я уже много лет не встаю с постели, политика меня не интересует... и вообще ничего не интересует. Если похоронили, значит, похоронили, по договору имеют право, в договоре сказано: до моей смерти Синедрион пользуется склепом по своему усмотрению. За это меня оставили почетным членом... Даже сейчас, когда я в немощи. Ко мне ежедневно лекарей посылают, хотя толку от этого никакого. Я никогда не спрашивал, пуст сейчас склеп или нет. Принадлежит он мне, но право пользования, пока я жив, у Синедриона. А вот когда умру, того, кто там находится, вынесут и похоронят в земле. Так значится в договоре.

— Ты говоришь, Иисус был тебе симпатичен?

— Да, очень симпатичен. Я даже поспорил из-за него с Каиафой. А про себя думал: хорошо, что он первым попадет в новый склеп. Он это заслужил...

— А Анания?

— Человек он был странный, но неплохой. Он много сделал, и хорошего много, времена были трудные, тогда ему никто не завидовал, а теперь, я слыхал, плюются, про-

износя его имя. Пускай и он покоится в мире, если лежит в моем склепе, а потом будет погребен в земле.

— Ананию всегда звали Ананией?

— Я ничьей подноготной никогда не пытался выведать. Всю жизнь был торговцем, это меня занимало, требовало всех сил и времени... пока здоровье не кончилось. И еще я рано понял, что хорошая сделка может строиться лишь на доверии. Где нет доверия, там появляется подозрительность, а на подозрениях хорошей сделки не заключишь. Я всегда из доверия исходил. Может, Ананию не всегда Ананией звали — это только ему известно. Я его принимал так, как есть; вот как и тебя — что ты лекарь из Антиохии.

— А все-таки... как могли выкрасть тело Иисуса из склепа?

— Дело давнее, откуда мне знать? Говорю же, сам не понимаю.

— А в Синедрионе об этом не было речи?

— Наверняка была... Но там столько всего говорят, и все о важных, срочных вещах. Я ведь нечасто туда ходил: политика меня мало интересовала, я коммерцией занимался. Считал за честь, что меня туда выбрали, ходил на заседания, когда было время, голосовал, если требовалось. Бывало, что голосовал против: это все есть в протоколах. Знаешь, если ты член Синедриона, с тобой и деловые партнеры по-другому разговаривают. Для меня это было самое важное, и склеп я тоже Синедриону для этого предложил... Сделай одолжение, позови служанку: простыню мне пора поменять. Утомил меня разговор...

— Еще один, последний вопрос. — Лука нагнулся над Иосифом Аримафейским: — У кого ты наводил обо мне справки?

— Пусть это тебя не тревожит, сын мой. Я хотел только удостовериться, что спокойно могу впустить тебя в свой дом. И, как видишь, впустил. У таких, как я, много знакомых; без знакомств, без связей нет коммерции. И важно, чтобы ты с каждым был в хороших отношениях. Понимаешь, что я хочу сказать? С каждым. Позови служанку.

Лука поклонился. Иосиф Аримафейский сипло сказал ему вслед:

— Пожелай мне спокойной и скорой смерти, сынок. Это уже все равно не жизнь.

Служанка стояла за дверью. Лука сказал ей: господин передает, простыни ему пора сменить. Служанка ответила: да, я сама чувствую, что пора. И с дежурной улыбкой добавила: сам дорогу найдешь, господин? Засов отодвинь. Я потом закрою.

Доклад Антония Феликса императору Нерону

СЕКРЕТНО!

Антоний Феликс, прокуратор Иудеи, приветствует Светлейшего Кесаря.

Считаю важным сообщить тебе следующее: в не столь отдаленном будущем в Иудее ожидаются важные события, среди которых возможна и война. Положение я многократно обсуждал с тысяченачальником Лисием, который хорошо знает местные условия и был близко знаком с первосвященником Ананией еще до его смещения, случившегося недавно и, я бы сказал, неожиданно. Это решение Синедриона радости у меня не вызвало, однако вмешиваться я не мог — из-за памятного соглашения, принятого добрых десять лет назад по инициативе самого же Анании. До самого последнего времени Анания производил впечатление правителя сильного, он держал под контролем тлеющие страсти, отношения с нами строил на корректной основе. Так что устранение его от власти представляется мне фактором, который требует тщательного анализа с точки зрения нынешнего политического курса, что актуально уже потому, что, как я отмечал выше, среди последствий не исключена и война.

Народ здешний разделен на враждебные непримиримые лагери, недовольство зреет со дня на день. Наблюдается рост бунтарских настроений, направленных и против нас, и против местных иудейских правителей, которые, как уж издавна повелось, и сами раскололись на враждебные лагери. Каждая группа завидует власти и влиянию другой, так что отстранение Анании вполне может объясняться и внутренними интригами. В данный момент я не вижу во властной верхушке ни одной группы, с которой мы могли бы

надолго найти общий язык; поэтому нашу политику в самое ближайшее время необходимо изменить решительным образом. Красноречивой иллюстрацией к этой анархической ситуации служит одно происшествие, имевшее место в последнее время. Саддукеи, которые на первый взгляд являются сторонниками компромиссов, а в действительности самые отъявленные фанатики, схватили иудея по имени Павел, по рождению — римского гражданина. Павел этот исповедует учение некоего иудея по имени Иисус, частично расходящееся с верой, коей придерживается весь народ. Саддукеи к этой новой вере непримиримы, в то время как фарисеи, другая большая партия, более терпимы. Вышеназванного Павла едва не линчевали; лишь вмешательство наших солдат спасло ему жизнь. Затем он был предан суду Синедриона, где приговор так и не был вынесен — вследствие уступчивости фарисеев. В это время первосвященником еще был Анания. Фанатики организовали заговор против Павла, и от смерти его спасли опять же легионеры тысяченачальника Лисия; под покровом ночи они привезли его ко мне в Кесарию. С этим человеком мы вместе с супругой моей Друзиллой встречались несколько раз для беседы. По его делу мы провели еще одно судебное заседание; на нем в последний раз присутствовал, в качестве первосвященника, Анания, хотя и не произнес ни слова — вместо него говорил нанятый адвокат. Вынесение приговора я отложил — и, как убежден, поступил правильно. Я исходил из того, что обязан до конца разобраться в ситуации, которая все более запутывается; а этого можно было добиться только при условии, что в деле Павла я не встану ни на ту, ни на другую сторону. События полностью подтвердили мою правоту. С тех пор я убедился: цель противников Павла заключалась в том, чтобы, воспользовавшись судом как удобным предлогом, сбросить Ананию, то есть фарисеев, идущих с нами на компромисс. Дело в том, что к тому моменту обе партии в равной степени утратили доверие народа; это относится даже к фарисеям, которые одно время пользовались большим влиянием. Саддукеи же, движимые чистым фанатизмом, просто хотят захватить власть, которая должна обеспечить им возможность обогащения. Обе партии сходятся лишь в одном: в ненависти к империи; правда, ни один из лидеров этого прямо не признает, но каждый пользуется этой ненавистью для того, чтобы привлечь народ на свою сторону. Вышепоименованный Павел и его сторонники — не враги нам; в этом меня убедили отчеты тысяченачальника Лисия и мои обстоятельные беседы с Павлом. И все-таки фанатики саддукеи хотели добиться именно его осуждения, чтобы таким способом совершить тихий переворот. Позволь я осудить последователя Иисуса — и Анания как первосвященник-фарисей попал бы в ловушку, расставленную его противниками; он или вынужден был бы перейти в их лагерь, или был бы устранен. Правда, поста своего он лишился бы все равно, хотя Павла я осудить отказался. Думаю, этот удел ожидал его в любом случае, разве что способ устранения мог быть другим.

Подведу итог сказанному. Все это означает: саддукеи подмяли-таки власть под себя, а поскольку народ их и до сих пор не любит, то теперь можно ждать открытого сопротивления, что найдет выражение в бунтах и неповиновении; а так как порядок предстоит поддерживать нам, то будет расти и ненависть к Риму. Ситуация осложняется тем, что потесненные фарисеи захотят восстановить свое былое влияние и, вероятно, тоже начнут подстрекать народ. Положение, как оно мне видится, становится не просто безвыходным, но чрезвычайно опасным; в этом со мной согласен и тысяченачальник Лисий. Нашими союзниками могли бы стать последователи Иисуса, но они, по упомянутым выше причинам, подвергаются преследованиям, шансов прийти к власти у них нет. В то же время списывать их со счетов нам не следует, ибо ряды их, по имеющимся у нас сведениям, растут и в нужный момент они могут стать нам партнерами. Я, со своей стороны, именно поэтому уклонился от вынесения приговора Павлу и поэтому дал ему, кроме охраны, возможность свободно встречаться со своими единомышленниками. Кстати, поступить так мне советовал и первосвященник Анания, когда — судя по всему, уже предчувствуя свое падение — по требованию саддукеев прибыл с делегацией в Кесарию на упомянутое выше судебное заседание, перед началом которого мы с ним обменялись мнениями с глазу на глаз. Победе саддукеев он уже не в силах был помешать, но попытался хотя бы немного сдержать их натиск. Не высказываясь определенно, он все же дал мне понять: в интересах мира, не вступая в прямую конфронтацию с теми, кто

находится в данный момент у власти, нужно всемерно поддерживать последователей Иисуса.

Следуя этому совету и стараясь быть предельно осмотрительным, я и в дальнейшем, не питая особых иллюзий, буду поддерживать добрые отношения с Синедрионом. Насколько подсказывает мне мой опыт, Агриппа, царь Иудеи, не заинтересован в мирном разрешении конфликта: чью сторону он примет, даже пусть на словах, зависит полностью от его прихоти, и, как я вижу, тяжкое положение народа оставляет его равнодушным.

Можно лишь сожалеть, что события приняли такой оборот. Анании я через гонца предложил поддержку канцелярии прокуратора, однако Синедрион прислал мне ответ: бывший первосвященник нужды ни в чем не испытывает, Синедрион заботится о нем должным образом; попросту говоря, его держат под домашним арестом. Больше в создавшейся ситуации сделать ничего не могу. В соответствии с соглашением, заключенным с царем Агриппой, я не могу наложить вето на решение о смещении первосвященника, как не могу вмешаться и в выборы его преемника. С Ананией как с политической фигурой мы считаться более не можем. Что же касается вышепоименованного Павла и растущего лагеря его приверженцев, то их стоит, и даже необходимо, принимать всерьез.

Все это я считал важным довести до твоего сведения в интересах планирования дальнейших наших шагов. Желаю доброго здоровья.

Писано в Кесарии, в пятом году правления императора Нерона.

Акелдама

За рощей, что окружает город, лежит заросший бурьяном пустырь. Собственно, это городская окраина: разбросанные тут и там строения образуют нечто вроде улицы. Недостроенные дома, жилища бедноты, неопрятные одичавшие кустики, упорные масличные деревца.

Где-то посреди пустыря — ничем не приметный участок. Он невелик, саженей триста, может чуть больше. У дороги ширина его — саженей десять; оттуда он покато уходит вниз. С другой стороны он ограничен канавой; края ее поросли лопухами, бурьяном, на каменистом дне блестит полоска воды, распространяя зловоние в сухом, знойном воздухе.

Участок, по всему судя, бесхозный. Когда-то, по-видимому, его попытались окружить живой изгородью; сейчас от нее остались лишь пучки прутьев. Почва — в буграх и ямах, которые поросли сорняками, какими-то пурпурными цветами, злой крапивой, дикой коноплей. По земле ползают муравьи, травяные клопы, прыгают кузнечики, порхают бабочки, жужжат осы. В нижней части участка, вблизи канавы, едва заметные холмики: четыре локтя в длину, один — в ширину. Они тоже покрыты бурьяном, в бурьяне — камешки, побольше, помельче.

Обитатели окрестных домишек — люди нездешние, они прибыли сюда, в Иерусалим, из глухих местечек в поисках работы и пропитания. Земля тут дешевая, здесь они и пытаются зацепиться, построить какое-никакое жилье. Поле это называют Землей Горшечника, будто бы потому, что почва тут рыжая, глинистая, или потому, что пустующий участок возле канавы принадлежал, говорят, какому-то горшечнику. А некоторые утверждают: настоящее название этого места — Акелдама, Земля Крови, потому что тут похоронены невинно убиенные. Властям это место известно как Поле Горшечника.

Мужчины, что здесь живут, с утра уходят в город, берутся за любую работу, трудятся носильщиками, нанимаются в батраки. Некоторые женщины тоже ходят в Иерусалим, стирать, убираться; девушки норовят попасть прислугой в состоятельные дома. И детишек тут много, эти целыми днями бегают, играют, дерутся на бесхозном участке или носят воду из дальнего колодца.

— Сказывают, все это поле у одного богатого горшечника во владении было. Потом продал он его, а себе оставил эту делянку. Глины тут, это точно, много, а горшечнику нужна глина. Она ему нужней, чем царю золото. — Жилистый, худой старик с морщинистым лицом добрых десять лет как покинул родной Эммаус. — Никак по-другому не

получалось, господин, пастухами мы были, да пришли с гор разбойники, всех овец угнали, они-де борются за свободу, им овцы по праву положены. Мы уж и плакали, и умоляли, все зря, забрали овец. А после разбойников власти явились, подати требовать для священников и для римлян. Вот так мы мучились-мучились, а потом все бросили. Мне еще повезло: нанялся я к каменщику одному, хороший человек, я уж пять лет при нем кормлюсь. Черная работа — вся моя, но я и этому рад.

— Говорят, давно когда-то было в этих местах большое сражение, людей перебили без счету и всех убитых тут похоронили. Потому другое название этого поля — Земля Крови. Почва тут — сплошная глина. Да что говорить, господин: на две ладони мотыгу воткнешь — и уже вот она, глина-то. Твердая, чистый камень. Из-под мотыги аж искры летели, когда я котлован для фундамента рыл. Там вон, ниже, возле канавы, есть ямы побольше: должно быть, там глину добывали. Потому как глине вода нужна, тогда ее можно мять, лепить. Рассказывают, в той канаве когда-то много было воды, до краев, человеку по самую макушку. Может, там и рыба водилась. Кто знает... Но канава, это точно, широкая была, широкая и глубокая, человеку такую не под силу вырыть. А сейчас воды совсем почти нету, а какая есть, гнилая, стоялая, ее даже скотина не пьет. — Мужчина румян, мускулист, с ухоженными волосами и бородой. — Мне вообще-то повезло в жизни: я страсть какой сильный. Что я руками ухвачу, то и поднять могу, а уж если поднял, так и снесу куда хошь. Мне в городе посоветовали: иди, говорят, нанимайся в парадные носильщики к римлянам; был у меня один доброжелатель, он мне протекцию составил, потому что нас много там было желающих. Вертели и так и этак, смотрели, хорошо ли выгляжу, ставили в пару с одним, с другим: там ведь мало сильным быть и высокого роста, там надо, чтобы ты смотрелся. Римлянам я, господин, счастьем своим обязан. При прокураторской канцелярии есть такое отдельное помещение с большим, как сарай, залом, там и стоят одры носильные, одни такие, другие эдакие, одни торжественные, тяжелые, другие полегче, повеселей. Каждый божий день на рассвете я туда прихожу — и сидим мы с напарником ждем, когда будет команда нести того-то туда-то на таких-то носилках. Больших вельмож мне приходилось носить, очень больших! А доставишь, жди, когда обратно; пока ждешь, калякаешь о том о сем с поварами, со слугами, они и поесть дадут, и немало, да все такое вкусное! Я и с женой своей так познакомился: она в служанках была у одного ученого раввина, там я ее увидел, и сразу она мне понравилась. Свадьбу сыграли дома, в Иерихоне, там у меня родители, братья, спину гнут на клочке земли... Но свадьба была знатная. Я так рассчитал, что к тому времени, когда появится первый ребенок, дом в основном будет готов.

— Не пойму, что с ним такое, с тем пустырем? Стал я спрашивать, мне говорят: не продается. Говорят, казенный. Попробовал я торговаться, потому что мне тот участок больше нравился по расположению, чем этот, нынешний, но мне строго ответили: нельзя. — Мужчина средних лет, лысый, с редковатой бороденкой; руки, пальцы — как корни. — Не понимаю я, почему тогда власти с ним ничего не делают? Я восьмой год здесь живу с семьей, а никого на том участке не видел, кроме бродяг. Черт его знает, зачем он им такой, заброшенный, заросший? Только ребятишки, как надоест их крик возле дома, там носятся, кузнечиков ловят. Я уж и горшечника искал, которому участок принадлежит, думал, если куплю, попробую тоже горшечным делом заняться, я ведь на гончара когда-то учился, а сейчас вот у садовника одного работаю, копаю, полю, делаю что велят. Да никто не знает, где тот горшечник. Я не один базар исходил, всех горшечников расспрашивал. Глины я, правда, натаскал оттуда потихоньку, с той части, что возле канавы. Только там и можно ее взять, там она сырая, хоть немного поддается.

— Верно, зовут и Землею Крови, да где же ее нет, земли крови-то, господин? Где человек поселился или животина, там они и погибают, насильственной смертью или своей, а кровь их возвращается в землю. Куда ни глянь, везде — земля крови. — Смуглый, жилистый мужчина с холодным взглядом. — Я знаю, что говорю, господин, я мясник, и отец у меня мясником был, и дед. В Иерусалим мы приехали из Сихема, братья мои тоже стали мясниками, так что я там лишним оказался. Знаете такой город, Сихем? Сколько себя помню, мы все время скотину резали. Да только пустяк это по сравнению с тем, сколько здесь режут: народу в Иерусалиме много, его надо кормить. Я в помощниках у

мясника, нож мне не доверяют, а ведь я барана так могу заколоть, он не мекнет, ну, что поделаешь, наш брат рад и этому. Людей — много, работы — мало. Мое дело — связать, держать, грязь убрать. Часть платы я получаю мясом, не самым лучшим, но хоть покупать не надо, это тоже большое дело. Иной раз даже продашь что-нибудь соседям: голову баранью, ногу, деньги всегда нужны, вот хочу еще комнатку к дому пристроить, шестеро детей у меня, тесно им.

— Мне плевать, как это называют: Землей Горшечника или Землей Крови. Работы нет, господин, пекарня, где работал, закрылась, потому как зерна нету, муки нету. Голодаем мы, господин! Уйти бы отсюда, а куда? Мы ведь из-за нищеты в Иерусалим переселились, думали, здесь хоть немного легче будет. И вот — сижу без работы. Коли б не домишко этот, бросил бы все и подался куда-нибудь, но этот дом — все наше достояние, господин, какой-никакой, а кров. Хлеба вот нет. — Малорослый, тощий человечишка, на глазах — слезы.

Узкий, в триста квадратных саженей кусок земли уходит вниз по склону к канаве. Несколько хилых кустиков, одичавшие фруктовые деревья, всюду высокий, по колено, бурьян. В конце, у канавы, несколько едва заметных холмиков, на них, среди травы, галька.

Местная власть, в ведении которой находится это поле, разъяснений не дает. Не имеет права. Чиновник с неприступным выражением лица сообщает: не продается, не сдается в аренду. Подробности сообщать не уполномочен. Нет, он не отрицает: в поземельных списках значится как «участок Горшечника». Почему поле зовут Землей Горшечника, не знает. О названии Земля Крови слыхал, но название это неофициальное, в списках такого нет. Еще он говорит: должность эту занимает всего два года, получил ее по большой протекции, рад был до смерти. Со значением сообщает: работы невпроворот, люди продают, покупают, бегут сюда, бегут отсюда, пришлых, безродных хоть пруд пруди, много желающих обосноваться, еще больше спекулянтов. Так что надо понять: ответственность на нем огромная, у него ведь не единственная забота — помнить, кому какой участок принадлежит.

Дидим, улыбнувшись, достает кошелек.

— Этого досье у нас нет, — торопливо говорит чиновник.

Дидим развязывает кошелек.

— А где оно?

Чиновник разводит руками.

Пальцы Дидима роются в кошельке.

— Может, в канцелярии Синедриона?

Чиновник снова разводит руками.

Дидим вытаскивает руку из кошелька, пальцы его сжаты.

— Тогда, может, в канцелярии прокуратора?

Чиновник беспомощно опускает руки.

Дидим кладет сжатый кулак на стол.

— Может, оно секретное?

— Четверо детишек у меня, господин, всех кормить-поить надо, — сообщает чиновник.

Дидим, разжав кулак, оставляет на столе три динария. Смотрит чиновнику в глаза.

— Я — писарь в Синедрионе, и не два года, а тридцать с лишним. Хочу купить этот участок для своих детей.

Чиновник, не сводя глаз с динариев, кивает растерянно:

— Досье у нас нету, о владельце участка информации тоже нет, ничем, к сожалению, не могу помочь... — и осторожно накрывает динарии ладонью.

Дидим, прощаясь, наклоняет голову, направляется к двери, оборачивается.

— Ты христианин?

Чиновник нервно смеется.

— Будь я христианин, разве бы я служил здесь, господин?

На губах Дидима снова мелькает улыбка.

— Я догадывался, что тебе ничего не известно, но хотел убедиться в этом. Я в самом

деле купил бы этот участок. Даже если это чье-то тайное захоронение... — Дидим идет к двери, потом опять останавливается, оглядывается; лицо его искренне и серьезно. — Скажи: ты бы не хотел служить писарем при Синедрионе? Я человек пожилой, усталый, ты мог бы занять мое место. К моим рекомендациям там прислушиваются. Получать будешь вдвое больше, чем здесь. А у тебя четверо детей.

Чиновник не в силах произнести ни слова; ладонь его лежит на динариях.

— Ну-ну, успокойся. — В голосе Дидима звучит сочувствие. — Речь-то идет всего лишь о пустыре, и я понимаю, ты не можешь помочь.

— Господин... — Чиновник прокашливается; у него внезапно сел голос. — Тот участок, насколько мне известно, за последние десятилетия несколько раз менял хозяина, но Синедриону он не принадлежал.

— Тогда, может, кому-то из Синедриона? — негромко спрашивает Дидим.

— Может быть. Я не знаю. Только факт, что мы все же должны платить жалованье человеку, который присматривает за участком.

Дидим возвращается от двери к столу.

— Присматривать за пустырем? Зачем?

— Об этом мне ничего не известно. Мы только деньги выплачиваем, — торопливо бормочет чиновник.

— Кому? Как его имя?

— Имени не знаю. — Чиновник сидит бледный, ладонь — на монетах.

— Такого не бывает, чтоб деньги выплачивали неизвестно кому, — замечает Дидим.

— Эту графу заполняем не мы, господин. Мы ее оставляем пустой. А там, где название работы, пишем: услуги садовника, по соглашению. — Пальцы чиновника ощупывают динарии.

— Кто же забирает деньги? — спрашивает Дидим.

— Мы их перечисляем только, а сами деньги не вручаем... — Чиновник — сама услужливость, в морщинах на лбу блестят капли пота. — Таково распоряжение. Я сам случайно узнал, что никакого садовника нет, а когда стал расспрашивать, мне сказали: не твое дело.

— Кто сказал? Чье было распоряжение? — настаивает Дидим.

— Начальство, господин, — отвечает чиновник.

Дидим вздыхает, снова оборачивается к двери.

— Я не буду выяснять, кто твой начальник, успокойся. И забудь, что я здесь был.

— Иначе и быть не может, господин. — И чиновник стискивает монеты в кулаке.

— А если кто-нибудь спросит, — снова улыбается Дидим, — скажи: писарь Дидим хотел купить участок, как раз тот, Землю Горшечника.

Чиновник бросает взгляд на динарии, потом на Дидима и боязливо говорит:

— Ты христианин, господин?

— Нет, — отвечает Дидим, — я писарь. Состарился, устал, хотел по дешевке купить тайное кладбище. Чтоб было где провести остаток жизни. А потом детям оставить в наследство...

Политическое завещание Анны

Находясь в здравом уме и твердой памяти, хотя и с подорванным годами здоровьем, и сознавая ответственность свою перед народом, диктую я нижеследующее Александру, другу своему и доверенному лицу, пользующемуся всеобщим уважением мужу, рассчитывая на точную и дословную запись моего политического завещания и возлагая дальнейшую судьбу сего документа на того же Александра, хотя бы потому, что именно у него, в соответствии с моим желанием, он будет храниться после смерти моей. Изложенная ниже последняя воля — не распоряжение о наследовании имущества моего, ибо таковое составил я еще год назад, после кончины супруги, в кругу семьи, в согласии с традициями, в присутствии адвоката, разделив между наследниками все, чем владею. Менять что-либо в этом отношении не желаю.

Бурное прошлое и не менее бурное настоящее народа нашего побуждает меня — как одного из бывших предстателей его, занимавших кресло первосвященника, и как человека, до сих пор, может быть, сохранившего немалую часть былого влияния, — в этом не предназначенном для посторонних глаз документе пролить свет на тайные, не ведомые ни общественности, ни даже узкому кругу власть предержащих детали моей прошлой деятельности, которые, надеюсь, послужат поучительными свидетельствами и дадут возможность другим сделать небесполезные выводы для себя. Прежде считал я, что необходимости письменно зафиксировать эти конфиденциальные факты и события не возникнет, ибо не только верил, но и надеялся на бескровное достижение свободы и независимости народа нашего, уповал на то, что будет он жить в мире и достигнет расцвета. Увидев же, что достижение независимости в обозримое время невозможно, счел я реально осуществимым конструктивное сотрудничество с Римской империей, основанное на взаимных уступках и взаимном уважении интересов, хотя патриотические чувства мои не просто относились к такому пути с антипатией, но непримиримо его отвергали. Чувства эти, мною отнюдь не скрываемые, сыграли не последнюю роль в тот момент, когда Валерий Грат недостойным и унизительным способом лишил меня ранга первосвященника, и я, хоть и остался причастным к узкой группе властной верхушки, тем не менее вынужден был принять к сведению, что стать первым человеком, несмотря на девятилетний опыт, мне более не дано. С горечью принял я к сведению и то, что цари наши борются — или, напротив, заключают союз — друг с другом, с родственниками своими или с римлянами лишь в зависимости от личных своих интересов, до народа же им почти нет дела; это относится к власти не только светской, но и религиозной.

Наиглавнейшую цель свою я уже называл: свобода и независимость, приверженность нашим древним законам. Еще в юные годы я понял: понятия эти очень тонкие, судить о них, зная лишь прошлое, трудно, пустое повторение слов мало что дает, хотя и годится для того, чтобы создать благоприятную атмосферу для настойчивого выторговывания уступок. В период, когда я был первосвященником, мне стало предельно ясно, что одно из первых следствий иноземного угнетения — внутренний раскол, который, пользуясь наиболее понятными сердцу и разуму аргументами, идеологизирует различные modus vivendi. Вот из-за чего у нас возникли партии, разделяющие народ наш сильнее, чем племенные различия, и совершенно по-разному представляющие путь, ведущий к решению проблем; вот из-за чего мы так по-разному формулируем свое отношение ко всему, что оправдывает наше бытие: к нашей избранности, к нашей исторической миссии. Саддукеи, из которых происхожу и я сам, остались несгибаемыми и непримиримыми, но как раз потому оторвались от народа, занятого повседневной борьбой с трудностями. Фарисеи, более гибкие, повернулись к народу, разделив с ним ответственность по отношению к прошлому, а трудности настоящего в позиции нерешительной обороны подняв перед собой наподобие щита. Отстранение мое заставило меня осознать, что обе главные партии против собственной воли встали на ложный путь, из-за различных, но в конечном счете одинаково весомых причин не способны освободить народ наш и вернуть ему положение избранного. Выше я намекал, что, проверяя себя, усвоил ряд фарисейских и ессейских идей, надеясь в них найти подходящий в настоящих условиях метод действия и надежду на верный успех. Однако выяснилось, что с помощью старых, традиционных приемов старыми, традиционными способами — пусть при несходстве вариантов — достижение поставленной цели невозможно; необходима еще и внешняя помощь, помощь Господа нашего, на которую уповали великие наши праотцы от Ноя до Моисея. Эту помощь, считал я, обеспечат нам те сыны народа нашего, которые стали проповедовать новые идеи и за которыми, по полученным донесениям, шли массы. Банды грабителей мало волновали меня. Я старался собрать как можно более полную информацию и долго присматривался к патриотам, на которых можно было бы положиться при создании сети тайных связей. В этих вопросах я часто испрашивал мнение Гамалиила, тесные, более чем дружеские отношения с которым восходят еще к тем временам, когда мы решили покровительствовать детям бедняков. Гамалиил будет, конечно, отрицать, что мы вели с ним такие беседы, но это для него естественно, а воспоминаний он не пишет. Я его знаю, он такой. На сообщничество пойдет всегда, на риск же — никог-

да и ни при каких обстоятельствах. И это понятно: он жил и живет для науки и для своих учеников и, маниакально влекомый к политике, в то же время столь же маниакально старается держаться в стороне от нее, чтобы остаться незапятнанным. Должен сказать, что, с его точки зрения, это наиболее мудрый путь, хотя с моей точки зрения — низость. Однако он мой друг, часто помогал мне, и я преклоняю перед ним голову.

Что касается меня, то и прежде и теперь было известно: публично я со всеми стремился найти общий язык; одного лишь я тогда не учитывал — что именно это может стать причиной моего поражения. В самых разных кругах, обладающих весом в тогдашней политической жизни, у меня было немало полезных, хотя в общем бесплодных споров; и лишь спустя долгое время я понял, что должен выйти за рамки этих кругов. В это время я давно уже был в тени, и именно Гамалиил подал мне замечательную идею.

До меня доходили слухи о движении Иисуса. Но особого значения я, признаться, этим слухам не придавал и контактов с движением не искал. Тут-то Гамалиил, как бы между делом — по всегдашнему своему обычаю — обмолвившись о новом политическом факторе, и привлек к нему мое внимание и даже намекнул, что, возможно, мог бы мне посодействовать. Как он это организовал, не знаю; но вскоре ко мне пришел юноша, почти мальчик, по имени Иоанн; он сказал, что ему велено сослаться на Гамалиила. Когда я, много позже, напомнил об этом Гамалиилу, тот лишь недоуменно посмотрел на меня и замотал головой: нет, он понятия ни о чем таком не имеет. Я-то знал, что он прирожденный лицемер, и лишь улыбнулся. Юноша просто светился невинностью и смутился, когда я пригласил его сесть. Я спросил, кто его прислал; он ответил, что не может этого сказать, с него взяли клятву. И повторил лишь, что сослаться должен на Гамалиила. Я спросил, не ученик ли он Гамалиила; он ответил, что знает учителя понаслышке, учитель же его — Иисус. Тут я убедился: именно эта нить ведет к достижению целей. Я знал, что мы должны победить Рим, не порабощая его. То есть мы должны лишь свергнуть имперское иго — и тогда станем свободны.

Иоанн приходил ко мне часто, мы подолгу беседовали, он всегда был голоден, и я приказывал слугам принести ему еды. Не будет преувеличением, если я выражусь таким образом: он пожирал все, что перед ним ставили. И за едой говорил, говорил; я давал ему выговориться. Вопросы я задавал редко. Он рассказывал, чего хочет Иисус, где и что он совершил, с восторгом отзывался о чудесах. Рассказал о том, что вот уже некоторое время Иисус часто отходит в сторонку с Иудой, который тоже один из его приверженцев, и они спорят о чем-то. Я просил его передать Иуде, что жду его для беседы. При следующей встрече Иоанн, которого я успел полюбить как собственного сына, сказал: Иуда отругал его последними словами, едва не побил. Ответ меня успокоил: я убедился, что именно Иисус — тот, кто мне нужен; Гамалиил не скрыл от меня, что в свое время, во время нашего общего эксперимента, оба были его учениками.

Дело в том, что я вовсе не собирался встречаться с Иудой; я хотел лишь узнать: принесет ли он себя в жертву ради Иисуса? Насчет Иисуса я ни на мгновение не сомневался: это он прислал ко мне Иоанна, и это ему послал весть Гамалиил. Ясно было, с Иисусом мы друг друга поймем, но, как и я, он бессилен, он не возьмет в руки оружие, это я понял, познакомившись с его учением. Я знал, я понимал: моя вера, мои планы не заставят разделенные внутренние силы взяться сообща за оружие. И с этого момента я стал опираться на Иуду. С Иоанном я беседовал так, чтобы Иисус, выслушав его, сделал вывод: вместо него я выступить не могу. Я стал ждать, когда в дверь ко мне сам, по доброй воле, постучится Иуда. И Иуда постучался. Он стал ключевой фигурой в этой истории, хотя, по всей очевидности, тогда еще не догадывался об этом.

Именно по моей инициативе начат был вскоре после этого судебный процесс против Иисуса; о его согласии я знал. Каиафа долго не мог понять, зачем это нужно; именно я сказал ему то, что его убедило: лучше, если ради блага народа умрет один человек; слово «один» я подчеркнул особо. Не думаю, что он все понял; но сделал вид, что понял, и стал действовать. На Пилата мне пришлось оказать давление, подбивая на беспорядки чернь. Насчет Антипы-Ирода я уверен был, что он совать палки в колеса не станет. Непреходящая заслуга Иисуса в том, что он никому ни словом не проговорился о тайном плане. За все время мы с ним не обмолвились ни единым словом, да и видели друг друга

всего только раз. Своей смертью он показал достойный пример, и я облегченно вздохнул: да, если так пойдет, мы достигнем цели, мы добьемся свободы и независимости. Все это не произошло бы так гладко, если бы я заранее не убедился в том, что у Иисуса найдутся последователи. Гарантией был Иуда, и поэтому я хотел, чтобы он остался жить после того, как его вынули из петли. Остальные были не столь важны. На второй процесс Петра и его сотоварищей я даже не пошел, передав Гамалиилу: если может, пускай поприсутствует. Он, как человек добросовестный, пошел и сделал все, что было нужно.

Тут и должно было выясниться, правильно ли я все рассчитал. С Иудой, после его заключения под стражу, попытки самоубийства и последующего выздоровления, я пытался несколько раз поговорить с глазу на глаз. Он молчал. Это меня успокоило. Я не ошибся: именно на него следовало опираться в выращивании той силы, которая одержит победу. Из-за упрямого молчания его я — для вида — велел бить его палками. Каиафе, зная о его скорой отставке, я посоветовал вести с ним переговоры; я знал: предводитель должен вступать в контакт лишь с другим предводителем, пусть тот и находится под стражей. Моя роль вообще была уже исчерпана. Я спокоен, ибо Иуда вернулся в Иерусалим и под именем Анании стал влиятельным человеком в Синедрионе.

Мое последнее политическое пожелание: не мешайте ему развернуться. Он — наш единственный шанс. Пока он жив, пока он здесь, он знает, что нужно делать. И я могу умереть спокойно.

Пусть моя последняя воля послужит на все времена свидетельством и уроком: с внешним угнетением способны справиться лишь внешние силы, вырвавшиеся изнутри; ибо тот, кто остается внутри системы угнетения, не пригоден для этого.

Мария Магдалина

Городок Вифания находится в пятнадцати стадиях от Иерусалима, это добрых полчаса пешего пути. Лука не знал, живы ли еще Марфа и Мария Магдалина, жив ли Лазарь. Не знали этого и братья. Когда он стал расспрашивать их, у них округлились глаза. Кто-то сказал: в самом деле, что с ними, где они? Еще кто-то качал головой: наверняка уже умерли; будь они живы, мы бы о них слышали. Один из братьев вызвался сходить в Вифанию.

— Расспрошу там людей, если это тебе важно, брат Лука.

— Важно, — ответил Лука. — Очень важно.

На другой день к полудню посланец вернулся. Лука разбирал свитки; те, что были уже не нужны, бросал на пол.

— Нашел, — радостно объявил посланец. — Мария будет ждать тебя.

Лука кивнул, показал на валяющиеся на полу свитки:

— Эти сожгите. А остальные пока не трогайте.

— Как скажешь, так и будет, брат Лука. — И посланец кинулся подбирать свитки. — Найти ее легко. Как войдешь в Вифанию, сразу за третьим домом увидишь переулок, ведущий направо, спутать его невозможно, там на углу постоялый двор. Пойдешь по тому переулку, пока не увидишь колодец, дом — точно напротив колодца, даже спрашивать никого не надо.

— Спасибо, — сказал Лука. — Завтра рано утром пойду туда.

— Жива только Мария Магдалина, — продолжал посланец. — Лазаря убили через год после распятия Иисуса, до сих пор неизвестно, кто это сделал. Марфа умерла от какой-то болезни.

— Значит, одна Мария... — пробормотал Лука, сосредоточенно раскладывая свитки.

— Да, только она. Поседела, лицо в морщинах, но до сих пор бодра. Когда-то, должно быть, она была очень красива...

Лука поднял голову.

— Что ты сказал?

— Говорю: когда-то она была очень красива, да и сейчас еще хороша собой, хоть и седая...

Лука стоял над свитками, обдумывая услышанное. Когда-то она была очень кра-

сива, да и сейчас хороша собой... Он попытался представить ее, но у него ничего не вышло...

Рано утром он отправился в путь. По дороге ему пришло в голову, что вполне можно было выйти и позже: тут всего каких-нибудь полчаса ходьбы, как бы не явиться неприлично рано. Он замедлил шаги; спокойно, спокойно, говорил он себе, оснований ни для спешки, ни для тревоги нет, свитки, предназначенные для уничтожения, были сожжены вчера вечером, пепел высыпали в рытвины на дороге, сверху закидали пылью, комнату он закрыл, братья присмотрят за домом. Сегодня он поговорит с Марией, потом они все упакуют, отобранные свитки свяжут отдельными пачками, и братья в разные дни отнесут их в разные города, он останется последним, самое важное понесет сам. Он попытался идти неспешной походкой, как бы гуляя, любуясь утренними полями, холмами, и ему вдруг снова вспомнились слова, которые посланец повторил дважды: когда-то Мария, должно быть, была очень красива, да она и сейчас еще хороша собой.

Мария Магдалина стояла у входа в дом и смотрела на него улыбаясь.

— Я тебя жду с рассвета. Проходи.

Лука увидел Марию издали и приготовил первую фразу: приветствую тебя, женщина, хотел бы поговорить с тобой. Но теперь он лишь стоял и смотрел на Марию, не в силах произнести ни слова; лишь спустя какое-то время выдавил:

— Как мне тебя называть?

— Зови как хочешь. Мое имя — Мария Магдалина, так меня звал Иисус, и Иуда так звал, когда спорил со мной.

Они стояли у входа. Мария улыбкой пригласила его в дом.

— Говоришь, с рассвета ждала? — пытался вновь обрести уверенность в себе Лука.

— Сплю я плохо, с этим ничего не поделаешь. Когда солнце садится, я тоже задремываю. Жизнь на улице еще кипит, а я засыпаю, вместе с солнцем, веки так и слипаются. А когда месяц выйдет на небо и засверкает среди звезд, я просыпаюсь и жду зари, смотрю, как наступает рассвет. Видишь, какая я: живу вместе с солнцем, бодрствую вместе с луной. Только бы ветры не дули, от них боль пронзает мне голову, будто нож. Я тебя издали увидела; глаза у меня слабеют, а вот как-то почувствовала, что это ты.

Не найдя, что ответить, Лука вошел в горницу. Мария Магдалина показала ему место на лавке.

— Садись туда, пожалуйста. Там сидел Иисус, и там сидел Иоанн.

Лука сел, огляделся. Кругом чистота и порядок, на овальном столике цветы, лавка накрыта бараньей шкурой, на стенах украшения, тканые коврики, полочки, на полках — пузырьки, кружки, кувшинчики. В воздухе разлиты ароматы благовоний.

— Я приготовила воду, чтобы омыть тебе ноги, — опять улыбнулась Мария Магдалина.

— Спасибо, женщина, дорога не была долгой, да и шел я не в пыли, а по траве на обочине, — смущенно помотал головой Лука.

— Ну, как хочешь, — развела руками Мария Магдалина. — Еды, питья тебе принести?

— Не беспокойся обо мне. — Лука задумался, глядя на Марию Магдалину. — Ни есть, ни пить я не хочу. Сядь, я хочу расспросить тебя кое о чем и как можно скорее пойти обратно, неотложных дел у меня очень много.

Мария Магдалина отступила назад, склонила голову набок. Из-под накидки, что закрывала ей голову, виднелась нежная линия шеи, пряди серебристых волос.

— Ты в самом деле ничего не желаешь? — снова ласково спросила она. — Я ждала тебя, у меня на завтрак, на обед и на ужин — молоко с медом, я хотела разделить их с тобой. Могу угостить и еще чем-нибудь — сыром, копченой рыбой... Ноги у меня больны, распухают, да и желудок с тех пор, как... — Она ненадолго замолчала, потом рассмеялась. — Гадалка одна дала мне совет: смешай мед с козьим молоком, брось в него щепотку овечьего сыра. Желудку вроде бы в самом деле становится лучше. Если все-таки передумаешь, рада буду тебя покормить.

Лука отвел глаза, не выдержав лучистого взгляда Марии Магдалины.

— Я же сказал, женщина: мне ничего не надо. У меня важные вопросы, и я хочу услышать твои ответы на них.

— Я сейчас, к твоим услугам. — И Мария Магдалина выскользнула за дверь.

Лука завороженно смотрел вслед ей. Должно быть, когда-то она действительно была красива, сказочно красива... Он снова оглядел горницу, где царили порядок и чистота, стояли цветы и графинчики, кружки на полках и плавал запах масла, какого-то особого масла; Лука даже рот приоткрыл, чтобы полнее обонять этот запах. Не такой он представлял себе Марию Магдалину, сестру Марфы и Лазаря, не таким представлял этот дом. Он ожидал столкнуться с нищетой, кислыми запахами, пауками и паутиной, ожидал увидеть старуху с трясущимися руками, корпящую над крохами воспоминаний об ушедшем. А тут — ни следа нищеты, и Мария Магдалина все еще красива, и морщинки у нее на лице — словно веселые лучики, улыбка — как солнечный свет, серебристые волосы под накидкой — лунный серп, и осанка — гордая и величественная. Что за тайны прячутся за всем этим, думал Лука, и скажет ли эта женщина правду, когда он задаст ей свои вопросы?

Мария Магдалина вернулась и поставила на стол глиняную кружку.

— Вот оно, мое молоко с медом. — И она, улыбаясь, села напротив Луки. — Как мне тебя называть: господином или просто Лукой? Человек, что вчера приходил ко мне, сказал: вы зовете друг друга братьями.

— Мое имя — Лука. Лука из Антиохии. — Он приготовился задать первый вопрос, но вдруг понял, что не в силах произнести ни слова.

Мария Магдалина подняла кружку к губам, отхлебнула глоток. С каким достоинством она это делает, изумился он. В голове у него мелькнуло: ведь это же была чистая случайность, что он вспомнил про Марфу, Марию и Лазаря и решил встретиться с ними. Конечно, он слышал о них и раньше, имена их упоминались в документах, но он не видел особого смысла разыскивать их. Однако, расставшись с Иосифом Аримафейским, он вдруг осознал: нет другого живого свидетеля, который подтвердил бы или опроверг то, что, подобно непосильному грузу, взвалил на его плечи Дидим. Но услышит ли он от Марии правду? Ведь в этом доме все не так, все не то, к чему привык он у братьев: там стены пропитаны запахом бедности, запахом страха, а здесь витает аромат дорогих благовоний и тишина покоя. Лука смотрел на женщину, на улыбку, что цвела у нее на лице, на теплый, закатный оттенок ее карих глаз. Как просто она сказала ему: Марией Магдалиной меня звал Иисус, и Марией Магдалиной звал Иуда, когда спорил со мной. Она наверняка заметит, что он растерян, что все время вытирает об одежду свои влажные ладони, что не смеет взглянуть ей в глаза, бледнеет и покрывается потом... Не хватает еще, чтобы Мария Магдалина встала, своим платком отерла ему лоб, а он, уничтоженный, вынужден был бы благодарить ее за это.

— Сам торопишь меня, говоришь, что поскорее хочешь вернуться в Иерусалим, у тебя там важные дела. Говоришь, хочешь услышать ответы на свои вопросы, а потом молчишь. Я что-то не так сделала? — Лунное сияние на лице Марии Магдалины вдруг застыло, став восковым.

Лука энергично затряс головой.

— Нет-нет, ты очень достойно меня встретила, мне даже неловко.

— И все же молчишь ты не без причины, я вижу это по твоему лицу, Лука.

— Причина есть всегда. — Лука откинулся назад. — Сегодня ночью я тоже не спал. Много дней, много ночей я терзаюсь сомнениями. Слишком велика ответственность, что лежит на моих плечах. Я должен знать истину, Мария Магдалина, я хочу расспросить тебя об ушедших.

— Ты не уверен, скажу ли я правду? — Мария Магдалина уронила руки на колени.

Какие ухоженные у нее руки, подумал Лука, они не изборождены морщинами, ногти красивой формы и поблескивают опалово.

— Пойми, женщина: времена сейчас трудные и будут еще труднее, а я едва тебя знаю.

— Я тоже тебя не знала, однако ждала с открытым сердцем, — тихо ответила Мария Магдалина.

Лука прикрыл веки, ища слова, которые вернули бы ему уверенность в себе.

— Мертвые заслуживают того, чтобы знать о них истину. Я должен знать, что и как с ними произошло. И что — не произошло...

Мария Магдалина потянулась за кружкой, отпила глоток, потом произнесла задумчиво:

— Иногда истина — это тайна, которой владеет живой. Если он поделится ею с кем-то, она перестанет быть тайной, а не поделится — унесет с собой в могилу. Я не знаю, унес ли с собой свою тайну тот, о ком ты хочешь меня расспросить. Если ты веришь мне, я расскажу все, что знаю. Если не веришь, я тоже не смогу доверить тебе то, чем меня одарили другие. Ты должен это понять.

Лука слушал с неподвижным лицом, следя за закатными бликами в ее карих глазах.

— Ты говоришь красиво и разумно, Мария Магдалина. Эта мудрость мне тоже известна, я знаю, что такое тайна и что значит хранить тайну, знаю, какие жесткие требования ставит перед человеком доверие и как все же жизненно важно недоверие. То, что я хочу знать, не мое личное дело, не мой интерес, ты это сама понимаешь.

— Если ты решил заранее, что именно хочешь услышать и что посчитаешь истиной, то не стоило тратить силы, чтобы прийти сюда, господин. Я не могу обещать, что открою тебе истину, могу обещать лишь, что не стану лгать, если почувствую твое доверие. Если же не почувствую, то буду молчать, сохраню верность своим тайнам. — На лице у Марии Магдалины застыла печаль.

Лука поднялся; голос его дрожал:

— Вижу, ты не понимаешь меня. Я ничего не решал заранее, кроме одного: я хочу верить тебе, потому что вынужден верить. Иной возможности у меня нет, Мария Магдалина... — и он отвернулся к стене.

— Мне минуло пятьдесят, господин, я давно живу в одиночестве, беседую лишь со своей памятью, — сказала Мария Магдалина. — Когда я узнала вчера, что ты придешь, у меня сердце в груди забилось и я, словно хорошую весть, ждала тебя с рассвета. Мне храмом остался вот этот дом, алтарем — эта горница, сюда я никого не пускаю, с людьми встречаюсь на улице. Видишь, я только услышала про тебя — и со вчерашнего дня все думаю, как омою ноги тебе, когда ты войдешь в эту горницу, как умащу их маслами... Я сама боюсь: вдруг ты не так меня поймешь — мне ведь за пятьдесят уже... Я тебя так ждала, Лука, так верила! А ты думаешь, я лгать тебе буду...

Лука повернулся, сел, спрятал лицо в ладонях.

— Ты опять заставляешь меня краснеть, женщина... Попытайся понять... Вера моя — на последнем издыхании, сомнения терзают меня, словно дикие звери. Я ведь тоже один, хоть и живу среди братьев, хоть и есть у меня в жизни миссия... Разочарования медленно, но верно убивают мой дух. Посмотри на меня! — Он поднял голову. — В первый миг, как только я тебя увидел, глаза мне словно ослепило колдовское сияние, и я понял: или я поверю тебе, каждому твоему слову, или... лучше сразу уйти.

Мария покачала головой.

— Ты несчастлив, Лука, тебя слишком мало любили в жизни, никто тебя по-настоящему не любил. Вот ты и стал подозрительным, вся душа — в шрамах, ты изо всех сил стараешься быть реалистом, но презираешь реальность, а жизнь тем временем, как вода, уходит сквозь пальцы. Ты проповедуешь веру, а сам собираешь жалкие крохи ее, и дрожишь, и, как малый ребенок, робко надеешься на чудо...

Лука печально вздохнул:

— Откуда тебе все это известно, Мария Магдалина?.. Я на врача учился, видел страдания, видел смерть, в сознании у меня, сколько помню себя, живет убеждение, что спасти человека нельзя... И все же каким-то ветром туда, в сознание мое, занесло крохотную, как горчичное зернышко, надежду, что, может быть, выход, спасение все-таки есть, и вот сейчас это зернышко готово взорваться и разнести мне череп...

Глаза Марии Магдалины затуманились слезами, лицо Луки расплылось перед нею, стало смутным пятном.

— Мы с тобой знакомы всего ничего, час или полтора, а я словно всю жизнь тебя знала. Это я виновата. Нужно было бы сразу омыть тебе ноги, и накидкой своей осу-

шить, и умастить маслами. Тогда бы не впал ты в сомнение, поверил бы мне...

— Мне еще никто никогда не совершал омовение ног, Мария Магдалина. Вполне может быть, я тогда испугался бы, и хотя мне известен твой возраст, да и мне тоже минуло пятьдесят, — может, я тогда смутился бы и убежал... — Лука опустил голову на грудь.

— Словом... я несу таз с водой. — Мария Магдалина вытерла слезы в уголках глаз, на лице ее заиграла улыбка, она поднялась с лавки.

— Нет, не надо! Пусть все будет как есть. У тебя в душе тоже ведь было зерно подозрения. — Лука смотрел на женщину, чувствуя, как в груди его наконец разливается умиротворение. — Можно, я тебя спрошу кое о чем?.. Скажи, откуда ты знаешь так глубоко тайны счастья и несчастья человеческого?

— Господин, я любила, и меня любили.

— Многие?

— Многие, — ответила Мария Магдалина; потом, помолчав, продолжала: — Не спрашивай больше, я буду сама говорить. Если так ляжет на душу, расскажу тебе все, если же нет, довольствуйся тем, что услышишь, и знай, что я тебя не обманываю.

Лука кивнул, пригладил пальцами редеющие волосы, отер ладонью лицо, бороду с проседью.

— Ты-то мне веришь, Мария Магдалина? — спросил он вдруг.

— Я же лучший наряд свой надела, а ты даже и не заметил, — сказала женщина. — Хотя никогда не видела, не знала тебя. Снова скажу: мало тебя любили, Лука. Разреши наконец принести что-нибудь, чтобы ты чувствовал себя как дома.

— Нет, — отмахнулся Лука и, откинувшись к стене, прикрыл глаза. — Рассказывай все, что хочешь и можешь. Вопросов у меня уже нет, потому что ни к чему тут вопросы. Полагаюсь целиком на тебя. — Не открывая глаз, он помолчал, лишь губы его беззвучно формировали слова. Потом произнес: — Околдовала ты меня, Мария Магдалина. Ты все еще... прекрасна. Говорю это тебе, чтобы не приходилось больше заикаться и лепетать.

Мария Магдалина поднялась, поставила перед Лукой столик, на столик — кринку. Восковые блики на лице у нее смягчились, перешли в нежный румянец; подойдя к Луке, она тихо спросила его:

— Значит, ты хочешь знать все?

— Ты расскажешь мне то, что хочешь рассказать, и я поверю тебе, потому что... — Ему пришлось сглотнуть слюну, иначе не получалось выговорить. — Потому что, кажется, люблю тебя...

Мария Магдалина положила руку на голову Луке.

— Ладно, — сказала она и долго стояла так; потом подошла к двери, наклонила голову. — Хватит у тебя сил все выслушать?

Лука кивнул:

— Не хватит — сдохну...

Мария Магдалина стояла возле двери. За спиной у нее была лишь ее тень.

— Я была влюблена в Иисуса, меня же любил Иуда. Долгая это история. Иисус был первой моей настоящей любовью, я готова была умереть за него. Но вот, как видишь, жива. Я и до него любила, любили и меня... Девчонкой я была, думала, это и есть любовь. Лишь позже узнала, что ошибалась... Жили мы скромно, отец мой горшечником был, очень много трудился, чтобы хоть видимость достатка в доме поддерживать. Я красивой была, красивее, чем Марфа, старшая моя сестра, красивее, чем другие девушки. Замуж меня выдали рано; надеялись, может, от этого брака изменится наша жизнь к лучшему. Семья мужа была известной, богатой. Я знала, Ахаз давно меня приглядел. Высок он был, хорош собой, золотые перстни носил на пальцах. Венчание в храме было пышным, все было, что полагается для богатой свадьбы, потом пир роскошный. Тогда казалось мне, что я люблю Ахаза, мужа своего, и дальше собиралась любить, как поклялась, и девственность свою отдала ему с радостью. Правда, был перед этим один застенчивый юноша, имени его я не помню. Несколько лет он вздыхал по мне, несколько месяцев ждал на улице случайной встречи, письма писал, приветы передавал. Это тихое обожание наполняло меня счастьем и гордостью, несмышленая я была, думала, тоже люблю того юношу. Однажды он, заикаясь и краснея, спросил, согласна ли я пойти за него. Растрогал он меня,

и ждала я уже его признания, а потому погладила его по щеке и сказала: конечно да. Отец его был пекарем, и юноша тот всегда приносил мне в подарок теплый калач. Уже назначен был день помолвки, родители не противились, хоть и видела я — не о таком они зяте мечтали. В доме началась суета, беготня, все готовились к свадьбе, я сидела в своей горнице, мучаясь страхом и нетерпением, в подвенечном наряде. И тут гонец приносит письмо от моего нареченного, этого застенчивого, с чистым лицом юноши, которого, казалось мне, я тоже к этому времени полюбила. Он писал, что просит простить его, не может он взять меня в жены, но, пока жив, сохранит любовь ко мне. Был, конечно, небольшой скандал, еще бы, ситуация не из приятных, мать все подсчитывала, во сколько нам обошелся баран, во сколько курица. Отец, тот просто молча ушел к своим горшкам, а я сидела в доме и плакала. Потом уж я узнала, что родители жениха в последний момент уговорили его отказаться от своего намерения, внушили ему, что раз я такая красивая, то рано или поздно обязательно ему изменю. Я ногами топала от злости на клеветников, парня прокляла вместе с его родителями, а спустя несколько дней дала согласие Ахазу, и он стал моим мужем. Когда он пришел к нам свататься, родители не знали, куда его усадить, а он лишь самоуверенно улыбался, посматривая на меня. Угрызений совести у меня не было, я считала, что клеветников следует наказать, и тогда я еще была девственница. Не скрою, богатая свадьба была мне приятна и помогла быстрее забыть скандал. Мужа моего знали почти все, он был в Вифании одним из самых богатых молодых людей, у них были огромные сады, сам он занимался коммерцией, фрукты поставлял в Иерусалим, там его тоже знали, он водил меня из одних гостей в другие, с гордостью представлял знакомым, пир следовал за пиром. Скоро мы перебрались в Иерусалим, я считала себя счастливой, танцевала, танцевала, и все реже вспоминался мне тот юноша... А когда все-таки вспоминался, сердце мне стискивала печаль, потому что успела я его полюбить или пусть не его, а любовь его и успела поверить, что тоже его люблю... Но потом я вспоминала, как меня оклеветали и как он поверил этой клевете, так что, думала я, наказан он поделом. Мне и в голову не приходило, что ведь сама-то я изменила ему с Ахазом на третий день, просто из чувства мести. Это я лишь позже сообразила, много позже, когда сама себе была противна... Муж задаривал меня золотом, серебром, на каждом празднике я блистала, на каждом празднике была царицей, и ни о чем не жалела, и пела, и плясала. В друзьях у Ахаза было много известных людей: влиятельные иудеи, высокопоставленные римляне, с каждым у него были дела, из каждого он надеялся извлечь пользу, и ради этого мы развлекались изо всех сил, и пот лил с нас градом. У римлян, к которым мы часто хаживали на пиршества, в обычае было, где-нибудь к утру, смотреть, как спариваются по приказу рабы. Сначала меня мутило от этого, а потом привыкла. У Ахаза была поговорка: жизнь у нас одна, так пей бокал до дна. Я ему верила, потому что на лице у него была радость, и с почтением думала, какой он свободный, и отдавала ему все, что он просил, потому что и он давал мне все, что я просила. Но бывали дни, когда я чувствовала себя настоящей уличной девкой. Муж иной раз по нескольку суток не приходил домой, и я тогда уже понимала, что он проводит время со шлюхами, — после этого он всегда возвращался домой с подарками. Сначала я ничего такого не думала, за подарки благодарила от всей души и, хоть смутно и ощущала, что тут что-то не так, клялась себе, что буду любить его сильнее, чем прежде, и говорила себе: он таков, каков есть, он радуется работе, радуется жизни, он поет и танцует, и я тоже полюбила песни и танцы. Но как-то так получалось, что я все чаще оставалась одна и в своем одиночестве все меньше испытывала тягу к безудержным развлечениям. Что-то во мне сломалось, и подарки его уже вызывали во мне брезгливость — наверное, потому, что, возвращаясь домой от девок и высыпая мне на постель драгоценности, он, полупьяный, грубо подминал меня под себя. В те времена меня уже почти открыто обхаживал один римский сотник; он приходил чуть не каждый день, говорил о своей любви, мне это не было неприятно, но я удержалась, не отдалась ему. Хотя знала, муж ни слова бы мне не сказал: они были партнерами по коммерции, и Ахаз даже сам намекал, чтобы я была поласковее с римлянином. Кажется, Лисием его звали. А вообще он мужчина был видный, и я позволяла ему гладить мне ноги. И тогда случилось нечто, чего я не хотела: покорили меня восторженные и робкие глаза одного нашего слуги. Чем-то напомнил он мне того зас-

тенчивого юношу... может, не он сам, а взгляд его. Был какой-то момент, когда я почувствовала себя совсем опустошенной, ничто мне было не мило, и я просто поманила его, как госпожа, и обняла, прижалась к нему, словно озябшая птица... Нас застали на месте преступления. Муж мой, оказалось, все время вел за мной слежку, хотя осыпал золотом мое нагое тело, когда возвращался от своих девок. Не знаю, что стало со слугой, его я больше не видела; а меня за волосы вытащили на улицу, собралась толпа, люди кричали, что меня надо побить камнями. В толпе был и тот застенчивый юноша, который был влюблен в меня и которого я полюбила за его любовь; сейчас он, плача, орал вместе со всеми и потрясал кулаками. Это был конец. Я уже ни о чем не думала, ждала, когда на меня обрушится град камней. И тут, словно небесное явление, из толпы вышел Иисус. Он молча встал рядом со мной, потом присел и стал что-то чертить в пыли.

Толпа же ревела все неистовее. Я прижалась к стене, смирившись со своим уделом. А Иисус вдруг распрямился, повернулся к толпе и что-то негромко произнес. Я не разобрала, что он сказал беснующимся; только тут произошло чудо: они затихли и один за другим разошлись, а у кого был в руке камень, тот камень выбросил. Мы остались вдвоем; я разрыдалась, он погладил меня по волосам, по щеке и сказал: не надо плакать, все уладится. Он обнял меня за плечи и куда-то повел; не знаю куда, на окраину; возле одного дома мы остановились; здесь живут добрые люди, они тебя примут, сказал он мне. Все это и весь этот день... все было невероятным; я стояла у входа, Иисус сказал, ему нужно сейчас уйти, и попрощался со мной, а я все смотрела, смотрела на него и не могла вымолвить ни слова, даже спасибо не сказала, только смотрела. Он снова погладил меня по щеке, по голове, улыбнулся, кивнул мне — и ушел. Он уже скрылся из глаз, а я все стояла, глядя вслед ему. На другой день, когда я проснулась, меня прямо пронзило чувство, что я его люблю. Никогда, ни до того, ни после, не чувствовала я такой любви к мужчине. Даже думать о нем было блаженством. Домой я не могла возвратиться, потому что стала падшей женщиной; оставаться у людей, меня приютивших, тоже не могла, хотя они предлагали остаться. Поступила я в служанки к человеку по имени Симон, он был фарисей, велел мне перед гостями его не показываться. Я все выполняла, что он приказывал, потом послала весточку Марфе, чтобы она знала, где меня найти; Марфа пришла вместе с Лазарем, оба были растерянны, я им велела обнять за меня мать с отцом. Хорошо было в одиночестве думать об Иисусе, очень ждала я его и была уверена, что однажды войдет он в дом. И этот день наступил. Симон хотел меня отослать, как обычно, но я пала перед Иисусом на колени, и омыла ноги его, и поцеловала их, и вытерла волосами своими. Симон разгневался, закричал на меня, как я посмела, ведь я падшая женщина, и сказал Иисусу, чтобы он не позволял мне такого, Иисус же молчал и улыбался, а когда я снова поцеловала ноги его, сказал: спасибо, Мария Магдалина. Они беседовали до темноты, спорили о чем-то, потом Иисус ушел, а Симон в тот же вечер выгнал меня, не заплатив жалованья. В ночной тьме я бросилась следом за Иисусом — и нашла его у братьев, к которым он отвел меня раньше. Я была счастлива.

На следующий день в полдень Лазарь принес весть, что отец наш скоропостижно скончался и мать просит, чтобы я не показывалась на похоронах. Я была не в состоянии плакать, хотя отца очень любила; Лазаря я обняла и велела поцеловать мать, Марфу, а потом долго сидела в углу и вспоминала отца. Иисус пришел вечером; ты печальна, Мария Магдалина, говорит, а я улыбнулась и ответила: умер отец мой, мне передали, чтобы я не появлялась на похоронах его. Видишь, какова жизнь, сказал он и поцеловал меня в лоб. Не печалься, сказал еще Иисус, и тут я торопливо призналась ему, что, наоборот, счастлива, потому что вижу его, потому что он рядом. Я люблю тебя, сказала я ему. Он улыбнулся загадочно, коснулся плеча моего; я тоже тебя люблю, сказал — и удалился с другими. Так я и жила среди них, стирала, убирала, готовила, Иисус уходил на целые дни, я ждала его, а когда приходил он, омывала ноги его, вытирала волосами своими и целовала. Он, усталый, сидел и молчал. Я от него не отходила, спрашивала, не хочется ли ему чего-нибудь, он отвечал, ничего, тогда я брала его руку, прижимала ее к лицу своему, вот так, хорошо, шептал он, закрыв глаза. Не знаю, о чем он в такие минуты думал.

Прошли месяцы. Однажды у нас появилась Марфа, глаза у нее были красные, мать

тоже умерла, сказала она плача, ее уже похоронили, и я теперь могу возвратиться домой. Иисус снова ушел на несколько дней, а когда вернулся, я сказала: я тебя очень люблю, сейчас возвращаюсь в Вифанию, там буду ждать тебя. Правильно делаешь, ответил он; потом сел и задумался. Я стояла перед ним на коленях, ждала его слов. Я покину тебя, сказал он спустя долгое время; нет, это невозможно, ответила я и умоляюще положила руку ему на колени. Он прикрыл веки, сидел кивая, потом взял мою руку в свои; да, продолжал он, я скоро покину тебя, и ты тоже меня покинешь, моя радость. И все-таки я тебя не покину, однако ты останешься в одиночестве. Не понимаю тебя, сказала я в отчаянии, я тебя очень люблю, больше жизни, и обняла ноги его, и целовала руки его, я тебя никогда не покину, такого не может быть, и я заплакала и лишь повторяла сквозь слезы: единственный мой. Ты не прислуга, Мария Магдалина, сказал он тихо, и я не господин твой. Ты любишь жизнь, а я на нее смотрю как на смерть. Поэтому говорю, что покину тебя, и ты тоже меня покинешь. Тщетно протестовала я, тщетно сжимала руки его, тщетно плакала, говорила, что не пойду домой, лучше останусь с ним рядом. Он взял в ладони лицо мое, прошептал: ты должна вернуться домой, плохо, когда нет в доме хозяйки. Поцеловал меня в лоб, в глаза, ступай, сказал, я тебя навещу.

В Вифании, в этом вот доме, я ждала его каждый день. Ни брат, ни сестра не упрекали меня ни в чем, не напоминали о прошлом. Люди на улице сначала меня обходили, показывали на меня пальцем, дескать, вот идет падшая женщина, я не обращала на это внимания, даже не досадовала. По Иисусу я тосковала все больше; на рассвете и на закате стояла у дома, ожидая его, и часто казалось мне, что я его вижу, что он приближается, и я кричала ликующе: Марфа, Лазарь, смотрите, дорогой гость к нам идет. Но он все не приходил... Рассказывать дальше, Лука? Дальше будет еще печальнее.

— Я слушаю тебя, Мария Магдалина, — сказал Лука.

— Знай, что я была тогда молода и все еще красива. Симон, фарисей, мой прежний хозяин, сказал однажды вечером, что хочет спать со мной. Я сопротивлялась, но я же была служанкой. Он был ласков со мной, щадил меня, а я, обнимая его, представляла, что обнимаю Иисуса. Раскаяния я не чувствовала — и все же он прогнал меня. Здесь, в Вифании, меня позвал к себе сын учителя, он был первый, кто заговорил со мной, и я была рада этому. Странный он был юноша: готовился стать раввином, волосы у него поседели невероятно рано, недавно умер он от какой-то болезни. С ним я тоже спала, а наутро снова стояла в воротах, ждала любимого своего, Иисуса. Юноша был со мной ласков, благодарил меня и вручил подарок. Я и тогда не чувствовала раскаяния. Ты правда не разочаровался во мне, Лука?

— Я слушаю тебя, Мария Магдалина, — сказал Лука.

— Иуда пришел на день раньше, чем Иисус. Я его знала, но не обращала на него особого внимания, как и на всех остальных, потому что никого, кроме Иисуса, не видела. Он сказал, что Иисус послал его вперед, и долго, до ночи, рассказывал, где они были, что с ними происходило; и еще сказал, что скоро надо ждать очень важных событий. Я допытывалась, что это за события, но он не ответил, только смотрел на меня в упор. Лазарь сидел, клевал носом; Марфа давно спала. Было во взгляде Иуды что-то, от чего мне становилось страшно и в то же время жалко его. Были в нем тревога и униженность, мольба и стыд. Я взяла его за руку и спросила: Иуда, что должно произойти в скором времени, расскажи мне. Но он лишь смотрел на меня, и в глазах у него были слезы; все мы умрем, сказал он и неловко махнул рукой. Наверняка ты устала, сказал он, иди поспи. Я тебя одного не оставлю, ответила я и сжала его руку. У него неожиданно, почти со слезами, вырвалось: прошу тебя, не прикасайся ко мне, я люблю тебя с тех пор, как ты вернулась из Иерусалима, не могу я без тебя жить, но на мне висит страшный груз, лучше тебе ничего не знать, не допытывайся, не надо. И как ни старался он подавить рыдания, они все же вырвались у него из груди. Тогда я встала, растолкала Лазаря, велела ему идти спать в горницу, он, сонный, бормоча что-то, ушел, а я тихонько принесла воду, омыла Иуде ноги, вытерла, умастила маслами. Теперь тебе лучше? — спросила я, улыбаясь ему. Я люблю тебя, только это и удерживает меня в жизни, ответил он и попросил, чтобы я на него не сердилась ни сейчас, ни потом. Тебя, наверное, никто еще не любил? — спросила я, видя, как он дрожит, а он ответил, что не хотел причинить мне горе, он знает, я люб-

лю Иисуса, а о нем, об Иуде, беспокоиться не надо, он сейчас ляжет спать, мне тоже пора ложиться. И тут я снова взяла его за руку, склонилась к его лицу и спросила: Иуда, тебя кто-нибудь любил в жизни? Он поднялся, вздохнул и ответил медленно: если ты не способен умереть ради того, для чего живешь, то жизнь вообще не имеет смысла. Не спрашивай меня ни о чем, мне и так стыдно, что я проявил слабость, я тебя люблю и делаю свое дело, и если бы я не любил тебя так беззаветно, то меня бы уже и в живых не было. И он пошел в угол, и лег на расстеленный коврик, и сжал лицо свое в ладонях, спасибо тебе за то, что ты есть, сказал он, и забудь все, что я тут наговорил, забудь о том, что смыслом жизни моей стала одна только ты, ибо я люблю тебя, как мог бы любить только жизнь. Я погасила лампаду, легла рядом, стала гладить руки ему, чтобы отнять их от лица, и ласкала его, и шептала: не плачь, милый мой, я тут, с тобой рядом. И сама не заметила, как заплакала вместе с ним, но слезы мои обернулись радостью, и он дрожал, и я тоже дрожала, и мы обнимали друг друга так, что было больно обоим. Потом он задремал, а я смотрела, как лицо его в свете наступающего утра становилось мягким, умиротворенным, как у ребенка. Утром я молчала, и он молчал, и в глазах его я видела любовь и благодарность. И скоро пришел Иисус, которого я так долго ждала, по которому так тосковала. Меня терзало раскаяние; я склонилась к его ногам. Марфа готовила еду, Лазарь растроганно топтался поблизости. Иисус разговаривал со всеми, а я сидела у его ног, иногда опускала голову на колени ему, а он, словно это было в порядке вещей, гладил меня по голове. Какая ты красивая, Мария Магдалина, сказал он, когда мы остались одни, я так рад тебе. Почему я не могу быть твоей? — спросила я; и снова спросила, ударив себя в грудь кулаком: почему я не могу быть твоей? Он улыбался, лицо его было бледным, измученным. У тебя славный дом, сказал он, мне здесь хорошо, и я счастлив, что ты остаешься верной себе. Я не поняла, что он хочет этим сказать, но надеялась, что он останется и простит меня и мы наконец будем спать вместе, и у нас будут дети. Я люблю тебя, поэтому доставляю тебе боль, сказала я, прижимаясь к нему, и он обнял меня. Это была случайность, что я как раз оказался там и что ты обязана мне жизнью, сказал он, однако значение это имеет такое же, как любая случайность в жизни. Одна случайность переворачивает судьбу, другая проходит незамеченной. Он перебирал пальцами мои волосы. Не печалься из-за меня, сказал он. Теперь я совсем уже ничего не могла понять и срывающимся голосом воскликнула: скажи, ты меня любишь? Он поцеловал меня в лоб, в глаза; я сказал тебе, что покину тебя, и ты покинешь меня, и что я все же тебя не покину, и что ты останешься одна, говорил он. Ты не ответил, посмотрела я в глаза ему, и тогда он сказал: точнее ответить не могу. Я смутилась, и постаралась угодить ему, и вымыла ему волосы, и смазала их, и, пока мыла, пела ему... Я еще спала, когда он ушел, остался только Иуда; я тут приберу немного, сказал Иуда, после всей этой суеты помочь в уборке — дело естественное; потом грустно добавил: слишком много масла ты потратила, для Иисуса это уже значения не имеет. Иисусу это было приятно, сказала я, и Иуда сказал: я тебя очень люблю. Я чувствовала себя ужасно, я знала, Иуда говорит правду, и уклончиво ответила: то, что я сделала, имело значение для меня, мне было важно умастить маслами ноги Иисуса и волосы его. Иуда занимался уборкой, не глядя на меня, а я стояла, не в силах вынести его молчания. Что ж, разве это вина моя, что я люблю Иисуса? — спросила я и увидела, что Иуда побледнел и дрожит; я чуть не сказала, мол, прости меня, тебя я тоже люблю, все, что было позавчера, было правдой; но не в силах я была это сказать, потому что видела его лицо. Из глаз у него вдруг хлынули слезы, потекли в бороду, он попятился к двери, сказал тихо: я тебя очень люблю, Мария Магдалина, и ушел.

В скором времени Лазарь, брат мой, заболел; лежал, метался в жару, бредил, терял сознание. Мы с Марфой целыми днями за ним ухаживали, укутывали его пылающее тело в мокрые простыни, молились, ждали, чтобы пришел Иисус — он-то наверняка поможет. Слышали мы, он недалеко, в какой-то деревне, учит людей праведной жизни. Один из соседей наших, услужливый человек, пошел туда, попросил его срочно прийти. Сознание к Лазарю не возвращалось, дышал он все тяжелее, даже и не дышал уже, а хрипел и лежал без движения, как покойник; мы уж только желали ему скорой смерти, чтобы не страдал он так. Дом был полон сочувствующих, люди и на улице стояли, добрые люди, которые любили его и теперь оплакивали. Тяжелое дыхание, хрип стали вдруг едва слыш-

ными, рот у Лазаря открылся, грудь лишь иногда еле заметно вздымалась. Мы сидели возле него, молились, Марфа плакала раскачиваясь. Иисус пришел утром; впервые я обратилась к нему с упреком, а он лишь улыбался загадочно, почти вызывающе, и я не знала, к чему относится эта улыбка: не к любви ли моей? Он сказал, чтобы я успокоилась, вошел в дом, сел рядом с Лазарем на край постели. Сказал, чтобы ему принесли лимон, уксус и чистое полотенце. Из лимона выжал сок на краешек полотенца, смочил им сухие губы и покрытый налетом язык Лазаря, потом взял уксус, окунул в него другой краешек полотенца, поднес его к носу Лазаря и прошептал: очнись, друг мой, ты должен очнуться. Немного погодя веки Лазаря дрогнули, Иисус стал разминать ему грудь, и Лазарь начал шумно дышать, и глаза его открылись. Марфа зарыдала, уже от радости, выбежала на улицу, закричала: он жив, жив, и люди, стоящие там, растерянно возносили хвалу небесам. Иисус долго еще сидел возле Лазаря, потом наклонился к его неподвижным глазам: ты узнаешь меня, друг мой? И не дожидаясь ответа, сказал: ты одолел смерть, теперь ты выздоровеешь. И потом встал, пошел к двери, на ходу обернулся ко мне со словами: убери с него мокрую простыню и накрой его одеялом, чтобы не простудился. Я сделала все, как он сказал, и тоже вышла на улицу. Многие из учеников его были с ним, только Иуду я не видела. Юноша Иоанн подошел к двери, заглянул внутрь, лицо его сияло гордостью, он шепнул мне: поблагодари Иисуса. И я тогда тоже невольно улыбнулась, хотя очень устала, и подумала: полно, что ты знаешь о нас, что ты знаешь о жизни? Тогда мне и в голову не могло прийти, что целые годы мы будем жить вместе. У него были густые черные волосы, лицо его светилось целомудрием, а я лишь улыбалась снисходительно и смотрела на Иисуса, как он идет вдоль по пыльной улице.

Лука потянулся за кувшином, поднес его ко рту.

— Я не ослышался: ты много лет жила с Иоанном?

— Много лет, господин. После того как Христа распяли, Иоанн прятался у нас. Он был очень напуган. Когда моего брата убили, он несколько недель из горницы не высовывался, даже по нужде ходил в ведро, а я выносила. Потом уж набрался смелости, людям мы говорили, что это наш дальний родственник, семью его разбойники перебили, а он к нам пришел и потому спасся. Случаев таких было много, люди нам верили и лишних вопросов не задавали, у каждого было что прятать и что держать в тайне, народ в страхе жил, говорили, война скоро будет. И я жила с Иоанном до тех пор, пока он не ушел от нас. А ушел он, когда первосвященником стал Анания; Анания за ним и прислал.

Лука пригубил молоко с медом, потом медленными глотками выпил всю кружку.

— Продолжай, Мария Магдалина.

— Иисуса я снова увидела незадолго до его смерти. Слухи пошли, что его собираются судить. Священники народ против него настраивали, говорили, что он смуту сеет, что опасен для всех. Я же его только кротким видела; ведь тот, кого любишь, всегда кажется кротким. Пришел он неожиданно; с ним были Иуда и Иоанн. Мы обрадовались, Марфа еду готовила, ворчала, почему не я, Лазарь еще выздоравливал. Я достала припрятанную благовонную мазь, изготовленную из настоящего нарда: сын учителя мне ее подарил за то, что я провела с ним ночь. Мазь эта была свидетельством греха моего, но грешной я себя не чувствовала. Мазью из нарда умастила я ноги Иисуса, и в этом была моя последняя надежда, что он все-таки вернется ко мне. Аромат нарда наполнил комнату. Иоанн изумленно следил за тем, что я делаю, Иуда же склонил голову и, сдерживая слезы, произнес тихо: это же страшно дорогая мазь, Мария Магдалина, цена ей по крайней мере триста динариев, если ее продать, сколько хлеба дали бы мы голодным. С трудом он вымолвил эти слова, упрек звучал в них, чувствовала я, как ему больно, что его я люблю не так, как Иисуса, а ведь я его тоже любила, как любят ребенка-сироту. Вот какая странная штука: я отчаянно пыталась добиться любви Иисуса и знала, что бесполезно это, а Иуда унижался ради меня. Стало тихо; Иисус смотрел на меня, а отвечал в задумчивости Иуде: не в трехстах динариях дело, брат мой. Считай, что Мария Магдалина сейчас прощается со мной. Она еще думает, что любит только меня, в душе же ее кипят другие чувства. Я собралась было возразить, но Иисус с улыбкой махнул рукой: я же сказал, что покину тебя и ты покинешь меня, напомнил он. Прошу тебя, Мария Магдалина, умасти этой дорогой мазью ноги и Иуде с Иоанном. Тут мне стало так стыдно, что я готова была

провалиться на месте, и надежда на радость исчезла, и весь вечер я ощущала себя голой. Поужинали мы молча. Утром, перед тем как уйти, Иисус спросил: а вы не придете в Иерусалим на праздник? Лазарь отказался: ему трудно пока пускаться в такой долгий путь; Марфа же обрадовалась и пообещала пойти. Иисус посмотрел на меня; я какое-то время выдерживала его проницательный взгляд, в котором одновременно были и грустный зов, и запрет, потом ответила: не знаю. Иисус кивнул и сказал: позаботься об Иоанне. Иуда в это время уже двинулся в путь, не оглядываясь назад. Иоанн стоял с недоуменным видом, в глазах у него был вопрос: с чего это о нем надо заботиться, но Иисус обнял его за плечи и сказал: пойдем, а то не догоним Иуду. Это было прощанье, и я стояла в воротах, пока они не скрылись из виду. Потом меня охватила безмерная, горькая усталость, и я с такой же ясностью, как пыль, лежащую на дороге, увидела, поняла, что Иисус никогда не любил меня так, как я его, потому что он любил всех, хотел любить всех, такой человек не способен сделать исключение для кого бы то ни было, разве что для матери своей. Я же всегда умела любить по-настоящему, как женщина, только одного человека... Я сяду, Лука, утомляют меня воспоминания.

Лука смотрел на Марию Магдалину. Под ее темно-карими глубокими глазами темнели круги, морщины казались нитками, которые скрепляли распадающееся лицо. Ни былого сияния, ни следа лучезарной, как солнце, улыбки.

— Давай принесу еще молока с медом: я все выпил, что было, — сказал он вставая.

— Буду благодарна, — ответила Мария Магдалина. — Кувшин там, за дверью, стоит на земле, накрытый платком, в нем молоко, а мед — на полке слева, в большой кружке. Нацеди его на два пальца, потом молока налей, потом размешай, ложку там же найдешь.

В кухне тоже царили чистота и порядок, на полке рядком лежали мешочки с приправами, перед очагом грудились наколотые дрова. Лука нацедил в кружку меду, налил молока, размешал, принес в горницу.

— Выпей, — сказал он Марии Магдалине, давая ей в руки кружку. Стоя с ней рядом, он с удивлением обнаружил, какая она, оказывается, хрупкая: тело ее терялось в просторной одежде. — Выпей, Мария Магдалина, — повторил он, коснувшись ее плеча, потом накидки на голове, и сел на прежнее место.

— На другой день Марфа ушла в Иерусалим. А вечером вернулась с вестью, что Иисуса схватили, предали суду, как какого-нибудь супостата, и суд вынес приговор: смерть. Рассказывала она об этом сквозь рыдания, мы с Лазарем с трудом понимали, о чем идет речь, стояли будто окаменев... Сразу после вынесения приговора Иисуса повели на гору, что называется Череп-горой, и распяли на кресте. Когда Марфа, рыдая, произнесла это, Лазарь зашатался, я подхватила его, отвела к постели, сказала: лежи, нам всем сейчас тяжко. Марфа выла, словно безумная, я ее тоже уложила, долго успокаивала; наконец заснула она, но и во сне все вздрагивала и всхлипывала. Странное дело... — Мария Магдалина, держа в руке нетронутую кружку с молоком, повернулась к Луке. — Я никакого потрясения не чувствовала, только безграничную, безысходную печаль. Хорошо было бы поплакать, но плакать я не могла. Собрала я все, что в таких случаях полагается: елей, мази, полотно; был канун субботы, я знала, нужно выждать какое-то время. Стояла я в саду за домом и без слез оплакивала Иисуса, которого любила настоящей любовью, и которому никогда не принадлежала, и который с улыбкой сказал, что покинет меня, и добавил, что я тоже его покину. Вышла в путь я перед рассветом. Марфа мне объяснила, где я его найду — в склепе, который предоставил один милосердный богач. Когда я пришла туда, начинало светать. — Она отпила немного молока, поставила кружку на стол, сцепила пальцы рук. — Я уже издали заметила и удивилась, что камень, закрывающий вход в склеп, отодвинут в сторону. Вошла я туда. На ложе не было ничего, только пелены погребальные да наголовный плат, сложенный аккуратно. Таким неожиданным, таким невероятным показалось мне это зрелище, что я разрыдалась и принялась искать тело Иисуса, подняла пелены, повертела их в руках и все повторяла: где ты, где ты? Очень я испугалась, похоже, даже не в себе немного была, выбежала из склепа, стала метаться по кладбищу, думала, может, перепутала могилу, но потом поняла, что ошибки нет, склеп тот самый, про который Марфа сказала. Корзинку свою я оставила там, побежала в город, в дом, где братья жили, сообщить, что тело Иисуса исчезло. По дороге встретила

Иоанна, он как раз сворачивал за угол, я крикнула ему вслед, позвала его, он испугался было, а когда узнал меня, прижался к стене и дождался, пока я подойду. Он, едва дослушав меня, убежал куда-то, я не знала, что дальше делать, и отправилась назад, на кладбище. Было уже ясное утро. Я подошла почти к самому склепу, когда услышала топот. Это бежал Иоанн, за ним с трудом поспевал Симон. Иоанн то и дело останавливался и поджидал Симона. Тот был весь в поту, Иоанн тяжело дышал. Симон вопросительно взглянул на меня, я развела руками и показала на зияющий склеп. Иоанн бочком отошел в сторону, видимо, ему стало страшно. Симон бросился в склеп и спустя минуту вышел, молча покачал головой, вытер ладонью пот со лба. За ним приблизился к входу и Иоанн, заглянул внутрь и сказал мне упавшим голосом: я к тебе зайду потом, Мария Магдалина. Они ушли. Ноги меня не держали, я села на землю. Все было так непонятно и так невероятно... Я снова вспомнила, нет, ощутила всем сердцем, что Иисус любил меня не так, как я любила его... и вот он в самом деле покинул меня, как сказал, и я разрыдалась снова. Такой несчастной я никогда еще не была; я сидела на земле и плакала, плакала. Солнце начинало уже пригревать. Какой-то человек обратился ко мне, спросил тихо, почему я плачу. Я вдруг ощутила, что не понимаю, где я и что со мной; у меня вырвалось сквозь рыдания, что я ищу тело возлюбленного своего, хочу забрать его с собой. Должно быть, он подумал, что я тронулась умом, но не ушел, а сказал приветливо, что он тут служит сторожем и что советует мне уйти: пусть возлюбленный мой покоится с миром. Я тогда закричала, что ушла бы, и пусть он покоится, но его нет здесь, и потому я и хочу его найти, чтобы он наконец обрел покой. Редко, правда, но все же случается, сказал он так же участливо, что умершего приходится спешно положить в могилу, а позже, когда наступит более спокойное время, его хоронят уже окончательно; должно быть, это произошло и с телом возлюбленного моего. И я опять закричала: но кто забрал его и куда похоронили его? И кладбищенский сторож ответил тихо: не знаю, хотя кладбище это никто не знает лучше меня. И стал рассказывать, что этот склеп принадлежит одному богатому человеку, он только недавно его построил, много денег в него вложил, хоть сам жить наверняка будет долго, богатые люди вообще живут долго, а вот место упокоения себе готовят заранее. Я его перебила и опять сказала ему, что возлюбленного моего положили сюда, вот и пелены его погребальные, и плат наголовный, и тогда садовник вошел в склеп, а выйдя оттуда, сказал: и правда, чего это его унесли нагим и если унесли, то почему плат наголовный так аккуратно сложен? И стал говорить, что у богатых каких только не бывает причуд; скажем, богач приказывает положить в склеп, на будущее, и пелены, и плат, а потом приходит, смотрит, представляет себя покойником — и от этого успокаивается: вот-де он все еще жив, значит, он победил. Еще сторож рассказывал: встречаются чудаки, и немало, которые осматривают склепы друг друга и хвалят их, какие, мол, они удобные и просторные и какая приятная прохлада внутри. А то еще приносят с собой благовония и мази... Тут я взмолилась: но мой-то возлюбленный где покоится, я даже тело его умастить не успела, не успела поклониться ему... и била кулаками по земле от отчаяния, а сторож сказал: ничем тебе не могу помочь, нет на кладбище новых могил, и протянул мне руку, чтобы поднять с земли. И на прощанье сказал еще: покойник потому и покойник, что его нет среди живых. Потому что его и в могиле на самом деле нет, только тело его истлевает в земле. Взяла я свою корзину и, шатаясь, пошла прочь. Слезы мои иссякли. Когда я, идя по тропинке, повернула к воротам, то еще раз оглянулась на склеп и увидела сторожа: он как раз выходил из склепа, и на руке у него белели под солнцем свернутые пелены. До сих пор не знаю, где похоронен Иисус. Иоанн сказал, что воскрес он, он сам его видел. Может, правда... Недавно от Анании пришла грамота с печатью, его завещание, в котором он оставляет мне в наследство какой-то участок земли. Землю Горшечника в Иерусалиме. Потому, наверно, что мой отец тоже горшечником был. Но это уже другая история.

— А при чем здесь Анания? — Лука наклонился вперед. — Ты его знала?

— Говорю же, это другая история. — Мария Магдалина снова отпила молока с медом. — Себе-то ты почему не принес? Есть и молоко, и мед. Или не понравилось?

— Понравилось, но не хочу больше. Слушаю тебя, женщина.

Мария Магдалина вздохнула.

— Иоанн у нас спрятался и потом много лет тут жил. Первое время он такой был... наивный: или весь восторгом горит, или чуть от страха не умирает. Потом уж он возмужал, не так боялся всего. Часто сидел, погрузившись в какие-то думы. Это он нам сказал, что Иисус воскрес; он часто рассказывал, как тот им явился, хотя дверь была заперта на засов. Говорит, сначала они глазам своим не поверили; они в темноте сидели, боялись лампаду зажечь, Фома даже к ранам Иисуса прикоснулся, чтобы убедиться, что это он, учитель. Потом, рассказывал Иоанн, Иисус исчез так же, как появился, а они все сидели и ждали чего-то, испуганные и растерянные. Симон, которого Иисус Петром называл, первым пришел в себя и встал. Пойду, говорит, снова рыбачить, это дело верное, там никаких неожиданностей не будет. И многие с ним пошли, даже Иоанн. Попробовали они ловить рыбу на Генисаретском озере, но не шла в сети рыба, только устали они и разозлились, и тогда с берега кто-то крикнул: в другом месте забросьте сети. Темно еще было, рассвет наступал медленно, и — чудо случилось, выловили они много рыб, числом сто пятьдесят три. Едва сумели с добычей добраться на лодке до берега, а на берегу стоял Иисус и рыбу пек на углях. Они и тогда его не узнали, но все были в смущении: после стольких напрасных усилий — столько рыбы, и все благодаря ему. Ничего они ему не сказали, сели и стали есть. И в наступающем утре Иисус спросил Петра, любит ли тот его. Трижды он у него спросил это, а Петр, схватившись за голову, поклялся, что любит, и разрыдался. Потом Иисус встал и сказал Иоанну, чтобы тот следовал за ним. Петр еще что-то спросил, Иисус ответил ему, Иоанн не помнит точно, что именно, просто встал и пошел за Иисусом по направлению к встающему солнцу. Впереди шел Иисус, за ним Иоанн, солнце сияло все ярче, и вдруг Иоанн обнаружил, что он один, и, сколько он ни кричал, Иисус так и не отозвался. Иоанн часто рассказывал, что Иисус воскрес, и был среди них в темной комнате, и был с ними на берегу во время восхода солнца. И еще рассказывал, что узнал, кто где прячется, и что Иуда исчез. Иоанн редко осмеливался выбираться в Иерусалим, уходил всегда в сумерках, а к рассвету возвращался. И рассказывал все, что узнал. Что Петр и другие снова что-то затевают, и что их преследуют, и что ненависть снова вспыхнула, с тех пор как Иисус воскрес. Лазарь, брат мой, уже восстановил свои силы, он ловил каждое слово Иоанна; однажды сказал он, что сходит навестить одного своего доброго знакомого, который жил за деревней. А на другой день постучали в окно незнакомые люди, сказали: Лазарь лежит весь в крови, мертвый, в канаве. Камнем ему размозжили голову. Марфа упала без чувств, Иоанн так испугался, что не смел выйти из дому, я похоронила брата сама, как положено по обычаю. Иоанн сказал: ты такая сильная, Мария Магдалина. Я кивнула, мол, ладно, а сама едва дождалась, когда можно будет сесть наконец, чтобы он не видел, что я всем телом дрожу. Потом Иоанн сказал: я тобой восхищаюсь. Я сидела на скамеечке, глядя в стену перед собой. Он сел на пол, ноги скрестил. И снова сказал: я так тобой восхищаюсь, Мария Магдалина, и все смотрит, смотрит на меня. Пришлось мне наконец улыбнуться, ладно, говорю, парень, ты уже вырос, ты сейчас — мужчина в семье. И погладила его по волосам, по щеке. И тогда что-то дрогнуло во мне, приятно мне было к нему прикасаться, кожа его была бархатистой, волосы, борода — как кудель мягкая... Траур прошел тихо, без заметных событий. Спустя некоторое время Иоанн снова набрался храбрости и стал наведываться в Иерусалим; иногда оставался там на день-два. Сначала я боялась за него, волновалась, представляла всякие несчастья и в душе готовила себя к ним. И в конце концов поняла, что, когда его нет, Иоанна, мне его не хватает. Соседи привыкли к тому, что он родственник наш, не допытывались, что да как. А я стала за собой замечать, что приятно мне смотреть на него. Он, бывало, вернется на ранней заре, усталый, и сразу спать ложится, а я сижу на краю его постели, как Иисус сидел возле Лазаря, и смотрю, смотрю на него. Осторожно поглажу его волосы, тихонько, едва касаясь, поцелую в щеку... Марфа видела это, но не говорила мне ничего. Как отправляется Иоанн в Иерусалим или еще куда, а делал он это теперь все чаще, я провожу его до угла, на прощанье обниму, поцелую. Он тоже меня обнимет и поцелует. Береги себя, маленький мой, говорю я ему. Ничего со мной не случится, потому что ты меня бережешь, улыбается он в ответ. Я люблю тебя, маленький мой, шепчу я ему, ты один у меня остался. Я тоже тебя люблю, Мария Магдалина, а сейчас пойду, ждут меня, вернусь целый и невредимый — и поцелует меня в

глаза, как Иисус когда-то. Однажды его три дня не было, я места себе не находила. Марфа, видя это, сказала: знаю, любите вы друг друга, спи с ним в одной горнице. Я промолчала, потому что не хотела лгать, не хотела ответить ей что-нибудь вроде: полно, мол, как ты такое могла подумать, он вон насколько моложе меня; или: нет, я останусь с тобой, я у тебя единственное утешение. Я просто была ей благодарна и постелила постель ей. А потом Иоанн вернулся и принес весть, что Стефана какие-то подростки забили камнями до смерти. Он уже не трясся от страха, как раньше, но был совсем бледный, и руки у него дрожали. Я легла рядом с ним, утешала его, как могла: не бойся, я тут, рядом с тобой. Он крепко обнял меня, стал просить: люби меня, береги меня, прогони мой страх... В скором времени пришел чужой человек, спрашивал меня; Иоанн спрятался, думал, это его ищут. Я дважды переспросила, действительно ли ко мне он, а чужой ответил: если это Вифания, а ты Мария Магдалина, сестра Марфы и Лазаря, то, значит, к тебе. И сказал, что он купец, прибыл из Дамаска, направляется в Вифлеем, везет товар на продажу, надеется на хороший барыш. И тут достает какой-то сверток; это, говорит, просили тебе передать, один человек просил, из Дамаска. Я ушам своим не поверила: мне? Из Дамаска? Я там никого не знаю. Может, и так, говорит, но тебя, выходит, там знают. Я взяла сверток, спросила, сколько должна. Нисколько, отвечает купец, тот человек щедро заплатил вперед. Я спросила, не согласится ли он поесть, напиться, но купец отказался: нет, говорит, никак не могу, ждут меня на постоялом дворе, и вежливо попрощался. Я, не заходя в дом, раскрыла посылку — и ахнула: в ней был алебастровый, тонкой работы кувшинчик, а в нем — настоящий нардовый елей. Под кувшинчиком лежала записка: Марии Магдалине, Анания. Я представить себе не могла, кто это может быть. Сначала подумала, Иисус: ведь Иоанн говорил, что тот воскрес из мертвых, он сам его видел, встречался с ним, а потом Иисус исчез. Только загвоздка в том, что Иисус никогда мне ничего не дарил, кроме слов, да ласкового взгляда, да прикосновения руки. И потом: если бы это он мне подарок прислал, он и подписался бы своим именем... Долго смотрела я на эти три слова, а потом вспомнила: Иисус, сколько я его видела, никогда ничего не писал. Один-единственный раз — когда меня камнями собирались побить — я видела, как он, присев на корточки, чертит что-то в пыли. И когда я вспомнила это, буквы мне показались вроде бы знакомыми: ведь Иуда, тот всегда что-то записывал, он был у братьев казначеем, вел учет, кто дал и сколько, кому дали и сколько и на что. Его почерк я видела, хоть и мельком, потому что он всегда спиной ко всем поворачивался, когда писал, да еще и рукой прикрывал свиток. Короче говоря, показалось мне, что это его буквы, Иуды. Решила я расспросить Иоанна, не знает ли он в Дамаске кого-нибудь по имени Анания. Но потом передумала и не стала спрашивать. Только вошла в дом и крикнула: выходи, Иоанн, все спокойно. Он вышел встревоженный, стал допытываться, что за человек это был и что ему было надо. Я засмеялась, поцеловала его: да не переживай ты, это бродячий торговец, благовония продавал, меня вот уговаривал купить. И показала ему кувшинчик: видишь, уговорил-таки, это нардовый елей. Записку я спрятала и не произнесла ни слово «Дамаск», ни имя Анании. Сама до сих пор не могу понять, почему я от него это скрыла: до того дня не было у меня от Иоанна тайн. Откуда у тебя столько денег, чтобы нардовый елей покупать? — посмотрел он на меня недоверчиво. Пришлось поторговаться, продолжала я сочинять, да так гладко, что сама удивлялась, — предложила я ему взамен свои серьги; и тут опять рассмеялась: как раз в то утро серьги мои куда-то запропастились, я, когда причесывалась, заметила, что их нет, искала, искала, не нашла и рукой махнула в конце концов: а, сами потом найдутся, всегда так бывает. Иоанн понюхал елей и как-то непонятно заметил: Иуда вот в прошлый раз возмутился, а Иисус напомнил ему, что не в трехстах динариях дело, помнишь? Да, говорю, помню. И с той минуты больше не сомневалась: Анания — не кто иной, как Иуда.

Мария Магдалина подняла глаза, и Лука увидел: лицо ее снова стало спокойным, красивым, морщинки побежали по нему, словно лучики света, в карих глазах замелькали загадочные искорки.

— Ты не хочешь поесть, попить, Лука? — спросила Мария Магдалина.

— Мне достаточно, что я смотрю на тебя и слушаю тебя, — ответил Лука.

— Скоро закончится моя история, господин. — Мария Магдалина отпила медового

молока, языком увлажнила губы. — Иоанн уходил из дома все чаще, теперь уж не только в сумерки, и все чаще пропадал где-то надолго. Первое время его и расспрашивать не надо было: он сам рассказывал, что в мире нового. Потом говорил, если я задавала вопрос; а в последнее время я не лезла ему в душу с вопросами: и так видела, чувствовала, что не будет он ничего говорить. Теперь, когда молчал, стал он походить на Иисуса. Попросту говоря, стал зрелым мужем, заботы его снедали, мысли тревожные; спал он беспокойно, часто просыпался или, наоборот, до того был измучен, что погружался в глубокий, как забытье, сон; меня он едва касался. Он уходил, я ждала его; когда приходил, я мыла ему ноги, ставила перед ним еду. И ласкала его все реже, потому что заметила: нет у него во мне необходимости, прислушивается он не ко мне, а к собственным мыслям, а когда рука его касается меня, я ощущаю лишь холод. Я старалась держать себя в руках; но в душе нарастал страх, что я могу потерять и его. Когда заболела Марфа и лекари дали понять, что спасти ее невозможно, во мне что-то сломалось. С этого времени я смирилась с тем, что Иоанн тоже скоро меня оставит и что так оно и должно быть. Ведь я много старше, а у него в жизни большие задачи, Марфа же без меня не может, я буду нужна ей до последнего вздоха, потому что, кроме меня, у нее никого нет. Иоанн, возвращаясь после многодневных отсутствий, каждый раз спрашивал лишь: что, Марфа болеет все? И ходил по горнице из угла в угол, думал о чем-то, смотрел в окно, но ни разу не сел возле Марфы на край постели. Я ухаживала за сестрой, выполняла все ее желания, лоб у нее был словно восковой, и я старалась развлечь ее, рассказывала ей что-нибудь. Бедняжка мучилась долго. Где-то за неделю до ее смерти, когда она уже стала похожа на мощи, к нам опять явился чужой человек. Он сказал, что имени своего не может сказать и что по секрету должен мне кое-что сообщить. Я ответила, что тайны уважаю, но секретничать не люблю. Он смутился и покраснел, но все же сказал, что послан из Иерусалима, от некоего высокопоставленного лица, с тайным поручением: тот, кто его послал, просит и надеется, что я приму ту пустяковую сумму, которую ему поручено мне передать. И вручил мне триста динариев. Я, изумленная, спросила, кто послал эти деньги и зачем. Гонец сразу ответил, что больше сказать ничего не может, и повторил: его господин просит и надеется, что я приму деньги, они мне могут понадобиться. Я отказывалась, но гонец сказал, что он не может отнести их назад, к тому же там, откуда он пришел, знают, что Марфа больна. И, прежде чем я успела что-нибудь возразить, гонец продолжал: есть у него еще одно поручение — передать Иоанну, что он может передвигаться свободно, никто его не тронет. Кровь бросилась мне в голову; кто тебя прислал, чего ему надо, кто тебя прислал, чего ему надо, повторяла я вне себя, чуть ли не с ненавистью. Я клятву дал, что не выдам тайну, сказал он смущенно, поклонился мне и был таков. Я готова была рвать и метать, хотя надо было бы радоваться: теперь не нужно бояться за Иоанна, да и деньги мне вовсе не помешают. В горнице застонала Марфа, я крикнула ей: сейчас приду; в последние дни перед смертью она требовала, чтобы я была при ней постоянно. И вот я стояла перед домом, держа в руках деньги; я знала, что прислали их не братья, от братьев и Иоанн мог бы их принести, да и с какой стати братья стали бы мне сообщать, что Иоанна теперь никто не тронет? Долго ломала я голову, рассказать ли об этом Иоанну, когда он вернется, и опять решила молчать. Спрятав деньги, села возле Марфы, взяла в свои ладони ее исхудавшую, слабую руку и долго сидела, глядя в беленую стену. Думала про Иисуса, потом про Иуду. Потом только про Иуду. Марфа же тем временем уснула навеки; я не сразу это заметила — только когда рука ее остыла совсем. Денег хватило, чтобы похоронить ее достойно. Иоанн вернулся, я сказала ему, что Марфа умерла. Он ничего не ответил, только кивнул. Был он чем-то сильно озабочен, выпил воды, походил из угла в угол, потом сел туда, где ты сейчас сидишь, и сказал: мы решили, что я тоже отправлюсь в путь, очень много работы, Савл и Варнава обошли Антиохию, Петр — всю Самарию. Так что двинусь и я. Омыла я ему ноги, вытерла, помазала нардовым елеем, поцеловала его в лоб. Первосвященником стал какой-то Анания, сказал мне еще Иоанн, потом лег спать: утром он намеревался выйти пораньше. С тех пор ничего я о нем не знаю. Так и живу одна... Гонец из Иерусалима приходил дважды в год, иногда тот же, иногда другие люди, но говорили всегда одно и то же: человек, который их послал, просит и надеется, что я приму этот скромный подарок, триста динариев. Того, кто по-

слал, назвать не имеют права, клятву дали. Вот и вся моя история, Лука, с тех пор я живу тихо, беседую лишь со своими воспоминаниями и очень обрадовалась, узнав, что ты придешь, с рассвета ждала тебя возле дома... — И Мария Магдалина приподняла свою прозрачную накидку, отбросила ее назад, на плечи; серебряные волосы ее блестели, словно месяц в темном безоблачном небе.

— Динарии все еще получаешь? — спросил Лука.

— Уже не получаю. Последнюю сумму получила вместе с завещанием, что мне принадлежит Земля Горшечника.

— Анания умер. Говорят, сикарии его убили. Другие считают, он сам покончил с собой.

— Знаю, — сказала Мария, задумчиво глядя куда-то вдаль. — Он мне приснился вдруг; кажется, в то самое время, когда умер. Стоит в дверях, смотрит на меня молча, глаза горят, словно свечки...

— Кто приснился? Анания? — поднял голову Лука.

— Нет, Иуда. Худой, весь в морщинах, постаревший, но в глазах пылает любовь. Я ему говорю: прости, что не пошла за тобой. И пала перед ним ниц, помазала ноги ему нардовым елеем. Странно было: он стоял в дверях, а я смазывала ему ноги прямо поверх пыли, он сначала не давался, но я настояла, а когда кончила, обняла колени его и прижалась к ним лицом. А потом пришла весть, что умер он... Вот что я могла тебе рассказать, Лука, вот как прошла моя жизнь. Спрашивай.

Лука долго смотрел на Марию Магдалину, на ее сверкающие серебром волосы. Потом встал, вздохнул, подошел к двери, выглянул наружу.

— Полдень уже миновал, — сказал он. — Тени в другую сторону смотрят.

— Много времени ты со мной потерял, с болтливой бабой, не сердись на меня, — сказала Мария Магдалина. — Ты собирался поскорее уйти, важные дела поминал.

— Да, дел у меня много, и все важные. — Лука все смотрел на тени, пересекавшие улицу.

— Ты один живешь, господин? — спросила Мария Магдалина.

— Один. Много лет уже один, — тихо ответил Лука. — Жена мне изменила, долго я страдал из-за этого, потом познакомился с братьями, с Павлом подружился, много краев мы с ним обошли, много людей приобщили к истинной вере. Нет во мне уже к ней ни гнева, ни ненависти. Сыновей своих редко вижу, вот из-за этого иной раз тягостно.

— О, у тебя сыновья есть?

— Взрослые уже... Боюсь я за них: война на пороге.

Лука смотрел, как растут тени, молчал. Мария Магдалина осторожно спросила:

— Так у тебя нет вопросов?

— Ты уже все сказала, Мария Магдалина. Да и пора мне.

Мария Магдалина встала, поправила накидку, спрятала под нею серебряные волосы, выбивавшиеся у шеи.

— На прощанье позволь омыть тебе ноги, — сказала она.

— Сейчас ни к чему, женщина. Вот, может, когда вернусь к тебе.

— Приходи в любой день, господин. Двери этого дома всегда для тебя открыты.

— Может, принесу к тебе свои записи и тогда останусь надолго. Если не буду в тягость.

— В тягость мне ты никогда не будешь, господин. Я буду ждать тебя и приготовлю тебе ложе и место для твоих записей.

— Наверное, я буду писать, Мария Магдалина. Я должен писать, Павел взял с меня обещание. Многие ждут историю благой вести.

Лука огляделся в горнице, словно прощаясь с ней надолго. Мария Магдалина поднесла ему кружку.

— Выпей что осталось: это утолит твою жажду.

Лука кивнул, губы его раздвинулись в скупой улыбке, он взял кружку, и рука его коснулась руки Марии Магдалины.

— Я не знаю, когда приду. Знаю только, что хотел бы вернуться сюда как можно скорее.

— Я буду ждать. С готовой постелью, со столом, где ты сможешь разложить свои свитки. И когда ты войдешь в дом, я попрошу тебя сесть, и принесу таз с водой, и омою ноги твои, и осушу их волосами своими, и умащу нардовым елеем... Можно я провожу тебя, Лука?

— Лучше не надо. Потом мне будет трудней продолжать свой путь одному. — И Лука смотрел на Марию Магдалину, на лучистые морщинки ее, на чуть приподнявшую уголки губ улыбку — смотрел до тех пор, пока в глубоких карих глазах ее не блеснули слезы, отчего и его зрение затуманилось. Тогда он быстро повернулся и зашагал прочь.

А Мария Магдалина осталась стоять в середине горницы с пустой кружкой в руке.

Тридцать сребреников

В связи с поступившим в Синедрион (анонимным) запросом и по распоряжению компетентного на данный момент главы Синедриона мне поручено было провести расследование относительно земельного участка, известного как Земля Горшечника. Цель расследования — найти исчерпывающие ответы на нижеперечисленные вопросы: 1) кто является владельцем участка в настоящее время; 2) почему участок не зарегистрирован в канцелярии, призванной вести такого рода учет; 3) кто был (были) владельцем (владельцами) участка прежде, и были ли таковые вообще; 4) кто и когда отдал приказ засекретить карточку учета участка, где она хранилась после этого, кто принял решение о том, что участок не подлежит отчуждению и не может быть сдан в аренду; 5) в какой степени эти вопросы касались (и касались ли вообще) Синедриона? Поручение предусматривало составление к определенному сроку письменного, в единственном экземпляре доклада с детальным изложением всех сторон дела. Поручение было вручено лично мне; в примечании к нему подчеркивалось, что ни о расследовании, ни о его результатах, полностью или частично, права давать информацию кому бы то ни было я не имею; правом снять секретность обладает лишь компетентный глава Синедриона, и сделать это он может лишь по получении доклада, в зависимости от того, каковы будут выводы после его прочтения. Согласие со всеми перечисленными условиями я закрепил своей подписью при передаче мне данного поручения. Мне были даны все необходимые для проведения расследования разрешения и полномочия, включая доступ к секретным архивам. Относительно гонорара за добросовестно и профессионально проведенное расследование было при передаче поручения оговорено, что сумма гонорара пока остается неопределенной, она будет зависеть от весомости полученных результатов, от количества и качества усилий, затраченных на получение оных, в качестве же аванса при начале работы мне предоставляется из не определенной заранее суммы 300 динариев. Каковые мною и были получены. Поскольку назначенный срок наступил и изучение находящихся в моем распоряжении — всех, которые удалось собрать, — документов завершено, я и подаю настоящий доклад, написанный собственноручно, своими словами, в единственном экземпляре. Факты, в интересах стройности изложения, я счел целесообразным запечатлеть в хронологическом порядке, в каждом случае делая отсылку к прилагаемым документам, которые, пользуясь предоставленными мне полномочиями, я во время расследования держал у себя, обращаясь с ними не просто как с конфиденциальными, но как со строго секретными.

Исходным пунктом мне послужила обнаруженная в секретном архиве запись, согласно которой вышепоименованный участок записан как владение Анании, первосвященника. Карточка регистрации недвижимости составлена по всем правилам и не вызывает сомнений в подлинности (см. приложение номер 1). Должен объяснить, почему эта карточка послужила исходным пунктом в расследовании: во-первых, потому, что это был первый заслуживающий внимания документ; во-вторых, потому, что нахождение его в тайном архиве полностью противоречит правилам и юридической практике, ибо там могут храниться лишь документы данного учреждения, но не личные. Уже двух этих обстоятельств было достаточно, чтобы выбрать для расследования отличный от стандар-

тного путь; но укрепила меня в этом выборе и личность указанного первосвященника, Анании. Дело в том, что, хотя слухи о богатстве Анании получили широкое распространение, после его кончины слухи эти ничем не были подтверждены; более того, инвентарный список оставшегося движимого и недвижимого имущества свидетельствовал о на удивление скромном образе жизни и накопленном состоянии (см. приложение номер 2). В то же время на регистрационной карте имеется сделанная рукой Анании, скрепленная нотариальной печатью и снабженная датой загадочная запись: «С нынешнего дня земля мне больше не принадлежит, ею владеет другое лицо, см. мое завещание». Судя по дате, запись сделана на карточке едва за месяц до кончины Анании. Что же касается завещания, найти его не удалось; в инвентарном списке наследства оно фигурирует также со знаком вопроса. Однако смену владельца следует считать законной — из-за нотариальной печати; хотя новый владелец не назван, однако запись подтверждает, что в завещании он упомянут. Сильно осложнило мою задачу то обстоятельство, что нотариус тем временем тоже скончался, а в его деловом дневнике под датой, которая значится в регистрационной карточке, стоит лишь: «Заверил завещание первосвященника Анании» (см. приложение номер 3). С учетом всего вышесказанного, уже в начале своего доклада должен заявить, что, несмотря на упорную, всестороннюю разыскную деятельность, мне с завершением данного, жестко ограниченного сроком расследования так и не удалось дать удовлетворительного ответа на первый пункт поручения, гипотетических же высказываний я принципиально предпочитаю не давать, будучи специалистом по книгам и письму, который по самой своей профессии опирается только на факты. Отсюда логично вытекает, что я не могу ответить и на вопрос второго пункта, ибо доказательных следов ни административной небрежности, ни сознательного сокрытия фактов мною не было обнаружено.

Ниже я попытаюсь, придерживаясь отмеченного выше хронологического принципа и прилагая подтверждающие документы или их копии, реконструировать ход событий, чтобы дать исчерпывающие ответы на третий, четвертый и пятый пункты поручения.

Во время мятежа, возглавляемого Иисусом, тогдашний первосвященник Каиафа выделил из средств, которыми он распоряжался лично, некоему Иуде тридцать сребреников для выполнения специального задания (см. приложение номер 4). На документе, где зафиксировано предназначение суммы, стоит собственноручная подпись Каиафы и, в скобках, пометка неизвестного лица: «Дело Иисуса». Нет никаких сомнений, что пометка и подпись относятся к одному и тому же времени; будучи знаком с особенностями старения пергамента, могу уверенно датировать возраст документа тридцатью годами — именно тридцать лет назад, как известно, действительно было начато судебное преследование бунтовщика по имени Иисус, который был осужден на смерть и, с санкции прокуратора, казнен (приложение номер 5 — копия документа из архива прокураторской канцелярии; примечание: в данном случае имели место дополнительные расходы, поскольку искомый документ я смог получить лишь с помощью взятки). К решению о выделении денег приложен чек о выдаче соответствующей суммы из кассы Синедриона наличными (приложение номер 6). Дата на чеке размыта; установить, случайно или намеренно это произошло, невозможно: должно быть, на нее попала капля какой-то жидкости (вина?); дата не поддается прочтению. Скорее всего, это случайность: дата сама по себе, при наличии решения о выделении денег и чека на их выдачу наличными, существенного значения не имела и не имеет. Однако расписку, на которой стояла бы подпись вышеозначенного Иуды, мне обнаружить не удалось; как не удалось обнаружить и квитанции о возвращении и оприходовании денег; это свидетельствует о том, что, хотя вышеозначенная сумма была выдана из кассы, обратно она не поступала. То обстоятельство, что решение о выделении денег и чек на их выдачу наличествуют в целости и сохранности, исключая подозрения в подделке, позволяет говорить, что причиной отсутствия расписки не была бухгалтерская небрежность или невнимательность. В то же время я обнаружил квитанцию о передаче суммы в тридцать сребреников, на которой не проставлено имя получателя, а следовательно, нет и подписи (приложение номер 7). Однако отсутствие имени и подписи не позволяет сделать вывод о том, что эта квитанция тождественна искомой расписке; совпадение суммы — малоубедительный аргумент: сумму тридцать сребреников я встречал на многих денежных документах и расписках. (В скоб-

ках замечу: в те времена тридцать сребреников представляли собой сумму гораздо более значительную, чем нынче, хотя тогда все было намного дешевле).

Новые, обладающие доказательной силой документы обнаружены были мною в материалах канцелярии по регистрации и учету земельных угодий среди утративших силу карточек (эти карточки хранятся с момента их аннулирования тридцать лет и лишь по истечении этого срока уничтожаются). Там я нашел договор купли-продажи земельного участка размером 300 кв. саженей, находящегося на Поле Горшечника. В качестве продавца значится Синедрион, в качестве покупателя — Анания из рода Квириния (приложение номер 8). Как отмечено в договоре, вышеозначенный участок пустует, на нем нет ни строений, ни посадок; в скобках он определен как целина. Цена же, достигнутая в ходе переговоров и принятая обеими сторонами, — тридцать сребреников. Бросается в глаза, что договор купли-продажи завизирован среди прочих первосвященником Каиафой, подпись же Анании из рода Квириния удивительно похожа на подпись первосвященника Анании; разве что в данном случае она выглядит более искусственной, неумелой. Обращает на себя внимание и то, что, судя по дате, вскоре после этого Каиафа был лишен поста первосвященника, вместо него прокуратор Вителлий назначил Ионафана. В архиве финансовой службы Синедриона я обнаружил документ об оприходовании денежной суммы в тридцать сребреников как «цены, полученной в результате продажи принадлежащего Синедриону земельного участка величиной в 300 кв. саженей» (приложение номер 9). В канцелярии же, ведающей регистрацией и учетом земельных угодий, среди карточек, утративших силу, мною был найден еще один договор купли-продажи, в соответствии с которым Анания из рода Квириния перепродал вышеозначенный участок Анании из рода Симона; местонахождение участка обозначено с уточнением: «Поле Горшечника, или Земля Крови», — и участок охарактеризован как пустошь. Сумма купли-продажи, проставленная в договоре, — всего-навсего двенадцать сребреников, что невероятно мало, цена почти символическая, поскольку в те времена цены на землю, даже на окраинных, заброшенных местах города, стали, вследствие их заселения, быстро расти. Подпись продавца и покупателя я подвергал неоднократному сравнению и пришел к выводу, что Анания из рода Квириния был левшой, в то время как Анания из рода Симона писал правой рукой. Этот вывод не подтверждает, но и не опровергает того заключения, что два вышеназванных человека представляли собой одно и то же лицо. Что же касается того, что Анания из рода Симона тождествен первосвященнику Анании, который, насколько мне известно, тоже был из рода Симона, можно считать несомненным; в пользу этого убедительно свидетельствует и, очевидное даже для непосвященного, сходство подписей (приложение номер 10: подпись первосвященника Анании под указом об изменении порядка назначения первосвященников рядом с подписями царя Агриппы и прокуратора Кумана). Замечу к слову — без всякого намерения подтолкнуть читающего настоящий отчет к какому-либо выводу, — про первосвященника Ананию говорили, что он умел с одинаковой ловкостью писать обеими руками. Естественно, подтвердить это могут только очевидцы.

Других пригодных для использования документов: договора купли-продажи или карточки регистрации новых владельцев — обнаружить не удалось. В то время как очевидно, что в картотеке действующих данных должна быть и карточка, которая, по логике вещей, отменяла бы договор о продаже, заключенный между Ананией из рода Квириния и Ананией из рода Симона. В то же время в тайном архиве обнаружился подробно проанализированный выше послуживший мне отправной точкой документ (приложение номер 1).

Подведение итогов: вскрытые факты недвусмысленно показывают: земельный участок, о котором идет речь, являлся некультивируемой недвижимостью Синедриона; когда он стал собственностью Совета, выяснить не удалось, — видимо, соответствующий документ как утративший силу был уничтожен по прошествии тридцатилетнего срока. Новым его владельцем стал некто Анания из рода Квириния, купивший участок за тридцать сребреников; следующий владелец — Анания из рода Симона, цена покупки — двенадцать сребреников. Этим я дал исключающий сомнения ответ на вопрос, поставленный в третьем пункте поручения, и одновременно на вопрос пятого пункта, касаю-

щийся роли Синедриона. На четвертый вопрос, опираясь на вскрытые факты, правда не подтвержденные документами, я со всей уверенностью отвечу: карточку учета мог засекретить, то есть изъять ее из действующей картотеки и перенести в тайный архив, только и исключительно первосвященник Анания. Этот факт уже сам по себе достаточен для того, чтобы вышеозначенный участок стал не подлежащим отчуждению и сдаче в аренду. В заключение упомяну — не делая из этого никаких выводов и не подталкивая к какому-либо выводу читающих этот отчет: в канцелярии Синедриона, в картотеке «Прочие распоряжения», я обнаружил распоряжение со штампом «Секретно», подписанное первосвященником Каиафой (приложение номер 11). Этим распоряжением лекарю Синедриона предписывается приложить все усилия для лечения некоего Иуды из рода Квириния. Напоминаю: на решении о выплате денег, равно как и на чеке выплаты наличными, фигурирует имя Иуды. В свете этих фактов бросается в глаза совпадение выплаченной ему суммы и цены участка при первой его продаже — тридцать сребреников, а также то обстоятельство, что и находившийся на излечении Иуда, и купивший землю Анания были из рода Квириния.

На вопросы, поставленные в первом и втором пунктах поручения, может дать ответ завещание Анании — если оно обнаружится и если мы убедимся в его подлинности.

Дата

Эксперт
(подпись неразборчива)

Дамаск, Прямая улица

Дидим постучался, вошел, почтительно поклонился старухе хозяйке, спросил: не найдется ли для него местечка переночевать? Сказал, что держит путь на восток, намеревается, если Бог даст, добраться до Индии. И еще сказал: в меру скромных своих возможностей оплатит любезность. Старуха смотрела на него сначала с недоумением, потом с подозрением.

— Здесь не постоялый двор, господин, в городе постоялых дворов полно, чего бы тебе туда не пойти?

— Денег у меня не так много, — ответил Дидим, — а Индия далеко, не один раз придется искать пристанище на ночь.

— Если даже и так, — изучающе смотрела на него старуха, — почему ты решил ночевать именно у меня? Дом наш, как видишь, невелик, семья большая, свободной лежанки нету. Ступай к другим, кто побогаче, на этой улице таких много.

— Богатые и запросят больше, чем я могу заплатить, уважаемая, — сказал Дидим, показывая старухе свой кошелек. — А я и циновкой обойдусь, где-нибудь в уголке, и буду благодарен за это.

Старуха щурясь взглянула на кошелек, перевела взгляд на Дидима.

— Чудной ты человек. А если ты нас ограбить собрался? В нынешние времена всяко бывает. Ишь, в Индию он путь держит!.. Зачем тебе идти невесть куда? И почему я должна тебе верить?

— Брата я своего разыскиваю. Никаких доказательств, чтобы ты мне поверила, предъявить тебе не могу. Вот, если хочешь, возьми мой кошелек, держи у себя до рассвета.

Старуха покачала головой, посмотрела на кошелек, посмотрела на Дидима, пробормотала хмуро:

— В такие времена рассчитывать, чтобы тебя просто так, за красивые глаза привечали... — Потом крикнула куда-то в горницу: — Тут один человек заночует в сенях у нас, принесите кто-нибудь циновку похуже! — И взяла у Дидима кошелек. — Чужак, он ведь что хочет, то и скажет, а нам тут жить, господин. — Открыла кошелек, заглянула в него, потом, уже не таким враждебным тоном, сказала: — Кошелек твой спрячу куда-нибудь до рассвета. Утром насчет оплаты договоримся. Подойдет?

— Спасибо. Хлопот вам со мной не будет, — кивнул Дидим.

Старуха ушла в дом. Вскоре из горницы выбежал мальчуган, неся свернутую в рулон циновку.

— Вот, — сказал он, бросив ее на земляной пол. Потоптался, с испугом и любопытством тараща глаза на странника, потом повернулся и исчез.

Дидим огляделся, ища, где ему устроиться, чтобы не быть на дороге. Потом решил, что лучше всего постелить циновку снаружи, у стены дома, рядом со входом. Под открытым небом он еще ни разу не спал, пора привыкать. Поднял циновку, выйдя из дому, развернул ее, расстелил в пыли. Сел, прислонившись спиной к стене дома.

Смеркалось. В окрестных домах замерцали лампады. На улице начиналась обычная предвечерняя суета: пастух гнал овечье стадо, брели с поклажей ослы, мальчишки, крича, погоняли их палками, женщины несли на плече кувшины с водой, шли мужчины, неторопливо беседуя, устало опустив плечи, перед ними шагал верблюд с огромными тюками; все как в Иерусалиме, подумал Дидим. Он разглядывал дом напротив; в окнах было темно, у входа стояла женщина, глядя то в одну сторону, то в другую, словно ждала кого-то. Значит, это и есть дом Иуды, подумал Дидим; точно такой, каким его описал Анания... Женщина, что стояла у входа, немного погодя скрылась внутри, в доме загорелся огонек лампады; потом появился мужчина, затем женщина под покрывалом, еще две женщины, еще трое мужчин.

— Ты есть-пить не хочешь? — спросила старуха, что-то жуя; когда она открывала рот, видно было, что зубов у нее всего два-три от силы. — Циновку мог бы в сенях постелить: на улице спать — для этого на ночлег проситься не нужно.

— Зато здесь я никому не мешаю, — оправдывался Димим. — Если дадите поесть что-нибудь, буду благодарен.

— Фруктов могу принести, мы люди бедные.

— И за то спасибо скажу. — Дидим попробовал улыбнуться.

Старуха, шаркая стоптанными сандалиями, ушла; к дому напротив подходили все новые люди; внутри они, видимо, садились вокруг лампады: блики ее светились в окнах все более смутно. Стало быть, в этот дом был принесен Савл, снова вспомнил Дидим рассказ Анании. О прибытии Савла было известно, надежные люди сообщили об этом из Иерусалима. Анания поджидал его у деревни Кокеб с одним молодым парнем, которого нанял для этого случая. Договоренность была такая: с Савлом ничего серьезного не должно случиться, он только сознание потеряет. Парень спрятался, завернул камень в тряпицу — и угодил Савлу точно в лоб. Тот упал. Анания велел завязать Савлу глаза, и так, без чувств, его доставили в этот самый дом. Повязку с глаз у него не сняли и после того, как он очнулся: сказали, иначе нельзя, ослепнет. И Анания днем и ночью сидел рядом с ним, убеждал его в пагубности фанатизма, внушал истины Иисуса — пока не удостоверился, что цель полностью достигнута... Дидим все смотрел и смотрел на дом: значит, все это произошло здесь.

Старуха вышла, со стоном нагнулась, поставила на циновку блюдо. В блюде были фрукты и кусочек хлеба.

— Больше дать не могу, это все, что есть, остальное нужно семье.

— Спаси тебя Бог, — сказал Дидим, принимаясь жевать финик с хлебом.

Старуха стояла в дверях, смотрела, как Дидим, не сводя глаз с дома напротив, ест.

— Ты сам-то откуда? — спросила она.

— Из Иерусалима, — ответил Дидим. — Восьмой день в пути.

— Да-а, такая дорога не для моих ног, — заметила женщина, поправляя накидку. — А до Индии еще сколько дней идти?

— Не знаю. Я многих спрашивал, никто так и не мог сказать точно.

Старуха покивала, обдумывая ответ, потом вынесла из дома скамеечку, поставила ее с другой стороны входа, села и стала опять смотреть на Дидима, как он ест, как наблюдает за домом через улицу.

— Не к ним ли направляешься? — спросила она, кивая в ту сторону.

— А кто они такие? — обернулся к ней Дидим.

— Перехитрить меня хочешь? — засмеялась старуха. — Я же вижу, ты глаз не сводишь с дома Иуды. Мне с первой минуты подозрительно было, что ты именно у меня решил на ночлег остаться, а циновку не в доме постелил, а на улице.

— Не веришь, что я в самом деле в Индию направляюсь? — принял вызов Дидим.

— Верю, не верю — мое дело. Но, уж коли на то пошло, скорей не верю. Думаю, братьев ты ищешь. Денег у тебя не так много, я сосчитала.

— Понемногу буду расходовать. Как-нибудь не умру.

— Зачем иудею в Индию? — все качала головой старуха. — Ты ведь, я вижу, иудей.

— Брата иду искать.

— Эти вот, — старуха опять показала на дом напротив, — тоже себя называют братьями. Иудеи, а поклоняются какому-то Иисусу, называют его Христом. Все делят меж собой поровну, даже деньги.

Дидим молча ел хлеб и фрукты.

— Не говори, что ничего про них не слыхал. Иисус тоже был иудей, его на кресте распяли в Иерусалиме, но он из мертвых воскрес. Он учил, чтобы люди помогали другим, жили друг с другом в мире. Это они мне сказали, братья. Если ты и вправду из Иерусалима, должен об этом знать.

— Брат мой был учеником Иисуса, встречался с ним. Даже после того, как тот воскрес.

— Тогда ты мне все-таки неправду сказал: к этим ты пришел.

— Если бы к ним, то к ним бы и постучался, не к тебе.

Старуха качала головой все более недоверчиво.

— Скрываешь ты что-то, не верю я тебе. Ты что, не знал, что они тут живут?

— Откуда мне было знать? — Дидим смотрел на старуху чистыми, как у младенца, глазами. — Я в Христа не верю, я за братом своим иду в Индию.

— Тогда совсем я тебя не пойму, — сказала старуха. — Может, ты злое дело задумал против этих людей? Может, дом их поджечь собираешься?

— Зачем ты такое говоришь?

— А затем, что много тут нехорошего было. Тутошние иудеи по сей день ненавидят этих братьев. Были здесь ох какие драки, даже убийства были. Одного человека, Ананию, забили до смерти — за то, что он денег хотел дать этим братьям. На этой улице он жил, только в другом конце, где живут богатые, отсюда неблизко. Жена его, как узнала, тут же упала без чувств, а потом померла.

— Когда это случилось?

— Лет двадцать тому назад.

— Говоришь, убили Ананию?

— Я там сама не была: что мне делать среди иудеев? Но люди много об этом судачили. Иудеи рассказывали: Ананию сами христиане убили, чтобы деньги его присвоить. Он богатый был, земли у него было много. А эти здесь, братья-то, говорили: иудеи во всем виноваты. Дом этот тоже не раз забрасывали камнями, это я своими глазами видела. Подберутся, бывало, когда те в доме молятся, и бросают в них камни, кричат, поносят их. Мужчины выскочат, накинутся на этих, колотят друг друга что есть мочи, кровь течет. А ведь и те и другие — иудеи, только вот не могут жить в мире между собой. Начинают, правда, не братья, это точно. Братья, они тихие, кроткие, даже со мной первыми здороваются, хотя я им чужая, язычница. Я тебе честно скажу: мы с ними всегда находим общий язык, у нас ссор почти не бывает...

Стемнело. Улица обезлюдела. Лица Дидима и старухи брезжили бледными пятнами в свете молодого, едва народившегося месяца.

— Почему ты мне не веришь? — спросил Дидим.

— Ты сказал, твой брат был учеником Иисуса. А потом сказал, что не веришь в Христа. Не бывает такого, чтобы у двух братьев была разная вера. А если так, то чего твоего брата понесло в Индию и чего тебя несет следом за ним? И еще: чего ты с первой минуты, как пришел, глаз с этого дома не сводишь? Я не люблю, когда мне голову морочат...

— Не морочу я тебе голову. — Дидим отодвинул пустое блюдо. — Брата моего зовут Фомой, он уверовал в Иисуса, потом ушел в Индию. Я же служил в Иерусалиме чиновником, жил по законам древней веры. Но брат мне — все равно брат.

— Вас не поймешь. Один — богач, другой — беднее последнего нищего. Один — богатством гордится, другой — нищетой. Твердите, что надо быть вместе, надо любить друг друга. А сами злобой друг к другу исходите.

— Страхом. Не злобой, а страхом.

— Страх и рождает злобу, потому что не может человек любить того, кого боится. Я, например, ненавижу ночь, потому что боюсь ее. Состарилась вот, а засыпать боюсь. Вы же — дня боитесь.

— Может, ты и права...

Они замолчали. Темнота вокруг полна была шорохами.

— Так ты говоришь, это — дом Иуды? — тихо спросил Дидим.

— Вижу, все ж сильно интересует тебя этот дом, — хмыкнула старуха.

— Говорили мне о нем в Иерусалиме.

— Давно это было. Младшенький мой еще на руках у меня сидел, а теперь вон — лысеет уже. Дом долго стоял пустой; говорят, выстроил его какой-то торговец коврами, у него много было домов повсюду, в этом он жил редко, только когда случалось в Дамаск наведаться. Слуг у него было — целая армия. Потом продал он дом человеку по имени Иуда, но человека того никто никогда не видал. Говорят, жил он в деревне Кокеб, а к старости собирался сюда перебраться. Потом появились Симон с Марией, это они здесь живут, к ним братья ходят. Не знаю, владеют ли они этим домом или снимают его. Но все говорят: это дом Иуды. И что Иуда купил его тайно, для братьев. Как потом Анания, которого убили, потому что он деньги, вырученные от продажи земли, хотел отдать братьям. — Старуха замолчала, глядя в темноте на Дидима. — Может, ты и есть Иуда?

— Мое имя Дидим, я служил чиновником, денег у меня никогда много не было, хватало только на семью, чтобы не терпеть нужды.

— Слишком много тут непонятного, чтобы я тебе просто так поверила. Постучался в дом, на ночлег попросился, я отказала, а ты отдал мне свой кошелек. Так даже иудей с иудеем не поступает. Особенно если у него денег немного.

— К чему ты клонишь-то?

— Ни к чему я не клоню. Сидишь, смотришь на дом, где сейчас братья молятся. Деньги мне отдал, чтобы я тебе доверяла. Ничего я о тебе не знаю, так же как Иуду тут не видела никогда, а все-таки дом — дом Иуды. Может, Иуды этого и не было, только имя его зачем-то понадобилось. Может, и деньги принадлежали не Иуде, а братьям...

— Те деньги, что я тебе отдал, — мои.

— На них не написано, чьи они. На деньгах никогда не написано, чьи они на самом деле.

Они снова замолчали. Осторожно шуршал вокруг вечер, переходя в ночь.

— Ты чего не ложишься? — спросил Дидим.

— Говорю же: боюсь я темноты, ночи боюсь, не засну до рассвета. Потом, на рассвете, усталость навалится и сон придет. Сплю я мало. Но ты — спи.

— Не могу. От усталости.

— Это беда еще больше, чем моя.

— А ты не слыхала про человека по имени Савл?

— Нет. Зачем тебе? Ты же сказал, направляешься в Индию.

— В Иерусалиме рассказывали, здесь его лечили. Он долго лежал без сознания. Это тоже дело давнее.

— Меня в тот дом никогда не звали, да я и не напрашивалась. Вижу, люди приходят, уходят. На вечерней заре, на утренней. Иудеи, которых другие иудеи ненавидят. Я — язычница, мне своих забот хватает. Зачем тебе знать про какого-то Савла?

— Слышал, он в этом доме перешел на сторону братьев. После того как много дней пролежал в беспамятстве.

— Вот у них и спроси.

Дидим, помолчав, ответил:

— Я с тобой сейчас разговариваю. — Он опять помолчал, размышляя о чем-то, глядя, как в доме напротив борются с темнотой блики лампады. — Ладно, забудь, что я тебя спрашивал. Просто в голову пришло.

— Много всего тут бывало. Принесли как-то больного, я видела. Хоронить из этого дома никого не хоронили. Хоть кровь иногда и лилась. Коли ты в самом деле в Индию держишь путь, отдохнуть тебе надо. Поспи...

— Я в самом деле хотел бы туда попасть...— Дидим лег на циновку, вытянулся, потом приподнялся, опираясь на локоть. — Говорят, этот Савл был их злейшим врагом, а они все же спасли ему жизнь.

— Может быть. — Старуха подняла глаза к небу. — Месяц еле светит... Да, случались тут всякие нехорошие вещи: и убийства, и драки. Нынче — тихо.

— Того Савла они вроде сами же и стукнули. Он несколько дней без памяти был. Ты должна была его видеть.

— Ну, а если видела?.. Ты ведь в Индию направляешься, брата искать. Спи. Я тоже пойду лягу. — Старуха тяжело поднялась, неловко двигаясь во тьме, забрала скамеечку. — Насчет платы утром поговорим, как я сказала. Тогда и кошелек отдам. До тех пор не ищи, все равно не найдешь. Видишь, в доме Иуды все еще молятся, так у них принято. Я только с виду их знаю. Может, и Савл здесь когда-то был. Я — язычница, мне хватает, что я ночь ненавижу. Спи. — И старуха, шаркая ногами, ушла.

Дидим смотрел на дом, что стоял через улицу. И думал: они, те, кто сидит там вокруг лампады, молятся и счастливы, ибо не знают, откуда взялась их вера... И еще думал Дидим, что никогда, наверное, не попасть ему в Индию. Доберется до пустыни, где все сжигает яростный солнечный свет, и будет идти, идти, пока не обнимет его вечная тьма. Кости его будет шлифовать колючий песок, и он не почувствует ни страха, ни боли...

Утром старуха нашла в сенях, рядом с дверью, аккуратно свернутую циновку. Сначала она подумала, что чужак, наверно, пошел к колодцу умыться. Потом у нее появились нехорошие мысли, она проверила, не пропало ли что-нибудь в доме; однако все было на месте, и кошелек лежал там, куда она его спрятала, деньги, до последнего динария, никуда не делись. Она ничего не могла понять. Постояла, держа кошелек, у входа: вдруг вернется чужак, ведь до Индии путь неблизок, не раз и не два придется ему искать ночлег. Мимо гнали скотину, шли туда-сюда люди, улица оживилась. Из дома напротив один за другим выходили братья, Симон и Мария стояли в воротах, они поклонились, увидев старуху.

— Жаркий день будет сегодня, — улыбаясь, сказал Симон.

Старуха покивала; потом, пропустив прохожих, перешла улицу и шепотом спросила:

— Не приходил тут к вам человек? Немолодой уже, борода седая почти.

— Никого мы не видели, — сказала Мария.

— Ночь прошла мирно, — сказал Симон.

— Тогда ничего я не понимаю, — растерянно развела руками старуха. — Вечером пришел он ко мне, на ночлег попросился. В Индию, говорит, иду, брата искать. За ночлег, говорит, заплачу. Дала я ему циновку, он лег на улице, возле входа, мы долго с ним разговаривали, месяц был уже высоко. Он про вас расспрашивал: почему этот дом называют домом Иуды да знала ли я Савла, которого когда-то давно здесь лечили...

— Савла? — переспросила Мария.

— Савла? — повторил за нею Симон.

Старуха усердно покивала.

— Вот и я говорю: очень он показался мне подозрительным. Он даже кошелек мне свой отдал, чтобы я хранила, если не верю ему. Я кошелек спрятала и сказала: насчет платы утром поговорим. Думала, попрошу у него динарий, какие-никакие, а деньги, и принесла ему хлеба и фиников. А утром он исчез. Я подумала, может, он к вам пришел, потому что спрашивал про Савла и еще говорил, что брат его был учеником Иисуса, даже видел его после того, как тот воскрес...

— Никто к нам не приходил. И никто не стучался, — бледнея, сказала Мария.

— Деньги эти я у себя не оставлю. — Старуха вертела в руках кошелек. — И к фарисеям их отнести не могу, он к ним отказался идти, хоть я и говорила, что там он найдет ночлег получше, там рады будут человеку из Иерусалима...

— Из Иерусалима? — переспросил Симон.

— Да, он сказал, что из Иерусалима и что седьмой день в пути, — кивнула старуха и протянула кошелек. — Пускай у вас будут эти деньги, по-моему, он для вас их и принес, иначе никак не получается. Наверно, хотел, чтобы никто о нем не узнал.

— Да ведь мы... — Мария не знала, что сказать.

— Иначе бы не смотрел он все время на дом, не спрашивал бы, знала ли я Савла, который в этом доме обратился в вашу веру. По всему видать, это пожертвование, только никто не должен догадываться, от кого оно. Вообще он загадками говорил; да и Индию, я так думаю, поминал, чтобы следы запутать. Ну, будьте здоровы. — И старуха пошла назад через улицу, уступая дорогу прохожим.

— Что ты насчет этого думаешь? — спросила Мария Симона.

— Думаю, трудные времена надвигаются, об этом хотели нас предупредить братья из Иерусалима... Если не вернется тот человек за деньгами, разделим между нуждающимися.

Они вошли в дом. Симон заботливо спрятал кошелек.

— А если это ловушка? Вроде украли мы деньги? — с тревогой посмотрела на Симона Мария.

— Расскажем все как было. Свидетель у нас есть, на нее можно положиться.

Симон пошел готовить инвентарь для работы в саду. Мария поставила лампаду на полку и принялась за уборку горницы.

Протокол I

Беседа с первосвященником Ананией, предложение о снятии его с должности.

Присутствуют: члены особой комиссии Синедриона, глава комиссии Измаил из рода Фаби, а также Анания. Иосиф из рода Симона объявляет: беседа проводится по инициативе Измаила из рода Фаби, получившего ряд сигналов из Синедриона. Вопрос предварительно несколько раз обсуждался в узком кругу; в ходе обсуждений сложилось единое мнение, что с Ананией следует побеседовать и из первосвященников его снять. Участники предварительных обсуждений посчитали нецелесообразным созыв Синедриона в полном составе ввиду сугубой секретности вопросов, которые тут неизбежно встанут. Иосиф из рода Симона сообщает: Анания, естественно, принимает участие в беседе как первосвященник, решение о снятии его с занимаемого поста не входит в компетенцию комиссии, однако, будучи избранным внутренним органом Синедриона, комиссия воспользуется правом представить свои предложения царю Агриппе. Иосиф из рода Симона сообщает также, что вести допрос после единогласного голосования поручено Измаилу из рода Фаби. И просит Измаила приступить к допросу.

Измаил осведомляется у Анании, есть ли у того какие-либо возражения или замечания. Подчеркивает, что беседа проводится в соответствии с существующими правилами и что, даже при наличии сложившегося мнения, особая комиссия располагает правом и возможностью взвесить все за и против. Поскольку Анания молчит, Измаил задает вопрос: если у Анании возражений нет, подчиняется ли он воле комиссии, согласен ли стать объектом беседы? Анания кивает. Тогда Измаил, повысив голос, говорит: кивка тут недостаточно. На это Анания произносит: да. Измаил садится и, взяв заготовленный текст, зачитывает его:

— «Синедрион всегда сознавал ответственность, которая на него возложена. Народ Иудеи переживает исключительно тяжелые времена, все более частыми становятся стычки с римлянами, в окружающих город лесах и в отдаленных местностях бесчинствуют банды, которые без разбора убивают и римлян, и иудеев, подстрекают население к бунту. Есть все основания утверждать, что деструктивным силам удалось внести путаницу в сознание народа, внедрить в него ложные и вредоносные идеи; многие просто не знают, кому верить, не знают, кто их истинные вожди. На карту поставлен достигнутый ценой компромиссов мир, на карту поставлена судьба власти, что одно и то же. В подобной критической ситуации очень и очень многое зависит от первосвященника, от той принципиальной позиции, которую он занимает. Решительность и последовательность в таких случаях не просто желательны: без них немыслимо носить высокое звание первосвященника. В качестве примера можно вспомнить хотя бы первосвященника Каиафу, который во времена смуты не останавливался перед принятием жестких решений. Особая

комиссия Синедриона, получив ряд сигналов, наблюдая и констатируя, что ситуация складывается все более неблагоприятно, сформулировала следующее мнение: 1. Нахождение Анании на посту первосвященника долгое время внушало всем, в равной степени и народу, и его руководителям, доверие и надежду, конфликты с Римом улаживались к общему удовлетворению, страна жила в относительном покое. Заслуги эти неоспоримы, хотя принадлежат они не только Анании. Однако к настоящему моменту очевидным стало, что присущий ему стиль руководства, опирающийся на компромиссы, его склонность к маневрированию способны были принести лишь временные успехи, кризис не был разрешен, а, напротив, в конечном счете лишь обострился. Нетрудно увидеть и доказать: уступчивость не только расколола народ и тех, кто недоволен, кто движим тщеславием, жаждой власти, — она расколола и руководство, включая Синедрион. Противоречия между саддукеями, фарисеями, ессеями переросли во взаимную ненависть, и Анания оказался неспособным ни примирить, ни устранить эти противоречия; его последние отчаянные попытки, предпринятые в этом плане и требующие самой бескомпромиссной решительности, закончились позорным провалом. Дело, которое заставило принять решение о беседе с Ананией и о лишении его поста первосвященника, является прямым следствием всех этих событий; оно должно быть истолковано не как единственный и случайный промах руководителя, но как роковой итог всех прежних ошибок; поэтому особая комиссия Синедриона и пришла к выводу, что наступил момент, когда нужно действовать. 2. Известно, что Павел, прежде носивший имя Савл, который в обстоятельствах, до сих пор не до конца проясненных, отрекся от веры отцов (по некоторым источникам, это произошло в Дамаске, куда он направился с ведома и по поручению Синедриона), практически беспрепятственно занимался подстрекательской деятельностью и организацией антииудейских сил в течение едва ли не пятнадцати лет. Против него никогда не заводилось судебных дел, которые вынесли бы достойный приговор, мелкие же скандалы завершались неблагоприятно для нас. Этот самый Павел, который прежде, нося имя Савл, был нашим человеком, в минувшие месяцы появился в Иерусалиме и своими публичными речами накалял и без того напряженную ситуацию. Характерно, что выступил против него не первосвященник Анания, а поддерживающая нас часть уже расколотого народа. Спонтанно вспыхнувший протест должен был привести к положительному результату, если бы кто-то не поставил в известность о готовящемся одного римского сотника, а затем и его командира, тысяченачальника Клавдия Лисия. Едва ли можно сомневаться, что, не вмешайся в дело римские легионеры, группа самоотверженных мстителей, стоящих на нашей стороне, смогла бы выполнить роль орудия справедливости: предателя Павла, по всей вероятности, линчевали бы, народ сам вынес бы ему приговор, поставив точку в этой опасной истории. Кто-то, однако, известил римлян, и те вырвали Павла из рук разъяренной толпы. Комиссия располагает неопровержимыми доказательствами, что римлян известил кто-то из руководства Синедриона. После этого дело Павла попало на рассмотрение юридических инстанций; да и куда еще могло оно попасть, если он ожидал разбирательства в Синедрионе под надежной охраной? Анания же, вместо того чтобы встать и бросить в лицо Павлу суровые обвинения, сразу же предоставил ему слово для защиты, что является юридическим нонсенсом. Вероятно, он и сам понял свою непоправимую ошибку и после первой же фразы, произнесенной Павлом — цитирую: «Мужи братия, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня», — приказал стражникам бить Павла по устам. Каковой приказ был не просто бессмысленным, но и излишним, поскольку Павел этими словами сказал не больше и не меньше, чем мог бы сказать любой из нас, из тех, чья совесть, в соответствии с его верой, чиста перед Богом. В ответ же на битие по устам Павел — поскольку предупрежден был, что он поносит первосвященника Божьего, хотя до того он еще ни словом не оскорбил Ананию, — сказал (цитирую): «Я не знал, братия, что он первосвященник». Это заявление Павла прозвучало более чем саморазоблачительно: вряд ли можно поверить, что он действительно не знал этого; напротив, он, скорее всего, был знаком с Ананией, но с тех времен, когда тот еще не был первосвященником. Это, правда, лишь предположение с нашей стороны; однако факт, что в ходе процесса Анания больше ни разу не выступил, чем существенно способствовал тому, что остальные высту-

павшие противостояли друг другу, а не единым строем — Павлу. Из-за этого на процессе разразился скандал, и кто-то снова — это особо подчеркивается в аналитической записке, подготовленной комиссией, — обратился к римлянам. Тысяченачальник Лисий явился немедленно и увел Павла под охраной. Таким образом, это был второй случай, когда дело до вынесения приговора не дошло, хотя здесь суд вершила не часть расколотого народа, поддерживающая нас, а — опираясь на букву закона — поддерживающие нас члены расколотого руководства.

Обманутые в своих ожиданиях члены Синедриона с возмущением приняли к сведению свое поражение и тайно поклялись ликвидировать Павла как предателя — ведь теперь Павел, благодаря затянувшимся процессам, которые мог считать выигранными, лишь укрепил свои позиции в умах сбитого с толку народа. План готовился в обстановке строгой секретности; характерно, что Анания в его разработку не включился, сославшись на занятость, однако, когда план был готов, он (к слову сказать, с полным правом) затребовал его к себе. Свидетели полностью подтвердили это, не оставив места сомнениям. И тут кто-то, уже в третий раз, оповестил римлян; и Павла под покровом ночи увезли в Кесарию, чтобы предать суду перед лицом прокуратора Феликса. Тем самым собственный внутренний враг наш окончательно выскользнул у нас из рук. На разбирательство у прокуратора Феликса Синедрион делегировал — по его просьбе — Ананию, который тем не менее представлял обвинение не лично, а поручил делать это некоему ритору Тертуллу под предлогом, что уж теперь-то приговор будет таким, каким должен быть. На этом разбирательстве Анания не произнес ни слова; ритор же, вышепоименованный Тертулл, позорно провалился; он представлял обвинение настолько слабо, что Феликс отложил разбирательство на неопределенное время, сославшись на необходимость выслушать тысяченачальника Лисия, хотя ясно было, что показания римского легионера в этом деле не могут играть роли ни за, ни против, тем более не могут считаться решающими. Подтверждением этому среди прочего служит письмо, с помощью которого Лисий под покровом ночи доставил Павла из Иерусалима в Кесарию: сомнительно, что письмо это писал он сам. Таковы факты. Предатель Павел, правда, находится под арестом, но под арестом у римлян; для него это самое надежное убежище. По распоряжению прокуратора ему позволено свободно общаться с его сообщниками, так что он имеет возможность беспрепятственно вести и дальше свою подстрекательскую деятельность. 3. Взвесив все обстоятельства, комиссия заявляет, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет лично первосвященник Анания. Комиссия считает, что поведение Ананнии в этом деле не просто ошибочно, но предосудительно и дает основания для двусмысленных выводов. Именно поэтому комиссия предложила вызвать его на беседу и немедленно освободить от занимаемого поста». — Закончив чтение аналитической записки, Измаил из рода Фаби спрашивает Ананию, желает ли тот что-либо объяснить или опровергнуть из услышанного.

Анания начинает свой ответ с заявления, что, соглашаясь занять этот пост, знал, какой тяжкий груз взваливает на себя. Он сознает свою ответственность, видит ужасающее положение народа, чувствует, насколько зыбким является равновесие в отношениях с римлянами. Поскольку было пролито уже столько крови, он старался быть приверженцем мирных решений.

Измаил (*вставляет*). Возможно, в результате проводимой тобой политики теперь будет пролито еще больше крови, и ничего уже нельзя изменить к лучшему.

Ответ Анании. Все может быть.

Вопрос Измаила. Что ты можешь сказать в связи с данным делом?

Анания. Я хотел действовать, опираясь на закон.

Измаил. Ты знал Павла, то есть Савла, и прежде?

Анания (*долго молчит*). Не помню.

Измаил. Кто несколько раз извещал римлян?

Анания. Не уверен, что их надо было о чем-либо извещать, они были везде.

Измаил. Это не ответ на вопрос. Настораживает, что тайный план был передан римлянам в ту же ночь, когда был подготовлен.

Анания. Я все время был в Синедрионе, у меня своих забот хватало.

Измаил. Это не ответ на вопрос. Готовый план в конце концов попал к первосвященнику, до того момента о нем не знал никто, кроме тех, кто его готовил.

Анания. По этому вопросу ничего больше не могу сказать.

Измаил. Ты молчал на обоих процессах. Как это объяснить?

Анания. Я никогда не любил много говорить.

Измаил. Еще раз спрашиваю: знал ли ты прежде Павла, который, нося имя Савл, был нашим человеком.

Анания. Я уже ответил: не помню.

Измаил. Почему Павел сказал: «Я не знал, братия, что он первосвященник»?

Анания. Это у него надо спросить.

Измаил. Такая возможность у тебя была на разбирательстве. Но ты промолчал.

Анания. Ничего больше сказать не могу.

Измаил. Ты признаешь, что суд был не просто безрезультатным, что наш провал на нем, то, как ты его вел, нанес нам тяжкий вред?

Анания. Я в этом не уверен.

Измаил. Ты понимаешь, что доверие комиссии к первосвященнику подорвано основательно?

Анания. Сейчас, задним числом, ни на степень доверия, ни на степень недоверия повлиять уже невозможно, это можно лишь принять к сведению.

Измаил. Ты согласен с тем, чтобы Синедрион, по предложению нашей комиссии, выступил с инициативой о твоем смещении?

Анания. Если даже не согласен, все равно ведь меня сместят, раз так решили.

Измаил. Ты сознаешь, что допустил тяжкие ошибки и небрежности? Выпустив из рук Павла, ты дал свободу опасному бунтовщику, который покушается на нашу власть.

Анания. Насколько мне известно, его содержат в тюрьме, в Кесарии.

Измаил. Ты по-прежнему считаешь, что действовал правильно?

Анания (*после долгого размышления*). Да, считаю.

Измаил. И все еще думаешь, что твои взгляды совпадают с мнением Синедриона?

Анания. В Синедрионе много членов, и взгляды у них разные. Я остаюсь верен своим взглядам, а суть их в том, что я сторонник порядка и примирения.

Измаил. С врагом примирения быть не может, поскольку вопрос касается власти.

Анания. Враг — это тот, кто на самом деле против нас.

Измаил. Намереваешься ли ты опротестовать наше предложение о твоем смещении?

Анания. Нет, не желаю.

Измаил. Значит, ты принимаешь его к сведению безоговорочно?

Анания. Решению Синедриона я подчинюсь.

Измаил зачитывает решение комиссии:

— «Особая комиссия Синедриона изучила дело Анании по инициативе, поступившей извне, внесенное в повестку дня как внеочередное. Выслушав Ананию, комиссия вынесла решение: незамедлительно обратиться к царю Агриппе от имени Синедриона с предложением лишить Ананию ранга первосвященника; решение комиссии Ананией принято к сведению».

Иосиф из рода Симона встает.

— Заседание объявляю закрытым. Просьба о смещении Анании должна быть направлена царю сегодня же. К ней приложить копию протокола. Поступает предложение: в обращении к царю следует упомянуть, что Ананию предлагается освободить от занимаемого поста при одновременном признании его больших заслуг перед народом Иудеи; к общественности информация должна попасть в таком виде. В заключение нужно сказать, что Анания как частное лицо может сохранить ранг первосвященника, но лишается права участвовать в политической жизни и ограничивается в правах. К просьбе о смещении следует приложить, кроме копии протокола, предложение относительно кандидатуры нового первосвященника. Комиссия единогласно предлагает на этот пост Измаила из рода Фаби. Необходимые документы вместе с обоснованием подготовлены. Анания до решения царя Агриппы должен содержаться под арестом. Допрос объявляю результативным и одновременно завершенным. Протокол заверяю собственноручно.

Протокол II

Для личного архива первосвященника Каиафы. Разговор Каиафы и Иуды с глазу на глаз.

Каиафа. Ты уже пять лет находишься в заключении, здоровье твое поправилось, по походке незаметно, что у тебя были сломаны обе ноги. И ты уже не такой истощенный, как был.

Иуда. Я не жалуюсь.

Каиафа. Ты, должно быть, знаешь, что я приставил к тебе лучших врачей. Считай, что я вернул тебя из могилы. Рана на животе была такой тяжелой, что девять людей из десяти наверняка умерли бы. Так мне говорили.

Иуда. Значит, мне повезло.

Каиафа. Задумывался ли ты над тем, почему я спас тебе жизнь?

Иуда. Наверное, у тебя были на то причины.

Каиафа. На твоем месте я бы перестал упорствовать. Мы с тобой уже не в первый раз встречаемся.

Иуда. Я не просил спасать мне жизнь.

Каиафа. Почему ты пытался покончить с собой?

Иуда. Это мое личное дело.

Каиафа. Тебя не пытали. Я распорядился, чтобы тебя и пальцем не тронули.

Иуда. Если ты и сейчас хочешь узнать то, что хотел узнать пять лет назад, я опять отвечу: не знаю.

Каиафа. Не верю. Твое упорство вызывает подозрения.

Иуда. Жаль.

Каиафа.Ты — единственный, кто может знать, где тайно захоронен Иисус.

Иуда. Я знаю лишь, что тело его было положено в склеп Иосифа Аримафейского.

Каиафа. Тогда почему ты бросился с галереи?

Иуда. Это мое личное дело.

Каиафа. А мне кажется, это личное дело следует называть «тайная могила Иисуса».

Иуда. Ты волен называть это как угодно.

Каиафа.Ты вернул тридцать сребреников.

Иуда. Я передумал.

Каиафа. Но ты не возражал, когда мы впервые заговорили об этом.

Иуда. Я же говорю: я передумал.

Каиафа. В ту ночь, когда исчезло тело Иисуса, ты не был с остальными. Нам это известно.

Иуда. От кого?

Каиафа. Ты не поверишь, если я скажу. От Иоанна, брата Иакова. Мы полагали, он быстро заговорит, и не ошиблись.

Иуда. Чего ж тут не поверить? Мальчишка легче всего теряет контроль над собой.

Каиафа. Короче говоря, кроме тебя, похитить тело Иисуса было некому. Страж в Синедрионе показал под присягой, что ты во что бы то ни стало хотел узнать, где похоронят Иисуса после распятия. Он отказывался говорить, но ты вынудил его угрозами.

Иуда. Тут мне сказать нечего. Разве я не вправе был пытаться узнать это? Позже об этом стало известно всем.

Каиафа. Вправе, конечно вправе, но где логика? Во-первых, ты сразу после этого исчез. Во-вторых, зачем знать убийце, где похоронена его жертва?

Иуда. Не я был убийцей Иисуса, а вы. Я выдал его вам, это правда... но он был моим лучшим другом.

Каиафа. Вот тут-то и собака зарыта. Мне сразу бросилось в глаза, что именно ты, его лучший друг, его выдал. Мне это еще тогда было подозрительно.

Иуда. За деньги на что только не пойдешь.

Каиафа. Деньги ты нам вернул.

Иуда. Я и сейчас могу сказать только то, что говорил пять лет назад. Мне неизвестно, где похоронен Иисус.

Каиафа. Лжешь ты последовательно, этого у тебя не отнимешь. Только почему ты покушался на свою жизнь?

Иуда. У меня не было выбора.

Каиафа. За этими словами стоит нечто большее, а не просто «твое личное дело».

Иуда. Не трудись, Каиафа. Больше я ничего не скажу.

Каиафа. Дежурному стражу было приказано никому ничего не сообщать.

Иуда. Мне он сначала так же ответил.

Каиафа. Ты угрожал ему, потом подкупил.

Иуда. Но подкупил не вашими тридцатью сребрениками.

Каиафа. Да, деньгами ты располагал: ты ведь был у них казначеем.

Иуда. Я этого и не отрицал никогда.

Каиафа. Того стража после случившегося наказали и прогнали со службы. Мне известно, что он ввязался в какую-то драку и был убит.

Иуда. Вы всегда перебарщивали... Тот человек не совершил никакого преступления. Люди и так узнали, куда положили тело Иисуса. Держать это в тайне было бессмысленно.

Каиафа. Ты меня не так понял. Он от тебя должен был это скрывать. От тебя. Других мы не боялись: они были для нас безопасны. А насчет тебя были уверены, что ты, не дожидаясь казни, постараешься скрыться, чтобы выкрасть тело Иисуса и спрятать. Однако для этого тебе нужно было знать, где оно находится. Я приказал следить за тобой, и все-таки ты бесследно исчез в ту ночь и не появлялся три дня. Надо признать, ты мыслил логично. На предателя подозрение пасть не может, но ты все же привлек к себе внимание — и скрылся. Мы потеряли три дня.

Иуда. Чего ж ты не приказал, чтобы за мной следили более тщательно?

Каиафа. Дежурному стражу ты соврал, будто служишь в контрразведке, в высоком ранге, и тебе ничего не стоит добиться, чтобы его выгнали со службы в любой момент. Тот несчастный три дня не решался рассказать о случившемся.

Иуда. Не помню во всех подробностях своего разговора с ним.

Каиафа. Это, наверное, гримаса судьбы, что угроза твоя исполнилась.

Иуда. Я дал ему несколько динариев.

Каиафа. Спрашиваю снова: где ты находился в ту ночь, когда был украден труп?

Иуда. Здесь, в Синедрионе. Спал в камере возле караульного помещения.

Каиафа. Стражник об этом не говорил. Хотя его били палками.

Иуда. Я дал ему несколько динариев.

Каиафа. Есть свидетели, что ты там находился? Стража ни о чем необычном нам не докладывала.

Иуда. Свидетель — только тот стражник. Жаль, что он умер: ты мог бы устроить нам очную ставку.

Каиафа. Я уверен, стражник нам рассказал все. Но насчет камеры — это неплохая идея, нельзя не признать. Жаль, она не пришла тебе в голову пять лет назад, когда ты утверждал, что прятался в городе.

Иуда. Я не лгал. Я в самом деле три дня прятался в городе.

Каиафа. Ого, какой прогресс: ты начинаешь лгать не так складно. А если я сейчас тебе скажу, что тот стражник жив, и устрою-таки тебе с ним очную ставку?

Иуда. Ты же сам утверждаешь, что он сказал все, что знал. И ты сообщил, что он умер. Так что делай что хочешь.

Каиафа. Знаешь, когда ты допустил первую подобную ошибку? Когда вернул тридцать сребреников. Это был нелогичный поступок.

Иуда. Я же сказал, что передумал. Ваши деньги остались в целости и сохранности.

Каиафа. Такие вещи не делают бескорыстно.

Иуда. Значит, я — исключение.

Каиафа. Потому что Иисус был твоим лучшим другом, верно?

Иуда. Это мое личное дело.

Каиафа. И все-таки странно, что тело Иисуса исчезло из склепа именно в ту ночь, когда ты якобы спал в камере при караульном помещении, чего подтвердить не может никто. И именно в те часы, когда Синедрион послал делегацию к Пилату, чтобы просить

у него дополнительную охрану. Сколько мы ни убеждали его, сколько аргументов ни приводили, он только головой качал, а мы в субботу, по нашим законам, не могли послать туда никого из своих. Лишь к рассвету удалось собрать нескольких язычников; но склеп был уже пуст. А ты якобы спал в камере при караульном помещении, и свидетелей у тебя нет.

Иуда. Об охране надо было заранее позаботиться, это тебе урок на будущее.

Каиафа. Мы к тебе собирались охрану поставить, но тебя уже и след простыл.

Иуда. Я все сказал.

Каиафа. И вот еще что: тогда же исчез кладбищенский сторож. На третий день, когда ты неожиданно объявился. И унес с собой погребальные пелены и наголовный плат, которые там лежали три дня. Кстати, Иосиф Аримафейский приобрел их на казенные деньги: Синедриону он предоставил только склеп. Все было организовано, чтобы утихомирить страсти.

Иуда. Откуда вам известно, что их кладбищенский сторож унес?

Каиафа. Иоанн проболтался. В понедельник утром он был на кладбище, подглядывал за какой-то женщиной; там и увидел сторожа. Мы искали тебя, сторожа мы ни в чем не подозревали — и потеряли три дня... И пелены, которые можно использовать, чтобы ввести в заблуждение кого угодно. Сколько случайностей сразу, верно?

Иуда. Бывают совпадения.

Каиафа. В склепе же осталось чуть не сто фунтов смеси мира и алоэ. Это тоже подозрительно. Мази эти куда дороже, чем погребальные пелены и наголовный плат, вместе взятые. Но елеем нельзя воспользоваться для обмана. Так что об ограблении речь не может идти. Ты не знаешь, кто их туда принес и почему там оставил?

Иуда. Я не был на кладбище. Стало быть, не был и в склепе.

Каиафа. Но, несмотря на это, очень старался узнать, где собираются похоронить Иисуса.

Иуда. Из любопытства.

Каиафа. И из любопытства угрожал стражнику и пытался его подкупить.

Иуда. Но если он не хотел рассказывать.

Каиафа. И тебе удалось на три дня пустить следствие по ложному следу.

Иуда. Такой цели у меня не было.

Каиафа. Приятно, что со здоровьем к тебе вернулось и чувство юмора.

Иуда. Не такой уж я большой любитель шуток.

Каиафа. Тоже остроумный ответ... Значит, ты утверждаешь, что ту ночь провел в камере, причем свидетелей, повторяю, у тебя нет, а утром ушел, и три дня мы тебя не могли найти.

Иуда. Я ведь сказал: я бродил по городу, прятался где придется.

Каиафа. Тогда не понимаю: почему ты все же вернулся к Синедриону?

Иуда. Принес тридцать сребреников. Правда, вы их не захотели брать, и я швырнул их в дверь синагоги.

Каиафа. А тем временем распространилась весть, что Иисус воскрес из мертвых. А мы платили язычникам, чтобы они говорили всюду, что его тело похищено.

Иуда. Я ничего об этом не знал. Я бродил по городу. Иисус был моим лучшим другом, и я хотел покончить с собой. У меня в голове все перепуталось...

Каиафа. Вот в это трудно поверить... Ладно, спустя три дня ты решил, что лучше, если подозрение падет на кладбищенского сторожа, и добился этого, появившись на людях. Хорошо еще, что я послал своих людей следом за тобой в долину Горшечника. Это была третья ошибка, которой ты себя выдал. Если бы ты в самом деле хотел покончить с собой, ты бы сделал это в первую ночь. Но тогда ты находился в камере... как ты утверждаешь.

Иуда. Это от потрясения... Я ломал голову, пытался что-то понять... хотел вернуть деньги... Если человек решил свести счеты с жизнью, он сам выбирает момент для этого.

Каиафа. Но мои люди вынули тебя из петли и доставили сюда.

Иуда. Да, это так. Не думай, что я был безмерно счастлив, когда оказался здесь.

Каиафа. Это был гениальный ход, признаю. Тебе снова нужно было навлечь подозрение на себя, чтобы мы забыли про исчезнувшего кладбищенского сторожа. Он дол-

жен был выиграть время. Несколько дней мы тебя допрашивали, применяя не самые жесткие методы, но ты молчал или все отрицал. И когда ты счел, что сторож уже вне пределов досягаемости, то попытался покончить с собой, перепрыгнув через перила. Не сомневаюсь, на сей раз ты в самом деле хотел умереть. На Земле Горшечника ты еще не мог этого сделать, потому и вернулся. К тому же ты догадывался, что за тобой следят. Ты рассчитывал, что тебя вынут из петли, не отрицай!

Иуда. Восхищаюсь твоей фантазией... если это для тебя важно. Но не понимаю, о чем ты говоришь. Ни о каком стороже я понятия не имею.

Каиафа. Ты прекрасно все понимаешь. Прошло пять лет, ты все еще жив. Тайна до сих пор не раскрыта. С дежурным стражником очную ставку я тебе не могу устроить, ты, наверное, знаешь лучше меня, что это была за драка, в которой он был убит. А кладбищенский сторож — его словно вообще не существовало. Как не было бы и тебя, если бы врачи не вернули тебя с того света.

Иуда. Не было бы у вас никаких проблем, если бы вы дали мне умереть.

Каиафа. Или проблем было бы куда больше. Мы допустили много ошибок, потому что тебе удалось нас запутать. Так что, вылечив тебя, мы получили позиционное преимущество... правда, оно так пока и осталось нереализованным.

Иуда. Что ты имеешь в виду?

Каиафа. Что имею в виду? Только ты знаешь, где находится могила. Дежурный стражник об этом понятия не имел, но ему отведена была важная роль. Кладбищенский сторож исчез бесследно. Мы находимся там же, откуда вышли.

Иуда. Не знаю ничего такого, что могло бы вам оказаться полезным. Тебе еще не надоело это слышать?

Каиафа. Еще как надоело. Ты нам очень дорого обошелся, слишком дорого. Хотя ты не был нашим агентом, как солгал дежурному стражнику, да и тридцать сребреников вернул, чего тоже нельзя отрицать. Однако все больше людей верят в воскресение Иисуса.

Иуда. И что тебя в этом смущает?

Каиафа. Вели я за этот ответ бить тебя палками, ты бы не имел морального права и словом пожаловаться.

Иуда. Поступай, как считаешь нужным. Я не просил, чтобы со мной обращались как-то по-особому.

Каиафа. Знаешь, что меня больше всего удивляет? То, что ты Иисуса, своего лучшего друга, похоронил нагишом. Я ждал пять лет, я был терпелив.

Иуда. А я был в тюрьме.

Каиафа. Ты и спустя пять лет не скажешь, где похоронил его?

Иуда. Я уже тысячу раз говорил тебе: я ничего не знаю, я никакого отношения не имею к тому, в чем ты подозреваешь меня.

Каиафа. Великолепно! Ты снова проговорился. Если ты говоришь «в чем я подозреваю тебя», то признаешь тем самым, что в этом я должен подозревать кого-то другого. То есть Иисус не просто не воскрес, но его где-то тайно похоронили.

Иуда. Не стоит выворачивать мои слова наизнанку, это бесполезно.

Каиафа. Не более бесполезно, чем то, как ты три дня водил нас за нос. Но — забудем прошлое. Забудем эти пять лет и сторожа, который исчез бесследно и который, видимо, не без причины унес с собой пелены, оставив в склепе елей из мира и алоэ. Елей, который остался неиспользованным в склепе, это не улика, не то что полотняные пелены в пятнах крови. Я прав?.. И забудем дежурного стражника, который дал показания против тебя, но больше не сможет дать никаких показаний. И забудем, что у тебя нет алиби ни на ту ночь, ни на следующие три дня, а следовательно, нельзя исключить, что ты был на кладбище. И забудем, что если Иисус, твой лучший друг, в самом деле воскрес, то склеп он покинул нагим, что, надо думать, кому-нибудь да бросилось бы в глаза даже ночью, хотя ни о чем подобном к нам сигналов не поступало. Забудем и о том, что если кто-то все же похитил труп, то положил его в землю нагим, ибо очень спешил, да и темно было. Словом, я вот что хочу сказать: давай поставим крест на этой истории. Не будем ломать голову и над тем, способен ли был один человек, например кладбищенский сторож, унести труп в одиночку и в одиночку выкопать могилу где-нибудь в пустынном месте,

зная, что вот-вот рассветет. Отложим в сторону вопросы, на которые не получен ответ, Иуда. И вопрос о том, зачем ты выдал себя за агента контрразведки, хотя таковым не являлся. Я пришел не затем, чтобы еще раз высказать тебе свои претензии, но — чтобы договориться.

Иуда. Чего же ты от меня хочешь?

Каиафа. Пять лет ты проявлял недюжинное терпение. Исключая тот случай, когда бросился в пролет. Я предлагаю тебе сделку.

Иуда. Я даже тридцать сребреников ваши вернул.

Каиафа. До сих пор я не предлагал тебе ничего. Я надеялся, ты скажешь правду.

Иуда. То есть до сих пор ты мне доверял. Почему же не доверяешь теперь?

Каиафа. Ответ прост. Терпеливо чего-то ждать дальше — бессмысленно. И дело тут не в тебе. Успокойся: мы тебя не убьем... если уж столь дорогой ценой вернули тебя к жизни, в восторге ты от этого или нет. Мы отпустим тебя, но ты должен, пусть задним числом, доказать: все, что ты говорил, правда.

Иуда. Ни о воскресении Иисуса, ни о тайной его могиле мне ничего не известно.

Каиафа. Вот об этом речь у нас и пойдет. Я не спрашиваю, что тебя побудило выдать нам своего лучшего друга. Не спрашиваю, почему ты вернул нам тридцать сребреников. Это твое личное дело. Очевидно, у тебя были серьезные причины для этого. У всего есть свои причины... Или, скажем точнее, ничего без причины не происходит. Знаю, деньги для тебя не главное... Конечно, тут я мог бы спросить, что стало с деньгами, которые были тебе доверены. Что-то из них ты отдал дежурному стражнику, и мы знаем: это было не слишком много, но и не слишком мало. Я не спрашиваю, куда они делись, куда ты их спрятал за те три дня. Не касаюсь я и того, почему одежда твоя была испачкана глиной, когда ты устроил спектакль, повесившись так, чтобы тебя тут же спасли. Принимаю твое объяснение, что ты где-то прятался и не следил за тем, чтобы одежда твоя оставалась опрятной... Все это пусть навеки останется скрытым завесой тьмы.

Иуда. Чего ты хочешь от меня, Каиафа?

Каиафа. Если ты отдал нам в руки своего лучшего друга, Иисуса, неважно почему, по какой причине, и неважно, воскрес он или лежит в безымянной могиле... тогда, в виде компенсации за свободу и чтобы можно было верить тебе и дальше, я вправе тебя попросить: выдай нам людей, которые для тебя важны. Никто не узнает, что это твоих рук дело, клянусь честью.

Иуда. Грош цена твоей чести, если ты жаждешь жизни других.

Каиафа. Цена — та же, что и у твоей чести. У меня есть цель.

Иуда. Эта цель мне известна. Ее имя — шантаж.

Каиафа. Если все, что ты до сих пор говорил, правда, то ни о каком шантаже нет и речи. Я сказал тебе: хотя наше терпение кончилось, ты не умрешь. Мы твои принципы уважаем и не предлагаем взамен ни сребреника. И не вспоминаем про смерть Иисуса, хотя кровь его лежит на тебе, пусть и не ты убил его. Кладбищенский сторож тоже останется твоей тайной. Говорю тебе: сейчас все это — не главное. Давай сделаем вид, будто этих пяти лет не было.

Иуда. Если мы в самом деле сделаем вид, будто их не было, то ситуация резко меняется. Тогда, чтобы сделка была настоящей сделкой, назови свою ставку против моей.

Каиафа. Я назвал: ты получаешь свободу.

Иуда. Вы и до сих пор держали меня незаконно, приговор мне никто не вынес, даже жизнь вы мне спасли против моей воли. Так что свобода была и осталась моим первейшим человеческим правом. Ты знаешь это лучше, чем кто-либо, ты на этом строил свою игру. Будь у тебя доказательства, ты давно бы передал мое дело в суд. А вместо этого беседуешь со мной с глазу на глаз, как с равным.

Каиафа. С глазу на глаз, но вовсе не бескорыстно. Я и о своей шкуре пекусь. Больше не скажу тебе ничего. То, что ты высказал, принимаю. Твоя свобода в самом деле не может быть ставкой.

Иуда. Если мы договоримся с тобой, каковы будут гарантии?

Каиафа. Мое слово, если тебе достаточно этого. Если нет, письменное обязательство. А что ставишь ты?

Иуда. Два имени.

Каиафа. Это твои друзья?

Иуда. Полагаю, в такой сделке это уж вовсе тебя не касается.

Каиафа. Они ведь умрут.

Иуда. Все мы умрем... рано или поздно.

Каиафа. Ты не будешь против, если мы установим за тобой слежку, пока ты не выполнишь свою миссию?

Иуда. Напротив.

Каиафа. Не думал услышать такой ответ.

Иуда. Я люблю играть честно. И по возможности — не проигрывать.

Каиафа. Ты и до сих пор играл?

Иуда. Для меня игра вещь очень серьезная. Смертельно серьезная. Больше ничего не скажу. Ты хочешь услышать имена?

Каиафа. Да. Важные имена.

Иуда. Цену я запрошу большую. Торговаться так торговаться.

Каиафа. Больше, чем тридцать сребреников?

Иуда. Жадным я никогда не был, хоть и вырос в бедности. Тариф на взятки я знаю.

Каиафа. Что ты хочешь за имена, кроме свободы?

Иуда. Моя свобода — это данность. Даже если ты держишь меня за решеткой.

Каиафа. Хорошо, хорошо, ты прав. Это мы уже выяснили.

Иуда. То есть здесь совершают сделку на равных условиях два свободных человека.

Каиафа. Если ты согласен, то да.

Иуда. Если ты даешь свое слово как гарантию, я скажу, что требую за имена.

Каиафа. Но ты должен понять: гарантия требуется здесь от тебя. Это следует из твоего положения.

Иуда. Тебе достаточно заявления, что я рассматриваю себя как особого уполномоченного Синедриона? Если нужно, я дам его, это заявление, в письменном виде.

Каиафа. Что ты имеешь в виду под особыми полномочиями?

Иуда. Все. Я ведь ученик Гамалиила. Особые полномочия — это карт-бланш. А поверят ли мне, примут ли — дело мое.

Каиафа. Если ты в самом деле перейдешь к нам, мы будем этому только рады.

Иуда. Сейчас, если я правильно понимаю, речь не о чувствах. Речь о сделке, которую ты предлагаешь за имена.

Каиафа. Говори, что ты хочешь.

Иуда. Твое слово и письменное обязательство.

Каиафа. Ты их получишь.

Иуда. Я хочу уйти отсюда как Анания, сын Квириния. Куда и надолго ли, пока сам не знаю. Но я должен уйти — чтобы потом вернуться. И тогда буду к услугам Синедриона. Это, думаю, можно не объяснять.

Каиафа. Устроить можно. Кое-какие документы уничтожить, кое-какие, недавние, датировать как давнишние...

Иуда. Среди документов должен быть и такой, в котором я значился бы не только жителем Иерусалима, но и владельцем недвижимости. Только это даст мне право участвовать в работе Синедриона.

Каиафа. Что ты имеешь в виду?

Иуда. Скажем, какой-нибудь участок земли. Пусть хоть тот, на Земле Горшечника, где я был по твоему приказу схвачен. По нынешним ценам он стоит не больше тридцати сребреников, которые я вам вернул. Предположим, за эту сумму я и купил себе землю.

Каиафа. Можно устроить.

Иуда. Когда я вернусь, владение землей позволит мне участвовать в общественной жизни Иерусалима.

Каиафа. Ясно. Я же сказал: сделаем.

Иуда. Вот и все мои требования. Но все это в письменном виде. И на имя Анании, сына Квириния.

Каиафа. Сделаем в лучшем виде, немедленно. А сейчас — имена.

Иуда. Стефан и Иаков.

Каиафа. Иаков, брат Иоанна?

Иуда. Да. Но Стефан важнее.

Каиафа. Его я не знаю.

Иуда. Я даже Иисуса вам выдал, не обманул.

Каиафа. Ты считаешь, они самые опасные?

Иуда. Ты дал слово, а я сказал, что играю честно, даже если речь идет о жизни и смерти.

Каиафа. А если я не отпущу тебя, и если имя твое не будет Анания, и если в Иерусалиме у тебя не появится участок земли?

Иуда. Тогда... умрет Стефан и умрет Иаков. Я буду сидеть за решеткой. Ты отдашь приказ, чтобы меня убили, но проклятье мое будет висеть на тебе до гроба. Все остальное — твое дело.

Каиафа. Знаешь, что меня поражает? Что ты так легко относишься к крови, которая прольется по твоей вине.

Иуда. Ты относишься еще легче. Так что нечему тут поражаться.

Каиафа. Итак, Стефан и Иаков.

Иуда. И документ, что Анания, сын Квириния, является владельцем участка земли в Иерусалиме, на Поле Горшечника.

Каиафа. У тебя есть какие-то цели?

Иуда. Цели возникли. Как остались и у тебя.

Каиафа. Не скажешь, где покоится Иисус?

Иуда. Этого вопроса не существует, ты сам закрыл его навсегда.

Каиафа. Надеешься сделать карьеру?

Иуда. Ситуация для этого неблагоприятная. Да и я не мечтал никогда о карьере.

Каиафа. Почему я должен верить тебе?

Иуда. Ты и до сих пор верил. Но я держу свое слово, таков уж я есть.

Каиафа. Документы мы сделаем. После этого ты свободен.

Иуда. Хотел бы отправиться в путь сегодня же ночью.

Протокол III

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

На очередном заседании Синедриона первосвященник Иешуа из рода Дамная в паузе между двумя пунктами повестки дня сообщает: бывший первосвященник Анания неожиданно, без приглашения, явился в здание Синедриона и просит выслушать его, обещая сообщить какие-то важные факты. Принимая во внимание прежний пост, возраст и состояние здоровья Анании, Иешуа из рода Дамная предлагает после короткого перерыва выслушать Ананию. Иешуа из рода Гамалиила, попросив слово, говорит, что Анания, насколько ему известно, тяжело болен, страдает помутнением рассудка, какой-то заслуживающей внимания информации от него ждать не приходится, так что предоставлять ему слово нет смысла, повестка дня и без того перегружена вопросами исключительной важности, Синедрион выйдет из графика; кроме того, выступление Анании может оказать влияние на решения, особенно те, которые должны открыть двери предстоящим радикальным переменам. Иешуа из рода Дамная выражает несогласие с предыдущим оратором: он считает, что как раз в сложившейся ситуации и необходимо выслушать Ананию. В то же время он вторично подчеркивает, что узнал о намерении Анании только сейчас: несколько минут назад ему сообщили, что экс-первосвященник появился в здании Синедриона и ждет, когда его позовут. О подорванном состоянии духа Анании он тоже слышал, однако всем известно, как Анания умеет владеть собой, и можно надеяться, он действительно сообщит важную информацию. Со своей стороны, он, Иешуа из рода Дамная, за то, чтобы дать Анании выступить, и ставит вопрос на голосование. При одном голосе против и одном воздержавшемся Синедрион принимает решение: после перерыва, сверх повестки дня, заслушать Ананию.

Анания. Должен извиниться перед Синедрионом, перед каждым его членом за то, что своим появлением нарушаю ритм работы, невольно мешаю обсуждению важных проблем. Но меня многие просили, даже, можно сказать, требовали, ссылаясь на мой огромный опыт, чтобы я выступил и рассказал, что можно сделать в этой критической ситуации, какие действия предпринять для ее разрешения. Некоторые даже высказывают намеки, что причина нынешних наших бед коренится в прошлом, в тех временах, когда я был первосвященником. Поминают какие-то темные сделки, какие-то тайны; я знаю, кое-кто у меня за спиной не стесняется даже называть меня предателем. И это они говорят, прекрасно зная, что я двенадцать лет, опираясь на всенародное доверие, был первосвященником, и многие до сих пор вспоминают те годы как период, когда народ жил в относительном покое и безопасности. Здоровье мое все ухудшается, вы сами видите, что, несмотря на строгий врачебный режим, я быстро худею и пальцы на правой руке не действуют, вот, я всем показываю, большой палец, указательный и средний, можете убедиться сами, сочинять я не имею привычки, меня, конечно, лечат, каждый день заставляют делать упражнения, но от этого только еще хуже, одновременно боль страшная и потеря чувствительности, рука, до самого локтя, болит ужасно, а пальцев вовсе не чувствую. Пришел же я сюда, чтобы рассказать то, что хотят от меня услышать многие, потому что думают, что я, участник решающих событий, могу открыть членам Синедриона глаза на важные моменты из прошлой нашей политической жизни. Не хочу обелять себя, не хочу и оправдываться. Чувствую, на мне лежит тяжкий груз. Должен заметить, об этом я давно и много раздумывал, могу сказать даже: с того самого времени, как меня сняли, я только над этим и размышляю, только этим и терзаю себя, даже, думаю, и худею-то я из-за этого, хотя и так никогда не был толстым, это все могут подтвердить, кто давно меня знает... А причина, видно, в том, что мозг мой постоянно, без остановки перемалывает и перемалывает прошлое, и всплывают во мне все переживания, все события, ни минуты покоя нет, все думаю, что я сделал хорошо и что плохо. Врач иной раз даст чего-нибудь успокаивающего, тогда ненадолго забываюсь, а потом начинается все сначала. Потому и хочу сейчас рассказать Синедриону все, хочу положить конец подозрениям, пусть меня увидят таким, каков я есть, а потом судят по совести. Я не хочу говорить долго, хотя со мной много такого произошло в жизни, о чем надо было бы отчитаться; все это взаимосвязано, в жизни вообще все взаимосвязано, и на мою долю выпало много всего, приходилось скрываться, нужду терпеть... В трудные времена, в сложных условиях взвалил я на себя заботы первосвященника, хотя вовсе не собирался быть первосвященником... Нелегко это изложить в трех словах. Дайте стакан воды, а то во рту пересохло, это тоже из-за болезни, во рту сохнет, из-за лекарств, думаю, которые врачи дают, они тоже говорят, что нужно потреблять много жидкости, дело в том, что, кроме жидкости, я больше и потреблять-то ничего не могу, зубы расшатались, десны прямо пронзает болью, когда жуешь, так что питаюсь одними протертыми кашами. Меня попрекали, что я дал возможность сбежать одному человеку, который нам враг; не совсем такими словами, правда, попрекали, но суть в этом, и что я сделал это намеренно и что наверняка знал его еще с прежних времен. Я знал, спорить бесполезно, но тогда я уже ничего не мог сделать, они уже все равно решили меня снять, и я смирился, потому что всегда подчинялся решениям Синедриона, это решение тоже принял, хоть оно и было для меня унизительным. Я только с одним никак не могу смириться — что пальцы мне парализовало, вот смотрите: хочу пошевелить, а не могу, большой, указательный и средний, без них невозможно писать, а я всегда все писал сам, не диктовал, диктовать — к этому я привыкнуть не мог, я сам записывал, а потом отдавал переписчикам. Многие мне говорят, запиши, говорят, как все происходило, пока ты был у власти, и что было перед тем, потому что они считают, что Синедрион меня пять лет держал за решеткой, и еще — что я обсуждал с прокуратором Куманом и царем Агриппой, и было ли какое-то тайное соглашение, но не могу я писать этими парализованными пальцами, даже держать ими ничего не могу, все падает. И левой рукой разучился писать, как раньше. Врачи говорят, рука со временем придет в норму; если так, я потом все запишу. Наверно, я говорю больше, чем собирался, но прошу Синедрион отнестись с пониманием, я все сейчас расскажу, если уж столько людей меня просят об этом. В голове все крутятся эти мысли, и ночью и днем, насчет того, что я хорошо сделал и что — плохо.

Ходили тут досужие разговоры, я знаю, ходят и сейчас, будто я прятался в Дамаске, потом вернулся в Иерусалим. И что раньше я с одним человеком, с которым... которого... словом, будто я к тому человеку имел какое-то отношение, будто я его предал за деньги, что на моих руках — его кровь. Но посмотрите на мои руки: три пальца парализованы. И что в том процессе мне тоже надо было бы не так себя вести, в том деле, после которого меня сняли, что я принял к сведению и не протестовал, потому что я всегда соглашался с решениями Синедриона, ну, я об этом уже говорил. И я скажу еще: если Синедрион считает меня в чем-то виновным, то пусть судит меня, хоть за Дамаск, хоть за того человека, это я говорю без колебаний, если даже на руках у меня его кровь, уж такие были тогда времена, этого, к сожалению, нельзя было избежать, но деньги — нет, это никогда, это всем известно, кто меня знает. Я и о том думал, что добровольно пойду под суд, я готов за все ответить перед судом, готов принять даже смерть, если таков будет приговор. Хочу просить Синедрион, примите решение насчет этого, потому что, хоть я уже и не член Синедриона, с тех пор как меня сняли, не просто сняли, а исключили, но я думаю, если Синедрион меня в этом поддержит, тогда совесть моя будет спокойна. Часто думаю я еще вот о чем: то, что мне пальцы парализовало, не случайность, вот он когда мне аукнулся, тот случай, когда я, находясь под стражей, очень сильно покалечился, видите, как ни стараюсь пошевелить, ничего не получается, а если б не пальцы, я, может, сумел бы написать, что на самом деле произошло. Знаю, нет смысла оправдываться, что, мол, времена тогда были смутные, мятежи, убийства, и мне надо было решать, и кровь лилась, да, кровь, кровь виновных и невиновных, и если сейчас Синедрион решит, что меня надо судить, я соглашусь, и если Синедрион решит, чтобы я понес наказание смертью, я и с этим соглашусь, ибо тот, другой человек, да и другие, которые были нам братьями, для них я хотел мира и благополучия в данных условиях, история же потом вынесет свой приговор, я знаю, особая комиссия, когда предложила снять меня, признала мои заслуги перед народом, хоть я об этом и не просил, но я совсем не об этом хочу говорить, а о другом. Ходят всякие сплетни, что есть, дескать, где-то могила, к которой я имею какое-то отношение, но мы же все обсудили с... тем человеком, мы тогда долго спорили, и я мог поступить иначе, но пришлось согласиться, а потом меня загнали в угол, и опять же — я не мог поступить по-другому, и тогда снова погибли два человека... Да, это было незаконно, но я взял решение на себя, потому что надеялся, что, может, сумею исправить то, что совершил, и я в самом деле пытался, кто помнит те времена, могут подтвердить, я хотел положить конец беззакониям, хотел, чтобы народ жил в мире и благополучии, вот что крутится у меня в голове с утра до вечера, а пальцы не двигаются, смотрите, три пальца, ничего не могу ими взять, если хотите, судите меня, я смерти не боюсь, я добровольно пойду под суд, я уже все продумал и решил, что сам напишу на себя донос. Вот что я хотел сказать Синедриону, получилось немного длиннее, чем я думал, но это же серьезные, важные вещи, и тут все взаимосвязано... Устал я, не сердитесь, что нарушил повестку дня, но я очень хотел это сказать, спасибо, что вы меня выслушали, спасибо...

Ценности не представляет, подлежит уничтожению.

Иешуа из рода Дамная

Последний разговор

— Ступайте в город, — сказал Иисус Петру и Иоанну, — у ручья встретитесь с продавцом воды. Он отведет вас к дому, где мы устроим пасхальный ужин. Вы приготовьте агнца. Мы с Иудой придем позже.

Ученики удалились, и они остались вдвоем. Зной не собирался спадать, хотя солнце клонилось уже к горизонту. Иисус сидел, согнув колени; Иуда привалился спиной к стволу дерева. Иисус следил за муравьями, сновавшими меж сухих былинок; Иуда разглядывал ветви масличных деревьев.

— Твое решение окончательно? — произнес после продолжительного молчания Иуда.

— Окончательно, — ответил Иисус, не отрывая взгляда от муравьев. — В Синедрионе все прошло гладко?

— Да.

— Подозрений у них не возникло?

— Возможно, они ждали не меня. — Иуда сорвал травинку и принялся ее жевать.

— Другому я это дело доверить не мог, мы ведь договорились.

— Знаю. Но ты спросил.

— Другие ничего бы не поняли. Особенно Петр с Иоанном. — Иисус вздохнул и лег навзничь. — Тебе поверили?

— Поверили, потому что я принял предложенную плату.

— Сколько они предложили?

— Тридцать сребреников. И просили, пусть все будет закончено быстро, чтобы не мешать празднику.

— Я и сам так думал. Ты про оружие говорил?

— Да, но не сказал, что у нас всего-навсего два меча.

Иисус засмеялся:

— Еще не хватало, чтобы ты это сказал!

— Почему ты смеешься? — Иуда выплюнул изжеванную травинку.

— Знай они, что у нас только два меча, они прислали бы четырех человек. А тут они придут целым отрядом, вооруженные до зубов.

— Я подумал, куплю еще несколько мечей, чтобы меня не поймали на лжи. Мечи дешевы, и, когда покупаешь десяток, один дают даром. Выгода все равно есть.

— Почему же ты не купил? — Иисус приподнялся на локте, глядя на Иуду.

— Трудно было бы принести их сюда незаметно. Да и вообще ни к чему. Будет ночь. Придут солдаты и взвод храмовой стражи. Все испугаются и разбегутся.

— Ты прав. Значит, до сих пор все идет так, как мы договорились.

— Так, как ты спланировал. — Иуда сорвал еще травинку, сунул ее в рот.

— Ты жалеешь об этом?

— Давай об этом не говорить, если можно. Ты доверил мне тайну, и я сохраню ее. А что я чувствую, это дело мое.

Иисус снова откинулся на сухую, горячую землю.

— Я тебя понимаю. Ты тоже меня пойми. Но оставим это, мы все тысячу раз обсудили, и ты согласился, что у нас другой возможности нет. Ты тоже ведь не придумал никакого другого решения.

— Я же предлагал: давай будем действовать так, как действовали до сих пор.

— Чего ради? Если хлебороб вспашет землю и засеет ее, не станет же он пахать ее снова. Жатва — не наше дело, мы с тобой об этом тоже договорились.

— И все-таки именно мне придется разрыть засеянное тобою поле.

— Ошибаешься. Ты только погребешь землепашца.

— Можно тебя попросить?.. Давай поговорим о другом! — Голос Иуды прозвучал так громко, что он сам невольно стал озираться. — Одно дело — задумать что-то, совсем иное — выполнить план. Я уже был у первосвященника.

— Я же завтра умру. Тот же спектакль, только роль другая. Я не могу отступить: отступив, я тем самым уничтожу посев. Никто другой не сможет выдать меня, ибо лишь ты понимаешь смысл нашего плана. Мы с тобой в одной и той же западне. И об этом мы тысячу раз говорили.

— Скажи, чего ты хочешь добиться? Думаю, не случайно ты отослал остальных.

Иисус сел.

— Когда стемнеет, мы пойдем к тому дому, и я омою вам ноги. И, как бы между прочим, скажу, что кто-то из вас донес на меня, и, по всей вероятности, за мной скоро придут. Не придавай этому большого значения: я лишь хочу, чтобы они потеряли уверенность и испугались. Кто не уверен и боится, тот пытается вновь обрести твердость, а для этого нужно верить. Имени твоего я не назову. Важно, чтобы под подозрением были все. Путь к доверию ведет через подозрение, а там, где есть доверие, возможно все, даже любовь. Ужасно, но это так. Когда я скажу тебе: иди и сделай то, что должен сделать, и как

можно скорей, ты уйдешь. После вечери мы вернемся сюда, я буду рядом с Петром и Иоанном, у Петра есть меч, важно, чтоб это заметили. Прошу тебя, не заставляй меня долго ждать, приходите сразу, я заранее чувствую, те минуты будут для меня очень трудными. Остальное — дело солдат. Если я попрошу, поцелуй меня на прощанье. Может быть, я это заслужил. Неважно, что я скажу; скорее всего, что-нибудь в том роде, что вот на безоружных нападают с оружием и врасплох, хотя могли бы сделать это и днем, на глазах у людей. Иоанн и Петр, думаю, пойдут за мной, остальные убегут. Иоанн вхож к первосвященнику Анне и любопытен, ибо еще ребенок, Петр же ничего не поймет, но будет пытаться понять, ибо стар и бестолков. А тебе надо будет исчезнуть.

Иуда вскочил и стал ходить вокруг Иисуса.

— Тебе обязательно надо будет сказать, что предатель — среди нас?

— Обязательно. Предателя среди посторонних быть не может, там — враги. Врагов ты стараешься одолеть и, если это удастся, чувствуешь себя героем. Но нам не нужны ни герои, ни жертвы. Нам нужно покаяние и прощение. Мы хотим преодолеть самих себя. Кто убоится врага, тот, возможно, думает о себе, что он — истинный человек. Но кто убоится себя самого, тот, можно надеяться, в самом деле станет истинным человеком. И это самое главное. До сих пор всякая власть искала свое оправдание через врагов. И оправдывала таким способом не только себя: каждую подлость свою, ненависть, каждое совершенное ею убийство. Наша власть — власть иная. В ней нет места Синедриону, царю, прокуратору. Это мы с тобой обсуждали тоже, и ты согласился. Я не хочу быть первосвященником, ибо я — человек.

— А станешь жертвой, я же — предателем. — Иуда остановился у Иисуса за спиной.

— Я знаю, что ты не предатель. Ты знаешь, что я не жертва. И это главное.

— А другие? Ты думаешь, они не меня станут подозревать?

— Если ты исчезнешь совсем, то да, станут. Но если вернешься, они будут тебе доверять. Еще раз скажу: имени твоего я не произнесу нигде, никогда. Правда, выполнить это обещание мне нетрудно: завтра в это время я уже буду мертв, а ты будешь жить.

— Смеркается. Нам не пора?

— Успеем, не торопи меня. И прошу тебя еще раз: ночью не заставляй меня ждать.

— Ты считаешь, я сумею дождаться, когда посев созреет?

— Да. Ты упорен, Иуда, и не любишь проигрывать, ибо всегда был в проигрыше. Меня мать слишком сильно любила, мне было хорошо. Мне не за что было и не с чем бороться. Я мог отдать лишь себя самого, а не свою волю. Я пахал и разбрасывал зерна. А сейчас боюсь смерти.

— Еще можно все отменить.

— Уже нельзя. Да и сам подумай: останься я жить — я буду лишь повторять одно и то же, как попугай. А тебе все равно пришлось бы скрыться, ибо ты в их глазах станешь еще большим предателем. Я тебе уже говорил: в какой-то момент я почувствовал: все, конец, больше я ничего не способен сделать. Бить плетью торговцев мне больше не хочется.

— Я буду бить их после тебя.

— Ради меня ты готов на многое, я знаю. Но ради денег и власти — никогда.

Иуда остановился, повернулся лицом к Иисусу.

— А что мне делать с деньгами?

— Придумаешь что-нибудь. Ты должен исчезнуть, чтобы исчезли они. Но самое трудное, что тебе предстоит сделать, — это добиться, чтобы все осознали мое отсутствие. Тогда все, может быть, получится.

— А твоя мать?

— Не беспокойся о ней, она будет счастлива умереть следом за мной. Ее смерть будет первой счастливой смертью; звучит нелепо, но это так. — Иисус встал, вдохнул густой аромат масличных деревьев. — Темнеет... Надо идти. — И медленно, словно через силу, двинулся к городу.

— Твое решение окончательно?

Иисус отвернулся.

— Это не я решил: так вышло. Бесповоротно. Когда что-то кончается, это значит, его больше нет. И потому больше нет, что место занято чем-то иным. Так забвение приходит на смену памяти. Ибо мы всегда вспоминаем то, что было, а забвение означает, что не было. Ты обратишь меня в память, я тебя — в забвение. Пойми: моя вера исчерпана, ибо я отдал все. В тебе же она осталась, и тебе предстоит нести ее дальше.

Склонив голову, Иуда двинулся следом за Иисусом. Тот подождал его; плечом к плечу они шли в густеющей темноте по тропинке Гефсиманского сада.

— О чем ты молчишь? — нарушил молчание Иуда.

— О том, сумеешь ли ты хранить тайну. Тебе будет труднее.

— Знаю. Память — всегда тяжелее, черная она или светлая, чем забвение. Забвение — мой удел, ибо кто же захочет помнить предательство? А я никому не смогу объяснить, что предательства не было. Я тоже хотел одолеть невозможное. Сейчас я рад был бы поменяться с тобой.

— Если бы ты мог со мной поменяться, тебе от этого было бы мало радости. Поверь мне.

Они молчали, глядя на тропу, уходящую из-под ног в темноту. Дорога показалась им долгой — и очень короткой. Они приблизились к дому; Иуда схватил Иисуса за локоть.

— Правда же, это не беда, что я тоже тебя никогда не забуду?

— Я прошу тебя об одном: сделай так, чтобы обо мне вспоминали с печалью. Как договорились. Я тебя не забуду.

И, сплетя пальцы на затылке Иуды, притянул к себе его голову и поцеловал.

— Вот, я попрощался с тобой. Скоро ты так же простишься со мной в саду. Как условились. Да будет мир с вами.

Остальные ждали их с нетерпением. Когда Иисус и Иуда вошли, раздались радостные восклицания. На столе был приготовлен агнец.

«Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь».

Евангелие от Иоанна, 13, 19 — 30.

■

ДЖЕК АНДЕРСОН

Изумление Ноя

Что меня удивило
в тех людях, это
не грехи их,

а то, как они
стояли и глазели
на дождь, который все лил и лил,
и рты их были широко открыты,
как пустые ведра.

А если они и говорили что,
то тяжко вздыхая:
«Мы ничего поделать не можем»,
или: «Надо же,
как все обернулось».

Так они и стояли,
пока волны их не накрыли.

И ни у кого — ни у одного человека,
кроме меня, — не было лодки?

Какой вздор!
Конечно же, у них были лодки —
у рыбаков,
у купцов,
у яхтсменов,
и паромы были, и катера.

Но никто не пытался спастись,
они просто стояли под проливным дождем
и хлюпали носом, а вода поднималась все выше и выше.

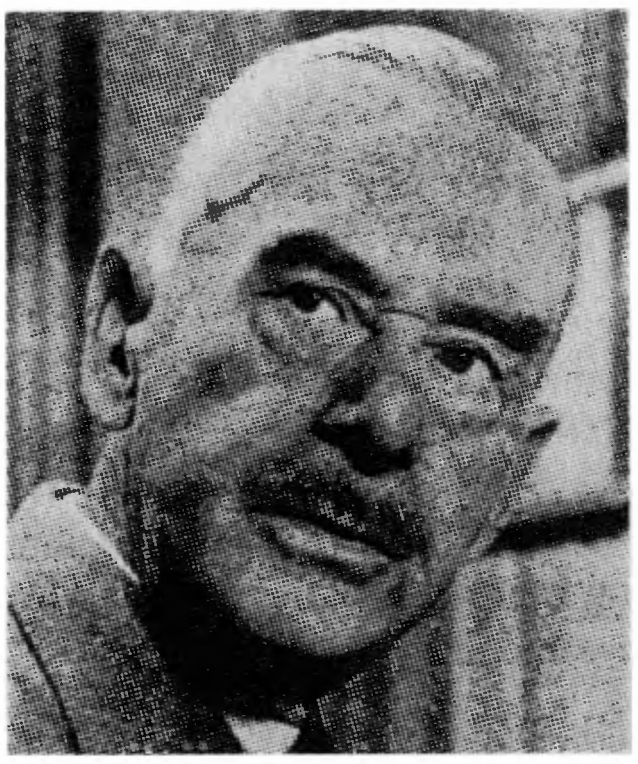
Хорошо,
но может быть, даже самые крепки,
самые надежные лодки
не спасли бы их
и конец был бы тот же?

Да, но они хотя бы
попытались бросить вызов судьбе,
хотя бы что-то делали,
а не стояли так покорно и тупо.

Нет,
что меня бесит в тех людях —
так это не чудовищные грехи их,
а чудовищная их глупость.

Перевод с английского И. МИЗРАХИ

© Jack Anderson, 1997
© И. Мизрахи. Перевод, 1998



ТОМАС МАНН

Отрок Енох

ФРАГМЕНТ РОМАНА «ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ»
Перевод с немецкого и вступление И. ЭБАНОИДЗЕ

Известна история о том, как машинистка Томаса Манна, перепечатав рукопись «Былого Иакова», первой части тетралогии «Иосиф и его братья», вернула ее со словами: «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все было на самом деле». «Это была трогательная фраза, — говорит писатель, оглядываясь на тот анекдотический эпизод, — ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей является здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством; видимостью»... Заметим, однако, что «видимость» эта разрослась в огромный, как египетская пирамида, труд, который, во многом действительно будучи игрой, не мог, разумеется, в течение пятнадцати лет его написания держаться на одной лишь игре и видимости. Мотор и стержень работы над «Иосифом и его братьями» заключался не только в библейском сюжете, но и в сюжете внутренней жизни самого Томаса Манна, и свое четырехтомное детище он довел до конца, быть может, именно потому, что до некоторой степени играл в Иосифа, проецировал на него свой духовный мир и узнавал собственное призвание в том, как Иосиф своей судьбой примиряет острейшие противоречия мира и человеческой природы. Томас Манн, как и библейский Иосиф,— посредник: между возвышенно-абсолютным и приземленно-конкретным, «честью духа» и «честью плоти», «мирами смерти и жизни», как сам автор тетралогии определил писательскую задачу. Отражение в духовных авторитетах прошлого — любимое занятие Томаса Манна, которому он с безудержной изобретательностью и энтузиазмом предавался в своих произведениях.

Эта игра с отражениями разворачивается не только между романом и его автором. Она продолжается и в самой четырехчастной эпопее, представляющей собой огромную систему полупрозрачных зеркал, в которых и сквозь которые видят себя персонажи «Иосифа и его братьев». Так Иосиф воспринимает своего слугу и учителя Елиезера, сливающегося своими свойствами и жизненными историями со слугой Авраама, и смотрит сквозь него «в бесконечную перспективу Елиезеров, которые все устами Старшего Раба говорят «я»[1]. Так или почти так же видит он прообраз собственной судьбы и предназначения в разных религиях и сказаниях прошлого, отражаясь в древневосточном Таммузе, египетском Озирисе, греческом Гермесе и, наконец, в своем дальнем, в буквальном смысле допотопном предке Енохе, о котором и говорится в представленном здесь фрагменте — главе из раздела «Иосиф и Вениамин» второго тома тетралогии.

Этот раздел повествует о тех историях, которыми Иосиф потрясал воображение своего младшего брата, и предшествует рассказу о снах прекрасноликого, сыгравших в его судьбе столь роковую роль. Начало публикуемого текста, которое приведено в переводе С. Апта, совпадает с началом главы «Небесный сон» — там Иосиф рассказывает о сне, в котором он был вознесен на небо. Однако, согласно Книге Бытия, на небо был вознесен Енох, поэтому он вместе с проро-

---

[1] *Томас Манн.* Иосиф и его братья. М., 1968 г. т. 1, с. 414. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© И. Эбаноидзе. Перевод, 1998

ком Илией почитается в христианской традиции как предвоплощение «восшедшего на небеса» Христа. Таким образом, глава «Отрок Енох» перекрещивалась с «Небесным сном» и по-своему дублировала его. Быть может, именно из-за этого Манн не включил главу про Еноха в книжное издание романа, несмотря на то, что без нее остался неразъясненным один из первых же эпизодов книги.

Тем не менее в год выхода «Юного Иосифа» (1934) Томас Манн опубликовал «Отрока Еноха» как отдельную новеллу в еврейском журнале «Der Morgen», и с тех пор глава неоднократно включалась в немецкие собрания и сборники произведений писателя то как приложение к «Иосифу и его братьям», то в качестве самостоятельного новеллистического фрагмента.

Будучи изъятой из целого тетралогии, эта глава становится своеобразным увеличительным стеклом, сквозь которое можно исследовать технику работы Томаса Манна над «Иосифом и его братьями», принцип обращения писателя с библейским материалом. Первое, что здесь бросается в глаза, это обилие сведений о Енохе, которые содержит манновский рассказ, притом что в Книге Бытия допотопному праотцу отведено всего четыре стиха. На первый взгляд может показаться, что все это домыслено воображением писателя или буквально высосано из четырех библейских стихов, как, например, факт физической привлекательности Еноха, который Манн с юмористическим буквализмом выводит из одного-единственного глагола Писания («Ханок снискал милость в глазах всех, кто его «видел», а не, к примеру, «слышал»). Всякого рода талмудической игры и даже пародии на Талмуд в романе действительно предостаточно, так что, по словам самого Томаса Манна, многие места «Иосифа и его братьев» «весьма напоминают толкование и комментарий Пятикнижия Моисеева — написанный каким-нибудь ученым раввином мидраш[1]». Однако для того, чтобы играть материалом и шутить с ним, нужно владеть этим материалом в совсем нешуточном объеме. Манновскими источниками были, разумеется, не только Библия, но и множество исследований, комментариев и апокрифов, среди которых, судя по представленной здесь главе, находилась и древнееврейская апокрифическая «Книга Еноха». Ее основой является относящийся к кумранским рукописям текст II века до н. э. Эту книгу, согласно легенде, в назидание передал людям вознесенный на небо Енох, ставший там регистратором добрых и дурных человеческих дел. По содержанию «Книга Еноха» представляет собой довольно пеструю картину: здесь и предсказание будущего и «всех его десяти циклов вплоть до правления безбожных», «книга ангелов», где повествуется о грехопадении посланцев неба, спускавшихся к дочерям Земли, и астрономический раздел, где говорится о круговороте небесных светил, — читатель, я думаю, без труда сможет найти его отражение во фрагменте «Отрок Енох».

По-видимому, весь этот массив апокрифических текстов был подключен к работе над «Иосифом и его братьями», а подключившись, стал оказывать собственное давление на роман, так что писатель в конце концов изъял уже готовую главу из своего детища.

Однако фрагмент этот все равно остается организованным и законченным манновским текстом и вновь напоминает нам о том эксперименте, на который решился писатель, пересказав на полутора тысячах страниц историю Иосифа, — эксперименте далеко не первом и не последнем, но, быть может, самом смелом и впечатляющем в ряду обращений литературы к той энциклопедии отношений человека с Богом, которая зовется Библией.

Тогда братья еще не называли его «Сновидцем», но вскоре дело дошло до этого. Если они пока называли его только «Утнапиштим» и «Читатель камней», то добродушие этих, бранных по замыслу, кличек объясняется только недостатком у молодых людей изобретательности и воображенья. Они бы с удовольствием дали ему более ехидные прозвища, но им ничего не приходило в голову, и поэтому они обрадовались, когда представился случай прозвать его «Сновидцем», что звучало уже все-таки ехиднее. Но этот день еще не настал; болтливого изложенья сна о погоде, которым он утешил отца, оказалось недостаточно, чтобы обратить их внимание на это его дерзкое свойство, а об остальных снах, давно уже посещавших его, он им покамест еще не говорил. Самых разительных снов он им вообще так и не рассказал, ни им, ни отцу. Те, что он им, на беду свою, рассказал, были еще сравнительно скромными. Зато уж Вениамину все выкладывалось; в часы откровенности тому случалось выслушивать и вовсе нескромные сны, умалчивать о которых вообще-то у Иосифа хватало сдержанности. Нечего и говорить, что малыш,

[1] Мидраш — изъяснение или толкование на библейские тексты, жанр, возникший еще в первые века нашей эры.

будучи любопытен, выслушивал их с живейшим удовольствием и даже порой выпытывал. Но и без того, уже несколько омраченный смутными тайнами мирта, на него взваленными, он не мог, слушая брата, избавиться от чувства боязливой подавленности, которое приписывал своей незрелости[1] и тем самым старался преодолеть, — напрасно, ибо для него имелось слишком много объективных оснований; он, пожалуй, вправе был дать ему место в своей душе и довериться тревоге, которая никак не могла угрожать его восхищению братом и лишь нежнее привязывала к нему.

Поскольку речь здесь идет о прозвищах, следует сказать, что Иосиф наедине с самим собою, втихомолку и по секрету от всех дал себе еще одно, которое, правда, уж никак не назовешь бранной кличкой. Он называл себя Енохом. Но почему и с какой стати? От нас не укрылось волнение, охватившее его, когда вечером у колодца между отцом и сыном зашла речь об этой фигуре ранних времен, Енохе, или Ханоке, сыне Иареда и прадеде Ноя, которого Бог возлюбил за его необычайное благочестие и ум и забрал к Себе. Отчего же эта перемена, эти замешательство и бледность? Именно оттого, что он находился с личностью Еноха в неких игровых, никому другому не ведомых отношениях, в воображении отождествлял себя с ним и целыми днями мог разыгрывать перед самим собою, будто бы он и есть Ханок, — известная забава склонных к тайным мечтаниям детей и подростков с богатой фантазией. В один прекрасный день они с радостью осознают, что никто не в силах лишить их возможности — никто даже не заподозрит о ней — быть не самими собою, а тем-то и тем-то: богатым купцом, кронпринцем, мудрым гномом или волшебником, человеком невероятной физической силы и тому подобное. Преимущества этого развлечения самые разнообразные; здесь не требуется никаких декораций, потаенному лицедейству и перевоплощению не страшны даже объективные требования жизни и повседневности; забава может быть продолжена при любых обстоятельствах и потому вместе с блаженством тайны она дарит и чувство тихо торжествующей независимости от реального.

Итак, Иосиф играл в Еноха, и это было бы, как уже сказано, вполне допустимо, не будь он если и не слишком великовозрастным, то все же достаточно взрослым для этого. Когда речь идет о семнадцатилетнем, притом отличающемся прямо-таки необыкновенной духовной зрелостью, такое ребячество следует назвать чересчур затянувшимся. В нем нет уже прежней радостной невинности, зато появляется фанатизм мечтателя; игра становится серьезной, не переставая при этом быть игрою, — от такого сочетания захватывает дух, чем, пожалуй, можно объяснить и те «замешательство и бледность», которые мы наблюдали. Для Иакова они остались незамеченными. Он ничего не знал о взволнованном отношении Иосифа к Еноху, сыну Иареда. Никто об этом не знал, кроме Вениамина, направляемого намеками Иосифа, — а лучше бы тот выкладывал ему все прямо и начистоту; на спокойствии малыша это сказалось бы благотворнее, чем метод подсказок и нашептываний, который избрал Иосиф, то приоткрывавший брату свои секреты, то снова оставлявший его за их порогом, и который смущал и пугал малыша, хотя, конечно же, это его и захватывало, занимало и совершенно зачаровывало.

Он делал так: он рассказывал Вениамину — только когда тот просил, а малыш снова и снова жаждал этого рассказа, от которого захватывало дух, — о Енохе, причем Иосиф выделял и разрабатывал в нем те черты и жизненные обстоятельства, которые более или менее согласовывались с его собственными, так чтобы можно было воскликнуть: да это же прямо как у Иосифа! — и затем он вдруг по-особому замолкал и округлившимися глазами смотрел на брата, так что тот застывал с разинутым от испуга ртом. Иосифу не стоило большого труда придать тенденциозную окраску отстоявшему так далеко — всего лишь на четыре поколения от Адама — допотопному образу Ханока, поскольку его отчетливость серьезно пострадала от славословий, с которыми к нему обращались дети Авраамовы, а уж молва постаралась нагнать туману, к примеру, когда говорилось, что время его жизни здесь, внизу, составляло триста шестьдесят пять лет. Известно было, что

---

[1] До этого места приводится в переводе С. К. Апта по изданию: *Томас Манн*. Иосиф и его братья, М., 1968 г., т. 1, с. 431.

по причине своей необычайной мудрости он долгое время занимал на земле место верховного царя и учителя и осуществлял благословенное правление, снабжая людей благодетельными законами, рецептами блюд и житейскими правилами, сообразованными с особенностями человеческими и климатическими. Он занимался даже обувным ремеслом — ему приписывают это изобретение. Но почему же в таком случае он назывался отроком? Разумеется, когда-то он был отроком, пусть даже с самого начала отроком очень умным. Казалось, однако, что так его называли всю жизнь и уж по крайней мере — сызнова с того момента, как Господь счел, что Енох слишком хорош для этого мира, и в огненной колеснице — другие говорили: на крылатом быке или даже в образе такового — забрал к себе. Иосиф тоже называл его отроком Енохом — в полном соответствии с преданием, но столь часто и охотно, что трудно было не заметить, как это обозначение подходит к нему самому.

Могло, кстати, показаться, что царственный отрок Ханок сам и намного раньше того события обнаружил, что слишком хорош для земной жизни; поскольку в течение трехсот шестидесяти пяти лет он все больше и больше отдалялся от людей, все реже удостаивал их своими наставлениями, сперва еще показывался им каждый третий день, затем раз в неделю, затем лишь раз в месяц, даже раз в год, так что под конец все прямо-таки изнывали по нему, хотя в то же время боялись его и его присутствие переносили плохо. Каковы же причины этого обособления, этой изоляции, этой все возраставшей экономии своего присутствия и своих появлений? Они заключались, во-первых, в богоугодности, должно быть делавшей Еноха среди того рода человеческого, к которому он принадлежал — отверженного, уже осужденного на гибель допотопного человечества, — белой вороной и столь же отчуждавшим, сколь и, в свой черед, отчужденным, предоставленным собственному примеру исключением, и оттого тем более носившей, по-видимому, скорее страдательный, нежели активный характер; иными словами, в богоугодности этой было даже больше сильнейшего пристрастия со стороны Бога, чем исключительного благочестия и нравственной чистоты со стороны Еноха, — а он, говорилось, жизнь вел примерную, в определенные дни не ел ни лука, ни пряностей, ни рыбы, ни мяса, и вообще ничего, в чем течет кровь, утром и вечером живою водой совершал священные омовения в источниках и мольбы свои обращал к Творцу своему.

Другой причиной изоляции были его неслыханные ученость и книгомудрие, которые, впрочем, тесно сочетались с его богобоязненностью и особенно богоугодностью, сплавляясь с нею в мудрость. Да будет известно, что он владел свитком, некогда полученным Адамом из рук ангела Разиеля. Семьдесят два рода наук, делившихся на шестьсот семьдесят символов высших тайн, равно как пятнадцать сотен священных таблиц, к которым не имеют доступа праведники Поднебесной, были сокрыты в этой книге, так что дарованное Адаму знание не только являло собой развернутое посвящение в тайны творения, но и обеспечивало ему полное приятие со стороны Бога и людей и ограждало от любых посягательств зла. Однако, своровав с древа, он лишился этой книги. Дело в том, что пришедшая к нему искушенность не только не приумножила его мудрости, но даже уменьшила ее до такого уровня, который уже и вовсе граничил с глупостью, и как раз свидетельством этого поглупения явилась потеря книги. Прежде, надо заметить, у Адама было и то и другое: сны и смекалка, воображение и остроумие, которые вместе и составляют мудрость. После того же, как он отведал яблока от древа, остроумия у него стало, пожалуй, даже хоть отбавляй, но от снов и воображения не осталось и следа, а вместе с ними исчезла его мудрость. Тем не менее его утешил вестник Разиель: книга, купно с благовонными пряностями, заключена в золотом ларе и хранится в пещере, и тот из детей Адамовых, кто плотью будет невинен и душою кроток, найдет книгу и снова станет обладать как воображением, так и остроумием, то есть всею мудростью.

Таким сыном Адамовым был Енох. Он нашел книгу — через Сифа, Еноса и Малелеила дошла она до него, — и вся его деятельность заключалась отныне в том, чтобы изучать ее и стилом и кисточкой делать из нее выписки. Благодаря этим литературным занятиям он приобщился к духу и к разуму, так что мог разговаривать со всяким человеком, и даже со зверьми земными и небесными, и то, что слетало с его уст, выходило ловко

и складно. Мало того что он из месяца в месяц провидел грядущее и чему надлежит свершиться от заката и до рассвета — все было открыто ему: он мог сказать, предстоит ли голод, бедствие, много или мало будет зерна, ждать ли дождя или засухи, нагрянет ли саранча, или шершни, или другая напасть, останется ли дерево без плодов своих и не найдет ли на людей струпная порча, а также не воцарятся ли на земле безбожники и не настанет ли мор среди человеков и скотов. Но и это еще не все; из книги он научился чародейству, познал тайны и сокровища разума, научился и смиренномудрию, и путеводству, так что отныне ему были открыты все ступени высших сфер, все семь Покоев, и он был способен охватить мыслью все планеты. Да, он мог наблюдать за их ходом, исследовать пути Луны, назвать имя каждого цикла, разбирался в светилах, которые из месяца в месяц поочередно несут свою службу, и доподлинно знал ангелов, что ведают четырьмя временами года. Все это смог он постичь благодаря священному духу книги. Жизнь и смерть, добро и зло знал он как свои пять пальцев. Ему было известно, что может помочь удачному исходу дела, и он проник в тайну часов, минут и мгновений, равно как и в тайну числа всех дней. Надо ли говорить, что он умел толковать сны и видения? Это уж разумелось почти что само собою. Он разбирался в грохотании грома, мог объяснить, что есть сверкание молнии, и основательно постиг учение о временных периодах и величайших годах вплоть до конца мира.

Столь многое можно сказать об ученой мудрости Еноха, которая составляла неразделимое единство с его благочестием. Это единство было бы, однако, неполным без неких других свойств, столь же неотделимых от него, которые являлись зримым выражением богоугодности и были уже, таким образом, телесной природы. Подтверждаются они тем фактом, что отрок Ханок снискал милость в глазах всех, кто его «видел» — ибо таково слово предания, — а не, к примеру, «слышал». В какой мере его притягательность следует отнести за счет этих свойств, а в какой за счет его ума — различить это, очевидно, никогда не представлялось возможным. Должно быть, сам Бог не мог этого различить. И уж во всяком случае, не стоило и думать о том, что его смогли бы когда-нибудь одолеть те, кто возделывает нечестие. От злоумышлявших на него спасся он, и на хребте притеснявших его стопа его. Диво ли, что имя его чтимо и по сей день? Самым поразительным, однако, было то, что речь при всем этом шла об отроке, только лишь о мудром отроке, пусть даже он в этой земной юдоли дорос до трехсот шестидесяти пяти лет. Так Иосиф описывал его Вениамину и, когда были отмечены удивительные и потрясавшие воображение ученость и красноречие, а также зримая богоугодность Еноха, замолкал и округлившимися глазами смотрел на брата, так что Вениамин пугался, в то же время теряясь из-за настоятельного нашептывания, которое таилось во взгляде и молчании Иосифа. Тем не менее малыш испытывал потребность в этом испуге и смущении, дорожил ими и не мог наслушаться вдоволь историй об отроке Енохе.

Как вышло, что тот «отдалился» окончательно, — Иосиф особенно не распространялся. Человечество, до того долго изнывавшее по Ханоку, было еще раз призвано пред лице его, и он в последний раз укрепил людей своими наставлениями, среди прочего в том, что касалось обуви, а также рецептов блюд и правил гигиены, сообразно особенностям человеческим и климатическим. Затем он был отнят... О том же, что было дальше, Иосиф не рассказывал.

■

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

ИСТОРИЯ АНГЕЛОВ

Ангелы старше нас на два дня и две ночи: Господь сотворил их в день четвертый, и они, между только что созданным солнцем и первой луной, поглядывали на нашу землю, которая тогда вряд ли представляла собой что-либо, кроме нескольких полей с пшеницей да огородов неподалеку от воды. Эти первоначальные ангелы — звезды. Древним евреям не стоило труда связать понятия «ангел» и «звезда». Я выберу из многих других примеров то место в Книге Иова, где Господь говорит из бури, напоминая о начале мира: когда мне пели все утренние звезды и ликовали все сыны Божии. Это дословный перевод фрая Луиса де Леона, и нетрудно догадаться, что эти сыны Божии и поющие звезды — ангелы. Также Исаия (14, 12) называет «денницей» падшего ангела, о чем помнит Кеведо, когда пишет «мятежный ангел, бунтовщик-Денница»[1]. Это отождествление звезд и ангелов (скрашивающее одиночество ночей) кажется мне прекрасным, это награда евреям за то, что они оживили души звезд, придав жизненную силу их сиянию.

По всему Ветхому Завету мы встречаем множество ангелов. Есть там неявные ангелы, которые ходят праведными путями по долине и чья сверхъестественная сущность заметна не сразу; есть ангелы крепкие, как батраки, таков тот, кто боролся с Иаковом в святую ночь, пока не занялась заря; есть ангелы-воины, как вождь воинства Господня, явившийся Иисусу Навину; есть «две тьмы тем» ангелов в боевых колесницах Господа. Но весь ангеларий, весь сонм ангелов — в Откровении Святого Иоанна: там существуют сильные ангелы, низвергающие дракона, и те, кто стоит на четырех углах Земли, дабы она не вращалась, и те, кто превращает в кровь третью часть морей, и те, кто, становясь орудиями его гнева, обрезает гроздья винограда и бросает их в великое точило гнева Божия, и те, кто связан при великой реке Евфрате и приготовлен для того, чтобы мучить людей, и те, в ком смешаны орел и человек.

Исламу тоже известны ангелы. Мусульман Каира едва видно из-за ангелов, реальный мир, в котором они живут, почти поглощен ангельским миром, поскольку, согласно Эдварду Уильяму Лейну[1], каждый последователь пророка получает двух ангелов-хранителей, или пять, или шестьдесят, или сто шестьдесят.

Трактат «О небесной иерархии», приписываемый обращенному в христианство греку Дионисию и созданный примерно в V веке нашей эры, представляет собой самый точный реестр чинов ангельских и различает, например, херувимов и серафимов, считая, что первые полным и наиболее совершенным образом видят Бога, а последние — восторженные и трепещущие, наподобие возносящегося пламени, — вечно стремятся к Нему. Тысяча двести лет спустя Александр Поуп, архетип поэта-ученого, помнил об этом различии, когда писал свою известную строку:

> As rapt seraph, that adores and burns
> (Как серафим, горя, боготворящий)

Интеллектуалы-теологи не ограничиваются ангелами, а пытаются постичь мир сновидений и крыл. Это непростая затея, поскольку ангелов следует рассматривать как существа высшие по сравнению с человеком, но, разумеется, низшие по сравнению с божеством. В трудах Роте[2], немецкого теолога-идеалиста, можно найти многочисленные примеры подобных диалектических колебаний. Его список свойств ангелов достоин размышления. Среди них сила разума, свобода воли, бестелесность (однако в сочетании со способностью на время обретать тело), внепространственность (ангел не занимает пространства и не может быть его узником); постоянное существование, имеющее начало, не имеющее конца; ангелы незримы и даже неизменны — свойство, присущее вечности. Что касается характерных черт ангелов, то за ними признают необычайную быстроту, возможность общаться между собой, не прибегая ни к словам, ни к знакам, и совершать вещи удиви-

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе Бориса Дубина.

[1] Эдвард Уильям Лейн (1801—1876) — английский арабист, переводчик «Тысячи и одной ночи».

[2] Рихард Роте (1799—1867) — лютеранский теолог.

© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 1998

тельные, но не чудесные. Например, они не могут ни создавать что-то из ничего, ни воскрешать мертвых. Как можно понять, мир ангелов, расположенный между людьми и Богом, в высшей степени регламентирован.

Каббалисты тоже обращаются к ангелам. Немецкий ученый, доктор Эрих Бишофф в опубликованной в 1920 году в Берлине книге под названием «Начала каббалы» перечисляет десять сефирот, или эфирных эманаций божества, и соотносит каждую из них с какой-то областью неба, одним из имен Бога, одной из заповедей, с какой-то частью человеческого тела и одним из видов ангелов. Штехелин в «Раввинской литературе» связывает первые десять букв еврейского алфавита, или азбуки, с этими десятью высшими мирами. Таким образом, буква «алеф» соответствует мозгу, первой заповеди, верхней части языков пламени, божественному имени «Я есмь сущий» и серафимам, именуемым Священными Животными. Очевидно, что совершенно ошибочно было бы обвинять каббалистов в неясности изложения. Они в высшей степени привержены разуму и пытаются осмыслить созданный по вдохновению, притом не сразу, а по частям, мир, словно его, несмотря на это, отличает та же точность и те же причинно-следственные связи, которые мы видим сейчас...

Этот рой ангелов не мог не оказаться в литературе. Примерам несть числа. В сонете дона Хуана де Хауреги, посвященном св. Игнатию, ангел сохраняет свою библейскую мощь, свою воинственную суровость:

Смотри: во всеоружье чистоты
Могучий ангел зажигает море.

Для дона Луиса де Гонгоры ангел — драгоценное украшение, которое может пленить дам и барышень:

Когда же, сжалясь над моей тоскою,
Распустит благородный серафим
Стальные узы хрупкою рукою?

В одном из сонетов Лопе встречается прелестная метафора, словно написанная в XX веке:

Ангелов спелые гроздья.

У Хуана Рамона Хименеса ангелы пахнут полем:

Туманно-сиреневый ангел
зеленые звезды гасил.

Мы приближаемся к тому почти что чуду, из-за которого и написан весь текст: к тому, сколь необыкновенно живучи ангелы. Человеческое воображение измыслило множество удивительных созданий (тритоны, гиппогрифы, химеры, морские змеи, единороги, драконы, оборотни, циклопы, фавны, василиски, полубоги, левиафаны и прочие, которых не перечесть), и все они исчезли, кроме ангелов. Какой стих отважится сегодня упомянуть о фениксе или о шествии кентавров? Ни один. Но любое самое современное стихотворение с радостью станет обителью ангелов и засияет их светом. Обычно я представляю их себе, когда смеркается, в вечерний час предместий или равнин, в долгую и тихую минуту, когда видно лишь то, что освещают закатные лучи, а цвета кажутся воспоминаниями или предчувствиями других оттенков. Не стоит зря докучать ангелам, ведь это последние божества, нашедшие у нас приют, вдруг они улетят.

Перевод с испанского
В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

■

ДОРОТИ Л. СЕЙЕРС

НЕПОПУЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ

От переводчика

Дороти Ли Сейерс (1893—1957) известна, главным образом, как автор детективных романов. Сыщик лорд Питер Уимзи не менее популярен в Англии, чем отец Браун или миссис Марпл. Но Сейерс писала не только детективы, классикой считаются ее пьесы — одну из них ставили в Кентерберийском соборе, — в том числе цикл радиопьес о Христе «Человек, рожденный на Царство», которые возвели ее в число лучших писателей-проповедников XX века (выходящий в США ежегодник «Seven» в ряду с именами Честертона, Толкиена, Льюиса поместил единственное женское имя — имя Сейерс).

Эссе, которые мы предлагаем вниманию читателей, входят в сборник «Непопулярные мнения» (1947). Как и пьесы, которые до сих пор вызывают пылкие споры (можно ли так просто и живо перелагать Евангелие?), эссе Сейерс многих шокировали, многих восхитили, среди последних — Т. С. Элиот и К. С. Льюис. В те же годы Дороти Сейерс переводила Данте (не успела сделать только тринадцать песен «Рая»), ее перевод тоже восхищал и возмущал, но никого не оставлял равнодушным. Последние десять лет своей жизни Сейерс возглавляла Клуб детектива, первым главой которого, с 1929 по 1936 год, был Честертон, тоже не видевший никакой странности в сочетании проповеди и детективного жанра. Честертон и Сейерс вообще похожи, и прежде всего тем, что в них не было ничего, что отвращает от «религиозной жизни», — ни важности, ни слащавости, ни нетерпимости. И теперь, когда «фарисейская закваска» снова набирает силу, такой голос очень важен, он перевесит многое.

Благодарение Киру

Киру, царю Персидскому, я очень обязана. Познакомились мы рано, он жил в детском журнале, где печатались «Рассказы из Геродота» или что-то в этом роде. Была там картинка — маленький Кир у пастуха, в такой же точно тунике, как Тезей или Персей в «Героях» Чарльза Кингсли[1]. Без всяких сомнений, он был «античный» — это ведь он победил того самого Креза, которому Солон сказал: «Не называй никого счастливым, пока он жив». Рассказ походил на сказку: «матери приснилось», «оракул предрек», — но походил и на историю: царь велел своим воинам отвести Евфрат, чтобы идти в Вавилон по бывшему руслу. Словом, Кира я поместила в античность, к грекам и римлянам.

Там он и был, пока я не обнаружила, что ему удалось перебросить из Геродота прямо в Библию. Удивилась я так, как удивляются кощунству. «Мене, мене, текел, упарсин...» Так вот кто сокрушил стену, прервал Валтасаров пир под строгим, пророческим взглядом Даниила!

Но Даниил и Валтасар — не античные, они церковные, как Адам, Авраам, Илия. Они по-библейски одеты, особенно Даниил. Бог — не Зевс, не Аполлон, вообще не олимпиец, а яростный старик с Синая — ворвался в античную историю, к посторонним людям. Я растерялась.

А тут еще Есфирь. Она жила в «Историях из Ветхого Завета», где и помогла избранному народу, подольстившись к царю Агасферу[1]. Вполне библейское имя, вроде Ахава или Ахаза. Но вдруг, в какой-то случайной фразе, я увидела: «Агасфер (*зд.*) — Ксеркс». Ксеркс! Да это же античность, это *настоящая* история! Против Ксеркса отчаянно и тщетно защищались Фермопилы. Тут не сказка, тут грохот и пыль воинского марша, тут четкий рельеф и чистые краски Греции, над которой стоит античное яркое, а не тусклое библейское солнце.

Казалось бы, связать эти миры мог Христос, но ведь Он — дело другое. О Нем говорят особым тоном. Он по-особому одевался, не по-

---

[1] Чарльз Кингсли (1819—1875) — английский священник, один из основоположников «христианского социализма». Написал несколько очень популярных романов и детских книг.

[1] Агасфер — в синодальном переводе Артаксеркс. Действительно, были персидские цари Артаксерксы, их имя передавалось на др.-евр. как Арташесты, но в «Книге Есфирь» речь идет о Ксерксе, который назван Ахашвераш. Это имя, в его латинской форме Ahasueros, позаимствовано в начале XVII века для средневековой легенды о Вечном Жиде.

© Н. Трауберг. Перевод, 1998

библейски и не по-античному, а Ему дотошно, вплоть до сияния, подражали ученики. Если уж Он с чем-то связан, то с Римом, хотя Его упорно пытаются связать с ветхозаветным Израилем. Кстати, где-то в зазоре между Заветами сам Израиль странно меняется: вот он был хорошим, вот — плохой! А вообще-то все они — библейские персонажи, и место им в Церкви, а не в истории. Они не *настоящие*, как, скажем, король Альфред, тем более нельзя их сравнивать с нашими современниками.

Почти все дети, наверное, хранят такие миры в отдельных отсеках, самый замкнутый из которых — именно Библия. Кое-кто так и не вырастает, может быть, потому, что не заметил Кира с Агасфером. Особенно инфантильны библеисты; возьмем, к примеру, спор об Евангелии от Иоанна.

В подробности вдаваться не буду, только скажу, что обычный критик никогда не привел бы таких доводов. Недостатки евангелиста были бы достоинствами писателя, мало того — его хвалили бы, приводя те же самые примеры, за которые сейчас ругают.

Представим, например, что Христос не так давно умер, а *настоящий* писатель написал о Нем *настоящую* книгу. Как отзовется на нее критик? Примерно так:

> *ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ. Джон Бар-Зеведей (изд. «Патмос», Ефес, такой-то год).*
>
> Читатели долго ждали этих мемуаров, хотя многое ходило в церковных кругах. Друзья почтенного священнослужителя неоднократно просили его записать то, что он видел и слышал в молодости. Теперь он это сделал при живом участии любимых учеников.
>
> До сих пор печать не баловала нас сведениями о человеке, оказавшем неоспоримое влияние на всю нашу эпоху. Небольшая анонимная подборка его притч и афоризмов мгновенно разошлась. К счастью, почти вся она вошла в очерк Дж. Марка и в более обширные труды Мэтью и Лукаса (который, к сожалению, не закончил второй части). Однако и Дж. Марк, и Лукас писали с чужих слов. Теперь перед нами труд близкого ученика, поистине изобилующий свежим материалом.
>
> Со свойственным ему чутьем автор почти не повторяет того, что уже известно, кроме тех случаев, когда ему приходится располагать события в хронологическом порядке (признаемся, что в прежних очерках хронология явно хромает). Так, он ясно говорит нам, что за три последних года герой книги был в Иерусалиме по меньшей мере дважды; среди прочего, это позволяет прояснить детали, связанные с его арестом. Становится ясно и то, что синедрион допрашивал его два раза. Немало новых эпизодов. Теперь мы можем разобраться в несколько загадочных делах, связанных с Вифанией, о которых ходили толки, возбуждавшие нездоровое любопытство. Однако, пока оставались в живых родные м-ра Лейзера, приходилось недоговаривать.
>
> Самое интересное и важное в книге — беседы ее героя в храме и личные наставления ученикам. Естественно, и по темам, и по стилю они отличаются от разговоров со смешанной аудиторией. Материал, приведенный автором, показывает нам и высочайший умственный уровень героя, и его поистине поразительные притязания. Комментируя соответствующие высказывания, автор проявляет недюжинную образованность и дарует нам незаменимые свидетельства очевидца.
>
> Наконец, без всяких сомнений, он — прирожденный писатель, что, согласитесь, встречается редко. Он умеет передать беседу, не греша против точности и лаконичности. Его зарисовки (скажем, превосходная сценка у Силоамской купели, со слепым) — истинные шедевры неназойливого юмора, а трапеза в верхней комнате, визит вместе с С. Питером к пустой могиле и встреча у Тивериадского озера описаны с неподражаемой живостью.

Смотрите, как все гладко на привычном газетном жаргоне! Тут мы легко принимаем неувязки, тут мы не считаем «чем раньше, тем достоверней», что худо-бедно годится для фольклора, но не для биографии. Обычно первые записи принимаются условно, в ожидании, что взвешенные оценки появятся позже, когда многие перешагнут за пределы огорчительных сплетен, когда утихнут страсти и боль, возникнут покой и ясность.

Какая жалость, что библейская критика возникла в то самое время, когда текст не столько разбирали, сколько разрушали, терзая Гомера, сводя Артура к каким-то «кельтским элементам», определяя ценность манускрипта механически, по совпадениям слов! Ученые приняли совет археолога Дидрена: «Сохраняйте что можете; пореже чините; никогда не восстанавливайте». С Библией расправлялись яростней всего, очень уж надоела вера в ее полную боговдохновенность. И все-таки корень бед, мне кажется, в том, что рухнул догмат. Даже для христиан Христос — не совсем *настоящий*, и нереальность эта перекинулась на Его биогра-

фов: они — *не настоящие писатели*, а евангелисты. Если кто-то с кем-то не согласен, он лжет, или все они лгут, словно Христос говорил все только один раз. Не мог же Он, как любой учитель, повторять, вбивать в голову! Те беседуют с людьми, а Он — с библейскими персонажами.

Не мог он и делать того, что не описано. Дважды сказано, что Он плачет, ни разу — что Он улыбается; значит, Он вообще не улыбался. С таким же успехом можно вывести, что Он не благодарил. А вдруг обычные знаки вежливости потому и не упомянуты, что обычны? Слезы как-никак «чрезвычайное происшествие». Конечно, теперь мы пишем иначе, и в нашей газете прочли бы:

УЛЫБКА ПРОРОКА

Известный пророк из Назарета любезно улыбнулся, сообщая невысокому человеку, взобравшемуся на смоковницу, «что зайдет к нему пообедать».

Лука, однако, пишет: «Иисус <...> увидел его и сказал ему: Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня Мне надо быть у тебя. И он поспешно сошел и принял Его с радостью». Вежливость подсказывает, что, притязая на гостеприимство, не стоит хмуриться, а принимают с радостью тех, кто хотя бы любезен. Но то *настоящие* люди!

«Полностью Человек, с человеческим разумом и человеческим телом»...[1] Ах, если бы Кир хоть время от времени переходил из Геродота в Библию, а то не сойдутся концы и не рассеется ересь!

Божественная комедия

Я два раза слышала, как два разных режиссера, ставивших разные пьесы, говорили так: «Ну, дорогие мои, скажу одно. У нас тут... м-м-м... Бог, Христос, всякие ангелы, но вы уж говорите *нормально*, как в обычной пьесе. Не тяните, не завывайте. Попроще, попроще!»

Труппа вдумчиво кивала, оживая духом. Все приготовились к «такой вот манере», но если сам режиссер просит говорить нормально, им же лучше. Актер — существо покладистое.

Заметьте, оба режиссера знали, что без предупреждения не обойтись. Только упомяни Христа, и тон станет многозначительным, жест — важным, диалог едва поползет. «Вот я и думаю, — говорит режиссер, — надо их предупредить, а то потом не сдвинешь».

Многие из нас так и не сдвинулись. Библию читают в церкви, где голос беспомощно борется с архаизмами, важностью, пышностью, безмолвием толпы, особой гулкостью храма. Чем красивее и внушительней ее читают, тем нереальней она звучит. Нереальней всего речи Христа. Что ни слово — «крылатое выражение», взвешенное, веское, отягощенное всем богатством толкований и свершившихся пророчеств. Вот уж поистине, *никогда человек не говорил так*[1]! Мы это чувствуем — но не в том смысле, который подразумевает Евангелие. Мы чувствуем это потому, что речь Его утратила всякое сходство с человеческой речью.

Английская цензура запрещает изображать Христа на сцене. Может быть, это очень разумно; но пьесы о Нем становятся уж совсем призрачными. Людей там, в сущности, нет — кто-то входит, уходит, мелькает. Если бы наш театр обрел свободу средневекового действа, лучше всего было бы взять на главную роль хорошего, умного актера. Тогда встало бы в фокус все богословие. Сцена — идеальная проверка. Загадки и неувязки, которых не заметишь в чтении, бросятся в глаза, а могут и слиться в Аристотелевом единстве. Если персонаж это выдержит, он выдержит что угодно.

Всем упрощениям придет конец. Мы как-то да соединим «доброго Боженьку» и гнев Агнца. Мы не сможем разделить Бога и Человека водонепроницаемой перегородкой, ведь играет их один и тот же актер. Мы скажем ему: «Если в первой сцене вы словно с открытки сошли, как вы будете срезать провокаторов, бранить фарисеев, выгонять из храма торговцев? Слишком резкий перепад. Значит, надо заранее включить все это в характер. Движения, побольше движения, каждую минуту вы меняетесь, в вас — так сказать под коркой — зверский запас огня, энергии. Да люди бы просто не пошли за вами, если бы вы не были таким... ну, как это?.. живым, заводным, что ли.

А вы не могли бы выжать еще что-нибудь из этой последней фразы? «Мертвые воскресают, *нищим несут Благую весть*»[2]. Слышите? Он ведет к тому, что *это* — самое большое чудо, но если вы как-то не подчеркнете, они не заметят и не передадут Крестителю! Вот они, стоят, смотрят, удивляются чудесам и знамениям, а вы им и преподнесете... Нет, мягче, может — чуть-чуть улыбнуться. А вы, ученики, подыграйте, вы ведь об этом и не думали. Так... Ученики ушли, перед вами — толпа, глупая, сует-

[1] Слова о Христе из так называемого «Афанасиева символа веры», который приписывали св. Афанасию Великому.

[1] Евангелие от Иоанна, 7, 46.
[2] В синодальном переводе — ошибка («Нищие благовествуют»); Евангелие от Матфея, 11, 5.

ная... Таращится на знаменитостей, сама не знает, чего ей надо... И тут как-то все меняется, вы опять кроткий, смиренный — если только люди искренни и честны... Да, конечно, все страшно сжато... очень трудно, очень.

Теперь — про верблюда и комара. Он *шутит*. А вы все постарайтесь реагировать так, как будто не слышали этого тысячи раз по воскресеньям. Сыграйте им: вот, старательно процеживаем, теперь — глотаем эту волосатую, горбатую махину... Толстый горожанин должен фыркнуть, женщина — захихикать... Нет, законник не смеется, он шокирован, хотя чего и ждать от обжоры и выпивохи!

Да, да, вас очень огорчит богатый юноша... Навряд ли вы все заранее знаете, тогда выйдет притворство какое-то... У вас человеческий разум, «Афанасиев символ веры» прямо говорит: «Полностью Человек, с человеческим разумом и человеческим телом». Так что играйте просто».

(Видите? Если мы воспринимаем Христа как реальную личность, мы тут же угодим в богословие — но на сцене не изобразишь споров о кенозисе или монофизитстве. Придется перевести их на язык жизни и действий — *как выглядят* две Природы, как мы их воспринимаем. Уже нельзя сказать: «Это — тайна», — и махнуть рукой. Иисус, о котором пишет Евангелие, не был ходячей загадкой, Он был личностью.)

«Конечно, вы все время — Бог, но не так, как может показаться, когда читаешь сухие богословские книги. Это скорее... ну, представьте человека, который знает, что он необычайно талантлив. Он исходит из этого в обычных действиях, но не думает об этом, не держит в сознании. Вот когда бросят вызов, когда заденут его верность этой реальности, она вынырнет из глубин и Христос с совершенной убежденностью произнесет: Я ЕСМЬ»[1].

Да, все это очень приблизительно, но мы хоть капельку ближе к истинной жизни. Лучше ли, когда ее вообще нет? Недавно оказалось, что в нашей христианской стране многие дети просто не знают, что было с Христом. Мы ахнули — но и подумали, как же воспримут Его историю эти непаханые души? Понравится она им? Тронет их? У них хотя бы нет предвзятых мнений. Так что ж, мы потрясем их или успешно сделаем такими же скучными начетчиками? Очень трудно опознать удачу, когда она приходит в одежде беды; но если мы заразим малых сих нашей сонной болезнью, лучше бы повесить жернов на шею. Нас пугает их неведение? Иногда оно полезно. Плохо ли посмотреть «Гамлета», ничего о нем не зная?

Примечание. Когда я это написала, Би-би-си дало мне возможность поставить именно такой опыт. Судя по тому, как приняли пьесу, публика считает, что он нужен.

Перевод с английского Н. ТРАУБЕРГ

[1] Евангелие от Иоанна, 8, 58 — считается, что здесь Иисус произносит сокровенное имя Бога, которое передается в наших Библиях как Ягве или Иегова.

■

ДЖОН АПДАЙК

ЧТОБ КАМНИ СДЕЛАЛИСЬ ХЛЕБАМИ

Норман Мейлер и искушения Христа

Библия напоминает прежде грозного, а ныне беззубого льва, его можно ласкать и дразнить — он не выпустит когтей, потому что когти на могучих лапах давно стерты. Некогда священный текст стал забавой для ученых и поэтов: даже на моих полках среди недавно полученных книг скопились стихотворные, в традициях иудаики, версии Бытия и Исхода (автор Эверетт Фокс) и Песни Песней Соломона (сочинение Ариэля и Ханы Блох). Семь лет назад Давид Розенберг — по его собственным словам — «восстановил и перевел утраченную Еврейскую Библию», под названием «Книга И.». Библия эта, как полагает он сам вместе с Гарольдом Блумом, была написана женщиной. В изданной в 1993 году «Утраченной Книге Рая» он предлагает нам еще более гипотетическую реконструкцию произведения, оригинал которого либо утерян, либо «заклятием обречен на забвение». Начинает автор со слов Адама, причем строки сцентрированы — как стало модно со времен «явления компьютера народу»:

Дыханьем разговор ведем,
вдохновлены —
губами губ коснуться,
пить
из тех глубин,
где слово, точно семя,
томится, вызревая, — до поры,
когда услышит зов.
Так жду тебя, и зов твой
касаньем губ
во мне запечатлен...[1]

Что ж, возможно, он и прав, хотя смысл, проступающий из этого «пратекста», смахивает на витиеватое, но вполне современное послание на День всех влюбленных. Кстати, чтобы потакнуть ревнителям равенства полов, канонические библейские тексты проходят теперь суровую цензуру: Богу положено быть разом и мужчиной, и женщиной, то есть существом бесполым. И это в совершенно патриархальной Библии! Во время церковных служб различных христианских конфессий все местоимения мужского рода убираются или теряют родовые признаки. Избавив Книгу от цепей, что приковывали ее к аналою и к латыни, Лютер отдал ее на откуп сочинителям, и все они — от Казандзакиса до Лагерквиста — так и норовят ущипнуть ее побольнее. Совсем недавно, в прошлом году, Уолтер Уангерин-младший опубликовал толстенный, на восемьсот пятьдесят страниц, пересказ под названием «Божья Книга: Библия-роман». Другой романист, Рейнольдс Прайс, потрудился изучить греческие тексты и представил их продуманные изложения «Доступный Бог» (1978) и «Три Евангелия» (1996). В последнюю из названных публикаций он включил свои полные переводы Евангелий от Марка и Иоанна, а также некое третье произведение, «Апокрифическое Евангелие», которое синтезировал сам. А теперь и Норман Мейлер представил читателям жизнь Иисуса в форме автобиографии и назвал ее «Евангелие от Сына Божия» (изд-во «Рэндом хаус»).

Среди многих бесспорно замечательных качеств этого литератора есть одно неувядающее свойство: он умеет увлечься темой и быстро стать знатоком почти в любой области человеческого знания. Древние египтяне, ЦРУ, Ли Харви Освальд, Пабло Пикассо, астронавты, боксеры-профи, секс, политика — все это и многое другое стимулирует его органы вербализации. Но все же пересказ Евангелий от лица Иисуса Христа застал врасплох даже самых ретивых почитателей Мейлера. В интервью для журнала издательства «Рэндом хаус» «Эт рэндом» Мейлер поведал читателям, что пришел к этой теме благодаря своей нынешней жене, которая выросла в баптистской общине Доброй воли в штате Арканзас. Наезжая в гости в ее родной городок, он посещал с тестем уроки Библии для взрослых в молельном доме. На еврея Мейлера там взирали как на диковину и обращались к нему с «забавным почтением»: попросили даже пролить свет на отдельные стихи из Нового Завета, смысл которых эти безыскусные христиане понимали не вполне. Сам Мейлер, прочитав Евангелия, нашел их «в отдельных местах замечательными», «но там, где глаз не падает на гениальную фразу, проза выглядит пресной, а само повествование безнадежно противоречивым. Поэтому я решил, что

---

[1] Перевод Т. Тульчинской.

Reprinted by permission; © 1997 John Updike
Originally in The New Yorker. All rights reserved.
© О. Варшавер. Перевод, 1998

этот удивительный сюжет необходимо изложить заново, причем как следует». Кто же исправит огрехи и ляпы, пропущенные литературными комиссиями ранних христиан? Разумеется, сам Норман Мейлер. И он сказал себе: «Если я смог написать об Исиде, Осирисе и Ра, вряд ли Новый Завет окажется намного труднее».

И ошибся он лишь отчасти. Его евангелие написано несложным, достаточно вольным английским языком, но осанистое необиблейское величие текста внушает жутковатый трепет. Порой предложения чересчур просты («Мы ели и веселились»; «Он в слезах вышел вон. Он плакал»), другие же, наоборот, чересчур витиеваты («В глазах моих, точно стражники на часах, стояли слезы»), но в целом тон выдержан и звучит вкрадчиво-убедительно. Откуда, собственно, льется благостный голос-дух Иисуса, возможно, лучше не вникать, но Мейлер берет этот тон с самого начала. Его Иисус жалуется на преувеличения и неточности, которые встречаются в Евангелиях, написанных «спустя много лет после моего ухода», а потом сообщает читателям: «...Я решил изложить свою историю сам. Тем, кто непременно спросит, как слова мои попали на страницы книги, отвечу: считайте это еще одним маленьким чудом». Иисус намерен исправить все неточности, хотя сам отнюдь не уверен, что такая задача окажется ему по силам. Он лишь надеется «не погрешить против истины» — в отличие от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, которые «стремились увеличить число своих приверженцев», как евреев, так и язычников.

Обзорное Евангелие от Мейлера занимает двести сорок две страницы. Оно в пять раз длиннее «Апокрифического Евангелия» Рейнольдса Прайса и оставляет впечатление более глубокое. Прайс предпринял попытку поверхностного, некоренного пересмотра текстов, ввел в традиционное повествование несколько поэтических деталей: явление Христа Иуде после воскресения; танец, завершающий Тайную Вечерю; несколько штрихов фрейдистского толка при описании сорока дней в пустыне. Кое-что из этих дополнительных красок Прайс почерпнул из апокрифов, неканонических Евангелий от Фомы и Иакова. Мейлер же на удивление точно придерживается канона: его добавлений и внезапно высвеченных деталей не найти в эзотерических текстах, они порождены его собственной творческой фантазией.

Его Иисус — самый настоящий плотник, и четырнадцать лет, прожитых им в подмастерьях у Иосифа, описаны автором с большой любовью. Попытки Иисуса найти «общий язык с древесиной» сквозной метафорой перерастают в его служение Господу и эхом отзываются в конце его земного пути, когда он с обидой взирает на сужденный ему крест, грубо сбитый из сырых, необструганных досок. Он и его семья — ессеи, иудейские сектанты. Мужчины-ессеи всегда облачены в белые одежды, неукоснительно соблюдают обряды и ведут крайне целомудренную жизнь, что, впрочем, не мешает Иосифу зачать четырех братьев Иисуса. Однако принадлежность Спасителя к секте разрешает вопрос, занимающий умы многих исследователей: степень его сексуальной активности.

Этот Иисус «томится среди ночи плотским соблазном». Но Бог укрепляет его целомудрие на примере Соломона, чья вера пошатнулась из-за наличия семисот жен и трехсот любовниц. Дьявол в пустыне обвиняет Бога Отца в том, что он тайно вожделеет к Иезавели, а позже Иисуса бросает в жар при встрече с Марией Магдалиной. В этот миг в его голове все летит кувырком, все образы, вся антология библейской эротики проносятся перед его мысленным взором, но Иисусу удается разобраться в истинной сути блудницы: «...все-таки одна половина ее была кроткой, и этой своей половиной она принадлежала Богу». Мейлер комбинирует два самых известных суждения Иисуса о плотском соблазне довольно рискованным образом: с одной стороны, терпеливое приятие в Евангелии от Иоанна («...кто из вас без греха, пусть первым кинет камень»[1] в женщину, которую застали в прелюбодеянии), с другой — очень резкая мысль в Евангелии от Матфея (которая впоследствии подвигнула многих и многих на самокастрацию): лучше лишиться части своей, «нежели быть целиком ввергенным в геенну огненную». Прелюбодеи найдут в евангелиях и прощение, и проклятие — смотря на какую страницу заглянут. Не то авторы евангелий имели разное на сей счет мнение, не то мысли самого Иисуса были в полном разброде, что, впрочем, доказывает его земную, человеческую природу.

Мужское начало Мейлера, его восприятие действенной силы как некой текучей материальной субстанции, отлично срабатывает в различных эпизодах исцелений. В интервью журналу «Эт рэндом» Мейлер говорит, что он, известный, признанный мастер, ощущает себя «наполовину человеком, наполовину кем-то еще». Эта двойственность, чувство «человека в человеке» берет верх, когда Иисус, постоян-

---

[1] Поскольку Н. Мейлер, а за ним и Дж. Апдайк осовременивают язык Нового Завета, в русском переводе цитаты даны не по синодальному тексту, а по изданию: Новый Завет, перевод с греческого, World Bible Translation Centre. Вена, 1989. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

но сомневаясь в своих возможностях и предназначении, неуверенно впускает в себя поток божественной мощи. Некоторые чудеса получают вполне рациональное объяснение. Например, хлебы и рыбы появились в нужном количестве благодаря тому, что имевшийся хлеб и три вяленые рыбки разделили на крошечные кусочки. Первое же Иисусово чудо, превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, реконструировано довольно странным образом. Согласно Библии, мать просит его совершить чудо, а в ответ слышит упрек: «...женщина, почему ты мне это говоришь? Мое время еще не настало». У Мейлера же Иисус не говорит Марии ничего, лишь молча съедает спелую виноградину, «напряженно думая о Духе, что живет внутри нее», и превращает воду, налитую в кувшины, в вино. Позже, пытаясь одолеть море людских страданий, этот творец чудес периодически лишается божественной силы и впадает в прострацию. Акты исцеления чреваты окончательной потерей силы, они даются ему тяжело и отнюдь не обречены на успех. Когда в Иерусалиме к Иисусу обращается слепой от рождения человек, Спаситель выглядит до смешного растерянным:

Взглянув на слепца, я даже не понял, с чего начать: по бокам его носа не было хотя бы незрячих глаз. Лишь две щели темнели под бровями.

— Я верую, — воззвал я к Отцу. — Помоги моему неверию.

В конце концов, растерев слюну с землей и замазав несчастному глазные щели, Иисус его исцеляет, но фарисеи не верят чуду и избивают бывшего слепца, когда он настаивает на реальности происшедшего. Над головой Иисуса сгущаются тучи. Постоянное ощущение опасности, хрупкая ненадежность творимых чудес, смутный, не вполне постигнутый самим Иисусом удел — все это вплетено в ткань евангелия от Мейлера с первых строк. Само рождение Иисуса влечет за собой кровавую бойню и смерть невинных, а Спасителя всю жизнь потом преследует «душевная тяга к умерщвленным в Вифлееме младенцам», он неотступно думает «об этих детях и о непрожитых ими жизнях».

Мейлер пишет от первого лица, старательно напоминая нам, что мы — внутри Иисуса и смотрим на мир его глазами. То-то было бы чудо, если б нам и вправду удалось в это уверовать! Однако, возьмись автор детально прописать портрет центрального персонажа, перемежая отрывки из Нового Завета, пересказанные от третьего лица, с повествованием от первого лица, он обязан был бы ответить на вопрос, который гложет самого Иисуса: кто же он? Всеведущий Бог или обреченный на ошибки смертный, который неуверенно нащупывает путь к своей мученической кончине? Будь Иисус абсолютно всеведущ, он решал бы извечную шараду жизни иначе: холодно и бесстрастно. Однако не осененный неким вселенским даром предвидения, он вряд ли заслуживал бы поклонения. Раннехристианские конфессии придерживались в этом плане самых разных взглядов: докеты полагали, что Его тело было бесплотным видением; адопциане считали его простым смертным, которого Господь сделал приемным сыном. Западная, католическая ветвь христианства стояла за его человеческую сущность, восточноевропейская православная церковь молилась отстраненному, иконоликому Христу Пантократору. В 451 году на IV Вселенском соборе[1] был выработан устоявшийся ныне догмат, который соединяет обе природы Христа и потому взрывоопасен: «Совершенный в Божестве и совершенный в человечестве... неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемый...» Четырьмя веками ранее апостол Павел прекрасно сформулировал квинтэссенцию этой тайны в «Послании к филиппийцам»: «Хотя был Он Богом по природе Своей, но не держался за это Свое равенство с Богом, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человеком». Без этого уничижения страдания Иисуса не были бы истинными, да и ответ, который дает христианство на теологический вопрос о сущности страдания (Бог сошел, чтобы страдать вместе с нами), никого бы не убедил.

Всем верующим христианам предлагается почитать человека, который ведал усталость и слабость, а порой даже плакал; который под настроение обрек на погибель фиговое дерево; который основал свое учение фактически на игре слов; который отверг столетние традиции иудейских обрядов; который якшался со сборщиками подати и женщинами сомнительной репутации; который постоянно донимал учеников вопросом «Кто я?»; который умолял Господа избавить его от грядущих страданий и который, уже на кресте, упрекнул Бога за то, что Тот его покинул. Именно такой Иисус, живой человек, смертельно надломленный выпавшей на его долю нечеловеческой миссией, и действует на страницах этого евангелия, написанного скептиком Мейлером, евреем, который не думал креститься, чью мать в детстве (как он признался в интервью «Эт рэндом») одноклассники-католики в ирландском районе Нью-

[1] Халкидонский собор.

Джерси обзывали «убийцей Христа». Мать так до конца жизни и не понимала, как может ее сын дружить с ирландцами.

В «Евангелии от Сына Божия» с начала до конца сохраняется уравновешенная благостность. В этом удивительная сила и, возможно, слабость книги, которую тесть Мейлера, баптист, будет, как мне кажется, читать без напряжения. Не то что другие биографии Иисуса (как, допустим, вышедшую из-под пера А. Н. Уилсона), где повествование беспрестанно прерывается колкими насмешками и гипотезами вроде «что было бы, если...». В эту книгу органично включены все основные сотворенные Христом чудеса, вплоть до воскресения. Мейлер, в чьей прозе не единожды поселялись мистические эманации, вполне по-свойски управляется с библейскими бесами, а Сатане отводит большую роль со словами. Теологически Мейлер тяготеет к манихейству; его Иисус, к примеру, говорит в послесловии: «Бог и Маммона по-прежнему стремятся завладеть людскими сердцами. Но, поскольку силы у борцов примерно равные, торжествовать победу ни Бог, ни Сатана не могут». Манихейство, разумеется, старая, почтенная ересь, которая пытается оправдать плачевное состояние человечества слабостью Бога. Кстати, Мейлер приравнивает Сатану к Маммоне по собственному почину. На самом деле «маммона» вовсе не божество, на арамейских языках это слово означает «богатство».

Иуда у Мейлера — радикал шестидесятых годов, отпрыск богатой семьи, который вырастает в воинствующего социалиста. «Я ненавижу богачей, — говорит он Иисусу. — Они нас всех отравляют. Они тщеславны, недостойны, они не отзываются на упования тех, кто от них зависит. Они лгут беднякам, вся их жизнь проходит во лжи». Иуда становится учеником Иисуса не потому, что верит в обещанное им спасение, а потому что посулы Христа воодушевляют бедняков. Оснований для такой концепции у Мейлера немного, лишь несколько строк в Евангелии от Иоанна (12,3-5). Когда Иисус позволяет растереть себя нардовым миром (конец эпизода ищи в Иоанне, начало — в Марке и Матфее), протестующий глас поднимает именно Иуда. Он заявляет, что драгоценное масло следовало продать, а деньги раздать бедным. В евангелии от Мейлера Иисус впадает от нарда в сладостную истому, а Иуде говорит: «Нищие всегда с тобой. Ты сделаешь им добро всякий раз, когда только сможешь. Я же с тобой не навсегда». Иуда после этого уходит и готовится предать Учителя. Современный евангелист демонстрирует нам моральную дилемму: с одной стороны — внутренний долг перед собратьями-неудачниками, с другой — прекрасная церемония заодно с инстинктивной, эгоистичной радостью бытия. Демонстрирует — и тут же прагматично подтасовывает ответ. «Много путей ведут к Богу, — пишет он. — Истина является порой лишь на мгновение, это не мешает ей быть истиной».

Канонические Евангелия сурово скупы, их авторы не хотели или не умели дать событие крупным планом, высветить его кинематографически, чего подспудно ждет от текста человек современный. В Евангелии от Марка эпизод распятия предваряет сцену, в которой безымянные римские солдаты разыгрывают конфискованную одежду: «Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять». Однако в сравнении с этим штрихом любые средневековые и современные описания — дешевая мелодрама. И, как мне кажется, у Мейлера сцена распятия тоже снижена до кича из-за добавленных им деталей. Боль вызывающе расцвечена: «...небеса раскололись надвое. В голове, внутри черепа занялся огонь, он разгорался, делился на радужные цвета; моя душа исходила сияющей болью». Помимо известных семи высказываний Иисуса, сделанных на кресте, читатель встречает — среди метафорической лавы и молний — следующий слащавый диалог:

Я крикнул Отцу:

— Ужели не даруешь хоть одно чудо в этот час?

Отец ответил, и вой ветра донес Его ответ в самое мое ухо, заглушая боль:

— Ты отвергаешь мой суд?

— Никогда, — ответил я. — Покуда дышу — никогда.

Но мучения не оставляли меня. Даже небо корчилось в муках. И боль пронзала меня, точно молния. Заливала, точно лава. И я снова воззвал к Отцу:

— Одно чудо!

Что ж, критику — особенно ленивому — самое время отослать читателя к Библии (короля Якова)[1], а на любой свежий, горячечно-пылкий пересказ лишь презрительно поморщиться. Однако Мейлер, при всей его пылкости, при всей необычности отдельных акцентов и оттенков, все же не предлагает нам такой резкий текст, как, допустим, английский писатель Джим Крейс в романе «Карантин». Крейс описывает сорок дней, проведенных Иисусом в

[1] King James' Bible (букв. «Библия короля Якова», 1611). Этот текст до сих пор пользуется наибольшим признанием у верующих в англоязычных странах.

пустыне (испытание, помещенное в трех канонических Евангелиях между крещением Христа и началом его земного служения людям), как удивительный реалист, тонкий знаток быта Палестины при короле Ироде — и абсолютный еретик. Его Иисус — отрок, одурманенный молитвами и видениями, который погибает на исходе тридцати дней жесточайшего, изнурительного поста. При этом присутствуют шесть других персонажей: четыре паломника и ограбленный купец с женой. Все это коренным образом преображает традиционный сюжет и роль Сатаны в этом сюжете. Пересказ звучит вызывающе, он не только не сглаживает грубость отдельных эпизодов Библии, но, напротив, — бесконечно их множит. Крейс мастерски — до осязаемых галлюцинаций — прописывает детали, выказывая при этом изрядную жестокость. В романе всего в избытке: будни древнего мира, полные воровства, избиений, убийственных интимных сношений со зверьем и скотского обращения с женщинами; сомнительные религиозные обряды; ошеломляющая, необоримая красота пустынных гор. Согласно Матфею и Иоанну, Сатана пытался искушать Иисуса, предлагая ему превратить камни в хлеб; Иисус, как известно, отказался, и Крейс также оставляет камням их каменное величие.

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

■

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

«ТЫ ВИДИШЬ, ХОД ВЕКОВ ПОДОБЕН ПРИТЧЕ...»

Иллюзия победившей нерепрессивности или хотя бы готовности терпеливо выслушать мнение, неблизкое установившимся, похоже, только иллюзия, фантом из тех, что особенно укореняются, поскольку очень хочется в них поверить. Но, как все фантомы, он недолговечен: разразившийся нынешней зимой скандал с фильмом М. Скорсезе «Последнее искушение Христа», показанным по нашему телевидению, лишний раз продемонстрировал, сколь непросторны границы утвердившейся в обществе толерантности. Негодующие письма в газетах, протесты Патриархии, попытки добиться запрета, не исключая угрозы преследования по суду, — до чего все это напоминало сценарии публичных расправ над «идейно чуждыми», которые регулярно происходили в советские времена.

Не помогла предусмотрительность создателей картины, которые предпослали фильму разъяснение, что он, как сказано в титрах, основывается не на Евангелии, но всего лишь представляет собой «художественное исследование вечного духовного конфликта». Аффектированная скромность целей ничуть не защитила творение Скорсезе от яростных нападок, причем слово «кощунство» было далеко не самым обидным. Разбушевавшаяся стихия возмущения сблизила, сделала практически неразличимыми голоса обличителей, которые в другой ситуации смотрели бы друг на друга как на непримиримых антагонистов. Рупор интеллектуалов — парижская «Русская мысль» чуть не дословно повторяла рупор охотнорядцев — московский «Русский порядок». Фантастический консенсус, который, впрочем, можно было предсказать наперед. Ведь и на Западе кампания против Скорсезе объединила людей, ни в чем не схожих между собой.

Как все такого рода акции, эта кампания привела только к тому, что фильм вызвал резонанс, которого вовсе не заслуживал по своему творческому уровню. Это откровенно скучная картина, не более чем профессионально сделанная мыльная опера, пытающаяся скрыть тривиальность идеи дешевыми шоковыми приемами и отталкивающая главным образом безвкусицей, слишком заметной, когда выбран настолько ответственный сюжет. Фильм наверняка бесследно растворился бы в потоке такой же стандартизованной продукции, если бы в нем не затрагивалась священная история. Но само прикосновение к этой истории даже сегодня, когда ведется столько разговоров о ценностях демократии и плюрализма, немедленно провоцирует желание подавить, остановить на самом пороге или уж по меньшей мере прямым и грубым вмешательством откорректировать мысль, вторгшуюся в запретные сферы.

Тем не менее вторжение продолжается вот уж который век, каким бы святотатством оно ни выглядело для убежденных, что в Библии нельзя переменить ни одной буквы. Дополнительным свидетельством активности, с какой литература осмысляет сакральные мотивы, могут послужить тексты, публикуемые в этой журнальной книжке: роман португальца Жозе Сарамаго, на склоне лет добившегося мирового признания, и главы из романа хорошо у нас известного американского прозаика Нормана Мейлера (кстати, сколько раз за свою долгую писательскую жизнь он выслушивал упреки именно в покушении на святыни и в беспредельном цинизме!). Обе книги, написанные совсем недавно, пополнили большой список произведений, касавшихся тех же самых материй. Это очень престижный список. Даже если ограничиться XX веком, перечень почти наполовину будет состоять из имен бесспорно первого ряда.

Что же всех их — Борхеса и Дюрренматта, Мориака и Булгакова, да скольких других — привлекало в истории, изложенной четырьмя евангелистами и как будто не предполагающей существенных дополнений? Ответ напрашивается: бездонная глубина этического смысла, который она в себе заключает. Богатство аналогий и параллелей, которые в ней находит для себя каждая эпоха, не исключая новейшей, — только следствие.

А о причине с непревзойденной (по-пастернаковски говоря — неслыханной) простотой сказано в стихотворении Юрия Живаго, которым завершается посвященный ему роман. Заполняя последнюю страничку своей тетради, он пишет «Гефсиманский сад», стихи о «страшном величьи» истины, явленной, когда «час Сына Человеческого пробил». О том, как «душа скорбит смертельно», вглядываясь в «ночную даль... уничтоженья и небытия», о «добровольных муках», о торжестве над предательством и смертью. Навсегда оставшись «дороже всех святынь», эта истина переживалась как откровение не только теми, для кого Гефсиманский сад самая достоверная реаль-

© А. Зверев, 1998

ность, а даже людьми, считающими Евангелие великим явлением культуры, но не больше, — иными словами, воспринявшими его как легенду или как философскую метафору. Можно было кичиться вольномыслием, бравировать своим атеизмом, однако даже насмешникам не удавалось просто выкинуть из головы, словно несущественную подробность почти мифических времен, случившееся две тысячи лет тому назад на Голгофе.

В этом отношении практически ничего не переменил опыт, накопленный с движением истории. Он мог сказываться на характере усвоения евангельских текстов, но, по существу, никогда всерьез не подрывал чувство бесконечной значительности смыслов, которые они в себе заключают. Наоборот, время лишь усиливало это чувство, тоже отозвавшееся в стихах пастернаковского героя: «Ты видишь, ход веков подобен притче...»

* * *

И все-таки существенно, что каждый век по-своему понимает эту значительность, этот главенствующий смысл истории, над которой не властно время. Происходят перемены, порой разительные. Как те, что случились в уходящем столетии.

Чтобы их почувствовать, стоит еще раз обратиться к «Доктору Живаго». Там в первой части действует персонаж по имени Николай Николаевич Веденяпин, университетский профессор, которому отданы мысли, отзывающиеся потом в стихах доктора, навеянных Евангелием. Для тех, кто знаком с русской философией «серебряного века», эти мысли не в новость, но они звучат проникновенно, поскольку выражены с пастернаковской поэтической мощью.

Веденяпин убежден, что не принуждение, не «палка», а музыка всегда поднимала человека над животным, что «неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера» оказались силой несравненно более действенной, чем любые старания усовершенствовать мир, действуя методами циркового укротителя. Но при всем том Евангелие для него не только свод нравственных изречений и заповедей. «Самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности». С Ним кончается «толкучка заимствованных богов», а тот «завал мраморной и золотой безвкусицы», каким был Рим, становится достоянием археологов, и только. Потому что «пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились».

Подчеркнуто человеческий — вот в чем все дело. Сознанию героев Пастернака Христос предстает как «человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо». Он явный антагонист ницшеанских сверхлюдей во всех бесчисленных обличьях этого типа: от Заратустры с его завораживающими пламенными речами, от гамсуновского Карено, пленника высокой, пусть ложной веры, до сошедших с олеографии горьковских босяков и какого-нибудь недоучившегося гимназиста, который в революцию, напялив чекистскую тужурку, лично руководил расстрелами или тушил окурок о древнюю икону.

У других авторов XX века вызов ницшеанству мог совсем не чувствоваться, но в предлагавшихся интерпретациях новозаветных текстов — философских осмыслениях и особенно в художественных — отправной пункт очень часто был тот же самый: с явлением Христа написаны самые первые страницы летописи человечества. Потому что с Ним, как формулирует Веденяпин, «и начался человек».

Может быть, историю новозаветных мотивов в литературе кончающегося века (а она, конечно, когда-нибудь будет написана, слишком богатый материал) так и озаглавят — «Человек из Назарета». Не оттого, что по-настоящему серьезным значением обладает одноименный роман англичанина Энтони Бёрджесса. Как раз его книга скорее говорит о стараниях автора непременно выглядеть оригинальным, чем о действительном своеобразии предложенных решений. Просто ее название очень подошло бы для нескольких произведений, имеющих реальные шансы остаться в истории литературы. Оно вернее любого другого передает их основную мысль. А мысль эта, воплощается ли она в форме беллетризованного эссе, как у Мориака, или в рок-опере, как «Иисус Христос — суперзвезда», обошедшей сцены всего мира, в общем-то одна и та же — мысль о «человеческом, провинциальном, галилейском».

Правда, соотечественник Бёрджесса, знаменитый поэт и романист Роберт Грейвз как бы с вызовом преобладающей тенденции, предпочел назвать свою версию истории Христа «Царь Иисус». Русское издание этой книги появилось год назад, через полвека после английского, и оно слишком явно запоздало. Вся эрудиция Грейвза, все его тщательно подобранные доказательства исторической реальности существования Мессии сегодня оставляют ощущение избыточного труда. Ведь дискуссии на этот счет уже не возникает.

Другое дело — исходная посылка Грейвза, отказывающегося считать происхождение Христа божественным. Для него это именно царь, то есть властитель умов, великий проповедник истин, ставших непреложными. И повествова-

ние чаще всего строится как запись бесед главного героя, поясняющих важнейшие начала философии, этики, веры, зародившейся два тысячелетия тому назад.

Такая композиция кажется глубоко архаичной на фоне иных художественных разработок той же неисчерпаемой темы. Незачем тревожить тени Булгакова или шведа Пера Лагерквиста, создавшего в 50-е годы цикл повестей-притч, связанных с Голгофой («Варавва», «Сивилла», «Смерть Агасфера»). Достаточно назвать хотя бы такое спорное имя, как Пьер Паоло Пазолини. В 1964 году этот итальянский поэт и режиссер снял по собственному сценарию фильм «Евангелие от Матфея», строго говоря, еретический, если придерживаться канонических толкований (от них, впрочем, очень далек и Лагерквист, а ершалаимские главы «Мастера и Маргариты» никто не назовет творением церковного ортодокса). У Пазолини Христос напоминает то сицилийского крестьянина, которого измучила борьба с неподатливой землей, то экзистенциалистского бунтаря наподобие Мерсо из повести Камю «Посторонний», то кого-нибудь из духовных вожаков «молодежной революции», сотрясавшей Европу как раз в те годы, когда снималась картина.

Менее всего этот Христос вызывает ассоциации с образом, возникающим из повествования Матфея. Но — поразительный эффект! — вопреки топорному осовремениванию, вопреки категорическому несогласию с доктриной божественности Иисуса, которого Пазолини хочет видеть как раз земным и узнаваемым, рассказанная с экрана повесть сохраняет пафос высокой притчи. Не дублируя первоисточник, она остается сакральной по своим смысловым доминантам. От Евангелия в ней сохранилось самое главное: восприятие старой истории, происходившей в Галилее, как события, безусловно и первостепенно значительного для всех времен. Оттого и повторяющегося — если не в конкретных деталях, то в идейных и духовных константах. Безотносительно к своим взглядам и верованиям, Пазолини (как до него Булгаков, и Лагерквист, и Борхес) характером художественных ходов способен передать вечность этих констант, а такое удается нечасто.

Вот отчего его фильм, провоцирующий горячие дискуссии, которые почти не соприкасаются с проблемами толкования священного текста, тем не менее очень далек от примитивных аллегорий. Как и от пересказов с долей комментария — вроде предложенного Грейвзом. Английский автор всеми силами старается придать своему роману вид исторического документа и с этой целью вводит повествователя, якобы написавшего книгу по горячим следам изложенных в ней событий: он жил в конце I века, многое еще не успело отойти в прошлое, сохраняясь в виде непритупившихся воспоминаний. Пришествие Христа помнят если не собеседники этого хрониста из Декаполиса, то их отцы и деды. Какие еще требуются доказательства, что описанное в Евангелиях достоверно?

Но для Грейвза оно достоверно только фактологически. И, отделяя Христа-проповедника от Сына Божия, он (конечно, менее всего это было осознанной целью) оказывается в близком соседстве с авторами, которые посвятили свои усилия десакрализации библейских сюжетов, нередко руководствуясь чем угодно, только не стремлением к истине. Идеологическая конъюнктура слишком видна, когда читаешь «евангелия от человека».

* * *

Если доверять декларациям создателей таких евангелий, стимул у них всегда одинаковый: установить факты, покончив с легендой и освободив личность от властвующего над нею мифа. Между прочим, в рок-опере Уэббера и Райса Иуда говорит Учителю о своих намерениях буквально этими же словами.

Анри Барбюс был бы уязвлен, узнав о подобном совпадении, но от него никуда не уйти. Барбюсу, о котором теперь мало кто помнит даже как об авторе «Огня» (уж не говоря — как о воспевателе Сталина), принадлежит несколько книжек, в которых предпринята энергичная попытка отвоевать Христа у «церковников», этих «Иуд Иисуса». Так озаглавлена по-французски самая известная из них, вышедшая в 1926 году. Ее русский перевод появился под заглавием «Иисус против Христа».

Вульгарностью аргументации она вполне заслуживала бы сравнения с писаниями наших отечественных безбожников на жалованье, измучивших несколько поколений студентов, которым приходилось сдавать экзамен по «научному атеизму». Барбюс сочинял свой трактат, поминутно оглядываясь на опыт СССР, где в ту пору выходил журнал «Прожектор» с пузатым подвыпившим старичком Саваофом на обложке, где взрывались храмы, а мощи св. Сергия Радонежского были выставлены на глумление в музее антирелигиозной пропаганды. Понятно, каким могло получиться у него задуманное новое жизнеописание Христа.

Оно, по характеристике автора, представляет собой «Евангелие Реставрации, потому что восстанавливает и возвращает Иисусу его убогую и в то же время великую роль, а людям — истинное их величие, отнятое у них религией». Этому Иисусу было вменено в обязанность восставать против угнетения, пробуждая в последователях классовое самосознание и ведя

обездоленные массы на штурм твердынь теократии, подпираемой денежными мешками. Его казнь оказывалась расправой эксплуататоров над революционером, и, приступив к переделке своего трактата в пьесу, Барбюс счел совершенно естественным, чтобы сцена Голгофы шла под аккомпанемент «Интернационала». Все это сопровождалось многократно повторяемыми заверениями, что перед читателями и зрителями наконец-то появляется истинный, «исторический» Христос, который, разумеется, не был и не мог быть Богочеловеком. Он был просто человек, старавшийся облегчить и улучшить жизнь социальных низов.

За вычетом этого последнего уточнения («Интернационал», как и «Дубинушка», тоже предполагавшаяся в качестве музыкального контрапункта, были лишь данью эстетике, переменившей марксизм с футуризмом), барбюсовский текст оказывается, если присмотреться, концептуально родственным тому, под которым стоит имя Грейвза, совсем далекого от любой — идеологической ли, политической или только литературной — левизны. И оба эти текста вряд ли заслуживали бы теперь внимания, если бы за ними не проступала целая тенденция. «Евангелие от человека» — в своем роде жанр, прививший в культуре очень прочно и числящий за собой столетие с лишним активного бытования. Его модификации распознаваемы по сей день (повесть Мейлера — лишь одно из многих подтверждений), а значит, сохраняется потребность в нем, то есть сохраняется некий общественный запрос.

Понять его не так уж сложно. Необходимость тем или иным способом соотнести свой индивидуальный или поколенческий опыт с этическими категориями, которые универсальны и вечны, сохраняется всегда, в каких бы специфических формах она ни проявлялась. Даже в годы антихристианского бешенства оставалось тайное желание подкрепить высшей нравственной санкцией сами акты поругания верований и святынь. Так что писания большевика Барбюса, вдруг занявшегося переложением Евангелий, были вовсе не курьезом — власть, искоренявшая «поповщину», хотела, чтобы эти ее действия санкционировал «Иисус-борец». Еще прозрачнее побуждения авторов, обращавшихся к истории Христа не с пропагандистским заданием, а с целью почерпнуть в ней аналогии происходящему здесь и сейчас. Когда дело касалось событий, на которых лежит печать величия и трагизма, возникавшая параллель сразу же давала ощутить их действительный масштаб.

Другое дело, насколько такая параллель органична и оправданна. Ложная нота в подобных случаях особенно заметна, а когда описываются эпизоды, ключевые для хроники уходящего века, малейшая фальшь уподоблений делается непереносимой. У Юрия Нагибина есть рассказ о последних днях Мандельштама, которые он пытается воссоздать как беллетрист, опираясь на художественную интуицию. И в этом рассказе настойчиво возникает парафраз евангельского сюжета. Но автору мало прямых соотнесений, он старается усилить драматизм до предела. И, словно не догадываясь, что для смертного, будь он хоть гением, подобный контекст невозможен, выводит недрогнувшим пером: «Его Голгофа была едва ли не страшнее Иисусовой... Он взошел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось...» Впрочем, эта безвкусица едва ли удивит знающих, как Нагибин чаще всего использовал сакральную образность. Она ему пригодилась даже для бичевания инициаторов знаменитой антиводочной кампании эпохи «перестройки». На страницах той же книжки, где помещен его мандельштамовский этюд, автор не упустил случая помянуть «лжечудотворца», который «превратит все вино в воду, иссушит, изведет лозу».

Прежде той же самой евангельской притчей пользовались, чтобы изобличить маловеров и воздать по заслугам всем, кто наделен духовной мощью, необходимой для преобразования действительности. Нагорная проповедь использовалась с теми же целями еще активнее. Сочиняли «новое евангелие» для пролетариата, перефразируя пятую главу Матфея, которая начинала звучать так: «Блаженны бедные, ибо им нечего терять и они все приобретут... Горе вам, богатые, ибо вы потеряете все». С началом «перестройки» вошло в обычай морально просвещать одичавшую паству, и опять пригодилось наследие евангелиста, которого перелагали на современный лад: «Не помысли народ свой врагом других народов... ищи в науке только истину». И т. п.

В таких случаях, конечно, всего любопытнее уверенность, что подражать Матфею, заимствуя, а коли потребуется, и подправляя, — дело самое обыкновенное. Другого мнения был Франсуа Мориак, автор «Жизни Иисуса», написанной еще до войны, — книги-реконструкции, оставшейся среди многочисленных книг такого рода одной из наиболее убедительных по творческому результату. Идею «пятого евангелия», которое фактами и сентенциями дополнило бы канон, легко в него вписавшись ввиду тождества стилистики, французский прозаик отверг со всей решительностью. Для него Новый Завет — это, помимо всего остального, литературно законченный, а стало быть, неприкосновенный памятник. Однако в нем постоянно чувствуются недоговоренности и даже лакуны, особенно в том, что относится к

«истории совершенно определенного Человека», к «психологическому образу». Читая евангелистов, каждый создает для себя этот образ самостоятельно. Ведь их пояснения и подсказки немногочисленны, а подчас противоречат друг другу. Во всяком случае, все четверо, даже Марк, сказавший о Человеке больше, чем другие, оставляют простор для домысливания. А значит, и для писательского воображения.

Хотя в романах Мориака нередко чувствуются скептичный ум и галльский юмор, он был католиком, без малейших колебаний признающим божественность Христа. В отличие от своего соотечественника Эрнеста Ренана, чья «Жизнь Иисуса», одна из самых нашумевших книг девятнадцатого столетия, положила начало стойкой традиции толкования Евангелий как «сказаний», Мориак неизменно видит в них сакральную историю, но такую, которая остается незастывшей, недоконченной. Она остается новой для каждого поколения, потому что каждое поколение читает ее, отталкиваясь от реалий собственного времени и от его духовных потребностей.

Мориак прочел эту историю глазами человека, которому выпало жить в годы если не кризиса христианских ценностей, то все отчетливее проступавшего неверия в то, что они остаются действенными в мире, уже испытавшем одну вселенскую катастрофу и стремительно приближающемся ко второй. Время, когда написана книга, которую можно воспринять и как биографический роман, и как философский очерк с опорой на новейшие научные данные, чувствуется в ней постоянно, но это не осовременивание, как у Пазолини. И не поверхностная аллегория, не натужные аналогии, которые должны возвысить злободневное, придав ему статус вечного.

Скорее это форма самопознания, становящегося и последовательным, и необманчивым, оттого что оно осуществляется в прямом соприкосновении с той мудростью, которая создана на все времена и уникальна для каждого времени. О. Александр Мень, чья книга «Сын Человеческий» так много значила в потаенной духовной жизни советских десятилетий (и так часто перекликается с книгой Мориака), точно сформулировал первую заповедь, которой следовало бы придерживаться писателю, обращающемуся к истории Иисуса: он должен помнить, что «явление Христа есть вочеловечение Бога, вхождение Его в нашу обычную жизнь». Без нее, без этой обыденности, только ухудшающим пересказом останется любого рода «евангелие от человека». Однако оно утратит причастность к Евангелию, если вочеловечение Бога предстанет только одной из историй, помогающих понять будничное.

* * *

Эту заповедь всегда помнили писатели, для которых Новый Завет был больше, чем сокровищницей метафор, выразивших нечто самое существенное в человеческом опыте. Он для таких писателей был еще и хроникой деяний уникальной личности, причем как бы намеренно составленной так, чтобы любая эпоха узнавала об этой личности — и о других, оставивших рельефный след в ее судьбе, — что-то не замеченное или не оцененное предшественниками. На самом деле она, читая древнюю хронику, гораздо больше узнает не о земном странствии Христа, а о самой себе. Но ведь важен и способ познания. Должно быть, и правда: лишь в соотнесении с Евангелием любая коллизия по-настоящему выявляет свой реальный масштаб и смысл.

Иначе было бы трудно объяснить появление таких книг, как, например, знакомый читателям «ИЛ» (1989, № 3) роман Мигеля Отеро Сильвы «И стал тот камень Христом». Венесуэльский прозаик, чье имя прочно ассоциируется с миром нового латиноамериканского романа, вдруг отказывается от магического реализма, от «космовоззрения», необарочности и других категорий, вне которых этот художественный феномен немыслим, и создает некое переложение канонической версии, почерпнутой у евангелистов.

Правда, эта версия где-то едва заметно скорректирована, а где-то дополнена за счет «слухов», то есть апокрифов, которые начали возникать еще во дни, когда Иудея была взбудоражена рассказами об Учителе. Поначалу кажется, что вся эта «устная история» (она большей частью, конечно, сочинена) вводится в повествование ради того же эффекта, которого добивался Грейвз, — ради ощущения исторической достоверности рассказа. Лишь постепенно замечаешь, что Христос, собственно, даже не главное действующее лицо.

Он как раз воссоздан, в общем, традиционно. Назидания, звучащие на страницах, предшествующих предательству Иуды и эпизодам с Пилатом, почти дословно воспроизводят общеизвестный текст. А то новое, что привнесено писателем, связывается не с проповедью, но с ее отзвуком. Автора интересует ситуация выбора в условиях, когда выбор означает высокую ответственность и требует недекларативной самоотверженности. Его интересует способность или невозможность принять новую этику, которую возвестили слова Христа, и стоящее за ними новое понимание природы человека. Говоря обобщенно, его интересует сама атмосфера слома времен, когда в мир приходит нечто небывалое, ошеломляющее своей дерзкой новизной. И, неодолимо притягатель-

ное для одних, осознается как смертельная угроза другими, так что социум оказывается расколотым и каждый чувствует болезненность разлома, мучительную неизбежность пересмотра привычных канонов. И всему виной бродячий проповедник, который зовет к «работе, самоизнурению и страданию».

Роман Отеро Сильвы прочитывался как произведение, в котором Христос говорит от имени последних, возвещая царство, где они станут первыми. Или как притча о любви, одержавшей моральную победу над ненавистью. Или как гимн во славу изменения, которое в конечном счете всегда берет верх над инерцией, косностью, трусостью. Отыщутся аргументы, подкрепляющие любое из таких толкований. Однако все они приглушают важность мотива, который для автора был, кажется, центральным, — мотива невостребованного откровения, неуслышанных пророчеств, неоцененной героики. Жадно слушающая Иисуса толпа быстро охладевает, уверившись, что тщетно ожидать сиюминутных практических выгод, которые принесла бы насаждаемая Им доктрина, и что новых чудес не будет, а уже свершенные — сомнительны. Нужны зримые плоды, а не только семена, брошенные в неподатливую почву, и, не дождавшись даже первых всходов, последователи молчаливо предают своего вчерашнего кумира. Пилат знает истинную психологию массы лучше, чем явившийся спасти человечество.

Надо ли пояснять, что Отеро Сильва далеко не первый, кто придал подобный поворот неисчерпаемому сюжету. Одиночество Христа — тема, уже много раз возникавшая в искусстве, начиная, по меньшей мере, с романтиков. Но XX век сообщил этой теме особенную актуальность, потому что накопленный им опыт заставляет избавиться от любого рода благостных иллюзий относительно того, что она такое — толпа, масса, стихийная и слепая сила, так легко подчиняющаяся иррациональным велениям. Латиноамериканцам, столько раз сталкивавшимся с действием этой силы (подчас убийственным по последствиям — вспомним хотя бы некоторые книги Гарсиа Маркеса: «Осень патриарха», «Хроника объявленной смерти»), естественно видеть истинную подоплеку трагедии, приведшей к Голгофе, прежде всего в глубоком расхождении между порывами личности и инстинктами толпы. Но подобная интерпретация не ими первыми предложена и не только им представляется самой убедительной.

Если говорить о приоритете, он принадлежит Ницше. Достаточно напомнить одну из самых прославленных, самых зацитированных сентенций Заратустры: Христос «*должен был* умереть... он видел глазами, которые *все* видели, — он видел глубины и бездны человека, весь его скрытый позор и безобразие... Человек *не выносит*, чтобы такой свидетель жил». Это написано в 1884 году, но, не зная источника, легко подумать, что столетием позже. Мирочувствованию кончающегося века такой взгляд на вещи явно ближе, чем понятиям и верованиям эпохи цветения либерального гуманизма.

Вот отчего так несхожи тогдашние и теперешние вариации бесконечно длящегося сюжета. Его переписывают заново, но не пересказывая, а переосмысляя — и порою так, словно бы история Христа создается только сейчас, у нас на глазах или, по меньшей мере, на нашей памяти. И эти попытки совсем не выглядят натужными, ведь «происшедшее однажды во времени непрестанно повторяется в вечности». Так сказал Борхес — точно как бы мимоходом, в подстрочном примечании, но примечание сделано в рассказе, озаглавленном «Три версии предательства Иуды». Понятно, какое происшествие имеется в виду.

Рассказ входит в цикл «Возможные истории». Вариативность смысла, его открытость для самых различных, пусть взаимоисключающих пониманий составляет особенность композиции, возможно, даже определяющую. Когда главным действующим лицом избран Иуда, сама эта композиция приобретает необычность и оттенок вызова традиции. Об уроженце Кериота и, по некоторым версиям, обычном красильщике, пока он не стал одним из апостолов, написано очень много (и у нас тоже — Л. Андреевым, Ремизовым, Волошиным, Домбровским). Почти неизменно возникал зловещий, отталкивающий образ двурушника. Таким он остается и в стихотворении Юрия Живаго: охваченная экстазом близкой расправы толпа, «и впереди — Иуда с предательским лобзаньем на устах».

Борхеса смущает не сама эта характеристика, скорее — ее категоричность. Если все так просто и бесспорно, отчего именно Иуде суждено было два тысячелетия олицетворять проступок, которому нет оправданий? Да и вправду ли он был всего лишь предателем, погубившим душу из-за ничтожной награды? И какая могла быть нужда в его услугах доносчика, если Учитель проповедовал при тысячном стечении народа? И нет ли какого-то таинственного высшего смысла в этой добровольной смерти, которая, страшно предположить, быть может, явилась отражением судьбы, избранной Иисусом, остановившим меч Петра, готовый Его защитить?

Все эти вопросы задавались задолго до Борхеса, но никогда не принимали такой настойчивости, да и не формулировались так, как в его рассказе. Ведь рассказ, строго говоря, даже не

об Иуде, а о шведском теологе начала нашего века, который предложил несколько еретических трактовок, исходящих из того, что предательство этого апостола занимает определенное место в деле искупления. Трактовки были равнодушно приняты неверующими, а церковь, само собой, их отвергла, и бедняга Нильс Рунеберг кончил свои дни в безумии. Однако его «умопомрачительные рассуждения» затронули что-то очень существенное не только и не столько для богословия, сколько для сознания XX столетия, с объяснимой недоверчивостью относящегося к самим понятиям блаженства и добра. Тем более когда эти понятия называют атрибутом земного бытия, а не только атрибутом Бога.

Иуда появляется и в романе Отеро Сильвы, причем он показан как бы при двойном освещении: да, предавший и навлекший на себя ненависть, которой не будет конца, но ведь сделавший это не с мыслью о сребрениках, а из-за обиды на Учителя, не захотевшего стать вождем угнетенных. Эта трактовка (и другие, схожие с нею) имеет давнее происхождение, ее предложила гностическая секта еще во II веке, а впоследствии к ней прибегали авторы с более или менее отчетливо выраженными революционными симпатиями. Отеро Сильва из их числа, как и большинство латиноамериканских писателей, но аргентинцу Борхесу всегда претила любого рода политическая левизна (особенно в тех случаях, когда она начинала сказываться на характере творчества). У него вообще гораздо больше общего с европейским высоким модернизмом, чем с новым романом латиноамериканцев. И в произведениях, непосредственно или косвенно («Евангелие от Марка», «Бессмертный») соотнесенных с историей Христа, он сохраняет присущую этой традиции аналитичность, порою парадоксальность или, во всяком случае, нетрадиционность исходной посылки. Никаких пересказов, только допустимые варианты, никакой категоричности, только вопрошание, никакого ригоризма, только предположения там, где прежде господствовала очевидность. Для Борхеса — мнимая очевидность.

Поэтому таким необычным кажется все написанное им, когда он затрагивает темы, уже десятки, если не сотни раз возникавшие в литературе. Эта необычность провоцирует упреки в холодном умствовании, подменяющем трепет живого чувства, которое должно было бы пробуждаться от прикосновения к сакральной истории, и даже в подмене святынь миражами. Борхес выслушивал такие упреки всю жизнь. Дюрренматту, решившемуся предпринять собственное странствие по тем же дорогам, проложенным евангелистами, досталось не так сильно, но, вероятно, лишь оттого, что в 1946 году, к которому относится это путешествие, были заботы более насущные, чем выяснение, до какой степени неканонична еще одна вариация на вечную тему.

Меж тем в своем «Пилате» он отходит от канона столь же далеко, как Борхес, создающий версии истории Иуды. Слишком очевидные параллели возникали для первых читателей этого рассказа в сценах, живописующих неистовство толпы, ярость, с какой она жаждет добить свою жертву, исступление легионеров, обрушивающих на истерзанное тело пленника свистящие бичи со свинцовыми головками на концах. Слишком прозрачные аналогии должны были тогда, сразу после войны, вызывать размышления прокуратора, старающегося убедить себя в том, что «между Богом и человеком не может быть иного решения, кроме смерти, и иного милосердия, кроме проклятия, и иной любви, кроме ненависти».

«Пилат» кажется иносказанием, да он, конечно, в большой степени и был попыткой автора соотнести трагическую современность с вневременным, с универсальным, иначе говоря, родился из побуждения, всегда главенствующего в притчевой литературе. Но он не остался только аллегорическим повествованием о том, как, вновь и вновь совершая предательство по отношению к самому себе, человечество потом расплачивается за то, что надругалось над собственной природой и, подобно заглавному герою, в ужасе созерцает лик Бога, убитого в согласии с его волей.

Переполненный нескрываемо злободневными ассоциациями, рассказ Дюрренматта, однако же, покоряюще убедителен как раз благодаря редкой пластичности картин распятия, за которым начинаются грозные знамения. Невозможно забыть эти расщепленные оливы, и разверстые гробы, и бесплотные руки мертвецов, поднимающиеся, как стяги, в густом тумане. История точно бы развертывается непосредственно перед читателем и записывается в его присутствии, однако это история, над которой не властен ход веков. А если она снова и снова воспринимается как история о нашем времени, и ни о каком другом, требуются ли пространные объяснения такой аберрации? Все уже сказано стихами доктора Живаго: «Ко мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты».

■

ЯКОВ КРОТОВ

ХРИСТОС ПОД ПЕРОМ

1990—1997 годы: кто возглавит пир духа?

Семь лет назад в «ИЛ» вышла статья отца Александра Меня «Новозаветные темы в зарубежной литературе XIX—XX веков»[1]. При публикации текст погибшего автора переименовали: «В поисках подлинного Христа», под этим названием его переиздавали[2]. Новое название было лучше уже потому, что статья начинала с новозаветных апокрифов II века и прослеживала историю «новозаветной темы» на протяжении двух тысячелетий, а не двух веков.

Последним в статье анализировался роман Мигеля Отеро Сильвы «И стал тот камень Христом», напечатанный «ИЛ» в марте 1989 года, — если отнять время для подготовки публикации, то получится как раз празднование тысячелетия крещения Руси, распространение «гласности» и на религию. «Иностранка» воспользовалась этой возможностью с той же радостной готовностью, с которой вообще интеллигенция пригласила Церковь на начинающийся «пир духа». Стол был свободен: коммунисты уходили.

Прошло семь лет. Пир духа ознаменовался пребезобразнейшим скандалом именно в связи с «новозаветной темой в...». Иерархия Церкви сперва попросила частный телеканал НТВ не показывать на Пасху фильм Мартина Скорсезе по роману Казандзакиса «Последнее искушение Христа». Телекомпания пошла на компромисс, показ перенесли. Иерархия попросила не показывать его вообще, а когда получила отказ, стала жаловаться президенту, правительству, общественности.

Выходило так, что позванная на пир духа Церковь вспомнила, что дух — это по ее части, и она на этом пиру вовсе не приглашенная, а, напротив, хозяйка. И нельзя сказать, чтобы интеллигенции это не понравилось — интеллигенция разделилась, причем безотносительно к вероисповеданию, партийности либо уровню культуры. И среди поддержавших Церковь, и среди возмутившихся Церковью были бывшие коммунисты, бывшие придворные интеллектуалы, новые «православные интеллектуалы». Хотя, конечно, асимметрия все-таки наблюдалась: среди сторонников показа злосчастного фильма почти не было «державников», среди противников — «либералов».

Скандал, начавшийся на Пасху 1997 года, завершился под Рождество тем, что коммунистическая Государственная дума приняла постановление в поддержку Церкви и с призывом к правительству (где, кстати, не было почти ни одного человека не из бывших коммунистов) применить «жесткие санкции» (штрафные) к НТВ за «игнорирование религиозных чувств верующих»[1].

Самое поразительное в этой истории то, что о романе Казандзакиса Мень не написал ничего. Ограничился замечанием, что роман «представляет собой лишь разработку того довольно элементарного толкования Гефсиманской молитвы Христа, которое предложил Ренан». Сослался на сообщение «ИЛ»[2] о скандале вокруг фильма Скорсезе — тогда совершенно зарубежном. Как чувствовал, что когда-нибудь к его тексту обратятся за наставлением: како подобает относитися к Казандзакису — Скорсезе и к поведению российской иерархии. Капитан Немо перед смертью писал и писал, чтобы дать наставления несчастным, когда они останутся без него. Александр Мень, словно нарочно, ничего не сказал именно о тех жгучих проблемах, которые возникли после его гибели. Две стихии, две педагогики. Надо разбираться самим, не надеясь на капитанов.

II—XVIII века: жонглирование перед Христом

Тематически романы Эрдега, Мейлера, Сарамаго, равно как и их предшественников, начиная с Карла Вентурини (1802 г., «Реальная история великого Пророка из Назарета»), стоят в одном ряду с любыми произведениями, воспроизводящими евангельский сюжет, включая апокрифические Евангелия. Впрочем, различия качественные.

Авторы апокрифов писали не вариации «на евангельские темы», они писали Евангелие, каждый свое, с большой буквы. Их наивная уверенность в том, что это Евангелие единственно верное, не умерла. И в нашем веке достаточно людей, заранее уверенных в том, что настоящее всегда спрятано, а на поверхности —

---

[1] «ИЛ», 1991, №3.
[2] *А. Мень*. Культура и духовное возрождение. М., 1992.

[1] «Российская газета», 9 января 1998 г. Постановление от 19.12.1997.
[2] «ИЛ», 1989, №2, с. 252.

© Я. Кротов, 1998

всегда искаженное в угоду сильным и властным. Такие люди равнодушно проглядывают «обычные» Евангелия и жадно выискивают публикации всевозможных «потаенных», «гностических», будь то Евангелия древних гностиков или нынешних шарлатанов. Раскопки в Иерусалиме или находка древней рукописи Евангелия от Иоанна их не интересуют — это все казенщина, игры церковной номенклатуры.

Люди именно этого типа, если они журналисты, каждый год открывают для себя и мира «неизвестное» ранее письмо Пилата, сообщают о том, что Христос умер в Индии или Японии, оставив после Себя потомков. Каждый год специалисты объясняют противными усталыми голосами (потому что ведь каждый год!), что письмо Пилата —фальшивка позднего Средневековья, что в Индии и Японии просто живут общины христиан, восходящие к первым апостолам и сильно подзабывшие суть христианства. Бесполезно: люди вполне скептические именно тут теряют скепсис и готовы поверить любому абсурду. Интеллигентные люди ведут себя как крепостные крестьяне, которые в 1861 году и позже были убеждены, что баре скрыли настоящую грамоту об освобождении с землею и приказали попам в церквах читать подложную. Видимо, и причина такого иррационального доверия к запрещенному или хотя бы не к общепризнанному одна у интеллигента и крепостного — жизнь холопская, в подчинении барину или коммунистическому государству, когда все казенное отождествляется с ложью.

Авторы первых апокрифов, конечно, не глядели на канонические Евангелия с таким озлоблением, как современные гностики. Ведь апокрифы писались, когда христиане были так же гонимы (или даже более гонимы), как гностики, на Церкви не было отсвета власти. Сочинения Матфея и Марка, Луки и Иоанна использовались как основа для новых откровений. Поэтому в конечном счете апокрифы не могут удовлетворить любителей таинственного и запрещенного. Уж очень ясно, что гностики видели Христа примерно так же, как христиане. Другое дело, что Христа они помещали в какую-то свою богословскую систему, с точки зрения Церкви неверную. Но и для авторов апокрифов Христос был существом не выдуманным, не символическим, а живым, требующим веры. Бог или человек, Иисус был и для гностиков выше их сочинений.

Церковь упрекала гностиков, что их Иисус творил слишком много чудес, к тому же безвкусных. Современные же любители апокрифов ищут такого Христа, который бы вовсе чудес не творил, так что разочарование древними гностическими апокрифами наступает быстро. Нынешнюю Церковь, «Церковь старушек», считают слишком невежественной и потому агрессивной. Но если бы восемнадцать веков назад исчезла Церковь рыбаков и горшечников, а осталась бы Церковь адвокатов и писателей, вот тогда бы мир узнал, что такое настоящая жестокость.

Пиррова победа Церкви над языческим миром мало что изменила в литературе о Христе. Писались новые апокрифы, теперь уже не гностические, а как бы ортодоксальные, часто более популярные, чем канонические Евангелия. Эти апокрифы и подавно уже никого не интересуют. В них изменена только форма. Авторы средневековых переложений евангельских сюжетов поступали как тот изрядно надоевший всем жонглер, который дал статуе Богоматери все, что умел, — представление. Кто умел писать гекзаметром, пересказывал Евангелие гекзаметром, кто умел писать ямбами — пересказывал ямбами. В любом случае и греческие гностики с Евангелием Фомы, и московские мужики с «Хождением Богородицы по мукам» свято верили в Христа, в то, что говорят о Нем правду, разве что другими, нежели в Евангелии, словами.

XIX—XX века: евангельский реалистический роман

Романы о Христе отличны не только от апокрифов и переложений Евангелия в ту или иную форму. Они составляют особый жанр современной литературы. Жанр этот вторичен и стилистически часто подражателен (мне лично приятнее всего Сарамаго, подражающий «Иосифу и его братьям» Манна, чем политический детектив Эрдега или записки американского студента у Мейлера). Есть детективный жанр, есть фэнтези, есть фантастика научная, а есть евангельская фантастика. Надо бы ее назвать (она, между прочим, до сих пор не опознана как жанр) «христианская фантастика», да только «христианское», к сожалению, означает не «относящееся ко Христу», а «относящееся к христианам». Книжек этого жанра немного, в магазинах их не наскребется на отдельный раздел, ставят их либо в беллетристику, либо в исторические романы — в зависимости от таланта автора.

Чем фантастические романы о других планетах отличаются от научных сочинений о тех же самых планетах? Что у астронома над головой, то у фантаста под пером. Совершенно то же с евангельской фантастикой. Христос у верующего вверху, у евангельских фантастов — под пером. Вера играет в данном случае совершенно ту же роль, что наука в случае с научной фантастикой. В научной фантастике мало науки, в евангельской фантастике мало веры. Это не

итог анализа, это условие анализа, аксиоматический признак. И это очень продуктивный признак, позволяющий отделить биографии Христа, написанные Франсуа Мориаком[1] или Александром Менем, от Казандзакиса или Мейлера. Верующие пишут евангельский реалистический роман, неверующие пишут евангельский фантастический роман. Примечателен случай с романом Яна Добрачинского «Письма Никодима»: вполне верующий католический писатель написал роман от имени неверующего. Хороший прием, который сделал роман чуточку увлекательнее, чем обычные благочестивые занудства. Впрочем, по другим признакам Добрачинский целиком остался в жанре евангельского реализма.

Можно спорить о том, есть ли Бог, но нельзя спорить о том, есть ли вера. Есть, хотя неверующему трудно (по моему опыту, невозможно) поверить и в веру, легче истолковать веру как проявление болезни. Христианская вера есть вглядывание в Христа. Она может быть очень разной — от горячей веры Меня и сдержанной веры Мориака до, казалось бы, несуществующей веры Гегеля, Ренана, Толстого. Да, эти трое (а еще Гарнак, Швейцер и т. д. и т. п.) не верят в Божественность Христа, но в Христа они вглядываются, и вглядываются снизу вверх. Он у них над пером, а у евангельских фантастов — под пером. Разница не дьявольская, но существенная.

Евангельский реалистический роман, в сущности, повторяет «жонглерскую» модель литераторского поведения. Человек умеет писать беллетристику и использует свой дар для того, чтобы переложить Евангелие на язык наиболее популярного сейчас жанра — романа. Евангелие «освежается» набором приемов современной литературы: психологичность, пейзаж, интрига. В современной иерархии литературных жанров такие тексты занимают одно из самых низких положений, выше инструкций по пользованию кофемолками, но ниже газетных фельетонов. Наш век не жалует «служебной» литературы, а такая литература безусловно агитационна. Книга может быть написана талантливо, может быть — гениально, но если она изначально служит распространению веры, в историю литературы ее не пустят. Такова судьба и «Сына Человеческого» Меня, не говоря уже о сотнях менее талантливых текстов. Что ж, мы живем в светскую эпоху. Люди так настрадались от всяких идеологий и инквизиций, что на всякий случай, хотя бы лично и верова-

[1] *Франсуа Мориак*. Жизнь Иисуса. М., 1991. (Перевод Зои Масленниковой, духовной дочери о. А. Меня, автора одной из самых насыщенных биографий Меня.)

ли, держат все агитационное в невидимой резервации. Правда, этим текстам или, во всяком случае, их авторам, светит награда на небесах, что с точки зрения самих авторов намного лучше Нобелевской премии. Эти книги помогают познать Бога, а не «создают особый художественный мир» и не проникают «в глубины человеческой натуры», в общем, не делают всего того, что составляет смысл современной беллетристики.

Откровенно говоря, большинство книг такого рода далеки от совершенства. Поистине чудо веры и благодати, что эта литература для многих становится импульсом к вере. Сохраняя все недостатки евангельской фантастики, написанной неверующими (о которых речь ниже), тексты, фантазирующие на темы Евангелия, не имеют каких-то особых литературных достоинств, в том числе достоинств Евангелия. Особенно это заметно, когда подобный роман пишет «обычный» писатель, например Мориак. Любая из его повестей больше говорит о тайне веры, чем его же роман о Христе, пересушенный и недосоленный (видимо, из боязни пересластить).

XIX—XX века: евангельский фантастический роман

Блаженны авторы евангельских реалистических романов. Их могут обвинить в богословских ошибках, в ереси, но уж никак не в кощунстве. Иначе обстоит дело с писателями, творящими заведомо неканонический образ Христа. Евангельский фантастический роман можно признать кощунственным как жанр, по определению. Если уж вообще браться судить беллетристику с этой точки зрения, то даже непонятно, какой из романов кощунственнее: Эрдега или Мейлера. Мейлер вроде бы ближе к Евангелию, у него даже ангелы появляются. Но писать Евангелие от первого лица — эксперимент опасный. Иисус выглядит в лучшем случае князем Мышкиным, в худшем — легковерным дебилом. У Эрдега Иисус тоже появляется лишь на краткий миг и опосредованно (мы читаем его школьное сочинение) — и это менее кощунственно эстетически, чем изображение Спасителя у Мейлера, хотя содержательно, конечно, «воспоминания Иисуса» покощуннственнее всего романа Мейлера.

Примечательно, что в ходе споров об экранизации Казандзакиса защитники свободы почти не вспоминали «Мастера и Маргариту» — боялись оказаться в положении доносчиков. В 1965 году булгаковский роман, с трудом преодолевший коммунистическую цензуру, для многих выполнил функцию не фантастического, а как раз реалистического евангельского

романа, помогая людям прийти к вере, в Церковь. Потом те же самые люди, перечитывая роман, поражались тому, как он далек от изображения подлинного Христа, какие в нем есть двусмысленности.

В 1998 году уже не кажется фантастическим предположение, что роман Булгакова может быть вновь запрещен, теперь уже под давлением Церкви, как оскорбляющий чувства верующих. Ведь Булгаков писал вполне в духе либерального протестантского богословия своей эпохи, только надстроил над образом Иисуса в духе Крамского Иисуса в духе Васнецова. Но соединение выполнено довольно механически. Во всяком случае, роман вполне антицерковен и антиклерикален, отвергает достоверность Евангелия от Матфея (не говоря уже о прочих). Христианским является взгляд Булгакова на человека, но для цензуры, выясняющей взгляды Булгакова на боговдохновенность священных книг Нового Завета, это будет несущественное побочное обстоятельство. Конечно, что-то должно довольно ощутимо щелкнуть в механизме государственной власти России, чтобы появилась подобная цензура, но за последние годы случилось уже довольно много событий, еще недавно невероятных.

Война двух кощунств

Почему евангельский фантастический роман обязательно кажется кощунством? По той же причине, по которой научная фантастика обязательно ненаучна — по определению, по замыслу. Наука и религия в данном случае оказываются по одну сторону баррикады — они серьезны. Литература же относится обязательно к искусству, к тому, что, принадлежа сфере игры, изначально несерьезно. Кощунствовать, согласно Далю, — «насмехаться над священными предметами, отзываться о них с презрением, бранно, пошло; поругать, осквернить, осквернять, суесловить, буесловить». Обычно Даль тратит на определение меньше слов. В данном случае каждое новое его слово расширяет понятие в конечном счете до бесконечности. Ибо одно дело «осквернять священный предмет», другое — «суесловить о священном». Что значит «суесловить»? Говорить напрасно, всуе. Но что значит «напрасно»? Бесцельно. А бесцельное говорение, бесцельное действие и есть игра — действие с фиктивной целью.

С миссионерской точки зрения евангельский фантастический роман бесцелен. Изображать Христа не ради проповеди Христа означает отказываться от цели Евангелия. Хочется сказать что-то новое о человеке — будь добр, пиши о человеке, а Христа оставь в покое.

Почему же фантасты упорно не желают ограничиваться «фэнтези», миром гоблинов и фей, а уснащают свои романы мезонами и телепортацией? Почему же евангельские фантасты не желают писать о каком-нибудь Дионисии Галикарнасском или Григории Сковороде, а тянет их на Христа, словно мух на мед? И почему, кстати, ученые все-таки читают научную фантастику, отмахиваясь от многочисленных научных ошибок, почему все-таки верующие читают «Мастера и Маргариту», игнорируя неканоничность образа Иисуса?

Лезут в опасную зону по той же причине, по которой человечество делает большинство великих открытий: от лени. Предположение, что телепатия или межгалактическая империя реальны, экономит массу писательских сил, экономит время на разогрев читательского воображения. Обращение к образу Христа задает сразу множество параметров, хорошо знакомых даже религиозно невежественному человеку. На фоне этих параметров легче сказать что-то свое, потому что стандарт очевиден.

Отличный пример того, как тяжело писать евангельскую фантастику без обращения к евангельскому сюжету и к евангельским реалиям, дает фантастика братьев Стругацких. Она вся является вариацией на мессианскую тему. Их главный герой — «прогрессор» — есть Мессия, Спаситель. Причем это не ветхозаветный Спаситель, не Моисей, ведущий свой народ, плоть от плоти его, это именно новозаветный Спаситель, всегда отчужденный от спасаемых иноприродностью, тем, что в нем есть нечто нечеловеческое. Один раз — причем, что символично до пустопорожности, именно в год тысячелетия крещения Руси — Стругацкие использовали евангельскую тему прямо, введя в роман «Отягощенные злом» Иуду, а также Яхве, Демиург он же. Но Мессия и в этом романе назван вовсе не Иисусом, а всего лишь Георгием Анатольевичем Носовым, педагогом. Впрочем, роман от этого не стал менее кощунственным, ибо евангелист Иоанн изображен в нем профессиональным бандитом, зоофилом, который слегка помешался (отсюда апокалипсис) и в конце концов стал подручным сатаны. Воскресение Иисуса отрицается прямо, утверждается, что Иуда был слабоумным, которому Иисус сам поручил сделать на Себя донос. Конечно, и это кощунство. Конечно, слава богу за такое кощунство, ибо оно духовно куда содержательнее и большее число людей разбудило к жизни, в том числе вечной, чем многие слащавые рассуждения о Христе. Полезно помнить и то, что Стругацким труднее, чем авторам евангельской фантастики, зато и художественный, культурный, духовный эффект их книг намного превзошел — в свое время и на

свой срок — сочинения евангельских фантастов всех оттенков.

Бесполезно доказывать, что евангельская фантастика не кощунствует. Кощунство есть не объективная реальность, а следствие определенного психологического настроения. Представления о кощунстве, видение кощунства возникают из веры в святость, и отсюда вытекают три проблемы. Во-первых, трудно определить, сколько людей должны сойтись в представлении о кощунстве, чтобы относиться к ним с уважением. Одного человека разве не следует уважать? Во-вторых, лозунгом борьбы с кощунством может прикрываться неуемная жажда манипулировать людьми, и тогда уважение к другому может привести к порабощению другим. Сперва мы перестанем показывать Скорсезе, потом от нас потребуют не издавать Булгакова, потом вообще вернутся к временам, когда печатали только богослужебные книги. В конце концов, и «Сына Человеческого» Меня уже упрекали в кощунственной трактовке Евангелия. В-третьих, представления людей о святости (и о кощунстве) могут противоречить друг другу. Для одного святыня — Христос и кощунство — использовать имя Христа в романе, противоречащем Евангелию, для другого святыня — свобода творчества, а кощунство — запрет использовать имя Христа в каком угодно контексте. Все это кажется ужасно сложным и перепутанным, но тут перед нами тот редкий случай, когда сложное в теории просто на практике. Запрета кощунства никогда не требуют те, кто действительно печется о святыне.

Страх кощунства — подвид имябожничества

Светские люди, отстаивая свободу творчества и информации, упрекали «клерикалов» и в сотрудничестве с коммунистами, и в двойном стандарте, и много еще в чем. Некоторые из этих обвинений были справедливы, другие нет, но один существенный момент не был увиден в ходе газетной полемики уже в силу того, что этот момент — богословский. В начале XX века в среде русского монашества появилось движение имяславцев, учивших, что Имя Божие есть Сам Бог. Движение было осуждено Синодом не случайно. При кажущейся справедливости и благочестивости этого учения оно вело прямой дорогой к иконоборчеству. Ведь отождествляя образ с первообразом, знак с обозначаемым, человек делает образ и знак невозможными. Если считать икону не только иконой (образом) Божества, но самим Божеством, то верующий в единого Бога должен перестать почитать и поклоняться иконе. Если считать Имя Божие самим Богом, следует незамедлительно перестать произносить Имя Божие — так и поступали древние иудеи.

Утверждение, что использование имени Иисуса и евангельских мотивов в неканоническом контексте есть всегда и непременно кощунство, покоится на отождествлении мотивов, имен, форм, присущих Евангелию, с Самим Богом. Тогда и каждый, кто произносит слово «отец» без соответствующего благоговения, подлежит геенне огненной. Имя Иисус становится святым, когда употребляется с верой и верующими, а если это имя неверующего испанца или болгарина, в нем святости не больше, чем в имени Леонид Ильич. Именно это давало возможность Меню утверждать, что Булгаков изображал не Христа, а какого-то совершенно другого персонажа, спасая тем самым писателя от православной пилатчины.

Для наивного сознания, отождествляющего первообраз с образом и с мельчайшими деталями образа, человек по имени Иисус (или Иешуа), если мы говорим, что он жил в Иерусалиме две тысячи лет назад, проповедовал, был распят, имел двенадцать учеников, — непременно Господь Иисус. Но ведь такой обязательности вовсе нет. Формально похож на Христа может быть и антихрист, и простой, ни в чем не виновный и ничем не славный человек. Когда христианин топчет распятие, это кощунство. Когда неверующий топчет распятие, он судится иначе, ибо для него распятие не есть символ Богочеловека, но что-то другое: произведение искусства, символ угнетения духа церковниками и т. п. Если неверующий человек врывается в алтарь и плюет на священные сосуды, это не кощунство, это грех хулиганства. Если неверующий или хотя бы и верующий человек снимает фильм и в картонных декорациях снимает сцену оплевывания картонных муляжей священных сосудов — это не кощунство, а рассказ о кощунстве, попытка понять, что такое кощунство.

Протестовавшие против показа фильма Скорсезе и проявили как раз наивную нерасчлененность мировосприятия, как ковбои, стрелявшие в киноэкран. Это было и опасно, потому что предела подобная наивность не знает и, начав с телевидения, кончит (если будет последовательна) однозначным регламентированием каждого шага, каждого вздоха.

1997 год: дело Скорсезе—Казандзакиса

Протест против показа фильма Скорсезе исходил не только от руководства Московской Патриархии. Выступил против показа фильма и иудей-хасид, совершенно того же духа, что его православные коллеги с агрессивным блеском

в глазах, и католический священник. Патер высказал наиболее сильный довод в защиту суждений о фильме без его просмотра: судья и не должен видеть преступления, чтобы вынести приговор. Правда, доверие к его уму резко уменьшилось, когда он сказал, что не видит разницы между эротикой и порнографией. Сразу вспомнилось средневековое христианство (всех конфессий), да и не только средневековое, осуждавшее любое изображение наготы как разврат. Утверждение, что не нужно видеть преступления, чтобы вынести приговор, есть, конечно, софизм. Если исходить из принципа презумпции невиновности, фильм есть произведение искусства. Может ли произведение искусства быть преступлением? Вопрос обсуждается давно. Бердяев считал, что не может, Флоренский — что может. Допустим, может. Но решить это, не посмотрев произведения искусства, невозможно. Иначе надо объявить преступлением всякое художественное произведение, в котором сколько-нибудь присутствует изображение порока и реального мира. И люди почувствовали кожей, что защищавшие их от фильма Скорсезе относятся к ним как к быдлу. Ведь и Венера Милосская может быть утехой для онаниста, но прятать ее в запасники означает считать всех посетителей музея онанистами.

Вопрос об отношении к кощунству есть вопрос об отношении к искушению. Искушенность дается верой. О ситуациях, подобных случаю со Скорсезе, сказал уже апостол Павел: «Вас постигало искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (Первое послание к Коринфянам, 10, 13). Крики же против Скорсезе все основаны на чувстве, что Бог попустил искушение сверх сил, что Бог не даст облегчения, что все пропало.

Фильм этот, конечно, не порнографический и не кощунственный, однако спор вокруг фильма стал спором о кощунстве не случайно. У нас до сих пор господствует средневековый страх перед кощунством как страшной магической силой, выдающий дохристианское, магическое отношение к знаку и форме. Это магическое христианство знает лишь одну форму, один знак, всякое отклонение считает побегом. А отклонение и есть искусство, и есть покусывание всего и вся, игра с символами и образами. Такая игра может быть сознательно кощунственной и омерзительной, как в творчестве Демьяна Бедного, может быть игрой творческой и благочестивой, несмотря на формальное отклонение от канона. Искусство начинается с отказа от проверенной золотой середины, от гарантированного успеха, с прыжка в незнаемое. Отступление от григорианского хорала (он же знаменный распев) может обернуться и бездарной какофонией, и Моцартом. Во всяком случае, пытаться свести даже церковное пение к знаменному распеву или телевидение — к показу входов и выходов священноначальников, означает гневить Бога.

Искусство играет со святыней не из неуважения к святыне, а потому что искусство играет со всем. В нападках на искусство верующие объединяются с неверующими. Теряется чувство трезвости, чувство меры. Михаил Дудко писал в «Православной Москве»: «Долой страх перед кощунством, да здравствует игра со святыней. Даже если содержание этой игры исчерпывается кощунством, надо терпеть — вдруг следующее кощунство окажется удачнее!»[1] Упорное нежелание понять, что призывают не к кощунству, а к свободе творчества и искусства, и вызвало взрыв антиклерикализма в среде русской интеллигенции (и не только интеллигенции: судя по результатам опросов, количество людей, отождествляющих себя с Православной Церковью и доверяющих ей, стало падать).

Кощунства случаются, но чрезвычайно редко, и фильм Скорсезе в их число не входит. Есть области, где понятия кощунства и искусства перекрываются, и кощунствующий может прикрываться словами об искусстве. Тогда и вступает в действие принцип презумпции невиновности: надо сперва узнать, посмотреть, выслушать защиту и только после этого выносить суждение. Протестовавшие против фильма ссылались на то, что они выступают в сфере, в которой являются экспертами: в сфере своих собственных чувств. Закон запрещает оскорблять чувства верующих, а их чувства оскорблены даже намеком на то, что Христос мог спать с женщиной, следовательно, фильм противозаконен. На что вполне резонно отвечали, что есть верующие, которые заявляют, что их чувств фильм не оскорбляет. Налицо столкновение двух экспертиз, сомнение же толкуется в пользу обвиняемого. А качество «экспертизы», проведенной Патриархом, вызывало сомнение еще и потому, что во многих ситуациях, когда чувства верующего должны были быть оскорблены, он молчал. Следовательно, не так уж он чувствителен, или чувствительность его (переходящая в бесчувственность) — не всегда чувствительность верующего, а часто чувствительность чиновника или даже политика.

Случай со Скорсезе ярко показал межконфессиональность маразма, показал, что сегодня, как и всегда, христианство дискредитиру-

---

[1] *М. Дудко.* Кощунство — не игра. «Православная Москва», №129 (декабрь 1997).

ют и неофиты, и номенклатура, и просто люди, у которых любовь к порядку сильнее любви к ближнему. Обнажилась пропасть между двумя интеллигенциями: той, которая всегда готова что-то запретить, всегда на стороне силы, всегда, как говорил Живаго, ведет себя как лошадь, которая сама себя объезжает и других уговаривает делать то же. Некоторые интеллигенты проявили неинтеллигентность, некоторые христиане — нехристианское лукавство. Ибо те, кто выступает против разжигания розни, сами как раз с удовольствием бы разожгли рознь. К демократии взывают те, кто ненавидит демократию. Готовы для себя использовать ненавистные законы мира сего, но не для других. Оскорбления своих чувств не хотят, чужие чувства не жалеют. Запрет на разжигание межрелигиозной розни приняли именно для борьбы с изуверами от христианства, и эти изуверы знают, что апеллировать к идеалам своих противников означает заниматься демагогией.

Скорсезе в 1997 году попал в «серию». В сентябре в Цетине (Черногорье) учащиеся духовной академии разорили выставку современного искусства, где были выставлены работы двух московских художников: в одной иконки использовались в качестве составных частей слова, в другой иконы были разрисованы непристойными сценами, пробиты гвоздями. Выставку досрочно закрыли. Художник (москвич) заявил, что отстаивал ущемленные права атеистов. Западные критики отметили, что художественно работы слабые, «литературщина». Одновременно же правительственная «Российская газета» выступила против «богохульного» «евангелия от митьков», давно ходившего в самиздате и напечатанного наконец в московском иллюстрированном журнале. И тут же фельетон против американцев, которые перефразируют Евангелие в рекламных лозунгах.

Лозунги «Да не будет у тебя джинсов иных, кроме «Ливайс», иконы с похабными надписями или митьковское «кесарю кесарево, а остальное на оттяг» создаются не для того, чтобы радовать верующего, но все-таки могут порадовать: нас пародируют, значит, мы существуем, более того, мы существенны для окружающего мира. Разве не радовались православные в годы гонений, что христианские мотивы пронизывают и живопись, и литературу, хотя практически никогда это не происходило без искажения христианства. Следует раз и навсегда решить: мы хотим, чтобы христианство было не только религией, но и культурным феноменом, или не хотим. Если хотим, то надо смириться с тем, что культура вечно играет, экспериментирует, все испытывает на прочность, пародирует, а не только воспевает. Либо мы гордимся тем, что христианские мотивы есть и в «Гавриилиаде», в «Сказке о попе и работнике его Балде», либо мы не имеем права гордиться и пушкинским переложением «Отче наш». То и другое Пушкин совершал из одного побуждения — творческого. Заявлять, что всякое кощунство бескультурно, опасно. Часто то, что может быть сочтенным за святотатство, - – вообще не о Боге, а о человеке и его проблемах.

Творческий ответ на кощунство

Разумный человек должен сделать то, что не решается сделать неразумный: дать человеку других взглядов фору. От истерики по поводу кощунства спасает чувство вечного, плавно переходящее в чувство юмора и чувство неотмирности. В любом хорошо иллюстрированном учебнике церковной истории воспроизводят рисунок, сделанный в древнем Риме в солдатской казарме. Кто-то из вояк нацарапал на стене крест и Распятого, приделав Иисусу голову осла и сделав надпись: вот, мол, каков христианский бог. Так на христиан перенесли римское поверье, будто в Святая Святых Соломонова храма выставлена для поклонения голова осла. Так что, воспроизводящие эту карикатуру хотят поиздеваться над Церковью? Нет, она теперь для христиан драгоценное свидетельство их истории во II веке.

Использование священных для христиан слов и тем в несвященном тексте должно быть для нас свидетельством отношения к нам в XX веке, дать повод к размышлениям и выводам о том, как следует проповедовать Евангелие, а не как следует мешать другим проповедовать что-то свое. Правильно поступили не те американцы, которые возмущались использованием евангельских мотивов рекламой, а американский же пастор Уилли Краг, который арендовал рекламные щиты и разместил на них библейские заповеди. Христианство может быть религией брюзжания, но все же по сути своей оно есть само творчество, фантазия и полет, и Христос не призывал защищать Себя от кощунств, а призывал идти и проповедовать Себя до концов земли.

Даже на преднамеренное кощунство христианину уместнее отвечать не по закону, писанному нехристями и для нехристей, а по благодати. Например, когда в начале 20-х годов появилось сознательно кощунственное переложение Евангелия, написанное Демьяном Бедным, стал широко известен и популярен (разумеется, в тогдашнем самиздате) ответ Демьяну, заканчивающийся настоящей стихотворной пощечиной: «Ефим Лакеевич Придворов» (настоящее имя Бедного: Ефим Алексеевич Придворов). Эпиграмма не Бога защищала, а человеческую порядочность, которая тоже очень не-

плохая и насущная ценность, но все же ценность человеческая. Эпиграмму с удовольствием повторяли церковные иерархи, и это была нормальная, стандартная, глубоко человеческая реакция. Реакцию же не нормальную и не стандартную, а сверхъестественную, единственно нормальную для христианина обнаружил питерский священник Владимир Шамонин (1882—1967), один из чудных святых нашего века, написавший тогда же:

Раскрыл «Евангелье» Демьяна —
И не могу понять себя:
Так ясно, словно в детстве рано,
Я верю, с нежностью люблю!

И надо ль Бедного Демьяна
За грубый пересол побить?
Ведь он, кощунством сердце раня,
Толкает верить и любить?

Иуда: доброе зло

На примере повести Эрдега хорошо видна главная сила и главная слабость евангельской фантастики. Сила — максимальное осовременивание Евангелия. Но отсюда и слабость. Эрдег значительно достовернее в историческом антураже, чем Мейлер, делающий ошибку за ошибкой, но зато Эрдег «ошибается» в воссоздании самой психологической атмосферы. Его герои живут и размышляют как типичные жители социалистической страны, где правда спрятана глубоко, где все перепутано, где не отличить друга от врага, где господствует секретность. Заседания Синедриона как две капли воды похожи на заседания Политбюро. Но это, конечно, ошибка творческая, связанная с принципиальным замыслом. Каким может быть спасение в мире социализма, в мире тотального контроля за мыслями и чувствами? Каким может быть откровение в мире, где все истинное запрещено и прикрыто (что полбеды), либо искажено цензурой, недомолвками? Эрдег и пишет, в сущности, гносеологическую повесть. Он утверждает невозможность прямого откровения. В мире всеобщей кривизны человеческих путей необходимы кривые пути и для Спасителя.

Отсюда навязчивая тема Иуды. Еще у Рена на этой темы не было начисто, она появилась в конце XIX века. Тема казалась декадентской, связанной с «концом века». Но вот уже и конец второго века наступил, а тема бесперебойно эксплуатируется. Попытка сделать Иуду верным слугой Христа, предательство — обязательной частью верности, связана, следовательно, не с какой-то мифической «усталостью культуры». Предательство — не результат жизни при тоталитаризме, скорее наоборот — революция и тоталитаризм были результатом тяги к предательству, к кривым путям, готовности добиться счастья и свободы насилием над людьми, манипулированием личностями, целыми классами, эпохами, жизнью и смертью. Сперва Леонид Андреев и Максимилиан Волошин воспевают Иуду как вернейшего апостола, а потом приходят революция и психология предательства всех и вся, включая себя, ради спасения человечества. Эта психология оправдывает себя именно в христианских координатах, как высшее и окончательное самопожертвование. Как самопожертвование расценивали свое предательство правды Бухарин (во всяком случае, в «Слепящей тьме» Кёстлера) и священник Дмитрий Дудко.

Эрдег доводит тему Иуды до социалистического абсурда: Иуда выполнял указание Христа, а Христос выполнял хитроумный план первосвященника Анны. В общем, за всем стоит КГБ. В зачатке, на эмоциональном уровне это было уже у Булгакова в образе Афрания, у Оруэлла в «1984». Прыгайте, мол, прыгайте, все равно все решает некто умудренный и опытный в сером с голубым отливом костюме. Этой кроличьей вере в то, что все подвластно каиафам, соответствовала удавья вера всевозможных афраниев в то, что они действительно мудрые, всеведущие, всеопределяющие. А были они всего лишь жалкими и никчемными людьми, и чем выше они забирались по иерархической лестнице, тем беспомощнее они были, тем меньше знали о реальной жизни, тем большим пшиком кончались все их хитроумные планы.

Блаженны мы, кстати сказать, потому, что живем после падения коммунизма и знаем: он пал не потому, что были какие-то мудрые Иуды-Анании. Конечно, как только коммунизм пал, тысячи крупных (из Политбюро, ЦК и КГБ) и мелких (до секретарей заводских парткомов и стукачей) иуд заявили, что это они изнутри его изгрызли своим доблестным ничегонеделанием и фрондирующим складыванием кукишей в карманах. В их позиции была ощутимая сила, потому что все чувствовали, что коммунизм пал и не благодаря диссидентам. Но все же апология иуд и в данном случае, и вообще ложна. Коммунизм пал и не благодаря Горбачеву, и не благодаря Рейгану, а потому, что коммунизм — ложь, он исчерпал запас правды, на котором паразитировал, потерял доверие к себе.

Апология Иуды в евангельской фантастике ставит и более глобальный вопрос. Можно ли вообще манипулировать историей? Явление Христа, Его гибель на кресте при этом понимаются именно как манипуляция историей со стороны Бога. У кого-то идея такой манипуляции вызывает решительный протест. Люди, пишущие евангельскую фантастику, принимают идею манипуляции, соединяют ее с идеей отсут-

ствия Бога и прикидывают, как должны были вести себя герои Евангелия, чтобы манипуляция была успешной и казалась исходящей от Бога.

Повесть Эрдега особенно актуальна в России, потому что и мы были приучены к плановой психологии: все можно рассчитать. Ничего особенно хорошего в этом нет, потому что одновременно выходило, что если план не выполняется, значит, кто-то успешно реализует свой, вражеский план. Поэтому социализм (и его двойник — нацизм) был проникнут верой в различные заговоры, в то, что у каждой беды есть конкретный организатор, что где-то есть хитроумные кукловоды, серые кардиналы, гэбисты, цэрэушники, политики, сионские мудрецы. Такой взгляд на мир удивительно удобен, он все объясняет, причем объяснения предлинные и кажутся очень мудрыми, если признаком мудрости считать убеждение, что на самом деле все не так, как кажется.

В России эта вера лишь в середине 1990-х стала сходить на нет, а в первые годы после падения коммунизма любое политическое событие анализировалось прежде всего как результат хитроумного расчета. Теперь поняли, что расчета в мире очень немного, и чем запутаннее и долгосрочнее расчет, тем вернее он проваливается. В реальной жизни люди, подобные эрдеговскому Каиафе, терпят поражение куда раньше прямолинейных простаков. Вера в план, кстати, не была следствием социализма, она была причиной победы социализма в душах и в материальном мире. Вера в план, в заговор есть подвид веры в прогресс, в то, что человек может спланировать будущее (конечно, светлое). Просто чем более развеивалась вера в прогресс, тем параноидальнее становилась вера в прогрессоров, превращаясь в пошлое выискивание человеческой воли там, где взаимодействуют свобода, грех, случайность.

Евангельская фантастика так часто делает главным персонажем Иуду не потому, что человек — скверное существо и нас тянет к предательству и кривизне. Человек — хорошее существо и поэтому обвиняет Бога в предательстве и кривизне. Восхваление Иуды есть упрек Богу, а не каждение сатане. Для человека Бог плох не тем, что Он — Бог, а тем, что Он — недостаточно Бог, недостаточно всемогущ, недостаточно все рассчитал в ситуации с Иисусом.

Тяга к доброму злу есть нормальная реакция на злое добро, которого так много в мире и которое особенно неприятно в Церкви. Слишком часто христиане вместо покаяния или хотя бы элементарных извинений пускаются в долгие объяснения насчет Промысла, насчет того, что «где преизобилует грех, там преизобилует благодать». Фарисеи как раз и приучили людей к относительности зла, к допустимости подмены цели средствами. Отсюда же и другая черта евангельской фантастики — утверждение относительности познания. Слишком часто Откровение изображали статичным набором догм, скрывая от людей (и от себя, что не столько извинение, сколько трагедия), что Откровение есть движение, что догма есть не руководство к действию, а само действие, сама жизнь, по сравнению с которой наше существование — застывший кисель рядом с водопадом.

«Понимание же есть постоянное движение, постоянная пульсация, смесь знания и сомнения», — говорит Гамалиил у Эрдега. Это прямо связано с оправданием жанра евангельской фантастики: он и есть такая «пульсация». Иисус у Мейлера говорит: «Окажись этих избранных Евангелий не четыре, а сорок, все равно было бы мало. Ибо истина умеет сначала явить себя, а потом вновь затеряться во мраке». Это не просто скептицизм, а скептицизм агрессивный. Его политическая разновидность: вера в то, что доброе зло, притворство, действие исподтишка — «единственно целесообразная, ведущая к успеху линия... в лабиринтах политического лавирования» (из записок Анны).

«Предателя постороннего быть не может», — говорит Иисус Иуде, убеждая его совершить предательство. «Кто убоится себя самого, тот, можно надеяться, в самом деле станет истинным человеком». Можно назвать это сатанинским софизмом, ибо им открывается вереница преступлений, в том числе убийств. Иисус Эрдега сперва жертвует собой, чтобы подкрепить свое слово делом. Но Иисус Эрдега планирует и страдания Иуды, и гибель апостолов — и вот это уже переступание границы, ибо никто не смеет причинять другому страдание и смерть ради какой-либо цели.

Тем не менее Эрдег не сатанист. Он заставляет Иисуса мудрить лишь из-за отвращения к словам. «Останься я жить, — говорит эрдеговский Христос, — я лишь повторял бы одно и то же, как попугай». Церковь в представлении современного человека и есть помесь попугая с граммофоном. Церковь не любят за то, что в ней слишком много слов. За словами христиан не замечают Распятия, и, конечно, винить в этом мы, христиане, должны только себя. Люди жаждут Распятия, жаждут жертвы, но ищут их помимо Евангелия и помимо Церкви. Это не слепота, а трезвое сознание того, что в Церкви очень мало Церкви, мало жертвенности, много надменности, мало движения, преобладает статика. И напрасно христиане станут обиженно вскидываться: если, мол, пороки у нас общие с неверующими — так сократить этот общий знаменатель. Надо не обижаться и не предлагать сделку с миром, а просить у Бога жизни по Евангелию.

Примечательно, что во всех трех книгах, как и вообще в евангельской фантастике после второй мировой войны, начисто отсутствует тема, бывшая раньше лейтмотивом подобных сочинений, — социальная. Изображать Христа революционером было чрезвычайно модно, пока не произошла революция и не принесла своих плодов. Это показывает, что к настоящему кощунству авторы евангельской фантастики вовсе не склонны, ибо подлинно безобразно было изображение Иисуса революционером, когда уже известно, что революционер всегда двусмыслен, всегда несет в себе зло и насилие. Евангельская фантастика как жанр покоится на признании благости Иисуса, хотя саму эту благость часто понимает как проявление не божественности, а человечности (но ни в коем случае не сатанической одержимости).

Евангельский секс: проблема целомудренного разврата

Евангельская фантастика изначально тяготела к тому, чтобы в центре повествования оказывался даже не столько Иуда, сколько Мария. В начале XX века героиней делали Марию Магдалину, которая оказывалась «целомудренной развратницей» в духе романтических прелестниц: гордая, чуткая, умная, превосходящая апостолов (кроме разве что Иуды) по всем показателям. В конце века, однако, литераторы окончательно «отбросили стыд» и перенесли огонь на другую — точнее, первую — Марию, на мать Иисуса. С упорством, достойным лучшего применения, один автор за другим подчеркивают, что Мария и Иосиф зачали Иисуса обычнейшим порядком. Некоторые авторы заявляют, что у Марии было много детей, другие ограничиваются традиционной концепцией («братья» Иисуса — это его сводные братья). Важно, однако, что потерпеть зачатия от Духа не может никто. Мейлер для полноты впечатления прибавляет, что Мария была тщеславной женщиной с железной волей.

Конечно, за этим эпатажем скрывается аллергия к глупой проповеди целомудрия, которой пока что было в Церкви больше, чем проповеди умной. Иисус Мейлера говорит словно от имени бесчисленных ханжей: «Нам надлежало стать воинством Божиим, а близость с женщиной уносила силы, которые вели нас к этой великой цели». Одновременно Мейлер (в отличие от Эрдега и многих других) изображает Иисуса сексуально озабоченным человеком («Всю жизнь я боялся прелюбодеяния — и чем больше боялся, тем больше обуревала меня жажда плотских наслаждений. Как часто я мучился неукротимой, неутоленной яростью!»).

Подобная отсебятина убавляет достоверности повествованию, но писателю важнее этот пункт. Сатана искушает Иисуса, заявляя, что Бог похотлив, а Иисус молчит и борется с эрекцией. У Скорсезе-то с Казандзакисом это еще помягче было — сатанинские образы умеренно счастливого брака, которые Иисус побеждал. А впрочем, различие невелико, во всех случаях сексуальное искушение выступает символом искушения религиозного. Для писателей (и читателей) несомненно, что Сын Божий должен быть целомудрен, и нескромные мысли Иисуса обозначают его сомнения в своем богосыновстве и вообще в справедливости Бога. Здесь писатели вполне чувствуют ту связь веры и целомудрия, которая изначально задана в Библии, в рассказе о грехопадении. Поэтому не оговорка, а вполне показательная фраза вложена Мейлером в уста Иисуса, когда тот на кресте сравнивает себя не с Адамом (как это традиционно для христианского богословия), а с Евой:

«Бог — мой Отец. Но я вынужден был спросить: так ли Он всемогущ? Подобно Еве, я жаждал познать добро и зло. Даже задаваясь вопросом о том, всемогущ ли Бог, я знал уже, как отвечу: Господь, Отец мой, — Бог. Но существуют и другие боги. Если считать, что я предал Его, что ж... Он тоже предал меня. Так понимал я теперь добро и зло. Может, поэтому и оказался на кресте?»

С наибольшей последовательностью за тему развратного целомудрия взялся Сарамаго. Каноническое Евангелие на треть посвящено Распятию и лишь бегло говорит о детстве Иисуса, той же схеме следует большинство авторов евангельских переложений, но Сарамаго поменял схему, посвятив четыре пятых романа как раз периоду до выхода Иисуса на проповедь. Может быть, он невольно следовал Манну, и даже не роману «Иосиф и его братья» как таковому, а читательскому впечатлению от «Иосифа», которое похоже на восприятие «Войны и мира»: ярко запоминается начало, конец мало кто читает. Сарамаго бегло отдал дань теме Иуды (якобы «по доброй воле вызвавшегося донести на учителя, чтобы исполнена была последняя воля его»), не забыл классической гётевской темы Мефистофеля (современному русскому читателю лучше известной благодаря Булгакову) — сам Бог говорит: «Добро, воплощенное во мне, не могло бы существовать без тебя, воплощенного Зла, и Добро без тебя сделалось бы непостижимым и непонятным до такой степени, что даже я не в силах вообразить его, и для того, чтобы я оставался Добром, ты должен оставаться Злом, и если Дьявол не живет как Бог, то и Бог — уже не совсем Бог, и смерть одного означает смерть другого». Это все повторы, уже потому достаточно скучные

и, откровенно говоря, немного пошлые. То, что Сарамаго заставляет дьявола просить у Бога прощения, а Бога заставляет отказывать дьяволу в прощении, есть, конечно, ложь о Боге, но ловить писателя на этой лжи слишком легко. Значительно интереснее, что Сарамаго решает через миф о семени классическую проблему «слезинки ребенка» (древние говорили «причитания Иова», но современного человека слезы старика почему-то трогают меньше детских).

Евангелие поразительно упорно подчеркивает, что рождение Иисуса было не от «семени мужа». Первая ересь в истории Церкви состоялась так рано, что почти не зафиксирована в источниках, — это ересь отрицания бессеменного зачатия. Рассказ о Благовещении в Евангелии от Луки — упорное повторение безумной правды о Христе. На первый взгляд, вера в то, что Иисус был зачат Духом Святым, не как все люди, противоречит всему последующему богословию, которое постоянно подчеркивало: в Иисусе все как у всех. Но ведь духовный путь христианина начинался с опыта рождения в Духе. Крещение было зачатием нового человека «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога» (Евангелие от Иоанна. 1, 13). Так что и здесь Иисус оказывался «как все» — как все «настоящие люди».

Эротическое целомудрие Духа есть факт не только христианской веры, но и общечеловеческого религиозного духа. Ни одна религия не считает сексуальную жизнь лишенной религиозного измерения, и в той цивилизации, к которой мы принадлежим (оговорка на случай, если на память придут тантристы, не к ночи будь помянуты), эротика и религия — два сообщающихся бассейна. Что из одного выльется, то в другой вольется. Восхождение к Духу есть подъем с кровати. Грехопадение было не сексуальным актом, грехопадение было делом гордыни и богоборчества, но именно миф о сексуальном падении лучше всего выражает суть грехопадения, девственность лучше всего символизирует возвращение к Богу.

Сарамаго это прекрасно знает, он знает, что Церковь отождествляется с девственностью. Но знает он и то, что Церковь отождествляется с потоками крови, с крестовыми походами, с самоистязаниями (что личное дело святых) и с истязаниями еретиков (а вот это уже дело подсудное). Он все это перечисляет в романе. Бог зол, похотлив, Бог коварен, Бог убил Иисуса (а Святой Грааль оказывается чашей, куда дьявол бережно собрал кровь, пролитую по вине Бога, так что дьявол святее и добрее Бога). Последние слова Спасителя выворачиваются наизнанку: в прощении нуждаются не люди, не палачи, а Бог, Который терпит палачей и поощряет их.

Все это довольно дешевая патетика, дешевое богоборчество, делающее вид, что после «Братьев Карамазовых» ничего не было — ни Бердяева с его оправданием Бога и оправданием человека, ни двух мировых войн — первых в истории человечества абсолютно безрелигиозных войн, страшных не только количеством жертв, но и тем, что уж за эти жертвы никак нельзя было свалить ответственность на Бога. Очарование Сарамаго в том, что он облек богоборчество в положительный миф, миф о сексе как искуплении. «Священное семя Иосифа излилось в священное лоно Марии» — и все последующие попытки Бога записаться в соотцы выглядят смешными. Секс священен, и в эту Святая Святых не вхож Бог. Человек не может увидеть Бога, Бог не может увидеть секса, «ибо на свете есть нечто, недоступное разумению даже и того, кто сам это сотворил».

Последнее, конечно, лукавая оговорка, ибо Творец, в отличие от секса, для Сарамаго — фантазия. Автор заставляет Иосифа и Марию рожать одного ребенка за другим, чтобы искупить гибель Вифлеемских младенцев (в которой, конечно, виноват Бог, а вовсе не Ирод, уж это-то стало истиной, не нуждающейся в доказательствах, для современных богоборцев). Вдохновляет Иисуса на проповедь не Бог, а Мария Магдалина, открывая ему мир секса. Как Иуда — не предатель, а служитель, так Магдалина — не блудница («Я перестала быть блудницей с той минуты, как ты вошел ко мне», — говорит она Иисусу), а святая. Целомудрие, с точки зрения богоборца, есть разврат и кровь, ибо оно отвечает за крестовые походы и Джордано Бруно. Следовательно, спасение в разврате, в уходе от злого и жестокого Бога туда, куда Он не смеет сунуть свой нос, — к подушке. Это не тантризм, не вера в первичность каких-то сексуальных энергий, это вера в личное и в частное как нечто, спасающее человеческую душу от разрушения. Христианству эта вера не противоречит до тех пор, пока она отвергает только инквизицию и зло. Пускай даже человек отвергает Бога как злое и жестокое существо, потому что таким изобразили ему Творца агрессивные церковники, — Бог не отвергнет такого человека только за неприятие Церкви: лишь бы человек не оставил в беде людей. Это настолько важно, что Иисус позаботился об этом предупредить и повторил несколько раз: спасутся многие, кто не заметил Бога, кто просто кормил голодных и поил страждущих.

Стоит заметить, что русской душе ближе другой миф, развивавшийся параллельно с мифом о спасительном сексе, — миф кулинарный (впрочем, с определенной точки зрения, как известно, поедание и совокупление просто

идентичны). «Гаргантюа и Пантагрюэль» — точка, где оба мифа переплетены, но затем на Западе все как-то идет больше в спальню, а в России — на кухню. У нас жена — это «щей горшок», а остальное второстепенно, и даже у Розанова интерес к сексуальному не перевешивает самовара и варенья. «Мастер и Маргарита» подчеркивает целомудрие героев, но только сексуальное, весь запал ушел в гастрономию, и верх блаженства для Мастера с Маргаритой — ужин с друзьями. Западное искусство исповеди крутится вокруг сексуальных грехов (гастрономический пост там практически исчез), русский пост протекает почти исключительно в кулинарной сфере, что выражено в классическом изречении: «Людей не ешьте!»

Именно этот призыв в конечном счете следует обратить к тем христианам, которые пожелают скушать тех, кто переводил, печатал, распространял (и комментировал, кстати) романы Эрдега, Сарамаго, Мейлера. Религиозные чувства эти романы задеть могут легко (особенно Сарамаго), знаю по себе. Но важно понять, что эти кощунства рождены не грехом (впрочем, и не добродетелью), а жаждой истины, жаждой справедливости, и это наша, христианская вина, что мы не утолили эту жажду. Для нас кощунство — изображать Христа занимающимся сексом. Те, кто изображает подобные сцены, однако, делают так не по злому умыслу, а потому, что боятся повторения другого кощунства — инквизиции, когда людей сжигают за книжки. Христиан проверяют: способны ли мы на кощунство против человека — и для этого совершают кощунство против Бога. В этом столкновении двух концепций кощунства выиграет тот, кто уступит первым, и очень хочется надеяться, что это будут не литераторы.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЖОЗЕ САРАМАГО (JOSÉ SARAMAGO; род. в 1922 г.) — португальский писатель. Автор романов «Поднявшиеся с земли» («Levantado do Chão», 1980), «Воспоминания о монастыре» («Memorial do Convento», 1982), «Год смерти Рикардо Рейса» («O Ano da Morte de Ricardo Reis», 1984), «Во имя Господа» («In Nomine Dei», 1993), пьесы «Ночь» («Noite», 1974) и др. произведений. Творчество Жозе Сарамаго отмечено многими литературными премиями, в том числе итальянскими — Гринцане-Кавур, Монделло, Бранцатти, Ассоциации португальских писателей, английской премией «За лучшую иностранную книгу» и др.
Роман «Евангелие от Иисуса» издан в Португалии в 1991 году («O Evangelho Segundo Jesus Cristo». Lisboa, Editorial Caminho).

НОРМАН МЕЙЛЕР (NORMAN MAILER; род. в 1923 г.) — американский писатель, поэт, критик, публицист. Автор романов «Нагие и мертвые» («The Naked and the Dead», 1948; рус. перев. 1971), «Варварский берег» («Barbary Shore», 1951), «Олений парк» («The Deer Park», 1955), «Американская мечта» («An American Dream», 1965; рус. перев. 1993), «Из пламени на Луну» («Of a Fire on the Moon», 1971), «Песнь палача» («The Executioner's Song», 1979; Пулицеровская премия 1980). Широкую известность получили его романы-репортажи «Армии ночи» («The Armies in the Night», 1968; Пулицеровская премия), «Майами и осада Чикаго» («Miami and the Siege of Chicago»; рус. перев. фрагментов книги в «ИЛ», 1971, № 1, 2), «Бой» («The Fight», 1975; сокр. перев. напечатан в «ИЛ», 1978, № 10). Перу Н. Мейлера принадлежит также сборник стихов «Смерть дамам и прочие катастрофы» («Deaths for the Ladies and Other Disasters», 1962). В последние годы вышли романы «Призрак Харлота» («Harlot's Ghost», 1991), «История Освальда» («Oswald's Tale: An American», 1995), книга «Портрет Пикассо в юности» («Portrait of Picasso as a Young Man», 1995; рус. перев. в «ИЛ», 1997, № 3, 4).
Роман «Евангелие от Сына Божия» издан в США в 1997 г. («The Gospel According to the Son». New York, Random House).

СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЕГ (ÖRDÖGH SZILVESZTER; род. в 1948 г.) — венгерский писатель. Начал печататься с 1966 года. Известность принес ему первый сборник рассказов «Жеребенок» («A csikó», 1973), признанный лучшей книгой года. Его перу принадлежат романы и повести «Череп-гора» («Koponyák hegye», 1976), «Нет, вы не умрете» («Bizony nem haltok meg», 1979), «Упокоение Лазара» («Lázár békéje», 1985; рус. перев. 1990), сборник рассказов «Барабанная дробь снега» («Dobol a hó», 1991), сборник эссе «Книга тоже читает меня» («A könyv is olvas engem», 1993). В «ИЛ» напечатан его рассказ «Море и чайка» («Tenger és siraly», 1980, № 4). С. Эрдег — лауреат премии имени Аттилы Йожефа, главный редактор литературно-публицистического журнала «Текинтет» («Tekintet»). Повесть «Безымянная могила» издана в Венгрии в 1994 г. («Koponyaüreg». Budapest, Kossuth Könyvkiadó). Печатается в журнальном варианте.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (JORGE LUIS BORGES; 1899—1986) — аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор тринадцати поэтических сборников, в том числе «Создатель» («El hacedor», 1960), «Золото тигров» («El oro de los tigres», 1972), «Сокровенная роза» («La rosa profunda», 1975), «История ночи» («Historia de la noche», 1977). Его перу принадлежат также книги рассказов и эссе «Вымышленные истории» («Ficciones», 1944), «Сообщение Броуди» («El informe de Brodie», 1970), «Книга песка» («El libro de arena», 1975). По-русски произведения Борхеса выходили в сборниках «Проза разных лет» (М., 1984 и 1989), «Письмена Бога» (М., 1992), «Коллекция» (СПб., 1992), Сочинения в 3-х томах (Рига, 1994); на страницах «ИЛ» печатались стихи и рассказы (1984, № 3; 1990, № 3 и №12; 1995, № 1), в Библиотеке «ИЛ» вышел сборник рассказов «Юг» (1984).
Стихотворение «Христос на кресте» («Cristo en la cruz») взято из сборника «Заговорщики» («Los conjurados», Madrid, Alianza Editorial, 1985).
Эссе «История ангелов» («Historia de los ángeles») взято из книги «Предел моей надежды» («El tamaño de mi esperanza». Buenos Aires, 1926).

ДОРОТИ ЛИ СЕЙЕРС (DOROTHY LEIGH SAYERS; 1893—1957) — английская писательница, автор многочисленных детективных романов, в том числе в разные годы переведенных на русский язык: «Чье тело?» («Whose Body?», 1923), «Не своей смертью» («Unnatural Death», 1927), «Сильный яд» («Strong Poison», 1930). Перу Д. Сейерс принадлежат также сборники новелл, пьесы, одна из них, «Справедливое мщение» («The Just Vengeance», 1946), перева-

дена на русский язык; цикл из двенадцати радиопьес «Человек, рожденный на Царство» («The Man Born to be King», 1943). Д. Сейерс известна и как переводчица Данте («Ад», «Чистилище»).
Эссе «Благодарение Киру» и «Божественная комедия» взяты из сборника «Непопулярные мнения» («Unpopular Opinions». London, 1946).

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE; род. в 1932 г.) — американский писатель, член американской Академии искусства и науки, автор многих романов, сборников рассказов. Известность и признание пришли к Апдайку после выхода в свет его романов «Кентавр» (1963; Национальная книжная премия; рус. перев. «ИЛ», 1965, № 1, 2) и «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960; рус. перев. 1979), за которыми последовали «Кролик исцелившийся» («Rabbit Redux», 1971), «Кролик разбогател» («Rabbit Is Rich», 1981; рус. перев. 1986), «Кролик на отдыхе» («Rabbit at Rest», 1990). В «ИЛ» напечатаны также его романы «Ферма» (1967, № 4), «Давай поженимся» (1979, № 7, 8), рассказы из книг разных лет (1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10).
Эссе «Чтоб камни сделались хлебами» было напечатано в журнале «Нью-Йоркер» («Stones into Bread». The New Yorker, 1997, May).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный, солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985), «Дворец на острие иглы» (1989) и многих статей в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ». Постоянный автор «Иностранной литературы» с 1965 г.

КРОТОВ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ (род. в 1957 г.) — историк церкви, публицист. Автор статей, публиковавшихся в журналах «Континент», «Новый мир», «Новая Европа» и др.; книг «Богородичный центр», «Размышления о церковном календаре», «Размышления о разном».

■Переводчики:

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — переводчик с испанского, португальского, английского языков, кандидат искусствоведения; в его переводе изданы романы «Лавка чудес», «Пальмовая ветвь», «Капитаны песка» и «Исчезновение святой» Жоржи Амаду («ИЛ», 1990, № 1, 2); «Война конца света» Марио Варгаса Льосы, «Ты боишься крови?» Серхио Рамиреса, «Луна доктора Фауста» Франсиско Эрреры Луке, повесть «Кто убил Паломино Молеро?» Марио Варгаса Льосы (Библиотека «ИЛ», 1989), стихи Мануэла Мария ду Бокаже, Фернандо Пессоа, Фернандо Наморы, Машадо де Ассиза и др.; главы из книги «Портрет Пикассо в юности» Нормана Мейлера («ИЛ», 1997, № 3, 4).

ГРУШКО ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ (род. в 1931 г.) — поэт, переводчик, драматург. Вице-президент Ассоциации испанистов России. Лауреат литературной премии «Brianza Inedito. 1994» (Италия). Автор стихотворных пьес-либретто «Было или не было...» по мотивам М. Булгакова, «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» — по П. Неруде, «Монарх, Блудница и Монах» — по Т. Манну и др. В его переводе с испанского издавались произведения Л. Гонгоры, Ф. Кеведо, Г. А. Беккера, Ф. Гарсиа Лорки, М. Эрнандеса, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, О. Паса, П. Неруды и др.; с каталанского — Ж. Карнэ, К. Риба, Ж. Сальвата Папассейта, с английского — У. Х. Одена, А. Гейма, Дж. К. Рэнсома, Х. Немерова, Р. Уилбера, У. Снодграсса и др.

ВАРШАВЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского. В ее переводе издавались романы «Мы живем в замке» Ш. Джексон, «Бессмертник» Б. Плейн, пьесы «Слуги и снег» А. Мердок, «Отражения» Т. Стоппарда (совместно с Т. Тульчинской), рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена. В «ИЛ» напечатаны документальная повесть «Кокаиновые короли» Гая Гульотты и Джеффа Лина (1991, № 3), пьеса «Аркадия» Тома Стоппарда (1996, № 2), рассказы Олив Синиор (Ямайка) (1997, № 3).

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — литературовед, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, переводчик с венгерского. В его переводе изданы романы «Пядь земли» Пала Сабо, «Вина» и «Милосердие» Ласло Немета; «Старомодная история» Магды Сабо, «Пророк на час» Шандора Шомоди-Тота, повесть «Тяжелый день» Дёрдя Конрада (рус. перев. в «ИЛ», 1991, № 4). В «ИЛ» напечатаны также воспоминания Шандора Мараи «Дневники» (1993, № 12), фрагменты книги Ивана Манди «Кино Жамбоки» (1995, № 4), рассказы Михая Корниша (1995, № 3), Ласло Дарваши (1997, № 2).

КУЛАГИНА-ЯРЦЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА — переводчик с английского, испанского и польского языков. В ее переводе печатались романы «Фиаско» Ст. Лема (совместно с И. Левшиным), «Двое» Алана А. Милна («ИЛ», 1994, № 6), рассказы и эссе Х. Л. Борхеса, Э. Сабато и Дж. Апдайка («ИЛ», 1995, № 1), Бруно Шульца («ИЛ», 1996, № 8), У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда и др.

ТРАУБЕРГ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА — переводчик с английского и испанского языков.

В ее переводе изданы романы «Человек, который был Четвергом» (Библиотека «ИЛ», 1989), «Перелетный кабак», «Возвращение Дон Кихота» Г. К. Честертона, «Мерзейшая мощь» К. С. Льюиса, «Печаль в раю» Х. Гойтисоло, «Маисовые люди» М. А. Астуриаса, «Город и псы» М. Варгаса Льосы, новеллы Пиранделло, К. Х. Селы, «Конец одного романа» Г. Грина («ИЛ», 1992, № 5-6), романы П. Г. Вудхауса и др.

Международный конкурс эссеистики

Журнал «Леттр интернациональ» и город Веймар — культурная столица Европы 1999 года — в сотрудничестве с Институтом Гёте объявляют конкурс на лучшее эссе, представляющее собой ответ на конкурсный вопрос.

Формулировка конкурсного вопроса

ОСВОБОДИТЬ БУДУЩЕЕ ОТ ПРОШЛОГО?
ОСВОБОДИТЬ ПРОШЛОЕ ОТ БУДУЩЕГО?

Премии

Первые три лауреата получают денежные премии (1-я премия — 50 000 DM, 2-я премия — 30 000 DM, 3-я премия — 20 000 DM). Лауреаты, а также другие авторы наиболее интересных текстов получают стипендию для работы в Германии на несколько месяцев.

Эссе лауреатов и подборка эссе, выбранных жюри, будут опубликованы в разноязычных изданиях журнала «Леттр интернациональ», а также в других международных журналах.

Условия конкурса

Эссе должны быть представлены на одном из шести официальных языков ООН: английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском — или на языке устроителей: немецком.

Эссе не могут быть опубликованы вплоть до дня вручения премий, предложены для публикации третьим лицам или представлены на другие конкурсы.

Эссе должны быть присланы в секретариат Международного конкурса эссеистики не позднее 30 ноября 1998 года в двух машинописных экземплярах или переданы по e-mail. Определяющей является дата почтового штемпеля или протокола e-mail.

Рукописи не возвращаются.

Авторы премированных эссе передают устроителям право на перевод, издание и распространение представленных ими эссе – в том числе частями – на всех языках.

Авторы, тексты которых вошли в число 49 лучших, но не были премированы, также передают устроителям права на публикацию. В случае публикации их эссе они получают гонорар в размере 500 DM.

Требования к текстам

Представленные на русском языке тексты не должны превышать по объему 62 000 знаков.

Ко всем представленным эссе должно быть дополнительно приложено краткое содержание в объеме не более двух страниц.

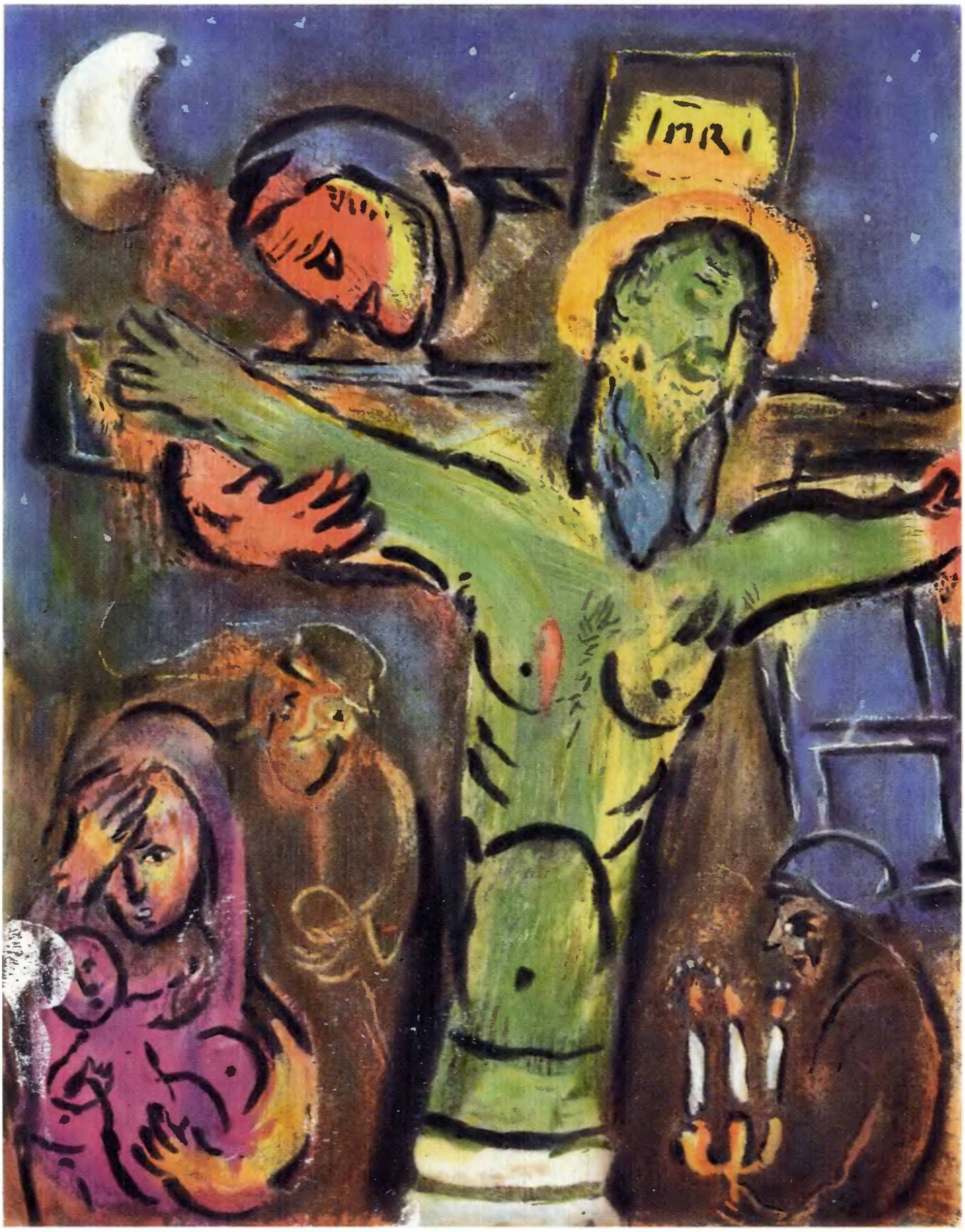
Эссе должны быть представлены в запечатанном конверте. Упоминание имени автора на страницах текста представляемого эссе не допускается.

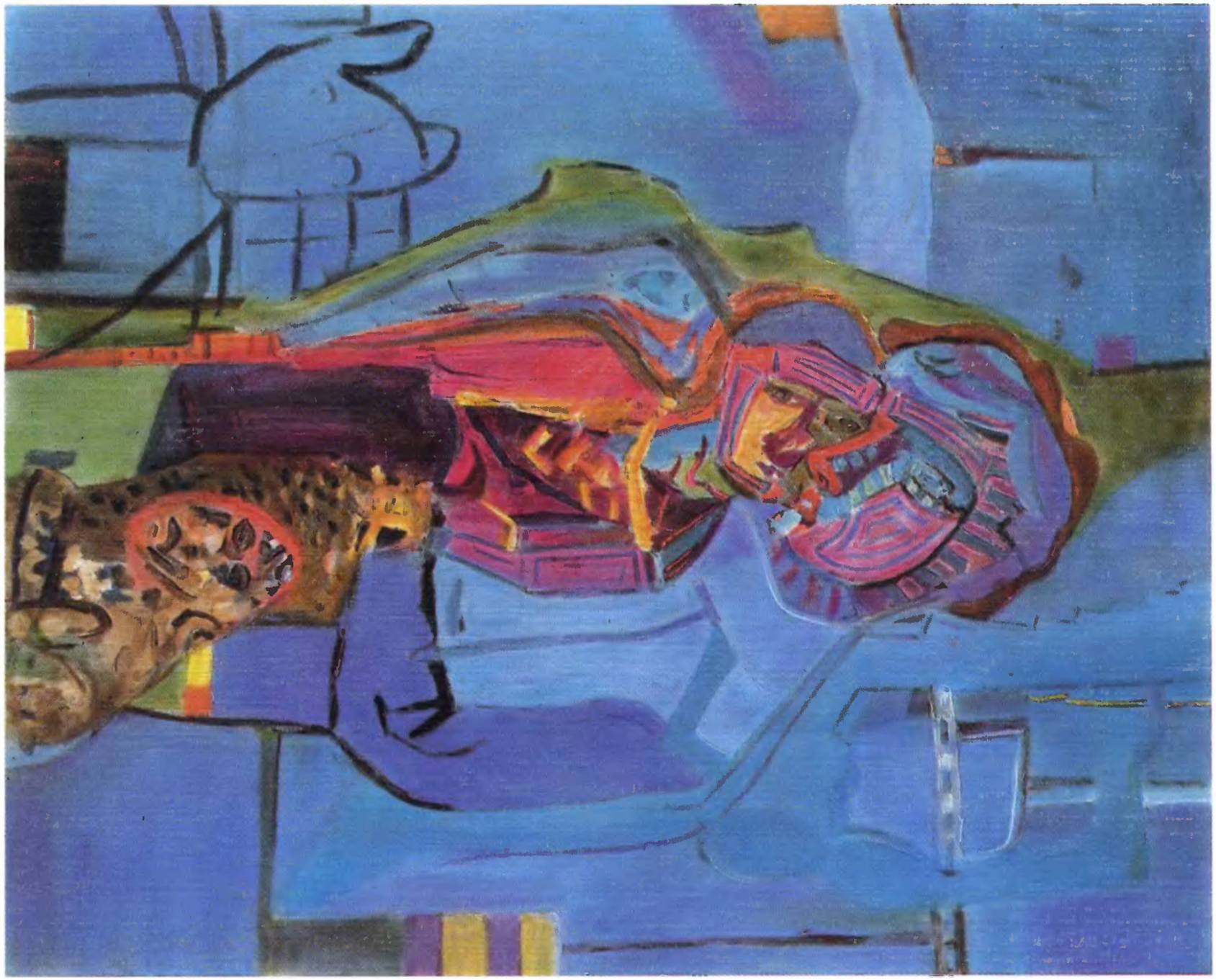
Имя и адрес отправителя направляются в отдельном конверте. По e-mail тексты эссе посылаются в виде аттачмента.

Адрес секретариата

International Essay Prize Contest
Rosenthaler Strasse 13
D-10119 Berlin

e-mail: Essay.Lettre@weimar1999.de
Internet: www.weimar1999.de/Essay-Contest


INRI



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №5, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394